ISSN 0130 – 6545

11. 1983

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

П. Лубарда «Кони»

Цветные иллюстрации номера — работы югославских художников

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

11 ноябрь 1983

Содержание

ИНДРЖИХ ВИХРА — Стихи *(Перевод с чешского и вступление Олега Малевича)* 3

КЛАРА ФЕХЕР — Желтая лихорадка *(Повесть. Перевод с венгерского Геннадия Лейбутина)* 9

ТОМАС БЕРНХАРД — Подвал *(Повесть. Перевод с немецкого Р. Райт-Ковалевой)* 42

ГОРДОН ПАРКЕР — Омут *(Роман. Перевод с английского В. Ашкенази и С. Майзельс)* 89

Литературное наследие

Из китайской классической поэзии *(Перевод с китайского и комментарий Л. Эйдлина)* 156

Критика

Н. ПРОЗОРОВА — Театр надежды и отчаяния *(Североирландская политическая драма 70-х годов)* 166

Отклики, встречи, впечатления

НИКОЛАЙ ФЕДОРЕНКО — Карло Гольдони: наследие и современность *(К итогам московского международного симпозиума)* 172

Литературные портреты

Д. ЗАТОНСКИЙ — Томас Бернхард: мир рассказываемый, замкнутый, смещенный 183

Культура и современность

Т. Ротенберг — Кинг-Конг, вооруженный ракетами 190

Б. Парникель — Недочитанный доклад Прамудьи Ананты Тура 196

Публицистика

ОМАР КАБЕСАС — Уходя в горы... *(Перевод с испанского Е. Мирской. Послесловие Владимира Весенского)* 199

Н. АНАСТАСЬЕВ — Прямая речь *(Заметки на полях четырех книг)* 217

Антирубрика

ТОММАЗО ЛАНДОЛЬФИ — Рассказы *(Перевод с итальянского Евгения Солоновича)* 227

Г. К. ЧЕСТЕРТОН — Стихи *(Перевод с английского Марины Бородицкой)* 233

К нашим иллюстрациям

М. Соколов — Встречи с югославской живописью 235

Среди книг

Издано в СССР

Валентин Курбатов — Пробуждение ✦ А. Зверев — Часы на площади ✦ В. Шагаль — Воспоминания о романтизме 236

Издано за рубежом

Л. Зонина — «Детство» Натали Саррот ✦ А. Селезнев — Современный китайский рассказ 242

Советская литература за рубежом 226, 246

Из месяца в месяц 247

Авторы этого номера 255

На 1-й странице обложки — работа И. Муезиновича (Югославия) «Во славу бойцов Сутьески»

© «Иностранная литература», 1983.

ИНДРЖИХ ВИХРА

Перевод с чешского и вступление ОЛЕГА МАЛЕВИЧА

Героическое сопротивление чешского народа фашистским оккупантам вписало в историю национальной литературы главу, которую можно было бы назвать «Соратники Фучика». Список чешских писателей, критиков, публицистов, казненных гитлеровцами или погибших в тюрьмах и концлагерях, включает десятки имен. Кое-кому из погибших удалось не расставаться с карандашом и в камере или за колючей проволокой. У некоторых последним литературным произведением стало предсмертное письмо. Имена многих из них уже известны советскому читателю: Курт Конрад, Владислав Ванчура, Ганush Фантл, Мария Кудержикова, Эдуард Уркс, Бедржих Вацлавек, Иван Явор, Карел Полачек, Ярослав Кратохвил, Йозеф Чапек... (Расположены имена не в алфавитном порядке, а в последовательности, определяемой датой смерти.) Одним из героев чешского Сопротивления был и Индржих Вихра [1].

Индржих Вихра был заточен в пражскую тюрьму Панкрац 15 марта 1944 года по приговору нацистского суда. Вместе со своей соратницей по подпольной борьбе Анной Млейнковой он обвинялся в укрытии врагов империи. О подлинном размахе их подпольной работы, в том числе об их участии в издании газеты «Руде право», фашистский суд так ничего и не узнал.

Вот одно из писем, написанных в камере № 34, камере смертников:

«Анне Млейнковой II-А [2]

Если бы ты видела меня остриженным наголо, ты бы посмеялась. Голова будто яичко. Что с твоей матерью? Как думаешь, долго ли еще проживем? Я в камере 34, на фрайштунде [3] мы еще не были. Пиши еще. Тут трое немцев. Один — доброго зерна.

Еще стих,
еще строчку исторгнуть у тьмы,
что пытается день задушить,
ваш день, мой день, товарищи,
хоть строчку еще,
и попробуем в схватку вступить
за воздух — больше воздуха
пусть останется нам,
за свет — больше света,
за кровь в барометре жил.
Что еще я могу написать?
Когда и карандаш
держать не станет сил,
тогда лишь уступлю
судьбе и смерти.

А до того — ни на шаг не отступить!
И на своем щите, товарищи, поверьте,
еще пишу: Жить! Жить! Жить! Жить!

Напиши мне тоже что-нибудь. Ты голодаешь? Курево есть? Но только ничего о том, что было.

Ни одного упрека, ни слова.
Спокойствие. Судьба.

Все было, как должно быть. Смерть в порядке вещей. Смерть — последнее испытание».

Стихи в этом письме — зародыш поэмы «Моя аппассионата», которую Вихра

[1] См. также статью О. Малевича «Аппассионата под гильотиной», «ИЛ», 1982, № 5.

[2] Обозначение отделения смертников в тюрьме Панкрац. *(Здесь и далее — прим. автора статьи и перевода.)*

[3] Прогулка заключенных.

создал в тюрьме. Письма из тюрьмы — поразительный документ эпохи — фактический комментарий к поэме. Приведем еще несколько выдержек из этих писем:

«Идет соревнование со временем... Вся штука в том, чтобы оттянуть конец на месяц, на два месяца. Вы меня понимаете! А если это не поможет? Что ж, значит, такова судьба. Примите все спокойно, как я. И прошу, никого не вините, что так случилось. Только о стихах моих позаботьтесь... Пока живу. В камере нас семнадцать молодых мужчин, осужденных на смерть. Ждем. С тремя я могу говорить только по-немецки, потому что другого языка они не знают. С одним должен говорить по-русски — из этого вы видите, какая тут пестрая компания. Посылайте, прошу вас... самую обыкновенную еду. Сдобное у нас из посылки обычно вынимают. Я разжую любую черствую корку».

«В начале мая у вас наверняка много работы в поле. Представляю себе наш край. Горняя уже начала зеленеть, вода Лужнице разлилась. Я тут в камере тоскую по каждому зернышку, по каждой краске, которая доступна моему зрению. Призываю на помощь воспоминания, и мы пускаемся в путь. За нами осталась боль, перед нами — дни, очищенные солнцем. Мир. Конец войны. Он близится, и мы тут в камере II-А 34 верим, что он не за горами. Мои вещи, что были в квартире, попали в гестапо, это всего лишь костюм, ботинки, несколько книг. Жаль Волькера, Есенина. Я так любил видеть их на своем столике. Верю, что после войны все это снова увижу».

«Я представлял себе, что гильотинная (так называют наше отделение) похожа на ад, где только плач да скрип зубовный. Между тем это остров с потерпевшими кораблекрушение, которые ежедневно карабкаются на скалу и смотрят вдаль, не появится ли на горизонте мачта или корабельный флаг, несущие спасение. Здесь есть люди, которые совершенно уверены, что сохранят жизнь, есть и другие, у которых нет столь полной уверенности. И все здесь дети, тешащие себя надеждой».

«Пребывание в Праге сделало меня поэтом, но и привело сюда, в гильотинную. Я собрал стихи под общим названием «Походный марш», возможно, это недостаточно поэтичное название, но я вижу в нем нечто большее. Главные стихотворения: «Мать, я буду», «Трубач», «Лидице»... «Аппассионата» — это мой текст к фортепианной сонате Бетховена. Поэма эта продиктована действительностью. Я написал ее, чтобы сохранить в себе человека и жизнь».

Облик Индржиха Вихры, возникающий из его собственных стихов и писем, дорисовывают воспоминания о нем. В одном из писем поэта мы читаем: «Некоторые сведения о моих стихах может дать товарищ Ванек. Он был очень восприимчив, и мы хорошо понимали друг друга».

Инженер Вацлав Ванек, который и прислал в редакцию «Иностранной литературы» сборники произведений Вихры, документов и воспоминаний о нем [1], рассказывает: «Когда в декабре 1941 года он поступил на завод «Авиа», ему было двадцать три года, мне — девятнадцать... Индржих Вихра был мне другом и советчиком. Впервые войдя в его комнату, я наивно воскликнул: «Ты считаешь, что и у нас скоро заговорят о коммунизме?» В тот раз он мне не ответил, но позднее сказал: «Думаю, за эту идею я мог бы отдать и жизнь». Он верил в необходимость искусства, но не превозносил его выше всего остального: «Хороший художник так же полезен обществу, как хороший пекарь». Мы никогда не говорили об этом, но я знал, что в случае его ареста обязан сохранить его стихи... Индржих Вихра передал мне копию своего единственного сборника...

Однажды Индра решил прочесть мне свое новое стихотворение. Не помню уже, какое именно. И сказал:

— Отвернись, я должен вынуть его из тайника, и даже ты не должен знать, где тайник...

Когда я оглянулся, то увидел у него в руках маленький рулон бумаги, шириной всего около трех сантиметров. Он прятал стихи в металлической ножке дивана. Там они пережили обыск гестапо».

О последних днях жизни Вихры вспоминает его товарищ по камере смертников Ладислав Бурда: «В Панкраце, в камере смертников № 34, меня встретил, а вечером улегся на общий со мной соломенный тюфяк юноша в очках. Это был Индржих Вихра... На другой день он познакомил меня с немцем-эмигрантом, коммунистом Максом Михлом, который здесь стал для него братом. В то время в камере № 34 нас было трое коммунистов. Позже к нам посадили еще двоих, все мы очень сблизились... Первым из пятерых покинул камеру Макс Михл, казненный в конце апреля. Для нас это была страшная потеря. В память о Михле Индржих Вихра написал прочувствованное стихотворение «Панихида»... Вспоминаю, как особенно в последние недели своей жизни он полностью сосредоточился на творчестве. Стихи свои помнил наизусть и во время бессонных ночей читал их мне; рассказывал о своих родителях, братьях, друзьях... Об арестованной вместе с ним Аничке Млейнковой: они были казнены в один и тот же день. Он говорил о ней с трогательным уважением. Однажды ему удалось перебросить с ней несколькими фразами. Из ее уст, как он мне рассказывал, не прозвучало ни единой жалобы.

Когда пришел его час — это было в среду 12 мая 1944 года,— двери отворились, и мы услышали: «Also Vichra nehmen Sie Ihre Sachen» [2]. Он выпрямился, без всякого

[1] Индржих Вихра. Моя аппассионата (1977). Индржих Вихра. Моя аппассионата. Отклики. Документы (1979). Индржих Вихра. Моя аппассионата. Отклики. Документы. Воспоминания (1981).

[2] Итак, Вихра, возьмите свои вещи *(нем.)*.

волнения оделся, подошел ко мне, мы молча пожали друг другу руки; он кивнул на прощанье остальным и покинул камеру.

Вслед за Индржихом Вихрой выкликнули Аничку Млейнкову».

Ниже публикуется самое значительное из произведений, написанных Индржихом Вихрой в камере смертников,— поэма «Моя аппассионата».

Моя аппассионата

Запев

Еще стих,
еще строчку исторгнуть у тьмы,
той, что души
и дни ваши —
дни мои — душит,

еще стих,
что, как штык,
и отточен и четок,
чтоб сражаться
за воздух и свет
без решеток.

Песнь первая

Когда петля все туже
(есть только да иль нет!),
мы зажигаем души,
чтоб вечно пламенеть.

Из мрака светом брызни!
Закон тюрьмы таков:
ты высечь искру жизни
обязан из оков.

Позволь склониться, мама,
над лепестками губ.
Сказал тебе так мало,
добавить не смогу.

Я — боль в твоем крестце!
Прости за эти строки.
На старческом лице
мои кровоподтеки.

Опять ручьи звенят.
Несешь весну в подоле.
Но ветви до меня
простерло древо боли.

Еще кулак как камень.
Еще душа тверда.
Горящими кустами
пылают города.

Пора, друзья, прощаться.
Я ко всему готов.
К решетке лбом прижаться —
родной увидеть кров.

© Kateřina Vichrová, 1977.

Как девицу-красу,
обнять за пояс грушу,
упасть лицом в росу,
в пруду упрятать душу.

Но ветер, что срывал,
как плоть с костей, стенанья,
зовет на карнавал.
Прощайте, расстоянья!

2

Зеркало неба сияет,
кулаком не разбитое.
Синь за окном уплывает,
словно дорога открытая!

Нам не дают отсрочки,
жизнь — мимо нас — спешит.
Хотя бы однажды
потрогать набухшие почки!
Хотя бы однажды
увидеть цветущий самшит!

Приснится же нелепица!
Иду травой немятой.
Привет тебе, сурепица!
Привет, дурман и мята.

Вас приветствую, люди!
Любитель проселков, зеленых излучин,
я дыханье полей приношу вам, как добрую весть.
Обездоленный класс, я с тобой неразлучен.
Разделять твои беды — высокая честь!

Как раны — окна камер.
Но знай, потомок мой:
хоть мир от страха замер,
весь мир не стал тюрьмой.

3

Хлеб
никогда так не таял во рту,
как этот черствый кусок.
Эта корка —
последняя кроха жизни.
Как дыхание матери
и как молодость,
сладок тот сок,
что глотаешь
на собственной тризне.

Сколько раз
я студеной водой умывался
и не знал этой радости чистоты.
Я с тобой, мое тело, почти распрощался.
О судьба, как приблизилась ты.
Все противится неизбежной разлуке —
и сознанье, и зренье, и руки.

4

Не хлеба — солнца крошки
взял со стола в щепотку.
Потусторонний вкус
приблизил мир ко мне.
Надежда улетает сквозь решетку,
как ласточка в окне.

Зову тебя и повторяю имя.
Все прочие на свете имена
забылись или сделались твоими:
ты мать, и жизнь, и солнце, и жена.
Как никогда, тебя увидеть жажду,
и, в камеру проникнув сквозь глазок,
ты льешься, как незримый ручеек,
мучительную утоляя жажду.

Хоть я тобой и родиной оправдан,
мне наперед известен приговор.
Но скоро ли опустится топор?
Судьба, скажи: сегодня или завтра?

Песнь вторая

Пока не отворились двери,
не выкликнули мое имя,
пока еще рано мне выходить налегке,
а вам, товарищи,
хлеб мой делить
и место на тюфяке,
пока ключ в замке не звякнул в последний раз,
прочь, слезы! Ах, слезы, как мне сдержать вас?..

Любовь моя, на крыльях добрых пчел
лети туда, где сторона родная,
где яблоневый сад безудержно расцвел
и в гости ждет меня тропа лесная.
Тебе, река, желаю вечно течь.
Шумите, тополя, березы, ивы.
Я с вами рос, наивный и счастливый,
и верил: вам моя понятна речь.

Отец опять в саду, у яблони ветвистой —
пора, давно ее не прививал.
Чу! Что за выстрел?
Нет, не выстрел,
а просто мать закрыла сеновал.

Вновь над полями голуби взлетели.
Проклюнулся из мрака ночи день.
Развейте пепел, ветры и метели,
вокруг приросших к сердцу деревень.

2

Стать зерном и в чернозем
ложиться.
Каплей стать — на землю дождем
пролиться,
на землю, томимую жаждой и жаром,
на землю, которая в муках рожала
мир, словно первенца...
Сколько я с ней перенес!

Слышите детский плач, детский лепет берез?
Мы орошали песок своей кровью,
жажду и боль утоляли любовью...

Может, за это веселый кудесник
сделает чудо? Я в «завтра», как в рай, попаду.
Зябликом стану. И ветер в цветущем саду
будет на ветке качать мою песню.

Песнь третья

Не жить тому, поверьте,
кто заставляет мать
младенца перед смертью
от сердца отрывать.

Спрошу я у черешен,
спрошу у камышей:
где души тех безгрешных,
несчастных малышей?

И если нам воскреснуть
дано и дважды жить,
вновь обретя телесность,
хочу ребенком быть.

Я отомщу с лихвой
за жизнь детей и женщин.
Расставшись с головой,
душа не станет меньше.

На всех — одна душа.
А дух народа вечен.
Земной поднимем шар
и водрузим на плечи.

Я — музыка в аду
распятых, пригвожденных.
Из камер уведу
детей ненарожденных.

Напор весенних вод
не выдержит плотина.
Не сделает народ
покорней гильотина.

Мы жизни отдаем
последнее дыханье,
за неба окоем
и маков полыханье.

На собственных плечах
грядущее поднимем.
Заводы зазвучат
литаврами и гимном.

Взойдет трава в саду
из крови, слез и пота.
Товарищ, честь труду![1]
И даже смерть — работа.
Да, наша смерть — работа!

■

[1] Партийное приветствие чехословацких коммунистов.

КЛАРА ФЕХЕР

Желтая лихорадка

ПОВЕСТЬ

Перевод с венгерского Геннадия ЛЕЙБУТИНА

Повесть есть повесть. Вымышленные персонажи, выдуманная история. Все совпадения случайны, даже если кто-либо и узнает в повести себя.

— Пассажиров рейса 1207 авиакомпании МАЛЕВ просят срочно пройти к выходу номер три... Passengers of the MALEV 1207 flight are most urgently requested...[1] Bitte sofort, sofort, sofort...[2]

— Геза,— окликнула меня Илонка, вскинув голову,— ведь это наш рейс, приглашают на посадку.

— Куда они могут нас сейчас приглашать? Еще только четверть седьмого, а наш вылет в девять...

— Ну что, господа, сдаем или будем разговоры разговаривать?

— Passengers of the MALEV, bitte schnell, побыстрее... gate number three...[3]

Я вновь собираю со стола карты, хотя и мне уже ясно, что объявление по радио в самом деле адресовано нам.

Карта никак не хочет идти, да и бог с ней, меня это никогда не волновало, я вообще-то раз в десять лет сажусь играть в бридж и сейчас согласился, только чтобы как-то убить время. Четыре года пролетели, господи, как быстро они пролетели, и вдруг оказывается, что я не могу вытерпеть эти несколько часов, отделяющих меня от Будапешта. Осталось всего каких-то шестьсот километров до дома, до окончания командировки, до разрешения проблем, до исполнения желаний и еще черт знает до чего, но я больше не могу, кончилось наше терпение, а точнее, мое, потому что Илонка нашла чем занять себя на эти несколько часов: переложила вещи из маленькой сумки в большую, проверила, целы ли ее принадлежности для шитья — иголка, нитки, ножницы, наперсток и всякие там вязальные крючки, на месте ли в моем дорожном туалетном наборе флаконы с жидкостями preshave и aftershave[4], щетка для ногтей и не знаю что там еще. Меня так и подмывает одернуть ее, сказать, чтобы перестала копаться в сумках, что меня раздражает эта ее мания постоянно наводить порядок и блюсти чистоту; вот приедем домой, и будешь там намываться и расчесываться, осталось каких-то полтора часа лету до Будапешта. Но я не сказал ничего, во-первых, потому, что я вообще никогда не делаю ей замечаний, во-вторых, она хоть чем-то занята. Я и сам уже четыре

© Fehér Klára, 1981

[1] Пассажиров рейса 1207 авиакомпании МАЛЕВ просят срочно... *(англ.). (Здесь и далее прим. перев.).*

[2] Просим... пожалуйста, скорее *(нем.).*

[3] Пассажиры МАЛЕВа *(англ.),* пожалуйста, побыстрее *(нем.)*... выход номер три... *(англ.).*

[4] До бритья и после бритья *(англ.).*

раза от начала до конца прочитал газету, разгадал кроссворд, три раза ходил в бар пить омерзительный кофе, пять раз прошелся вдоль витрин с сувенирами, хотя ничего и не собирался покупать — ни шоколад, ни складной нож, ни куклу в вышитом национальном костюме. Если бы наши девочки были поменьше, насколько проще было бы всё: три куклы, три пестрых блузки, три коробки шоколадных конфет. И были бы еще рады. И мне бы в голову не пришло садиться за карты, когда возникли эти двое внешторговцев: один — тощий очкарик, другой — краснощекий толстячок.

— Венгры? Угадал? Ожидаете вечерний малевский рейс?

— Да,— ответил я.

Илонка недовольно замотала головой, отказываясь от приглашения поиграть в карты. Просто невероятно, и после тридцати лет нашего супружества она на любое предложение первым делом отвечает: «нет», «зачем?». Ох уж эта мне ее замкнутость, стремление жить, втянув голову в плечи... ну вот и втянули, вот и сидим. В общем, я набрал воздух в легкие и брякнул: да, конечно, колоссальная идея, отчего ж не сыграть... трефы раз, трефы два... отдадим и накажем? И разумеется, четыре без козырей и пять? Нет, нет, записывать будем не по круговой системе, я о ней слышал, но не знаю ее и давайте подсчитывать не очки, а взятки, как учит старик Кальбертсон[1]...

— Я не играю,— как всегда недовольно и в то же время нерешительно проворчала Илонка. Но эти внешторговцы пристали — не отвяжешься.

— Что делать, если для бриджа нужны четверо, сударыня? Ну, начали? Сдавайте, сдавайте поскорее! — торопил очкарик, и вот мы добиваем уже шестой роббер. Познакомились буквально «по ходу дела». Очкарик, кажется, буркнул: Перьеш. Толстый: не то Мазаи, не то Матаи. Какая разница. Илонка, правда, показав на меня, отрекомендовала по всем правилам: «Мой муж, доктор Геза Хорват, экономист.— И добавила: — Ладно, тогда уж мы с ним будем в паре». Карта мне все время не шла: я всего только раз решился «торговаться» и то остался «без двух». А сейчас беру свои карты со стола и не верю глазам: одна, две, две с половиной... шесть с половиной... семь без козырей.

— Passengers of the MALEV...

Нет, это в самом деле нам объявляют посадку. Да вы послушайте, что объявляют, черт возьми! Я швыряю свои карты на стол. Илонка, бери сумку. А где же мой чемодан? Мазаи — или Матаи — возмущаясь, вскакивает: «Что за безобразие, только собирался объявить «две на пиках». Может, все-таки прежде подобьем бабки, а?»

Я удивленно уставился на него: какие у него могут быть пики, если у меня на руках и пиковый туз и король?! И что там вообще «подбивать», мы что, разве на деньги играли? Во мне закипает злость. Такое только со мной бывает — у человека первый раз в жизни на руках шесть верных взяток, и вот тебе пожалуйста... Я лезу в бумажник и швыряю очкарику свою последнюю десятидолларовую бумажку. Все? В расчете? Динамик до тех пор успел уже тысячу раз повторить: «Пассажиров МАЛЕВа... просим... отправляемся...»

Через выход номер три уже толпой валит народ. На столиках в буфете недопитый кофе, недоеденные бутерброды. Мазаи (Матаи?) запихивает в карман карточную колоду, под столом остается лежать семерка червей. Громкоговоритель непрестанно торопит, теперь уже нет никакого сомнения, это действительно наш рейс: у нас отбирают посадочные талоны, двери распахиваются, мы уже на аэродроме. Но где же самолет?

— Вон там, там,— слышатся чьи-то крики. «Геза, осторожно!» Это, разумеется, Илонкин голос, здесь, рядом. Уже семьдесят часов

[1] Э. Кальбертсон (род. в 1899 г.) — автор книг по теории игры в бридж.

кряду мы плывем, едем, летим. Сначала на моторном катере — о, где он теперь, этот катер? — по безымянной реке, кишащей крокодилами; потом на вездеходе, который, того и гляди, перевернется; по осклизлой глиняной дамбе, насыпанной поперек реки; по выжженным джунглям — к сооруженному наспех аэродрому, и затем — долгий, нескончаемый полет над морями и океаном. И все время этот ее вечно обеспокоенный голос, похожий на заклинание туземных колдунов: осторожно — не смей есть этого, осторожно — не ушибись, гляди, куда идешь. А я и в самом деле не знаю, куда иду. В какие-то считанные мгновения ноябрьский туман затянул весь аэродром. Еще полчаса назад были видны городские небоскребы, далекие огни неоновых светильников, а сейчас кругом только клубящаяся кипень тумана, белого и густого, как сметана, липкого на ощупь. Больно ударившись о трап, соображаю, что добрались до самолета.

— Schnell, schnell, шевелитесь, шевелитесь, а то застрянем здесь...

Спотыкаясь, поднимаемся в кромешной тьме по скользкому трапу. Холодный туман, снежные хлопья, полетевшие вдруг сверху, липкий леденящий воздух, врывающийся мне в рот и нос. Я задыхаюсь, грудь сжимает, по моему лицу и шее катятся капли пота. Сегодня утром, когда мы вылетали, была жарища в пятьдесят пять градусов, и вот... Можно считать, воспаление легких обеспечено. Его мне только и не хватало.

В салоне самолета тусклый свет. Стюардессы показывают: проходите дальше, в самый хвост машины. Спинки сидений в носу самолета — первые шесть или восемь рядов — наклонены вперед и накрыты полотнищем. Но этот Мазаи хочет непременно сесть впереди.

— Проходите в глубину салона,— говорит ему стюардесса.— А сюда нельзя.

— Нельзя?! Почему?

— Для balance...

Стюардесса-венгерка сказала вместо «равновесие» — «balance». Так звучит более весомо, даже грозно. Я смотрю на Илонку, она уже обрела душевное равновесие и, аккуратно сложив пальто, поправила пряжку пристяжного ремня, села, взяла меня за руку. И мне вдруг стало ужасно стыдно. Ну разве она не была права? Зачем было садиться играть с этими двумя картежниками? Не лучше было бы спокойно посидеть рядом с Илонкой в транзитном зале? Вполне мог бы потерпеть эти несколько часов, как она вытерпела целых четыре года. Кто знает, может, это последний наш вечер?! Глупости! Если бы всерьез существовала какая-то опасность, они бы не рискнули взлетать в таком тумане.

«No smoking, fasten your belts»[1]. Боже, сколько раз я видел эти слова на светящемся табло! Сколько привязных ремней в самолетах я застегивал у себя на поясе, сколько раз взвывали моторы, и я видел внизу, под собою, и черные тучи, и белые барашковые облака, и сплошную облачность, и моря, леса, солнце, синее небо. Но сейчас я вообще ничего не видел. Под каким углом они собираются набирать высоту после взлета, если сажают пассажиров для balance в самый хвост корабля?

А что, если мы все равно врежемся в какую-нибудь колокольню? Или в небоскреб? И что, разве такая уж сильная буря надвигается, если нас решили отправить на два часа раньше?

— Илонка,— начинаю я, чтобы затем придумать и сказать ей что-нибудь ласковое, очень забавное, но вдруг ощущаю, как у меня начинает сосать под ложечкой.

Слова на табло погасли.

Умолкли моторы.

Из кабины экипажа вышел командир корабля.

— Весьма сожалею, но из-за плохих погодных условий нам не да-

[1] Не курить, застегните ремни *(англ.)*.

ли разрешения на взлет. Пятнадцатью минутами раньше — может быть, еще... А сейчас — уже нет.

Теперь этот Мазаи, нет, другой, что в очках, начинает качать права. Он преграждает пилоту путь к выходу и орет: «Как это не дали разрешения? Видимость сто пятьдесят метров. Да тут и вслепую можно взлетать. Полагаясь на опыт. Просто в диспетчерской кто-то наделал в штаны. Я подам в суд на МАЛЕВ, вот увидите. На всю эту шайку-лейку подам в суд. От самой Бразилии летели нормально. Казалось бы, все, прилетели в Европу, завтра успею на совещание в министерство. Так нет же, господин первый пилот, видите ли, не желает вылетать. Да это можно было заранее предвидеть. Весь этот балаган...»

Мне не хочется слушать пространные речи очкарика, я предпочел бы выпить глоток коньяку, наверняка у меня упало давление, но коньяк в красном бауле, а его мы сдали в багаж. Илонка предлагала мне коньяк положить в дорожную сумку, чтобы он всегда был под рукой, но я отмахнулся: да оставь ты в покое и коньяк, и мое давление, и вообще перестань квохтать надо мной, вечно ты... В двадцать три ноль-ноль будем уже в Будапеште, в полночь — дома, приму ванну, лягу спать в свою собственную постель, и мое давление придет в норму. Где это я сказал? Когда? Сегодня утром. Утром??? Сегодня? Или вчера? Или, может, сто лет назад? Я сказал: выбегу посмотрю, не пришел ли катер. А ты: куда положить коньяк? Может, в дорожную сумку? Я же сказал тебе: в красный баул. Сколько раз повторять, что в красный? И выбежал из дома. Странно, почему-то приходит в голову, что справа в ста метрах река, которую я никогда больше не увижу. Не будет ее, как никогда не будет солнца, внезапно появляющегося на небе, как не будет и ночи, обрывающейся резко, будто ее отсекли мечом, и в тропическом лесу сразу умолкает вой и клекот хищных птиц...

Я так устал, что могу в любой миг грохнуться без чувств. Состояние полусна-полуяви, dreamy state. Словно я то погружаюсь в воду, то вновь выныриваю на поверхность. И словно во сне я шагаю вверх и вниз по каким-то лестницам, коридорам, залам, окруженный со всех сторон своими спутниками по полету, а вокруг нас, будто сторожевая овчарка, носится взлохмаченный потный молодой человек в синем пальто. «Это представитель МАЛЕВа»,— говорит один внешторговец, тот, что противнее. Взлохмаченный молодой человек кричит, требует спокойствия: «Каждый получит и комнату в гостинице, и ужин, вещи можете оставить здесь, в транзитном зале, можно позвонить домой, только прошу — не говорите все сразу, boarding cards[1] все сдают мне и, пожалуйста, приготовьте паспорта, сейчас мы поднимемся на третий этаж, нет, к сожалению, эскалатор в эту пору уже отключен, извините...»

Уголком глаза я кошусь на жену. Илонка стойко, не говоря ни слова, поднимается вверх по лестнице, спускается вниз. У меня начинает покалывать в груди... господи, только бы не... И надо как-то незаметно положить под язык таблетку нитроглицерина. Но нет, сейчас нельзя: может увидеть Илонка, перепугается и потребует, чтобы дорожную сумку я отдал ей... ничего, я сделаю вид, будто вытираю нос, и суну таблетку в рот незаметно, прикрывшись носовым платком...

— К сожалению, столько комнат мы не можем вам предоставить. Извините, но одну ночь придется потерпеть. Так сказать, в тесноте, да не в обиде... Шестеро молодых мужчин пойдут в одну комнату, шесть женщин — в другую. Супругов попрошу... пожилых супругов, вот вы — самые старые, и вы...

Я краснею, но, впрочем, он, конечно, прав. Три супружеские пары отправляются в одну комнату. Ах, какая разница. Сейчас важно только одно — спать.

---

[1] Посадочные талоны *(англ.)*.

— Подъем в половине пятого. Через сорок минут автобус отвезет вас в гостиницу. Там вам нужно будет заполнить листки прибытия и отдать их портье. Таков здесь порядок. Да, еще раз заполните. Погода? Туман и снегопад. Четыре года здесь не выпадал снег,— надрывался представитель МАЛЕВа.— Кухня еще работает, и в ресторане есть горячие блюда.

Не нужны нам никакие блюда. Только спать — больше ничего. Но до сна еще далеко. И до автобуса и до гостиницы. Пока это они «организуют». Да, как любил, бывало, говорить Яблонкаи: «Все дело в умелой организации. Вот на тебя, Геза, можно положиться во всем». А ведь и в самом деле, если бы всю эту «операцию» в связи с отменой вылета сейчас поручили бы провести мне, каждый уже давно получил бы ключ от своей комнаты. А вместо этого мы до сих пор толчемся у выхода номер три, у того самого, через который нас три часа назад выгнали на холод, в туман, к самолету. Все одновременно спрашивают, все разом говорят. Вещи брать с собой? Багаж можно здесь оставить?

— Ты спишь? — Илонка хватает меня за руку.— Геза, ты спишь?

Вполне возможно, что я сплю, но сквозь сон я все равно слышу, как хлопают коридорные двери, слышу, как говорят, что нужно открыть большой чемодан, но я никак не найду ключ, да он и не нужен: мы уже в автобусе... здесь заполните... где же я все-таки? Может, и эта узкая, как кишка, комнатенка тоже мне снится — две кровати, четыре раскладушки, чужие люди, вежливость сквозь зубы; да, на эту ночь мы все — товарищи по несчастью, согнанные в эту теснотищу... небритые, пахнущие потом, храпуны... сейчас только что объявили, что душевые уже заперты, в полночь, извините, их уже никто вам не откроет, прошу вас самих выбирать, кто на какой кровати будет спать, какая разница... в конце концов, мы же культурные люди, мне все равно, а мне, черт возьми,— тем более... да хватит жеманничать, ложитесь же вы наконец, спать, спать...

...Заман, заман, заман... время, время, время. Кажется, так, сидя на пороге, начинала старая беззубая служанка свою сказку, которую много веков назад бабка ее прабабки, турецкая рабыня, привезла сюда из далекой страны, где в небо нацелены стрелы белых минаретов и на невысоких холмах зреет на ветвях сладкий инжир. Заман, заман. Время, время. Я чувствую толчок в плечо, и снова мне начинает сниться этот странный, запутанный сон. Каждый толчок — это удар моего сердца, каждый толчок — один оборот мотора. Автобус урчит. Время, время — кричит водитель. Отправляемся! Четвертый день мы в Париже. Почему четвертый? Нас засовывают в автобус. Серия головокружительных поворотов — и мы оказываемся среди высоких каменных стен, а внизу, в долине, я вижу Париж. До меня вдруг доходит: я пробыл в Париже целых четыре дня и нигде не побывал, ничего не посмотрел. Не гулял по набережным Сены, не стоял на мосту Пон-Неф, не любовался собором Парижской богоматери, не посетил Сент-Шапель и Пантеон, даже на Елисейские поля не заглянул. Мне захотелось заорать и потребовать, чтобы меня немедленно вернули в Париж, это безобразие, меня обокрали на четыре дня, я их как-то не заметил, ничего не посмотрел... Удаляющийся от меня город подернут каким-то необычным маревом телесного цвета, даже цвета свежего мяса, вон он, город, сейчас его видишь из ущелья, потом наплывает каменная стена, и он пропадает насовсем... Заман, заман. Надрывается мотор, да нет, это не мотор, это мое сердце, мое стучащее сердце и барабаны, не знаю, кто и зачем отбивает на них сумасшедший ритм: там-татарам — тататам, от него уже голова гудит. Может, это тамтамы снова созывают племена на битву? Или взывают о помощи? Или приглашают на свадьбу? Или зовут на погребальную тризну? Может, медлительная река принесла сюда эти звуки? Или она — всего лишь эхо, отраженное

от скалистой стены? А может, эти звуки и есть те четыре года? Или четыре дня? Да нет же, это не барабаны гудят. Гудят моторы самолетов, стелется туман на аэродроме, храпят люди... Воздуха мне не хватает, воздуха... Куда я подевал свою коробочку с лекарствами? Илонка говорила мне, но я тогда заворчал на нее...

Идем, Илонка, пришел катер, теперь я уже вижу, отчетливо вижу его. Солнечный луч надвое разрубил мягкую темноту ночи, одним взмахом отсек леденящую какофонию звуков, свист и визг, щелканье и хлопанье, вой вышедших на охоту хищников и этот загадочный бой барабанов; из мглы, словно из небытия, выступили хижины туземцев, темные заросли джунглей вдалеке, и огромная зеленовато-коричневая река, обтекающая миллионы крохотных островков, и раскидистые деревья с подмытыми водой и обнаженными корнями — все, все, что мы увидим в последний раз, когда придет катер, который прежде доставлял нам почту, а теперь принесет нам окончание командировки, возвращение домой, на родину.

Я зову жену, но она не идет, не слышит меня. Наверняка снова скоблит полы, дезинфицирует, кипятит воду, она вечно убирает, беспрестанно дезинфицирует, сражается с грибком, с плесенью, с ящерицами, забирающимися к нам в ботинки и кувшины с молоком, со змеями, поднимающими головы из-под нашей кровати,— со всем этим враждебным нам миром. Илонка, где ты, ты нужна мне сейчас, взгляни на реку, что это по ней плывет — грузные коричневые бревна или крокодилы? Между небом и рекой колышется тонкая кисея дымки; минуло все это — и четыре года, и командировочное задание, уже идет за нами катер, чтобы переправить на другой берег, где нас ждет вездеход, который отвезет нас на аэродром, а летящий вечерним рейсом самолет умчит нас на родину...

Меня вызвал мой шеф Адам Яблонкаи. Обсудить какой-то очень срочный, никому не нужный доклад. Секретарша кивнула мне: входите, шеф ждет. Я вошел, но у шефа еще кто-то. Фери Кормош, инженер-электрик, рыжий великан лет сорока. Я его только раза два видел, да и то издали, потому что Кормош постоянно в отъездах: пять лет за рубежом, четыре недели дома.

— Мы уже закончили,— сказал Яблонкаи,— присаживайся, Геза. Словом, Фери, первого числа ты отчаливаешь.

— Нет,— твердо возразил рыжий великан.

— Знаешь что, оставь свои шуточки,— помрачнел Яблонкаи.— Так я тебе и поверил...

— Какие там шуточки? Руководить Восьмой монтажной отказываюсь. Ты знаешь, я согласен ехать куда угодно, кроме Восьмой монтажной.

— Так я тебе и поверю, что ты испугался! Испугался каких-то глупых суеверий!

— У меня семья. Я туда не поеду.

— Черт знает что! — возмутился Яблонкаи.— Ну скажи ему ты, Геза, насчет Восьмой монтажной. Эти умалишенные...

Я кивнул шефу, так как был уже наслышан о Восьмой. Первыми эту байку придумали водители автофургонов с контейнерами. Мол, Восьмая монтажная площадка заколдована и проклята. Одно несчастье за другим. Сначала бригадир умер от дизентерии. Потом у жены главного инженера — преждевременные роды. Молодой парень, еще тридцати не было, техник Баняи купается в море и прямо в воде умирает от паралича сердца. Потом следует дело Текнеша. Словом, за полгода четырех человек лишились. Говорили, будто вождь одного из племен проклял стройку, потому что раньше на этом месте было какое-то святилище. А еще говорили, будто кто-то подмешал свинины в пищу рабочим-мусульманам, вот Аллах и разгневался. Были и другие

версии. То ли на этом месте когда-то злодеи надругались над дочерью вождя племени, то ли украли барабан, созывающий воинов на битву. Словом, проклятие тяготеет над Восьмой монтажной, и люди требуют возвращения домой...

— Ты же интеллигентный человек, Фери. Тот дурень умер от дизентерии, потому что пил сырую воду. А сколько раз об этом напоминалось в инструкциях! У жены главного инженера Ситняи это уже не первый выкидыш, а третий, и два первых случились в лучших родильных домах Будапешта. Какое отношение ее здоровье имеет к Восьмой монтажной? Паралич сердца может случиться даже в банях Лукача. А в том, что Текнеш попался на спекуляции валютой, виновато не проклятие, наложенное на Восьмую монтажную, а сам Текнеш. Его настиг рок...

— Понимаю, шеф. Но все равно не поеду. Да там инженеру и делать нечего. Там нужен только хороший организатор, который сможет наладить бесперебойные поставки снаряжения и знает английский.

— Ну что ж, нет так нет.— Яблонкаи встает.— Найдем кого-то еще. Геза, у тебя нет на этот счет никакой идеи?

— Я поехал бы. Можно попробовать.

Это я сказал? Это был мой голос или загробный глас чернокожего колдуна?

Несколько лет назад Корпонаи подарили нам большую банку индийского чая «Эрл Грей». Подарок — его принесла Юдит — слегка смутил нас. Да по правде сказать, сначала чай нам и не понравился: сладковатый, слишком пахучий — до тошноты. Вообще мы чай редко пьем. На завтрак у нас в семье предпочитают кофе с молоком. Илонку мне так и не удалось отучить, чтобы она не примешивала эрзац-кофе из ячменя к натуральному, из зерен. Суррогат она называла «кофе Франка», потому что когда-то, до войны, ее мама покупала кофе этой фирмы. Вообще-то кофе с примесью куда лучше для сердца, чем настоящий, молотый из кофейных зерен, и намного дешевле. А чай, тот хорош при болезнях: ангине, гриппе, расстройстве желудка. Помню, Илонку возмутил подарок супругов Корпонаи. «Зачем,— выговаривала она Юдитке,— ты согласилась принять от них эту дрянь? И вообще, как это можно, чтобы педагог принимал какие-то подарки от своих учеников? И кто они такие, эти Корпонаи?»

— Скажу-как-нибудь-когда-будет-время,— вежливо уклонилась от диспута Юдит. Это было новое в общении наших дочек с родителями. Теперь они всегда так отвечали на любой наш вопрос — почему не пошли на курсы, почему отдали подружке магнитофон, кто тот лохматый парень, с которым вы до полуночи сидели в кафе? «Скажу-как-нибудь-когда-будет-время-а-сейчас-некогда!» — Между прочим,— добавила Юдит,— могу объяснить, а то ведь вы умрете от любопытства, почему мне подарили чай «Эрл Грей». Потому что они только что вернулись из Африки, а их восьмилетняя девочка там училась в английской школе, и мне теперь придется с ней дополнительно заниматься, так как здесь, в Венгрии, она снова пойдет в первый класс, а я буду у них учительницей на продленке.

Юдит, конечно, никакой не педагог, просто некоторое время она работала в группе продленного дня воспитательницей в расчете на то, что после года работы в школе ей будет проще поступить в учительский институт. Но не прошла по конкурсу, бросила работу в школе, записалась на курсы стенографии и машинописи, потом перешла на курсы модельеров и ни от каких учеников больше подарков не получает, об институте она и не думает и иногда работает в подсобке продовольственного магазина. «Как-нибудь-когда-будет-время... И скажите еще спасибо, что все, что зарабатываю, волоку домой. А вообще этот Корпонаи знает тебя: вы с ним в одной конторе работаете...»

Так вот началась наша дружба с Корпонаи, если можно назвать дружбой те навязчивые знаки внимания, которыми мадам Корпонаи норовила засыпать воспитательницу своей дочери на продленке, нашу Юдитку. За чаем «Эрл Грей» последовала плитка шоколада «Таблер», пачка овсяных хлопьев и, наконец, приглашение в гости, полученное мною от Дёрдя Корпонаи в столовой нашей фирмы. Как-то во время обеда он подошел к моему столику, поставил свой поднос рядом с моим и говорит: «Разреши, коллега Геза? Какие у вас планы на субботний вечерок? Мы были бы рады, если бы вы с вашей милой супругой и дочуркой...» — «У меня три дочурки»,— пробормотал я, торопливо уминая гарнир из стручковой фасоли,— спешил на совещание в отделе. Я-то знал, какая из моих трех дочурок интересует Корпонаи — та, что учит его дочурку на продленке, и с удовольствием отметил, как он покраснел. «Разумеется, приходите со всеми тремя, ждем вас на ужин».

— Нет. Зачем это нам надо? — были первые слова Илонки.— Что у нас общего с этими Корпонаи? И что я надену? Что нести им в подарок? Бутылку «Бычьей крови»? Или горшочек с примулой? Ладно, обсудим с девочками.

Но с девочками ничего обсудить не удалось. Кати заявила, что у нее свидание. Аги, пожав плечами, сказала, что ее не интересуют ни ученики Юдитки, ни мой сослуживец. Но удивительнее всего повела себя сама Юдит. В пятницу после обеда она оставила на столе в кухне записку: «Уехала на три дня в Хайдусобосло[1]».

От автобусной остановки еще довольно долго добирались пешком. Я — с бутылкой вина под мышкой, Илонка с каким-то длинным сорняком в горшке весом в центнер — мы, тяжело отдуваясь, ползли вверх по улице, поднимавшейся в гору. Нам никогда раньше не доводилось бывать в этом районе, пришлось спрашивать у редких прохожих, чтобы не заблудиться среди множества переулков, петлявших по склону горы. Я и не подозревал, что в городе есть такие уголки — с фешенебельными виллами в четыре этажа посреди роскошного сада, с подстриженными газонами, бассейнами, строгими железными изгородями и еще более строгими надписями: «Посторонним вход воспрещен». Но мы-то не были посторонними. Корпонаи ждал нас на углу. «Ну вот! — воскликнул он.— А я думал, вы на машине приедете, иначе я встретил бы вас внизу, у автобусной остановки».— «Нет, мы не на машине, у нас никогда и не было ее, да и в такси мы редко ездим, разве что в театр, а в театре мы тоже нечасто бываем...»

Такси — это по особым случаям. И не потому, что нет денег. Сколько раз, бывает, выбрасываешь так, на ветер, двадцатку. Но все равно: такси — это когда везешь куда-нибудь кучу вещей или едешь на свадьбу, на похороны. В начале каждого месяца Илонка покупает пять проездных билетов — это уже пятьсот пятьдесят форинтов. Девочки даже спасибо не говорят, считают, что это наша обязанность. Ну да бог с ними...

Жене Дёрдя Корпонаи на вид лет тридцать пять, самому Корпонаи — сорок три. Это уже не наше поколение, на десять лет моложе нас, не знаю, право, о чем мы станем с ними беседовать. Мадам Корпонаи чуть не поперхнулась, увидев, что мы пришли без Юдит, но улыбку на лице удержала. Приглашают: пожалуйста, проходите. Я не знаю, куда мне деть бутылку, Илонке — тоже никакой пощады, и она волочит дальше свой горшок с примулой или гортензией — не знаю, с чем он там. Идем по дому, разинув рты от удивления: я и не подозревал, что у нас в Венгрии бывают такие хоромы. Наши пальто повесили не в прихожей на вешалку, а поместили в просторной гардеробной комнате, потом провели по всей квартире из шести комнат, где сплошь ковры, шелковые обои, серебро и мрамор. Показали все,

[1] Курорт в восточной части Венгрии.

включая ванную комнату, отделанную итальянским кафелем и граненными венецианскими зеркалами, спальню с белоснежным меховым покрывалом на огромной французской кровати, шелковым пакистанским ковром на полу и конголезской картиной на стене у изголовья, написанной на тонкой сафьяновой коже и изображающей какую-то батальную сцену. В салоне два массивных кожаных кресла из Югославии, инкрустированный марокканский курительный столик и везде, куда ни взглянешь, слоновая кость и серебро, восточные чудеса из бронзы и японского шелка. Мадам Корпонаи была в индийском сари из шелка цвета бирюзы с золотой ниткой. Из бара были извлечены японское саке и американское виски. Корпонаи оказался и тут большим знатоком и принялся объяснять нам, в чем разница между шотландским и американским виски. Шотландское, оказывается, делают из ржи, «Бурбон» — из кукурузы, саке — из риса, а...

— Давайте выпьем и осмотрим еще и зимний сад, в котором есть финиковая пальма и четыре сорта орхидей.

После сада Корпонаи показывает нам детскую, где с нами вежливо здоровается маленькая Эдитка, восседающая посредине царства из нескольких десятков кукол, умеющих говорить, плакать, закрывать глаза, танцевать, и из шестидесяти томов «Детской библиотеки», здесь же стоит индейский вигвам, установка для запуска космического корабля, шкаф с набором «конструкторов», надувной слон и медведь в рост человека, кукольный домик, автогараж, кинопроектор, магнитофон, а она забавляется... куском какой-то бечевки.

«Это милые папа и мама твоей учительницы тети Юдит,— представляет нас хозяин и говорит нам: — Познакомьтесь с нашей великовозрастной дщерью!» Но привел он нас сюда, конечно же, не ради девочки. Отпихнув ногой игрушечных зверюшек, он торжественно возглашает: «Вот в этом месте, под ковром, который во всю комнату, в пол вмонтирован бетонный сейф — несгораемый, водонепроницаемый и невскрываемый. Здесь хранится золото». В этом Корпонаи тоже знает толк: за сколько лет службы за рубежом разрешается привезти без пошлины автомобиль, за сколько — настоящие персидские ковры, мебель, а главное — золото. «Потому что самое важное, самое умное — это не потерять голову, не размотать деньги на пустяки, а приобрести золото. И не какое-то там пятисотой и семисотой пробы, а червонное, в двадцать четыре карата, то, что идет на зубные коронки, оно всегда в цене, на нем не прогадаешь, его не девальвируют, и никаких долларов, они нам не нужны; ну, швейцарский франк — этот еще куда ни шло, но я вам говорю, друг мой: лучше всего золотишечко... Ладно, прозвучал гонг, значит, стол накрыт, прошу».

Серебро, скатерть дамасского полотна, старинный импортный фарфор. Вина, еще более старинные и выдержанные. «Если хочешь, Геза, прошвырнуться за рубеж, я на ближайшей дирекции могу завести об этом разговор. Неплохо бы и вам годика на три-четыре куда-нибудь. Прошу: черепаший суп. Наше любимое блюдо. Почти тот же вкус, что у крепкого бульона, только острее...»

Вернулись мы от Корпонаи домой, и квартира наша будто уж и не наша. Распахнул я все окна, чтобы не задохнуться. Милый домашний очаг, тридцать лет верно служивший нам, тахта из двух сдвинутых половинок, бра, которое никак не соберусь починить, вытертый персидский ковер — все вдруг сделалось невыносимым. Выщербленный там и тут кафель в ванной, расшатавшийся еще с прошлого года кронштейн оконных жалюзи... С прошлого? Наверное, уже лет пять! И с тех пор мы на одном окне вообще не поднимаем жалюзи. Зимой нет смысла: все равно темно, а летом и без того слишком ярко светит солнце, даже и через одно окно. Опротивела вдруг улица — со следами второй мировой войны на стенах домов, старомодные краны, облупив-

шийся ветхий газовый бойлер, омерзительно-удушливый запах нафталина и вечно пахнущая газом передняя. Сколько раз мы вызывали газовщиков, даже давали им на чай, но специалисты — с зажженной спичкой, со всех сторон опробовав газовый счетчик,— заявляли: все нормально, все о'кей!

Между прочим, Эдитка Корпонаи благополучно сдала экзамены, и больше не было ни английского чая, ни приглашений, ничего.

В международном отделе мне вручили пачку анкет, а я не знал, что с ними делать. Референт удивленно уставился на меня. Как, неужели вы никогда не заполняли анкет на выезд за рубеж? В Чехословакию-то, уж наверно, выскакивали разок-другой. За чем-нибудь? За кроссовками? За запасными частями для автомобиля?

— Нет у меня автомобиля.

Референту лет тридцать пять. Когда мне было столько же, о какой заграница мы могли тогда думать?! Для меня тогда заграницей был роман Жюля Верна «Вверх по Ориноко». Впрочем, нет, его я прочитал в одиннадцать, у меня была тогда ангина, и я лежал с температурой и читал. Горячая, взмокшая подушка была моими джунглями с ленивыми водами реки, с туземцами, плывущими на лодках-долбленках, с пестрыми птицами, кричащими на деревьях. Это было мое единственное до тех пор путешествие. Потом началась война, украинская степь, Днестр — порой казалось, что я иду по венгерской пусте, запорошенной снегом, где-нибудь на Алфёльде. Иду и сам удивляюсь: зачем я здесь? Что я тут потерял? Вернусь ли когда-нибудь домой? Только бы вернуться, странствовать меня больше не заманишь. А впрочем, если бы и потянуло странствовать? Много наше поколение путешествовало? Ударные стройки, выезды на село, на коллективизацию, потом пошли дети. Вот, говорили мы, когда они подрастут, тогда уж... вот накопим денег, купим в «Ибусе» туристские путевки... Накопили, ну что ж, пусть ездят они, молодые, а мы уж, когда выйдем на пенсию... столько путевок бывает, профсоюзных, льготных; сначала нужно свою родную Венгрию объездить... кто свою страну не знает, чего ему за границу ехать? Илонка, знаешь, куда бы нам следовало махнуть? В Шарошпатакский замок! Или в Шиклош! Откуда Дороття Канижаи отправилась хоронить павших в битве под Мохачем венгров. Или знаешь, где я еще никогда не был? В Сегеде! Подумай только, никогда не был в Сегеде! И вдруг на меня это свалилось само — иметь все-все: и серебряные турецкие чашечки для кофе, как у Корпонаи в его фешенебельной квартире, и «форд-капри», такой, как тот, что беспошлинно ввез из-за границы инженер Телекеш, доступными сделались сразу и сияющее синевой небо, и дурманящие ароматы тропических цветов, и вкус манго. Господи, каков, интересно, вкус у этого манго?! Удивительное шелковое небо, сафари, полные приключений путешествия на автомобиле, двадцатиэтажные первоклассные отели с террасами и бассейнами, где из прозрачного стекла и стены и дно; сидишь себе в баре, пьешь виски со льдом, а над твоей головой проплывают красавицы феи. Счет в банке, иностранная валюта, любые напитки (за гроши!) на рождество. Путешествия вокруг света. И о чем же я думал до сих пор? Смотрел, как всем этим пользовались тридцатилетние хищники? Когда-то и мне нужно.. и мне тоже нужно...

— Заполните и завтра приносите.

— Илонка,— сказал я после ужина жене,— иди сюда, посуду потом вымоешь, давай вместе заполним анкеты. Фамилия матери, отца, место рождения, семейное положение, судимости, привлекались ли, место жительства, должность, характеристика с места работы, имеете ли родственников за границей?.. Имеем мы родственников?.. Фреда надо упомянуть. Двоюродный брат. Как это я никогда тебе не говорил о нем?! Да ты что, Илонка? Говорил, ты просто забыла. Мама переписывалась с ними, пока тетя Бетти была жива, так что не говори мне,

будто не знаешь, кто такая тетя Бетти, мама часто ее вспоминала, она, конечно, звала ее Эржи. Ее единственная родная сестра. Еще до первой мировой войны вышла замуж, тогда она, конечно, не могла знать, что скоро будет мировая война. В 1911 году вышла за токаря, родила двух сыновей, а муж остался без работы. Вот он и отправился искать счастья в Америку. На перроне погладил по головке своих крошек и, едва сдерживая слезы, поклялся, что в течение года пришлет им деньги на дорогу. А через год пароходы уже больше не ходили: началась война. Эржи стала работать на военном заводе, и все вода ей снилась: много-много воды, гневные зеленые волны. Просыпалась, дрожа от страха, если вода снится — это не к добру. К болезни, а то и к смерти. И всех оплакивала: мужа, от которого ни слуху ни духу, двух сирот своих — Фери и Андраша, свою молодую жизнь двадцатипятилетнюю. А через пять лет приходит толстый конверт, в нем — фотографии, длинное письмо, бумаги, которые нужно было нести в банк и в полицию. У мамы был отрез на пальто, так она его отдала тете Эржи, чтобы та сшила себе или ребятам кое-какую одежонку на дорогу. Отдала цепочку серебряную и кольцо, напекла целую сумку пирожков, собрала в дорогу муки, картошки, немножко жиров... И вот уже нет в живых ни тети Бетти-Эржи, ни дяди Билла, нет Андраша-Эндрю, который погиб в тридцать лет при высадке десанта под Шербуром уже во вторую мировую войну. Смерть и война есть всегда, независимо от того, снится вода или нет... Остался в живых один Ферко, который теперь стал Фредди и которого я еще в глаза не видел. Раз в пять лет он присылает красивую открытку с рождественскими поздравлениями. Я вписал Фреда в анкету, и охнул: Фред Корнби, Янгстаун, Огайо, США. Моя поездка сразу стала проблематичной. И одновременно такой реальной, даже неизбежной.

Выйдя от Яблонкаи, я отправился в наш буфет и выпил две чашки кофе. Попытался мысленно еще раз проиграть сцену, происшедшую в кабинете директора. Невероятно. Чепуха какая-то. И Яблонкаи отлично знает, что я это так, пошутил... Язык у меня без костей. Сейчас вернусь и скажу. Что скажу? И зачем? Он же все равно не станет теперь меня слушать. Не могу же я сказать ему, что я не предполагал, что они отнесутся к моему предположению всерьез... что такие решения прежде нужно обсудить с женой. И все же надо сходить к нему, чтобы случайно не...

Навстречу мне поднялась секретарша.

— Что-то очень важное? У шефа гости. Из министерства.

— Нет, нет. Так, ничего. Завтра зайду.

Я вернулся к себе в комнату. На столе лежала записка:

«Просим занести в отдел международных связей автобиографию (в трех экземплярах). И в порядке ли у вас загранпаспорт?»

Теперь я уже знаю, почему покатывались со смеху ребята в первом классе гимназии, когда я на уроке прочитал вслух свое сочинение. «Мой папа хороший человек, он высокого роста»,— начал я и смешался от всеобщего хохота и визга. Учитель хлопнул линейкой по столу, требуя тишины, хотя и у самого в глазах прыгали смешинки. У меня даже под ложечкой засосало. Чего же они смеются? Мой отец действительно великан, на его столе из куска ткани рождаются необыкновенные одежды; он мог бы хоть самому королю сшить мантию, если бы король пришел к нему и попросил; бакалейщик, который живет по соседству, тоже все обещает зайти, но никогда не приходит, и потому мой папа такой тощий, сутулый и печальный, но все равно он всегда что-то придумывает, на что-то надеется и как будто готовится к битве...

В памяти остался и еще один день. Я тогда был совсем маленьким, но никогда не забуду его, тот осенний предвечерний час. Папа погладил мамину руку и тусклым голосом сказал: «Иного выхода нет».

Мама печально кивнула, соглашаясь с ним, достала кошелек и со вздохом сказала: «Вот, возьми. Последние... два пенгё» — и по одной отсчитала папе двадцать монеток по десять филлеров.

— Выше голову! — приободрил ее папа.— Вот увидишь, все образуется. Ты ведь знаешь, если я вижу во сне мою покойную матушку...

Я не понимал, куда он собирается, но спросить его об этом не посмел. Видел только, что ему предстоит что-то необыкновенное, торжественное. Папа надел свое лучшее пальто. Старательно начистил ботинки. Мама провела щеткой по его шляпе и по спинке пальто. «Может, он идет на войну?» — с тревогой подумал я и все смотрел, не нацепит ли он на пояс саблю и не соберет ли мама ему в дорогу испеченные на поду в золе пирожки?! Папа и мама поцеловались. Папа погладил меня по голове и на прощание сказал: «Не дрейфь, теперь у нас все будет. И суп и два больших апельсина. Нет, три апельсина». И куда это собрался папа? Может, он сейчас спустится в колодец, как солдат с огнивом, и достанет со дна много-много золота, хотя золото это стережет пес с глазищами величиной с блюдце, или он идет на рыцарский поединок, или будет сражаться с самим дьяволом? «Папа, не ходи!» — хотел крикнуть я, но отец уже ушел — повеселевший, казалось даже помолодевший. Чуть ли не бегом побежал... Мама весь день молчала, о чем-то думала, а потом вдруг велела мне молиться. «Но ведь...» — хотел было возразить я, видя, что ужинать мы еще не собираемся, да и спать вроде бы рано. Словом, нет еще повода молиться. Но я чувствовал, что и спорить нельзя. «А о чем молиться?» — «Все равно о чем»,— тихо проговорила мама. «Боженька, добрый боженька,— забормотал я,— глазки мои уже закрываются, милый боженька, они закрываются, мой боженька...» Наверное, сто раз повторил, а может и тысячу. С ума все посходили: и ужинать не садятся, и спать не отправляют. Папа тоже не вернулся, может, тде-то сражается, а может, срывает в волшебном саду для меня апельсины, но злое чудовище отбирает у него апельсин, и дракон, дракон... Я так и уснул в углу и проснулся, только когда услышал, как папа поворачивает ключ в двери. Мама бросается к нему, папа входит, лицо у него разгоряченное, глаза мутные, говорит невнятно, сбивчиво: «В первом турфе мне правильно подсказали, ставь на новенькую, но я не решился рисковать всеми деньгами, какая уж тут может быть смелость, если в кармане у тебя всего два пенгё. Одно пенгё я поставил на лошадь, которая победила в первом забеге, а серая лошадка, Ведьма, принесла двадцатикратный выигрыш тем, кто поставил на нее. Но все равно теперь у меня уже было три пенгё... И тут...»

Я ничего не понимал из его рассказа, не понимала и мама, мы только смотрели с нетерпением на его руки, скоро ли они начнут вынимать из карманов сокровища, золото и апельсины.

— Погоди,— остановил маму отец, когда та робко попыталась перебить его.— Погоди...

— Ну и чем кончилось-то? — лопнуло мамино терпение.

— Кончилось? — Отец словно пробудился ото сна.— А ничем.— Он вывернул карманы.— Ничем. Жулики. Все они там до одного жулики.

— Ну и ладно,— тихо промолвила мама.— Ничего. Через это тоже надо было пройти.

Я не сказал Яблонкаи, что дома еще не обсуждал этого вопроса. Хотел явиться с сюрпризом: «Илонка, девочки, представляете...» И конечно же, хотелось немножко прихвастнуть: высокое доверие, требовался ответственный человек, для меня редкий шанс... Но девочек, разумеется, не оказалось дома, какая уж это семья, скорее квартиранты на бесплатном пансионе; впрочем, и на пансион они чихать хотели: Аги сидит на диете, высохла как макаронина, но продолжает худеть

дальше, питается только сыром «Эменталь» и еще не знаю чем. Юдит тоже, не знаю, какими путями, достает себе талоны в студенческую и заводскую столовки, Кати терпеть не может овощей, а что, кроме них, еще можно приготовить на ужин? Из каких денег? Девочки, конечно, зарабатывают (зарабатывают!), но все их заработки уходят на их же наряды, магнитофонные кассеты и бог весть на что. «Я и не хочу, чтобы они отдавали свои деньги мне, но хотя бы для себя копили»,— говорила Илонка. «Копить? На что, на квартиру? На это мне потребовалась бы зарплата за четыреста месяцев! — завопила Аги.— В других семьях хотя бы есть старенькая бабушка, к которой можно прописать внучку. А кто и ворует. Или начинают строить один большой дом на всю семью. Или выигрывают в лотерею». Словом, пришел домой — Илонка одна, стряпает на кухне. «Шпинат сделаю на ужин, ничего?» — «Очень хорошо».— «И представь себе, достала комплект полотняного постельного белья, совсем недорого. Знаешь, когда пойдем на пенсию...» Илонка уже несколько лет готовится к выходу на пенсию. «Давай сделаем тебе еще одно зимнее пальто, потому что, когда уйдем на пенсию, не на что будет. Давай приведем в порядок зубы, а то выйдем на пенсию... Давай пополним столовый сервиз, в нем не хватает четырех тарелок, а то на нашу пенсию не очень-то купишь... давай купим газовый камин».

Она готовится к выходу на пенсию, как иные — к замужеству. Моя покойная бабушка так консервировала впрок на зиму компоты и томаты. Ах, если бы можно было купить проездные билеты на автобус на много лет вперед, чтобы под старость жить без забот, скромно, но ни в чем не нуждаясь...

Я стоял посередине кухни, где все мне было так знакомо и привычно — начищенные до блеска весы, и медная ступка на старинном буфете, и ровный ряд чисто вымытых тарелок в сушилке над мойкой. Я хотел уже сказать Илонке: брось ты свой шпинат и постельное белье, пойдем поужинаем в ресторане «Под ореховым деревом», выпьем по стаканчику вина, а вообще-то увезу я тебя скоро отсюда, и начнется у нас дивная жизнь.

— Ты сильно проголодался? — спросила Илонка.

— Да нет. Не знаю...

Я никогда раньше не замечал, что у нее уже столько седых волос. В общем, я взял и рассказал ей все. Собственно, чего я ожидал? Восторженных возгласов? Троекратного «ура»? Или что они примутся развешивать в гостиной трехцветные национальные флаги? Но сам я вдруг ощутил волнение, в висках у меня застучало, в горле пересохло.

Как-то после обеда я отправился в поликлинику. Сделал анализ крови, электрокардиограмму, рентген. «С этим завтра пойдете к терапевту»,— сказали мне, вручая листочки. Я кивнул, посмотрев на заключение внизу: «Изменения соответственно возрасту». Словом, не лучше и не хуже, чем у других в мои годы. Сужение коронарных сосудов, сосудистые стенки уже не так эластичны, как прежде, небольшое расширение сердечных камер слева, сглажена дуга аорты, на снимке светлые поля — признак начинающейся эмфиземы легких, темные обезызвествленные островки — следы перенесенных когда-то воспалительных процессов. Что еще должен ожидать от рентгеновского снимка человек в пятьдесят шесть? Со всем этим еще можно потихонечку жить, не спеша поднимаясь пешочком на четвертый этаж, не забывая вздремнуть часок после обеда, избегая волнений, тяжелой пищи и нагрузки, поднимающей кровяное давление. Соответственно возрасту... Но я должен показать им, что я сам хозяин своей судьбы... чтобы мои сопливые девчонки в этом убедились. Илонка, конечно, ударится в слезы, заохает, заахает, что теперь будет с ее работой, должностью, господи, подумаешь, должность — всего лишь бухгалтер в продовольственном магазине. Девчонки замучают расспросами, дурачиться

начнут: папочка, интересно, как ты будешь смотреться в тропическом шлеме? Вы будете ездить на верблюдах или на вездеходах? А вы сможете выдержать страшную жарищу и влажность, москитов и тропические тайфуны? Проговорим до глубокой полночи и сразу почувствуем, как мы нужны и дороги друг другу. Девочки, мы с мамой решились на это, едем в тропики на четыре года, чтобы потом легче было справиться с одной общей проблемой...

— Дети дома? — спросил я Илонку.— Нам нужно обсудить кое-что важное...

— Да, да,— ответила она, и я услышал, как в ванной она сердито выговаривает Кати: — Можешь и побыть дома полчаса, раз это нужно отцу...

Мне нужно было, чтобы они все хотя бы уселись. Но Илонка накрывала на стол, гремела ножами, вилками, складывала вдвое бумажные салфетки; Кати, надувшись, уже стояла в плаще из болоньи, прислонившись плечом к дверному косяку. Аги в пижаме (в восемь вечера! больна? уже легла спать? или еще и не вставала?), у Юдитки на коленях какой-то иллюстрированный журнал, который она то и дело листает.

— Вот взгляните на эту карту.— Я бросил на стол раскрытый атлас мира.— Семь тысяч километров отсюда... На четыре года... Руководство остановило свой выбор на мне потому, что наша фирма оказывает мне доверие...

— Вот это блеск! — вскричала Аги.— И хата будет свободна?

— А сколько вам будут платить? — спросила Кати.

— Когда вы уезжаете? — поинтересовалась Юдит.

Илонка не проронила ни слова.

Все тот же неотвязный сон. Бородатый турок в тюрбане является мне из сказки. Заман, заман. Время, время, произносит он угрожающе. Затем его глухой голос (или это бой барабана?) сменяется урчанием автобусного мотора. Четыре дня мы в Париже. Почему четыре? И почему в Париже? Водитель поторапливает: прошу садиться в автобус, отправляемся на аэродром. Потом мы мчимся по шоссе. Рассвет это или поздний вечер? Несемся вдоль каменного ограждения, потом между скал — по серпантину дороги, внизу, в странном мареве телесного цвета, город, которого я так и не увидел — ни собора Парижской богоматери, ни Сент-Шапель, ни Елисейских полей. А впрочем, разве только Париж я не увидел? Что я вообще увидел и узнал за эти четыре года? Реку без названия, которую мы сначала пересекли по высохшему и растрескавшемуся руслу на спотыкающемся и грозившем перевернуться вездеходе, в день нашего приезда? Потом, после первого же ливня, она превратилась в безбрежное море. И откуда-то в ней сразу же появились крокодилы с выпученными глазами. Моего прораба, который со своими двенадцатью ребятишками ютился в глиняной хижине, покрытой пальмовыми ветками? Посередине хижины была вырыта яма, вокруг которой все его семейство укладывалось на ночлег, и черные вытянутые ножонки смыкались стопами над этой ямой с тлеющими угольями. Их щелкающий, гортанный язык? Я так никогда и не мог понять, где у них кончается одно слово и начинается другое. А их странные празднества, когда они, рассевшись вокруг костра, обжигаясь, выхватывают горячие куски мяса из котла или лепешку с пылу? А стометровые деревья, вершины которых купались в знойном тропическом свете, а стволы у земли даже днем окружал ночной мрак. А когда деревья падали, умирая, влажный зной за несколько часов обращал их в труху. Мог ли я привыкнуть к местным шумным базарам, где бездомные, полуголодные нищие клянчат миску похлебки, где мальчики с подносами на голове предлагают салат и бананы, а на земле, на циновке, под огнями неоновых реклам разложены целебные травы, расставлены глиняные горшки, транзисторы и

стада слоников из эбенового дерева, вокруг на деревьях прыгают обезьяны и в небе зловеще клубится туча стервятников? Научился ли я понимать, о чем кричат люди на базаре, вдруг сбиваясь в кучу? Просили у бога хорошего урожая? Или радовались свободе?

А научился ли я понимать самого себя? У меня еще не было времени понять самого себя.

Лет восемь назад впервые приснился мне этот странный сон — урчащий автобус и чей-то предостерегающий голос: заман, заман. Затем толчок в плечо — я проснулся и схватился за пульс. Сто двадцать, сто сорок ударов, а потом уж и не сосчитать.

— Только Илонке не проговорись! — предупреждал я Пали Радаи, прибежав к нему на другой день. Пали был моим одноклассником.

— Пароксизмальная тахикардия,— кисло усмехнувшись, констатировал он.— Ну и небольшая стенокардийка. У меня у самого все это уже было. Конечно, будь осторожен, во время аритмии прими таблетку тразикора или вискена. Если почувствуешь удушье — диафиллин. И регулярно — нитропентон. А время от времени являйся к врачу — провериться.

Ну конечно, кто ходит к врачу просто провериться! Пали прописал мне нитропентон и вискен. Еще пару коробочек прописал участковый врач. Третье лекарство дал мне шурин. Иногда я принимал его, когда чувствовал боли в сердце... Где-нибудь на заседании или в автобусе. Порой ночью, потихоньку, чтобы Илонка не заметила, просто проглочу таблетку, не запивая. А перед осмотром у терапевта напринимался сразу всего, утром даже от кофе отказался. «Будь спокойненьким, умненьким!» — шепнул я своему сердечку.

Докторша долго слушала его. Седенькая такая, худенькая. В летах уже, не намного моложе меня.

— Вот здесь, за грудиной, не побаливает иногда?

— Нет.

— А когда поднимаетесь по лестнице, одышка бывает?

— Нет.

— Но что же у вас такое случилось?

— Ничего,— быстро ответил я.— Даже насморка никогда не бывает. И у жены моей... Она завтра к вам придет.

— Да нет, я не о том,— как-то странно, кисловато улыбнулась доктор.— Я хотела спросить, зачем вам все это? Нужно?

— Важное задание. Нужно для фирмы.

— Да, да. Но вы понимаете: климат-то! И опять же риск, связанный с большим количеством прививок. Оспу можно было бы и не прививать, но едущим в этот регион я и ее советовала бы повторить. Противотифозную, от холеры. И от желтой лихорадки. Вы представляете себе, что это за прививка?

— У меня три дочери.

— Да, понимаю. Ну тогда удачи вам. С этой бумагой пойдете на прививки.

Спускаясь вниз по лестнице, я снова принял нитроглицерин. Ладно. Это мои два последних пенгё. Попробую и я сыграть.

А свадьба — вот был цирк-то!

«Ты же сам хотел»,— читал я в упрямых взглядах дочерей. Даже как зовут женихов, я толком не запомнил, не говоря уж, кто из них чем занимается. Глядя на стоявших вокруг, я тоже мог только гадать, кто из них сваты, кто шурины, сватьи и отныне — мои племянники. Илонка была бледна как смерть и молчалива. Нет, я и теперь не понимаю, как это все получилось. У Юдитки под глазами черные круги. Только однажды она смотрела так на меня: когда я в первый раз вел ее в детский сад. «Не оставляй меня тут! — рыдала она.— Мне здесь плохо, не оставляй меня». Она уткнулась заплаканной мордашкой в

мое пальто, цеплялась дрожащими ручонками за рукав, я с трудом оторвал от себя ее маленькие цепкие пальчики. И потом каждое утро поднимал ее в пять, в половине шестого и тащил в садик, а она и во сне вскрикивала. По вечерам мы ворчали на них, потому что они долго не могли угомониться, мешали нам смотреть телевизор. Мы считали, что они получают от нас все, что нужно: обувь, учебники, мороженое, магнитофон... А теперь вот стоят они, три мои дочери. Что же я творю, или я совсем с ума спятил? Несколько недель ушло на беготню: делал прививки, меня трясла лихорадка, на коже вздувались волдыри, а я как дурак все ждал, не спросит ли хоть одна из моих девочек: папа, тебе очень больно? Или сядет рядом и попросит: папа, покажи на карте, куда вы поедете? Но они будто ошалели от счастья и думали только об одном — трехкомнатная квартира в центре будет свободна и у каждой из них будет наконец отдельная комната, где они смогут делать все, что им вздумается... И тогда я сорвался, я завопил, словно сумасшедший: «Так не может продолжаться, я хочу поговорить с вами, и поговорить серьезно, а не так, когда вы стоите в плащах, подперев плечом притолоку, спешите, поглядываете на часы, лишь бы поскорее сорваться с места... Если с вами говорят, то извольте... И ты, Илонка, тоже перестань отмалчиваться, мне не святая мученица нужна, а верная жена, понимающая, что нам надо вместе привести в порядок дела и...»

— Отцы и дети никогда не понимали друг друга,— сказал я.— Разве смогу я объяснить вам, что такое голодать, мечтать о куске хлеба или тарелке супа. Вы просто не поймете меня. Как я не понимал своего отца. Помню, отцу было еще только пятьдесят, но он уже крошил себе хлеб в суп: у него уже не было зубов и не было денег на зубного врача. Я даже не понимал, как еще молод мой отец и что он тоже мог бы с хрустом откусывать жесткое яблоко и жевать мясо, а он довольствуется кашей и размоченными в супе кусочками хлеба... Ладно, я не к тому... Мы с мамой уезжаем сейчас на целых четыре года. Оставляем вам эту трехкомнатную квартиру. Можете делать здесь что угодно, но только не превращайте ее в притон. Может, потому, что мне уже сто тысяч лет, я не люблю этих завываний бит-музыки, и я не хочу, чтобы здесь, в моем доме, поселился длинноволосый павиан и, столкнувшись со мной в дверях, даже не поздоровался. Юдит, тебе скоро двадцать пять, Аги и Кати, вам уже тоже за двадцать, это правда — отдельных квартир мы для вас не сумели построить, наверное, поэтому вы и не можете выйти замуж. Хотя, конечно, когда мы с вашей матерью... у нас не то что квартиры, угла своего в чужой квартире не было. Теперь на четыре года квартира ваша, мы в конце лета уедем. Четыре года вы можете жить здесь — квартира уже оплачена — и копить деньги. Работайте, экономьте, копите. Мы с мамой тоже будем копить. Приедем — привезем доллары или золото и бриллианты магараджи. Купим общими силами дом, попробуем к нему что-то пристроить, посмотрим, что сможем мы добавить... Я же не спрашиваю вас, ей-богу...— Что может спросить отец у своих молодых дочерей?! Я поперхнулся, смешавшись. Девочки спокойно смотрели мне в глаза, ожидая, что я скажу еще.— Одним словом, я знаю, что в наше время не бумажка важна, не она связывает двух людей на всю жизнь, но все-таки я не хочу, чтобы вся улица чесала языки о хорватовских дочках... В этой квартире могут спать только ваши законные мужья, а не так, кому вздумается. Нам с мамой хотелось бы познакомиться с вашими женихами, избранниками, ведь мы могли бы дать вам совет, предостеречь... Ну конечно, если вы надумаете замуж, когда нас тут уже не будет, тогда...

Молчание. Смотрят на меня, и меня все сильнее охватывает замешательство. Что я говорю? Женихи... предостеречь! Кого, от чего, как?

После трех минут молчания Кати, округлив глаза (темно-синие, умные, чистые), с невинной улыбкой спрашивает:

— Совещание окончено? А то я хочу еще успеть на детектив.

Через неделю Кати объявила, что помолвлена и скоро приведет показать, представить нам своего избранника. На пасху две другие дочки тоже преподнесли мамочке сюрприз, сообщив, что и у них есть по жениху. У Илонки голова пошла кругом от счастья. В один день сыграем сразу три свадьбы — букеты гербер, праздничный обед в «Золотом барашке» на Чиллагхеди (один из моих будущих сватов, имя его я не запомнил, знаю только, что он в тамошнем кооперативе, сказал: отличное местечко). Заведующая бюро по регистрации браков, приняв заявления на тройную свадьбу, пришла в восторг. Сказала: такого еще не было в ее практике — чтобы три сестры одновременно выходили замуж. По этому случаю она напишет специальную речь.

Илонка, растрогавшись, сообщила девочкам, что мы всем им оплатим двухнедельное свадебное путешествие: Матрафюред, Шопрон, Балатон — на выбор, кто куда пожелает.

— Аги,— сказал я, взяв дочку за руку,— что это вы вдруг все вместе? Не пожалеешь потом, хорошо все обдумала? Замуж выходят не на один день — на всю жизнь.

— Да, папа.

— А кто этот твой Лайош? Давно вы с ним знакомы?

— Какая разница? Согласен взять меня замуж — и ладно. В основном потому, что у себя дома ему жить уже невмоготу. А снимать комнату — это две тысячи в месяц.

— Аги, девочка моя, о чем ты говоришь? Неужели ты так дешево себя ценишь? — Мне хотелось закричать на нее: «Ты шутишь! Я не разрешаю тебе так выходить замуж! Вы это всерьез или только из озорства затеяли эту тройную свадьбу? Девочки, я же люблю вас. И хочу вам добра. Аги, я и тогда любил тебя, когда злился из-за того, что ты бросила учебу, а ты пожимала плечами, нагло усмехалась, говорила: «Какой смысл пять лет корпеть над учебниками в институте, многого ты добился со своим дипломом и своим прилежанием?»

Несколько приглашений я раздал у себя в конторе. Всеобщий восторг. «Вот это да! — говорили.— В наше-то время, когда родителей вообще не приглашают на свадьбу и только после рождения четвертого ребенка или пятнадцати абортов начинают подумывать: а не пора ли нам расписаться? Да, молодежь нынче такая неблагодарная, распущенная. А хорватовские девочки видите какие! Вот как надо воспитывать детей. А кто зятья? Ты счастливчик, Геза».

Нет, моя квартира не станет притоном. Не будут ахать и охать ни дворничиха, ни домовый комитет. Здесь будет благопристойное семейное гнездышко: три мои дочери и три зятя — счастливые влюбленные супруги (или сумасшедшие садисты?), ученые, работяги, труженики (или мошенники и воры?).

Детей я никогда не наказывал. Только однажды дал Кати пощечину. Ей тогда было шестнадцать. Она чего-то требовала. Она всегда требовала чего-нибудь: абонемент в театр, проигрыватель, мопед. «Кати, ты пойми, сейчас мы не можем, нет денег. Не будь такой ненасытной. В твоей жизни и так много всего хорошего и красивого».— «Много, конечно,— подтвердила она и скривила рот.— Хорошенькая жизнь, ничего не скажешь, на свою квартиру и надеяться нечего. А чтобы телефон поставили, и то восемнадцать лет ждать нужно».

Теперь у Кати на пальчике обручальное кольцо. На коленях огромный букет гербер. Рядом длиннющий, в два метра, рыжий парень. Она и не смотрит на меня.

Клянусь, то, что я сделал, не было злой шуткой. Это была последняя надежда, попытка ухватиться за соломинку. В банкетный зал «Зо-

лотого барашка» битком набилась родня. Кто откуда, сам черт не разберет. На столе — огромные блюда, на них — жареная баранина, цыплята. Хлопают пробки, громкий смех — говорят сразу человек десять. Усатый старенький почтмейстер, который сидит рядом со мной, в четвертый раз принимается рассказывать, как он купил жене с рук дубленку, но когда отнес ее к скорняку... Интересно, кто мой новый родственник: этот почтмейстер или скорняк? Или дубленка? Кто-то пьяный лезет обниматься и сообщает, что у них во вновь открытом магазине можно по дешевке купить стиральную машину. Пока идет распродажа. Но если мне случайно нужен холодильник или газонокосилка, он и это может устроить, сделав скидку в тридцать процентов, как якобы на стиральную машину — для тебя, папочка!..

Я ищу глазами моих девчушек, пусть они посмотрят на меня. А Илонка все угощает, все ухаживает за гостями, ни минуты не сидит на месте. Толстуха напротив вдруг говорит мне: четыре года — это немалый срок, но хоть это время детки будут счастливы, хоть бы на эти четыре года у них будет крыша над головой. А там — мало ли что может случиться... А что может случиться? Девочки выиграют в лотерее? Или, работая днем и ночью, всем скопом, вместе с шуринами и друзьями, они слепят какую-нибудь глиняную хибару? Вообще-то за четыре года там, где человека подстерегает столько опасностей, может всякое произойти — несчастный случай, холера, крокодилы, наводнение, тропический тайфун...

Неправда, говорю я себе, мои девочки ни о чем таком не думают, но я сейчас устрою им проверку. Наверное, и я был в легком подпитии, я вообще-то не привык выпивать, да и жарко было. Словом, я все ждал, что дочки сами скажут: папа, не надо, мол, ехать, рисковать жизнью, мол, как-нибудь перебьемся, вы сами тоже так начинали. Или зятья сказали бы: папа, или дядя Геза, не подумайте, что мы на вашу квартиру позарились, упаси боже, мы просто любим ваших дочерей. Словом, чего-то в этом роде я ожидал, чего и сам не знаю. Постучал я ножом по бокалу с вином.

— Давайте, давайте, тестюшка дорогой! — завопил один из гостей, сияя перемазанными жиром щеками.— Мы внимательно вас слушаем.

Стало тихо. Я поднялся с бокалом в руке.

— Дочери мои, сынки, с поездкой получилась небольшая закавыка,— сказал я.— Сегодня утром позвонили из поликлиники. Из терапии. Какие-то у меня в сердце изменения обнаружились, и потому мне нельзя делать прививку против желтой лихорадки. Словом, не выпускают нас с женой в жаркие страны...

Молчание. Бокалы замерли в воздухе. Гости перестали жевать. Удивленно уставились на меня. А я стоял и ждал. Ждал, когда кто-нибудь спросит, просто подаст голос: «Папа, ты болен? Что у тебя с сердцем?»

Ждал, может, кто-нибудь из дочерей расплачется: «Что же теперь будет с нами?!» Или кто-то из сватов предложит: «Ладно, так и быть, возьму молодых к себе».

Но стояла тишина. Мертвая. Долгая. И в конце вдруг громовой хохот. Смеялся новый родственничек — краснорожий, с жирными блестящими щеками.

— Батенька мой, подумаешь — закавыка, ну сходишь к другому доктору, а я уж с ним, болваном, предварительно поработаю.

Теперь все загалдели хором: пустяки, этого можно не бояться... У меня шурин (приятель, друг, однополчанин, земляк) в министерстве (в отделе прививок, на выдаче справок), да я скажу (позвоню, распоряжусь)...

Илонка разревелась, когда Балаж приволок к ней на кухню какого-то волосатого, вонючего, наполовину освежеванного зверя. Балаж

замечательный инженер-гидростроитель, он шесть лет проработал здесь, и уж если кому и нравилась здешняя жизнь, так это ему. Он охотился, рыбачил, плавал, лазил по деревьям, знал все съедобные растения, фрукты, коренья, грибы. Он приносил домой устриц и улиток и щедро одаривал своей добычей всех. На монтажной площадке было электричество и был холодильник, старый шведский аппарат, оставленный здесь нашими предшественниками. Но в холодильнике мы держали в основном кипяченую воду и холодный чай. Мясо можно было покупать только в городе, а в город мы ездили редко. В городе на рынке можно было купить муку, фасоль, крупы («Какие чудные вещи можете вы там есть,— писал нам один знакомый из Будапешта,— манго, бананы, сизаль!»). Над этим письмом мы долго смеялись, потому что сизаль — это несъедобное растение, что-то вроде агавы, и из него получают волокно — на канаты, веревки. А впрочем, мы смеялись не только над «сизалем»: за четыре года мы так и не узнали, каковы на вкус местные лакомства и как их называют. За четыре года мы так и не привыкли к здешним странным приправам. В городе, правда, был и магазин западного стиля, туда доставляли самолетом из Европы за много тысяч километров импортные продукты — американские консервы с соблазнительными этикетками, датское масло, из Южной Америки привозили мясные консервы в высоких банках. Все это стоило баснословных денег. А нам нужно было экономить, мы не могли транжирить наши денежки на супертовары, мы не могли есть ветчину, мы не покупали даже яичный порошок и сгущенное молоко. Мы ели супы, какую-то странную зелень и эрзац-мясо, приготовленное из фаршированных овощей. Господи, с каким трудом мы заполучили мясорубку из дому, четырежды писали девочкам, просили их, чтобы отправили посылкой, потом, когда мясорубка, пропутешествовав несколько месяцев, наконец прибыла, я должен был ехать за ней во Фрипорт, а это триста миль на вытряхивающем душу вездеходе и куча денег на уплату пошлины. Тщетно доказывал я чиновнику из таможни, предъявив и официальную бумагу, что, согласно межправительственному соглашению, я имею право беспошлинно ввезти свое кухонное оборудование, а он, ухмыляясь, говорил мне, что либо я уплачу пошлину, либо они отправят мясорубку обратно, тем более что мясорубку можно купить в местном магазине. Я уплатил пошлину. Козье молоко и какой-то подозрительного вида сыр можно было купить и здесь, на монтажной площадке, в соседней туземной деревушке. Илонка кипятила молоко, запекала сыр и вела беспрестанную борьбу с грязью, насекомыми, микробами. И вдруг заявляется этот Балаж и, улыбаясь во весь рот, спрашивает, куда свалить его волосатый, вонючий, весь в крови охотничий трофей. «Господи, да что же это такое?»— визжит Илонка. Балаж ее успокаивает, говорит: «Не бойтесь, тетя Илонка. Я научу вас, что можно приготовить из этого зверя. У мяса отличный вкус. В Будапеште, в «Хилтоне», четверть миллиона заломили бы за одну порцию. Найдется у вас хороший большой нож?»

Нож нашелся, но недостаточно острый и недостаточно большой. «Я сейчас»,— крикнул Балаж и умчался, оставив чудище лежать посреди кухни. Илонка, размазывая слезы по лицу, уже думала, как ей удалить пятна крови с пола — неомагнолем или марганцовкой,— но тут вернулся Балаж с ножом, топориком и ножовкой и принялся со знанием дела рубить, пилить и резать тушу. «Что это за зверь?»— полюбопытствовал я. «А черт его знает. Но мясо отличное. Слушайте внимательно: сначала его нужно замариновать в уксусе, с солью, горчицей, перцем, растительным маслом! Вот эту часть хорошо отбить и затем — два дня кряду — тушить в уксусной воде, а вот эту часть лучше, если...» После этого мы десять дней ели подаренную нам Балажем тушу. Мясо было со странным привкусом, с трудом жевалось, но на пятый день мы были уже в восторге от него, а на десятый — искренне сожалели, что оно кончается. И когда в следующий раз Ба-

лаж явился с новой добычей, Илонка сама выбежала ему навстречу, и они уже вместе свежевали и разделывали тушу, вместе тушили, варили, Илонка пригласила Балажа на обед, приготовила блинчики с мясом и фруктовой подливкой. Потом мы пили кофе по-турецки и поставили на магнитофон катушку с «Танцами Галанты» Кодая. Этот день запечатлелся у меня в памяти. В этот день я был счастлив.

Детям мы писали два раза в месяц. О чем? О том, что чувствуем себя хорошо, много работаем (мы — в смысле папа, добавляла Илонка). Когда едим бананы, вспоминаем тебя, Аги, так как знаем, что ты их любишь. Здесь очень жарко, и река высохла. Или наоборот: уже несколько дней беспрерывно льют дожди, и все вокруг превратилось в одно большое болото, очень много москитов. Берегите себя, целуем горячо всех, папа, мама. Постскриптум: пришлите пару книг, любых. Целуем.

Но о том, что тут влажность девяносто пять, и мы, как рыбы, разеваем рот — не хватает воздуха,— мы не писали. И о том, что за ночь успевает покрыться плесенью обувь в шкафу, что в жару мы не можем освежить изнывающее от зноя тело в реке, потому что вода в ней мутная, затхлая и кишит крокодилами, и «живым волосом», и всякими иными червями, и миллионом разных возбудителей кожных болезней. Взлетное поле аэродрома иногда заносит песком — во время песчаных бурь,— и тогда не приходит почта, а то вдруг исчезает вода в реке, и плот с грузом запасных частей застревает на огромных корнях деревьев, в другой раз земляная дамба раскиснет так, что и вездеходу не пробраться, да и вообще здесь много загадочного и непонятного: смирные с виду горы на поверку оказываются действующими вулканами, извергающими из своих кратеров огонь и пепел, землю сотрясают подземные толчки, джунгли вспыхивают от одной молнии, травы вдруг принимаются расти прямо в доме, выползая из-под половиц. Мы, конечно, не писали детям про ночные страхи, о гиенах, воющих в темноте, о стадах горластых обезьян, совершающих набеги на наш огород, о мирных селах, в которых вдруг начинают греметь боевые барабаны, потому что взбунтовалось племя, и наемные рабочие, не сказав нам ни слова, бросают работу и обращаются в бегство, подчиняясь неведомому нам приказу племени.

Иногда мне и самому начинало казаться, что Восьмая монтажная заколдована, проклята. Буря сорвала провода высоковольтной линии, вездеходы застревали в глине, на склоне холма образовался оползень. Я созывал бригадиров, чтобы посоветоваться и принять какие-то срочные меры.

«Ты опять уходишь? — всплескивала руками Илонка.— Будь осторожен, Геза». Я ехал на вездеходе, который то и дело грозил перевернуться, уходил из каменного дома, из-под противомоскитной сетки, из относительной защищенности от эпидемий, уходил туда, где рвались провода электропередач, к загадочным племенам, в их хижины. Монтажные работы, которыми мы занимались, были лишь частью гигантского строительства мощной гидроэлектростанции, высоковольтной линии электропередачи. «Это вам самим нужно, для вас. И нужно срочно! Переведите,— кричал я переводчику.— Почему вы то и дело забираете своих рабочих у наших специалистов? Зачем вы разрушили уже установленные бетонные опоры?»—«Это не так делается,— сказал Балаж, когда после четырехдневной изнурительной поездки я вернулся на монтажную площадку.— Если что-то не в порядке, ты посылаешь докладную в Будапешт. А там уж министерство примет меры, смешанная комиссия обсудит, вынесет решение, уведомит о нарушении договора соответствующее здешнее министерство, комиссия на месте расследует...» — «Да ты с ума сошел! Тогда ни плотина, ни гидростанция, ни турбины и вообще ничего не будет здесь сделано, установлено, построено во веки веков».—«Верно,— согласился Ба-

лаж.— Только не хочешь ли ты сказать, что приехал сюда строить социализм? Ты здесь, дорогой друг, для того, чтобы заработать себе денег. Как можно больше! Разве нет?»

Илонка, неужели это мы? Те самые, что в двадцать лет, оборванные, голодные, долбили кирками землю на строительстве железнодорожного моста? Те, что строили техникум, работали бесплатно, по ночам учились, а в день Первого Мая шли на демонстрации с букетами сирени, и красные стяги развевались над нами на светлом ветру? Эти обезумевшие гарпагоны и гобсеки — это мы? Это мы по вечерам, сев рядышком, подсчитываем, сколько долларов скопилось у нас на счете в банке Фрипорта, и прикидываем, не лучше ли вклады в долларах перевести в швейцарские франки, потому что франк—это франк? Неужели это мы, те, кто не дружит ни с кем в колонии, ни с семьей французского инженера, ни с монтажником из Швеции, потому что видим, как они приезжают из Фрипорта, привозя оттуда замечательные куски говядины, красиво, аккуратно завернутые в целлофан, яблоки, упакованные — каждое в отдельности — в шелковистую бумагу, норвежскую красную икру, мороженую вишню и французское шампанское? Разве мы вправе принять от них приглашение на ужин, зная, что не сможем ответить им тем же? Не говоря уж о том, что и французский инженер, и швед-монтажник, и венгерские крановщики, шоферы, инженер-электрик и приборист — все они на тридцать лет моложе нас и зовут нас дядей Гезой и тетей Илонкой. В общежитии венгерских монтажников, в длинном бетонном бараке, одни только холостяки, которые устраивают грандиозные попойки (мешают пиво с какой-то гадостью) и карточные сражения в «ульти». Но я не люблю карты и ни разу не ходил к ребятам уже по той причине, чтобы не оставлять Илонку одну. С наступлением темноты мы забирались под москитные сетки и пытались поймать через реки, пустыни и джунгли заплутавшуюся радиоволну или писали письма девочкам, будапештским друзьям и брату Фредди в Янгстаун, в штат Огайо, чем-то напоминая потерпевших кораблекрушение, бросающих в море бутылки с запиской.

«...Очень рады, что вы собираетесь в отпуск, только где вы будете жить?»

Мы с удивлением разглядывали письмо, написанное рукой Кати. Как это где? В нашей спальне, в столовой и в передней. И только тогда до нас дошло: господи, как же это? В трех комнатах уже живут они, наши дети, три семьи. Мебель разделили, поменяли местами, может даже свалили где-нибудь в кучу, на книжной полке теперь цветочная ваза или кипятильник и кофейные чашки. Стены наверняка размалеваны. Я и раньше сколько раз ругал Аги, когда она принялась таскать домой немыслимые плакаты, украденные таблички с названиями улиц, магазинные вывески, старые утюги, керосиновые лампы, конские подковы. И наверняка сейчас три магнитофона рычат одновременно в каждой из трех комнат, и три телевизора, и три транзистора, а если выстиранное белье не умещается в ванной, тогда бельевой шнур протянули через всю комнату, и на нем уже висят блузки, носки, трусики. Конечно, этот вопрос они не должны были задавать нам в письме, а должны были все вместе собраться — три дочки и три зятя — и обсудить, кому из них на месяц переселиться к подруге, в гостиницу, на дачу или куда-нибудь там еще! Нельзя же писать родителям: где вы собираетесь жить во время вашего отпуска, что, мол, тут вам места нет. Конечно, и для них все это непросто: получить от нас вдруг такое письмо. Они ведь тоже работают, куда они переедут, к кому? То есть как это «вдруг». Мы уже давно собирались в отпуск летом, и еще задолго до нашего письма девочки должны были бы спросить у нас, каковы ваши планы на отпуск, не тоскуете ли вы,

папа и мама, по дому, что вы надумали, как решили? Но девочки пишут редко, о себе — почти ничего: у нас все нормально, живы, здоровы, целуем, отправили почтой бутылку неомагноля — для дезинфекции посуды. Собираемся послать книги, да все не было времени. Но, честное слово, в ближайшие же дни вышлем. Целуем. Приписка от Юдит: «Петер шлет привет» и от Аги: «Лали целует ручку и обнимает». Муж Кати соблаговолил собственноручно: «С уважением — Пишта». Это хорошо, хоть выучу наконец, как зовут зятьев. Письмо успокаивает: значит, еще не разбежались молодожены.

Неомагноль мы постоянно просим прислать, расходуем его ведрами. В одной из посылок с неомагнолем оказалась маленькая картоночка с нарисованным на ней зайцем. Когда девочки были маленькими, Агику звали Зайчиком. Илонка, обнаружив рисунок, расплакалась. Я убрал зайчишку в бумажник и, когда отправлялся на вездеходе по непроезжим дорогам инспектировать монтаж, часто доставал рисунок и, положив на ладонь, подолгу любовался им.

— Катанем в Париж? — предложил я Илонке. Идея куда-то съездить родилась внезапно. Какие мы дураки, что до сих пор до этого не додумались. И почему обязательно проводить отпуск дома? Завтра мне все равно ехать во Фрипорт: привезу оттуда ворох проспектов из какого-нибудь бюро путешествий. А уж если будем в Париже, заскочим на денек-другой и в Лондон. «Хорошо»,— согласилась Илонка и погладила мою руку.

Во Фрипорте у меня были дела в морской гавани, там выгружались гигантские турбины, и мне нужно было договориться с транспортниками, куда они смогут доставить груз по воде, а куда — тралерами, где можно проехать по каменной плотине, где по временному мосту. Потом я был в банке, на почте, во фрипортском управлении департамента строительства. По ходу дела заглянул и в ближайшее бюро путешествий и набил портфель цветными брошюрками и проспектами. Случайно там же оказался мой сосед, шведский монтажник. «Собираетесь в путешествие? — приветливо спросил он.— А я вот тоже жду, когда подъедет жена, чтобы вместе решить, не поехать ли и нам на Канарские острова, или перемахнуть через океан в Австралию или на острова Фиджи...»

У меня была еще бездна времени до возвращения на объект, потому что вездеход сломался и в мастерской пообещали его починить часа за два — за три. Так что я прогулялся по пальмовой аллее между портом и пляжами, где слонялось множество белых. Бизнесмены, эксперты из Европы, охотники, туристы. Мне вдруг захотелось знать, где же мы живем. Конечно, я знал континент, географические долготу и широту страны пребывания, только существенного, главного об этой стране не знал: о чем думают хозяева этих устремленных на меня глаз, что выражают их озабоченные лица, я не угадывал в плавных движениях их женщин, несущих на голове корзину или кувшин, отголоски древних ритуальных танцев или обряда, с помощью которого изгоняли злого духа, и что там в книгах молодых людей, идущих навстречу с портфелями, о чем мечтают молодые женщины с детишками за спиной, не понял сути этой страны, как и они никогда не узнают, что это я работал здесь у них, на Восьмой монтажной, они даже не будут знать, что была такая Восьмая монтажная, и только однажды в саванне, поросшей кустарником, в маленьких деревушках, затерянных в джунглях, вдруг вспыхнет электрический свет и загудят заводы, и, я надеюсь, люди будут этому рады.

За аллеей начинался базар: лабиринт темных и узких улочек, пахнущих поджаренными орехами, лепешками, маслом какао, кокосовым соком и тысячью тяжелых запахов всевозможных пряностей. Выкрики и музыка, людская толчея, пестрые одежды, тюрбаны, украшения из перьев и звериных шкур, женщины в восточных сандалиях и па-

ранджах, голые ребятишки. В узких закоулках базара сотни ремесленников прямо на земле со своими мастерскими, торговцы лимонадом, бараньи или какие-то еще туши, жарившиеся на вертеле. Прежде я никогда не ел и не пил в таких местах, но сейчас, усталый, присел на веранде крошечного сказочного кафе, сделал знак: желаю, мол, кофе. Разложил на столике перед собой пестрые проспекты. Летайте самолетами компании КЛМ. Посетите Японию. Вас приглашают прохладные воды Скандинавии. Полюбуйтесь Ниагарой. Попытайте счастья в Монте-Карло. Ночь в Куала-Лумпуре. Танцовщицы в Бали. Гавайи. О, голубые Гавайи! Я оторвал взгляд от проспектов, только когда морщинистая, старая рука поставила на мой столик круглый медный поднос, а на нем — в медном кофейнике — клокочущий кофе, на донышке фарфоровой чашки серебряный полумесяц, в крохотном стакане — свежая вода с искрящимся кусочком льда (упаси бог выпить!) и сладкий как мед лукум, наколотый на тоненькую палочку. Я смотрю снизу вверх на обладателя тысячи морщин, и лицо мужчины, иссеченное морщинами, его глаза, тюрбан кажутся мне знакомыми. Да ведь это он мне обычно снится, он и есть тот самый турок, который всегда напоминает мне, что время проходит. Старик печально улыбается, словно и он узнал меня. Проспект с приглашением на голубые Гавайи соскальзывает на пол. Я даже и с Фрипортом не познакомился как следует, ушло мое время. Мне вдруг вспоминается бабушка. Она была уже очень старой. (Очень? Сколько ей тогда было? Семьдесят? Шестьдесят?) Она работала с утра до ночи, летом, бывало, целыми днями заготавливала на зиму компоты из яблок и абрикосовые варенья, сушила груши и сливы, консервировала помидоры и огурцы, делала тархоню[1], коптила мясо и раздавала все это своим детям и внукам и постоянно причитала: «Что с вами будет, когда меня не станет?». Каждое поколение считает, что мир держится на нем и важно только то, что оно считает важным. «Разве я просила вас родить меня? — однажды гневно выкрикнула нам Кати.— Мне вы этим оказали не бог весть какую услугу». Мои дочери пришли на все готовое. Ну а мы? Разве мы должны жить так, как мы живем — лишая себя куска мяса, отказываясь от поездки в отпуск, и делаем ли мы для них добро, поступая так? Может, было бы лучше, если бы мы попросту сказали: каждое поколение само должно бороться за свое счастье как умеет.

Возвращаясь к порту, я остановился на минутку перед маленькой лавкой чеканщика по серебру. Дивные вещи были разложены у него на прилавке: амулеты необычной формы, цепочки, браслеты. Один тоненький браслетик мне особенно пришелся по вкусу, будто две буквы «V» были сцеплены между собой. Я еще никогда не покупал Илонке украшений. Странно. За тридцать лет супружества — ни разу. Только обручальное кольцо надел на палец — и все.

К утру мы вернулись на монтажную площадку. По Илонкиным глазам я понял, что эту ночь она не спала. Я достал завернутый в шелковистую бумагу браслет и надел его ей на запястье.

— Какая прелесть!

Она обняла меня, поцеловала, потом принялась вертеть в руках чудо ювелирного мастерства.

— Просто прелесть! — повторяла она.— Ты знаешь, мы его подарим первой нашей внучке.

В те совершенно отчаянные годы, когда отец не мог найти себе никакую работу, зашел как-то разговор о тете Бетти и ее семействе. «Напишу-ка я Эржике,— сказала мать.— Может, пришлет нам хоть пару долларов. Когда они с Ферко и Банди здесь бедствовали, мы их не раз выручали...»—«Не надо, не пиши,— покачал головой отец.— Если бы у них были деньги, они и сами прислали бы. Она же тебе так и сказала». Конечно, она сказала это, когда прощалась с нами, что сто-

[1] Мучное блюдо, род домашней лапши.

крат отблагодарит и сестру и шурина и за материю на пальто и за цепочку, за их доброту. Если у них есть деньги, они пришлют. А если нет, им только еще тяжелее станет и от того, что бедны, и от того, что нам не могут помочь.

Но мы так и не узнали никогда, что сталось с тетей Эржи и ее семьей: когда родились у нее девочки-двойняшки, когда умер дядя Билл, кто еще жив из их рода, что делают они теперь. Говорят ли они по-венгерски? Не собираются ли вернуться назад, на родину отцов? Или хотя бы в гости приехать? О смерти Андраша (Эндрю) они сообщили уже после войны в открытке, посланной через Красный Крест. И потом изредка нет-нет да и присылали открытки: живем, мол, растут девочки, внуки.

Мы и сами не надеялись, что от Фреда придет ответное письмо. Да еще какое. На нескольких страницах, сердечное, дружеское, словно мы вчера только с ним расстались. Разумеется, он не сердится, что мы так редко пишем, ведь он и сам не любитель писать, куда проще — снял трубку, поговорил, а еще проще — сел в самолет и вот уже можешь обнять своего двоюродного братца. Это же великолепно! Кем ты стал, Геза? Генеральным директором, министром или хозяином рудника? Но все равно, хорошо бы, если бы вы выбрались к нам на уик-энд, да что там уик-энд, на три-четыре недели! Словом, садитесь в самолет, Барбара, моя жена, будет в восторге, она уже приготовила к вашему приезду комнату. Или вы хотите спальни с отдельными ваннами? А Илонка любит орхидеи? Или лучше поставить ей в комнату цветущую ветку апельсинового дерева? Прилетайте с первым же самолетом, будете жить здесь по-королевски, у нас свой бассейн и теннисный корт, а ребят уже нет дома. Джой два года назад вышла замуж, сейчас живет и работает в штате Айова; Джеффри преподает право в Сент-Джонском университете в Калифорнии, у него уже вышло четыре книги; Поль, наш младшенький, в этом году станет доктором, сейчас он живет в общежитии при колледже в Беркли; но дом мы все равно не продаем, и каждого из ребят ждут их прежние комнаты, чтобы дети могли вернуться домой всегда, когда пожелают, так что у нас комнат для гостей сколько угодно, и можете оставаться у нас, пока мы вам не надоедим, на это время предоставим вам в пользование «мерседес» Барбары, или же все вместе махнем к Ниагарскому водопаду — это от нас в двух шагах. Или слетаем на Багамские острова, ты знаешь, Геза, что там за женщины!!! Забросим бизнес на три недели, только приезжайте, мы так хотим вас видеть...

Мы перечитывали это письмо раз десять. А что, если в самом деле? В следующий раз поинтересуюсь во Фрипорте в конторе авиакомпании насчет цен на билеты. Ты знаешь, Илонка, что это у нас с тобой будет? Свадебное путешествие! Мы ведь так никуда с тобой и не съездили, ни в Шопрон, ни в Матрафюред. На полдня поехали в Леаньфалу, искупались в Дунае — вот и все.

Балаж опять приволок какого-то наполовину освежеванного козла, а может, носорога или антилопу. «Растяните на долгий срок, тетя Илонка, потому что какое-то время я не смогу охотиться». Илонка с восторгом принялась разделывать охотничий трофей Балажа, оставила инженера на ужин.

— В отпуск уезжаешь? — спросил я его.— Надолго, куда?

— Это немножко и от тебя будет зависеть, дядя Геза.

— От меня?

— Ну да.

Об очередности ухода в отпуск мы договаривались в здешнем филиале нашей фирмы, во Фрипорте. Инженеры и снабженцы проходили по разным ведомствам. Я возглавлял группу, поставляющую оборудование. Запасные части, транспорт, организация поставок — это все моя сфера.

— Словом, я, дядя Геза, имел в виду этакий «левый» отпуск. Мне бы эти три недели в самую пору пришлись — поохотиться. А вам весьма кстати — денежки.

— Какие еще денежки?

— Я бы отдал вам ползарплаты за эти три недели.

— Да ты с ума сошел. И как бы я справлялся с твоей работой?

— А никак. Пока не спадет вода после наводнения, и пока не высохнет ил, и не исчезнут полчища москитов, ни одна живая душа работать на шлюзы не выйдет. Ты только будешь расписываться за меня в журнале — и все. Как ты не можешь их закорючки разбирать, так и они наши с тобой подписи не отличают.

— Это ты всерьез?

— А что? Все так делают. Эх, когда Корпонаи тут был...

— Так вот, об этом не может быть и речи,— отрезал я.— Илонка, будем мы сегодня ужинать? Разговор этот потому еще беспредметен, что в следующем месяце мы сами уедем в отпуск.

— Я этого не знал. В Будапешт поедете?

— Нет. Еще не решили. Покажи-ка, Илонка.

Жена сгребла со стола груду проспектов из бюро путешествий вместе с письмом Фреда. У нас был один стол на все случаи жизни — кухонный стол посередине комнаты. Если его накрывали привезенной из дому вышитой скатертью — это была наша гостиная, если стол накрывали цветной клеенкой — столовая, если на нем я раскрывал две папки, наш стол превращался в письменный.

— Вот выбираем из этого вороха, куда поехать. Но скорее всего, слетаем к моему двоюродному брату в Америку.

— А разрешение уже получили?

— Какое разрешение? У меня же отпуск.

— Правильно. Домой, на родину — можете. А если куда-то еще, то нужно запросить разрешение в фирме, фото, паспорт заграничный.

— Паспорт при мне. Постоянный, на пять лет.

— Но действителен он, только если есть отдельное разрешение. Дядя Геза, ты этого в самом деле не знал или просто разыгрываешь меня?

Теперь я начинал что-то припоминать. Да, про какие-то там ограничения. Но как же так? Мне пятьдесят восемь лет, я на другом конце света, денег у меня на билеты хватит, всю жизнь я работал как вол, решил наконец отдохнуть так, как мне хочется, и, оказывается, нужно добывать еще какие-то разрешения...

— Ну ладно, Геза, успокойся,— испуганно сказала Илонка.— Идите ужинать. Сегодня у нас отличное тушеное мясо с овощами. По рецепту соседки-шведки.

— Но если вы все же надумаете,— сказал Балаж.— За три недели я могу заплатить вам триста долларов. Хотите в марках, хотите в швейцарских франках, в какой угодно валюте. И ни одна собака не докопается.

Проще пареной репы. Dear[1] Фред, мы были на седьмом небе, получив твое письмо. Но сейчас я здесь так необходим, что не смогу к вам поехать. Может быть, в будущем году... Ну а в этом — с удовольствием встретились бы с тобой здесь, у нас... Так мы и напишем Фреду...

Мы лежали на нашей довольно неудобной кровати, потные, задыхаясь от духоты под пологом от комарья. Обняв Илонку, я размышлял вслух, что мы напишем Фреду. Здесь нет ни кондиционера, ни бассейна, ни теннисного корта, но зато есть многое другое: если шведы, наши соседи, уедут в отпуск, они, может быть, предоставят на несколько дней в наше распоряжение одну комнату в своей квартире и мы с тобой будем совершать прогулки на вездеходе, съездим на

[1] Дорогой *(англ.)*.

два денька на сафари или покупаться в море, в конце концов важно что? Что мы с тобой встретимся, мама всегда настаивала, когда я еще мальчишкой был: Геза, учи английский, когда-нибудь тетя Эржи пригласит тебя в гости, и вы будете с Фредди обо всем разговаривать. Хорошо, одобрила Илонка, очень хорошо, пригласим Фреда, а я основательно приберусь в квартире.

— Илонка, скорее, катер идет! Да брось ты, черт побери, эту проклятую уборку. Ну какая разница, останутся в этом доме после нас две лишние пылинки или нет?!

Но Илонка помешана на уборке. Даже в Будапеште, когда девочки уехали в свадебное путешествие и у нас оставалось каких-то две недели до отъезда, а нужно было еще упаковать большие кофры, чтобы отправить их морем, сходить в таможню, собрать всякие документы, разрешения, справки и я носился из одного ведомства в другое, Илонка убиралась, хотя у нее болела и опухла от прививок рука, она драила паркет, мыла двери и люстру, выстирала шторы, какой-то рубленой капустой или еще чем-то чистила ковры, гладила белье и работала, работала до упаду. Из хозяйственного магазина сумками таскала какие-то чудодейственные стиральные порошки и пасты, «блеск» для мытья ванны и еще что-то.

— Зачем ты это делаешь?

— Не начинать же им жизнь в грязи,— смиренно отвечала она.— Они вернутся, а тут все чистенько. Да и мы с тобой уезжаем. Мама всегда говорила: только мертвый после себя не убирает.

А сколько ей пришлось убирать по приезде сюда, боже правый! Бесконечные дезинфекции, кипячение, посыпание обезвреживающими порошками и опрыскивания, какую титаническую борьбу вела она тут с плесенью, и сыростью, и неизвестно откуда появлявшимися жуками, молью, пресмыкающимися. Даже теперь, когда мы окончательно уезжаем отсюда, когда мы все уже раздарили, отдали соседям печку для поджаривания отбивных, и мясорубку, и кувшин на десять литров — в нем мы кипяченую воду держали,— шкафчик с медикаментами, в котором всегда наготове шприцы и ампулы с препаратами против столбняка, укуса змей, бешеных собак, средства против малярии и холеры. Нам все это уже не понадобится. Уезжаем. К счастью, миновали нас все эти напасти. Надеюсь, что миновали. И, упакованные, уже стоят строем чемоданы. Ждем прихода катера, который перевезет нас через реку, а там на нашем вездеходе мы совершим нашу последнюю поездку во Фрипорт, на аэродром, сядем в самолет, и если не налетит самум, песчаная буря, или не помешает еще что-нибудь... Сейчас нам надо бы вместе попрощаться с этим вот утром, с самым большим приключением в нашей жизни, с которым было связано столько надежд, но я тщетно зову Илонку, она ходит по квартире с тряпкой и вытирает от пыли убогую мебель, чтобы те, кто приедет после нас...

— Да иди же, Илонка, брось ты все это к...

— Иду, только что мне с этим делать?

— С чем, с «этим»?

Илонка приносит сумку, набитую какими-то бумагами. «Бросить? Сжечь? Я нашла их в ящике стола». Я заглядываю в сумку. Просматриваю бумаги. Счета, счета. За гостиницу «Холидей-инн» во Фрипорте. За выпивки в ресторане: две бутылки виски, еще четыре бутылки — в ресторане. За прокат автомобиля. Ладно, брось их в печку.

В ответ на наше письмо пришла телеграмма: «Приезжаю в воскресенье, Фред». Поспешность Фреда несколько нас озадачила. Шведы еще не уехали, и, кстати, я с ними даже еще и не говорил о комнате. Отпуск я мог взять самое большее на четыре дня. Посмеялись мы с

Илонкой, поохали: вот это действительно американские темпы: сел и поехал — вот так надо жить! Конечно, лучше, если бы он прежде спросил нас, когда нам будет удобнее принять его, но, в конце концов, мы ведь пригласили его, хотя, как обычно, не могли решить, когда нам удобней — на этой неделе или на следующей. А раз мы все равно поедем встречать его во Фрипорт, то возьмем в виде исключения какого-нибудь приличного мяса в торговом центре западного образца; до сих пор мы, правда, ни разу не брали денег со своего счета в банке, но, подумаешь, несколько швейцарских франков — не обеднеем.

В субботу мы поехали во Фрипорт. «Поехали»— здорово звучит. Фрипорт — это триста миль, и все с приключениями. Илонка редко бывает там, пусть и она хоть одним глазом посмотрит на мир. На одну ночь взяли номер в «Холидей-инне», лучше отдыха и не придумаешь. Номер с ванной комнатой, отделанной светло-зеленой плиткой, на ванне и унитазе полоски бумаги с напечатанными надписями: «Desinfected for your protection» [1]. В ванне можно спокойно погрузиться в теплую воду по шею, вода чистая — пей хоть прямо из-под крана, на ужин можете заказать жареного цыпленка с банановым пюре. Здесь можно жить: садись в кресле на террасе и разглядывай улицу внизу, бегущих по ней босоногих грузовых рикш, сгорбленного нищего или выпрашивающего глоток воды прокаженного на краю тротуара. А надоест — можешь пойти в свою комнату с кондиционером и посмотреть по цветному телевизору матч в бейсбол.

Фред прилетел после полудня. Мы знали друг друга только по фотографиям. С самолета, прибывшего рейсом из Франкфурта, сошло много пассажиров, но Фреда ни с кем не спутаешь. Удивило меня еще, что хотя он лет на восемь старше меня, но выглядел он как мой младший брат. Высокий, пружинистая походка, ни единого седого волоска, изумительно сшитый костюм, элегантные чемоданы. Мы обнимались, разглядывали друг друга, я вспомнил мать и миллион раз помянутую ею тетю Бетти. Эх, если бы покойница мама и ее сестра могли знать, где их дети обнимут друг друга! Мама первым делом посмотрела бы, похожи ли мы. Может, вздохнула бы: да, ничего не скажешь — одна кровь! Но Илонка спросила Фреда: «Ты наверняка проголодался!»— и вернула нас на землю.

— Ничего, вместе поужинаем,— ответил Фред.— Я заказал номер в «Хилтоне».

Я смущенно промолчал, ведь я предполагал, что мы все переночуем в «Холидей-инне», я даже и представить не мог, во что обойдется «Хилтон». Ну да ладно, одна ночь, куда ни шло... Между прочим, вездеход ждал нас на аэродроме. Но для Фреда подали «бьюик»: он еще из Нью-Йорка заказал себе машину. «Зачем,— буркнул я,— на монтажную площадку все равно никаким иным транспортом не добраться — только на вездеходе и пароме».

— Ладно, не имеет значения, подумаешь, пара долларов,— Фред пожал плечами.— Вот этот большой чемодан, Геза, сразу положи к себе. В нем подарки для вас.

Два с половиной дня мы пробыли в «Хилтоне», но платить надо было за полные три дня. Нам с Илонкой тоже пришлось перебраться в «Хилтон».

— Неужели ты собираешься жить в каком-то «Холидей-инне»?— поразился Фред.— Ведь ты директор или министр, не знаю, кто уж ты там...

А когда я запротестовал и начал объяснять ему, что я — всего-навсего представитель фирмы, ответственный за поставки, он сказал: «Скромничаешь. Если человек хочет сделать карьеру и знает себе цену, то он живет на ступень выше, а не на пять ступеней ниже, чем ему положено. Это, между прочим, один из секретов успеха его бизнеса. Он никогда не полетит туристским классом, лишь бы подешев-

[1] Продезинфицировано для вашей безопасности *(англ.)*.

ле. Он совсем по-другому себя чувствует, когда спускается с самолета по специальному трапу для VIP[1].

«Хилтон» был великолепен, подарки Фреда — умопомрачительны: для Илонки броши с рубином и топазом, мне целый вагон сорочек из шелкового поплина, золотые запонки и заколка для галстука, радиомагнитола, кинокамера, «паркер» с золотым пером.

— Ты с ума сошел, Фред!

— Пустяки! — смеется Фред. У него безупречные зубы.— Подумаешь, пара долларов. Главное — это успех и молодость, правда, невестка?

Я, пораженный, глядел на Илонку — как она помолодела рядом с Фредом. Фред включил магнитофон. «Strangers in the Night». «I left my heart in San Francisco»...[2]

— Идем танцевать, Илонка!

Мы с ней никогда не танцевали, я считал себя неуклюжим медведем, Илонка тоже не любила танцевать, а тут вижу, она так и прильнула к Фреду, словно в забытьи или захмелела. И они, обнявшись, помолодевшие, закружились в хилтоновском салоне, огромном, как танцевальный зал, в опьяняющем аромате орхидей и цветущих апельсиновых деревьев, льющемся через открытую балконную дверь.

Когда сели ужинать, Фред первым взял переплетенное в кожу ресторанное меню. На закуску: ветчина с дыней и жареная телятина с салатами и помидорами по-провансальски; несколько сортов сыра и разные сладости, кремы, мороженое, портвейны и шотландское виски.

— Я собираюсь заключить серьезные контракты,— сказал Фред.— Привезу с собой из Штатов двести—триста рабочих. Беру и тебя тоже в долю. Кстати, я знаю одно венгерское слово,— заметил он под конец.— Честно. Покойная мама меня ему научила: «тряп-ка».

В понедельник я впервые снял со своего счета во фрипортском банке деньги. А во вторник после полудня мы на вездеходе выехали на монтажную площадку. Счет в «Холидей-инне» был довольно большим. Сколько же это будет стоить в «Хилтоне»? Мы вместе с Фредом подошли к стоявшему за стойкой портье.

— Я еще не поменял чеки,— сказал мне Фред.— Ты сможешь за меня уплатить эту мелочишку?

— Конечно,— покраснев, сказал я.— Разумеется.

Я взял в руки счет и едва удержался на ногах. Уже одни цены за комнаты были умопомрачительными. Но в счете стояло и еще кое-что, помимо того, что мы заказывали.

— Фреди, тут все правильно? — спросил я. В счете значились два обеда и два ужина, а также два телефонных разговора с Мадридом, один со Стокгольмом и один с Нью-Йорком. И спиртное, спиртное — без конца. Четыре бутылки виски, французские вина, бутылка «Наполеона». Фред величественно кинул мне: «Все в порядке, набрось процентов пятнадцать на чай».

Пока мы добрались до монтажной, Фред постарел. По дороге он несколько раз спрашивал, где бы чего-нибудь выпить. Илонка с готовностью предлагала: есть целых два гермоса: один — с кофе, другой — с лимонадом. Фред только осклабился в ответ: выпить, невестушка, «выпить», а не «попить». Но виски у нас не было, ни с собой, ни даже дома. В доме мы держали граммов двести бренди — на случай, если голова разболится или живот. А так мы спиртное не употребляли.

[1] Very important persons *(англ.)*— особо важные лица.

[2] «Путники в ночи». «Мое сердце осталось в Сан-Франциско» — лирические песни американских авторов, популярные в 50 — 60-е годы.

Трехэтажные бетонные кубы на нашей монтажной площадке неприятно поразили Фреда. Это ваши дворцы? Из наших двух комнат большую мы уступили гостю. Сами забрались в тесную нишу-альков. Я обежал соседей, выпрашивал у кого что было из спиртного. Возвратился с начатой бутылкой рома и бутылкой коньяку. Здесь со спиртным туго. В единственной столовой подают только пиво. Монтаж — ответственное и опасное дело, официально водку сюда мы запрещаем привозить, в туземной деревне можно достать какую-нибудь хмельную бурду.

Когда я вернулся, Фред уже распаковал свои вещи, разложил по комнате костюмы. На книжной полке, сколоченной мною из старых ящиков, расставил, оказывается, имевшиеся у него в чемоданах непочатые бутылки с джином и виски — запас, которого мне хватило бы по меньшей мере лет на шестьдесят.

Фред пил из стакана что-то спиртное и глотал цветные пилюльки.

— Что это ты принимаешь? — пораженный, спросил я.

— Так, ничего. Голова разболелась.

Илонка, расстроенная, стряпала что-то на кухне.

— Где будем есть?

Но Фреду было не до ужина. Он сидел грустный, магнитофон не включал, только наливал себе стакан за стаканом.

— Есть здесь какой-нибудь бар? Увеселительные места? Шоу?

— Нет.

— Даже телевизора у вас нет?

— Тут ни одной станции не поймаешь. Горы вокруг!

— И какого же черта вы тут делаете?

— Работаем. Ты устал, ложись отдохни. Завтра я все тебе покажу. И на два дня съездим на сафари или к морю.

Наутро Фред попросил только крепкого черного кофе, потом он снова принимал лекарство и снова пил. Когда мы уселись в вездеход, он был уже изрядно пьян. Я свозил его к строящейся плотине, к водохранилищу, к гидростанции, показал протянувшуюся далеко-далеко, к горизонту, вереницу серебристых мачт высоковольтной линии. «Капиталовложения на много сотен миллионов долларов»,—пояснил я ему.

— А сколько ты здесь зарабатываешь? — спросил он.— Тысяч восемьдесят—сто в год?

Я рассмеялся:

— Шутишь? Даже десятой доли этого не получается.

Фред оживился:

— Так для чего тебе здесь торчать? Едем со мной. Вступай компаньоном в мою фирму. Сделаем большой бизнес. Наберем здесь рабочих. Знаешь, чем я занимаюсь?

Мы вошли в рабочую столовую. Там сидело несколько шоферов, трое монтажников из второй, послеобеденной, смены. Все уважительно поздоровались со мной. Это произвело впечатление на Фреда. Нам подали кофе, Фред снова завел давешний разговор:

— Беру тебя в компаньоны. Слышал ты что-нибудь о worm-business? [1] Так вот слушай, братишка. Был у меня один садовник-негр, еще давно. Траву подстригал в саду. Как-то рано утром просыпаюсь — я, знаешь, плохо сплю, потому и принимаю всякую дрянь — и вдруг вижу, мой Джимми копается в саду. Ползает по земле, рядом с ним ведерко. «Эй, Джим,— спрашиваю,—что ты там делаешь?» Джим испугался. «Ничего плохого, хозяин,— говорит,— только червяков собираю». Оказывается, он червей для наживки собирает. Их можно продавать в лавку рыболовных принадлежностей. Десять тысяч штук— десять долларов. А кто их там считает. Берут на вес. Наберешь пожирнее червяков — твое счастье. «И сколько ты их за ночь собираешь?» — «По-разному, хозяин. После дождя они так и лезут из земли. А я, говорит, хозяин, если много денег накоплю, буду арендовать пло-

[1] Бизнес на червях *(англ.)*.

щадку для гольфа, найму десять рабочих, они у меня с вечера до полуночи будут площадку поливать, а утром можно и червей собирать. Богатым человеком, говорит, стану». Ну наутро я уже арендовал в округе десять гольфовых площадок, заключил договор на пять лет. Нанял рабочих, грузовик. Если ты помнишь из географии, наша местность — это район Великих озер: Верхнее, Мичиган, Эри, Онтарио, Гурон. Это же американский рай для рыболовов. Каждое утро поставляю одной кливлендской фирме рыболовных снастей свою добычу, а денежки текут в мою кассу. Но одному мне, Геза, это уже не под силу.

— У тебя же взрослые дети. Могли бы помочь. Или Барбара.

— Здесь в самом деле нет ничего спиртного?

— Пиво могут подать.

— А-а...

— Я возьму на два дня отпуск. Поедем в горы.

— Нет. Навряд ли. Не могу я больше задерживаться. Видишь, каково приходится, когда один ведешь дело. Надо ехать.

— А мы надеялись, что ты недельки две-три побудешь у нас.

— Ну что ты! — раздраженно отмахнулся он.

— Может, мы его чем обидели? — шепотом спросила Илонка, когда мы ночью забрались с ней под сетку от москитов.

— Не знаю. Не думаю. Я сам не понимаю...

Наутро я отвез Фреда во Фрипорт. Здесь на монтажной я научился водить машину. Тяжело это мне далось. Шоферы намучились со мной. Несколько месяцев я каждое утро на рассвете тренировался два часа в вождении машины, без этого здесь пропадешь. Но в город всегда ездил еще с кем-нибудь, кто тоже мог водить машину. Но теперь пришлось везти Фреда. Фред снова злился: «Ползешь, как вошь». Потом смягчился, постарался загладить: «Не сердись, я, видишь, нервничаю. Послушай, Геза, сколько ты можешь одолжить мне?» Мы ехали по дамбе, подъезжали к парому. Я от изумления чуть не вывернул руль, и мы едва не свалились в реку. «Что? Чего одолжить?»—«Денег. Денег. Сколько сможешь. Мы же братья. Ты обязан мне помочь. В конце концов, мать моя всегда посылала вам доллары».

Дамба была глинистая, мокрая, скользкая, мне нужно было сосредоточить все внимание на дороге. Смысл его слов дошел до меня только через две-три секунды.

— Ты что, не хочешь мне помочь? Я же взаймы у тебя прошу. Или если вступишь в мою фирму компаньоном... У меня масса замечательных идей. Я все время веду переговоры и с мадридскими фирмами, и с Южной Африкой, и со Стокгольмом. Мне шестьдесят четыре, но выгляжу я на пятьдесят. Я еще держусь, не даю себя утопить. Бизнес на червях прогорел. Сейчас уже чуть ли не на всех гольфовых площадках их собирают. Дешевле всех поставляют червей пуэрториканцы. А фермеры вообще придумали, что лучшая приманка — кукуруза и искусственный, из пластмассы, червяк, но пахнущий как настоящий дождевой червь. Теперь цена за десять тысяч — девять центов. Такая конкуренция, дальше некуда! Нужны деньги. Деньги! Вот посмотри — это моя карточка на получение кредитов...

Я не стал смотреть на его карточку, мне нужно было смотреть на дорогу — каменистую, без обочины, всю в ямах и корнях деревьев. Только на миг я скосил глаза на полоску голубого картона в его руке.

— Под нее я покупал и билеты на самолет, под нее — виски и магнитофон.

— Тогда зачем же ты вез нам подарки? Драгоценности? Ты что же думаешь, мы сможем их от тебя принять? — похолодев, спросил я. «И ты еще швыряешься деньгами, как миллионер?»— хотел добавить я, но вместо этого сказал: — Мы все отошлем тебе обратно: и запонки, и броши, и магнитофон. Но денег у нас, увы, нет.

— Что ты там говоришь о подарках? Это же мелочь! — перебил он меня.— Ты мне сказал, Геза, что в эту стройку вложены миллиарды. Продай свои акции или что там ты в нее вложил. И уверяю — не пожалеешь. Со мной можно делать дела. Но сейчас мне нужны наличные деньги. Сейчас. У меня горит одна страховка. Выгодная, но ужасно дорогая страховка. Начиная с семидесяти лет я могу жить в доме для престарелых «Приют золотого возраста». У нас так называют возраст после семидесяти. «Золотой возраст». Неплохо, а? Но все пойдет прахом, если я не смогу регулярно выплачивать взносы до наступления этого возраста! Великолепный пансион в прекрасной вилле, на берегу моря. Кресла-качалки на террасе, старички сидят и качаются в креслах, любуются цветами и морем. Но если я не выплачу страховку до конца...

— А твои дети? У тебя же трое детей.

Фред ничего не ответил, а я не стал повторять свой вопрос.

Когда самолет взлетел, на душе у меня было омерзительно. Но откуда я мог взять для него денег? На моем счету во Фрипортском банке была очень скромная сумма, включая и те триста долларов, что предложил мне Балаж.

Мы уже привыкли, что, если просить девочек прислать что-нибудь, нужно писать минимум раз пять. Кончались наши дезинфекционные средства, мне нужна была одна книжка по специальности. Я писал и снова писал им. Илонка же, разумеется, оправдывала их: долго идут письма, наверняка они сильно заняты на работе, далеко почта. Но ведь из шестерых хоть один-то может найти свободную минутку? На наши вопросы они вообще не отвечали. Где учитесь? Где работаете? Хорошо ли уживаетесь друг с другом? Удалось ли скопить хоть сколько-нибудь денег? Мы честно докладывали им о том, как растут наши сбережения. На рождество мы всегда посылали им немного фруктов, а если кто ехал домой, посылали с оказией какой-нибудь недорогой подарок с припиской: милые доченьки, сыночки, сами понимаете, что ничего другого прислать не можем, нам нельзя сорить деньгами, только общими усилиями мы чего-то сможем добиться.

— Как ты думаешь, у нас дома уже взошло солнце? Что они там сейчас поделывают? — спрашивала меня иногда Илонка.— Как ты думаешь, Геза, когда мы вернемся, может, у нас уже и внучек будет?

За год до возвращения мне все же пришлось написать им построже: мы до сих пор накопили столько-то и за оставшийся год попробуем еще столько-то набрать, ответьте и вы наконец, как дела у вас, и поинтересуйтесь, пожалуйста, насчет возможности либо купить однокомнатный дом, либо разменяться, разделить нашу квартиру, построить другую. Сходите к дяде Тони, он хороший адвокат и специалист по недвижимому имуществу. Если понадобится, он порекомендует вам инженера-проектировщика. Мы приедем в конце ноября. Ясно, что миллиона мы здесь не заработали, но с нашими швейцарскими франками в течение года попробуем что-то предпринять.

Месяц ждали ответа. Два месяца. Ни строчки.

— Не подгоняй их,— умоляла Илонка.— Пока они все прикинут, посмотрят.

— Могли бы и раньше посмотреть. Должны были давно посвятить нас в свои планы.

В конце концов я написал Тони (моему приятелю, школьному товарищу, крестному отцу Аги). С обратной почтой пришел ответ: были у него наши дети, обсудили много вариантов, скоро вышлют проекты.

— Ну вот,— сказала Илонка,— я же чувствовала.

Балаж остается на монтажной площадке еще на полгода. В основном мы свои работы здесь закончили. К рождеству приедет комиссия во главе с Яблонкаи. Состоится официальная сдача объекта, но

мне этого уже не нужно дожидаться. После нас снимутся с места и ребята из группы Балажа и со всеми машинами и оборудованием переберутся в другую страну, тут, по соседству.

— А домой когда ты собираешься? — спросил я его.

Балаж приветливо ухмыляется, достает записную книжку:

— Вот когда возле каждого из пунктов будет стоять птичка.

Я смотрю в его список: «мерседес»-дизель, вилла в Леаньфалу, кооперативная квартира и дальше подробная «детализация»: сколько ковров, какой сервиз, сколько штор, сколько тысяч в валюте.

— Тебе много лет?

— Еще могу ждать. Потом уеду домой и женюсь. Пойдет за меня любая, какую только пожелаю. Придете на свадьбу, тетя Илонка?

— Конечно, приду,— говорит жена.— Испеку вам ореховый торт.

Гигантские болотные кипарисы стоят строем вдоль реки. Их воздушные корни торчат из земли, будто груда кеглей. Говорят, дельта реки Миссисипи вся заросла болотными кипарисами. О господи, Миссисипи! Катер уже совсем близко, я слышу воркотню его мотора. Но когда я закрываю глаза, я не понимаю — катер это, или мотор автобуса, или это барабаны, или мое сердце? Я прошу Балажа, чтобы после нашего отъезда он подкармливал обезьяну. Старая обезьяна, отбившаяся от своего стада, приходит к нашему дому и клянчит фрукты. И чтобы он присматривал за нашими цветами в ящике под окном. Илонка вся в этом: вокруг джунгли, со всех сторон тянутся какие-то ветки, лианы, цветущие кустарники, но ей еще помимо всего этого нужны цветы. Каких только цветов с никому не известными названиями не выращивает она в двух деревянных ящиках на нашем крыльце... Катер приближается. Значит, это у меня болит сердце? Вчера я со своим переводчиком ходил в деревню прощаться. С прорабом, у которого за четыре года вместо двенадцати детей стало пятнадцать, самого младшего из его сыновей я держал на руках во время какого-то обряда с огнем и водой. Прораб обнял нас, Илонке повесил на шею гирлянду из цветов. Я отщипнул от венка один лепесток и положил в бумажник, рядом с рисунком зайца. В деревне по случаю прощания с нами били в барабаны, жители пустились в пляс, втянув и нас в свой хоровод. Один рабочий со стройки, очень умный и способный — имя у него такое трудное, что мы звали его просто Дюри,— преподнес мне каравай хлеба и вдруг заплакал. Да, это сердце у меня болит, потому что никогда не будет больше знойного, беспощадно-синего неба, этих непроходимых джунглей, чего-то коричневато-зеленого, неторопливо плывущего по реке, о чем только вблизи можно с определенностью сказать, ствол это плывущего дерева или крокодил; не будет этих чужих ароматов, утренних зорь, вспыхивающих среди глубокой тьмы, не будет песен, звучащих в туземной деревне, влажного зноя и змей, с шипением вылезающих из молочной крынки, не будет гидростанции, где со вчерашнего дня уже вертятся лопатки турбинных колес. Подходит катер, и я с тревогой чувствую: щемит сердце.

Пришло ответное, подробное письмо от дочерей и зятьев: «...Что касается денег, то мы не много можем вложить в это дело. Да и это еще не очень точно... Есть еще надежда... Обещали в сентябре заплатить... Возможно, до тех пор и мы что-то подкинем...»

Могу себе представить, сколько споров и ссор было, пока шли эти подсчеты... Если вы всего лишь столько накопили, чего же я буду из кожи лезть?! Зачем вам было покупать цветной телевизор? А вам — мотоцикл? Мотоцикл был хорош, пока мы вам его давали покататься?! Ты говорила, что с первого числа пойдешь работать... Занимайся своими делами... А ты верни мне тысячу, которую я тебе взаймы дала... Господи, старики уже возвращаются. Как время летит!..

Но наконец готовы и соображения и проекты. Трехкомнатную квартиру можно переделать в две двухкомнатные. Передняя большая,

из нее спокойно можно выгородить маленькую ванную. Скажем, здесь поставим стенку, там прорубим дверь, и получатся две изолированные квартиры с отдельными входами... Прилагаем и предварительную смету... Тогда останутся еще деньги на покупку двух комнат в доме на Матяшфельде, которые были бы впору Юдитке, потому что они к весне ждут прибавления. Прилагаем фотографию дома и смету необходимых перестроек. Старая мебель не стоит ни гроша. На оставшиеся деньги можно было бы купить мебель...

Мы с Илонкой девяносто девять раз просматриваем планы, чертежи, пояснения к ним. Нет сомнения, дети наши все учли, все продумали. Только на сотый раз я вдруг спохватываюсь:

— Послушай, Илонка, здесь же все спроектировано из расчета на три квартиры! О нас с тобой они просто забыли!

Что это? Пробили какие-то огромные часы? Или урчит мотор? Похоже, часы! Из тумана на меня надвигается чье-то неясное лицо. Время, время, время. Огромный турок в тюрбане кружит по базарной площади и дергает за шнурки марионеток кукольного театра. Я снова маленький мальчик и тяну за руку бабушку: хочу в кукольный театр! На сцене театра сказочный город из фанеры телесного цвета, с башнями, церквами. Я хочу пойти по этой намалеванной на фанере улице, между ее домами. Я одновременно и ребенок и взрослый. И я знаю, что это одновременно и театр кукол, и Париж, и наша квартира в Будапеште, и река, кишащая крокодилами, а старый турок — он одновременно и водитель автобуса, и моторист на катере, и пилот самолета, выключающий мотор, потому что ему не дают разрешения на взлет. Заман, заман, заман, время, время, время — печально говорит турок, и бабушка тянет меня за руку прочь от кукольного театра.

— Нельзя хотеть все сразу,— говорит она.— Какой ты ненасытный. Тебе и театр подавай, и сахарную вату, и десять крейцеров. Разве можно быть таким жадным? Когда дети рождаются, у всех кулачки сжаты, им хочется всего! Все мое! А умирает человек раскрыв ладони: вот, видите, как бы говорит он, ничего не уношу с собой!

«...Все сейчас получат завтрак. И попрошу всех приготовить билеты. На паспортный и таможенный контроль пойдем все вместе, автобус сейчас подадут...» Представитель МАЛЕВа снова весь в мыле, мы проходим через огромный зал аэровокзала, волоча за собой багаж, послушно достаем документы, заполняем бланки. Четыре молодых человека толкутся вместе с нами, небритые, с серо-зелеными лицами. Они охают, задерживают очередь, останавливаются. Все прочие вначале только потешаются над ними, пока наконец одна пожилая дама, возвращающаяся с симпозиума преподавателей музыки из Токио — она уже четвертый день в пути,— не выдерживает:

— Ну что с вами, молодые люди? Что вы все хнычете?

— Не выспался,— жалуется здоровенный детина.— Не привык, чтобы меня в четыре утра вытаскивали из постели.

Преподавательница музыки смеется:

— Господи! Только и всего-то. Поднялись раньше времени? Из чего же вы сделаны, если так раскисли?! Из сахара?

— Вам легко! — спешит ему на помощь товарищ.— Вы закалились. У вас вторая мировая война была...

По лестнице вверх, по лестнице вниз. Зря упаковали коньяк в красный баул. Идем через выход номер три, над аэродромом по-прежнему еще туман, белый легкий полог, но сквозь него уже проглядывает опаловое солнце. Видно и самолет. Двое внешторговцев проталкиваются вперед.

— Ну сейчас погода все же лучше, чем вчера вечером,— улыбаюсь я стюардессе.

— Да, чуть-чуть. Будем надеяться...

■

ТОМАС БЕРНХАРД

Подвал

ПОВЕСТЬ

Перевод с немецкого Р. РАЙТ-КОВАЛЕВОЙ

Все это беспорядочные, но непрерывные движения вперед по неизведанным путям и к неясной цели.

МОНТЕНЬ

Других людей я отыскал *в противоположном направлении,* когда я вопреки здравому смыслу с утра отправился из дому не в ненавистную мне гимназию, а на спасшую мне жизнь работу ученика в продовольственной лавке, и пошел не с сыном адвоката, по Райхенхаллерштрассе, в центр города, а с сыном слесаря, из соседнего дома, и, повернув на Рудольф Библьштрассе, мы пошли не через заросшие парки, мимо красивых особняков, в Высшую Школу Жизни крупной и мелкой буржуазии, но мимо приюта для слепых и Дома призрения для глухонемых, через железнодорожные пути, шребергофские сады, мимо спортивных площадок возле Лейнерской психиатрической больницы, в ту Высшую Школу Жизни других людей, людей свихнувшихся или причисленных к таковым, словом — в шерцхаузерфельдские трущобы, на самую жуткую окраину Зальцбурга, источник почти всех преступлений, всех судебных процессов, где в одном из подвалов держал продовольственную лавку господин Карл Подлаха, человек неуравновешенный, обидчивый, бывший житель Вены, который мечтал стать музыкантом, но так и застрял в своей продовольственной лавке. На службу меня приняли сразу. Господин Подлаха вышел в прихожую, где я его ждал, мельком оглядел меня и сказал, что, если хочу, могу сразу приступить к работе, и он тут же открыл стенной шкаф, вынул оттуда один из своих рабочих халатов, сказал, что он, наверно, будет мне впору, и я накинул халат, хотя он, конечно, был мне не впору, но, сказал господин Подлаха, *предварительно* я могу его поносить, и несколько раз он повторил *предварительно,* потом подумал и вывел меня через лавку, где толпились покупатели, на улицу, в соседний дом, где находился склад. Тут я должен был до двенадцати часов все убрать, и мой хозяин и наставник, сняв метлу, сунул ее мне в руки. А в двенадцать часов он, Подлаха, обещал поговорить со мной обо всем остальном. Я остался в одиночестве, в темном складе, где, как и во всех складах, запах всякой снеди смешивался с запахом подвальной сырости, и у меня было время наедине обдумать все, что со мной произошло. Я совсем замучил заведующую Биржей труда и за час добился того, чего хотел,— места ученика в трущобах Шерцхаузерфельда, чтобы, как я считал, *приносить пользу* людям, работая среди них. Сейчас я чувствовал, что избавился от величайшей бессмыслицы, придуманной людьми,— от гимназии. Вдруг я почувствовал: наконец-то моя жизнь снова стала полезной, я опять могу приносить пользу. Я избавился от кошмара. Я уже представлял себе, как я буду рассовывать покупателям в их сумки и муку, и сало,

и сахар, и картошку, и крупу, и хлеб,— и я был счастлив. Да, я свернул с Райхенхаллерштрассе и замучил заведующую Биржей труда. Она предлагала мне много адресов, но долго не давала адреса *в той, в другой стороне.* А я хотел уйти именно *в другую сторону.* Я подмел склад, и в двенадцать часов запер двери, и пошел, как было условлено, в лавку. Господин Подлаха познакомил меня с приказчиком (Гербертом) и с мальчиком-учеником (Карлом) и сказал, что обо мне и про меня ему знать ничего не надо, лишь бы я оформился на работу и приносил тут *пользу.* Вдруг он сам сказал это слово — *польза,*— без всякого нажима, будто это слово было его любимым. А для меня оно было главным. Казалось, кончилась моя бесполезная жизнь, несчастная жизнь, страшное время. Передо мной тогда стоял выбор — две возможности, и мне поныне это ясно: либо покончить с собой, но на это у меня не хватало мужества, либо уйти из гимназии, и вдруг вышло так: я не покончил с собой, и вот я — уже ученик в лавке. И все пошло как надо: домашние отнеслись к этому либо равнодушно (моя мать, мой опекун), либо с огромным пониманием, с готовностью понять (мой дед). Все сразу привыкли к новому положению дел, никаких споров, никаких возражений. Да я уже давным-давно был предоставлен сам себе, и до чего я был одинок, мне стало ясно только теперь. Схватить себя за горло и выброситься в окошко или под ноги моим родным — в любом случае воздействие было бы одно и то же. Я бросил в угол свой школьный портфель и больше его не трогал. Мой дед сумел скрыть свое огорчение, теперь он уже мечтал, как я стану способным, дельным коммерсантом и в этой профессии (его слова) мой талант проявится еще ярче, чем в любой интеллектуальной области. Он винил в моих неудачах то, что я родился в такое жуткое, такое несчастливое время, был брошен в такую пропасть, что выбраться оттуда не было никаких человеческих возможностей. Но вдруг для него, всю жизнь презиравшего торговый люд, ссылаясь при этом на свой многолетний опыт, слово «купец» стало почетным, а дело это — важным и значительным. Сам я не имел никакого представления о своем будущем, я не знал, кем я стану, я вообще никем стать не собирался, я просто хотел приносить пользу. Вдруг совершенно неожиданно эта мечта стала моим прибежищем. Годами я ходил туда, где фабриковали ученых, годами обрабатывался машиной, которая в меня вгоняла науку, оглушая, оглупляя, сводя с ума, и вот теперь я снова оказался среди людей, понятия не имевших об этой машине, не испоганенных ею, никогда не приходивших с ней в соприкосновение. И я полюбил все, что увидел, я ко всему относился всерьез. Бывали дни, когда сотни людей толпились в лавке, когда с восьми утра наши двери осаждали голодные и заморенные люди, словно крепость, где хранилась спасительная пища, бывали дни, когда на смену приходили одинокие старики пенсионеры и запойные пьяницы бабы. Кроме того, наш подвал, продуктовая лавка господина Подлахи, всегда был центром этого района, здесь не было ни одного места, где можно было бы отдохнуть — ни гостиницы, ни кафе, ни ресторана, только унылые, отвратительные здания, словно нарочно построенные так, чтобы унизить живущих в них людей, потому что в таком жилье любой человек, независимо от его характера, был обречен на гибель, на медленное умирание: в этой мерзости, в этой унылой монотонности все живое в человеке, независимо от его душевных качеств, было обречено на медленное загнивание, на распад, на погибель. В подвал приходили женщины вовсе не за покупками, а просто так, они вдруг появлялись, почти всегда в одно и то же время, немного растерянные, просто для того, чтобы перебросится несколькими словами, и как только они (спускаясь по бетонным ступенькам) появлялись в подвале, сразу было понятно, что пришли они сюда, лишь бы убежать из жуткого своего жилья, хоть на минутку успокоиться, отойти, ожить. Для

других обитателей этих трущоб наш подвал стал единственной и последней отдушиной и спасением. У многих заходить в подвал вошло в привычку, они приходили каждый день по нескольку раз не оттого, что сначала не хватило денег на покупку какой-нибудь мелочи, например лишней пачки масла, а только потому, что для них жизненно необходимой была эта передышка, эта возможность хоть на минутку убежать к нам, в подвал, из невыносимой, просто убийственной домашней обстановки. Они входили, робея и смущаясь, словно оправдываясь, что зашли сюда. Только теперь, с первых дней в новой для меня обстановке, я опять непосредственно, близко столкнулся с другими людьми, такой непосредственной близости я был лишен многие годы, мой разум, да и вся моя душа чуть не задохнулись под давлением школьной учебы, как под стеклянным колпаком, откуда выкачан воздух, да и всю жизнь вне школы, вне этого насилия, я годами все воспринимал смутно, сквозь туман школьной зубрежки, и только теперь я снова увидал людей, непосредственно столкнулся с ними. Годами я существовал среди книг и тетрадей, жил головной жизнью меж этих книг, этих тетрадей, в затхлом запахе высохшей и заплесневелой истории прошлых лет, сживаясь с ней настолько, будто сам уже становился историей. А теперь я жил не прошлым, а настоящим, со всеми его запахами и заторами. Я сам на это решился, сам открыл эту жизнь для себя. Теперь я ожил, а долгие годы был мертвецом. Все мои способности, все лучшие стороны моего характера выявились с первого же дня пребывания в нашем подвале, а ведь много лет подряд все было похоронено, засыпано, словно мусором, тем, что в меня пытались вложить самыми омерзительными средствами так называемого воспитания, а сейчас все ценное, что было во мне, высвободилось само собой, в новом моем окружении — с одной стороны, благодаря моим сослуживцам в лавке, с другой — благодаря покупателям, другим людям, вернее, просто людям, приходившим за покупками, а главным образом благодаря тому, что я сразу заметил, какую громадную *пользу* мне приносят те несколько напряженные взаимоотношения между продавцами и покупателями, сложившиеся вокруг меня на работе, на моей, сразу мне полюбившейся работе. А так как я попал в лавку в тот день, когда отоваривали продовольственные карточки, то уже через несколько часов мне пришлось делать не только черную работу — подметать, убирать, наводить порядок,— но к вечеру, когда мои сослуживцы явно устали, меня, как бы на пробу, поставили за прилавок, и я поработал продавцом и выдержал этот экзамен. *С самого начала я хотел только одного — приносить пользу, и я стал полезным, окружающие признали, что я человек полезный,* тогда как до моего поступления в этот подвал все видели, какой я бесполезный, и вот, решившись поступить учеником в лавку, я сразу сумел оборвать мое многолетнее бесполезное существование — вот как я повзрослел, подумал я. И нынче я твердо знаю, что эти годы ученья в подвале были самыми полезными годами моей жизни, так же как теперь я осознаю, что все предыдущие годы, хотя были, может быть, и не вполне бесполезными, но в те дни, когда я поступил в лавку, когда меня приняли в трудовую семью работников господина Подлахи, у меня было стопроцентное ощущение, что вся моя жизнь до этого была абсолютно бесполезной. Тут, в подвале, с самого начала каждая минута ценилась на вес золота, время стало огромной ценностью, а не бесконечной, бессмысленной тягомотиной, вереницей отупляющих, изматывающих нервы мыслей — тут все мое существование вдруг стало *целесообразным, естественным, полезным.* Все трудности, вставшие передо мной, я преодолел сразу, да в сущности никаких трудностей и не было в том, что мне вначале становилось поперек дороги, тут я был виноват сам, все зависело от меня — это был крутой поворот из прежней жизни, полная противоположность почти во всем, и в пер-

вые же дни произошло беспощадное разоблачение всего, что было; оказалось, что пугавшие меня события и вправду были страшными, и для меня выявились все мои ошибки, все самообманы, но этого-то я и хотел. И если я раньше считал, что никакого будущего у меня нет, сейчас оно вдруг открылось передо мной, и каждая минута, казавшаяся мне до сих пор пустой и бесполезной, вдруг стала для меня радостью — чувством, давно вымершим во мне. Я не придумывал себе, как раньше, какое-то туманное будущее — я его обрел. Я вернулся к жизни. Я держал ее в своих руках, целиком и полностью Надо мне было только круто свернуть с Райхенхаллерштрассе, думал я, и вместо гимназии пойти учеником из высоких этажей школы — в подвал. В трущобах Шерцхаузерфельда я увидел людей, о которых я только слышал, но я их никогда не встречал, только от своего деда я знал, что есть на свете несчастные люди, погрязшие в нищете, потерявшие надежду, но вблизи я никогда их не видел. Городские власти шли на все, чтобы замалчивать то, что делалось в этих трущобах, но об этом писали газеты, а позже, когда я стал судебным репортером газеты «Демократишес фольксблатт», мне приходилось еженедельно сообщать о процессах, где обвиняемыми были жители шерцхаузерфельдских трущоб. Большинство из них мне было знакомо еще с тех дней, когда я работал в подвале, и уже тогда можно было предполагать, что они когда-нибудь попадут под суд, и я всегда думал во время судебного разбирательства, что попали они под суд именно по тем обстоятельствам, которые мне самому были отлично знакомы еще с той поры, когда я работал в подвале. Но судьи не знали того, что знал я, да они и не давали себе труда по-настоящему вникнуть в судьбу человека, они разбирали любое дело по одному шаблону, считались только с бумажками, с так называемыми «неопровержимыми уликами», и выносили приговор, не зная ни подсудимого, ни его окружения, ни его биографии, ни того общества, которое сделало человека преступником и отдало под суд, заклеймивший его навсегда этим именем. Судьи считались только с бумажками, со своими жестокими, бездушными, совершенно бесчувственными, бесчеловечными, беспощадными законами, которые помогали им изничтожить человека, попавшего под их суд. По крайней мере раз в день из-за скверного настроения судьи бывала исковеркана судьба обвиняемого, загублена вся его жизнь, и видеть это, понимать весь этот ужас было просто страшно. Но сейчас не время описывать судебные разбирательства, я только хочу добавить, что через много лет после того, как окончилась моя служба в подвале, я постоянно встречал имена многих тогдашних покупателей в судебных отчетах, да и теперь, стоит мне развернуть газету, как сразу встречаются знакомые имена людей, которых я знал еще в подвале, чьи судьбы складывались на моих глазах — подвальные судьбы, подвальная, трущобная жизнь,— и я читаю об этих судьбах в судебных отчетах, и сейчас, через тридцать лет после моей службы в подвале, вижу знакомые имена людей, попавших под суд, людей из трущоб, из моего подвала. Я знал, почему я заставил заведующую Биржей труда вынимать десятки карточек из ящичков, мне было нужно направление *в противоположную сторону*, эти слова — *в противоположную сторону* — я повторял про себя все время, пока шел на Биржу труда, а заведующая не понимала, зачем я все время повторяю: *в противоположную сторону*, а я по дороге на Биржу труда все время повторял без конца, твердил себе одно: хочу *в противоположную сторону*, а заведующая не понимала, когда я говорил *в противоположную сторону*, наверно, она принимала меня за сумасшедшего, потому что я действительно без конца повторял *в противоположную сторону*, да и как ей было понять, раз она вообще обо мне не имела ни малейшего представления. В полном отчаянии и от меня и от своей картотеки она предлагала мне всякие места ученика в лавках, но все эти места находились

не *в противоположном направлении,* и мне приходилось отказываться от ее предложений, я не хотел просто работать *в другом* конце города, я хотел попасть *в противоположный* конец города, и ни на какие уступки я не шел, и заведующей приходилось без конца вытаскивать карточки из ящика, а мне — отказываться от всех адресов, потому что я решительно хотел пойти только в противоположный, а не просто в другой конец города. Заведующая отнеслась ко мне как нельзя лучше и, наверно, старалась выбрать для меня то, что ей казалось самым лучшим адресом, например, она считала, что лучше места ученика в Центре, то есть в одном из самых больших, самых известных универмагов готового платья, мне не найти, и она просто не понимала, что меня интересовало не самое *лучшее* место, а самое *окраинное,* а ей, заведующей, просто хотелось пристроить меня как можно лучше, но мне-то ничуть не хотелось пристроиться как можно лучше, я ей так и твердил — *хочу в противоположную сторону,* но она никак не поддавалась и все время вытаскивала из своей картотеки так называемые хорошие адреса, как сейчас слышу ее голос, слышу, как она называет адреса, знакомые всему городу, самые известные, самые знаменитые адреса, но все эти адреса меня абсолютно не интересовали, мне хотелось попасть в такую лавку, куда каждый день приходят люди, *очень много людей,* я ей так и сказал, сразу, как только пришел, но никак не мог толком объяснить, почему я просился в другую сторону, я ей объяснял, что много лет ходил по Райхенхаллерштрассе в гимназию, а теперь хочу ходить *в противоположную сторону,* но при всем ее добродушии, при всей моей решительности мы больше получаса возились с картотекой, и она вытаскивала одну карточку за другой, называла адрес, а я отказывался, и отказывался я от этих адресов потому, что все адреса из ее картотеки были не тем адресом, который я искал, все эти отвергнутые мной адреса были не теми, а тогда, в отличие от сегодняшнего дня, на Биржу труда в Зальцбурге поступали сотни требований на учеников, из многих лавок, но среди них *не было адресов с той, другой стороны,* которые мне были нужны, адреса были отличные, лучше не выдумать, но все — *не с той стороны,* пока в свой черед не попался адрес Карла Подлахи в шерцхаузерфельдских трущобах. Но именно этот адрес заведующая очень неохотно вытащила из картотеки, не так, как другие адреса, для нее об этом адресе и речи быть не могло, это я сразу увидал, и адрес Подлахи она и прочитала с брезгливостью, и брезгливо выговорила даже имя — Подлаха,— с брезгливостью повторила точный адрес, брезгливо выговорила название — *Шерцхаузерфельд.* Для нее не было противней этого названия, она с трудом заставила себя выговорить его. Но об этом адресе для меня вообще и речи быть не может, явно сказала себе заведующая, по выражению ее лица ясно было видно, что она так считает, но именно этот-то адрес и был тем самым адресом, который я спрашивал, потому что господин Подлаха жил именно в противоположном направлении, но заведующая бюро явно не поверила, когда я сказал, что именно этот адрес мне *подходит,* что его-то я искал, что название *шерцхаузерфельдские трущобы,* от которого она невольно шарахалась, для меня таило неодолимую привлекательность, и я нарочно повторял название *Шерцхаузерфельд,* чтобы видеть, как она болезненно реагирует на него, она все время вглядывалась в мое лицо, слушала, как я повторял *Шерцхаузерфельд,* и приходила в ужас оттого, что я запомнил именно этот адрес. Она стала вынимать еще какие-то карточки из картотеки, но я сказал, что меня этот адрес вполне устраивает, но, однако, если меня там не возьмут, я вернусь к ней и, может быть, тогда она подберет для меня другой адрес, но в том же, *противоположном районе,* как и адрес господина Подлахи, на той же окраине. С одной стороны, заведующая была довольна, что нашла для меня то, что я просил, но с другой стороны, приходила

в ужас от моего выбора, когда ей стало ясно, что́ именно я задумал. Она старалась выбрать для меня из картотеки лучшие, самые лучшие адреса, чтобы я получил возможность продвигаться по работе, а я схватил самый плохой, самый что ни на есть скверный адрес. И не то чтобы она меня сразу стала предостерегать не ходить в эти трущобы, но ей было ненавистно само слово *Шерцхаузерфельд*, и я сразу заметил, что и фамилия *Подлаха* была ей глубоко противна, и всю ту окраину, которую я называл «противоположная сторона», она глубоко презирала, и с той минуты, как я собрался пойти в ту, другую сторону, то есть в трущобы Шерцхаузерфельда, пренебрегая всеми ее доброжелательными предложениями, когда она увидела, что я всерьез принял адрес Подлахи в этих трущобах, она и ко мне стала относиться с презрением, потому что она абсолютно не могла понять, как молодой, явно интеллигентный человек, еще часа три назад — ученик гимназии, в каком-то, по ее мнению, лихорадочном, ненормальном, нездоровом состоянии мог отказаться от самых лучших, самых, по ее мнению, великолепных, престижных предложений и выбрать самое что ни на есть скверное, гнусное, мерзкое, просто чудовищное место, и для нее единственным выходом, как мне кажется, было вообще не принимать меня всерьез. Бредни, наверно подумала она, когда я от нее ушел, болезни роста, гимназические выверты. Но я к ней так и не вернулся, и, наверно, это заставило ее призадуматься. Обычные выдумки сбитого с толку мальчишки-гимназиста, наверно подумала она, которые, безусловно, скоро пройдут, а впрочем, она, по всей вероятности, сразу меня забыла. Но со школьной рутиной, машиной, механизмом я вообще никакой связи не чувствовал, как и с людьми, связанными с этим школьным механизмом, тогда как со всем, связанным с лавкой в подвале, я сразу почувствовал теснейшую связь, все, что было связано с этим подвалом, все, что там происходило, меня сразу притянуло, захва́тило, очаровало, и не только очаровало — я ощутил свою принадлежность ко всей этой жизни, почувствовал себя неотъемлемой частью всего, что было связано с этим подвалом, с этими людьми, тогда как я ни разу не чувствовал связи со школьной жизнью, с окружавшими меня там людьми, и даже Райхенхаллерштрассе, как я сейчас понял, никогда не была моей улицей, как та сторона никогда не была моей стороной, моим направлением, а моей улицей, моей стороной стала Рудольф Библьштрассе, и я шел моим путем, проходя по этой улице, мимо лейнерского почтамта, мимо болгарских огородов, мимо гимнастических снарядов на спортивной площадке, в трущобы, к моим людям, тогда как ничто в той, другой стороне никогда не было моим, и могу утверждать, что дорога в гимназию по Райхенхаллерштрассе с беспощадным упорством и с почти непредставимой, жестокой настойчивостью уводила меня от самого себя в ежедневную пытку, от которой могла избавить только внезапная смерть. А дорога по Рудольф Библьштрассе в шерцхаузерфельдские трущобы была для меня возвратом к себе, и, проходя по этой улице, к этим трущобам, в подвал, я думал про себя: вот я иду к себе, и с каждым днем я все больше и больше находил себя, в то время как, проходя по той, Райхенхаллерштрассе, всегда неотвязно думал, что ухожу от себя, теряю себя, совсем теряю, оттого, что иду туда не по своей охоте, потому что меня вынудили, заставили идти по этому пути против воли те, кто управлял мной, управлял всем моим достоянием, моим духовным богатством и телесным моим благосостоянием, управлял всегда плохо, неумело, выбрав для меня этот страшный, смертельный путь, назначив мне этот маршрут, не слушая моих возражений, но вот я вдруг круто свернул в другую сторону и пошел мимо Гасверкгассе на Биржу труда, и, уже свернув на эту дорогу, я в ту же минуту понял, что теперь я иду по верному пути. Много лет подряд, просыпаясь по утрам, я думал, что мне надо сойти с пути, уготованного

мне моими воспитателями и опекунами, но сил на это у меня не было, и много лет подряд я против воли в страшном умственном и физическом напряжении шел по этой дороге, пока вдруг не собрался с силами — остановился и круто повернул обратно, в другую сторону, сам себе не веря, что я на это решился, потому что такой крутой поворот удается сделать только с величайшим напряжением всех душевных и умственных сил, именно в тот момент, когда надо либо круто повернуть в обратную сторону, либо покончить с собой, а такой человек, каким я тогда был, представляет для самого себя наибольшее препятствие, смертельное препятствие, которое нужно преодолеть. И в такой спасительный для человека миг надо сразу пойти наперекор всему или не жить, и я нашел в себе силу пойти наперекор и вопреки всему пошел на Биржу труда в Гасверкгассе. И в то время, как учебная машина в городе снова требовала бессмысленных жертв, я сбежал от нее, круто свернув с Райхенхаллерштрассе в ту самую минуту, когда я вдруг воспротивился, больше не захотел быть одной из тысячи тысяч, из миллионов жертв этой учебной машины, и я круто свернул, бросил сына адвоката — пусть один идет этой дорогой. В это утро я слишком ясно понял, к чему приведет мое безволие, если я ему снова поддамся; но я не хотел броситься в пропасть с Мёнхсберга, я хотел жить — вот почему я в это утро круто повернул в другую сторону и побежал со всех ног, все быстрее и быстрее, оставляя за собой все, что стало для меня в последние годы убийственно привычным, оставил окончательно и бесповоротно решительно все, и я удрал в смертельном страхе на Биржу труда, я не шел туда, как ходят обычно, я *летел* туда в смертельном страхе, перевернув вверх ногами в эти несколько минут *все, что было во мне,* все, чем я жил, промчался через Мюльнерштрассе и Лейнерштрассе и в смертельном страхе влетел в здание Биржи труда. Я сказал себе: *сейчас или никогда,* я твердо знал — все должно решиться сию минуту. Я уже вытерпел столько ударов, что сейчас никак нельзя было сдаваться. Надо непременно пройти через это жуткое, гнусное здание, через Биржу труда, я боялся его, там стояла такая вонь, нищенские запахи шли от всякой бедноты, но мне необходимо пройти через все это, думал я, поднимаясь по лестнице, необходимо пройти через это отвратительное помещение, где больше чем где бы то ни было чувствовалась убийственная бесчеловечность,— тогда я буду спасен. И я не уйду из этого страшного дома, пока мне не дадут спасительный адрес лавки, где требуется ученик, вот тогда я смогу выжить, думал я, входя в комнату заведующей, распределявшей направления в магазины. Я не имел ни малейшего представления, в каком торговом заведении мне хотелось получить место ученика, но чем дольше я стоял перед заведующей, тем яснее мне становилось, что мне нужно место ученика, а я искал именно место ученика, а не просто службу — такое место, где я мог бы обслуживать как можно больше покупателей, встречаться со многими людьми, приносить пользу наибольшему количеству людей, и чем дольше заведующая рылась в своей картотеке, тем яснее мне становилось, что я хочу поступить в продовольственный магазин. Те специальности, в которых человек, как в большинстве профессий, почти все время предоставлен сам себе, мне не подходили, потому что я хотел быть с людьми, и чтобы их по возможности было побольше, и чтобы по возможности жизнь там кипела, а я приносил бы им огромную, неизмеримо большую пользу. Но очень многие люди отличаются главным образом тем, что им трудно понять друг друга, и в результате они вообще ничего не понимают. Эта заведующая Биржей труда никак не могла понять меня, но наконец что-то сообразила, и когда я ей уже надоел до смерти, она вдруг вытащила из картотеки адрес господина Подлахи. Как видно, она считала меня сумасшедшим и совершенно не принимала всерьез, и теперь, когда я ей уже надоел,

она хотела от меня избавиться, и, очевидно, чтобы избавиться от меня окончательно, она и вынула адрес господина Подлахи из картотеки. Возможно, ей показалось, будто я нездоров, в бреду и через несколько часов все мои заскоки пройдут сами собой. Впрочем, неважно, что она обо мне думала, но я настойчиво добивался от нее нужного мне адреса, который сулил бы мне то, чего я хотел, и тогда я мог бы с ней проститься. Конечно, она усомнилась в серьезности моих намерений, да возможно, что ей вообще показалось, будто я не вполне нормален. В переходном возрасте у человека часто бывают всякие заскоки, вполне возможен и такой заскок, когда юный гимназист вдруг бежит на Биржу труда и спрашивает адрес какой-то продуктовой лавки, потому что думает — этот адрес принесет ему радость, поможет хоть на час-другой избавиться от невыносимой ежедневной скуки. Но мое решение было непоколебимым. Конечно, я, быть может, в эту минуту сверзившись, как канатоходец с каната, с высот осточертевшей мне школьной премудрости, свалился прямо в неоспоримую действительность — взял место ученика в продуктовой лавке. Я еще не знал, что и кто кроется за адресом Подлахи, в трущобах Шерцхаузерфельда, и, наскоро простившись с заведующей, я пошел, вернее, побежал по Гасверкгассе, прямо в трущобы Шерцхаузерфельда, до сих пор я знал о них только понаслышке, как о самом жутком районе Зальцбурга, но как раз в эту жуть меня и тянуло неудержимо, и я со всех ног бежал туда и быстро нашел адрес, и вот я уже вхожу в подвал, и представляюсь, и вдруг оказываюсь в тесном кабинетике за лавкой, и сижу у письменного стола самого Подлахи. А в гимназии теперь гимназисты сидят и сидят, думаю я, и мне все больше нравится тут, в подвале господина Подлахи. Вот тут в подвале, может быть, и начнется моя новая жизнь, мое будущее, и чем больше я думал о том, что останусь работать тут, в подвале, тем яснее я понимал, что принял правильное решение. В одно мгновение я вышел из общества, к которому до сих пор принадлежал, и вошел в подвал господина Подлахи. И вот я уже сижу тут и жду окончательного решения этого невысокого, полноватого человека, не то чтобы особенно приветливого, но и неприветливым его не назовешь, и от него я жду, чтобы он спас мне жизнь. Какое же впечатление я произвел с первой минуты на него? Я слышу, что его коротко называют Шеф. Сквозь слегка приотворенную дверь я слышу его голос — мягкий и вместе с тем внушающий доверие. И за те пятнадцать минут, что я просидел в одиночестве, во мне окончательно окрепло желание — стать учеником господина Подлахи, который показался мне очень интеллигентным и совсем незаурядным человеком. Если в гимназии любой контакт представлял для меня непреодолимые трудности, почти во всех случаях непроходимый тупик, все равно с кем — с моими соучениками, с преподавателями; всегда между мной и ими возникала отчужденность, которая непрерывно переходила в неприязненное, более того, враждебное отношение ко мне, и я все больше и больше оказывался в безвыходном положении, в полнейшей изоляции ото всех, да и дома, с родными, мне тоже всю жизнь стоило невероятных усилий преодолевать грозивший мне полный отрыв от семьи,— тут, в подвале, вообще никаких проблем не возникало, наоборот, меня просто изумляла та простота, с которой у меня без всяких затруднений наладились отношения и с моими сослуживцами, и с покупателями,— с ними я с первого же дня был в самых лучших взаимоотношениях, в самом полном *взаимопонимании*. Ни малейших затруднений в разговорах, в общении с жителями шерцхаузерфельдской окраины я не испытывал. И вскоре все окружение, где шла моя жизнь, моя работа, стало мне родным. Постепенно я ближе познакомился почти со всеми здешними жителями, и, конечно, прежде всего с женами фабричных рабочих, шахтеров, железнодорожников, разнорабочих и с их детьми. Сначала я

попадал к ним, в их квартиры, потому что помогал носить слишком тяжелые для них покупки. Я узнал, как живут люди в шерцхаузерфельдских трущобах, таская полные сумки с продуктами, а иногда и волоча пятидесятикилограммовые мешки с картошкой в разные кварталы, и, пока мы шли и беседовали, я многое наблюдал. Я познакомился и с женщинами, приходившими к нам в подвал с детьми, видел их мужей, ждавших дома, где оставались грудные младенцы и старики, и вскоре дома каждого квартала, давно знакомые с виду, стали мне знакомы изнутри. И я научился говорить на языке Шерцхаузерфельда — на совершенно особенном диалекте, какого я ни дома, ни в городе вообще никогда не слыхал. Да, язык Шерцхаузерфельда коренным образом отличался от языка остального Лейнера, тут люди говорили выразительней, отчетливей, чем в городе, и скоро я научился разговаривать со здешними жителями на их языке, потому что поневоле стал думать как они. Здесь все жили в ожидании чего-то, и все мысли здешних обитателей сводились к этому ожиданию. Шерцхаузерфельдские трущобы были вечным несмываемым позорным пятном нашего города, и отцы города отлично знали об этом позорном пятне, название этих трущоб, этого позорного пятна то и дело появлялось в газетах, в судебных отчетах, в утешительных обещаниях земельного управления. И обитатели этого позорного пятна на теле Зальцбурга сознавали, что они все, скопом, и есть это позорное пятно. И они все больше и больше становились позором для города, здесь сосредоточилось все, что город пытался замолчать или затушевать, все, от чего бежит нормальный человек, когда он может убежать, здесь скопилась вся нечисть Зальцбурга, и до сегодняшнего дня эти шерцхаузерфельдские трущобы остались позорным пятном, которого стыдится весь город Зальцбург, когда ему напоминают об этом сплошном сплаве нищеты, сплаве голода, грязи и преступлений. Но здешние жители давно привыкли к своей трущобе, и хоть они и вечно находились в ожидании перемен, но в сущности они уже давно ничего не ждали, их бросили, забыли, их вечно пытаются утихомирить и вновь забывают, о них говорят только перед выборами, поминают и «позорное пятно» Шерцхаузерфельда, и шерцхаузерфельдские трущобы, но после выборов про трущобы регулярно забывают и только перед новыми выборами регулярно вспоминают, а у жителей этих трущоб, годами чувствующих эту свою отверженность, этот убийственный гнет презрения всех зальцбургских граждан, у которых от одного названия — Шерцхаузерфельд — начинаются рези в животе, у этих жителей появилась собственная гордость, они гордились своей судьбой, своим происхождением и, если уж на то пошло, своими грязными трущобами, которые (как писал «Зальцбургер фольксблатт») являлись «несмываемым позорным пятном города Зальцбурга». Жить в этих трущобах — значило жить в самом грязном, самом позорном районе города, здесь, как считалось в городе, жили изгои, и упоминать о Шерцхаузерфельде — значило называть только преступный мир, мир воров, пьяниц, точнее, мир пьяных уголовников. Весь город обходил эти трущобы, и жить там было смертным приговором для человека. Об этом районе всегда говорилось как о гетто, где жили преступники, это был тот район, откуда в остальную часть города просачивались все преступления, и если в городе появлялся житель Шерцхаузерфельда, значит, в городе появлялся преступник. Об этом и говорили откровенно, без обиняков, и жители из Шерцхаузерфельда всегда чурались чужих, потому что после того, как их годами осуждали, презирали, они и сами поверили, что их правильно называют шайкой преступников, и ничуть не удивительно, что уже издавна, лет сорок или пятьдесят тому назад, эти трущобы стали постоянным поставщиком материала для зальцбургских судов, неистощимым рассадником обитателей исправительных заведений и тюрем. И полиция и суды, все, кроме город-

ских властей, годами неослабно занимались этой окраиной, а отдел так называемого «социального обеспечения» ссылался на этот район, только чтобы замять, затушевать, скрыть сво́е беспредельное бессилие. И до сих пор, когда прошло больше тридцати лет после моей работы в шерцхаузерфельдских трущобах, стоит мне развернуть зальцбургскую газету, как я вижу, что почти все судебные процессы связаны с этой окраиной, как и все убийства и потасовки, часто со смертельным исходом. И сейчас, через тридцать лет, мне кажется, что условия жизни там только ухудшились. Нынче там выстроили высотные дома, целые жилые кварталы — плод наших бездарных и бездушных времен, лишенных таланта, враждебных всякому таланту,— и дома стоят там, где раньше, тридцать лет назад, цвели луга, я сам проходил по этим широким лугам на работу, мимо домов призрения слепых и глухонемых, мимо лернейрской почты, по лугу, по нешироким тропкам, где все пахло природой, а теперь в этих местах уже не пахнет ни травой, ни землей, ни речными запрудами и отовсюду несет одуряющей, бесчеловечной вонью выхлопных газов. Прежде, как будто город хотел оттородиться от шерцхаузерфельдских трущоб, между ними полосой проходили луга и поля, только кое-где стояли грубо сколоченные свинарники, или маленькие, или довольно большие лагеря беженцев, хибарки полоумных нищих и побирушек, халупы шлюх и пьяниц, которых когда-то выхаркал город. А теперь город на приличном расстоянии понастроил на лугах дешевое жилье, убийственное для этих людей, жилье для граждан, выкинутых городом, для самых нищих, бесприютных, пропащих и, разумеется, для самых болезненных, самых отчаявшихся, словом, для человеческих отбросов, и построил это жилье на таком расстоянии, чтобы никогда с тамошними жителями не сталкиваться, и тот, кто знать о них не знал и не хотел знать, так всю жизнь и не имел никакого представления об этой окраине, напоминавшей лагеря не только потому, что все блоки были крупно перенумерованы. Высокие ступеньки вели в узкий коридор одноэтажного блока, и оттуда с обеих сторон шли жилые помещения, которые никак нельзя было назвать квартирами; в каждом было по одной или по две комнатушки, многодетные семьи жили в двух комнатах, воду брали в общем коридоре, на весь коридор была одна общая уборная, стены выложены из гераклитовых плиток и покрыты дешевой штукатуркой. Только трехэтажные дома были кирпичными, и в них жили, так сказать, привилегированные пролетарии, и наша продуктовая лавка тоже помещалась в подвале такого трехэтажного дома. Каждый день в этих домах происходили семейные скандалы, каждый день заворачивала к какому-нибудь дому полицейская машина, подъезжала карета «скорой помощи», чтобы забрать полуживого, избитого или израненного человека, или катафалк за каким-нибудь несчастным, то ли умершим в своей жалкой постели, то ли кем-то приконченным. Почти весь день по всем улицам — единственным безымянным улицам Зальцбурга — носились ребята, они орали, шумели, благо на улицах было достаточно места, где можно орать и шуметь, своими криками и воплями они перекрывали жуткую тишину Шерцхаузерфельда, мертвую и страшную тишину трущоб. У себя дома я пытался рассказывать о том, что видел, но, как всегда, когда рассказываешь людям что-нибудь страшное, что-нибудь ужасное, бесчеловечное или немыслимо жуткое, они не верят, не желают слушать и называют, как издавна ведется, чудовищную правду ложью. Но нельзя молчать, надо непрестанно говорить им правду, ту чудовищную правду, которая тебе открылась, ее ни в коем случае нельзя замалчивать, нельзя подтасовывать. У меня есть одна задача — делиться моими наблюдениями, не обращать внимания на то, как их будут воспринимать, всегда делиться своими наблюдениями, всегда сообщать то, что мне показалось важным, рассказывать и о том, что я только что видел, или

же, как теперь, вспоминать о том, что я видел тридцать лет назад, и, оглядываясь на прошлое, чувствовать, как сейчас, что многое уже вспоминается смутно, а многое — с такой немыслимой отчетливостью, словно я только вчера все это видал. Но те, кому я рассказываю, не хотят мне верить, они оберегают свой покой и часто не верят самым правдивым словам. А я всю жизнь был таким мучителем и таким на всю жизнь останусь, не зря так меня называли мои родные — даже моя мать, с тех пор как я себя помню, называла меня мучителем, как и мой опекун, мой брат и сестра, а я до сих пор продолжаю всех мучить, каждым своим вздохом, каждой написанной мною строкой. Мое существование было всегда для всех сплошной мукой. Я всем всегда мешал, всегда всех раздражал. Все, что я пишу, все, что я делаю, всем мешает, раздражает всех. Вся моя жизнь, все существование вызывает беспрерывное раздражение, беспрерывно мешает окружающим. Все оттого, что я постоянно обращаю их внимание на факты, которые им мешают, раздражают их. Есть люди, которые всех оставляют в покое, но есть и такие — и к ним принадлежу я сам,— которые всех беспокоят и раздражают. Но не такой я человек, чтобы оставлять людей в покое, да я и не хочу быть таким. Писать сегодня о трущобах Шерцхаузерфельда — значит вызывать недовольство зальцбургских властей, и я их раздражаю, вспоминая об этих трущобах. Но я вспоминаю свои ученические годы — а я их считаю самыми важными годами моей жизни — и, конечно, вспоминаю о чистилище, как я про себя окрестил эти трущобы. Я не говорил себе: вот я иду в Шерцхаузерфельд, когда я шел в шерцхаузерфельдские трущобы, я говорил себе: иду в чистилище. И каждый день я входил в это преддверие ада, которое построили для своих изгоев власти города Зальцбурга. Если и в самом деле существует чистилище, оно похоже на эти трущобы. Тогда я еще верил в ад, нынче я уже ни в какой ад не верю, но для меня адом стали шерцхаузерфельдские трущобы, хуже этого ада для обитателей трущоб ничего и быть не могло. Для всех этих людей спасения не было, и я изо дня в день видел, как там гибли люди, старые и молодые, от таких болезней, о каких я никогда не знал даже понаслышке, и всегда — от смертельных болезней, и люди совершали там преступления, и всегда чудовищные преступления. Почти все они рождались в лохмотьях и в лохмотьях умирали. Всю жизнь они носили одну и ту же одежду — рабочий комбинезон. Эти безумцы заводили детей и в слепом безумии убивали этих детей от неизбывного, скрытого отчаяния. Бывали дни, когда мне приходилось дышать только затхлой вонью человеческих существ, гниющих заживо. Случай, думал я, привел меня в чистилище, в ад. А тот, кто не знал, что такое чистилище, ад, тот ни о чем не подозревает, он человек несведущий. Правду, как я думаю, знает только тот, кого она коснулась, но если он пытается поделиться с другими, он автоматически становится лжецом. Все, чем делишься с другими, само собой становится иным, все передается искаженно, неверно. А стремление к правде, как и всякое другое стремление,— прямой путь к фальши, к фальсификации сути. И все описания какого-то отрезка времени, из своей ли жизни, из прошлого ли вообще,— неважно, давнишнее ли это время, долго или недолго оно длилось,— все равно это будет сплошное нагромождение, скопление сотен, тысяч, миллионов подделок и фальшивок, которые кажутся рассказчику, описателю, чистой правдой и только правдой. В памяти хорошо сохраняются эпизоды из жизни, сохраняется и точная хронология происшествий но рассказ об этих событиях уже совсем не то, что было на самом деле. В рассказах, в описаниях что-то проясняется, и это соответствует желанию рассказчика быть правдивым, но никак не совпадает с правдой, потому что правда вообще непередаваема. Мы описываем какой-нибудь предмет и считаем, что описали его *правдиво* и *правдоподобно,* но сами чувствуем, что это не вся правда. Мы четко описы-

ваем какие-нибудь обстоятельства, но это всегда уже не те обстоятельства, о которых мы пытаемся рассказать, а совсем другие. Нам приходится признать, что мы еще ни разу не смогли рассказать чистую правду, но мы всю жизнь пытаемся сказать правду и не бросаем этих попыток. Мы хотим говорить правду, но правды не говорим. Мы что-нибудь описываем очень правдиво, но наше описание совсем не то, что сама правда. Мы должны были бы видеть всю действительность как событие, которое мы хотим описать, но как бы мы ни старались, мы в своих описаниях никогда не видим сути дела. И осознав, что до самой сути нам никогда не дойти, мы должны были бы вообще бросить попытки писать правду, а это значит — вообще отказаться писать, так как передать другим правду, то есть показать ее, невозможно, нам пришлось бы довольствоваться попытками писать о правде, описывать, как надо было бы писать правду, хотя мы знаем, что правду рассказать никак нельзя. То, что я здесь описываю,— правда, и все-таки это не настоящая правда, потому что это невозможно. Всю нашу жизнь мы читали, но никогда не прочли правды, хотя всегда читали про факты. Но везде ложь выдавалась за правду, правда — за ложь и так далее. Важно одно — хотим ли мы лгать или говорить и писать правду, хотя по-настоящему никакой правды нет и быть не может. Всю жизнь я хотел говорить правду, хотя теперь знаю, что все было ложью. В конце концов важно одно — сколько правды содержится в этой лжи. Здравый смысл уже давно запретил мне и говорить и писать правду, потому что все, что скажешь или напишешь, все равно будет ложью, которая, пройдя через меня, стала похожа на правду. Мы можем, конечно, требовать правды, но, честно говоря, мы видим, что правды нет. Все, что я здесь описываю,— правда и вместе с тем и неправда, по той простой причине, что правда — только благое наше намерение. На вопрос, почему я описываю время, когда я работал учеником в подвале именно теперь, а не позже, когда я, быть может, рассказывал бы не с таким судорожным напряжением,— ответить легко: недавно, как я узнал из заметки в газете, городское управление наконец решило снести все трущобы Шерцхаузерфельда, сломать все дома из полувекового кирпича и гераклита, сровнять с землей все это чистилище, вернее — весь этот ад, срыть стены, в которых годами случалось столько бессмысленных несчастий. И от этой короткой заметки у меня в мозгу зашевелились мысли, долго дремавшие в памяти, заработал весь механизм воспоминаний о шерцхаузерфельдских трущобах — страшном обиталище людей,— о пасынке города, которого чурался и весь город целиком, и каждый городской житель в отдельности. Сказать, что ты *живешь* в Шерцхаузерфельде, или пришел *оттуда,* или вообще чем-то, все равно чем, связан с этими трущобами,— значило напугать человека, вызвать к себе неприязнь, даже отвращение. Несмываемым пятном на человека ложилась всякая причастность к этому месту, нельзя было там жить, нельзя иметь дело с его жителями, происходить оттуда, иметь хоть малейшее отношение к этим местам, и это несмываемое пятно лежало на всех жителях Шерцхаузерфельда всю жизнь, до самой смерти, часто настигавшей их в сумасшедшем доме, или в тюрьме, или просто приводившей на кладбище. Уже дети становились неприкасаемыми и душой и телом, оттого что родились в этих трущобах и страдали всю жизнь, и тот, кто до сих пор не погиб от этого позорного клейма, все равно погибнет, даже если будет от него отрекаться. Шерцхаузерфельд был настоящим гетто, средоточием отчаяния и средоточием позора. Его жителей распознавали сразу, потому что во всех городах, особенно в столицах, сразу разбирают — откуда родом человек, с какой окраины, и наблюдательный гражданин при первой же встрече, с ходу, поймет — этот из чистилища или из преддверия ада, этот — прямо из ада, из городских трущоб. Уже издали в нашем городе, где всегда отрицали существование

чистилища, уж не говоря об аде, можно было узнать жителей этого чистилища, этого ада — растерянных, оробелых, вечно мечущихся в какой-то бестолковой спешке, несчастных душой и телом, и на них клеймом лежало их происхождение. Государство, город, церковь давно отреклись, отказались от этих людей. Жители шерцхаузерфельдских трущоб были париями, их вытолкнула не только окружающая их среда, не только развращенное, лживое, пошлое общество,— они, жители трущоб, и сами давным-давно считали себя пропащими. И встречали этих людей как зачумленных, стоило им только попасть в город, они сразу чувствовали себя пропащими, на любой работе — униженными и обреченными, а попав под суд, знали, что судья предубежден и приговор предрешен заранее. Зальцбургские горожане всех без исключения жителей Шерцхаузерфельда считали лагерниками, и сами жители считали себя каторжниками, сами считали себя обреченными, смертниками. Здесь погибали заживо, да в сущности тут ничего другого, кроме медленной гибели, нельзя было и ждать, в то время как на расстоянии двух-трех километров противоестественно создавалось богатое, жадное до развлечений общество, считавшее себя единственным властителем мира. И тут, в Шерцхаузерфельде, все люди сознавали, что их попытки вырваться, уйти отсюда, пойти другим, лучшим, так называемым «своим путем» обречены на провал, и пример всех тех, кто попытался вырваться, найти для себя лучший путь, неизбежно показывал, что все эти попытки кончались еще более глубокой безнадежностью, еще большей оторванностью от жизни. Те, кто вдруг уходил, все равно куда, все равно для чего, на всю жизнь все равно оставались жителями трущоб и погибали на так называемой «чужбине» или, возвратившись, погибали еще ужаснее, чем те, кто оставался дома. Один из тех, кто ушел, пытался стать актером, странствуя по многим австрийским и немецким городам, но через много лет вернулся домой (по словам его матери) «пропащим типом» и, маясь животом, отощавший, худой, как скелет, почти потерявший и человеческий облик, и свою красоту, а был он (по словам его матери) красавцем, так и подох на ее прогнившем диване. Один из жителей трущоб годами пытался стать танцором, другой — прижиться в Америке, третий — в Австралии, их были сотни, этих уроженцев Шерцхаузерфельда, и почти все они возвращались домой и там погибали. Их матери, их отцы всегда этого ждали. Все, часто уходившие на холодную чужбину, в сущности шли окольным путем к своей неизбежной судьбе — к гибели, к смерти, в то время как их родители, их братья, сестры и вся родня спивались и гибли дома, от запоя. Дети рождались в семьях, отупелых от пьянства, в бредовом кошмаре, где с самого детства их коверкали и калечили. Из этой жуткой своей жизни, из нелепости своего существования девочки могли выйти, только став уборщицами, мальчики — рудокопами или разнорабочими, и все жители трущоб ежеминутно меняли места, постоянно убегали в болезни, в преступления, и по-настоящему вся их страшная жизнь, все их страшное существование было только непрестанной сменой болезней и преступлений — и так до самой смерти. Они жили как заводные, в непрестанном жужжании какого-то механизма оговоров и обвинений, они обвиняли всех и вся, и чтобы как-то высвободиться, вздохнуть, они виноватили вперемешку и бога, и весь мир, и себя, и всех вокруг. Их существование проходило *в непрерывных обвинениях и оговорах,* как в хронической смертельной болезни. В сущности, ничего, кроме развала и разлада в их жизни не было, в этом вся она и проходила, и они безостановочно разрушали и растаптывали друг друга. Их жизнь была смертельным напряжением смертельно отчаявшихся людей, и все они — и мужчины и женщины — поочередно укрывались то в больнице, то в тюрьме, то в сумасшедшем доме. Сначала я не понимал двусмысленных намеков некоторых покупателей, они до меня не доходили,

поэтому одни люди были для меня ни лучше ни хуже других, хотя я не понимал ни двойного, ни тройного, ни многозначительного смысла их слов, даже не понимал, о чем идет речь, но через несколько дней мне становилось все яснее, о чем они говорят, яснее, почему они говорят о том, о чем, конечно, никогда не говорят вслух городские люди, и мне куда больше понравилась их откровенная речь, она стала куда понятней лицемерного замалчивания, принятого в нашем обществе. Так называемые непечатные слова и выражения, в сотнях и в тысячах самых разнообразных вариантов, я, конечно, выучил там очень быстро. Эти люди никогда не стеснялись в выражениях. Мне понадобилось совсем немного времени, чтобы привыкнуть к их *откровенностям,* а недели через две-три, через какой-нибудь месяц я уже превзошел всех своих покупателей в изобретательности, когда разговор касался этих тем, и совершенно не стеснялся. Тут я себе разрешал то, что никогда не разрешалось делать дома,— просто давал волю своей богатейшей фантазии, и ничуть не удивительно, что в Шерцхаузерфельде все это было вполне уместно. Попривыкнув к основной тематике разговоров у нас в лавке, я переплюнул всех, использовав мои необычайные способности — придумывать разные комбинации слов, и стал забивать даже самых заматерелых ругателей. Моя молодость, мальчишеское обаяние, а я тогда был славным мальчишкой, и при этом особый дар — владеть всеми оттенками, всеми красками, всем неисчерпаемым запасом слов — сразу обеспечили мне полный успех. В подвале всегда шел разговор на одну из пяти основных тем: говорили о снабжении, о сексе, о войне, об американцах и, совершенно особо, об атомной бомбе: еще у всех болела душа за Хиросиму, разрушенную такой бомбой. О продуктах, о том, как их раздобыть, все эти люди думали денно и нощно, доставать их, конечно, можно было сотнями способов, самыми разными путями, но официально их выдавали по продуктовым талонам, в определенные дни, о таких выдачах извещали в газетах и по радио. Но было и много неофициальных путей, например, подпольные связи с американцами или всякие жульнические махинации, воровство и так далее. В сущности, всех этих людей можно в полном смысле слова назвать преступниками, но надо же было как-то выжить. И у нас в подвале было немало нарушений. Многие получали больше, чем им полагалось по праву, и наш шеф, хоть он и считал, что все шито-крыто, как-то сам на этом попался. Золотые наручные часики меняли на две пачки масла, по полкило в каждой. Служащие крупных продовольственных фирм часто принимали взятки от розничных торговцев. И наш шеф был тоже не из разинь, да кто в те времена не грешил, жульничество в делах, связанных с продовольствием, было самой отличительной, самой постоянной приметой того времени. Не было человека, который не старался бы достать незаконным образом продукты, вовсе ему не положенные. Атомной бомбы все боялись, и об американцах говорили то с легким презрением, то с каким-то раболепием, но любимой темой была война. Женщины говорили о своих мужьях, мужчины о фронтах, где они воевали. Женщины главным образом подчеркивали, как и когда были ранены их мужья, а те только и говорили про Смоленск и Сталинград, про Кале, про Эль-Аламейн и Нарвик. И хоть мы все это слышали сто раз, нас почти каждый день снова тащили на все театры военных действий, а уж обо всех ранениях мы знали до мельчайших подробностей — скажем, у такого-то не функционирует мочевой пузырь, потому что под Севастополем ему повредило мошонку осколком гранаты,— об этом нам не раз, со всеми соответствующими деталями, рассказывала жена пострадавшего. Женщины рассказывали и о том, как их мужья были в плену, и мы, так сказать, из вторых рук узнавали обо всех лагерях для военнопленных — и русских, и американских, и английских. А у мужчин в памяти остались только названия тех мест, где шли

бои,— победы или поражения, это им было все равно, но места эти они хорошо помнили. Те, у кого на войне побывал отец или дядя, всегда слыхали только об их подвигах, даже поражения преподносились как подвиги, и все свинства, все подлости, которые они беззастенчиво совершали на войне, сверкали в небе этих послевоенных воспоминаний, блистали, как заслуженные ордена. В подвале женщины горячо и задушевно рассказывали нам о подвигах своих мужей, о зверствах врагов. Рассказы ветеранов всегда были полны героизма, подвигов, только инвалиды, на всю жизнь искалеченные войной, молчали, из них, бывало, слова не вытянешь. Еще детьми мы уже все знали о разведчиках, горных стрелках, было время, когда при нас говорили о Нарвике и Тронхгейме, о Кале и Яссах, о Кёнигсберге и Ополе — всегда одно и то же. Мужчины приходили в подвал с пустыми бутылками из-под рома, и, пока им наливали, они, прислонясь к прилавку, сочиняли свою историю войны. «Театр» войны для них был пушечной канонадой и горой трупов, громом сталинградских орудий и «пантерами», генералом Дитлем и генерал-фельдмаршалом Паулюсом. Во всей этой пагубе они винили то Гитлера, то Черчилля, но Черчилля считали более виновным, чем Гитлера. О том, как после войны они вернулись домой, и о том, как им вообще удалось возвратиться, они рассказывали почти непрерывно, и, должно быть, когда им уже совершенно не с кем было об этом говорить, они видели свое возвращение во сне. Война окончилась только с виду, а в мыслях всех этих людей она бушевала по-прежнему. Все знали, как надо было избежать поражения, но, с другой стороны, каждый предвидел все, что случилось. И когда кто-нибудь из них, прислонясь к прилавку, говорил о своем военном прошлом как о самом главном, самом важном для людей событии, казалось, что перед нами около прилавка стоит настоящий генштабист. Неизменно молчали только те, у которых осталась лишь одна рука, безногие калеки или те, у кого в черепе была металлическая пластинка. Ни разу никому не удалось втянуть их в разговоры о войне, и, как только начинался такой разговор, они почти всегда уходили из подвала. Но для остальных мужчин война была темой номер один. Война — поэзия мужчины, из-за нее он всю жизнь требует внимания и утешения. И каждый по-своему, по врожденной привычке уходил в эту низость, в эту подлость, и выбирался из нее, только погрузившись в полную, недостойную человека апатию. Сызмала они научились ненавидеть, и тут, в этих трущобах, ненависть ко всему на свете дошла до предела. А ненависть рождает ответную ненависть, и они ненавидели друг друга, беспрерывно ненавидели все окружающее, до полного упадка сил. В этой полной опустошенности они находили только одно средство — замучить себя вконец, и тут они начинали изыскивать всякие новые несчастья, новые болезни, новые преступления. Выбираясь из одной беды, они погружались в другую, из одного несчастья — в другое, еще более глубокое и безвыходное, и каждый тянул за собой в эту пропасть еще и других. Они иногда пытались войти в окружавший их мир, но он встречал их смертельными ударами и беспощадно выталкивал вон. Они уходили в мечты, которые оборачивались самообманом, влезали в долги и немедленно попадали в тюрьму, строили нелепые планы, окончательно губившие все. Их до смерти изматывали бессмысленные фантазии, дикие сны. Они, эти обитатели чистилища, которое на самом деле было настоящим адом, были всегда по самой своей природе начисто лишены всех возможностей, кроме одной возможности — погибать. И у них было только два выбора — только два способа прекратить свое существование: в какой-то момент покончить с собой или слечь в постель и дожидаться смертного часа. Но желание выжить, просуществовать, которое всем, кто это замечал, казалось просто смехотворным, делало жизнь в этом чистилище, в этом аду еще страшнее. Иногда из окон в одни и те же часы, обыч-

но под воскресенье, слышалась музыка — то гармоника, то цитра, то труба, изредка кто-то затягивал песню, но это веселье пахло смертью, и часто того, кто так славно пел накануне народную песню, к вечеру, когда я закрывал нашу лавку, выносили из дому в гробу, а та, что играла на цитре, вскоре после этого повесилась, а трубача отвезли в туберкулезную больницу в Графенхофе, близ Понгау. На масленицу, особенно во вторник, шла настоящая гулянка: они накупали себе кучу всяких масок, мастерили костюмы, которые им казались смешными или страшными, и бегали, словно сорвавшись с цепи, взад и вперед по всем улицам, уверенные, что их никто не узнает, хотя каждый встречный тут же узнавал всех. Знаю я, чей это пьяный голос, знаю эту хромую походку, думалось мне, но не дай бог показать, что ты их узнал. Даже в маскарадных костюмах они появлялись в лавке с привычной бутылкой из-под рома в кармане и забывали заплатить за этот литр. Так как у них рождалось больше детей, чем в любом другом квартале города, у них и похорон было куда больше, чем везде. Они постоянно отправлялись в так называемый Большой Город и, примкнув к похоронным процессиям, шли на городское кладбище или на лиферингский погост, провожая знакомого покойника. Но, за немногими исключениями, их хоронили либо в общей могиле, либо в старой шахте. После похорон они накупали угощенье на поминки, массу всяких закусок и деликатесов и все записывали в долг. Мало кто покупал за наличные, у каждого была так называемая «заборная книжка», и многие не платили по месяцам, пока у господина Подлахи не лопалось терпение, тогда они либо расплачивались, либо нет и уходили в другую продовольственную лавку, вторую лавку в Шерцхаузерфельде, пока их и туда больше не пускали, и тут они возвращались к нам и наконец расплачивались с долгами. Владелец второй лавки никогда не заводил заборных книжек, он никогда не рисковал, никогда ничего не продавал своим покупателям в кредит, оттого и оборот у него был куда скромнее, чем у нас, и этот второй лавочник еле-еле сводил концы с концами. А наш Подлаха был человек с размахом, вернее — с хитринкой, и это шло ему впрок, почти все жители нашей окраины покупали у него, и с горя, в отчаянии накупали и поедали уйму продуктов, всяких лакомств, и этим обитателям чистилища, вернее — ада, казалось, что их безвыходное, отчаянное положение становится переносимей, и, как всем известно, самые нищие, самые несчастные люди в отчаянии вечно хватают что попало, нажираются чем попало, хотя, нахватавшись и нажравшись, они только подкупают и подкармливают адское свое, смертное свое отчаяние. Почти все свои деньги они приносили в нашу лавку, в дни получки наша лавка совершенно опустошалась, приходилось приносить чуть ли не полсклада, у всех здешних жителей была куча детей и много продуктовых талонов, а то, что не выдавалось по талонам и продавалось свободно, они тоже покупали вовсю, без оглядки. И накупали они что попало, навалом, даже то, что им было совершенно не нужно, а наш шеф очень ловко доставал по дешевке именно такие, абсолютно бесполезные товары, где только мог, сотнями скупал, например, дешевые чеканные подсвечники или, скажем, бокалы для вина, и покупатели их расхватывали, хотя и подсвечники и бокалы им были ни к чему — свечек у них не водилось, а вино они пили прямо из бутылок, обходясь без всяких бокалов. Не бывало таких гадостных, таких бесполезных вещей, которые не расхватывали бы по дешевке здешние жители. Для такого человека, как господин Подлаха, эта жадность, эта внезапная одержимость всех обитателей здешних трущоб скупать все что попало, была как нельзя больше на руку, и он, умевший, как никто, доставать нужные товары, умел и продавать что угодно, и притом на самых выгодных для себя условиях. Но он был не только расчетлив, в сущности он был очень добродушен, совсем не из тех ловких деляг, которые только этим и

живут на свете, и свою лавку он открыл в Шерцхаузерфельде не только из деловых соображений — это он мог сделать где угодно, но вполне возможно, что он ушел на эту окраину по тем же побуждениям, тем же причинам, что и я, и вполне допустимо, что и он, как ни абсурдно это звучит, искал в этих трущобах убежища. И для него, как и для меня, Шерцхаузерфельд стал убежищем после того, как он потерпел крах в Вене — а ведь он, образованный коммерсант, поступил в Венскую музыкальную академию, выбрав музыку своей основной специальностью, но из-за войны должен был прервать свои занятия, бросить академию, похоронить все надежды, связанные с музыкой, и приехал он в Зальцбург вовсе не затем, чтобы делать дела, для этого он был слишком интеллигентным человеком да и слишком легко ранимым, и вернулся он к своей прежней, коммерческой специальности, открыл он эту продовольственную лавку, только ища выход из полного отчаяния, и, может быть, он инстинктивно выбрал место для своей лавки не просто в городе Зальцбурге, а именно на окраине города, в трущобах, куда его потянуло, потому что эти трущобы неудержимо влекли к себе человека, вытолкнутого из так называемого нормального мира, а Подлаху тоже вытолкнули из так называемого нормального мира, как и меня вытолкнули из этого так называемого нормального мира, а в таких случаях человек, естественно, уходит в чистилище или в ад, и, по всей вероятности, Подлаха, как и я, чувствовал, что правильно нашел такой ад. И он, Подлаха, был тут чужаком вроде меня, но лишь гораздо позже я понял, насколько он был чужим. Он нашел правильный подход к покупателям, особенно к женской половине обитателей трущоб, и эти женщины очень ценили беседу с ним, и я многое перенял у него, научился обращению с людьми. Тут, на окраине, открыв лавку в подвале, которую он смог устроить и оборудовать по своему вкусу, он обрел ту полную самостоятельность, которая ему была так же необходима, как и мне, и смог вести свою собственную жизнь, независимую от обычной жизни внешнего мира, хотя жил он в другой части города, у своего дяди, который, как я полагаю, помог ему вырваться из Вены в Зальцбург, и так как этот дядя был лицом влиятельным, он устранил все препятствия, неизменно мешавшие любому приезжему из Вены открыть какое бы то ни было дело в Зальцбурге. Сам Подлаха всегда, неизменно мечтал о музыке, но вел жизнь мелкого лавочника, быть может по-прежнему чувствуя себя музыкантом, каким он, несомненно, и был, хотя больше не играл ни на каком инструменте и вместо этого торговал всякими продуктами, но я уверен, что весь день он думал о музыке, чувствовал себя музыкантом, даже продавая целыми днями всякую всячину. По характеру мы с ним были похожи, но только теперь я понял, насколько мы были близки по натуре, однако рассказывать об этом сейчас не время. Случай, если вообще существует случай, свел двух человек — Подлаху и меня,— во всем, до мелочей похожих друг на друга по характеру. Весь облик Подлахи, весь его душевный склад были мне очень близки, и в основном в нашей жизни было много сходства. Когда работа в продовольственной лавке становилась ему постылой, а часто и совсем невмоготу, он всегда — и обычно в тех же самых словах и всегда с горечью — говорил, что всю жизнь хотел стать музыкантом, но в угоду родителям окончил коммерческое училище, хотя по-прежнему мечтал стать музыкантом — играть в оркестре Венской филармонии было его целью, пределом его мечтаний. Война сорвала все его планы, выгнала из Вены, и он, Подлаха, должен был еще благодарить судьбу за то, что не стал простым трубачом или ударником в оркестре Венской филармонии и смог найти прибежище в том подвале, где и я сам года через два после него нашел себе пристанище. Наш Подлаха был непохож на своих коллег-лавочников, тупых и одержимых жадностью к деньгам, у меня даже создалось впечатление, что для него,

любителя долгих, одиноких прогулок, деньги вообще не имели особого значения, во всяком случае главного места в его жизни не занимали. Уже с первых часов моей работы в лавке он обратил мое внимание на тех людей, с которыми надо обращаться деликатно, и указал на шестидесяти- или шестидесятипятилетнюю фрау Лаукеш, или Лукеш, которая годами ежедневно приходила в подвал с бутылкой из-под рома и чей сын пытался стать актером и поступил в Народный театр, который помещался в перестроенном помещении бывшей пивной, в Шальмоосе, но актера из него не вышло, и он, естественно, стал запойным пьяницей. Подлаха любил свое дело, да и я это дело полюбил, и я хорошо знаю, что, отнесись я к делу всерьез, из меня впоследствии вышел бы очень дельный, даже талантливый коммерсант, кстати, Подлаха ни разу не воспользовался ужасным положением жителей этого чистилища, вернее — ада, а ведь он имел полную возможность, как говорится, раздеть их до нитки, но он никогда на это не шел, он торговал по совести. С покупателями он обращался строго, но всегда корректно, особенно со старыми женщинами и с детьми, а в иных случаях даже бережно, и там, где надо, он брал на себя роль лекаря, невропатолога или даже психиатра, давал советы, раздавал лекарства и часто предупреждал в семье и всякие стычки, и целые катастрофы. Только от него, и больше ни от кого в жизни, я научился, как нужно обращаться с людьми, и я уверен, что мне надо благодарить только господина Подлаху за то, что мне без труда дается общение с так называемыми «людьми из народа», с которыми мне приходится сталкиваться, этому он научил меня тогда, в подвале. Он был мне отличным учителем не только по торговым делам, но и по обращению с людьми. Там, где у людей возникают трудности в общении с людьми, я никогда, с тех пор как поступил в ученье к Подлахе, никаких затруднений не испытывал. Правда, я был очень способным, самым восприимчивым и наблюдательным учеником во время моей работы в подвале, и эту способность к вдумчивой, пристальной наблюдательности во мне воспитал мой дед. И сейчас мне кажется, что после той школы, которую я прошел наедине с моим дедом, лучшего учителя, чем Подлаха, я никогда бы не нашел. Дед научил меня одиночеству, умению жить наедине с собой, а Подлаха — общению с людьми, к тому же со многими и самыми разными людьми. У деда я научился жить в мире идеальном, оттого что с самых ранних лет ушел в философию, а у Подлахи, в трущобах Шерцхаузерфельда, я попал в самую настоящую реальность, вернее — в самую гущу этой реальной жизни. И то, что я так рано прошел обе эти школы, стало решающим для всей моей жизни, и, дополняя друг друга, они легли в основу всей моей жизни и до сегодняшнего дня остаются решающим фактором, который определяет весь мой дальнейший путь. Я укрылся в подвал, в лавку, где людям давали пропитание, и этот подвал, где людей питали, стал и для меня тем местом, где я получил то основное, что питало и питает меня всю жизнь, и это я понял сразу, и вся моя жизнь изменилась под этим влиянием. Мои домашние почувствовали во мне перемену с первого же дня, с той минуты, как я поступил в подвал, я им только сказал, что в гимназию я больше не пойду, а пойду служить учеником в продовольственную лавку, но когда я им сказал, где эта лавка, то есть объяснил, что она находится в шерцхаузерфельдских трущобах, они сначала мне не поверили, но в конце концов им пришлось примириться с этим фактом, когда я и вправду вышел с утра, в половине восьмого, вместе с учеником слесаря — кстати, впоследствии он стал чрезвычайно одаренным актером и выступал почти во всех немецких театрах. И принял я свое решение совершенно самостоятельно, так как мои воспитатели годами предоставляли меня самому себе, никакого выхода они вообще не видели, они вычеркнули меня, никакого представления о моем будущем они не имели и чувствовали, что у них самих

никакого будущего нет, откуда же им было представлять мою будущую жизнь? Их совсем пришибли собственные несчастья, послевоенная, свалившаяся на них катастрофа, а справиться с ней они не умели, они только и видели перед собой эту катастрофу, не сводили с нее глаз, называли все свои несчастья послевоенной катастрофой, но делать ничего не делали. Они почти помешались от того, что перед их глазами все время стояли их несчастья, их послевоенные катастрофы. Наша семья, в сущности, никогда не была единой семьей, потому что в этих людях, в них самих, все противоречило понятию настоящей семьи, и теперь они были просто скопищем кровных родственников, и в единственной оставшейся в их распоряжении квартирке теснилось девять человек, которые не выносили и с трудом терпели друг друга и только надеялись, что моя мать и ее муж, мой опекун, помогут им выжить, и мой опекун — только подумать — один зарабатывал на всех девятерых, а моя мать — только подумать — на всех девятерых стряпала. С ненавистью они все относились к своей жизни, но менять ничего не меняли. Они давно надоели друг другу и от полной безнадежности давно потеряли все человеческие чувства, весь свой умственный багаж. Поэтому они так обрадовались, когда хоть один из них стал самостоятельным, а где и как, им было совершенно все равно, они меня и не спрашивали, и я вдруг понял, что могу делать все что мне угодно, лишь бы только сам на себя зарабатывал и от них ничего не требовал. Но ведь мне было всего шестнадцать лет, когда я решился променять гимназию на подвал господина Подлахи. И с шестнадцати лет я всегда сам зарабатывал себе на жизнь. С того дня они не истратили на меня ни гроша. С шестнадцати лет я им уже ничем не обязан. И за это я благодарен. Мне лучше было уйти в чистилище, или, вернее, в ад, чем оставаться в гимназии и зависеть от моих родных. Да и для них мое новое место в жизни оказалось полезным. Я снабжал их, не всегда законными путями, разными продуктами, спасал от голода. Их часто спасала просто белая булка или кусок сухой колбасы, а бывало, и целая банка консервов. Мой дед, на которого я надеялся *во всем,* сам уже дошел до предела. Он уже никак не мог указать мне дальнейший путь. Все, чему он меня научил, теперь оказалось фантазией, а не действительностью. И я почувствовал, что меня оставил даже тот человек, которому я верил на все сто процентов. Он хотел сделать из меня то, чего нельзя было сделать. И в сущности, произошло так, как должно было произойти, гимназия завела меня в тупик, и виной моих учебных неудач был мой дед, потому что он научил меня одиночеству, самому крайнему безвыходному одиночеству, но человеку нельзя быть одному, и жить в отрыве от всего — для человека погибель, неизбежная погибель, и все наше общество, вся окружающая нас убийственная действительность подтверждают мои слова. Чтобы не пропасть, я должен был оторваться и от того человека, который был для меня всем на свете, то есть совсем оторваться от прежней жизни, и я внезапно от всего оторвался, не думая о последствиях, но, видно, так было нужно. Быть может, я еще долго ходил бы в гимназию, каждое утро уходил бы в эту идиотскую, бессмысленную, в сущности, смертельную для меня обстановку, годами терпел бы давно невыносимое чувство смертельного отвращения, тянул бы эту лямку до тех пор, пока мне не осталось бы другого выхода, как расстаться не только с гимназией и со всем, что было связано с этой несчастной учебой и что отпадало само собой,— нет, мне пришлось бы расстаться с жизнью, поставить точку в конце, прикончить мое и так пропащее существование. Уже давно я был не в силах терпеть но решимость бросить все еще *не дозрела.* Я не мог предвидеть, когда наступит решающий день, и для меня было полной неожиданностью, когда этот день вдруг настал и я внезапно круто свернул с Райхенхаллерштрассе. А ведь я только что купил новые книжки, учебники,

новые тетради, и мой дедушка уже искал для меня репетитора по математике. Да неужто мне всю жизнь надо слушать, как меня бранит мой опекун, и дрожать в смертельном страхе, слыша, как меня проклинают все мои кормильцы, подумал я и вдруг совершенно неожиданно оторвался от всего. Я посмотрел на дом адвоката, там ждал меня его сын, вот сейчас я позвоню, и выйдет мой соученик, однорукий, ему оторвала руку фашистская бомба, так называемый «бронированный кулак», где-то в австрийском лесу, и вот он сейчас выйдет из дверей, и мы с ним пойдем к концу Райхенхаллерштрассе к Нойтор и через Нойтор мимо Сацеллума пойдем в гимназию, подумал я. И в эту минуту я круто повернул обратно и побежал по лугу, через Мольн, на Гасверкгассе, прочь, прочь от всего, *в другую сторону*. И с этой минуты я никогда не видел сына адвоката, ничего о нем не слыхал, много лет не проходил по Райхенхаллерштрассе и долгие годы не ходил через Нойтор, а зайти в гимназию я до сих пор ни за что не могу. Вероятно, мой дед был глубоко потрясен тем, что я сам, по своей воле, вдруг из гимназиста стал учеником в продовольственной лавке, да и моя мать тоже, наверно, была очень расстроена, а всех остальных это дело вообще не касалось. Мой опекун ничего, кроме облегчения, не почувствовал, он сказал, что ему вообще безразлично, и даже если бы я пошел в ученики к штукатуру, он тоже не стал бы возражать, и его реакция была мне вполне понятна, ему и так осточертел хаос в семействе, которое он содержал один. Этим оправдывалось его полное равнодушие, впрочем без всякого злорадства. Зато мой дядя считал, что раз я вдруг решил стать — и стал — учеником в лавке, значит, подтверждается подозрение, что я удрал из гимназии *из-за полной неспособности*,— он всегда ревновал меня к дедушке, своему отцу, который меня любил, а в сыне всю жизнь сомневался, и теперь дядя считал, что он судил обо мне правильно, но ведь я-то не из-за неспособности сбежал из гимназии, а из отвращения, но этого никто понять не мог. Один только дед понимал, о чем я думал, он один из всех представлял себе, что во мне происходило. Он рассматривал мой переход из гимназии в лавку как перемену жизни, и вскоре после того, как я ему все рассказал, он полностью уверился в том, что новая специальность мне принесет большую пользу, хотя объяснить мне почему он не мог или не хотел. Все, что касалось моей работы в подвале, все, чего он хотел от меня, чего он мне желал в этой новой, не совсем безопасной для меня обстановке, я хорошо знал, а в его любви ко мне, в его привязанности я был твердо уверен, больше мне ничего не было нужно. Значит, и в этом случае мой дед снова оставался на моей стороне, стал моим спасителем. Именно вера в него, вера в его авторитет, вероятно, помогла мне сделать этот шаг, который всем казался дерзким, безрассудным, осуществить свой замысел на деле. А ведь дед всегда хотел для меня чего-то большего, он постоянно говорил об этом и не только со мной, а я вдруг очутился в подвале шерцхаузерфельдских трущоб, стал учеником в продовольственной лавке. Но в тот момент, когда господин Подлаха меня принял, я *был* свободен и я *чувствовал себя свободным*. Я все сделал добровольно и с тех пор все делал добровольно. И если я прежде все делал против воли, теперь я все делал по своей охоте, не сопротивляясь, с большой радостью. И не то чтобы я считал, будто я открыл смысл жизни, даже хотя бы смысл своей жизни, я просто почувствовал, что принял верное решение. И сегодня я должен подтвердить, что решающей минутой для всей моей последующей жизни была та минута, когда я круто свернул с Райхенхаллерштрассе. Наверное, для меня без этого вообще никакой жизни больше не было бы. Те обстоятельства, которые в конце концов задушили и погубили моего деда, задушили и погубили мою мать, наверно, и меня задушили бы и погубили. Останься я гимназистом, я был бы задушен и загублен, став учеником в подвале шерцхаузер-

фельдских трущоб, под присмотром и руководством господина Подлахи, я выжил. Подвал стал моим единственным спасением, чистилище (вернее — ад) моим единственным прибежищем. Теперь раз в неделю, не помню точно, в какой день, я должен был посещать торговую профшколу, которая помещалась в так называемом Новом Борромеуме, в Парше. Учителя там были совершенно непохожи на гимназических преподавателей, по вполне понятным причинам,— они пошли преподавать для престижа, для заработка, для верной пенсии в старости и своей неоспоримой связью с сегодняшним днем, своей ежедневной причастностью к реальной жизни заслужили полное мое доверие. И то, что нам преподавали, мне было интересно, потому что совсем для меня ново, и, к своему великому удивлению, я отлично понимал все условия игры в коммерческой математике. Та математика, которая в гимназии меня абсолютно не интересовала и всегда казалась удручающе скучной, теперь, в профшколе, неожиданно меня очаровала. Недавно мне в руки совершенно случайно попалась старая школьная тетрадь, и я еще раз убедился по ее содержанию, что оно и вправду было так, хотя все осталось в далеком прошлом и такие выражения, как «заимодавец списывает с конто ту сумму, каковую ему надлежит внести контрагенту для погашения вышеупомянутой суммы», казались мне занятными и значительными. Не скажу, чтобы я охотно ходил в торговую школу, но ведь приходилось бывать в Новом Борромеуме всего несколько часов, да и эти посещения часто срывались, оттого что у меня на них не хватало времени — то назначалась выдача продовольствия по карточкам, то у меня уходило много времени на уборку магазина. В этой профшколе учились не школьники, а ученики, которые не захотели быть школярами. И учителями, в сущности, были владельцы магазинов или так называемые хозяйственники, и хотя они тоже по большей части были туповаты и заносчивы не меньше, чем преподаватели гимназии, но все же оказались гораздо покладистее. В отличие от других учеников, не знавших гимназического ада, прошедших лишь среднюю или чаще только начальную школу и не травмированных предыдущим обучением, я не очень любил эти занятия в торговой школе. И тут, в сущности, царила та же узколобость, та же мелочность, лживость, то же чванство, как и там, но тут во всем не было такой извращенности и фальши, как в тех гадостях, которые творились в так называемой «гуманной» гимназии. Тут во всем преобладала откровенность, хоть и грубоватая, но деловая, и соблюдались правила игры, установленные людьми деловыми, настоящими хозяевами. И даже ложь была не такой грубой ложью, как в гимназии, и то, чему тут учили, непосредственно шло на пользу, а не было явно бесполезным, как то, чему учили в гимназии. И со своими соучениками по торговой школе я никаких затруднений не испытывал, я сразу сдружился со всеми. Меня лично больше всего удивляло, что я сам вдруг попал в торговое сословие, и это я сразу неоспоримо осознал в торговой школе, оспаривать тут было нечего. Да я и не хотел ничего оспаривать. В памяти у меня сохранились и хромой учитель Вильгельм, и владелец москательной лавки инженер Рийс — полные противоположности по характеру, но удивительно дополнявшие друг друга люди. Когда я там учился, они задавали тон всему учебному заведению. Мне принесла много пользы встреча с ними, хотя я и не очень симпатизировал одному из них, потому что он доставлял мне мало радости, зато другой стал мне гораздо ближе. И тут, как и везде, где сталкиваются люди, существовал опасный водораздел между симпатией и антипатией, но я старался избежать столкновений, нашел свое место среди всех этих людей и многому научился. В подвале мне как ученику приходилось не только заниматься уборкой, наведением порядка в лавке и на складе, где всегда глотаешь пыль, особенно вредную пыль от мешков с мукой, от которой чаще всего болели ученики в продукто-

вых лавках, таская и пересыпая изо дня в день тяжелые мешки муки и круп; пыль эта вызывала тяжелые легочные заболевания, и тогда ученику приходилось навсегда отказываться от этой профессии. Работа ученика состоит не только в постоянной будничной работе, и в подвале Шерцхаузерфельда, как в любой продовольственной лавке, надо прежде всего открыть ставни и решетки на окнах, отпереть дверь, впустить хозяина, служащих и покупателей в лавку, где накануне, иногда часами, приходилось все убирать, мыть, раскладывать товары по местам, и вся эта кропотливая, очень утомительная работа требует от ученика большой любви и внимания ко всем мелочам, и хорошо выполнять ее, в сущности, может только человек с хорошей памятью, с уменьем комбинировать, распределять и рассчитывать все по мелочам. И ко всем этим работам и к сотне других, столь же важных обязанностей в мое время добавлялась еще ужасающая по кропотливости, требующая неусыпной бдительности возня с продовольственными талонами, которые вырезывались из продовольственных карточек и ежедневно, после закрытия лавки, наклеивались на огромные листы картона. Я уже не говорю о том, что надо было постоянно таскать мешки, наливать бутылки, отбирать картофель, сортировать фрукты и овощи, насыпать в пакетики чай и кофе, нарезать сыр и масло, не говорю о том, что приходилось приспосабливаться, чтобы разливать уксус, и масло, и всякие соки, а также ром, и разливное вино, и морс в бутылки со слишком узкими горлышками, и вечно бороться с плесенью, сыростью, насекомыми, со слишком высокой или слишком низкой температурой, не говоря и о выгрузке и погрузке самых разнообразных товаров, поступавших всегда неожиданно, в любую минуту, бегать сто раз из лавки на склад, со склада снова в лавку, непрестанно нарезать хлеб, намазывать булочки, закрывать колпаком ветчину, ставить яйца в холодильник, не говоря уж о ежедневной уборке, вытирании пыли на всех полках, о беготне от прилавка к холодильнику, от разных полок к прилавку, не говоря и о постоянном мытье и вытирании рук и почти непрерывной точке ножей, ежедневной чистке ложек и вилок, ежедневном мытье стаканов, не говоря о мытье окон и полов и непрестанной борьбе с мухами и комарами, с мошками и осами, с паутиной на стенках — не говоря обо всем этом, все-таки самым важным было не терять контакта с покупателями, быть с ними всегда приветливым, вежливым, внимательным, постоянно следить за собой, всегда стараться их удовлетворить и ни на секунду не забывать о том, как надо себя вести с каждым в отдельности и со всеми вместе. С одной стороны, надо выполнять все желания покупателя, но, с другой стороны, никогда не поступаться интересами дела. Нужен порядок, должна царить чистота, и покупатели и шеф должны постоянно чувствовать внимание, всех надо обслуживать как можно лучше, и в кассе к вечеру все должно сходиться. К великому моему удивлению, к удивлению моих сослуживцев и к величайшему удивлению самого нашего хозяина, я очень быстро втянулся в работу, никаких трудностей для меня не было, мне легко было делать то, что от меня требовали, то, что было нужно. И к тому же я всей душой шел людям навстречу, я принес свою жизнерадостность сюда, в подвал, и заразил всех окружающих, а я и сам не знал, откуда эта внезапная способность — радоваться и своей радостью заражать других, видно, она всегда жила во мне и теперь вырвалась на волю, ничто не могло ее задушить. Многие приходили в нашу лавку, в подвал, просто для того, чтобы посмеяться вместе со мной. Я встречал их приветливо, умел сострить, пошутить, и мои шутки всегда доходили до наших покупателей. Мой шеф занимался закупками у оптовиков и спокойно мог на целые дни оставлять меня в подвале, иногда — совсем одного, когда болел другой ученик, Карл, или приказчик Герберт по какой-нибудь причине не являлся на работу. Скоро я стал отлично справляться один, и мне ничего не

мешало, и даже, когда десятки людей теснились у прилавка, я обслуживал их неторопливо, внимательно, целиком погруженный в свою работу и в то же время почти влюбленный во всех своих покупателей. Мой хозяин знал, что может полностью положиться на меня, и бывали дни, когда я, без разговоров, в одиночку, справлялся с толпой покупателей, нагрянувших в подвал при объявлении новой большой выдачи по карточкам. Мне просто доставляло удовольствие заниматься этим делом, потому что наконец исполнилось мое желание — приносить пользу. И все окружающие чувствовали мое хорошее настроение, оно сразу заражало всех, с кем я имел дело у нас, в подвале. Я и не знал, что в жизни бывает такая радость, особенно в те дни, когда накапливалось столько дел, что не верилось — неужели я один смогу с ними справиться. Но из-за частых недомоганий нашего второго ученика Карла, из-за частых отлучек нашего приказчика Герберта, вечно занятого любовными шашнями, прилавок в подвале стал моим капитанским мостиком, где я целиком и полностью становился единственным командиром. И господин Подлаха сумел оценить мою самостоятельность — не так часто хорошие умственные способности сочетаются с деловитостью и ловкостью, как у меня, и по душевному складу я был человеком открытым, достаточно было малейшего повода, чтобы я пришел в чудесное настроение, почувствовал себя счастливым, а тут мне не надо было ничего затаивать, и я мог давать волю своей радости. Много лет я никак не осознавал, что это во мне таится, не понимал, как это важно, нужно, а тут, в подвале продовольственной лавки, в трущобах, все скрытое во мне вырвалось на волю и от меня — на все окружающее, словно пахнуло свежим ветром. И когда я оставался один и один нес полную ответственность за все, я был счастливейшим человеком на свете. Я становился главным, я продавал не только наши продукты и другие товары, но и бесплатно, так сказать, в придачу уделял каждому, кто подходил ко мне, частицу своей вновь обретенной жизнерадостности. По субботам, после так называемой генеральной уборки, я нес домой то буханки белого хлеба, то картошку, сахар или муку, смотря по тому, что им было нужно, и шел по улицам, где всегда одинаково пахло стряпней и обычно преобладал запах похлебки, проходил мимо бывшей спортивной площадки, до основания прогнившей шведской стенки, до лейнерского почтового отделения, по заплесневевшим лужам, по буйной, вовек не кошенной траве, вдоль убогих плетней вокруг огородов болгарских садовников, и я часто наблюдал через плетень, как они работали, вспоминая, как я сам целый год проработал в траунштайнском садоводстве, и думая про себя, что и та работа могла мне что-то дать, и, быть может, если бы к концу сорок четвертого года на месте садоводства Шлехта и Вайнингера после бомбежки не остались бы одни воронки, кто знает, может быть, и я стал бы садовником. Работа в саду — самое большое благо и для тела, и для души, в ней человеку легче и естественней всего топить тоску и скуку, а ведь и скука и тоска — самые ярко выраженные приметы человеческого существования. Болгары на малых участках добились больших урожаев зелени и фруктов, да и фрукты у них были первосортные, потому что у них усердно работали не только руки, но и голова, и никакой работы они не чурались, и все их помыслы были связаны исключительно с землей, с уходом за ней. Часто, возвращаясь домой из Шерцхаузерфельда мимо пустырей, где теперь росли жилые дома, я заходил к болгарам, на их участки, и всегда эти встречи, эти разговоры шли мне на пользу. Потом мой путь вел меня мимо приюта глухонемых, где среди высоких деревьев виднелись отличные оранжереи, там целыми днями работали глухонемые под присмотром монахинь в белых крылатых апостольниках, потом я переходил железнодорожные пути. Мог я переходить и на другую сторону, но я всегда, если было время, шел более опасным путем, прямо через рельсы.

По субботам, после работы, когда я уходил из шерцхаузерфельдских трущоб, у меня сразу портилось настроение, меня одолевала тоска уже в Шерцхаузерфельде, эта тишина, прерываемая только звоном посуды из окон кухонь, все время напоминала мне: вот и суббота, никто не работает, люди валяются на диванах или на кроватях, не зная, куда девать время. И эта тишина длилась до трех часов дня, пока в домах не начинались ссоры,— люди выскакивали на улицу, вопя и ругаясь, с искаженными от злости лицами. Субботние вечера я всегда считал для всех самым опасным временем, когда человек недоволен и собой, и другими, и всем на свете, и осознает, что жизнь давно исчерпана, потеряла всякий смысл, и от этого он впадает в убийственное настроение, и уже из него никак не выйти. Человек привыкает к своей по большей части однообразной работе, и стоит ей остановиться, как он мгновенно теряет почву под ногами, смысл жизни и впадает в болезненное уныние. Так бывает не только с отдельными людьми, такое случается со всеми. Им кажется, что на отдыхе должны восстанавливаться силы, но на самом деле они попадают в пустоту и доходят чуть ли не до сумасшествия. Оттого по субботам у них у всех рождаются какие-то безумные планы, причем все кончается неудачей. Они начинают передвигать шкафы и комоды, столы и стулья, даже свои кровати, чистят одежду на балконах и башмаки начищают до блеска как одержимые, женщины влезают на подоконники, мужчины спускаются в подвалы и подымают хворостяными метлами тучи пыли, целые семьи пытаются наводить порядок у себя в доме, переворачивают всю мебель, пока у них самих мозги не перевернутся. А то укладываются в постель и начинают ныть, жаловаться на свои хвори, убегают, удирают в болезни, а болезни у них хронические, и вспоминают они их обычно именно в субботу, к вечеру. Врачи уже знают, что по субботам у них бывает больше вызовов, чем в любой другой день. Кончается работа, и начинаются недомогания, колики, всем известная субботняя мигрень, субботние боли в сердце, обмороки, истерики. Всю неделю работа или вообще всякие дела заглушают боли, заставляют забывать о болезнях, а в субботу вся хворь вдруг вылезает наружу и человек сразу выходит из равновесия. И если тот, кто к обеду уже приходит с работы, вдруг осознает, в каком он очутился положении — впрочем, положение у него всегда безвыходное, кем бы он ни был, каким бы ни был, где бы ни жил,— то все равно он должен признаться, что он человек несчастный, хоть и пытается казаться другим. И те счастливцы, кого субботний вечер не добивает до конца,— только исключение, подтверждающее правило. В сущности, все боятся субботы даже больше, чем воскресенья, потому что по субботам каждый знает — впереди еще и воскресенье, а страшнее воскресенья для них ничего нет, однако за воскресеньем уже близится понедельник, рабочий день, поэтому воскресенье уже можно перетерпеть. Суббота — ужасный день, воскресенье — день страшный, но в понедельник уже становится полегче. Только по глупости или со злости можно оспаривать этот факт: в субботу надвигается гроза, в воскресенье она разражается, в понедельник наступает затишье. Человек ненавидит свободу, все остальное — враки, он не знает, что с собой делать в свободное время, и стоит ему освободиться от дел, он начинает шарить по платяным шкафам, по комодам, пытается привести в порядок старые бумаги, ищет фотографии, документы, письма, идет в свой садик, что-то копает или бессмысленно бежит куда попало, без всякой цели, в любую погоду и называет это «прогулкой». А если есть дети, их тоже втягивают в то, что по крылатому выражению называется «убивать время», да их еще и дразнят, и лупят, не жалеют затрещин, пока не начнется такой кавардак, что волей-неволей приходится затихнуть. А что можно придумать ужасней, чем субботние прогулки под вечер или визиты родичей или знакомых, когда

все сплетничают всласть и отношения с родными и знакомыми окончательно портятся. Чтение для этих людей — чистое самоистязание, и, конечно, нет ничего смехотворнее спорта, этого любимого ухода от человеческого одиночества. Конец недели — смертельный удар по каждому в отдельности, гибель для каждой семьи. По субботам, после окончания работы, человек остается один, то есть каждый оказывается вдруг в полном беспросветном одиночестве, потому что, по правде говоря, люди по-настоящему всю жизнь связаны только с работой, у них есть по-настоящему только работа, больше ничего. Ни один человек не может заменить другому работу, и пропадает он не тогда, когда теряет человека, пусть самого дорогого, самого нужного, самого любимого, а тогда, когда у него отнимают работу, занятие,— тут он гибнет, тут он умирает. Болезни возникают там, где люди несут недостаточную нагрузку, слишком мало заняты, и жаловаться надо не на то, что человек очень занят, но на то, что у него мало дела, а стоит только наступить безделью, и пойдут болезни, и там, где людям не дают работать, их обрекают на несчастную жизнь. Иногда работа, сама по себе бессмысленная, все же имеет определенный смысл. По субботам, к вечеру, сначала наступало характерное для субботнего дня спокойствие, затишье перед бурей, но вдруг люди выскакивали на улицу, то ли вспомнив о своих знакомых и родственниках, то ли подумав о природе, а иногда вспоминали, что есть еще и кино и представления в цирке. Бывало, они скрывались в своих садиках, начинали что-то копать. Но всем этим они занимались от тоски, от разочарования в жизни. Ясно, что тот, кто не убегал в работу, считая, что можно провести время просто в раздумье и, поразмышляв, преодолеть тяжелую, опасную для жизни депрессию, тот сразу, целиком и полностью, поддавался мыслям о своей несчастной загубленной жизни. Именно в субботу случалось множество самоубийств, и те, кому пришлось часто бывать в суде, знают, что восемьдесят процентов убийств тоже приходилось на субботу. И оттого, что всю неделю люди держали под спудом все то, от чего они стали несчастными, недовольными, хотя человек все равно внутренне сосредоточивает внимание именно на всяких горестях и неприятностях,— в субботу, после работы, они уже не сдерживались и все несчастья снова беспощадно занимали их мысли. Но каждый пытался именно в субботу свалить все свои горести и несчастья на других. И эти несчастья, эти обиды человек тащил после работы домой, и хотя там его ждали те же горести и несчастья, он все равно обрушивал все свои беды на домашних. И выходит так, что субботний вечер везде, где живут и где сталкиваются люди, губителен для них всех. А в семьях, где все вынуждены тесниться, сдерживаться, там совсем невозможно, непременно кто-нибудь взрывается, но и там, где человек одинок, предоставлен сам себе, он тоже оказывается в ужасающем положении. Субботний день — самый убийственный день на свете для любого человека, он это чувствует и в воскресный, тоже невыносимый день, и только в понедельник все недовольство, все горести отодвигаются до следующей субботы, до следующего приступа тоски и упадка духа. Я и сам ненавидел субботы и воскресенья, потому что в эти жуткие для меня дни меня беспощадно втягивала беспросветная жизнь моей семьи, где девять человек ютились в трех комнатушках, с утра до вечера действуя друг другу на нервы, и всегда недоедали, хотя моя мать на скудный заработок моего отчима изо всех сил старалась хоть как-то всех накормить, да и надеть им было нечего, помню, как у нас все члены семьи обменивались то башмаками, то куртками и штанами, чтобы собрать одежду для того, кому надо было выйти на улицу в приличном виде, как говорится, и только мой дед жил один, в самой крошечной комнатенке, такой маленькой, что в ней и повернуться было трудно, но он сидел там, как отшельник, почти все время, среди своих книг, со своими невы-

полнимыми планами, и, экономя топливо, которое почти невозможно было достать, он целые дни просиживал за письменным столом, завернувшись в старую серую попону, хотя работать, конечно, не мог. Знаю, что он запирался на целый день, и его жена, моя бабушка, ждала — не раздастся ли вдруг выстрел из пистолета, который всегда лежал у деда на столе, днем — на столе, а ночью — под подушкой, и бабушка боялась, что он застрелится, потому что дед постоянно угрожал самоубийством и ей и всем нам, денег у него не было, сил никаких, и, голодая, как все мы, он теперь, через два года после конца войны, в это горькое, страшное время, впал уже в полнейшую безнадежность. Мой отчим работал за грошовое жалованье в каком-то нищем предприятии. В то время для меня в комнатах вообще места не было, и моя кровать стояла в прихожей у самой входной двери. О том, чтобы выспаться как следует, и думать было нечего, и по утрам я уходил на работу совсем не выспавшись. А когда мой дядя с женой выехали от нас, моя мать, желая заработать, взяла еще жильца к нам, семерым, и, как ни трудно поверить, он к тому же был скрипачом, упражнялся с утра до вечера и требовал за свои деньги ухода и питания. Дома мне было не до смеха, жили мы в полной безвыходности, в полной нищете, конец войны загнал нас в это жилье словно для того, чтобы мы испытали весь этот ужас. Но здесь не место распространяться обо всех подробностях ужасной этой жизни, да и вообще надо запретить себе касаться этой темы, и мне надо решительно отказаться от попытки написать воспоминания об этом времени, потому что оно вообще неописуемо. По сравнению с тем, что было, мне теперь все кажется просто смехотворным. Должно быть, там, в подвале, я всегда был в хорошем настроении, потому что знал: оттуда я каждый день, с самого утра, спасался в подвал, мой дом был для меня адом, и ежедневно меня спасал путь в шерцхаузерфельдские трущобы, которые я сейчас снова назову чистилищем. Все так называемые жилые дома в шерцхаузерфельдских трущобах были немногим страшней моего дома. И так же, как я каждый день удирал из моего дома по улице Рудольф Библьштрассе на работу в шерцхаузерфельдские трущобы, так жители этих трущоб каждое утро убегали на работу из этих трущоб, если только у них вообще хватало на это сил. Но выйти из такой жизни многим сил не хватало, и как не хватало больше сил у моей матери, не хватало сил ни у кого из моей семьи, кроме моего опекуна, так не хватало больше сил почти у всех обитателей трущоб. Они-то и сходили с ума или погибали, а то и сходили с ума и пропадали, как пропадала вся моя семья. Впрочем, об этом надо бы написать особо. По субботам и воскресеньям, когда я оставался дома, меня спасало одно — долгие многочасовые прогулки с дедом, уже смертельно больным человеком, и мы с ним подымались на Мёнхсберг, если только он мог собраться с силами. И каких судорожных усилий стоило моей семье тогда, в тех чудовищных условиях, еще пытаться учить меня в гимназии. Мне и посейчас все это кажется диким кошмаром. На самом деле у меня дома жизнь была ужасающей, чудовищной, куда хуже, чем в шерцхаузерфельдских трущобах, там жители чистилища считали, что они живут в аду, но они-то не жили в аду, это я, дома, жил в аду, но об этом я никому не рассказывал, нельзя было подрывать то доверие к себе, которое очень скоро установилось на работе, в подвале, и я никогда не говорил о том, что делалось у меня дома, наоборот — я рисовал перед моими сослуживцами и особенно перед господином Подлахой вполне успокоительную картину жизни в моей семье, с моими родителями. Себе в защиту я искажал до неузнаваемости описание своего дома и никогда ни одним намеком не выдавал, какой убогой и безнадежной была на самом деле наша жизнь. Умалчивать вовсе не значит лгать, и я почти обо всем умалчивал. Стоило мне выйти из нашего дома, где меня все угнетало, и я, вздох-

нув, чуть ли не бегом сворачивал на Рудольф Библьштрассе и мчался к Шерцхаузерфельду, словно спасаясь от смертельной опасности. Из дому я выходил мрачный, подавленный, а в подвал прибегал веселый. В дальней дороге как раз хватало времени, чтобы выйти из этого мрака и уныния и совсем повеселеть. И дорога была приятная, легкая, она шла под гору, и славно дышалось свежим воздухом, крепко настоянным на луговых травах. Иногда я один взбирался на Мёнхсберг и лежал в траве или, сидя под деревом, писал стихи, готовил уроки, раз в неделю я по-прежнему занимался в торговой школе, и я учил названия сотни сортов чая или кофе или решал всякие задачи — иногда простые, а иногда трудные, запутанные, про всякие процентные ставки, оптовые цены, вексельные обязательства и новейшие правила кредитования, а на последней страничке тетради я рисовал роскошные порталы и внутреннее убранство больших магазинов, чьим владельцем я непременно собирался стать в будущем. Куда охотнее я занимался ценами на крупу и муку, на так называемый русский чай и бразильский кофе, во всяком случае, учил все это без того отвращения, которое во мне вызывали Александр Македонский, Цезарь, Вергилий и все прочее. Но конец недели был для меня сплошным мучением — переходом в другой мир (к себе домой) из подвала (мира совершенно противоположного), и я понимал, что́ для меня значит — выдержать это немыслимое напряжение. Мой дед с трех часов утра всегда садился за работу, он давно писал огромную хронику «Долина семи поместий» в трех частях, тысячи на полторы страниц, и много лет подряд, борясь со смертельной болезнью, с трех утра начинал свой каторжный труд писателя-фанатика и философа, и он трудился, завернувшись в старую попону, подпоясавшись потертым ремешком, а я уже с трех часов утра слышал, как он начинал эту безнадежную борьбу, стараясь преодолеть мысли о полной бесперспективности никому не нужной работы и ощущение полной безвыходности своего положения. Лежа в передней, у самой входной двери, я с обостренным вниманием чуткого и любящего подростка, еще не испытавшего всей жестокой тщеты и безнадежности жизни, напряженно прислушивался, как самый любимый, самый дорогой мне человек снова старается преодолеть смертельный страх, упорно и отчаянно пытаясь довести до конца то, что он считал своим основным трудом. Я еще не понимал, как бессмысленно, как бесполезно — задаваться целью написать так называемый «основной» труд, однако в шестнадцать-семнадцать лет в постоянном общении со своим дедом я все же имел некоторое понятие о том, насколько безумны все попытки стать писателем, да и вообще заняться любым художественным или философски-духовным творчеством. Я восхищался упорством, неистребимой выдержкой и неутомимостью моего деда, его приверженностью к своим убеждениям, и писаным и неписаным, потому что меня в нем восхищало все, но в то же время я видел эту в полном смысле слова сумасшедшую одержимость, которой явно поддавался даже такой человек, как мой дед, видел, как он с неистовой, а потому и гибельной настойчивостью загонял свою жизнь — жизнь человека и философа — в полный тупик. Ему бы стать священнослужителем, епископом, а он всегда хотел быть политическим деятелем, социалистом, коммунистом, и, как всякий, кто пробует свои силы в писательстве, уже разочаровавшись в этих всевозможных группировках, он стал критиковать все эти группировки, все несообразности, все философии и стал философствующим писателем и, разумеется, запутавшись в своей писанине, очутился в полном одиночестве. В три часа утра я слышал за его обитой войлоком дверью, как он снова начинал свою деятельность. Более безвыходного положения, чем то, в каком он существовал, представить себе невозможно, но он боролся, он все еще боролся после сорока лет сплошных неудач, когда другой человек уже давно сдался бы. А он не сдавался. И чем боль-

ше росли неудачи, чем невыносимее и обиднее становилось всеобщее непризнание его труда, тем упорней становилась его одержимость той задачей, над которой он работал. Человек он был необщительный, контакты с людьми он ненавидел. Он укрылся, как в тюрьму, в свой труд, в дело всей своей жизни, заперся со своей работой, но оставил за собой право подчинять себе других, хотя и жить в одиночку. Всю жизнь от этого страдала семья, главным образом его жена, моя бабушка, да и моя мать тоже, хотя они обе своей неусыпной заботой давали ему возможность жить в полной творческой отрешенности. Но за все, что они ему давали, они заплатили жизнью, а выше такой платы ничего нет. В три часа утра, просыпаясь вместе с железнодорожниками и булочниками, он вставал и садился за письменный стол. Я прислушивался и поворачивался на бок — нас разделяла только обитая войлоком дверь,— и, услыхав, что дед уже встал и сел за работу, а значит, был тут, рядом, совсем близко, еще живой, я каждое утро, каждый день заново переживал эту радость. Сын дедушки, мой дядя, около пяти часов утра выходил из комнаты, где спала и моя бабушка, моя мать и мой брат с сестрой, отделенные большой картонной ширмой, и будил меня. Так шло годами. Дядя спускался в погреб, в свою мастерскую, к своим изобретениям, на которые он вечно собирался брать, а иногда и брал патенты, которые в будущем должны были принести ему обеспеченную жизнь и славу, что, конечно, было не только утопией, но и полнейшим безумием. Около шести я вставал, одевался и шел на кухню — завтракать вместе с матерью и моим опекуном. Иногда наш завтрак внезапно прерывался громким взрывом из подвала, и у нас трясся пол,— значит, там неудачно сработал дядин прибор. Но обычно, зная, что дед уже много часов работает, все вели себя как можно тише, никто не решался повысить голос, все старались никак не мешать, не говорить громко, мы и ходили на цыпочках, чтобы не нарушать работу над хроникой «Долина семи поместий». Дед был очень добр, но иногда у него терпения не хватало — он не выносил никаких помех в работе, и мы все помним, как он становился настоящим тираном. Часто бывало, что с нами всеми, особенно с женщинами — со своей женой и с дочкой — моей матерью, он обращался прямо-таки с уничтожающей резкостью и грубостью. Но наша семья уважала его больше всех на свете, позволяла ему и делать и говорить что угодно, все равно его обожали. Они верили в него, они ставили его выше всех. Он родился в деревне, ничему городскому не доверял, смертельно ненавидел и город и цивилизацию и давал волю этим мыслям и чувствам во всех своих сочинениях. Со своей сельской родины он ушел далеко в большой свет, но в мыслях всегда упрямо убегал из этого чужого, недружелюбного, отталкивающего мира. Он не мог поверить, что везде и всюду то же самое. В семь утра мой опекун уходил из дому. В свои тридцать с лишним лет он уже был кормильцем всей семьи. Тогда для меня, шестнадцати-семнадцатилетнего, он, конечно, давно был пожилым, даже старым человеком. А я не понимал, что жизнь в то время требовала от него почти нечеловеческих усилий и что он один должен был своей работой содержать и свою семью, и всю многочисленную родню. Около половины восьмого я уходил в Шерцхаузерфельд, в свой подвал. Положение у нас в семье было безысходным, невыносимым, потому что ничего нельзя было изменить, и мы жили в нужде, в нищете, оттого-то я каждое утро испытывал особенную радость, убегая по полям, лугам и пастбищам в шерцхаузерфельдские трущобы. В лице господина Подлахи, про которого я знал только то, что он родом из Вены, хотел стать музыкантом, но так и остался мелким лавочником, я неожиданно опять нашел учителя, и я его признал, а он обучил меня очень многому, тому, чему я не мог научиться у деда,— реально воспринимать действительность, реально оценивать окружающую меня жизнь. И, внимательно наблю-

дая за ним, наблюдая так, что он этого даже не замечал, я учился изо дня в день справляться с очередными делами, утверждаться в жизни, а этому дед никогда не мог меня научить. И главной предпосылкой для того, чтоб идти вперед, утвердиться в жизни, было уменье неуклонно наводить порядок не только в своих мыслях, но и вокруг себя, во всех будничных, самых пустячных, самых незначительных мелочах. Для меня Подлаха стал наставником, которому не приходилось навязывать мне свои знания, свои установки, я все воспринимал от него сам, охотно, без стеснения. Он не сознавал, что я учился у него тому, что для меня стало самым важным в жизни и что никак не было связано с моей профессиональной учебой, ибо то, чему мне пришлось учиться в лавке, я освоил очень быстро, у меня была врожденная склонность к этой работе, и это мне очень помогло, но куда важнее было то, что Подлаха научил меня, как подходить к людям достаточно близко и в то же время сохранять нужную дистанцию, он сам умел мастерски устанавливать контакты с людьми. Именно этому я никак не мог бы научиться от деда, он жил в полной изоляции, и со временем все его окружение, его жена, моя мать и ее муж, а потом и их дети, а значит и я сам, оказались в полной изоляции друг от друга, потому что дед был совершенно не способен налаживать отношения между окружающими и сам жил в отрыве от всех людей, независимо от их происхождения, круга знакомств, их характера, а Подлаха умел установить контакт с кем угодно. Именно его я должен благодарить за то, что впоследствии я никогда не испытывал никаких трудностей в общении с людьми, а ведь это огромное, очень важное для жизни преимущество. Мой дед учил меня наблюдать за людьми издалека, Подлаха непосредственно сталкивал меня с ними. Теперь я научился и тому и другому подходу. Но Подлаха, в отличие от моего деда, никогда не терял уверенности в себе. Он не любил одиночества, вокруг него всегда собирались люди, тогда как дед жил отшельником, хотя у него была семья, а у Подлахи семьи не было. Подлаха никогда не сдавался, и те, кто разрушил его надежды, все-таки не смогли доконать и его самого, тогда как дед сдался и его окончательно доконали те, кто сорвал все его планы, загубил его надежды. Но не стану сравнивать моего деда с господином Подлахой, это было бы нелепо. В сущности, они никак не соприкасались, никогда не виделись, и у них не было никакого желания встретиться друг с другом. Подлаха научил меня тому, чего мне не хватало, он заполнил брешь, оставленную моим дедом. И хотя я пошел к нему в лавку только учеником, но не эта работа была решающим и самым главным, чему я от него научился, что я получил. Во все те годы он давал мне возможность вникать в человеческое существование, в жизнь других людей. Недавно кто-то мне сказал, что шерцхаузерфельдские трущобы сносят, хотя и без огласки. У меня мелькнула мысль — сходить туда, взглянуть на них еще раз, много раз мне изредка приходила в голову мысль — не пройти ли снова по Гасверкгассе до нашей лавки. И однажды, лет пять-шесть тому назад, я дошел до нашего подвала, заглянул сквозь решетку в его высокие окна, в давно заброшенное помещение, которое уже невыгодно было держать. Решетки заржавели, двери были заперты, но внутри все осталось по-прежнему. Только теперь там была чудовищная грязь, не то что при мне. Видно, думал я, стоя у подвала и не зная, видит ли меня кто-нибудь,— Подлаха однажды решил бросить это дело, наверно оно уже потеряло для него всякий смысл. Со временем тут, на лейнерских пустырях, выросли огромные универмаги, так называемые супермаркеты, и все вокруг было застроено. Десятки тысяч людей живут теперь в серых, бездушных железобетонных корпусах на тех луговинах, по которым я ежедневно проходил к подвалу. Четверть века я не был в шерцхаузерфельдских трущобах, но тут стоял тот же запах, слышались те же шумы. А я

стоял, смотрел и думал, как же это я ухитрялся таскать девяностокилограммовые мешки из склада, то есть сначала вверх по ступенькам из склада, потом за угол к подвалу и вниз по ступенькам в подвал. Сотни, нет, тысячи мешков с мукой, крупой, сахаром и картошкой я перетаскал по этим лестницам. Мне было нелегко, но я справлялся. Я и решетки на дверях открывал, я и впускал в лавку толпу покупателей. Я обслуживал всех, кто здесь жил, квартировал, и, наверно, до сих пор все они живут тут, как жили тогда, только они на четверть века стали старше, и я открывал этим людям двери, я им заворачивал буханки хлеба, отрезал куски колбасы, засовывал в сумки пакеты масла. А сколько раз, особенно в дни выдачи по карточкам, я ошибался при расчетах, иногда — в пользу хозяина, иногда и наоборот. А сколько претензий ко мне предъявляли после каждой выдачи по талонам. Многим я из жалости выдавал больше, чем им причиталось по их талонам. Бывало, и сжульничаешь. А теперь я стоял перед подвалом и думал: жива ли еще старушка Лаукеш или Лукеш? Что сталось со всеми теми детьми? Некоторые лица я до сих пор помню до мельчайших подробностей. И сейчас я слышал голоса тогдашних покупателей, видел, как их руки считают деньги, как они проходят мимо наших окон, откуда мне видны только их ноги. Бывало, съешь без спроса булочку с колбасой, сунешь без спроса в сумку какой-нибудь женщине лишнюю пару яблок. Сегодня на такую мелочь спроса нет. А как ловко я наливал малиновый сок в бутылки, а как однажды случилась беда — я тащил мешок кукурузы, семьдесят килограммов, и на углу меня кто-то так толкнул, что весь мешок рассыпался по мокрой от дождя лестнице. И как они, хозяин и приказчик Герберт, поймали Карла, ученика, на краже, да и ловили его еще не раз, а потом он ночью куда-то сбежал, и его мать в отчаянии пришла в лавку и умоляла простить его. Но Карл так больше и не появился. Оказалось, что он поступил в Иностранный легион. Больше наш хозяин учеников не брал, я был последним. Герберт, наш приказчик, стал самостоятельным, открыл в городе продажу кофе. Половину времени моего ученичества мы оставались вдвоем с моим хозяином и прекрасно справлялись, нам хорошо работалось друг с другом. Мы с ним ладили. Мы друг дружку уважали. Я торговал в лавке и делал все, что требовалось, а в день выдачи по талонам я с легкостью укрощал огромный наплыв покупателей и был очень счастлив и доволен собой, а мой хозяин только подносил продукты. Даже с самыми капризными покупателями я умел ладить. Даже с фрау Лукеш, или Лаукеш, чей сын безнадежно пытался стать актером в народном театрике при большой пивной и в конце концов из-за полной неудачи покончил с собой. А вскоре и эта самая фрау Лаукеш, или Лукеш, покончила с собой. А ту одинокую женщину, которая жила над нашим подвалом — забыл, как ее звали,— кто-то задушил, и я об этом прочитал в газете через двадцать лет после того, как ушел из подвала. Сейчас я стоял под ее окнами и смотрел наверх. Может быть, там теперь живут ее дети. Вижу ее как наяву, она всегда ходила в красновато-рыжей блузе, вспомнил я, и непременно носила шляпу. Голос у нее был хрипловатый. А ту, что жила рядом, я однажды видел в театре — она там служила скромной гардеробщицей. Я заглянул в окно подвала и увидел себя за прилавком, услышал свой громкий смех, и мне в ответ еще громче засмеялись покупатели. Сзади меня зашуршали шины автомобиля — вот так обычно подъезжал к подвалу мой шеф. Я выбегал из лавки, помогал ему выгружать товары, нести их по лестнице в подвал. Опять он зря купил слишком много лука, слишком много помидоров, слишком много яблок, непременно половина сгниет. Он всегда торопился: надо снова ехать, где-то сегодня мука подешевела. Куда он ездил за мукой, я не знаю. Обычно, когда я убирал лавку, он сидел в соседней комнате с открытой дверью, а я подметал, вытирая пыль, проверял полки с яблоками, с помидорами.

Гнилые плоды и подгнившую зелень я выносил за угол и вываливал в мусорный ящик. Хорошо ли заперт склад? Я проверял висячий замок, возвращался в лавку с пустым мусорным ведром. Шеф сидел в соседней комнате и подсчитывал кассу. А иногда мы оба до полуночи засиживались в этой комнате и наклеивали, как было предписано, продовольственные талоны на большие листы упаковочной бумаги. А теперь я, заглядывая в окошко, видел одно запустение, ничего, кроме неописуемой грязи и пыли, как видно, подвал был совсем заброшен, годами сюда никто не входил, не спускались по ступенькам, пошатываясь, женщины с бутылками из-под рома; чуть не падая с ног у входа, пытались как следует поставить бутылку на прилавок, и если этот фокус им удавался, я наливал ром, хотя мне было сказано, что вот этой или вон той ни в коем случае никакого рома не давать, либо оттого, что у нее и так накопилась куча долгов, либо оттого, что, высосав вторую бутылку, она поднимала в поселке дикие свары; наш Подлаха никак не хотел, чтобы эти скандалы и ссоры как-то связывали с продажей спиртного в его лавке. Но если этим женщинам не давали выпить, они грозились, что покончат с собой, однако шеф просто вышвыривал их вон, и они на четвереньках, ругаясь и проклиная всех, ползли по ступенькам, а на следующий день снова являлись в подвал. Когда кто-нибудь умирал — а мерли тут каждую неделю,— наш хозяин, в обычном костюме, но при черном галстуке, уходил на похороны. Черный галстук висел тут же, под рукой, вместе с рабочими халатами, шефу только и оставалось завязать галстук и пойти на похороны. Все, кто тут помирал, были его покупателями. В подвале встречались все жители округи. Днем, над лестницей, за решеткой, стояло пять-шесть, а то и семь-восемь детских колясок, а мамаши стояли у меня в лавке и болтали. Я делал им булочки с колбасой, а иногда продавал всякие сласти. То одна, то другая вдруг вспоминала, что надо еще что-то купить. Зимой их больше всего привлекали два наших электрических обогревателя — дома у большинства из них было холодно. Так я теперь стоял, смотрел вниз, на подвал, и вдруг понял, что у входных дверей, прямо у меня под ногами,— огромная, уже слежавшаяся груда листвы, видно, ветер годами сносил сюда листья с деревьев и никто их не убирал. Ясно, что никому давно не было никакого дела до нашего подвала. Он уже выпал из жизни. Много лет назад Подлаха бросил свою лавку и не увез с собой ничего, оставил даже электрообогреватели, даже полки, даже доску прилавка, а ведь он ими гордился, он их построил и отполировал по собственным чертежам очень удобно и практично. В лавке еще висели рекламы каких-то продуктов, которые уже лет двадцать не поступали в продажу. Подлаха был как-то связан с американцами, но я точно не знаю, какие это были связи. Иногда в подвале появлялся какой-то негр, исчезал в задней комнате и выходил оттуда минут через пятнадцать или через полчаса. В Вене тогда еще проживала мать Подлахи, ей, вероятно, было лет под шестьдесят — возраст не такой преклонный, но я-то считал эту женщину древней старухой. И Подлаха всегда справлял сочельник вместе с ней, в Вене, а летом она проводила несколько дней или недель вместе с ним в Зальцбурге, такая аккуратная старушка. Подлаха очень неплохо относился ко мне, как и я — к нему. С Карлом, старшим учеником, у него было немало затруднений, тот провел лет пять в Иностранном легионе и неожиданно вынырнул в Зальцбурге — мы с ним столкнулись на улице, в самом центре города, и он меня сразу узнал. Но с тех пор я ничего о нем не слыхал. Приказчик Герберт хорошо относился ко мне с самого начала. Он меня никогда не изводил, не раздражал — вообще у нас в подвале хамства не существовало. Летом тут было прохладно, зимой тепло от электрообогревателей, включенных на ночь. Естественно, мне доставалась самая грубая, так сказать, самая черная работа, но парень я был очень крепкий, и сил у меня хватало,

так что я без всяких затруднений взваливал себе на спину семидесятикилограммовые мешки с кукурузой и таскал их наверх. И никогда никакая работа в подвале не казалась мне унизительной, хоть дел набиралось сотни, тысячи. Бывало, я вымою наши витрины до блеска, и всегда, как нарочно, грузовик въезжал в лужу у самого входа и вся моя работа шла насмарку. Наверно, я узнал бы много старых знакомых из шерцхаузерфельдских трущоб, да и меня, наверно, узнали бы многие, стоило мне только зайти в один из многоквартирных домов, но я туда не зашел. Сейчас мне казалось, что я слышу за спиной какие-то знакомые голоса. Что тут за жизнь настала теперь, подумал я, вот и в подвале ничего, кроме застарелой грязи, не осталось. Даже крысы и мыши, при мне вечно забегавшие в подвал, теперь куда-то исчезли. Для них в подвале тоже ничего не осталось. А что теперь делать старикам, когда лавка в подвале закрылась и до супермаркета им идти слишком далеко. А дети, которые, бывало, тут играли в мяч, уже давно повырастали, подумал я. Что же с ними сталось? И сколько тогдашних стариков еще осталось в живых? Как расползлись знакомые трещины на домах — я их хорошо помнил. Кто-то звал детей, я слышал те же имена, но дети были уже не те. Может быть, кто-нибудь из жителей трущоб выбился в люди? Но несмываемым пятном на человеке лежало его происхождение — он из Шерцхаузерфельда, из отбросов человечества, я сам всегда слышал, как их так называли, и всю жизнь на них лежало клеймо. Ни одна гостиница не брала в горничные девушек из Шерцхаузерфельда. Ни один магазин не брал в учение и в продавцы молодых людей из Шерцхаузерфельда. При мне отсюда на службу никого, кроме двух-трех железнодорожников, не взяли. Ни в одну партию их не принимали. Даже в пожарную охрану жителей Шерцхаузерфельда не брали. Помню одного-единственного кондуктора автобуса и еще одного водителя омнибуса. По вечерам мужчины — те, у кого была работа,— заходили перед возвращением домой к нам в подвал — купить пива, колбасы, редьки. На них были рабочие комбинезоны, и до поздней осени они ходили босиком или в деревянных сандалиях на босу ногу, и появлялись они, уже подвыпивши, спрашивали, не заходили ли сюда их жены. Девочки-подростки дни и ночи пропадали у американцев. Те задаривали девчонок из наших трущоб шоколадом, нейлоновыми чулками и блузками — всей этой дрянной «роскошью», вдруг наводнившей Европу. Девчонки раскрашивались, как китайские болванчики, и походка у них, в очень высоких модных сапожках, становилась и уморительной и нагловатой. Они очень задавались, спускаясь к нам в подвал, где им, этим счастливицам, которые себе американца «смешками подманили», и покупать было нечего. В семьях, где подрастали девочки, их силой гнали к американцам — хотели они или нет, и я хорошо помню, как у нас в Зальцбурге стояла так называемая «радужная» дивизия, и девочкам, которых там «пригрели», люто завидовали те, кому удачи не было. Да и в самих шерцхаузерфельдских трущобах американцы наделали много бед — девчушки для многих становились по ночам «американашечками». А нескольких из них американцы прикончили. В так называемых лейнерских казармах состоялось несколько военных судов, вызвавших широкую огласку. Убийц судили, выносили им приговоры, и они исчезали — очевидно, их отправляли в Америку. В шерцхаузерфельдских трущобах национал-социалистов, разумеется, никогда не бывало, но и при тех, кто пришел им после войны на смену, жизнь обитателей трущоб, в сущности, не изменилась, осталась по-прежнему такой же убогой, отвратительной, почти у всех, кто ее наблюдал, она вызывала гадливость. В наших трущобах нацисты уничтожили и всех немногих коммунистов, и так называемый «антисоциальный элемент», они и тогда полагали, да и теперь утвер-

ждают, что вычистили из шерцхаузерфельдских трущоб этот нежелательный элемент, согнали всех в газовые камеры или изничтожили всякими другими «мерами». Из них спаслись немногие, однако и те до сих пор живут в страхе. Но только посмей это сказать — тебя сразу обзовут клеветником и обвинят во лжи. А все-таки были в шерцхаузерфельдских трущобах нацисты или нет? Изгоев вообще из всякой «политики» тоже изгоняют. В нескольких десятках семейств американцы несравненно подняли уровень жизни. Но заплатили за это несчастные, впрочем, может быть, и не такие уж несчастные, красивые девчонки. В наших трущобах, в преддверии ада, я никогда не слыхал, что у Гитлера кто-то мог бы ускользнуть, зато в городе я постоянно это слышал. Да и теперь слышу. В шерцхаузерфельдских трущобах живут и доживают беспризорные дети погорельцев. Им постоянно грозит беда. И живут они под этой угрозой, но никто о них не заботится. Они предоставлены самим себе и знают это. Но вопрос не в том, несчастнее ли жители Шерцхаузерфельда, чем люди городские — на такой вопрос вообще ответа нет, как никогда не найти ответа и на вопрос о счастье вообще, мы можем только сравнивать, предполагать, но никогда не пытаться отвечать на такие вопросы. Счастье живет во всех и в каждом, так же как и несчастье. А что мы видим, что нам говорят? Мы часто спрашиваем, что такое счастье, потому что это единственный вопрос, который всю жизнь занимает нас постоянно, неотступно. Но если у нас ума хватает, мы на этот вопрос не отвечаем, если не хотим еще больше копаться в собственном мусоре, потому что мы и сами достаточно замусорены. Я искал перемену, искал незнакомое, а может быть, то, что меня взволнует, захватит, и все это я нашел в шерцхаузерфельдских трущобах. Не из сочувствия, не из жалости пошел я туда, жалостливость я всегда ненавидел, особенно жалость к себе самому. Я запретил себе всякую жалость и действовал совершенно обдуманно. По всем причинам я был близок к тому, чтобы вообще покончить с жизнью, и мне вдруг пришла мысль — круто свернуть с пути, по которому я шел в тупом бессилии, в болезненной бездумности, с пути, по которому меня направили в жалком тщеславии мои воспитатели, и я повернул и побежал по Райхенхаллерштрассе назад, сам не зная куда, лишь бы в обратную сторону. С этой минуты все должно было пойти совершенно по-другому, думал я уже спокойней, все станет полной противоположностью тому, что я делал до сих пор. И Биржа труда на Гасверкгассе уже находилась в совершенно противоположном районе, и я ни за что, ни за какие блага не повернул бы обратно. Шерцхаузерфельдские трущобы находились в самом конце этого противоположного направления, именно их я и выбрал конечной целью моего пути. И перед этой конечной целью я уже никак не смел пасовать. А сами эти трущобы не только географически лежали в противоположном конце нашего города, они во всех отношениях были его полной противоположностью. Тут не было ничего, что хотя бы отдаленно напоминало мне о нашем городе, обо всем, что годами так мучило меня в этом городе, доводило до отчаяния, до неотвязных мыслей о самоубийстве. А тут не было ни преподавателя математики, ни преподавателя латыни, ни преподавателя греческого языка, не было деспота-директора, который внезапно выныривал из-за угла, так что у меня от страха спирало в горле, здесь не было всей этой убийственной обстановки. Здесь не надо было беспрерывно держать себя в руках, пресмыкаться, лицемерить и лгать, чтобы как-то выжить. Здесь никто не впивался в меня критическим, заранее осуждающим, до смерти обидным взглядом, и здесь с меня никто не требовал бесчеловечных, неслыханных поступков, и никто не хотел сделать из меня бесчеловечное существо. Тут из меня никто не делал машину с запрограммированными мыслями и знаниями, тут я мог быть самим собой. И каждый тут мог быть самим собой. Здесь людей не втискивали не-

престанно, и с каждым днем все изощреннее, в какие-то насильственные рамки, как у нас, в городе. Тут никому не мешали, и мне, с первой же минуты в Шерцхаузерфельде, тоже никто не мешал. Можно было не только думать как тебе хотелось, можно было даже высказывать свои мысли вслух, говорить, что хочешь, когда хочешь, хоть тихо, хоть громко. Тебя каждую минуту не подстерегала опасность, что вдруг на тебя внезапно накинутся за твое упрямство,— теперь тебя, твою душу вдруг перестали растаптывать, измочаливать за несоблюдение правил и законов буржуазного уклада жизни — самого губительного для человеческой личности,— а в таких нелепо разрастающихся городах, как Зальцбург, человека так трясут и задергивают, так беспрерывно обтачивают и обколачивают, что от него остается только остов, только противный, бездарный робот. Я уж не говорю о маленьких городишках, где все нелепо, но и в небольших городах все сосредоточено на том, чтобы сделать из людей одинаковых роботов, все в этих городах сосредоточено на том, чтобы вытравить из человека всякую человечность, и уже подростки так обрабатываются, что целиком и полностью превращаются в роботов. Современный человек может сохранить себя только на природе, настоящей, стопроцентной природе, или в настоящей, огромной, стопроцентной столице, и в этих одинаковых, в сущности, условиях, еще встречаются настоящие люди, например в Лондоне, за громадами домов, на окраинах, потому что Лондон в наше время во всей Европе — единственный столичный город, и хотя он и находится не на континенте, все же он город европейский, и там, за громадами домов, я нахожу настоящую природу. А в остальной Европе живут главным образом только роботы, их уже в школе превратили в искусственных людей, и нам это сразу видно — с кем из европейцев ни встретишься, тут же чувствуешь, что имеешь дело с искусственным человеком, с отталкивающим образчиком массового производства, их скоро — неизвестно какими темпами — станут изготовлять миллионами, а то и миллиардами в гигантской школьной машине, непрестанно и немилосердно пожирающей людей, и нас оглушает невыносимый шум механической, марионеточной трескотни их голосов, и мы окончательно глохнем, и нам уже не найти ни одного живого человека. Возможно, что тут, в шерцхаузерфельдских трущобах, я почувствовал то же, что и в Лондоне, за его пределами, но тогда я этого не сознавал, я просто подчинился своему инстинкту и повернул в противоположную сторону. Я дошел до полного отчаяния, до полного отвращения и оттого совершенно инстинктивно пошел туда, куда мне было нужно, и я уже рассказывал, как я бежал, как с ложного пути я наконец свернул, опрометью помчался по другому, верному пути. И я удрал от всего, с чем я был связан, от своей школы, своих преподавателей, из города, где была моя школа, мои преподаватели, удрал от своих любимых и нелюбимых воспитателей и опекунов, от всех мучений, всех издевательств, вечно терзавших меня, от всей жизненной нелепицы и путаницы, потому что я удрал из той своей жизни. А тот, кто повернул в другую сторону, уже бежит прочь без оглядки, бежит бегом, не зная куда, лишь бы в другую сторону. Я побежал в шерцхаузерфельдские трущобы, даже не зная, что это за трущобы, я подозревал, что они какие-то другие, пока сам не увидел, что они именно такие, как я думал. А ведь мой побег мог бы меня окончательно погубить, я мог бы пропасть, погибнуть, но мне повезло. В нужный момент я попал к нужным мне людям. Я все поставил на карту, что и потом со мной часто случалось, и мне повезло, оттого что я ни на миг не сдавался, оттого что не позволил себе ни малейшей слабости. Что могло бы случиться, думаю я сейчас, если бы я послушался заведующей Биржей труда, она ведь сразу мне сказала, что я спятил, и хотела отправить меня домой, что было бы, если бы я подчинился, не стал сопротивляться. Но я остался у нее в кабинете, пока она не выдала

мне нужный адрес, именно тот самый, в противоположном направлении. Понять меня она никак не могла, но я был уверен, что прежде, чем я уйду из ее кабинетика, она выдаст мне адрес в том самом противоположном направлении. А без этого адреса я не уйду. Я твердо решил заставить ее выдать нужный мне адрес в ту сторону. Я ее силком заставил. Наверно, к ней уже не раз в отчаянии прибегал какой-нибудь школьник, который хотел удрать от своего вконец отравленного быта, переменить свою жуткую жизнь, но обычно он пугался и пасовал в первую же минуту. И все эти сбитые с толку люди, каких я встречал, слабеют и сдаются с первой же минуты, но ведь именно в эту решительную минуту сдаваться никак нельзя. И потому заведующая тут же вытащила из картотеки нужный мне адрес, вынула мне счастливый жребий: «Карл Подлаха. Шерцхаузерфельд. Квартал Б». И, стиснув в кулаке мою счастливую карту, я бегом понесся туда, где мне стало везти. Скрывать нечего — поначалу работа в подвале была не из легких. Да и смогу ли я, в таком возрасте, выполнять все те требования, которые поставят передо мной — человеком совсем молодым и к тому же сверхчувствительным, сумею ли я все делать как надо? Я же не привык к физической работе, свой портфель с трудом таскал через всю Райхенхаллерштрассе, до Нойтор, до самой гимназии. Удастся ли мне поладить с этими незнакомыми, совершенно чуждыми мне людьми? И разве я сам не знал, что плохо умею считать. Да еще считать в уме — какой кошмар! А разгружать целые грузовики с картошкой, под проливным дождем, в одиночку, при помощи тяжеленной железной лопаты? А ссыпать эту картошку в склад? А таскать наверх из склада, а потом — вниз, в лавку, в подвал, банки смальца и банки искусственного меда и коробки сахара? Придется ли именно мне, такому человеку, как я, беспрекословно подчиняться совершенно незнакомому хозяину — уже по лицу его было видно, что он человек суровый и притворяться не умеет. Смогу ли я наладить отношения с грубияном приказчиком, со вторым учеником, Карлом,— мне показалось, что он встретил меня довольно враждебно. А с этими людьми, которые бесцеремонно вваливались в лавку,— я сразу заметил, как они грубо, по-хамски вели себя? И все эти задачи я разрешил в первые же дни, все трудности, как оказалось, можно было преодолеть легче легкого. Мне везло как никогда. И когда я все понял и сам удивился — на что я способен и физически и умственно,— я сразу с воодушевлением стал осваивать новую работу. И мне повезло. Что такое мелочная торговля, я знал с детства, у моего деда с материнской стороны была сестра Розина, и у себя на родине, в Хенндорфе, она держала в доме своих родителей так называемую «бакалею», и не было у меня в раннем детстве большей радости, чем сидеть в лавке у тетушки и смотреть, как она обслуживает покупателей. Тогда еще продавали сахар целыми «головами», в синей бумаге, жили при керосиновых лампах, носили лифчики с подвязками — это было до 1938 года. В три, четыре, в пять лет я был сластеной, как все ребята, замечал все до мелочей, тоже как все дети, и моим любимейшим местом была лавка моей тети — кроме этой «бакалеи» она держала еще довольно большой дом для приезжих и управляла небольшим именьицем. Это именьице досталось по наследству моему деду после того, как его старший брат покончил с собой,— он служил лесничим на так называемом Цифанкене, и дед, который хотел жить в каком-нибудь большом немецком городе и тяготился всякой собственностью, отдал именье брата своей сестре Розине. У меня сохранилось много фотографий лесничего а дед рассказывал мне об этом своем брате, что он застрелился из охотничьего ружья на самой вершине Цифанкена и оставил на месте самоубийства записку, что застрелился он потому, что ему стало невмоготу видеть, как несчастны все люди. Моя тетя Розина знала, чем меня можно утихомирить, и позволяла мне хозяйничать у себя

в лавке — открывать и закрывать ящики на полках, вносить бутылки со склада в лавку или выносить на склад из лавки — и уж совершенно осчастливливала меня, позволяя мне самому продавать покупателям какую-нибудь мелочь. С тех пор я и полюбил эту работу. Но подвал господина Подлахи не имел ничего общего с «бакалеей» моей тетушки в Хенндорфе, даже запах там стоял другой, непохожий на характерный запах бакалейных товаров, и тут уже никаких сахарных голов, никаких керосиновых ламп и в помине не было, а «лифчики» давно забыты и вышли из моды. В подвале была не такая примитивная обстановка, как у тети Розины,— у нее стояли две-три деревянных полки, два простых деревянных шкафа, да и постоянных покупателей было всего два-три десятка, тогда как подвал в Шерцхаузерфельде обслуживал тысячи людей, и, уж конечно, самого господина Подлаху, человека столичного и, что греха таить, весьма хитроватого, никак нельзя было сравнить с моей добродушной и довольно неповоротливой тетушкой Розиной. Хочу только сказать, что в нашей семье торговое дело — очень старая традиция, и отец тети Розины, то есть отец моего деда, мой прадед, был, как и обозначено на его могильной плите в Хенндорфе, так называемым оптовым коммерсантом, который снабжал главный продуктовый венский рынок маслом и смальцем. По всей флауской округе его звали ласкательно «щеголько»[1]. И он стал очень состоятельным человеком. Тот, кто родом из Флашгауера, и по сей час понимает, что значит «щеголек», и если уроженец Флашгауера хочет узнать, откуда я родом, мне только стоит сказать, что я родня «щеголько», как они сразу с большим уважением понимают, из чьих я. В подвале я не торчал у всех на глазах, наоборот — там я нашел убежище. Когда я целиком и полностью, на все сто процентов отбросил все, что было связано с моим воспитанием, моим прошлым, и ринулся в совершенно противоположную сторону, в обратном направлении, в шерцхаузерфельдские трущобы, я там нашел прибежище, я вдруг почувствовал себя как дома в прямо противоположном мире, и все те сотни и тысячи дел, которыми я стал заниматься — перечислять их тут я не стану,— помогли мне, стали моим спасением. Умом я понимал, что мое решение может и погубить меня, но вышло совсем наоборот. Только оттого, что я понимал полную бессмысленность своего пребывания в гимназии и знал, во что там превращают — должны превращать — человека, я осмелился сделать этот шаг в неизвестность. Только при полной, стопроцентной уверенности в своей правоте можно найти для себя спасение. Конечно, в подвале меня ждали не одни только радости. Часто мне становилось так противно и от жуткого тамошнего быта, от этих людей, этих вещей, что я удирал из подвала на склад, потому что терпел полную неудачу и в работе и в отношениях с людьми. При моей обостренной, еще мальчишеской обидчивости я страдал от грубости покупателей, от резкости господина Подлахи и вообще от всего этого хамства, и я очень часто оказывался виноватым, хотя иногда был и ни при чем. И вместо того, чтобы отругиваться, я, чуть не плача, таскал ящики, с головой нырял в ларь с мукой. Из-за какой-нибудь недолитой бутылки господин Подлаха мог вдруг до того разозлиться, что я от страха приходил в полное отчаяние. И покупатели то чересчур подлизывались ко мне, то вдруг начинали безобразно ругаться. А Подлаха часто прощал мне серьезные ошибки, но из-за какой-нибудь мелочи мог неожиданно взбеситься. Человек он был вспыльчивый, вдруг ни с того ни с сего приходил в полную ярость. Он ненавидел всякую небрежность, не терпел притворства. Мне редко приходилось видеть его, так сказать, «в штатском», то есть без рабочего халата, но одевался он всегда очень тщательно, хотя, насколько мне известно, в быту был человеком непритязательным. В нем не было никакого

[1] Игра слов: «шмальц» — смалец и «сладкий» (шмальцтенор — сладкий тенор, шмальцпоэзи — приторные стихи). *Прим. перев.*

притворства, ему это было ни к чему. Как все жители Вены, он любил прогулки, веселые компании, но об этом я знаю только понаслышке. Для лавочника он, в сущности, был слишком интеллигентен, очевидно, он поэтому так рано, лет в пятьдесят с лишком, уже продал свою лавку. Он любил Брукнера и Брамса, регулярно посещал концерты. Мы с ним часто разговаривали о музыке. И быть может, господин Подлаха, любитель классики, несостоявшийся музыкант, и был причиной, почему я сам после двух-трех месяцев работы в подвале снова вспомнил, что я мог бы для заработка снова заняться музыкой. Во время музыкальных фестивалей Подлаха уже после обеденного перерыва приходил в черном костюме, чтобы сразу после закрытия лавки успеть на концерт, не заходя домой, и партитура концертной программы неизменно находилась при нем. После каждого концерта он, как говорится, становился другим человеком и долго жил тем, что он слышал. Я только теперь понял, что он прекрасно чувствовал музыку, куда лучше многих знакомых мне музыковедов. И тогда, в подвале, я в конце концов вспомнил то, о чем давно забыл и думать,— я вспомнил о музыке, о моей бесславно прерванной игре на скрипке. А тут я еше испробовал новый инструмент — мой певческий голос. В переломном возрасте природа вдруг одарила меня прекрасным низким баритоном. Когда я был один, я пробовал голос, пел знакомые и самосочиненные оперные арии, которые я когда-то играл на скрипке,— теперь я пел их на складе, в почти полной темноте, или в служебном помещении рядом с лавкой, а то и на Мёнхсберге. Я совершенно не собирался просидеть всю жизнь в подвале, и хотя не имел ни малейшего представления о своем будущем, запереть, заточить, замуровать себя в подвал пожизненно я не собирался. И если мне предстояло всю жизнь просидеть в таком или другом «подвале» по своей или чужой воле, чего никак предвидеть невозможно, тем необходимей для меня было найти противодействие. Музыка и была таким противодействием, она соответствовала всему моему существу, своеобразию моего таланта всем моим склонностям. И мой дед, не помню, по собственной ли инициативе или по моей просьбе,— поместил объявление в газете, чтобы найти для меня преподавателя пения, а сам он уже видел во мне будущего зальцбургского Шаляпина, и в тексте объявления — это я отлично помню — было имя «Шаляпин», а мой дед часто рассказывал мне о самом знаменитом басе своей молодости, и хотя дед ненавидел оперу и все, что с ней связано, но для него величайшей радостью стала мысль о том, что его любимый внук нежданно-негаданно может стать знаменитым певцом. Дед особенно любил Антона Брукнера, главным образом, наверно, потому, что ему близок был крестьянский облик Брукнера, а не потому, что он восхищался его музыкой, в общем и целом все музыкальное образование моего деда по существу сводилось только к случайно приобретенным сведениям тонкого любителя музыки. Как вся моя семья, он был очень музыкален, однако не музыку считал он самым существенным в жизни. Но теперь, он, вероятно, решил, что раз я в детстве учился играть на скрипке, значит, есть хорошая основа для дальнейшего музыкального образования, и как только этот план возник, дед стал усиленно хлопотать за меня. Он понимал, что если я сам к своей жизни отношусь безразлично, а может быть, даже принимаю ее вполне, то в этом подвале могу окончательно пропасть, если не найду какой-то отдушины, и он сразу решил, что уроки пения и станут для меня таким выходом. Уверившись в том, что у меня красивый сильный голос, который нужно развивать и отделывать, и что я не целиком погряз в ненавистной ему бездуховной обыденщине, он наконец смог увериться в том, что теперь цель моей жизни может стать выше, благороднее, и если он раньше видел во мне будущего коммерсанта, то теперь он мечтал, что я стану певцом, то есть человеком, причастным к

искусству. И «коммерсант» был тут же сброшен с пьедестала, а на его месте высилась фигура «артиста», хотя почему, в сущности, надо принижать карьеру хорошего коммерсанта? И чем, в сущности, лучше певец? Но деду приятнее было думать, что я стану певцом, пусть даже в ненавистной ему опере, чем всего-навсего «каким-то купцом». Вдруг он так и говорить стал, упоминая о купцах: «какой-то купец», зато о певцах говорил с величайшим уважением, и с таким же энтузиазмом, как раньше говорил о коммерсантах, он теперь восхвалял певцов. Он даже углубился в историю музыки, чтобы, если можно, собрать все самые точные и, по возможности, самые лестные сведения о певцах. Он пытался ввести меня в мир Карузо, в мир Таубера и Джильи, и хотя раньше он презирал этот мир, теперь старался доказать мне, как он прекрасен, чтобы я согласился выбрать именно карьеру певца. Но меня не надо было уговаривать, я сам сразу уверился, что стану певцом, особенно после того, как Мария Кельдорфер, исполнительница партии Софи на премьере оперы Рихарда Штрауса «Кавалер роз» в Дрездене, взяла меня в ученики и тоже была более или менее уверена, что меня ждет карьера настоящего певца. Объявление моего деда, где фигурировало имя «Шаляпин», произвело впечатление на старую даму, она написала моему деду, и я отправился к ней на Пфайфергассе, спел ей что-то, и она, так сказать, взяла надо мной опеку, стала мной руководить. И не то с понедельника, не то с четверга я стал по вечерам, после закрытия лавки, приходить к ней на уроки пения, мы договорились, что платить за урок я буду сам, из моего жалованья, в подвале я получал тридцать пять шиллингов в месяц, а если не хватало, немного добавлял мой дед. Господину Подлахе, с одной стороны, совсем не нравилось, что теперь у меня голова была забита только мыслями о музыке, но я заметил, что, с другой стороны, ему было очень и очень интересно говорить со мной о музыке, и тут немалую роль сыграло то, что я стал регулярно брать уроки пения. Теперь, когда я занимался всерьез и с самого начала стал делать огромные успехи, мне казалось, что жизнь моя наконец вошла в свое русло, и можно сказать, музыка каким-то чудом подействовала и на мою работу в подвале. Теперь я ходил туда еще охотнее, чем раньше. Всю жизнь я любил и до сих пор больше всего на свете люблю музыку, а теперь моя любовь вдруг нашла поддержку, окрепла в регулярных занятиях не только с Марией Кельдорфер: ее муж, знаменитый профессор ганноверской консерватории, музыковед и критик, тоже взял меня под свое крыло, он преподавал мне, и притом совершенно безвозмездно, после каждого урока с его женой теорию музыки, а позже главным образом эстетику музыки — предмет, который он когда-то преподавал и в Моцартеуме, и я до сих пор именно ему обязан исключительно глубокими знаниями в области музыки, хотя впоследствии я учился у многих музыковедов, у очень знаменитых профессоров наших академий. Пока я учился в гимназии, музыка была только страстной моей любовью, но я не имел никакой возможности заняться ею всерьез, конкретно, исследовать все ее глубины, основы, словом, расширять свое музыкальное образование, а теперь мне это стало доступно само собой. Я изучал музыку, словно она была отраслью высшей математики, и с неуемной жаждой постичь эту науку добивался отличных результатов. Тут предпосылкой, с одной стороны, была моя безграничная любовь к музыке и желание учиться, но огромную роль сыграли и мои преподаватели, на редкость интересные, очень своеобразные люди, их дом на Пфайфергассе, где художник Штиф писал свои картины в модном некогда стиле бидермайер,— он приходился дедом моей учительнице, и его картины до сих пор висят во многих церквах, дворцах и богатых домах Зальцбурга,— и теперь этот трехэтажный дом, со всеми его прихожими, коридорчиками и закоулками, стал родным, я полюбил и благороднейшие по своей простоте

сводчатые потолки, и самую изысканную лепку карнизов. Весь дом снизу доверху был заставлен бесценной старинной мебелью в стиле ампир или бидермайер, а в зале находилось, так сказать, «сердце» этого дома — огромный «Стейнвей». Много лет подряд я бывал в этом зале, стоял у этого рояля и, постигая всю красоту и все невероятные трудности вокала, учился петь. Теперь мне вполне ясно, что я мог бы стать хорошим исполнителем ораторий и Перселл, Гендель, Моцарт, Бах могли бы заполнить всю мою жизнь. Мне выпало на долю большое счастье — быть учеником Марии Кельдорфер, одной из самых образованных и притом самых утонченных преподавательниц пения; овладеть своим голосом — одним из первых инструментов, данных человеку природой, а кроме того, огромную пользу мне приносили серьезные занятия музыковедением, историей музыки. И третьим счастливым для меня обстоятельством были мои занятия в торговой школе. Все эти три занятия — уроки пения, занятия музыковедением и уроки в торговой школе — вдруг до отказа заполнили мое время, и жизнь перестала меня тяготить, обновилась, наполнилась новым смыслом, и я, душой и телом, стал другим человеком. Неожиданно, сразу, совершенно непредвиденно у меня все пошло как надо. С одной стороны, шерцхаузерфельдские трущобы, преддверие ада, и жизнь в моей семье и, с другой стороны, дом на Пфайфергассе — эти две полнейшие противоположности должны были стать моим спасением, но они не только спасли меня, они стали предпосылкой для всей моей последующей жизни. Кажется, я около года прослужил в подвале до того, как мой дед поместил в газете объявление, где фигурировало имя «Шаляпин». Я полюбил эту постоянную смену работы, этот контраст, и разница между шерцхаузерфельдскими трущобами — преддверием ада — и моей жизнью в семье, с одной стороны, и музыкой в доме на Пфайфергассе — с другой, эти полнейшие контрасты моей юности в Зальцбурге спасли меня, именно им я обязан всем в жизни. Теперь я учился коммерческому делу по своей доброй воле, и занимался музыкой тоже по собственной воле, и я обучался коммерции основательно и усердно, и музыкой занимался с таким же величайшим усердием. И главное — я все делал добровольно. Я не давал себе потачки и до известной степени именно потому и чувствовал себя счастливым. Счастливое было время, когда я себе спуску не давал. Изучал коммерческое дело и занимался музыкой одновременно, и одно другому не мешало, все я делал на совесть, всерьез. Стану ли я певцом, стану ли коммерсантом — мне было все равно. Я по-прежнему с одинаковым интересом и с одинаковым старанием занимался подготовкой к обеим профессиям, которые могли обеспечить мне какое-то место в жизни. Я не мог позволить себе пренебречь ни той, ни другой возможностью, если не хотел снова впасть в полное отчаяние. Мои занятия музыкой шли на пользу моей учебе в торговом училище, и, наоборот, эта учеба шла на пользу моей музыке, для меня наступило полное равновесие. Мой дедушка опять мог вздохнуть спокойно. Я обрел себя, понял — чем я дышу, сама природа стала мне подмогой. Вдруг я получил такой подарок судьбы, о каком люди часто мечтают всю жизнь понапрасну, а мне неожиданно выпал на долю такой подарок судьбы, о каком я не смел и мечтать,— я давно не верил в чудеса природы. И теперь, стоило мне только захотеть, я мог бы показать людям, что уже становлюсь настоящим певцом, я исполнял самые сложные пассажи в самых трудных ораториях и «Страстях» — пел Симона во «Временах года», Рафаила в «Сотворении мира», Калеба в генделевском «Исайе». Моя строгая учительница хорошо понимала меня, и под ее руководством я делал большие успехи, голос выровнялся, он уже не тонул в глубине гортани, он звучал все утонченнее, все легче, все изящнее и вместе с тем естественней, непринужденней. Вспоминаю «Те деум» Деттингера; «Мессию» Генделя я любил с самого раннего детства,

Бахом восхищался, но он не доходил до глубины моего сердца, зато Моцарт был моей собственной жизнью. Моя учительница, одна из лучших представительниц своей профессии, поставила мне голос, научила владеть им, развивать его физически, как требовалось хорошему певцу, а ее муж, музыковед, развивал меня умственно. Я погрузился в эти занятия по своей охоте, без малейшего сопротивления, я понял, что эти уроки, выполнение этих трудных заданий может стать огромной радостью, и я был счастлив. Особенно мне шло на пользу то, что все теоретические уроки я мог в том же доме на Пфайфергассе с огромной пользой приложить на практике, и то, чему меня учил профессор Вернер, очень помогало в занятиях с его женой, и наоборот — практика подкрепляла теорию. В дни занятий, обычно через день, на Пфайфергассе собиралось несколько учеников моей преподавательницы, особенно мне памятен сын каретного мастера с Глокенгассе, баритон Печко, мы с ним много лет пели дуэтом, вспоминаю я, и дочь всеми уважаемого, широко известного владельца экспортной конторы,— обычно под выходные дни ее нежное сопрано звучало вместе с нами, помню и глубокий альт одной баварки. Мы пели все доступные нам дуэты, и терцеты, и квартеты, и, к великой радости нашей и всех наших родных, мы стали часто выступать в домашних концертах в семьях моих соучеников, чтобы, по словам нашей учительницы, привыкнуть не робеть перед публикой и держаться просто и естественно. Профессор Вернер, который, как я уже говорил, во время войны потерял в Ганновере все свое состояние, несмотря на все, остался милым, приветливым человеком. После каждого нашего концерта он к вечеру выходил из дома с аккуратно переписанной от руки критической заметкой — настоящим произведением искусства, как я теперь понял,— и нес этот материал из дому, через Моцартплац, по Юденгассе, через Большой мост на Парижскую улицу в редакцию газеты «Демократишес фольксблатт», где охотно печатали его статьи, всегда интересные и удивительно глубокие по мысли. Он был не только музыковедом, но и настоящим философом, и редакторы вместе с читателями газеты «Демократишес фольксблатт» — единственной социалистической газеты в городе — очень высоко ценили, хотя и плохо понимали его. Наш Вернер всегда выглядел очень корректно в сшитом на заказ костюме с жилеткой, очень следил, чтобы башмаки были начищены до блеска, а в жилетном кармашке у него лежали часы с непомерно длинной цепочкой. По вечерам в так называемом «уголке» на кухне за стеклянной перегородкой, где и зимой и летом было очень уютно, он обычно допивал свой стакан красного вина и сразу укрывался в своем рабочем кабинете и писал музыку. Этот счастливый брак двух совершенно непохожих людей был, по крайней мере для меня, лучшим на свете, и я ни разу не замечал никаких сдвигов в их прекрасных отношениях. Война, принесшая столько гибели и горя всему миру, их тоже не миновала. В доме, где родилась моя учительница, я мог по картинам на стенах восстанавливать ту эпоху, которая уже давным-давно отошла. Живопись и множество гравюр мне были очень по душе, вообще в этом доме осталось нетронутым то, что в наше время, когда все разрушалось, уже давно перестало существовать. А тут все осталось наперекор времени. Мне казалось, что по дороге на Пфайфергассе я проходил сквозь хаос, сквозь мерзость запустения, в нетронутый этой мерзостью другой мир. Возможно, что я ошибался. Но когда я подымался по голым каменным ступеням холодной лестницы, я чувствовал, что очищаюсь, уже очистился всей душой. Потом я звонил, мне открывали дверь, и чаще всего фрау Вернер, урожденная Кельдорфер, молча приложив указательный палец правой ручки к губам, показывала мне, что надо говорить тихо, потому что профессор пишет. И мы на цыпочках проходили в гостиную, к «Стейнвею». Все говорилось шепотом, стояла, так сказать, мертвая тишина.

Но через несколько минут нам стучали в дверь, значит, наш музыковед окончил работу, может быть, он как раз писал критическую статью о нашем последнем концерте, мы открывали ноты, и начинался урок. Голос у меня был очень сильный, я иногда думал, что в гостиной от него все может разлететься вдребезги, а телом я был худ, очень высок, и в эти годы на мне часто выступала какая-то сыпь — признак психической неуравновешенности и наступления половой зрелости. Я любил дом на Пфайфергассе, я любил людей, живших в нем. Моя учительница сделала, как я уже рассказывал, блистательную карьеру, думаю, что она не нуждалась в платных уроках, а мне давала их почти безвозмездно. Вскоре она пристроила меня в церковный хор в нескольких соборах, и я часто пел на утренней мессе по воскресеньям. При настойчивости, самодисциплине, неутомимой непрестанной работе, говорила она, моей блестящей певческой карьере ничто помешать не может. Надо поработать еще года два, но, я наверно, и сам понимаю, что время летит. Красивых, хороших голосов очень много, но надо иметь свое лицо, свою индивидуальность. А есть ли у меня своя индивидуальность? Нет, она не сказала, что у меня уже есть своя индивидуальность. Она была строга, точна, не спускала ни малейшей ошибки. И пока эта, пусть самая маленькая, ошибка не была исправлена, урок дальше не шел. Иногда она даже грозила бросить занятия, совсем перестать заниматься со мной, хватит ей возиться с такой ленью, с такой инертностью. Но эти угрозы ничем не кончались. Дома к моим занятиям музыкой, то есть к моей второй попытке приобщиться к музыке, отнеслись неодобрительно, все мои старания казались им пустой тратой времени и денег, и хотя мой дед всегда и во всем был моим заступником, поддерживал меня целиком и полностью, переубедить их было невозможно. Только я, как им казалось, вступил на правильный путь, то есть выбрал верную, понятную и ясную им дорогу, как вдруг началось это дурачество, как они называли мои занятия, и все пошло прахом. Их подозрительность, их близорукость и, проще говоря, их необразованность, сказывались каждый раз, когда я пытался что-то делать, в чем-то пробовать свои силы. Но я уже за это время успел окрепнуть, и сбить меня, поколебать любое мое решение им было уже трудно. Я собрал всю свою волю, все силы и твердо решил больше ни на что не злиться. Они меня задергали, задурили мне голову, мешали как могли, но я твердо стоял на своем. В подвале я получал свою заработную плату, сам платил за уроки музыки, а в остальном был совершенно нетребователен, лишь бы выбраться и пойти дальше, а откуда выбраться и куда пойти, спрашивать себя мне не приходилось, и оглядываться назад я себе не разрешал. Я должен был ходить в шерцхаузерфельдские трущобы, в подвал, чтобы потом идти в дом на Пфайфергассе, петь там свои арии и чувствовать себя счастливым. По вечерам я забирался на Мёнхсберг, усаживался в тень дерева, ни о чем не думал, просто смотрел вниз, и это было счастье. Я нашел любимое место, где из здания оперы в парке слышалась музыка. Я слушал «Волшебную флейту» — первую оперу в моей жизни. Я сам выучил в ней три партии — Зарастро, Глашатая и Папагено. Все, чего я ждал от музыки, воплотилось в этой опере, и всю жизнь, при каждой возможности, я слушал и слушаю ее без конца. Так я сидел под деревом, слушал и эту радость не променял бы ни на что на свете. А на «Орфее и Эвридике» Глюка я просто был помешан. Годами я подымался на Мёнхсберг и слушал репетиции из здания оперы. Годами я этим дополнял свое музыкальное образование, обогащал, расширял, совершенствовал свой опыт. Позже я и сам стал принимать участие во многих репетициях, а во время музыкальных фестивалей пел в мессах и ораториях. Но до этого мне совершенно неожиданно пришлось пережить очень тяжелое время. На третьем году службы в подвале, в октябре, когда мне шел восемнадцатый год, мне пришлось

разгружать машину с несколькими тоннами картошки. Шел густой снег, и я простудился. Я заболел тяжелейшим гриппом. Много недель я пролежал дома в постели с высокой температурой, пока мне это непривычное состояние не надоело до одури. Я встал, хотя меня еще сильно лихорадило, отправился на работу и дорого поплатился за эту потрясающую глупость. Я тяжело заболел и четыре года провалялся по больницам и санаториям, часто, как говорится, между жизнью и смертью, и мои родные то надеялись на поправку, то совсем теряли надежду. От дедушки я научился всю жизнь вставать рано, обычно около пяти утра. И теперь, во все времена года, я выдерживаю этот ритм, и ежедневная самодисциплина помогает мне преодолевать непрестанное чувство апатии и бороться с назойливой мыслью, что всякая деятельность вообще ни к чему. И справляюсь я с собой, только полностью отключаясь и душой и телом от всего окружающего, и делаю только то, что мне самому необходимо. Состояния такого полного душевного восстановления могут переходить и в свою противоположность, я, как и все, завишу от всяких своих душевных колебаний и от всяческих, не всегда мне понятных, перемен в окружающем мире, но спасаюсь я, только придерживаясь железного распорядка дня. Только оттого, что я постоянно борюсь с собой и насильно заставляю себя делать именно то, что надо, я и могу жить. Когда я пишу, я ничего не читаю, когда читаю — ничего не пишу, а иногда я подолгу ничего не читаю, ничего не пишу, мне все одинаково противно. Иногда мне надолго может опротиветь всякое чтение, всякое писание, и тогда, в полном бездействии, меня гложет мысль о том, какую я перенес катастрофу, очень личную и очень странную, я начинаю думать, что, с одной стороны, все было сплошной нелепостью, но, с другой — сделало меня таким, каким я теперь стал и чего я достиг, несмотря на все эти, казалось бы, обычные, будничные и вместе с тем противоестественные, фантастические и нелепые встряски, которые мне пришлось пережить. Раньше я приходил в отчаяние, бесился из-за всяких помех и подвохов, на которые я натыкаюсь почти ежедневно, но стоит мне только уяснить себе, почему так случается, и я уже не обращаю на них никакого внимания, и меня вообще уже ничто не трогает, не убивает, как только я уясняю себе, почему так вышло. Уяснить себе свою жизнь, то есть не только пересмотреть ее, но до мелочей, день за днем, выяснить, почему она стала именно такой,— вот единственная возможность справиться с ней. Раньше я был лишен возможности вмешиваться в эту смертельную схватку, ежедневную борьбу за жизнь, у меня на это не было ни ума, ни сил, а теперь этот механизм сам срабатывает безотказно. Ежедневно я везде навожу порядок, и у себя в голове, в мыслях, тоже все ставлю на место. А лишнее выбрасываю, просто выкидываю из головы, и все. Такая беспощадность к себе тоже приходит только с годами. Чтобы не поддаваться всяким модным течениям, нужна полная изоляция, непоколебимая душевная твердость. Сколько всяких течений в умственной жизни сменилось у меня на глазах! Но их легко узнать, они заваливают рынок своей продукцией и обычно со временем сами тонут в своем дерьме. Тот, кто хочет выжить, должен уйти в свое убежище, подальше, повыше. Воздух там разреженный, но я к нему привык. Давно наступило равновесие — так или иначе мне все равно. Что ценнее — форма или содержание? В конце концов, все бессмысленно. Я всех выслушиваю и никого не слушаюсь. Я давно стал «дикарем», одиночкой, до сих пор продолжаю экспериментировать и сам не знаю, что у меня выйдет, и это самое увлекательное. Больше я уже не задаю себе вопрос: в чем смысл слова, от этого все становится еще непонятнее. Жизнь сама по себе, существование само по себе — все это общее место, и если мы, как я теперь, возвращаемся к своим воспоминаниям, все выясняется само собой. Всю жизнь мы живем рядом с людьми, которые не имеют о нас ни малейшего представле-

ния, но постоянно твердят, что знают о нас абсолютно все, хотя даже наши близкие родственники, наши друзья ничего о нас не знают, потому что мы сами себя мало знаем. Всю жизнь мы стараемся познать себя и всегда доходим до какого-то предела понимания, и дальше нам пути нет. Сколько ни старайся, все твои попытки кончаются полным затмением, роковой, убийственной депрессией. То, что мы сами о себе никогда не решимся утверждать, считая, что понять мы все равно ничего не можем, другие решаются ставить нам в упрек, нарочно или нечаянно, пренебрегая всем, что в нас есть и чего в нас нет и не было. Люди постоянно отшвыривают друг друга, и что ни день приходится заново сходиться, смыкаться, объединяться. Чем старше становишься, тем резче судишь о людях, да и тебе от них приходится терпеть вдвое больше. Все отношения строятся настолько неумело, что со временем приходишь к полному равнодушию. После бесконечных обид, при такой ранимости, мы с годами становимся почти неуязвимыми, безобидчивыми, и хотя мы обиды не пропускаем, но переживаем ее уже не так остро, чувствуем не так сильно. Теперь мы и сами наносим удары покрепче, но и выдерживаем удары куда более крепкие. Жизнь говорит с нами обо всем короче и уничижительнее. Мы и сами теперь тоже говорим резче обо всем, мы уже не так сентиментальны, оттого у нас нет и никаких надежд. От этой безнадежности мы стали видеть все яснее — людей, вещи, отношения, прошлое, будущее и так далее. Мы уже достигли возраста, когда сами стали доказательством того, что нам пришлось пережить. Что же касается меня, то я прошел три испытания — все испытания моего деда, испытания тех окружающих, с которыми я был не так близок, и, наконец, то, что мне пришлось испытать самому. Поэтому я был мало предрасположен обращать внимание на всякие мелочи жизни. Не буду скрывать, что я всегда вел как бы двойную жизнь, одну — ближе всего к реальной жизни, то есть, можно сказать, жил действительностью, а другая моя жизнь была игрой, фантазией, и обе эти жизни создавали для меня вполне приемлемое существование, то одна, то другая брала верх, но я ощущал, что обе они — мои, всегда во мне. Так и живу. И если бы я реально не пережил все, что со мной случилось, я, наверно, сам создал бы для себя что-то похожее и пришел бы к тому же состоянию, что и сейчас. Каждый день, каждую минуту все: и тяжелые заболевания, а позже и смертельный недуг — заставляло меня сопротивляться, сбрасывало с воздушных высот на твердую землю, учило стойкости и равнодушию. Я и сейчас держусь достаточно стойко, хотя и знаю, как неустойчиво все на свете, знаю, что руки у меня пустые, что все вокруг только наваждение, и хотя ты ему все время поддаешься, потому что существуешь, мне теперь все довольно безразлично, хотя я, при вечном проигрыше, выиграл по крайней мере последнюю партию. Тех иллюзий, какие питал мой дед, у меня тоже не было, тех ошибок, какие он совершал, я не делал. Вообще все на свете совсем не так важно, как ему казалось, и никаких особых ценностей, перед которыми он робел, тоже нет, а всякие пышные слова и высокие словеса я воспринимал в истинной их сути — в их недостоверности, понимая, что верить им нельзя. Ни та нищета, в которую впал дед, отравлявшая ему жизнь, меня ни в чем не убедила, ни тем более то богатство, о котором он мечтал. Тот путь, по которому я шел, был уже пройден им, моим дедом, и для меня это было и есть большое преимущество, потому что я мог глубже вникнуть во все. Плоские афоризмы и фразы о «нищем богаче» и «богатом бедняке» я для себя издавна заменил новым, тоже пошловатым определением «глупый умник». Человек, всю жизнь игравший какую-то роль в воображаемом театре, в минуту отчаяния мог бы все прикончить, разрушить весь реквизит, сломать декорации, убить актеров, только сил у него не хватало. Мой дед ненавидел оперу и обожал драму, но и оперу не стоит ненавидеть, и драмой восторгаться

нечего, так же как не стоит ни восторгаться людьми, ни ненавидеть их. Почти на всех людей любовь и ненависть действуют разрушительно, и моего деда всю его жизнь, то есть шестьдесят восемь лет, ломали и калечили эти чувства. Любому человеку, кроме меня, он мог бы указать путь в жизни, но я никогда не искал пути. Я никогда не шел по определенной дороге, потому что всегда боялся, что ей не будет конца, а значит, бессмысленно идти по ней. Захочешь — пойдешь и по ней, говорил я себе. Но не шел. До сих пор. Что-то происходило, я стал старше, на месте не стоял, но и по прямой дороге не шел. Я говорю на своем языке, кроме меня, его никто не понимает, да и у каждого есть свой язык, только он сам его понимает, а тот, кто думает, что он всех понимает,— тот дурак или шарлатан. Говоришь всерьез, а тебя часто не понимают или понимают не так, да и нет такого рецепта, как определить, что такое истинный высокий ум. И каждый человек, все равно кто, все равно чем он занимается, обречен на одиночество, предоставлен сам себе. Если бы я зависел от других людей, я бы вообще не мог существовать, и каждый вновь наступающий день этому доказательство. Мне иногда кажется, что я иду сквозь собственные мысли, как сквозь строй. И я себя спрашиваю: что я такое — рабочий винтик или жертва беспощадной машины, которая в бешеном вращении дробит и размалывает все существования. Но ответа нет. Мой характер — сплав всех характеров, мои желания — те же, что и у всех людей, мои надежды, разочарования, потрясения тоже как у всех. Только притворство спасает меня иногда, а в другой раз, наоборот, полная откровенность. Мы ищем прибежище, укрытие и не знаем, куда деваться. Хочешь куда-то скрыться, и со стороны видно — человек бежит неизвестно от чего, неизвестно куда, хотя он просто бежит от всего, из всего. С первой же секунды, только появившись на свет, человек бежит из жизни — он в нее вошел, осознал ее, а бежит он в смерть, хотя ничего о ней не знает. Всю жизнь мы упорно несемся прямо к концу. Для меня уже с четырех, с пяти, с шести лет жизнь навсегда стала каким-то спектаклем, я видел сотни тысяч влюбленных в нее лицедеев, после премьеры спектакли становились все искуснее, реквизит менялся, актеров, не понявших свою роль в данной пьесе, выгоняли вон, и так оно шло бесконечно. И все актеры — я сам, весь реквизит — это я, и режиссер — тоже я сам. А зритель? Но ведь мы можем беспредельно раздвигать кулисы или сдвигать их до щелки, в которую только мы сами можем мысленно заглядывать. И как славно, что мы на все умели смотреть с иронией, хотя и принимали всерьез. Мы — это я. Мы отбросили все предрассудки, чтобы снова восстановить их, расширить, и эту роскошь мы могли себе позволить. Мы понимаем, что подразумевают люди, говоря о высокомерии, заносчивости, надменности, за все — и по векселям, и за вину — нам приходится платить. Все, что нам предсказывали, не сбылось. Все, чем нас одурачивали, давно оказалось враньем. Мы были одержимы всякими идеями, поддавались всяким безумствам, сумасбродствам и расплачивались за них. А до чего мы дошли бы, если бы слушались наших так называемых «близких» людей? Только идя им наперекор, мы смогли создать себе какую-то, может быть, и смехотворную, но вполне сносную жизнь. И даже если все это — сплошной мираж, он стоил того. Иногда мы утверждаем, что все — трагедия, иногда, наоборот, говорим: какая комедия, а сами не понимаем, что́ она такое сейчас — трагедия или комедия. Правда, действующие лица всегда уверены в бессмысленности и моей трагедии, и моей комедии. А действующие лица всегда правы. Когда мы говорим: выходи́те слева, то для них это выход справа, и наоборот, но они этого не замечают, и в нашей пьесе от них ускользает самое главное. Они не понимают, во что мы играем. Да я и сам не понимаю во что. А какой смысл, например, при игре в карты подсматривать, какая карта у сумасшедшего? Даже если он

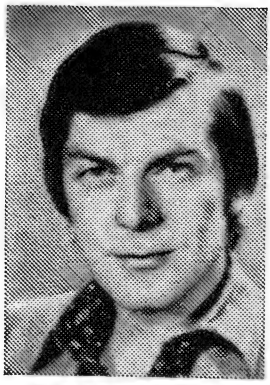
утверждает, что он вовсе не сумасшедший. Ребенок всегда режиссер, я рано стал режиссировать. Сначала поставил сплошную трагедию, потом — комедию, потом снова — трагедию, а потом все смешалось, и уже непонятно, что это такое — трагедия или комедия. А зрителей это сбивает с толку. Они не аплодировали, а теперь раскаиваются. Они молчали, презирали меня, а теперь тоже раскаиваются. Мы хотели бы знать заранее — нужно аплодировать или не нужно. Нельзя предвидеть, что у нас будет на душе. Мы — все, и мы же — ничто. И между этими крайностями мы, безусловно, раньше или позже погибаем. Мы в полном смысле слова произошли от театра. Мир по своей природе — театр. И люди в этом мире — только актеры, от которых, в общем, многого ждать не стоит.

Как-то раз, года три-четыре тому назад, у так называемого Большого моста перед ратушей, где рядом до сих пор находится знаменитая мастерская зонтиков, а около нее не менее знаменитый ювелирный магазин, меня окликнул мужской голос, я обернулся и увидел, что, прислонясь к только что включенному пневматическому молоту, стоит человек лет пятидесяти, без рубахи, и его голый живот свисает складкой над поясом синих рабочих штанов, и сам он — потный, совершенно беззубый и почти лысый, а по острому пронзительному взгляду я сразу угадал в нем горького пьяницу, и рядом с ним работал, как видно, его ровесник, но совсем другой с виду — очень высокий, худой, в грязноватой суконной кепке, он сгребал в кучу куски камней, выбитых молотом толстяка из мостовой,— очевидно, они при перестройке моста открывали газопроводные и водопроводные трубы,— и я стал пристальнее вглядываться в лицо толстяка, он меня, очевидно, узнал, а я его — нет; я остановился в толпе прохожих, но никак не мог вспомнить, кто это такой, тогда как он явно помнил меня отлично, но я даже сообразить не мог, откуда я его знаю. С другой стороны, мне было ясно — когда-то я видел это лицо, но, вероятно, это было очень давно, подумал я, и еще подумал: нет, он не ошибся. Тут он сам меня опередил: да я же столько раз наливал ему для матери ром в бутылку, тогда в подвале, у господина Карла Подлахи, в Шерцхаузерфельде, это ему я как-то достал бинт из шкафа и перевязал голову, которую он ушиб на нашей лестнице. Этого случая я не помнил, но того парня, каким он был лет двадцать пять тому назад, я вспомнил сразу. А я будто бы тогда был совсем коротышкой, меня даже за прилавком почти видно не было. Тут он, конечно, сильно передергивал, но, в общем, все помнил хорошо. Казалось, что он охотно вспоминает то время, свою молодость, да и я в эту минуту неожиданно тоже не без удовольствия стал припоминать то время, и мы молча, без слов, оба вспомнили нашу юность. Он ничего не знал обо мне, я ничего не знал о нем, но среди всей толпы, в утренней сутолоке у моста, мы оба вдруг установили, что наша юность прошла рядом, в шерцхаузерфельдских трущобах, и что мы оба выжили, каждый по-своему. И что мы, опять-таки каждый по-своему, с трудом, как всегда, прожили эти годы и стали на двадцать пять лет старше. Много лет я не вспоминал о шерцхаузерфельдских трущобах — и он напомнил мне об этом позорном пятне на совести нашего города, который из этих позорных трущоб звал и пускал к себе людей только для черной работы. И до сих пор, подумал я, жители этих трущоб делают только самую грязную работу в городе, а толпы горожан проходят мимо и ничего не замечают. Что сталось с самим Подлахой, где он теперь, спросил он, но я сам об этом ничего не знал. А как Герберт, хотел он знать, как там Карл, я сказал, что Герберт стал самостоятельным человеком, открыл собственную кофейню на Эрнест Тунштрассе, а Карл сначала служил в Иностранном легионе, но вот уже много лет, как вернулся. Несколько раз он

попадал в тюрьму — я об этом узнал от женщины, жившей над нашей лавкой. А про себя этот человек мне напомнил, что круглый год, летом и зимой, он ходил босиком. Этого я не помнил. Но когда он сказал, что в трудные минуты он иногда мне помогал при разгрузке мешков с картошкой, я его сразу вспомнил, он часто ходил на спортплощадку один — выводил собаку своего дяди, иногда играл с ней часами, бросал ей палочки, забавлялся. Он перечислил несколько фамилий, и все эти люди были мне знакомы — каждый день их то называли в лавке, то просто окликали, но уже двадцать пять лет я о них не слыхал. Он рассказал, что многие померли, кто своей смертью, а кто — нет. У него самого сестра связалась с американцем, уехала с ним в Нью-Йорк, а там пропала ни за грош. Помню ли я его сестру — *писаную красавицу*? А Подлахи он побаивался, тот его раз поймал — он стащил пару яблок. Да он не только яблоки крал, сказал он. Нынешняя молодежь и понятия не имеет, до чего тогда была трудная жизнь. Говори им сколько хочешь про войну, про послевоенное время, про нацистов, про американцев, про весь этот ад, все равно ни черта не понимают. Он годами носил матери ром из нашего подвала, подавал ей прямо в кровать, она уже не могла встать, так и погибла. Но сердце у нее было такое здоровое, что она целый год болела раком, похудела, как скелет, а все жила, хотя уже ничего не могла есть, кроме булки — смочит булку ромом и ромом запьет. Она была верующей, но никогда в жизни в церковь не ходила. Очень была богобоязненная, но не католичка. Потом он спросил, чем я теперь занимаюсь. Пишу, сказал я, но ему это ничего не говорило, видно, он так и не понял, что́ я делаю, но вопросов больше не задавал. Нет ли у меня сигаретки, спросил он. Я сказал, что не курю. Подлаху он всегда уважал, правда, он его и побаивался, но уважал всегда, потому что он хорошо умел вести дела. Венские жители вообще умники. Но, как все провинциалы, он все-таки презирал этих венцев, в определенном смысле, конечно, добавил он, но не объяснил, в каком именно,— впрочем, никакого смысла, очевидно, и не было,— а своей жизнью он был доволен, хоть она и дерьмовая. В его возрасте ко всему относишься равнодушно, хотя и цепляешься за жизнь, но скоро ли придет ей конец, тоже все едино. Все едино, вот в чем суть. Все едино. С возрастом все едино. Мне в эту пору тоже все было безразлично. *ВСЕ ЕДИНО*. Какое прекрасное, какое ясное, короткое, выразительное слово: едино. Мы друг друга поняли. Он сказал — пойдем перекусим, и я повернул с ним за угол, мы зашли в городской сад, в пивную, взяли пива, колбасы с хлебом. Свою жизнь он раньше представлял себе по-другому, думал — жить будем иначе, сказал он, не этими словами, но смысл был такой. И я тоже так думал. Тут мы снова вернулись к шерцхаузерфельдским трущобам, снова воскресили Карла Подлаху. Многое нам припомнилось. Привет и *все едино*! — сказал он на прощание, и словно я сам выговорил эти слова. Теперь главное во мне — это полное равнодушие ко всему, равнозначность всего того, что было, что есть и что еще будет. Нет никаких высоких, и высших, и наивысших ценностей, это все давно изжито. Люди такие, как они есть, их не изменить, как и то, что людьми делалось, делается и будет делаться. Природа не знает шкалы ценностей. Всегда люди останутся людьми, со всеми своими слабостями, со своей каждодневной телесной и душевной грязью. Все равно, от чего приходишь в отчаяние — работая у пневматического молота или у своей пишущей машинки. Только всякие теории затемняют то, что так предельно ясно, только все эти философии, науки со своими ни к чему не пригодными открытиями становятся поперек дороги всякому ясному пониманию. Почти все, что нас ожидает, давно пройдено, нас ничем не удивить, все возможности уже предугаданы. Тот, кто наделал столько ошибок, и злился, и мешал, и разрушал, и мучился, и учился, и часто обрывал все, доходил почти до самоубийства, и

заблуждался, и стеснялся, а потом переставал стесняться,— тот и всегда будет ошибаться, и мешать, и разрушать, и уничтожать, и мучиться, и заблуждаться, и учиться, и доходить чуть ли не до самоубийства, словом, все будет повторяться до самого конца. А в конце концов — все едино. Постепенно открываются все карты. Была такая мысль — разобраться в своей жизни, в жизни других. Мы себя узнаем в каждом человеке, кем бы он ни был, и пока мы существуем, мы обречены делить судьбу каждого человека. Мы существуем во всех судьбах, со всеми людьми делим их судьбу, и мы ищем себя во всем и не можем найти, как бы мы ни старались. Мы мечтали о прямоте и ясности, но все это так и осталось в мечтах. Как часто мы сдавались и снова начинали поиски, и мы еще много раз будем сдаваться и снова искать. Но вообще все едино. Тот человек у пневматического молота подсказал мне это ключевое слово — в конце концов все едино. И в природе вещей главное именно то, что все едино. До сих пор я слышу, как он говорил: «привет», а потом «все едино», хотя я и сам часто говорил: «привет» и «все едино...» Но мне надо было услышать эти слова именно тогда. Я уже позабыл их. Но мы все одинаково приговорены к этой жизни, это и значит — «осуждены пожизненно», а за какую вину, неизвестно, может, мы и без вины виноватые, а может быть, мы провинимся, а за нас потом пострадают другие. Не по своей воле появились мы на свет, и вдруг началась наша жизнь, всю ответственность сразу возложили на нас. Но мы научились сопротивляться, теперь нас ничто не собьет с ног, за жизнь мы не цепляемся — тут я хотел было добавить, что дешево разбазаривать ее мы тоже не станем, но потом подумал: не стоит говорить. С каждым так бывает: вдруг вскинешь голову, решишь — сейчас скажу всю правду или то, что мне кажется правдой, а потом опустишь голову и промолчишь. Вот и все.

■



ГОРДОН ПАРКЕР

Омут

РОМАН

Перевод с английского В. АШКЕНАЗИ и С. МАЙЗЕЛЬС

От автора. Идея этого романа была мне подсказана моим издателем, а у него она зародилась в кругу людей, в чьих руках сосредоточена сила и власть, от которых так или иначе зависит жизнь каждого англичанина. Информацию и советы, столь мне необходимые, я получал из многих надежных источников. Те, кто помогал мне, поймут, кого я имею в виду, и я хотел бы выразить им всем благодарность за их заинтересованное содействие.

Один из них, человек, с неизменным терпением отвечавший на мои многочисленные вопросы, сказал, узнав о теме этой книги: «Не перегружайте ее фактами, иначе она покажется неправдоподобной». И я спешу заверить, что вся эта история, и город Грэнтон, и все фирмы и персонажи, действующие в ней,— чистейший вымысел.

1

Уже стояла осень, а Марк Белфорд только что заметил ее. Ранним октябрьским утром, услышав первое робкое чириканье проснувшегося воробья и ломкий шорох опавших листьев, гонимых порывистым ветром, он вдруг понял: это осень. Весь год он провел словно в спячке: зима, весна и лето прошли и уплыли вдаль туманными сновидениями. И в прошлом году было точно так же. Но в голове теперь прояснилось, и глаза заблестели при виде шуршащей волны листьев на дорожке сада. Некоторое время он смотрел на эту темную волнующуюся массу, потом глубоко задумался и отошел от окна.

В комнате ни звука. Казалось, весь дом затаил дыхание и в страхе ждал, что же он, Марк, будет делать. Марк стоял, безвольно опустив руки, и оглядывал окружавший его беспорядок. На кровати — ворох грязного белья, по полу разбросана одежда, на туалетном столике громоздятся тарелки и чашки с недопитым кофе. Ему стало тошно. Будто он давно не мылся. Будто окунулся когда-то в выгребную яму, и с тех пор все его тело покрыто засохшими нечистотами. Двинуться с места не было сил. Наконец догоревшая сигарета обожгла ему пальцы, и это словно пробудило его. Он яростно раздавил ее в пепельнице, уже заваленной окурками, лизнул пальцы и потер их. Потом снова повернулся к окну и стал смотреть в сад. Светало.

— Сегодня... — прошептал он, обращаясь к кому-то там, за стеклом, где природа жила обычной для этого времени года жизнью. — Сегодня мой день....

Когда он вышел, было еще очень рано. Перед выходом он принял душ и побрился — спокойно, заученными движениями. Надел чистую рубашку и строгий костюм в узкую полоску, приобретенный для торжественного случая. Новые ботинки слегка жали, но он сразу почувствовал себя лучше. Шуршание ворсистой ткани успокаивало его. Он давно мечтал надеть этот костюм, увидеть свое отражение в глазах восхищенной толпы. Костюм был сшит на заказ у дорогого портного Цепеччи, и Марк четыре раза ходил на примерку. Он гордился своим новым костюмом. Это

была единственная вещь, которую он мог с полным правом назвать своей. Единственная, никем не осквернённая.

Небо было бледно-голубое, морозное. На востоке, над самым горизонтом, поблескивал серп убывающей луны. Дул прохладный ветерок, предвестник близкой зимы. Марк медленно пошел по длинной извилистой аллее, не обращая внимания ни на листья, гонявшиеся друг за другом у него под ногами, ни на белую надпись на дверях гаража. Четыре слова: «Белфорд виновен» и чуть ниже: «Белфорд сволочь». Накануне он яростно стирал эту надпись, словно весь мир рвался взглянуть на нее. Надпись не стиралась, и он был в таком отчаянии, что даже не додумался закрасить ее. Но теперь это уже неважно. Он помедлил немного в конце аллеи, глядя на свой роскошный дом, полускрытый деревьями. Ему хотелось снова прийти в восторг, вызвать в себе то чувство, которое он испытывал еще несколько месяцев назад, но в душе было пусто. Он видел перед собой всего лишь дом, и ничего больше.

Уиллоу-хилл. Ивовый холм. Марк спускался по отлогому склону, радуясь непривычной тишине раннего утра. Холм еще спал. Вдалеке проехал фургончик с молоком; крыши ответили слабым гудением. Марк расслышал звон бутылок, кукареканье невесть где проснувшегося петуха и почувствовал себя в безопасности. Проходя мимо ухоженных садиков, он подумал, что Уиллоу-хилл все еще производит впечатление заповедника. Ни один дом не похож на другой, у каждого своя архитектура и свой участок в четверть акра. Их всего двенадцать. Дюжина красивых домов среди деревьев, давших им название, и Марк Белфорд удостоился чести жить здесь. Это почти ничего ему не стоило. Алекс Смитсон сторговал землю у Артура Уиттона и очень гордился тем, что ее удалось купить так дешево.

«Божий» дом стоял в тупике. Богом называли мэра — советника Элдриджа. Марк Белфорд и Бог одно время были довольно близки, но сейчас Марк прошел мимо его дома, даже не поглядев в ту сторону. На мгновение ему представилось, как Бог, крепкой рукой обхватив необъятную талию жены, блаженно похрапывает и видит во сне свой триумф: приветственные возгласы толпы, жареную индейку, обмен любезностями с министром спорта и туризма. Марк невольно улыбнулся. Бога ждет большой сюрприз.

Вскоре спуск кончился, деревья и красивые лужайки остались позади. Холм перешел в длинную кривую улицу с двумя рядами стандартных закопченных домишек викторианской эпохи, ведущую к центру Грэнтона — города, где Марк появился на свет. Отвратительный городишко — гноящаяся рана на теле промышленной Англии; сколько прекрасных идей, проектов и планов родилось здесь, но все они были похоронены теми, кто признает только высокие трубы и мрачные заводские здания в функциональном стиле. «Прямая кишка Севера», как выразился один остряк несколько лет назад в телевизионном репортаже. Советника Элдриджа чуть удар не хватил. Потом он с мятой петицией в потной руке, хромая, обошел весь город, но собрал только двадцать две подписи. А острота скоро забылась. В Грэнтоне не было ничего, кроме работы, сна да жалких развлечений вроде баров, бинго-клуба и киношки — пока Марк Белфорд не взял дело в свои руки. И вот он настал, его день

— Советник Белфорд! А советник Белфорд! — раздался слабый старческий женский голос.

Марк остановился, точно зная, кто его окликнул. Потом тяжело вздохнул и обернулся. Тощая сутулая фигура, влекомая тремя фыркающими китайскими мопсами, неотвратимо приближалась. Он не двигался, настороженно глядя на женщину из-под тяжелых век. Бледное, морщинистое лицо, на висках набухли голубые вены. Вставные зубы — большие, плохо подогнанные, унылого, безжизненно-серого цвета.

— Ах, советник Белфорд,— защебетала она,— не ожидала встретить вас так рано. Не спится, а? Ах вы шалунишка! Постойте, сегодня же ваш большой день! — Это соображение, как видно, привело ее в восторг. — Я понимаю, вы все так взволнованы. Ждете не дождетесь?

Марк открыл было рот, чтобы ответить, но тут же закрыл, чувствуя, что у него дрожат губы. Меньше всего ему хотелось сейчас встретить мисс Милрой; эта чудаковатая особа постоянно донимала его своими идеями: то ей требовалось (за счет коммунальных налогов) кладбище для домашних животных, то приют для престарелых собак, то салон красоты, то ветеринарная лечебница с операционной.

Костлявой рукой она подергала его за рукав:

— Ах, какой вы нарядный! Сегодня большой день для вас и для всего города. Вот и мои маленькие друзья тоже восхищаются вами.

Марк взглянул на трех собачек, которые возились и ворчали у его ног. Он ненавидел китайских мопсов. Они всегда напоминали ему каких-то моллюсков, живущих в раковинах в темной морской глубине.

— Благодарю вас, мисс Милрой, — прошептал он. — Я сделал все, что мог.

— Ну конечно, — сказала она ворчливо. Потом рывком придвинулась, так что серые зубы оказались у самого его подбородка. — И перестаньте нервничать. Я не верю этим грязным, ужасным слухам... ни единому слову. Вы столько сделали для города... понятно, что вам завидуют. Я всегда говорила: советник Белфорд — человек действия. Если бы моя любимая сестра была жива... ну, Марта, которая получила медаль из рук нашего дорогого короля за свою работу в «Ток-эйч» [1]... она бы... — Вдруг мисс Милрой поглядела вниз и скучным голосом сказала: — О боже... Шекспир, скверный, скверный мальчик!

Марк проследил за ее взглядом. Шекспир стоял, подняв заднюю лапку, и выстреливал крошечные струйки прямо на новые брюки Марка. Марк закрыл глаза. Руки у него чесались от желания схватить мерзких собачонок и пошвырять через дорогу, но он сдержался.

— Ой, простите ради бога, — пискнула мисс Милрой. — Такой чудесный костюм! — Она вытащила носовой платок и, кряхтя, наклонилась, чтобы вытереть штанину, но Марк повернулся и пошел прочь. Вскоре он оставил позади мрачные городские постройки и зашагал по свежему, только что положенному гудрону шоссе. И тут Марк увидел его. С сердца словно свалился огромный камень. Он увидел Грэнтонский центр, кирпичную кладку красивого кремового цвета, приятную угловатость форм. Грэнтонский центр гордо возвышался на фоне отлогих, покрытых травой холмов. К нему вела новая дорога, вьющаяся между недавно разбитыми цветочными клумбами.

Он приостановился там, где некогда был Даттоновский пруд, задержал взгляд на покрытом ягодами кустарнике и поздних цветах. Неужели прошло почти тридцать лет? Он снова ощутил ужас, охвативший тогда, давным-давно, его семилетнюю душу. Он вспомнил, как играл с ребятами в единственном пригодном для этого месте Грэнтона — у терриконов Даттоновской угольной шахты. Они играли в войну — гонялись друг за другом среди желтоватых камней, прятались в ямах, отстреливались от неприятеля. А до чего здорово было протрубить сигнал победы и увидеть поверженного врага! Или схватиться врукопашную и бросать каменные гранаты, взрывавшиеся с оглушительным шумом. Но пришел час, когда разметанные войной шахтные отвалы, где ребятишки вели свои игрушечные сражения, узнали смерть и страх, и эта смерть, этот страх были не менее реальны, чем те, что видели Дюнкерк, Эль-Аламейн или Освенцим. Марк лежал ничком за низкой насыпью из камней и шлака. Он старался не дышать, зная, что к нему подкрадываются вражеские коммандос. Ближе, ближе... сердце его бешено колотилось. Он крепче сжал сломанную палку от метлы — это был его автомат — и притаился, выжидая. Потом вдруг вскочил с неистовым криком и стал поливать противника свинцом. Сначала Фредди Джексон и Томми Пайпер испугались — он видел их грязные лица, вытаращенные глаза и разинутые рты. Ну нет, это нечестно! Так вся игра сразу кончится! И, не обращая внимания на стрельбу, они бросились вперед с отвагой своих любимых киногероев. Но едва сделали несколько шагов, как нетвердая почва в буквальном смысле ушла у них из-под ног. Самовозгорание уже давно медленно, но верно пожирало изнутри огромный холм, который поэтому был все время окутан дымом; теперь от холма осталась лишь тонкая, словно закопченная корочка. Фредди Джексон и Томми Пайпер бесследно исчезли, а там, где они только что стояли, из-под земли вырвалось облако горячего едкого газа.

Марк на миг окаменел, не в силах поверить тому, что он видел. Друзей больше не было, их поглотила злая, огнедышащая, похожая на жерло вулкана дыра. Потом он отчаянно закричал и, спотыкаясь от ужаса, понесся прочь. Сперва он бежал по ровному месту, а когда начался крутой пыльный спуск, уходивший прямо в Даттоновский пруд, Марк, ни о чем не думая, побежал вниз. Но тут же споткнулся, полетел кубарем, упал на спину и заскользил, безудержно заскользил к этой вонючей

[1] Религиозная благотворительная организация, созданная ветеранами первой мировой войны в 1915—1920 гг. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

мерзкой луже, которая пузырилась и смердила от дохлых кошек и гниющих отбросов. Он ухитрился перевернуться на живот, хватался пальцами за камни, но удержаться не смог и с головой погрузился в густую жидкость. Она сразу закупорила ему рот, нос и уши. Все внутри будто одеревенело. Вынырнув, он закричал, но вместо крика получился только какой-то масляный булькающий звук. Начались судороги, и он снова пошел ко дну. И тут что-то крепко схватило его. «Чудовище», — успел он подумать, теряя сознание (о Даттоновском пруде рассказывали всякие страшные сказки). Но он ошибся. Это была человеческая рука, которая вытащила его из вязкой жижи. Больше он ничего не помнил, пока не пришел в себя в приветливой накрахмаленной белизне больницы. Он увидел мать, отца и еще кого-то — незнакомого, черного от грязи. Это был Матти Добсон, двадцатилетний шахтер, его спаситель. Матти стал с тех пор его другом, но когда Марк, снова чувствуя во рту отвратительный вкус тины, оторвался от своих воспоминаний и посмотрел на Грэнтонский центр, он подумал: а стоило ли Матти в тот день прилагать такие усилия? Проклятый пруд их всех околдовал. Даже славного, надежного Матти. Нет, только не Матти! Да он же сам сказал — и его тоже.

Запертый Грэнтонский центр хранил молчание. Над главным входом — полосатый балдахин для Особо Важных Лиц. Для министра спорта и его бесчисленных прихлебателей. Для архитектора Уиллоуби, самодовольного и непробиваемого. Для строителя Смитсона, который будет ободряюще подмигивать. Для Бога и его шатии, которые займут лучшие места, растолкав многочисленных гостей из графства. Все они соберутся там. Часа через два ленточку на дверях перережут — взмах ножниц, несколько острот и шумное ликование толпы.

Марк снова скользнул взглядом по зданию. Если б можно было обнять его и прижать к груди! Он бился за это здание — уговаривал, требовал, унижался. И наконец победил и увидел, как оно медленно, кирпич за кирпичом, поднимается из трясины его детства. Лучший спортивный центр на севере Англии. Более современное, более универсальное, более красивое здание просто невозможно себе представить! Он создал его, но потерял себя. Он потерял жену, детей и Матти. Здесь перед ним была его мечта, воплотившаяся в реальность. Место для отдыха и развлечений. Где и молодежь и старики смогут набираться сил и давать выход накопленной энергии. Где можно будет учиться плавать, не испытывая страха, что терзает его с того самого дня на Даттоновском пруду. Центр стал для Марка навязчивой идеей, и он отдал ей все.

Он опустил руку в карман. Он знал, что ключ при нем, потому что взял его перед самым выходом. Порылся в карманах пиджака, в брюках. Да, ключ здесь, но кроме него еще что-то... Какой-то сложенный листок. Еще не развернув его, Марк понял, что́ это такое, и ему сдавило горло. Чек на восемьдесят два фунта на имя портного И. Цепеччи. Поперек чека было написано: «Марк, примите это вместе с поздравлениями по случаю Вашего большого дня. Гил Уиллоуби». Пальцы его задрожали.

— О господи, — выдохнул он. — Боже мой!

Он медленно смял чек и бросил на землю. Потом отпер дверь. Внутри было тихо, как в его доме. Он устало прошел по коридору к площадкам для сквоша и толкнул дверь в огромный главный зал — кремовый, сверкающий полированным деревом и расчерченный цветными линиями для игры в бадминтон, баскетбол и мини-футбол. Огляделся, мысленно слыша голос советника Элдриджа и его оскорбительные замечания по поводу недопустимых затрат. Правда, это было в самом начале, пока дело не дошло до размещения заказов — тут он из скептика живо превратился в энтузиаста.

Марк немного постоял, вдыхая запах дерева, и двинулся дальше.

Наконец он дошел до плавательного бассейна. Распахнул двери и долго не мог наглядеться на чистый спокойный прямоугольник голубой воды, от которой веяло таким холодом. Обвел взглядом галерею для зрителей и высокий сводчатый потолок — под ним еще не рассеялся полумрак раннего утра. Слева в углублении находилась коробка с выключателями. Он нажал их все по очереди, полыхнула вспышка, собор ожил и засверкал. Теперь вода была уже совсем небесного цвета, а кафель мерцал и светился, приглашая подойти ближе. Марк осторожно пошел вдоль бассейна, не отрывая испуганного и зачарованного взгляда от дна, которое постепенно опускалось и уходило на глубину пяти метров. Шаги его отдавались гулким эхом. Добравшись

до вышки для прыжков в воду, он начал, как лунатик, подниматься по ступенькам, глядя прямо перед собой остекленевшими глазами. Он остановился только на самом верху, на высоте десяти метров над бассейном, и медленно опустил взгляд к воде — прекрасной, безмятежной и такой светлой и прозрачной, словно это была не вода, а жидкий воздух.

— Сегодня мой день, — прошептал он. — Сегодня мой день, — повторил он громче. И закричал. Крик этот раздавался снова и снова, отражаясь от стен и постепенно затухая. Это был крик его души, громкий, отчаянный и протяжный. Крик гнева и отвращения к самому себе. Крик тоски по жене и детям. Крик сожаления о Матти. Этот крик был воспоминанием о маленьких Фредди Джексоне, Томми Пайпере и Альфи Троттере. Насмешкой над советником Элдриджем, над Смитсоном и Уиллоуби. Вызовом давнему страху, с которым он всегда смотрел на воду...

И когда крик замер и в зале снова воцарилась тишина, он прыгнул.

2

Ну, что скажешь?

Голос у Матти Добсона был непривычно тихий, но настойчивости в нем не убавилось. За полчаса он совсем выдохся — приходилось перекрикивать пронзительные свистки, которые Марк Белфорд давал без предупреждения, и то и дело переходить с шага на бег, следуя за ним по церкви Пресвятой Девы. Марк судил футбольный матч между двумя командами разгоряченных мальчишек. Они играли так, словно жизнь была поставлена на карту, не жалели ни сил, ни глоток, обливались пóтом, бросались на мяч, как собаки на зайца, бешено работая руками и ногами; кеды их пахли жженой резиной, а когда мяч влетал в ворота — узкий проход между двумя грудами сброшенных курток, — это вызывало не меньший восторг, чем на стадионе Уэмбли. Но сейчас здесь все было тихо. Команды разошлись, вполне довольные сегодняшними достижениями. Только мяч, закатившийся в угол, да оброненная кем-то кепка напоминали о недавнем состязании.

Марк усмехнулся, но ничего не ответил; он медленно подошел к валявшейся на полу потрепанной кепке и поднял ее.

— Ну так что, — спросил Матти с некоторым раздражением, — нравится тебе эта идея или нет?

Марк глянул на него, снова и снова обдумывая услышанное, потом неторопливо отряхнул кепку и только после этого ответил.

— Да, Матти, — сказал он, — идея хорошая.

Матти просиял. На его лоснящемся красном лице залегли глубокие складки, в улыбке открылись желтоватые зубы. Он с довольным видом засунул большие мясистые руки в карманы брюк и стал раскачиваться на пятках.

— Это еще не значит «да», — уточнил Марк. — Это значит, что идея хорошая, только и всего.

Улыбка сразу исчезла. Марк засмеялся — весело и ободряюще. Да, красавцем Матти не назовешь. Выглядит он моложе своих лет, но неистребимо старомоден, словно его воскресили, почистили и выпустили в семидесятые годы прямо из времен короля Эдуарда. И костюмчик еще тот — двубортный, мятый, висит мешком. Странно, что от Матти не пахнет нафталином, а вокруг головы не летают мухи. До чего же он смешной, неуклюжий, да еще губы надул... Неряха, как и положено холостяку с солидным стажем, но при всем том добрейшая душа! Марк подошел к нему ближе и мягко сказал:

— Идея хорошая, Матти... только дай мне ее обдумать. Тут есть над чем поломать голову... Ну, во-первых, Эви... потом этот клуб... а два сверхурочных вечера в неделю, забыл?

Матти уставился в пол.

— Эви не станет возражать... наоборот, будет очень рада.

Марк медленно покачал головой.

— Ты ее еще не знаешь. Поверь мне. Вот побыл бы на моем месте... На ней дом, трое детей, она совсем с ног сбилась и, конечно, рассчитывает на мою помощь.

Матти раздраженно отмахнулся и проворчал:

— За Эви не беспокойся. Девочке надо все растолковать, и она поймет. — Лицо его просветлело. — Ты к ней немножко подольстись, а я тебя поддержу.

Марк тихо рассмеялся.

— Послушаем опытного человека... который никогда не был женат. Значит, так. Я вхожу и говорю: «Эви, местные лейбористы хотят, чтобы я баллотировался на выборах в муниципалитет. Оказывается, я нужен городу. Уэндл-Уорд просто не может без меня жить». И она отвечает: «Марк, любимый, этот Легг, этот гадкий консерватор, сидит себе в муниципалитете на своей толстой заднице и играет в карманный бильярд. Давай проучим его, пусть знает, что жителям Уэндл-Уорда нужен настоящий представитель! Вперед, Марк, смелее! Без твоих сверхурочных мы обойдемся, а с ребятишками я, честное слово, управлюсь, даже если тебя семь вечеров в неделю не будет дома».— Он снова покачал головой.— Брось, Матти, ты не хуже меня знаешь, что она никогда на это не клюнет.

— Конечно, если ты так и брякнешь! — взорвался Матти. — Но это же твой шанс, реальная возможность сделать что-то для города. А то ты уже сколько лет брюзжишь, как у нас все плохо и как могло бы быть хорошо.

— Но ты же сам член муниципалитета, — вставил Марк.

— Я — глас вопиющего в пустыне. Остальные и так довольны жизнью. Нужны ребята вроде тебя, чтобы встряхнуть их хорошенько. Ну, есть там два-три горлодера, они шумят по любому поводу, лишь бы послушать собственный голос... ты знаешь, о ком я. Этот прохвост Олбрайт, который уверен, что в следующий раз будет премьер-министром, да два либерала, Дайсон и Ашер. Старик Элдридж их терпеть не может. Олбрайта он почти одолел, но либералы его беспокоят. Он их называет актерами без ангажемента. — В голосе Матти снова зазвучали настойчивые нотки. — Ты только представь себе: ты отбираешь Уэндл у Легга и становишься любимчиком Элдриджа... он тебя за это непременно полюбит, Марк... а потом можешь из него веревки вить. Ты ведь знаешь, «Уиттон энджиниринг» планирует расширить склад.

— Слышал разговоры, — пробормотал Марк.

— Ну, вот. Уиттон хочет расширяться как раз за счет спортивной площадки. Подумай, что будет с твоим детским клубом, когда настанет лето. Ни крикета, ни футбола — ничего.

— Он не имеет права! — воскликнул Марк. — Эта земля принадлежит НУУПу [1]... Комиссия по благоустройству этого не допустит.

Матти придвинулся ближе. От него пахло табаком и дешевым лосьоном после бритья.

— Комиссии капут, сынок: ее распустили. Финней дал деру с рождественскими фондами и прихватил секретарскую жену. Уиттон уже подъезжал к НУУПу насчет покупки, а недавно знаешь что вышло?

Марк нахмурился.

— Что?

Матти оскалил кривые зубы:

— Уиттон собрал у себя компанию... всего несколько человек... так сказать, задушевные друзья. Пришел Сибли, главный специалист по планированию, с женой. Следующий день у него был весь расписан, но с утра его как начало выворачивать — три раза харчи метал. Всем известно, что Уиттон этого Сибли не очень обожает... а планы-то еще не представлены на рассмотрение! — Он мотнул головой и подмигнул, словно говоря: «Информация первый сорт — пальчики оближешь».

— Что же я могу тут сделать? — глухо спросил Марк. — Что я вообще могу сделать? — Он передернул плечами. — И в частности, для этой помойки, именуемой городом?

— Бороться, мой милый. Заставь Элдриджа прислушаться. Ты озабочен судьбой подрастающего поколения. Ребятишкам в городе нечем заняться, негде проводить досуг. Уиттон и ему подобные сожрут всю землю до последнего клочка, если их не остановить. К тому же Уиттон сам живет в Уэндл-Уорде. Вышиби Легга, покажи, что с тобой шутки плохи.

Марк задумался и с минуту молчал, уставившись в пространство. Потом шумно вздохнул и потянулся к выключателю.

— Это все не так просто, Матти, — сказал он осторожно.

— Эви не станет возражать.

— Дело не только в Эви. А сам Легг? Он двадцать с лишним лет сидит в муниципалитете. Я могу не пройти.

[1] Национальному управлению угольной промышленности.

— Ерунда собачья! — вспылил Матти, закуривая сигарету. — Легг — это же пустое место, все равно что покойник. Просто его отлично набальзамировали. Не робей, воробей! Стучись в разные двери... пусть люди видят, что тебе до них вправду есть дело. А то в Уэндл-Уорде, небось, даже забыли имя своего представителя.

Марк в последний раз обвел взглядом обшарпанную церковь и выключил свет. Огонек сигареты ярко вспыхнул и тут же потускнел.

— Есть еще один неприятный момент, — сказал Марк, направляясь к двери.

— Какой это? — ворчливо спросил Матти.

— Элдридж, мой бывший директор. В школе он был редкой сволочью, да и сейчас ничуть не лучше. Я не желаю иметь с ним дело. После войны он на всех отыгрывался за свою хромоту, в первую очередь на учениках. Однажды — никогда не забуду — я опоздал, и он зацапал меня в коридоре, а урок только что кончился, и там было полно народу. Как же он мог упустить такой случай — опозорить при всей школе! Вот уж я наслушался! «Из тебя ничего не выйдет, мальчик! — кричал он. — Ты ничего не добьешься в жизни. Твой удел — рабский труд и слезы до конца дней». Я никогда этого не забуду, Матти. Как я радовался, когда в школьном совете его раскусили! Он избил тростью Эдди Джонса, и каждая собака знала, что именно из-за этого ему пришлось уйти, хотя обставили его уход по всем правилам. — Марк усмехнулся. — Дескать, состояние здоровья, боевые ранения и прочее... Исполосовал парню задницу так, что тот сидеть не мог. А теперь поглядите-ка на него — мировой судья, местный лейбористский лидер, член муниципалитета и с девяти до пяти просиживает штаны у Хилсона.

— Да ведь то когда было, Марк... — в отчаянии тихо застонал Матти. — Брось ты... забудь. Это всего лишь средство... и потом — он руками и ногами за твое выдвижение. Вот теперь и покажи ему, что ты не раб. Выставь свою кандидатуру в городской совет.

— Но я не буду ему ровней, я стану одним из его рабов — разве не так?

Матти шумно и безнадежно вздохнул.

— Но ты хоть поразмысли об этом... поговори с Эви.

— Ну... ладно.

Огромные ручищи поднялись, сгребли его в охапку и слегка встряхнули.

— Молодчина, — засмеялся Матти. — Все-таки не зря я вытащил тебя из того зеленого болота.

— Меня ждут великие дела?

— Хорошо бы. Ты, да Эви, да ребятишки — вы же моя семья, другой у меня нет. И я обязан о вас заботиться.

Марк похлопал его по спине.

— Зайдем, поглядишь на них.

Матти покачал головой.

— Нет... э-э... не сегодня. В клубе танцы. Я еще успею захватить хоть часок.

— И ту вдовушку из Ньюкасла?

Сигарета засветилась ярче.

— Не исключено. Выпьем по кружке?

— Нет,— сказал Марк мягко.— Пойду домой. Занесу по дороге кепку Джимми Троттеру, это он забыл.

— О'кей. Утром загляну повидать малышей. Возьми вот для них.— Он сунул в карман Марку фунтовую бумажку. — Это на леденцы... так что без возражений, а то схлопочешь.

Матти побрел по темной улице в сторону центра, где огни города разноцветными пятнами ложились на мокрую мостовую.

— Матти! — крикнул Марк.

Матти остановился и обернулся.

— Мы рады, что ты нас всех усыновил. Да ты и сам знаешь.

Сигарета ярко вспыхнула, потом погасла. Матти басовито хохотнул от удовольствия и пошел дальше.

Скрогг-роуд прекрасно соответствовала своему благозвучному названию. Марку давно хотелось узнать, откуда оно взялось — наверное, его выдумал лет шестьдесят назад один из отцов города, у которого эта улица засела в печенках, или какого-нибудь поэтически настроенного советника тогдашнего муниципалитета посетило

здесь вдохновение. В любом случае название как нельзя лучше подходило узкой улочке, по обе стороны которой — вполне в духе того мрачного времени — теснились грубо сколоченные и тускло освещенные домишки. Улочка была, как и встарь, вымощена булыжником и изрыта выбоинами. Крыши, спускавшиеся под уклон параллельно мостовой, густо заросли телевизионными антеннами и поблескивали от дождя и жиденького света уличных фонарей.

На углу Марк чуть помедлил. В конце улицы за высокой заводской оградой громоздились уродливые и невозмутимые газгольдеры, и воздух был щедро пропитан таинственными едкими запахами. То и дело мелькали мертвенные вспышки, похожие на зарницы. Это были огни сварки: на «Уиттон энджиниринг» работала ночная смена. Далеко вокруг разносилось сердитое стаккато отбойного молотка, эхо гулких ухающих ударов тяжелого пресса, кующего упрямую сталь. От всего этого Марку вдруг стало не по себе, но он не мог понять почему. Он прожил здесь всю свою жизнь и давно привык к этим пейзажам, звукам и запахам. Без них он уже не представлял себе своего родного города Грэнтона. В разговорах с Евой, Матти и с любым другим внимательным слушателем он часто поругивал город — его грубый напор, безудержный промышленный рост, слепое поклонение божеству в виде конверта с получкой и полное равнодушие к досугу. Однако недовольство Марка было поверхностным. Он просто повторял расхожие мнения и только однажды решился на практический шаг. Не в силах забыть, как ребенком он чуть не утонул в Даттоновском пруду, и каждый день видя собственных детей, которым поневоле приходилось играть на задворках, среди развалин домов или в опасной «стране чудес» — на фабричной свалке, он задумал создать клуб для подростков. Увы, его идея мало кого заинтересовала. Матти отнесся к ней с большим сомнением, а Ева только пожала плечами. Даже священника церкви Пресвятой Девы пришлось долго уговаривать. Марк очень надеялся на эту церковь, но прием, оказанный ему в доме священника, был почти таким же холодным, как и сам дом — большой, скудно обставленный, мрачный и бесцветный, если не считать двух японских щитов в прихожей да ничем не примечательного образчика африканского искусства, криво висевшего над камином. Священник, усталый, болезненного вида человек, уселся в дальнем углу комнаты и внимательно выслушал Марка. Когда Марк умолк, священник оставил в покое свой нос, который он теребил большим и указательным пальцами, и пропищал:

— Да... да, понимаю. Значит, вы хотите в церкви?.. Вы, очевидно, протестант?

— Во всяком случае не иудей и не католик, — огрызнулся Марк и пожалел, что пришел сюда: посидишь в такой обстановке — и ничего уже не хочется и ни на что не способен.

Священник быстро-быстро заморгал, потом еще раз медленно опустил веки и спросил:

— Судя по всему, вы не исполняете своего христианского долга?

Марк неожиданно почувствовал смущение и разозлился на себя за это.

— Да... должен признаться, я бываю в церкви не часто, от случая к случаю.

Священник понимающе кивнул.

— То есть столько, сколько нужно, чтобы сохранить репутацию и избежать разговоров среди соседей.

— Да, примерно.

Губы священника сложились в невеселую улыбку.

— Не посещая дома божьего, нельзя считать себя христианином, мистер Белфорд. А клуб, который вы предлагаете открыть, только в том случае может иметь какую-то ценность, если его организатором и руководителем будет добрый христианин, дабы мальчики, принявшие здесь крещение, воспитывались в лоне церкви.

Марк встал. От злости он перестал смущаться и тут же возненавидел свой несуществующий клуб.

— Спасибо за беседу. Жаль, что мое предложение вам кажется неосуществимым. Христианским воспитанием я и вправду никогда не думал заниматься. Однако где бы святая вода ни окропила головы мальчиков, проблемы организации досуга это не решает. Здесь, в Грэнтоне, у ребятишек нет ничего, кроме улицы. Единственная приличная площадка принадлежит НУУПу, до ближайшего плавательного бассейна — пятнадцать миль. И всем хоть бы что. Будь я одним из ваших добрых прихожан, тогда, конечно, другое дело. Но если вы думаете, что я уйду отсюда, оплакивая свою погибшую молодость, то очень ошибаетесь!

И Марк пошел к двери. Но священник, кашляя от табачного дыма, попросил его вернуться.

— Мистер Белфорд, — вздохнул он, виновато сморщившись, — поймите, что я, как и всякий другой, связан правилами и предписаниями. Ваши устремления весьма похвальны, но...— Он пожал плечами.— ...И им недостает реалистичности. Я, например, был бы очень расстроен, если бы отец Дайсон решил организовать при католической церкви клуб для мальчиков из протестантских семей, и я уверен, что он точно так же отнесся бы к вашему плану.

Марк сердито набычился.

— Да за кого вы меня принимаете, а? За переодетого «свидетеля Иеговы»? При чем тут религия? Ребята придут, встретятся с другими ребятами, своими товарищами. Поиграют в футбол, пинг-понг и так далее, а потом разойдутся по домам усталые, но, надеюсь, довольные. Мне нужно только какое-то помещение. Место, где зимой можно не бояться дождя и ветра... а летом мы доберемся до НУУПовской площадки. Вот и все мои планы.

Священник откинулся в кресло, глубоко затянулся и поднял помрачневшие глаза к потолку.

— Ах, молодой человек, — прошептал он, — до чего для вас все ясно и просто... — Помолчав немного, он взглянул на посетителя и закончил: — И до чего все сложно в действительности.

— Что же тут сложного? — возразил Марк; эта словесная дуэль уже доставляла ему удовольствие. — Я прошу у вас помещение церкви на один вечер в неделю, только и всего.

На лице священника появилось страдальческое выражение.

— Нет, вы не поняли. — Он положил тонкие руки на подлокотники кресла и продолжал, глядя куда-то вниз: — Я о другом... наркотики и... и... извращения... мир тяжко болен, мистер Белфорд.

Марк побледнел: до него наконец дошло.

— Господи, — выдохнул он, — вот это праведник! Неужели вы во всем видите одно зло? Почему же вы сами ничего не организуете для детей?.. Отряды бойскаутов, например, или еще что-нибудь? Или вы даже себя опасаетесь, святой отец?

Священник медленно поднял голову. В глазах его стояли слезы.

— Извините меня, пожалуйста. Просто... просто в наше время о таких вещах тоже приходится думать.— Он покачал головой и вздохнул — беспокойно, покаянно, будто все беды мира лежали на его совести. — Я поговорю с отцом Дайсоном,— сказал он вдруг с неожиданной решительностью,— и если он ничего не имеет против, вы сможете пользоваться помещением вечером по четвергам в течение двух часов. Постараюсь раздобыть и кое-какой спортивный инвентарь... какой именно, не знаю, но в любом случае он пригодится. Вы удовлетворены?

Марк улыбнулся и кивнул.

— Спасибо.

— Но, к сожалению, это не бесплатно. Отопление, освещение... Как бы вы отнеслись, скажем... к фунту в неделю? Уголь сейчас стоит...

Марк тут же согласился. Четыре фунта в месяц — деньги немалые, но он снова воспрянул духом, и теперь ему все было нипочем. Если народу наберется достаточно, может быть, расходы удастся покрыть за счет небольших взносов — вступительных и еженедельных.

Это было год назад. Спортивный инвентарь им достался дрянной, подержанный, да и того не хватало, но Марк не сдавался, счастливый уже тем, что делает нужное дело, и ободренный популярностью своего детища среди юных грэнтонцев.

Он шел по Скрогг-роуд, приближаясь к дому номер тридцать два, где жил Джимми Троттер. На душе было муторно. Может, январская изморось нагнала на него тоску, а может, мысль о том, что примыкающая к «Уиттон энджиниринг» спортивная площадка скоро превратится в строительную и будет навсегда потеряна для клуба. Или его вывело из равновесия придуманное Матти радикальное средство от всех бед, и теперь он, Марк, словно на качелях — то видит себя облеченным безграничной властью, то мысленно слышит холодное вето Евы. В таком смятении чувств он подошел к дому номер тридцать два и дважды постучал по крышке ржавого почтового ящика.

Дверь дома распахнулась, и Марк увидел Дору Троттер, маленькую, похожую на луковицу женщину в неизменном цветастом платочке и переднике. Она смотрела на него расширенными глазами, прижимая руку к дрожащим губам, чтобы не разрыдаться.

— Ах, это вы, мистер Белфорд,— прошептала она,— а я думала, это Альф или доктор.

— Вы нездоровы, миссис Троттер? Что случилось? Я...

— Альф-младший, — выпалила она. — Он чуть не утонул.

Марк похолодел от страха.

— Утонул? — Ему вдруг стало трудно дышать. — Сегодня его в клубе не было, но я не спросил Джимми почему. Я просто занес Джимми кепку.

Она одной рукой схватила кепку, а другой потянула его за рукав.

— Ох, мистер Белфорд, он и сам пропадет, и меня на тот свет отправит. Взгляните на него, пока доктора нет, а? Он такого странного цвета.... — Голос ее задрожал. — И хрипит... Пожалуйста, мистер Белфорд...

Она быстро повела Марка по коридору — он успел заметить летящих птиц на обоях — и впустила в маленькую комнатку с двумя диванами. На одном сидел растерянный Джимми. Дрожащими руками он сжимал огромный игрушечный кран. Двенадцатилетний Альф, младший из братьев-погодков, лежал на другом диване, выкатив глаза и хватая раскрытым ртом воздух; лицо у него посинело, и при каждом вздохе из горла вырывался клокочущий хрип. Марк поспешно обошел вокруг дивана и, не отводя взгляда от мечущегося Альфа, потрепал Джимми по плечу.

— Я его убью, — всхлипнула мать. — Убью паршивца, если еще раз подойдет к Даттоновскому пруду. Говорила же я ему... обоим говорила... а они...

— К Даттоновскому пруду? — перебил Марк, приподнимая Альфа, чтобы тот мог сесть. Он вдруг узнал знакомый запах, наполнивший комнату, — запах гниющих растений и едкой стоячей воды. Он содрогнулся, заново переживая ужас, через который только что пришлось пройти несчастному мальчишке. На один страшный миг все вернулось — и ядовито-зеленый водоворот, и комковатый ил во рту, в носу, в ушах... Марк подтянул осевшее тело к краю дивана, пригнул голову Альфа к коленям, отчего тот стал похож на марионетку с оборванными нитями, и сильно ударил его между худых лопаток. Альф задохнулся и захрипел громче. Марк ударил снова. Джимми не выдержал и с плачем уткнулся в материнский фартук. — Проклятый Даттоновский пруд! — закричал Марк. Он еще раз ударил Альфа, потом дернул за голову, и тот распластался на диване. Марк повернул его лицом вниз и подтолкнул вперед. Когда волосы мальчика почти касались линолеума, он засунул ему в рот два пальца и вытащил комок ярко-зеленой слизи. Альф тут же задышал глубоко и спокойно. Марк стряхнул слизь с пальцев, подхватил мальчика и втащил на диван.— Теперь все в порядке... теперь ждите доктора, — сказал он, видя, что губы Альфа медленно приобретают естественный цвет, и перевел взгляд на его мамашу. — Даттоновский пруд! — повторил он с яростью.— Как? Как он туда попал?.. Там же давным-давно огорожено!

Не сводя усталых покрасневших глаз с младшего сына и прижимая к себе старшего, миссис Троттер покачала головой и неуверенно ответила:

— Не знаю. Он ушел с Джорджем Гиббсом. Они ушли без Джимми... сказали, что идут в клуб, а потом Джорджи притащил его обратно мокрого и с ног до головы в тине. Он дрожал, но все было ничего, пока я не схватила его за ухо... тут он начал задыхаться.

— Там забор в одном месте повалился, — рискнул подать голос Джимми. — Еще прошлой зимой. А берег очень скользкий.

Марк поднял кепку, которую миссис Троттер уронила, и подал ее Джимми. На него снова нахлынули воспоминания. Он схватил Джимми за плечо и прошептал:

— Да, малыш, я знаю, знаю.

Бульвар Бентли, несмотря на столь пышное название, мало чем отличался от Скрогг-роуд, время их рождения и качественные характеристики почти совпадали. Бульвар Бентли проходил позади «Уиттон энджиниринг» и поворачивал на восток, к городскому центру. На бульваре росли два дерева, одно в начале, другое в конце, оба печально поникшие, оба одинаково чахлые, кривые, сплошь изрезанные инициалами. Однако были между улицами и существенные различия. Скрогг-роуд принадлежала таинствен-

ному бизнесмену из Ньюкасла; имени его никто не знал, известно было лишь название компании — «Ютопиа дивелопментс лимитед». Что касается бульвара Бентли, то туда каждую пятницу вечером приезжало по десять (случалось, и больше) домовладельцев, которые проплывали к своим домам, по дороге снимая шляпы и раскланиваясь друг с другом, а потом стучали дверьми, как взбесившиеся дятлы. Дом Белфордов и еще три дома на бульваре принадлежали Генри Лонгмену, крупному розовощекому человеку без возраста. У него был такой пронзительный голос, что никто долго не выдерживал: хотелось повернуть регулятор и добавить низких частот. По пятницам Лонгмен приезжал, говорил о пустяках, а его голубенькие глазки бегали, обшаривая комнату в поисках признаков неправильного использования помещения. Потом он с удовольствием пересчитывал фунтовые банкноты, бережно укладывал их в поблескивающий бумажник крокодиловой кожи, а в заключение эффектным жестом доставал из внутреннего кармана авторучку, откидывал голову и, пронзительно хихикая, начинал быстро писать в арендной книжке.

На подходе к дому Марк услышал знакомое лонгменовское «хе-хе» — негромкое, но, как всегда, не знающее преград, проходящее сквозь кирпич и глину, точно рентгеновские лучи. Однако на сей раз вместо обычной оживленной уверенности в нем звучало сомнение, скрытая нервозность, которую Марк сразу отметил. Чего это Лонгмен явился? Сегодня четверг. Лонгмен никода не приезжает по четвергам. Марк толкнул входную дверь. Разговор тут же прекратился — ждали, когда он войдет в гостиную. Ева сидела на стуле возле камина; она была в шлепанцах и старом зеленом платье для домашней работы и явно чувствовала себя неловко. Она ничего не сказала, но Марк по ее лицу сразу понял, что она сердится на него за опоздание, из-за которого ей пришлось занимать болтовней Лонгмена... да еще в этой неприбранной комнате.

Лонгмен вскочил со своим противным, ушераздирающим хихиканьем.

— А вот и Марк... хе-хе... ничего, что я забежал? Ева сказала, вы скоро придете.— Он сложил руки на груди и, обернувшись к Еве, обольстительно улыбнулся.— Правда, это было полчаса назад... хе-хе-хе.

— Рановато пожаловали на этой неделе, мистер Лонгмен,— сказал Марк с легкой улыбкой и посмотрел на Еву, надеясь, что первое впечатление его обмануло. Нет, сердится; а лицо без косметики, и сразу видно, как она устала.

Лонгмен снова сел.

— Собственно говоря... я не за деньгами... не за деньгами... но... хе-хе-хе... я могу их взять и сегодня... тогда мне не придется приезжать за ними завтра. Нет, я по другому делу, Марк.— Он беспокойно заерзал.— Речь идет, можно сказать, о любезности... хе-хе... или, вернее, об одном предложении...

Неожиданно для себя Марк заинтересовался и тоже сел. Ева встала и подошла к буфету. По звону монет он понял, что она достает деньги из жестяной коробки, в которой хранились их сбережения. Других денег в доме не было. Марк получал жалованье по пятницам после обеда, а вечером того же дня они платили Лонгмену.

— Прости, что опоздал,— сказал Марк ей в спину,— сначала ко мне в клуб зашел Матти и я с ним задержался, а потом сынишка Дорис Троттер — Альфи — чуть не утонул, и знаешь где? В Даттоновском пруду.

Ева протянула Лонгмену деньги. Марк надеялся увидеть на ее лице понимание и сочувствие, но встретил только холодное отчуждение, вполне ощутимое, несмотря на любезный тон и улыбку.

— За объяснениями у него дело не станет, мистер Лонгмен. А дома его никогда нет... Всегда он где-то что-то делает... правда, Марк?

Марку хотелось на нее прикрикнуть, но он принужденно засмеялся и ответил:

— Да перестань... это еще не трагедия.

Лонгмен отправил деньги в карман, извлек авторучку и начал писать в арендной книжке; свет бра белой лужицей лег на красивый круглый купол его лысеющей головы.

— Вы из тех, кого называют «постель — завтрак», а? Хе-хе-хе... Брать постояльцев запрещается, Ева... вон там на стене правила... хе-хе-хе.

Наверху заплакал Дэвид. Сначала это было неуверенное нытье, потом оно быстро перешло в полнокровный рев.

— Малыш проснулся,— сказала Ева почти с облегчением.— Пойду взгляну на него, а потом наконец сброшу рабочую одежду. Спокойной ночи, мистер Лонгмен. Простите за беспорядок... у меня сегодня был трудный день с этой троицей.

— Ну, о чем разговор. Спасибо за чай и за приятную беседу... хе-хе.

Когда Ева проходила мимо, Марк улыбнулся ей, но она словно не заметила. Он мысленно вздохнул и целиком переключился на посетителя.

— Какое же предложение, мистер Лонгмен?

— А, да... хе-хе.— Он пошлепал толстыми пальцами по колену.— Это дело... э-э... можно сказать, личное, Марк. Я... вернее, мы, консервативная фракция муниципалитета, сегодня кое-что узнали.— Лицо его сделалось кротким и ласковым, будто он собирался благословить Марка.— Вас называли, Марк...— Он приподнял брови и закончил:— Как возможного претендента на Уэндл-Уорд.

Марк подпер щеку тыльной стороной ладони.

— Откуда вы знаете? Ведь они заседали только сегодня.

— Мы знаем... хе-хе... мы много чего знаем про Элдриджа и его команду.

— И что же? — небрежно осведомился Марк; ему льстило, что его имя уже на устах городской верхушки.

Лонгмен потер подбородок и склонил голову набок.

— Я пришел потолковать с вами... даже сам вызвался, потому что... потому что я знаю вас... сколько... семь лет? Или восемь?

— Почти семь.

— Хе-хе... это срок, а? — Он откинулся на спинку стула и развалился, источая благодушие.— Думается мне, я достаточно хорошо вас знаю, чтобы немножко с вами... э-э... пооткровенничать... Я прав?

Марк пожал плечами. Лонгмена трудно было узнать. На верхней губе выступил пот, мясистая челюсть окаменела. Марк никогда не видел его таким. Что бы это значило? Но рассказывать Лонгмену о разговоре с Матти нельзя — тогда не удастся узнать причину визита. Пускай себе думает, что думает, и ведет свою игру.

— Мне кажется, я прав, Марк,— повторил Лонгмен.

— А почему вы об этом заговорили, мистер Лонгмен?

Лонгмен снова заерзал на стуле.

— Потому что считаю вас разумным и ответственным молодым человеком.— Он нарочито медленно оглядел комнату.— Отличный дом... превосходный... вы превратили его в маленький дворец, Марк. Еве и ребятишкам хорошо здесь? — Не дожидаясь ответа, он продолжал:— Задолженности по арендной плате у вас не бывает. Вы не из тех, кто бросает деньги на ветер. И на работе всегда все в порядке. Кейн говорит, что вы...

Но Марк уже был сыт по горло.

— Давайте к делу,— оборвал он.— О каком одолжении вы просите, мистер Лонгмен?

Лонгмен закусил губу и с вымученной улыбкой ответил:

— Я насчет Уэндл-Уорда, Марк. Не выступайте против Легга. Он чудаковатый старик, но... знаете, он только и жив этим своим общественным положением. Лишите его кресла, и он отдаст концы. Вы же не хотите этого?

Марк нахмурился. Неужели Лонгмен говорит серьезно? Неужели действительно думает, что он примет такое идиотское объяснение? Марк взглянул на посетителя, почти уверенный в том, что это шутка.

— Бедный старый мистер Легг,— насмешливо сказал он.

— Да, он очень слаб,— кивнул Лонгмен.

Все это начало раздражать Марка. Лонгмен упорно говорил с ним как с ребенком.

— А я, по-вашему, человек разумный... рассудительный... так?

— Да, разумный.

— Не дурак?

Лонгмен вспыхнул.

— О нет, Марк, вы не дурак,— пробормотал он смущенно.

— Тогда, черт возьми, давайте все сначала и скажите правду. Чего Легту беспокоиться? На скольких выборах он баллотировался и побеждал — наверно, и сам не помнит. Почему он вдруг из-за меня всполошился? А вы и вся ваша компания?.. Не моя вина, если Легг потеряет Уэндл-Уорд, а его собственная.

Лонгмен глубоко и протяжно вздохнул, как человек, признающий свое поражение.

— Причины есть, Марк... много причин. Вы не поймете. Легг нужен нам в муниципалитете. Вы за много лет первый кандидат, который представляет реальную угрозу. Мы понимаем это и понимаем, что вы можете победить.

— Почему вы так уверены?

— Потому что вы — это вы, а Легг... ну, скажем, Легг уже не тот, что двадцать лет назад.

— Тем больше оснований для замены.

Лонгмен медленно покачал головой.

— Нет... еще не время, Марк.— Он взглянул на часы.— Поздно. Пора домой. Если позволите... мне поручено передать вам, что вы будете вознаграждены... Мартин Кейн будет... очень доволен и я также. Мы не забудем вашей помощи. Никто из нас не забудет.

Марк не знал, что ответить. Он вдруг растерялся: предложение Лонгмена смутило его и даже испугало. С минуту оба молчали. Потом Лонгмен кивнул в знак того, что предложение серьезное. На втором этаже в ванной зашумела вода; Лонгмен посмотрел наверх и прошептал:

— Подумайте о Еве и ребятишках.

— А что будет, если я не воспользуюсь вашим любезным предложением? — насмешливо спросил Марк.

— Ничего,— улыбнулся Лонгмен,— абсолютно ничего. Но вы подумайте как следует, Марк. К тому же, делать вам ничего не придется, а результатами вы будете весьма довольны.

— А конкретно?

Лонгмен встал. Поджал губы.

— Скажем так: все пойдет гораздо быстрее.

— Как насчет места заведующего секцией у Кейна?

— Почему бы и нет.

— И хорошо бы новую черепицу на эту проклятую крышу, чтоб не протекала.

— Отличная мысль,— обрадовался Лонгмен.

Марк подал ему шляпу. Внутри у него все бурлило, но он держал себя в руках.

— Ясно. Но если я решу баллотироваться от Уэндла, ничего страшного не произойдет?

— Абсолютно ничего. Мы же не мафия... Речь идет просто об одолжении.

Ярость Марка сменилась сатанинским весельем.

— Рад, что вы зашли,— сказал он с любезной улыбкой.

— Значит, мы можем на вас положиться? Я так и знал.

— Я думаю, можете.

Лонгмен сердечно похлопал его по спине.

— Хе-хе, вы умный человек, Марк... вы далеко пойдете.

Марк проводил его до двери.

— Наверное, вы правы.

— Хе-хе... я уверен, что прав. Я им сказал, что у вас есть голова на плечах. И что вас не очень-то интересует вся эта муниципальная возня. Спокойной ночи, Марк. Вы умный человек. Никому ничего не говорите и радуйтесь своему маленькому успеху. А? Хе-хе.

Дверь закрылась, а Марк все стоял и смотрел на нее. Он провел рукой по волосам и тут только поверил, что не спит.

— Дурак,— выдохнул он.— Дурак, тупица, сукин сын.

Он лежал в постели, заложив руки за голову, и смотрел на Еву, которая молча перебирала кучу детской одежды. Она ничего не говорила, не замечала его, но своими быстрыми порхающими движениями ясно давала понять, что он в немилости. Он смотрел и ждал, тщетно надеясь, что она спросит его о Лонгмене или хоть взглянет помягче.

— Не сердись, Эви,— взмолился он наконец, не выдержав молчания.

Ответ последовал не сразу.

— Ты всегда говоришь одно и то же,— произнесла она холодно, но он этого и ожидал.— Думаешь, извинился — и все в порядке.

— Я же не нарочно. Так вышло. Матти... ну, у Матти было важное дело... а Альфи Троттер... черт подери, он ведь чуть не задохнулся. Не мог я взять и уйти. Он совсем посинел. А если бы умер?— Он приподнялся на локте.— Знаешь, зачем приходил Лонгмен?

— Не знаю и знать не хочу. Зато я знаю, что его милый голосок разбудил детей... а в доме бедлам, и сама я в жутком виде...

Управившись с одеждой, она встала и повернулась лицом к стене. Халатик с шуршанием соскользнул на пол, и восхищенным глазам Марка предстала гладкая, присыпанная тальком спина, тонкая талия, круглые мягкие выпуклости ягодиц. Природа была благосклонна к Еве. После родов она совсем не раздалась. Тело ее было по-прежнему крепким, разве что чуть тяжелее стала грудь, чуть шире бедра, на которых кожа кое-где слегка растянулась; но фигуре этой женщины, родившей троих детей и вышедшей замуж семь лет назад, могли бы позавидовать и молоденькие.

Марка обожгло желание, более острое и сильное, чем обычно, из-за того странно восторженного состояния, в котором он находился после разговора с Лонгменом. В этом щекочущем нервы коктейле смешались уверенность в своих силах и предчувствие близкой опасности, азарт и нерешительность, удивление и скепсис. И все же он не мог отделаться от мысли, что Кейн, Лонгмен, а чего доброго и Матти, здорово его разыграли... Нет, это не розыгрыш! Какими бы неуклюжими ни были объяснения Лонгмена, потел-то он по-настоящему и ерзал не просто так, а по причине непонятного беспокойства. В чем же дело? Допустим, он вышибет Легга — разве это конец света? Ева легла рядом, щелкнула выключателем, и все нерешенные вопросы растаяли от ее тепла. Он с наслаждением вдохнул запах ее тела и прошептал:

— Ева...

Она отодвинулась.

— Спи. Я устала.

Он обнял ее за талию, но она сбросила его руку.

— Говорю же, я устала.

— Да ты послушай. Знаешь, по-моему, у меня есть шанс получить место заведующего секцией.

На Еву это не произвело впечатления. Она только пробормотала что-то в знак того, что слышит.

— И еще — ты будешь смеяться, но кажется, что Лонгмен наконец починит нам крышу.

— Ты мечтатель, Марк... всегда был мечтателем.

Он перевернулся на спину и вздохнул.

— Ты никогда не верила в меня, Ева... ни в то, что я делаю, ни в то, к чему стремлюсь. Человек должен мечтать, если он хочет добиться чего-то в жизни.

Ответа не было. Сквозь шум дождя Марку слышались уговоры Матти и жуткий хрип Альфи, пронзительный голос Лонгмена, переходящий в шепот, и это невероятное предложение. Вот сейчас он докладывает своим дружкам — Кейну, Легту и прочим: «Говорил я вам, что его можно купить по дешевке. Пообещал ему продвижение по службе да новую черепицу на крышу, так у него аж слюнки потекли». А они все довольно смеются и поудобнее разваливаются в креслах. Рано обрадовались! Марк поцеловал Еву в затылок, и она, не просыпаясь, сердито заворчала. Она поймет. Матти прав. Ева поймет. А хорошо звучит — «член муниципального совета»! Он улыбнулся своим мыслям и помолился о том, чтобы целый год не было дождя.

3

Эгберт Элдридж открыл глаза и сразу понял, что проспал. В спальне было слишком светло, а на улице слишком шумно. Детский крик, торопливые шаги, непрерывные велосипедные звонки не предвещали ничего хорошего. Элдридж сел на кровати и резким движением сбросил одеяло; в ту же секунду, спохватившись, натянул его обратно и укрыл жену, которая лежала рядом — было слышно ее свистящее астматическое дыхание,— но, благодарение богу, по-прежнему спала. Ужас на его лице сменился свинцовым оцепенением, он бесшумно выскользнул из постели и из спальни, волоча левую ногу, словно к ней было приковано ядро.

Боль в паху прошла, и Элдридж мысленно выругался: именно сегодня он хотел явиться на работу без опоздания. Он до самой ночи репетировал свою маленькую речь и был вполне доволен тем, что у него получилось. Он уже представлял себе, как Хилсон одобрительно кивает и улыбается ему из своего кожаного кресла, а затем встает и они обмениваются рукопожатиями. А что теперь? Хилсон поднимет голову, два мутных глаза болотного цвета поверх анемично-розовых листов «Файнэншл таймс»

будут следить за его медленным продвижением к своему столу. Делопроизводитель истерически захихикает, прыщавая машинистка с необъятным бюстом глупо улыбнется и переглянется с подружками; старик Сагден — бухгалтер, начинавший свою карьеру еще с гусиным пером, ходячая счетная машина, тощий субъект, на лице которого навсегда застыло удивленное выражение,— до перерыва просидит прямо и неподвижно, словно в штаны наложил. А когда Элдридж сядет за стол и сдует с него опилки, Хилсон долго еще будет смотреть в окно, выглядывая из-за газеты. Никто ничего не скажет; Хилсон не постучит по стеклу и не подзовет его угрожающим жестом, но до конца дня в главной конторе будет слышен только стрекот пишущих машинок, громыхание ящиков с документами да резкий вой циркулярной пилы за окном. Хилсон ненавидит опоздания. Внешне он никак не реагирует — ни словом, ни действием, и тем не менее все это знают. Лишь его безмолвная ярость повисает в главной конторе тяжелой грозовой тучей, и тяжелее всего — над склоненной головой Элдриджа. Элдридж ненавидел Хилсона и собственную работу. Ненавидел запах дерева и легкомысленную болтовню молодежи. Ненавидел цвет стен и ковра, и календарь на двери, и кошку, которой ежедневно выставляли миску молока. Он часто и подолгу с грустью думал о своем прежнем директорском положении. В школе его все уважали. Никто не решился бы бросить ему вызов — по крайней мере в стенах школы. Он был существом высшего порядка; и ученики и учителя называли его «сэр». А теперь все не так, и он с отвращением сознавал, что ему еще повезло: у него есть работа и жалованье, позволяющее сохранять некоторую респектабельность,— пусть не такое уже большое, зато его выплачивают раз в месяц, а не еженедельно и не в этих мерзких коричневых конвертах, которые кассир небрежно протягивает через стол простым смертным.

— Да,— прошептал он своему отражению в зеркале.— Да, сегодня я ему скажу. Скажу без обиняков, и если у него есть хоть капля гражданской ответственности, он согласится.— Он отступил на шаг и принял величественную позу — прижал руку к груди и вздернул недобритый подбородок.— Да,— выдохнул он медленно,— ты заставишь их ходить на задних лапках.— Он беззвучно рассмеялся.— Эти тори у меня попляшут, а вонючие либералы... ноги их там больше не будет...— Вдруг улыбка исчезла с его лица, и он обвиняюще ткнул пальцем в свое отражение: — Ни черта ты не сделаешь. Будешь угождать всем и каждому... будешь беспристрастен... мудр, как Соломон.— Он продолжал бриться, и улыбка медленно возвратилась.— Ну, это мы еще посмотрим,— выдавил он сквозь зубы.

— Эгберт! — раздался пронзительный женский голос; можно было подумать, что обладательница его вот-вот испустит последний вздох. Эгберт испуганно присел по старой окопной привычке.

— Да, дорогая? — приветливо отозвался он и представил себе жену — необъятную, похожую на кита тушу, развалившуюся на кровати.

— Эгберт... ты еще там? Уже поздно.

— Нет, я в Тимбукту, чтоб тебя...— ответил он шепотом, потом добавил громче: — Знаю, дорогая... сейчас выхожу.

Кровать с облегчением заскрипела. Жена тяжело прошагала по ковру и показалась в дверях ванной. Океан плоти со стальными волосами и смуглым мужеподобным лицом. Она подошла к нему вплотную, взяла его за уши жирными ладонями и поцеловала в щеку.

— Я так горжусь тобой, Эгберт.

Эгберт кивнул и попятился; своими телесами она заполнила все пространство ванной.

— Это будет так чудесно,— ликовала она.— Большая черная машина... и деньги на нарядное платье. Ты говорил, что мне полагаются деньги на платье. И дворец... мы поедем во дворец?

Эгберт снова кивнул, силясь изобразить улыбку, но улыбаться не хотелось.

— Послушай, Мэгги,— решился он,— ты уверена, что тебе это по силам? Ведь ты быстро устаешь и тебе быстро все надоест.

— Нет-нет, это будет замечательно! Все эти церемонии, и цветы, и аплодисменты...— Магнолия задом вышла из ванной.— Я сварю тебе яйцо,— сказала она с придыханием.— Скорее, дорогой.

Эгберт прикрыл глаза, отгоняя видение, превращавшее сияющую картину его успеха в нечто тусклое и невыразительное. Уж он-то знал, что жена не упустит случая побыть в центре внимания. Она играла первую скрипку на всех женских сборищах, во

всех институтах, организациях, кружках — но это, пожалуй, был ее предел. Он втайне надеялся возложить обязанности первой леди на свою племянницу. Та была бы идеальна. Особенно теперь, когда у нее появились виды на младшего отпрыска Уиттона. Но нет, похоже, что главным украшением Грэнтона станет Магнолия Элдридж. Больше он уже не мог думать: все мысли точно сковало январской стужей.

— Иду, дорогая,— сказал он жизнерадостно и начал спускаться по высоким угловатым ступенькам.

Артур Уиттон медленно сложил руки, как будто собирался прочесть молитву, но локти его удобно покоились на столе. Густые брови поднялись — это означало, что он просит высказаться и будет особенно рад услышать ответ своего зятя Роберта Хилсона. Хилсон откашлялся и поправил узел галстука. Он не был готов к ответу, и Уиттон это знал. Хилсону хотелось сказать, что ему нужно время, что нелепо в девять часов утра в пятницу задавать такие вопросы, тем более без предупреждения. Но это похоже на Уиттона. Заранее все обдумать, а потом захватить человека врасплох и с садистским наслаждением наблюдать, как он вертится, словно уж на сковородке.

— Тут пока еще нет полной ясности,— выкручивался Хилсон, не отрывая глаз от стола и бесцельно перебирая бумаги.

— А когда же будет хоть какая-нибудь ясность? — спокойно осведомился Уиттон.

Хилсон снова взглянул на свои бумаги, покачал головой и поднял глаза.

— В июне — в июле. Зима у нас нынче скверная. Это не слишком помогает делу, а общее уменьшение капитальных затрат надолго подкосило мою торговлю... и не только мою. Вся отрасль переживает застой...— Он поймал характерный уиттоновский взгляд и понял, что фактически признал свое поражение.— К концу месяца у меня, вероятно, будут все данные. Кое-что еще в работе,— добавил он неуверенно.

Уиттон повернул голову влево.

— Ну?— рявкнул он.— Докладывайте, Смитон, сколько там?

Смитон, финансовый контролер, надел очки в толстой оправе и перевернул несколько страниц.

— Десять тысяч,— пролепетал он.

Уиттон кивнул.

— Но еще не все итоги подбиты...— начал было Хилсон.

— Какие, к черту, итоги! — оборвал его Уиттон.— Как ты ни жонглируй цифрами до конца месяца, у тебя колоссальные убытки и никаких перспектив.— Он ткнул костлявым пальцем через стол.— Спичечная фабрика только потому еще работает, что я всаживаю в нее деньги... кучу денег, Боб. Думаешь, мне это очень нравится? Думаешь, приятно чувствовать, как тебя раздевают? Короче, что ты собираешься делать?

Хилсон вздрогнул.

— Год был плохой... но возьми последние десять лет... наш доход растет... это кое-что значит.

— Ладно, хватит воспоминаний. Теперь послушаем, как ты намерен выжать из фабрики десять тысяч на погашение долга да еще прибыль на вложенный капитал.— Лицо его порозовело, а голос окреп.— Давай, Боб... выкладывай. Мне было бы выгоднее поместить эти деньги в сберегательную кассу почтового отделения.

Хилсон сморщился и посмотрел на негодующее лицо шурина, который сейчас, конечно, не столько негодует, сколько радуется. Да и как не радоваться: выставил его, Хилсона, на позорище, доказал всем на свете, что он не бизнесмен, а полное ничтожество, неудачник, жулик, не имеющий права на свое нынешнее положение в компании. Стяжатель, авантюрист, взбирающийся наверх по чужим потным спинам. Уиттон этого не говорил, но Хилсон знал, что именно таково его мнение. Судя по многозначительным взглядам, по искусно расставленным ловушкам, оно всегда было таким. С того самого дня, когда Ребекка Уиттон объявила собравшимся родственникам, что выходит замуж за Роберта Хилсона, страхового агента. Фредерик Уиттон, ее престарелый папаша, был рад, что его толстая некрасивая дочь наконец нашла себе пару. Не слушая возражений сына, он сразу же посадил Хилсона на специально для этого придуманную должность в уиттоновском бизнесе. Артур всегда относился к нему с недоверием, завидовал его быстрому взлету и не прощал промахов. Еще больше Артура злило, что в завещании старик распорядился выделить Хилсону самостоятельное дело — дочернее предприятие «Уиттон энджиниринг». Из страховых агентов в управляющие за два года! Это была горькая пилюля для Артура, которому пришлось ходить в учени-

ках, потом провести три года в колледже, потом подняться по служебной лестнице на самый верх, и только после этого отец решил, что он может войти в правление и взять на себя руководство империей Уиттонов.

— Итак? Мы ждем,— протянул Уиттон с преувеличенно скучающим видом.

Хилсон вцепился в край стола. Во рту у него пересохло, губы дрожали.

— М-м... есть три контракта, которые мы могли бы получить к середине года... двери, рамы, доски.

— Ты получил их?

— Нет,— раздраженно ответил Хилсон.— Но у нас хорошие шансы. Кейн...

— Кейн тут ни при чем,— рявкнул Уиттон.— По каким объектам уже назначена цена?

— Смитсон просил назначить цену за шестьдесят муниципальных и частных домов... Затем — супермаркет «Барко». На него мы получили запрос от «Смитсон энд Шоли констракшн».

— Когда будут размещены заказы? — ворчливо спросил Уиттон.

Хилсон прикусил губу. Он дорого бы дал, чтобы у него было время позвонить Мартину Кейну, закадычному другу Смитсона. Кейн часто встречался с ним, лестью добивался заказов для своей компании, поставляющей строительные материалы и водопроводные трубы. Уж если кто знает, так это он.

— Теперь это может быть в любой день,— сказал Хилсон, стараясь говорить уверенно.— Строительство «Барко» вот-вот начнется. По плану он должен разместиться на земле НУУПа... там, сзади.

Глаза Уиттона расширились, а на лице появилось выражение, не предвещавшее ничего хорошего.

— Черта с два.— Он резко дернул головой.— О'кей, Смитон, на сегодня все.— Смитон собрал бумаги и молча вышел. Уиттон проводил его взглядом, потом с силой ударил кулаком по столу.— Не получат они эту землю, сволочи! — прорычал он и, схватив телефонную трубку, крикнул: — Соедините меня с Кейном. Да, с Мартином Кейном! — Он сидел бледный, вращая глазами и лихорадочно соображая.— Кто... кто тебе сказал, что «Барко» будет строиться там?!

Уиттон был так взбешен, что Хилсон даже не обрадовался своему минутному перевесу.

— Мне сказал Элдридж,— заторопился он.— Ты знаешь Элдриджа... он в муниципалитете... он работает у меня.

— Элдридж? Я говорил тебе, чтобы ты не связывался с этой надутой обезьяной. Я тебя предупреждал, что он хитрый стервец, помнишь?

Хилсон пожал плечами и смущенно покачал головой.

— Но на «Барко» будет уйма работы, а Элдридж в комиссии по планированию.

— Гори он огнем вместе со своей комиссией! — загремел Уиттон.— Мне самому нужна эта земля. Сибли теперь на моей стороне, и Управление угольной промышленности почти согласилось на мою цену. Так что ребята из «Барко» пусть лучше сюда не суются, а то я им головы поотрываю.

Зажужжал телефон, и Уиттон схватил трубку. Лицо его неожиданно покраснело, жилы на шее напряглись, набухли.

— Кейн? — кашлянул он.— Что там такое с «Барко»? — Он яростно заморгал, кивнул, быстро пробормотал что-то и взволнованно спросил: — Ты уверен... в самом деле уверен, черт возьми? — Снова бормотание, потом перекошенное лицо понемногу обмякло.— Значит, окончательно прихлопнули? Отлично... отлично. Ну, а как насчет этого домостроительного плана... муниципальные и частные дома... что у него новенького? — Он посмотрел на Хилсона. Глаза, надежно укрытые косматыми бровями, насмешливо поблескивали. Хилсон внутренне съежился. Если бы он раньше позвонил Кейну... Уиттон снова опередил его.

— Понятно,— протянул Уиттон со зловещим спокойствием.— Ничего не слышно? — На его изогнутых губах заиграла улыбка.— Да, знаю... но какое-то движение все-таки есть? Хорошо. Поднажми как следует, Мартин, ради нашего общего блага. О'кей, приходи вечером. Возьми Мэри с собой... выпьем, потолкуем.

Трубка легла на рычаг. Уиттон некоторое время сидел с серьезным видом, хотя в душе у него все пело; наконец он не выдержал:

— Треснул твой хрустальный шар, Боб.

Сердце у Хилсона упало, он стиснул вспотевшие руки и неловко заерзал.

— Сколько предлагали за «Барко»? — невозмутимо, как врач, спросил Уиттон.

— Тысяч сорок.

— Можешь их вычеркнуть. А что касается домостроительных планов, то тут ничего не будет делаться до майских выборов.

— С «Барко» все кончено? — недоверчиво спросил Хилсон.

Уиттон удовлетворенно кивнул.

— Скажем так: они не получат разрешения на проектирование, а я получу. Этого тебе достаточно?

Хилсон с шумом втянул в себя воздух, потом медленно выдохнул; его трясло.

— Ты по уши в дерьме, Боб.

Хилсон опустил голову.

— Похоже, что спасти тебя может только чудо.

Хилсон кивнул.

— Ну что ж, подброшу тебе одно,— сказал Уиттон с нескрываемым удовольствием.— Благодари судьбу, что я рядом. Ты ведь знаешь, в совете уже целый год пыхтят вокруг будущего муниципального мусоросжигателя...

— Совсем вылетело из головы,— просиял Хилсон.

— А у меня не вылетело. Я на них работал. Это грандиозная штука, Боб... она будет сжигать мусор со всего города. Административная группа закончила свои исследования, и результаты весьма обнадеживающие. Работы всем хватит — Кейну, тебе и мне... я получу этот контракт, Боб, лишь бы цена была подходящая... Но уж об этом-то я позабочусь.

— А когда начнется строительство? — спросил Хилсон.

— Трудно сказать... ты же знаешь, какие они проворные... но это твое спасение, Боб. Пока не клюнула большая рыба, лови хоть мелочь... что с тебя возьмешь.

Хилсон поспешно схватил свои бумаги и, рассыпаясь в фальшивых благодарностях, задом открыл дверь. Он от души надеялся, что мусоросжигатель будет построен и его любимый шурин станет первым мусором, который в нем сожгут.

Мартин Кейн положил трубку и с облегчением вздохнул. Хорошо, что он смог дать Уиттону определенный ответ. По ответу было видно, что он свое дело знает, следит за новостями, и это произвело на Уиттона впечатление. А кроме того, чуть-чуть приблизило Кейна к узкому кругу доверенных лиц. Никуда не денешься — ТУК (трубоукладочные установки Кейна) процветает, когда процветает Уиттон, и вместе с ним переживает все кризисы. Бóльшую часть заказов Кейн получал по субподрядам от «Уиттон энджиниринг», а его оптовая торговля в значительной мере зависела от Смитсона, строительного подрядчика. Сначала все было легко и просто. Много лет назад во время своего короткого и неудачного выхода в активную политическую деятельность он познакомился и близко сошелся с Уоллесом Леггом. В те дни империя Кейна ограничивалась прокладкой водопровода. Одновременно с их дружбой рос и ТУК, и подкармливать растущие предприятия Смитсона и Уиттона информацией, которой в изобилии снабжал его Уоллес Легг, не составляло большого труда. Лучшего нельзя было и желать. В промышленном городе, таком как Грэнтон и соседние городки, Уиттон, узнавая все раньше других, получал преимущество перед конкурентами. Смитсоновские заявки всегда были конкурентоспособны, и разрешения на проектирование редко заставляли себя ждать. Но ко всему на свете привыкаешь. Такие преимущества постепенно стали для Уиттона и Смитсона чем-то само собой разумеющимся. Чтобы не остаться внакладе, Кейн должен был сообщать все больше подробностей — о конкуренции, о ценах, предлагаемых соперниками, о содержании секретных отчетов. А Легг уже начал сдавать. Он старался изо всех сил, всячески обыгрывая свою дряхлость — этакий Клавдий на Грэнтонском форуме,— но все же рассчитывать приходилось только на то, что он мог услышать и вынести ожидавшим снаружи хищникам.

Кейну вдруг стало тоскливо. Его процветание держалось на трех китах — Уиттоне, Смитсоне и Легге. Потеря любого из них нанесла бы ему удар, от которого уже не оправиться. Кейн давно понимал, что совершил ошибку: надо было расширяться, закидывать сеть подальше и поглубже и брать заказы где только можно, но ощущение сиюминутной безопасности как-то расхолаживало. В своем самодовольстве он не допускал и мысли о новых деловых контактах. Не позволял всем этим «а хорошо бы» нарушать нормальное течение жизни, пока чертежник Марк Белфорд не заставил его взглянуть на вещи по-иному. Это случилось накануне вечером на собрании местных

консерваторов, где Генри Лонгмен, захлебываясь, сообщил потрясающую новость. Старый Легг растерянно заморгал. Лейбористы не часто претендовали на Уэндл-Уорд. Иногда такую попытку предпринимал кто-нибудь из независимых или либералов, но Уэндл-Уорд, оплот самозваных джентри, по-прежнему оставался синонимом консерватизма, а Уоллес Легг — его представителем в муниципалитете. Двадцать три года он держал оборону, изредка высказываясь от имени своих избирателей в зале заседаний совета, а чаще похрапывая, так что мэру то и дело приходилось обращаться к нему, дабы прекратить посторонний звук.

— Лейбористы? Ты сказал — лейбористы? — спросил Легг дрожащим голосом, приставив ладонь к уху.

При этих словах Кейн с трудом оторвал взгляд от беспокойных глаз Лонгмена и посмотрел на своего соседа — тучного старика с трясущейся лысой головой, покрытой темными пятнами.

— Да,— рявкнул Кейн.— Они выставляют против тебя своего человека.

— Социалиста? — недоверчиво протянул Легг.

— Да.

— Боже, куда идет мир! — сердито фыркнул Легг.

Кейн снова поглядел на Лонгмена.

— Этого следовало ожидать. После прошлых выборов там построили больше ста домов. Элдридж тащит в Уэндл всякую шваль. Скоро они все станут красными, можешь не сомневаться.

— Ну, не обязательно,— вяло сказал Лонгмен.

Кейн вздохнул.

— А что им остается — половина из них жили или живут в твоих хибарах.

Лонгмен болезненно улыбнулся, потом хлопнул себя по лбу.

— Что будет, если Белфорд победит? — спросил он, понизив голос почти до шепота.— Смитсон ведь хочет строить на месте этих развалюх. Нам нужен Легг... необходим...

— Кто... кто он? — спросил Легг.

— Белфорд... Марк Белфорд. Он работает у меня чертежником.

Легг затряс головой — на этот раз намеренно.

— Как? С такой фамилией — и красный? Ну и ну!

— Боже мой! Нам нужно разрешение на проектирование, иначе Смитсон не купит землю, а тебе не быть поставщиком,— прохрипел Лонгмен.

— Не ори, идиот,— зарычал Кейн.— Ты его знаешь?

— Кого? — спросил Лонгмен.

— Белфорда!

— А-а, да... он живет в моем доме на бульваре Бентли.

— Хорошо, так вот что, по-моему, ты должен ему сказать...

Кейн закурил и задумался о событиях вчерашнего вечера. Когда Лонгмен ушел, он пожалел, что, поддавшись панике, отправил его к Марку. Это было рисковано. Он знал Марка Белфорда как человека спокойного, педантичного и благоразумного — пожалуй, слишком благоразумного. Марк начнет задавать вопросы и почует недоброе, а может быть, даже поймет, что́ скрывается за убогими аргументами, которые Лонгмену позволено использовать. Зря он, конечно, предложил такую штуку, но и сам Лонгмен его подтолкнул: очень уж рвался в бой. Ждать пришлось час, однако ему показалось, что прошла вечность. Он поил Легга джином, чтобы тот хоть немного помолчал, а в голове проносились мысли одна другой безумнее. Он обливался по́том, внутри все бурлило и сжималось; вдобавок дико разболелся живот, и Кейн стал пробираться к уборной.

Но боль не прошла. Даже когда Лонгмен вернулся, живот не отпустило. Кейн в сотый раз взглянул на дверь и увидел лицо Лонгмена — красный, улыбающийся шар, который двигался к ним сквозь клубы табачного дыма.

— Ну? — спросил он быстро.

— Полный порядок,— в восторге закричал Лонгмен.

— Тихо! — прошипел Кейн.

Лонгмен сел. Его выпученные глаза блестели.

— Он не выставит своей кандидатуры. Я знал, что его это совершенно не интересует.

— Что он сказал?

— Я его купил. Он предпочитает продвижение по службе и ремонт дома.

— Только и всего?

Улыбка медленно сползла с лица Лонгмена.

— Да... это было нетрудно.

— Он серьезно говорил? О чем он тебя спрашивал?

— По-моему, он говорил серьезно. Зачем бы он стал думать одно, а говорить другое? Он же мог просто сказать «нет».

— И никаких подозрений?

— Он любопытствовал... но теперь вполне удовлетворен.

— Интересно, что он скажет Элдриджу,— прошептал Легг.

Они взглянули в его слезящиеся старые глаза, потом друг на друга, и у Кейна еще сильнее заболел живот.

Наутро Кейн хотел сразу же вызвать Марка, но почему-то не смог. Надо было все продумать, найти точные слова, чтобы стало ясно, что тут нет никакой задней мысли. Однако чем больше он думал, тем больше его это смущало. Соглашение с Леггом было делом нетрудным. Оно возникло естественно, как следствие дружеских отношений, постепенно развивавшихся к общей выгоде. Но нечто подобное с одним из служащих ТУК уже попахивает откровенным подкупом. Впрочем, выхода все равно нет. Он должен поговорить с ним, удостовериться, что Лонгмен прав, и избавиться от боли, из-за которой почти всю ночь не спал. А теперь, после разговора с Уиттоном, это просто необходимо сделать. Уиттону нужна земля НУУПа, а если Легг сумеет протащить его заявку через комиссию, Уиттон в долгу не останется. Он решился, потушил сигарету и сказал в селектор:

— Лиз, пусть Барни пошлет ко мне Марка Белфорда.

Он выпрямился в кресле и закурил новую сигарету. В дверь постучали.

— Войдите,— сказал он по возможности любезно.

Марк вошел и с улыбкой направился к крупному рыжеволосому человеку, сидевшему за столом красного дерева.

— Садитесь, Марк,— сказал Кейн и рассердился: так неуверенно прозвучал его голос.

Марк молча сел.

Кейн раскрыл рот, потом снова закрыл. За этот миг глаза его внимательнейшим образом изучили спокойное лицо Марка.

— К вам вчера вечером заходил старина Лонгмен? — Он ухмыльнулся.

— Да, он приходил с предложением.

— Ах да... я... э-э... мы говорили о вас, Марк... вам не икалось?

— Нет.

Кейн заставил себя хихикнуть.

— А могло бы. Мы вас очень расхваливали.

— И тревожились о здоровье мистера Легга,— произнес Марк. Просто невозможно было не ответить шпилькой на фальшивое добродушие Кейна.

— Что? А-а, Уоллеса? — Кейн небрежно махнул рукой, потом провел по затылку.— Старик Уоллес — мой друг, Марк. Мне хотелось бы сделать ему приятное... и при этом с пользой для всех нас.— Он сморщил нос.— Жаль будет, если наша партия потеряет место или если Уоллес потеряет единственный интерес в жизни, который у него остался... вы же меня понимаете.

Марк медленно кивнул.

— Да, кажется, понимаю.

С преамбулой было покончено. Кейн наклонился вперед и положил ладони на стол.

— Вот что, Марк, я тут подумываю назначить вас заведующим секцией. Вообще говоря, у меня есть и другая кандидатура. Я никак не мог выбрать между вами... до вчерашнего вечера.— Он с интересом принялся рассматривать какое-то пятно на столе.— Если то, что сказал Лонгмен, соответствует действительности, можете считать, что вы уже назначены, Марк. И тогда у вас все равно не будет времени для этой муниципальной возни.

У Марка на языке вертелись десятки вопросов. Ему хотелось понять, почему именно он произвел такой переполох в их лагере и почему они так беспокоятся о Легге. Вот бы сейчас, не сходя с места, сказать о своем решении — просто ради удовольствия увидеть выражение лица Кейна. Но он не мог, не смел — пока еще не смел.

— Я очень рад, мистер Кейн. Лишние деньги мне не помешают.

— Молодчина,— выдохнул Кейн.— Только вот что: я не хочу, чтобы вы или кто-то другой это неправильно истолковали.

— В каком смысле? — невинно переспросил Марк.

Кейн лихорадочно подыскивал ответ. Он улыбнулся, но улыбка получилась какая-то бледная.

— Ну, знаете... всякие идиотские предположения... Элдридж захочет докопаться до причин. Лучше всего просто сказать ему, что вы передумали... заняты на работе...

— А если он выставит кого-нибудь другого?

Кейн выдержал взгляд его спокойных темных глаз.

— Остается только надеяться, что не выставит.

Селектор щелкнул и ожил.

— Мистер Кейн? — спросил неузнаваемый жестяной голос.

Кейн повернул переключатель.

— Да?

— К вам два джентльмена.

— Я никому не назначал на утро,— нахмурился Кейн.— Это не коммивояжеры?

— Нет, это мистер Легг и...— Пауза.— И мистер Тренчард от Смитсона.

Кейн подскочил и нахмурился еще больше.

— Через две минуты,— отрывисто бросил он и встал. Марк последовал его примеру. Кейн снова был возбужден, шумлив и встревожен.

— Ладно, дружище,— сказал он, протягивая руку.— Мы поняли друг друга, верно? Я сегодня же отдам распоряжение. В понедельник можете приступать.

Они обменялись рукопожатиями.

— Спасибо, мистер Кейн,— сказал Марк на пороге.

— Очень приятно... очень приятно,— ответил Кейн, думая о другом. Он закрыл дверь и забарабанил по ней пальцами.— О господи,— прошептал он. В разговоре с Уиттоном он сместил кое-какие акценты... и довольно существенные. Ведь разрешение на расширение уиттоновского склада будет получено еще не завтра. Легг заверил его, что ждать осталось недолго. Но так ли это? Кейн точно знал, зачем Тренчард пришел к нему. И знал, что с деловой точки зрения смешно даже сравнивать этот дурацкий склад с супермаркетом. Мелькнула беспокойная мысль: «Да, с таким искушением трудно бороться!» Он медленно потер живот — в том месте, где болело.

В главной конторе Хилсона внезапно воцарилась странная тишина; звуки голосов разом смолкли, зато громче защелкал арифмометр, застрекотала пишущая машинка, завыла пила за окном, все движения вдруг приобрели четкость и автоматизм, а продуктивность труда подскочила на недосягаемую высоту. Роберт Хилсон, мрачный и бледный, решительно прошагал к своей берлоге и громко захлопнул за собой дверь. Эгберт Элдридж поднял голову и улыбнулся. Когда он, ковыляя, вошел в контору и опасливо посмотрел на остекленное святилище, Хилсона там не было, а огромные покрытые опилками плоские часы показывали двадцать минут десятого. Элдридж с облегчением вздохнул. По дороге к рабочему месту он успел сказать «доброе утро» Сагдену, молча поклониться прыщавой машинистке и даже почувствовать некоторое возбуждение при виде ее форм. Жизнь снова была прекрасна.

Он взглянул на Хилсона через стекло. Тот стоял за столом, опустив голову, и тер подбородок. Потом устало провел рукой по волосам, плюхнулся на стул и сжал кулаками виски. «Еще рано,— подумал Элдридж.— Пусть успокоится, стряхнет сон». На столе появилась «Файнэншл таймс», быстро замелькали страницы. Потом газета исчезла, Хилсон встал и распахнул дверь.

— Руби,— рявкнул он.— Я опоздал к кофе?

— Да, мистер Хилсон,— пропищала Руби.

— Сделайте мне чашечку. Или даже две.

— Хорошо, мистер Хилсон.

Он оглядел контору и дернул головой. Элдридж расплылся в улыбке, отодвинул свой стул и прошептал:

— Он уже слышал.

Хилсон вернулся к столу. Голова гудела от безумных антиуиттоновских планов и идей. Среди них обнаружилась одна вполне осуществимая, и он тут же решил воплотить ее в жизнь. Между Уиттоном и Элдриджем любви нет, это ясно. Уиттон, как

председатель школьного совета, громче всех осуждал зарвавшегося директора. И здесь-то раздавленный и исходящий злобой Хилсон увидел способ нанести ощутимый удар, а самому остаться вне подозрений.

Вошел сияющий Элдридж.

— Доброе утро!

Хилсон, не отвечая, указал на стул.

— Что вы знаете о «Барко»? — спросил он.

Элдридж заморгал.

— Ну, что там происходит? Вы же в совете должны все знать.

— Но это секрет,— проблеял Элдридж.

Хилсон саркастически улыбнулся.

— Неважно, выкладывайте.

Лицо Элдриджа выразило муку.

— Решения пока нет,— объявил он.— Их планы еще не рассматривались.

— Уиттон говорит, что они и не будут рассматриваться. У него есть сведения, что эта земля пойдет под его склад.

— Он опережает события. Мы еще не решили. Да Уиттон и не представил законченного проекта.

Руби принесла кофе. Хилсон взял у нее чашечку и шумно отхлебнул.

— Послушайте, Элдридж,— сказал он зловещим шепотом.— Если «Барко» не получит добро, мы вылетим в трубу. Это для вас что-нибудь значит?

Элдридж широко раскрыл глаза.

— Черт возьми,— прошептал он.— Мэр не может жить на пособие по безработице.

— Какой мэр?

— Дело в том... я как раз хотел занять несколько минут вашего времени... чтобы сообщить...

— Что сообщить? — перебил Хилсон.

— Я удостоен чести быть выдвинутым на пост мэра нашего города.

Хилсон равнодушно взглянул на Элдриджа.

— Ну и что?

Элдридж был уязвлен.

— Это огромная честь.

— Да-да,— ядовито сказал Хилсон.— Ближе к делу.

— Ну так вот...— осторожно продолжал Элдридж.— Я надеюсь, вы позволите мне уходить, когда нужно... для выполнения моих гражданских обязанностей. Я подам в отставку с поста местного лидера партии, чтобы возглавить муниципалитет.

Хилсон сморщил нос, как от скверного запаха.

— Уходить когда нужно?! Еще чаще?— завизжал он.— Боже милостивый, неужели вас недостаточно часто отпускают на ваши муниципальные сражения? Я вызвал вас, потому что все летит к чертям. Это...— Он резко остановился. Нагнулся вперед, и глаза его неожиданно ожили.— Элдридж, любой ценой я должен получить контракт на «Барко», и вы должны помочь мне, иначе через полгода нас сровняют с землей, а землю вспашут, ясно?

Элдридж кивнул.

— Ничего вам не ясно. Объясняю. Эта земля нужна Уиттону. Вам он не друг и мне тоже. Если мы щелкнем его по носу, нам, во-первых, будет приятно, а во-вторых, у нас появятся шансы на огромные заказы. И вы, сокровище мое, должны сделать так, чтобы разрешение получил «Барко».

— Но как это сделать? — взвыл Элдридж.

— Используйте свое влияние. Вы оратор, вы мэр... а разве мэр не заседает во всех комиссиях?

— Да, но...

— Никаких «но», Элдридж,— серьезно и твердо сказал Хилсон.— Сделайте это и можете располагать моим временем, как своим собственным.

Эгберт Элдридж ехал домой в прекрасном расположении духа. Вот это удача! Разговор с Хилсоном получился не совсем такой, как он ожидал, но на результате это, слава богу, не отразилось. Ну, Элдридж, молодчина! Разыграл все как по нотам!

Уиттон не расширит свой склад — во всяком случае не за счет НУУПа. Если Элдридж добьется своего, там будет построен супермаркет «Барко». Несмотря на Уиттона и внушительные налоги, которые он платит в коммунальную казну, несмотря на возражения Сибли, главного специалиста по планированию, и некоторых членов комиссии. Они станут на его точку зрения. У них нет другого выхода. Был темный январский вечер; Элдридж медленно шел к парадной двери и мечтал о теплой Испании, синем Средиземном море, о коктейле «Куба либре» и о красотках в бикини, которыми можно украдкой любоваться сквозь темные очки. Вместе с «Барко» придет время беззаботного отдыха вдали от Грэнтона, от тяжелой и нудной работы. И все благодаря Александру Смитсону.

4

Нервы у Марка Белфорда были на пределе: из-за любого пустяка он начинал злиться. Сперва мысль о том, как он всех провел, приятно возбуждала и веселила. Его подлинные намерения оставались тайной, и он самодовольно поглядывал вокруг, с удовольствием ощущая свою власть над Лонгменом, Кейном и Леггом. Это были известные в городе люди, состоятельные и с положением. Его квартирный хозяин, его работодатель и многократно избиравшийся член муниципалитета. Этих непохожих людей объединяло одно: они добились в жизни успеха, от них исходило обаяние власти в различных ее проявлениях. Они были президентами, руководителями, почетными членами того, этого и всего остального и составляли союз избранных, а иначе говоря — Союз денег, титулов и общих интересов. Те, кто победнее, в этот союз не попадали: срабатывал естественный отбор, и каждый знал свое место. Марк Белфорд никогда и не мечтал стать одним из них, но сейчас вдруг возомнил, что он тоже где-то там, рядом. Не в качестве признанного члена, а скажем, доверенного лица, имя которого все знают. Это тревожило его. Тревожило, когда он стал заведующим секцией у Кейна. Тревожило, когда возле дома появились рабочие и начали чинить крышу и укреплять кирпичную кладку. Игра велась всерьез, и мысль о последствиях нарушения договора с этими людьми не давала Марку покоя.

Прошло десять дней с тех пор, как Матти Добсон предложил ему баллотироваться, а Марк так и не дал определенного ответа. Еве он ничего не говорил. Она считала его продвижение по службе вполне естественным, да и дом следовало отремонтировать уже давно. Лонгмен вел себя как обычно: появлялся в пятницу вечером, веселый и дружелюбный, и дети тут же просыпались от его голоса. Он получал арендную плату, расспрашивал о ремонте и, довольный, с пронзительным смехом уходил. Марку же совсем не хотелось смеяться. Воскресным утром он сидел в гостиной и мрачно смотрел, как Матти катается по полу, отражая нападение ребятишек. Мысленно он видел перед собой то рассерженного Кейна, то мстительного Лонгмена и никак не мог принять окончательного решения. Хорошо бы сказать «нет» и поставить точку; сказать, что ему теперь некогда, что новая должность отнимает все силы. С такими вескими доводами Матти пришлось бы посчитаться. Но упрямство — или то, что от него осталось,— и презрение к людям, по мнению которых Марка можно купить, удерживали его.

Вдруг он решительно выпрямился — должен же быть конец этим мучениям!

— Матти,— сказал он или скорее спросил.

— Чего?

— Скажи, от Уоллеса Легга действительно нет никакого проку? С виду он просто хитрый старый дурак, а на самом деле?

Матти фыркнул.

— Он вообще уже ни черта не соображает.— Тут близнецы снова бросились в атаку.— Старая перечница, больше ничего.

— А почему для Лонгмена и Кейна так важно, чтобы он остался в совете?

Матти замер. Потом кряхтя поднялся на колени и посмотрел на Марка — серьезно, озадаченно и настороженно. Он по инерции работал ручищами, держа детей на расстоянии. Но выражение лица постепенно менялось. Обвислые сморщенные губы растянулись в неловкую улыбку.

— С чего ты взял, что им это важно?

Вопрос прозвучал неестественно сухо, словно Матти боялся услышать ответ.

Марк опустил голову и провел рукой по волосам.

— Они сами мне сказали.

Матти встал.

— Прямо так и сказали?

— Они думают, что я буду баллотироваться против него.

— Ты им об этом говорил?

— Они предполагают... до них дошли слухи.

По тону разговора дети поняли, что игра окончена, и перешли к другим развлечениям.

Матти сел, закурил сигарету. Потом, словно неожиданно о чем-то догадавшись, ответил:

— Они боятся, Марк. Они знают, что ты можешь положить Легга на обе лопатки.

— Но почему, Матти? Почему это для них так важно? Подумаешь, одним местом в совете больше или меньше! Неужели Легг такая важная фигура?

Матти, почти не разжимая губ, выпустил облако дыма.

— Что они предложили тебе? — спросил он.

— Продвижение по службе и ремонт дома,— процедил Марк.

Матти шумно выдохнул, защелкал языком — сначала быстро, раздраженно, потом медленнее, как бы с жалостью — и наконец еле слышно произнес:

— Господи, сынок, ты продешевил... Не выйдет из тебя делового человека.

— Но я же хотел баллотироваться... честное слово, Матти. Я решил баллотироваться в тот вечер, когда ты мне предложил. Просто чтобы доказать им... чтоб они увидели, что меня нельзя купить. Но они времени не теряют. Я опомниться не успел, как был уже заведующим секцией у Кейна, а команда Лонгмена барабанила по крыше. А потом...— Он безнадежно махнул рукой.— Потом я, наверно, струсил.

— Элдриджу расскажешь?

Марк решительно покачал головой.

— Нет... Не хочу неприятностей. Элдриджу незачем знать.

Матти кивнул.

— Напугали они тебя, сынок.

— Да. То есть нет, не напугали. Встревожили. Чувствую себя так, словно иду ощупью в темноте.

— Напугали,— повторил Матти.

Марк подумал и горестно кивнул.

— Ева знает?

— Я ей ничего не говорил.

Матти наклонился вперед, провел огромной коротконалой ручищей по усталому лицу.

— Марк, послушай меня. Послушай своего дядю Матти. У них сейчас пуп дрожит от страха. Легг нужен им там, где он сидит, и на то есть важная причина... Да какая бы ни была, можешь не сомневаться, они на этом выиграют в тысячу раз больше, чем ты. Эти жулики отлично знают, что ты спихнешь их человека, и уже полные штаны наложили. Если ты не будешь баллотироваться, мы выставим кого-нибудь другого. Десять против одного, что они и его купят. Они тебя считают полным простофилей, а ты докажи им, что они ошибаются. Не сдавайся. Ткни их носом в их собственное дерьмо. Этот чертов город надо чистить изнутри. Послушаем, что скажет Элдридж. Ничего плохого ты не сделал, так что нечего тебе их бояться. Ты по-прежнему можешь баллотироваться, и Элдридж тебя поддержит, я знаю!

Марк хотел было усомниться, но тут отворилась дверь и вошла Ева с пылесосом и насадками. Она спрятала пылесосное хозяйство в шкафчик возле камина, шлепнула по руке Дэвида, который крутил ручку телевизора, потом повернулась к мужчинам и недовольно посмотрела на Марка.

— Что с тобой?

— Ничего,— быстро и весело ответил Марк.

— Кофе выпьем?

Марк встал.

— Я поставлю чайник.

— Что с ним такое, Матти? — тихо спросила она, кивнув вслед Марку.— Он всю неделю... какой-то странный...

— Все в порядке,— успокоил ее Матти.— Просто не привык к ответственности,

вот и нервничает. Сейчас у него такое время. В гору пошел наш Марк. Он отличный парень, Ева. Побольше бы таких в городе...

— Зачем?

Матти пожал плечами — как бы это поизящнее выразиться — и ответил:

— Для блага города.

Ева посмотрела на младшего сына, коснулась губами его волос.

— Скажи своему глупому старому дядьке, что твой папа нам самим нужен... не для блага города, а для нашего собственного.

Матти включился в игру и прошептал на ухо Дэвиду:

— Скажи маме, что он организовал детский клуб не только ради чужих детей, но и ради своих собственных.

— И ни один человек во всем городе ему даже спасибо не сказал,— парировала Ева.

— Кроме самих ребят.

— Ты уверен?

— Да ты посмотрела бы на них! Они же ходят за ним по пятам. Прямо молятся на него.

Ева усмехнулась.

— Он не святой, Матти.

Матти очень хотелось рассказать ей о муниципалитете. Ева сейчас в подходящем настроении, ее нетрудно будет уговорить... и все же он молчал. Но за эти несколько минут его желание увидеть Марка кандидатом от Уэндл-Уорда усилилось неимоверно. Тут было больше, куда больше, чем борьба за место в совете. Внезапно дело приобрело совсем новый смысл. Противник делает ставку на коррупцию — это носится в воздухе,— а теперь его планам можно положить конец. При мысли об этом у Матти зачесались руки.

— Я хочу увести его на полчасика, Ева.

Ева нахмурилась.

— Кого?

— Марка.

— Куда это?

— Сходим выпьем. Ладно? Вернемся к обеду.

Появился Марк с тремя чашками кофе на подносе. Матти подмигнул ему.

— Вот уговариваю Еву отпустить нас в бар.

Марк поставил поднос и нерешительно сказал:

— Мне что-то не хочется, Матти...

Матти подул на кофе.

— Ну, по кружечке, а. Ева? Надо же обмыть новое назначение.

Ева бросила взгляд на мужа. Он стоял с отсутствующим видом и только просительно пожал плечами.

— Идите развлекайтесь,— сказала она.— Обед будет через час, если вас это интересует.— Она взяла Дэвида на руки и пошла с ним на кухню.

— Пропустим по кружечке — и все,— повторил Матти.— Мы недолго, честное слово.

Марк пошел за ней.

— Я останусь, Ева. Мне совершенно никуда не хочется. Помогу тебе с ребятишками.

Она открыла дверцу духовки и заглянула внутрь. Потом сказала спокойно и ровно, но чувствовалось, что она еле сдерживается:

— Нет уж, иди, ступай. Мы сами управимся, Марк. Всегда управлялись и сегодня управимся.

Стояло холодное ненастное утро. Небо было обложено серыми клубящимися облаками, и темный дым, валивший из труб, сразу исчезал в этом кипении. Грэнтон, как положено в воскресенье, бездельничал.

Марк и Матти шли вдоль Леннинговской свалки. Матти остановился, пережидая порыв ледяного ветра, поглубже засунул руки в карманы штанов. От ветра глаза его слезились и болели.

— Расскажи ему, Марк... расскажи ему! — Это был и приказ, и просьба, и отчаянная попытка убедить.— Элдридж не дурак. За ним ты будешь как за камен-

ной стеной. Я ведь тебе никогда плохого не советовал... Сейчас он накачивается пивом в клубе. Покажи Лонгмену и прочей сволочи, что ты сам себе хозяин и под их дудку плясать не станешь.

Марк собрался с духом. Он понимал: это надо сделать. А чему быть, того не миновать. Матти ждал; от холода у него на носу и щеках проступили лиловые прожилки.

— Ну пошли, старый черт,— проворчал Марк и быстро зашагал к клубу.

Довольный Матти шумно вздохнул.

— Рассказать я ему расскажу, Матти, но больше ничего, имей в виду. Это еще не означает, что я выставляю свою кандидатуру.

— Ладно, сынок, ладно,— фыркнул Матти, который отлично знал хитрость советника Элдриджа, Бога и будущего мэра города Грэнтона.

Концертный зал Грэнтонского общественного клуба был полон, все бурлило и гудело, но вот на сцене появились два человека, и сразу стало тихо. Горбатый органист, не доиграв «О, что за утро», поспешно спустился по ступенькам к своему месту за столиком. Все взоры обратились к вновь прибывшим, которые уселись перед доской, исчерченной цифрами, и придвинули к себе микрофон. Из-за занавеса достали небольшой синий мешочек и добросовестно встряхнули. Зрители, захваченные этим зрелищем, облизывали губы и доставали карандаши. Один из ведущих властно возвестил со сцены:

— Доброе утро, джентльмены. Для начала сегодня предлагается два фунта за каждый ряд и пятнадцать фунтов за полную карточку.

Послышался одобрительный шепот, все сделали напоследок еще по глотку и перенеслись в мир, где существовали только цифры...

Матти толкнул двустворчатую дверь концертного зала и обвел взглядом море отрешенных лиц.

— Бога не видели? — шепотом спросил он кого-то рядом.

Тот, не отрывая глаз от карточки, покачал головой.

Матти еще раз бегло оглядел зал и повернул обратно.

— Его тут нет,— пробормотал он.— Поищем в баре.

Эгберт Элдридж сидел в углу, полускрытый высокой спинкой зеленого обитого ледерином дивана. Кроме него там было два-три пенсионера, игравших в домино, да еще несколько человек, которые забрели сюда в поисках тихого местечка, где можно спокойно выпить пива и почитать газеты. Издалека доносился монотонный голос, выкликавший: «Шесть и пять — шестьдесят пять. Две толстушки — восемьдесят восемь...» Но Элдридж ничего не слышал. Заголовок на четвертой странице «Ньюс оф уорлд» гласил: «Советница муниципалитета и управляющий парками и кладбищами снялись в порнофильме», а ниже более мелким шрифтом: «Мэр отказывается от комментариев до просмотра фильма». Элдридж читал жадно, впиваясь в каждое слово. Но фамилии ничего ему не говорили — это был какой-то неизвестный южный городишко.

— Вот он!

Элдридж одним движением сложил газету и поднял взгляд.

— А-а, Матти... это ты,— сказал он, притворяясь обрадованным.— Садись, старина, я принесу тебе пива.

Матти ликовал.

— Я сам принесу, Берт. А это Марк Белфорд.

Элдридж не без труда встал и протянул руку.

— Марк Белфорд,— повторил он.— Конечно, конечно... теперь я тебя вспомнил.

А Марк никогда не забывал Элдриджа. Он время от времени видел его издали в городе, но после окончания школы ни разу не сталкивался с ним лицом к лицу. Элдридж постарел и поседел, щеки обвисли, но безгубый рот, властный и жестокий, был таким же, как в те времена, когда у каждого ученика, имевшего несчастье попасться на глаза директору, душа уходила в пятки. Только теперь — как странно! — Марк, пожимая ему руку, смотрел на него сверху вниз. Рука оказалась маленькой, слабой и гладкой. Прежде все в этом человеке говорило о неуязвимости и превосходстве. Но деспот исчез, остался простой смертный с перхотью на плечах и следами засохшей пены для бритья под мочкой уха.

— Садитесь же, садитесь,— пригласил Элдридж.— Мне горького, Матти.

Матти нагнулся к нему.

— Марк хочет вам кое-что рассказать.

— Да?! — с деланным удивлением воскликнул Элдридж.— Впрочем, я и сам знаю: у нас в муниципалитете намечается пополнение. Отлично, Марк. Люблю, когда мои ученики делают успехи. В добрый путь.

— Вы сказали, что из меня ничего не выйдет, мистер Элдридж... помните тот день? — Марк говорил негромко, с улыбкой. Это было восхитительно — чувствовать свою власть над бывшим директором.

Элдридж заморгал и неловко заерзал.

— А, вот ты о чем,— пробормотал он и тоже выдавил из себя улыбку.— Это все слова... Только слова, Марк. Иногда нужно сказать что-нибудь, чтобы ученик встряхнулся и взглянул на себя критически... ради его же блага. Но теперь ты взрослый человек и, как я слышал, преуспеваешь. И готов присоединиться к нам в муниципалитете?

— Не знаю... не думаю,— сказал Марк. Тот день вдруг вспомнился ему во всех подробностях.

Элдридж нахмурился и посмотрел на Матти. Матти многозначительно подмигнул, потом потрепал Марка по плечу.

— Расскажи ему, как было дело, Марк. А я схожу за пивом.

Когда он вернулся, Марк и Элдридж сидели молча. Элдридж, глубоко задумавшись, царапал ногтем по подставке для пивной кружки.

— Ну что?

Элдридж поднял голову. Он был мрачен и сильно косил.

— Легту придется уйти,— бросил он.

— И Марк — тот, кто его сменит,— добавил Матти.

Элдридж повернулся к Марку и схватил его за руку.

— Ну конечно, Марк, это должен быть ты. Другого пути нет.

Марк шумно вздохнул и покачал головой.

— Неужели нет?

— Мы не можем идти на скандал,— заторопился Элдридж.— Нет-нет... на карту поставлено доброе имя города.— Он скорчил гримасу.— Начнется полицейское расследование и всякое такое. Нет, это нам ни к чему... теперь, когда мне предстоит занять пост мэра. Легт должен уйти... тихо и без осложнений.

— Но чего они добиваются?

От вопроса Марка будущий мэр съежился, поник и стал похож на проколотый воздушный шарик.

— Не знаю,— проскрипел он.— Могу только догадываться. Кейн и этот крикливый идиот Лонгмен что-то затеяли, и я намерен точно выяснить, что именно.

Марка где-то в глубине кольнул страх.

— Зачем мне неприятности? Я хочу просто забыть обо всей этой истории.

— Он беспокоится, Берт,— серьезно сказал Матти.— Его дом и работа...

— Дом и работа? — оживился Элдридж.— Но они ничего не смогут сделать... ровным счетом ничего. В мае я стану мэром. Присоединяйся к нам, отправь Легта на свалку, а уж я тебя не дам в обиду. Что Лонгмен может сделать — выставить тебя на улицу? Извините, сэр, у нас есть закон. И потом, неужели ты думаешь, что я допущу, чтобы член моего муниципалитета остался без крыши над головой? Макфадди, который ведает жилищными вопросами, нужно долго раскачивать, но иногда он творит чудеса. Если потребуется, я попрошу его сотворить одно маленькое чудо. А Кейн... Как он может тебя выгнать, если ты знаешь свое дело? Думаешь, профсоюз ему позволит? По-твоему, они будут стоять и смотреть, как тебя третируют? Как бы не так!

— Я знаю,— ответил Марк, глядя в пол,— но все равно устроить мне собачью жизнь они могут и непременно устроят.

По тону Марка чувствовалось, что он готов уступить.

— Перестань! Лонгмен и Кейн — да кто они такие? Неужели ты боишься выступить в защиту справедливости, которую они попирают?

И вдруг, точно не было этих двадцати лет, Марк снова оказался в школе, среди лакированного дерева, кремовой краски и окон, разделенных на мелкие прямоугольники. Он снова видел высокие потолки и лампы, висящие прямо и неподвижно на длинных-предлинных проводах, и ряды ободранных парт, залитых чернилами

и изрезанных. И надо всем снова возвышался Элдридж с его неоспоримым влиянием, нравственной чистотой и абсолютной властью.

— Нет, но...

— Послушай, Марк,— перебил Элдридж.— Баллотируйся по Уэндлу... выиграй это место в муниципалитете. Это будет твой первый успех. Ты человек молодой, деятельный. Тебя заботит благополучие города и его подрастающего поколения. Ты нужен нам в совете. Нужны твои молодые, свежие идеи, и поверь мне, ты там найдешь людей, которые умеют слушать и готовы действовать.

От восторга Марк забыл обо всех своих сомнениях.

— А как будет с этой землей НУУПа?

— А что такое? — осторожно спросил Элдридж.

— Уиттон хочет забрать ее под склад. Но этого нельзя допустить — она должна остаться спортивной площадкой.

— Вот тебе и поле для деятельности,— воскликнул Элдридж.— Этому можно помешать, если ты захочешь.

— Еще по одной?— предложил Матти.

— Разрешите мне,— сказал Марк и, взяв пустые кружки, побежал за пивом. Матти сел и закурил сигарету.

— Вы обработали его, Берт. Я не мог, а вам удалось.

— Еще не на сто процентов,— задумчиво кивнул Элдридж.

— Он будет баллотироваться, Берт. Он славный парень... прямой, честный. Он пойдет далеко, даже если мне придется всю дорогу подгонять его пинками.

— А как он относится к синякам?

— Когда-нибудь он меня за них еще поблагодарит. Знаете, я верю в предопределение, Берт... верю, что спас его не просто так, а ради чего-то. И уж я не помру, пока не увижу, что это такое.

— Во всяком случае пока не увидишь, как Легг выкатится прямым ходом в дом для престарелых. Твой парнишка должен баллотироваться, Матти.

— Что они затевают, Берт?

Элдридж фыркнул и презрительно улыбнулся.

— Я это знал давным-давно... по крайней мере подозревал. У Лонгмена есть земля на продажу... а Легг в комиссии по планированию.

— А Кейн?

— Кейн и Легг — закадычные друзья,— сказал Элдридж.— Кейн лижет задницу Уиттону. А Уиттону земля НУУПа нужна для его склада. Я проучу Уиттона,— пробормотал он злобно.— Не видать ему этой земли... никогда!

— Она останется спортивной площадкой?

— Трудно сказать,— ответил Элдридж.— Есть и другие предложения.

— То есть там будет построено что-то другое?

— Не исключено.

Матти разочарованно покачал головой.

— Марку это не понравится.

Элдридж приставил ладонь ко рту и наклонился к коллеге, наблюдая за продвижением Марка в очереди возле бара.

— Ну вот что, Матт, это твой человек,— сказал он строго и внушительно.— Ты сам его выдвинул. Теперь присматривай за ним. Контролируй, охлаждай его пыл. И не позволяй ему лезть в мои дела. Знаю я этих молодых-горячих. Их хлебом не корми, только дай мир переделать... Спасибо, сыт по горло. Один кудрявый чего стоит...

— Олбрайт?

— Да, он и еще кое-кто... думают, они самые умные и все на свете знают.

— Не беспокойтесь. Я за ним послежу,— заверил Матти.

— И вот еще что, Матти,— добавил Элдридж шепотом,— пусть держит язык за зубами насчет Кейна и Лонгмена. Слышишь, никаких скандалов, Матти. Никаких скандалов, пока я на посту мэра.

— Он будет молчать.

Но Элдридж уже не слушал. Он смотрел вдаль, занятый своими мыслями.

— До Лонгмена я еще доберусь,— вдруг проворчал он.— Как только Легга вышибут, я подвешу Лонгмена за одно место к часам на ратуше, вот увидишь.

Появился Марк с тремя пивными кружками, и Элдриджа словно подменили. Он сразу превратился в шумливого весельчака.

— Ну вот и чудесно! Надо же, какой счастливый день! Повезло нашему Грэнтону.— Элдридж сделал первый глоток.— Выпью и пойду. Дел выше головы.

Марк взглянул на часы.

— Нам тоже пора. У Евы скоро обед будет готов.

Элдридж схватил его за руку.

— У тебя сегодня важные новости. Расскажи о них своей женушке. Расскажешь?

Марк подумал, поглядел в кружку, потом на Матти и наконец кивнул.

— Отлично! — закричал Элдридж.

Выйдя из клуба, они распрощались. Элдридж обрушил на них заключительный шквал поздравлений и медленно, подергиваясь, заковылял по улице; искривленная левая нога волочилась за ним, словно какой-то нелепый придаток.

— Хороший человек! — вздохнул Матти.— Ну, дружище, теперь Бог тебя не оставит. А с ним тягаться никому не под силу.

— Почему ты называешь его Богом?— спросил Марк.— Будто уж он такой всеблагой и всемогущий.

— Всеблагой и всемогущий! — захохотал Матти.— Ты взгляни на его ногу, дружок.

— Ну и что?

— Его прозвали Богом, потому что его пути тоже неисповедимы.

Воскресный день шел на убыль. Давно уже закончился шестичасовой выпуск новостей, и настало то странное, вялое, умиротворенно-безликое время, когда все вокруг усыплено телевизионной дискуссией на религиозные темы; церкви, якобы переполненные до отказа, сотрясаются от песнопений, а духовенство сияет улыбками при мысли о численности своей незримой паствы и возносит хвалу чуду электронно-лучевой трубки. В это время седовласые бабули усаживаются поудобнее, доедают сандвичи с лососиной и выдаивают из чайника последнюю чашку чая. В это время моют посуду, купают детей, дочитывают газеты. Был мертвый час, неопределенный час, странное, нереальное время досуга и удивительной тишины, которой никакой шум не в силах нарушить.

В это воскресенье тишина белфордовского дома была необычно напряженной, тягостной, она заполняла комнату и окутывала даже детей своим тяжелым невидимым плащом. Двое старших играли перед огнем в воздушный бой, размахивая маленькими самолетиками. Маленький Дэвид сидел у Марка на коленях, вымытый и одетый в пижамку, и как зачарованный, не мигая смотрел на пляшущие языки пламени. При каждом толчке — отец пяткой отбивал ритм траурной мелодии — Дэвид радостно гукал. Ева сидела в стороне, у стола, прямая, с напряженным лицом, сердито позвякивая спицами. Однако роковое слово прозвучало не только что, как можно было подумать, а уже час назад, когда счастливый и благодарный Матти обнял и расцеловал их на прощание и ушел, оставив, по обыкновению, денег на сладости для детей. Пора, решил Марк. Он помог Еве убрать со стола, отнести чашки и тарелки на кухню. Войдя туда следом за ней, он быстро выключил свет и привлек ее к себе. На секунду она крепко прижалась к нему, но потом оттолкнула и тихо проворчала что-то, глянув поверх его плеча на детей, увлеченно игравших в гостиной.

— Ева,— сказал он нежно.

— Потом,— шепнула она.

— Нет... послушай,— продолжал он, усаживаясь на кухонную скамью. Ева начала мыть посуду.— Я хочу тебе что-то сказать.

— Потом,— повторила Ева и обольстительно улыбнулась.

— Ева, я сегодня видел Элдриджа...

— Этого гада? — перебила она.

— Нет, сейчас он вполне ничего,— заторопился Марк.— В мае он будет мэром.

— Ну наконец-то мы сможем спать спокойно,— съязвила Ева. Марк вытащил ее руки из воды и крепко сжал.

— Ева... я хочу сделать одну вещь и хочу, чтобы ты меня обняла, поцеловала и сказала «да».

Она озадаченно посмотрела на него — и вдруг вся засветилась от радости и снова прошептала:

— Потом.

Он сильнее сжал ее руки.

— Ну, Ева, послушай, пожалуйста. Элдридж хочет, чтобы я выставил свою кандидатуру в совет.

Улыбка медленно растаяла. Марк увидел унылое и разочарованное лицо, холодные глаза, почувствовал, как напряглись ее руки.

— Элдридж все знает, Эви. Знает, что у меня душа болит за городских ребятишек. Я нужен ему в совете.— Марк говорил торопливо, высоким, срывающимся от отчаяния голосом; он понимал, что попытка не удалась, но еще надеялся.— Это шанс сделать что-нибудь для них... Я могу сделать что-то стоящее, Эви, если только...

— Если только избавишься от жены и детей. Если только мы не будем путаться у тебя под ногами! — бросила она.

Марк рассердился — не столько из-за несогласия, сколько из-за этой злой и глупой реакции.

— Господи! — выдавил он сквозь зубы.— Кому-то должно же быть дело! Кто-то должен хоть что-то делать в этом дерьмовом городе.

— Да почему непременно ты?! — закричала Ева.— А своих дел у тебя нет? Или это просто еще один предлог, чтобы удирать из дому? Ты ведь нас не выносишь! Тебе неприятно, когда мы рядом! Мы для тебя обуза! Разве не так? — Она резко повернулась к нему.— Советник Белфорд и его закадычный друг советник Добсон. Айк и Майк, Лорел и Харди...

— Ну хватит! — отрезал Марк.— Хватит, я говорю! — От злости у него застучало в висках, зато прежних колебаний как не бывало.— Я выставляю свою кандидатуру в муниципалитет. Я принял решение. Нравится тебе или нет, а я буду баллотироваться.

— Не забудь забрать свою постель,— фыркнула Ева и направилась в гостиную, всем своим видом выражая презрение.

— Ну и пожалуйста! — закричал Марк ей вслед.

— И пусть этот идиот Лонгмен сожрет тебя с потрохами,— огрызнулась она.— Все вы одного поля ягода.

Они переругивались, пока Дэвид не заплакал; его не без труда успокоили, и воцарилось молчание, которое ни один из них не хотел прерывать. Дэвид зевнул и начал тереть глаза круглыми, похожими на мячики кулачками.

— Устал, малыш,— пробормотал Марк.

Ева бросила вязанье на стол.

— Пошли, Дэвид, пора баиньки.

Марк встал.

— Я уложу его.

— Стоит ли утруждать себя?

— Я сказал, что уложу его! — заорал Марк.

Ева пожала плечами и снова села.

— Ну, сынок, пошли отсюда.— Марк шагнул к двери.

— Мама! — запищал Дэвид, вытягивая ручки над его плечом.

— Видишь. Он хочет ко мне,— удовлетворенно сказала Ева.

— Мало ли чего он хочет, черт возьми!

Не обращая внимания на крики Дэвида, он почти взбежал с ним по лестнице. Скоро сын уже лежал в кроватке, посасывая пухлыми губами неизменную пустышку; глаза его слипались. Марк выключил свет и поставил ногу на ступеньку. Потом остановился. Он понимал, что сегодня отношения все равно не наладятся, и у него не было сил спуститься вниз. Он выругался и пошел в свою комнату.

Наутро лучше не стало. Ева подала ему завтрак с рассчитанной небрежностью, словно не слыша его праздной болтовни и подчеркивая нежелательность его присутствия преувеличенным вниманием к детям. Наконец Марк не выдержал. Ему хотелось крикнуть, что она победила, что он забудет о муниципалитете, об Элдридже, о Матти — забудет всех и вся. только бы она снова стала такой, как прежде. Но он не мог. Гордость была сильнее. Да ведь ничего не случилось, думал он Почему она так бесится? Что он такого ужасного собирается сделать? Всего лишь пожерт-

вовать частью свободного времени. Вот с этим-то она и не желала примириться. Но должно же быть в жизни что-то, кроме работы и воспитания детей. Надо иногда вспоминать и о том, что ты еще молод.

У двери лежало письмо. Даже не письмо, а просто сложенный листок дешевой линованной бумаги. Он поднял его и нахмурился. Адресовано ему, почерк крупный и неровный, почти детский. Марк быстро развернул листок, и в глазах у него потемнело. В желудке начались спазмы, а руки задрожали от ярости, куда более сильной, чем вчерашняя. Содержание письма было таким же детским, как и почерк автора, естественно, пожелавшего остаться неизвестным. В нем говорилось: «Ты получил повышение только потому, что ты подхалим и лижешь задницу начальству».

— Кто? — прошептал Марк чуть не в обмороке.

Он перебрал в памяти одного за другим своих коллег у Кейна и подумал: «Это шутка — они ведь известные любители розыгрышей». Но эту версию тут же пришлось отбросить. Они никогда бы не опустились до такой выходки, если бы речь не шла о чем-то несомненном. Значит, кто-то из чертежников действительно так думает.

— Ева! — крикнул он. Никто не ответил. Он скомкал бумажку и сунул ее в карман куртки.— Господи! — простонал он и рывком распахнул дверь.

С такой же силой он распахнул и дверь в кабинет Кейна. Кейн поднял голову и мрачно взглянул на него из-под опухших век, возмущенный этим вторжением без доклада.

— Я баллотируюсь,— выпалил Марк.— Вы поняли, мистер Кейн? Я баллотируюсь по Уэндл-Уорду против вашего старого друга Легга. Думайте что хотите. Можете меня уволить, можете перевести на прежнее место. А хотите — дайте мне швабру и разжалуйте в уборщики, но в любом случае я баллотируюсь против Легга!

Кейн не ответил. Глаза его потемнели, нижняя губа отвисла. Он медленно вынул сигарету изо рта. Марк снял руки со стола, глубоко, прерывисто вздохнул и вышел.

Войдя в контору Хилсона, Элдридж взглянул на часы, покрытые опилками. Длинная минутная стрелка, покачиваясь, в миллионный раз приближалась к цифре XII, а часовая застыла на IX. Сегодня он явился вовремя и чувствовал себя как никогда свежим и бодрым. Операция прошла успешно, и это придало ему еще большую, чем обычно, уверенность в себе; он обвел взглядом помещение от двери до часов и наконец посмотрел на стеклянную перегородку, за которой сидел Хилсон, уткнувшийся в газету в поисках полезного для дела заголовка, заметки, слова. Элдридж довольно улыбнулся. Он покажет, как ему было трудно, заставит Хилсона помучиться — просто так, из любви к искусству. Он будет заламывать руки, поведает о своих глубоких душевных терзаниях и поклянется в верности компании, после чего объявит, что заявка на проектирование супермаркета «Барко» принята. А одно это нанесет Артуру Уиттону сокрушительный удар ниже пояса. Теперь дело за Хилсоном. Вот они, заказы — можно приступать к работе.

Элдридж еще раз взглянул на часы. Уже десять. Он подумал о Марке Белфорде и снова улыбнулся, выражая самому себе полное одобрение. Интересно, пришло ли письмо? Скорее всего, пришло. Во всяком случае, он успел к отправке почты. Наверно, сейчас Марк уже у Кейна. Два удара Уоллесу Леггу ниже пояса. Кажется, нашего полку в муниципалитете прибыло.

5

В один из мартовских вторников, в семь пятнадцать вечера, Эгберт Элдридж, председатель комиссии по планированию и развитию Грэнтонского муниципального совета, с силой опустил молоток на длинный дубовый председательский стол, властно призывая собравшихся к порядку. Все сразу же замолчали. Джеральд Сибли, главный специалист по планированию, тощий, лысоватый, похожий на гробовщика, испуганно вскочил и моргая устремил взгляд туда, где, подняв молоток, сидел Элдридж, готовый повторить сигнал, если кто-то посмеет его ослушаться. Бертон Пратт, начальник технического управления, изумленно раскрыл рот и скорчил болезненную гримасу. Сэмюел Планкетт, начальник административного управления, уронил сигарету и, поднимая ее, ударился головой о край стола. Наконец все успокоились и приготовились слушать; Элдридж повернулся к чиновникам, сидевшим

справа и слева от него, затем к двадцати с лишним советникам, расположившимся полукругом перед ним. Секунду он рассматривал эту разношерстную компанию. То, что он увидел, ему не понравилось. Рок Олбрайт, худой как щепка молодой человек с впалыми щеками и водянистыми глазами, нисколько не похожий на киноидола, в честь которого его назвала спятившая от любви мамаша, терпеливо ждал подходящего момента, чтобы вылезти с очередной эрзац-троцкистской идейкой. На нем была выцветшая джинсовая куртка и дырявый пуловер, а на шее висел большой бронзовый крест грубой работы. Элдридж мрачно оглядел Олбрайта, затем перевел взгляд на рабочего газового завода Джейкоба Йенсона, который сидел в последнем ряду и жевал резинку. Затем на Томаса Дункана, который сегодня был одет вполне прилично.

Внутри у Элдриджа все клокотало. «Ну, подождите, сукины дети,— подумал он.— Подождите недельку-другую-третью. Вы у меня чихнуть не посмеете без письменного разрешения». Презрение придало ему сил, и он еще раз, громче прежнего, ударил молотком по столу. Пусть знают. Все сели по команде «смирно». Уоллес Легг приложил ладонь к уху и изумленно отвесил челюсть.

Началась обычная предварительная возня, подсчет отсутствующих, потом утвердили и подписали протокол прошлого заседания. Бертон Пратт втянул свои круглые щечки и начал докладывать о плане улучшения дорог, который должен был пойти на утверждение в комиссию по планированию графства. Все заерзали. Голос Пратта продолжал гудеть. Советник Олбрайт встал. Пратт посмотрел на него с возмущением.

— Господин председатель! — выкрикнул Олбрайт.

— В чем дело? — раздраженно спросил Элдридж.

— Не могли бы вы попросить мистера Пратта говорить несколько громче и отчетливей?

— Зачем? Я хочу сказать — разве вам не слышно?

— Позвольте вас поздравить, господин председатель.

Озадаченный Элдридж вяло улыбнулся.

— Поздравить? С чем?

— С поразительно глубоким умозаключением.

Все затряслись от сдерживаемого смеха. Элдриджа перекосило, но он сказал только:

— Мистер Пратт, говорите, пожалуйста, чуть громче, чтобы острые на язык, но тугие на ухо члены комиссии тоже могли вас слышать.

Пратт забормотал, отыскивая место, где он остановился, после чего говорил еще минут десять. Наконец он поставил точку, и участники заседания с облегчением задвигались.

— Теперь,— объявил Элдридж после того, как комиссия единодушно рекомендовала представить план улучшения дорог на утверждение комиссии графства,— следующий пункт повестки дня: заявки на проектирование.

Он поднял глаза и увидел неожиданно оживившегося Легга. «Ах ты, хитрая сволочь,— подумал он улыбаясь,— ну погоди, сейчас получишь!»

Сибли тяжело встал. Это был высокий сутулый человек с несчастным лицом.

— Господин председатель,— начал он странным женоподобным голосом, сильно шепелявя,— помимо предложенного на ваше одобрение списка с моими рекомендациями обсуждению и рассмотрению подлежат в первую очередь два вопроса. Во-первых, план-заявка компании «Александр Смитсон энд компани лимитед», касающаяся ветхой и малоценной застройки по Линг-стрит, номера со второго по двадцатый. Как вы, вероятно, помните, эта заявка была подана в декабре и возвращена для доработки в ожидании решения совета относительно того, будет ли часть территории, как предполагалось первоначально, использована для сооружения предприятий торговли. Новый план предусматривает снос существующей застройки и строительство на ее месте восьми домов.

Элдридж почувствовал зуд во всем теле. Он взглянул на ерзающего Легга и подумал об осатаневшем от жадности Лонгмене, который сейчас в волнении ждет Легга с новостями. Но Элдридж все знал заранее. Дело, по-видимому, обстояло так: под угрозой потери своего человека Лонгмен заставил Смитсона внести план на повторное рассмотрение раньше, чем тот собирался,— пока Легг еще функционирует. Элдридж понимал, что действовать надо с умом. Огорчать Смитсона опасно, он человек мстительный. Но Лонгмен заплатит за подложенную мину — Элдридж обещал

себе это удовольствие, точно так же как Смитсон обещал Лонгмену за Линг-стрит цену, намного превышающую фактическую стоимость земли. Генри Лонгмена постигнет разочарование, и Уиттона тоже. Ребята Элдриджа сделают свое дело. Он был в этом уверен.

Олбрайт вскочил на ноги.

— Господин председатель, долг муниципалитета купить эту землю под муниципальные дома и не допустить, чтобы она попала в руки алчных капиталистов.

Элдридж сидел с каменным лицом.

Легг с трудом поднялся и невнятно выкрикнул:

— Чепуха!

— Вы о чем? — поинтересовался Элдридж.

Легг побагровел.

— Как же... почему же...

Встал Томас Дункан, заложив большие пальцы в карманы жилета. Дункан был фанатиком Дикого Запада. Все называли его Шейн[1]. Вне зала заседаний совета он при всяком удобном случае надевал полное ковбойское облачение. Однажды он и в муниципалитет явился в замшевой куртке с бахромой и в высоких сапогах, а в конце заседания выхватил пугач, очень похожий на настоящий кольт, и успел два раза пальнуть, прежде чем мисс Корби упала в обморок.

Элдридж насторожился. Что это у него там под курткой — не пистолет ли? Нет, слава богу, значит, он просто будет, как обычно, говорить на техасский манер, растягивая слова и выматывая всем нервы.

— Господин председатель,— начал Шейн,— эта самая улица... это же дрянь, а не улица, прямо-таки бельмо на глазу.

— Говорите нормальным языком,— возмутилась мисс Корби.— Нам здесь не нужен ваш колониальный жаргон.

— Прошу прощения, мэм,— с поклоном сказал Шейн.

— Чепуха! — снова крикнул Легг.

— Да замолчите же вы! — не выдержала мисс Корби.

Молоток с силой опустился.

— К порядку! — взревел Элдридж и ударил молотком. Мгновенно наступила тишина. Элдридж улыбнулся.— Итак, мистер Легг... вы говорили...

— Господин председатель, я не понимаю, почему заявка мистера Смитсона не может быть принята, если у мистера Сибли и мистера Пратта нет возражений. Как сказал советник... э-э... Дункан, Линг-стрит — бельмо на глазу. А предлагаемый план будет способствовать благоустройству этого района.

Встал Джейкоб Йенсон, и Элдридж вытянул шею, чтобы взглянуть на его ноги. «Герцог» Йенсон всегда носил высокие сапоги — «веллингтоны». Он ходил в них зимой и летом, на работу и на футбол, в бар и вообще всюду, в том числе и в муниципалитет, несмотря на замечания советника Флинна, нынешнего мэра. А сегодня он даже не потрудился переобуться в свои парадные сапоги — черные, чистые, те, что носил только по выходным. Он надел старые, потрепанные рабочие сапоги с четырехдюймовыми истертыми и грязными отворотами, на которых химическим карандашом была выведена его фамилия. Элдридж вздохнул и потер лоб кончиками пальцев.

Йенсон поглядел по сторонам.

— Понимает ли комиссия, что в муниципальных домах на Линг-стрит можно будет расселить втрое больше семей, чем там живет сейчас. Вы видели, какой у мистера Макфадди список очередников?

Элдридж почувствовал, что напряжение спадает. «Да, Герцог, старый оборванец,— подумал он,— ты пошел с козырей. Ты не забыл свою роль».

— А я согласна с советником Леггом,— сказала мисс Корби, раздраженно передергивая плечами.— Частное предпринимательство ничего не будет стоить налогоплательщикам и в то же время улучшит общее состояние территории.

— И сделает богачей еще богаче,— вставил Олбрайт.— Советник мисс Корби, по-видимому, забыла, что, возобладай позиция такого рода в годы ее младенчества, детство и отрочество уважаемой мисс Корби прошли бы в работном доме.

[1] Герой одноименных вестернов — повести Джека Шефера и фильма Джорджа Стивенса.

— Господин председатель,— отчеканила мисс Корби, гневно вращая глазами,— я требую, чтобы этот... этот выскочка немедленно извинился.

— Ну-ну, мисс Корби,— с мягким укором заметил Элдридж,— уверен, что советник Олбрайт не хотел вас обидеть.

— И кроме того,— добавила она капризно,— посмотрите, посмотрите: все курят. Мне казалось, что положение номер сорок три запрещает курение в зале заседаний. Все курят, а вы знаете, что у меня больные легкие, господин председатель.

— Джентльмены,— произнес Элдридж,— пожалуйста, потушите ваши сигареты... к вам это тоже относится, миссис Пинкни.

Послышалось сердитое ворчание присутствующих, и удовлетворенная мисс Корби самодовольно улыбнулась.

«Все идет нормально,— подумал Элдридж,— начало хорошее. Но надо действовать мягко, осторожно, чтобы Смитсон не мог заподозрить меня, когда заявка будет отклонена. Свалим на Олбрайта,— решил он.— На этого троцкистского горе-проповедника. На этого завсегдатая бинго-холла. На это чудо природы».

— Мистер Сибли, у вас нет возражений по этому плану? — спросил он.

— Он приемлем в случае включения в него предприятий торговли.

— Мистер Пратт. Готов ли доклад по торговым предприятиям на Линг-стрит?

— Он еще в стадии рассмотрения,— ответил Пратт.

— В таком случае,— произнес Элдридж,— есть смысл отложить этот вопрос и вернуться к нему, когда доклад будет представлен.

— А почему мы не можем рассмотреть один из планов Смитсона? — залопотал Легг.— Какой смысл в бесконечной болтовне?

Элдридж досадливо поморщился.

— Советник Легг,— сказал он.— Необходим вдумчивый подход. Вдумчивый подход и точное планирование. Это то, чего нам в прошлом явно недоставало. Итак, можем ли мы поставить на голосование вопрос об отсрочке?

— Предлагаю отсрочить,— сказал Олбрайт.

— Поддерживаю,— добавил Йенсон.

Сосчитали поднятые руки. Семнадцать — за, шесть — против.

Сибли перешел к следующему вопросу. Голос его зазвучал тверже, напряженнее.

— Господин председатель. От «Уиттон энджиниринг лимитед» и от «Барко лимитед» получены планы-заявки на застройку одной и той же территории площадью около четырех акров, именуемой Джефферсон-роуд-филд и принадлежащей ныне НУУПу. «Уиттон энджиниринг», как известно всем присутствующим,— солидная фирма, в которой работает около пяти процентов трудоспособного городского населения...

— Рекламную часть можно сократить, мистер Сибли,— оборвал его Элдридж.

Сибли откашлялся и бросил взгляд на председателя.

— «Уиттон энджиниринг» планирует расширить корпуса, примыкающие к названной территории, и построить склад для сырья... сырья, необходимого для бесперебойной работы фирмы...

— Дерьмо собачье!

Неизвестно, кто произнес эти слова, но они прозвучали вполне отчетливо, хотя и приглушенно. Мисс Корби громко и неодобрительно фыркнула. Элдридж впился взглядом в лица. Миссис Пинкни притворилась, что не слышала. «Это Герцог,— решил Элдридж.— Немного поторопился, но в точку». Он мысленно улыбнулся.

— По второму плану на этой территории должен быть построен большой супермаркет,— продолжал Сибли, явно выведенный из равновесия.— Нами получено пятнадцать письменных возражений против супермаркета и ни одного возражения против склада, если не считать пожелания использовать вышеназванную территорию для устройства мест отдыха и развлечения.

Элдридж смерил его холодным взглядом.

— Каковы ваши рекомендации, мистер Сибли?

Вид у Сибли был встревоженный. Кадык ходил ходуном на тощей шее.

— Учитывая поступившие возражения, я и мистер Пратт рекомендуем принять план «Уиттон энджиниринг лимитед».

— А возражения против супермаркета — они достаточно обоснованны?

— Думаю, что да,— ответил Сибли нахмурившись.

Уоллес Легг тяжело поднялся с места.

— Господин председатель, у меня имеются копии писем пяти видных коммерсантов нашего города. Супермаркет не может не повредить их торговле.

— Мистер Сибли, все возражения исходят от городских торговцев? — спросил Элдридж.

Сибли кивнул.

— Так что это возражения чисто коммерческого характера.

Поколебавшись, Сибли снова кивнул.

— Супермаркет неизбежно приведет к снижению цен,— заявил Олбрайт.— Господин председатель, я считаю, что наша комиссия должна внимательнейшим образом изучить оба плана, прежде чем будет вынесено решение.

— Прекрасная мысль,— улыбнулся Элдридж.

Степенно поднялась миссис Пинкни, пожилая дама, тщетно пытавшаяся скрыть свой возраст густым слоем косметики и множеством драгоценностей.

— Господин председатель,— начала она протяжно-сипловатым голосом, от звуков которого мужчины, как ей представлялось, должны были приходить в полнейший экстаз,— нам необходимо серьезно обсудить два момента. С одной стороны, мистер Уиттон не только является нанимателем значительной части рабочих нашего города, но и вносит в его казну большие суммы в качестве налогов...

Среди лейбористов началось перешептывание.

— Но,— с ударением продолжала миссис Пинкни,— с другой стороны, склад добавит не так уж много к этим налогам, в то время как супермаркет станет крупным источником дохода.

Олбрайт зааплодировал. Миссис Пинкни застенчиво улыбнулась ему и села на место.

«Ну давай, старая задница,— думал Элдридж, глядя на Легга.— Скажи что положено. Подними крик. Изрыгай проклятия, кричи, что это не по правилам, призывай кару небесную на голову великана, который хочет раздавить твоих маленьких друзей. Обнажи меч в защиту лавочников старой Англии! Ну, смелее! Господи, да не помер ли он? Очень уж побледнел, бедняжка. Нет-нет, он еще с нами. Ну давай! Кейну не терпится сообщить хозяину хорошую новость. Потряси толпу своим красноречием. Завоюй их сердца, заставь взглянуть на все твоими глазами, и глазами Кейна, и глазами Уиттона. Подумай о вознаграждении. Такие славные фунтовые бумажки. Наполни ими ванну и ныряй в них со шкафа». Он бросил взгляд на Сибли. Тот ждал, напряженный и встревоженный. Ему тоже нужна помощь Легга. Он мечтает добиться расположения Уиттона. Всю жизнь без него прожил, но теперь жаждет вкусить тех благ, которые это расположение может ему дать.

Встал Шейн-Дункан.

— Вот что, господин председатель, сэр,— затянул он,— эта идея насчет супермаркета выглядит очень заманчиво. Да ведь все женщины в городе пустятся в пляс от радости, когда узнают, что у нас тут откроется большущий красивый магазин, где можно купить все, что душе угодно...

— Не будете ли вы любезны изъясняться на общепринятом языке, мистер Дункан? — прошелестела мисс Корби.

Элдридж стукнул молотком.

— Если я вас правильно понял, советник Дункан, вы поддерживаете план «Барко»?

— Ясное дело, поддерживаю, шериф... то есть господин председатель,— кивнул Дункан.

Мисс Корби закрыла глаза, чтобы отключиться от этого кошмара.

— Мистер Сибли,— сказал Элдридж.— Мы выслушали мнения членов комиссии. Не можете ли вы теперь изложить нам свои возражения против плана «Барко»? Мне кажется, у супермаркета большие преимущества по сравнению со складом уже в силу его чисто внешних достоинств.

Сибли покраснел.

— Оба плана были внимательно и всесторонне изучены. Подъездные пути к супермаркету — если он будет там построен — не отвечают современным требованиям. Подвоз товаров затруднен, служебные помещения расположены далеко, и...

— И то же самое с уиттоновским складом,— перебил Герцог.— Городу не-об-хо-

дим магазин такого масштаба. Доступные цены, современное оформление и удобство при выборе покупок.

— Правильно, правильно! — поддержали почти все.

Сибли из красного быстро стал белым. Элдридж подавил смешок. Его ребята зарабатывают свои денежки. Он обещал каждому по пятерке. Пожалуй, можно дать и по шесть фунтов. Но что случилось с Леггом? Где его аргументы?

Легг медленно встал.

— Господин председатель... э-э...— Он говорил тихо, в горле у него клокотало.— Местной фирме «Уиттон энджиниринг» должно быть отдано предпочтение перед всеми остальными... разумеется, при условии, что ее план будет одобрен главным специалистом по планированию и другими специалистами совета.— Он тяжело сел, нащупывая свое место.

— Чепуха! — выкрикнул кто-то.— Город должен идти вперед, а не топтаться вокруг того, что уже есть.

Элдридж улыбнулся Ричарду Эрпу. «Хорошо сказано,— подумал он,— а для человека, не блещущего красноречием, просто отлично». Но ведь как-никак они вчера вечером целый час вместе репетировали! Элдридж снова взглянул на встревоженное лицо Легга. От него при всей его дряхлости можно было ожидать большего, гораздо большего. А сейчас это выглядит так, будто он желает проигрыша Уиттону, но в то же время не хочет открыто против него выступать.

— Итак? — рявкнул Элдридж.

Сибли вздрогнул.

— У вас есть другие возражения против плана «Барко»?

Сибли медленно покачал головой.

— Нет,— прохрипел он.— Но я глубоко убежден, что склад принес бы городу бóльшую пользу.

— Бóльшую пользу?!— воскликнул Элдридж, словно не веря своим ушам.— Бóльшую пользу? Какую? И чем? Жестью? Кусками проржавевшей стали? Старым железом и металлическим ломом? Простите, мистер Сибли, совет не сможет принять такие доводы. Наверняка у вас были другие основания.

— Другие основания? — слабым голосом переспросил Сибли.

— Да,— сказал Элдридж мягко, с затаенной угрозой.

Проголосовали. План «Барко» прошел большинством в пятнадцать голосов.

«Только бы не забыть,— подумал Элдридж, садясь на место,— ни в коем случае нельзя больше пить эту испанскую воду».

Марк Белфорд шагал рядом с Матти. Они хорошо поработали. С половины седьмого побывали во многих домах. За три часа многое было сказано, многое обещано и много рук пожато. В каждом из домов муниципального микрорайона Марк произносил свою речь, а Матти его поддерживал. Марк напоминал о предстоящих выборах, о том, что Грэнтон нуждается в обновлении. Он говорил о своей мечте построить спортивные сооружения и клубы для юных грэнтонцев. Наш город, говорил он, должен расти и процветать на зависть всей Северной Англии, должен не только развивать промышленность, но давать людям здоровье и радость, должен стать городом будущего, а не прошлого. В его голосе звучала убежденность, непоколебимая вера. Матти, наблюдавшего за ним, распирало от гордости.

— Ну как, Матти? — шепотом спросил Марк, когда они, выйдя из муниципального микрорайона, медленно поднимались на Уиллоу-хилл.

— А у тебя какое ощущение? — ответил Матти вопросом на вопрос.

Марк пожал плечами.

— Я думаю, они за меня. Но ты ведь уже сколько лет этим занимаешься, Матти. Ты их должен лучше понимать.

— Они проголосуют за тебя, Марк... если не поленятся выйти из дому.

— По-твоему, дело верное?

Матти фыркнул.

— Легту тебя не одолеть, сынок. Если в остальных муниципальных домах нас ждет такой же прием, то весь микрорайон наш. А потом туда — в Сады Мальборо.— Он махнул рукой в сторону расположившихся полумесяцем особняков.

— Думаешь, там тоже стоит попробовать?

— Почему бы и нет? Мы и к Уиттону зайдем. Он нас спустит с лестницы, а нам наплевать!

Марк засмеялся.

— Матти,— зашептал он.— Я не доживу до этих выборов. А нельзя их перенести на завтра?

— Терпи, терпи, парень. Эту победу еще надо заработать. Дел у нас вагон и маленькая тележка. В четверг мы с тобой опять пойдем по домам. Ты как, свободен?

— В четверг? — с сомнением переспросил Марк.

— Ах, да, у тебя же детский клуб, я совсем забыл.

— Нет, можно и в четверг,— заторопился Марк.— Я оставлю с ними Джимми Медоуза. Ему уже пятнадцать. Он вполне справится, а потом все закроет.

— Точно?

Марк кивнул.

— А Ева не будет против? — как бы между прочим спросил Матти, заранее зная ответ.

— Все в порядке, Матти,— ответил Марк без особой уверенности.— Она примирилась. Не скажу, что она счастлива... но примирилась с неизбежным.

— Ничего, все будет в норме,— сказал Матти твердо.— Привыкнет.

Марк остановился и пристально посмотрел на своего спутника.

— Она меня беспокоит, Матти. Она по-прежнему... ну... выдает мне сухаря.— Он плотно сжал губы, но тут же задохнулся от возмущения.— Господи, Матти, за что? Что я такого сделал? А? Ты мне можешь объяснить? Как будто я просаживаю в карты хозяйственные деньги или бегаю по бабам.

Матти засунул руки в карманы и поддал ногой камешек.

— Держись, сынок,— прошептал он.— Работай ради своего будущего. Это ведь и ее будущее, и ребятишек. Когда-нибудь она тебя поблагодарит.

Марк покачал головой и зашагал дальше.

— Ева,— тихо сказал он.— И Кейн...

— А Кейн что, уже действует?

Марк хмыкнул.

— Он хитрая сволочь. Ни слова не говорит. Но подстраивает так, чтобы не было сверхурочных. К тому же вот уже два месяца умудряется отыскивать какие-то блохи в каждом моем чертеже. Опасный тип. И времени зря не теряет. Но ведь и я не теряю. И он от этого дико заводится. А прицепиться ни к чему не может. Видел бы ты его рожу, когда мы с ним сталкиваемся!

— Может, тебе лучше уйти? — посоветовал Матти.

— Да никогда в жизни. Ты себе не представляешь, какое это удовольствие — сознавать, что он вынужден меня терпеть.

Послышался визг шин и рев мотора. Лучи фар ударили в небо и стали шарить, словно отыскивая дорогу. Показался автомобиль — серебристый «мерседес». Он вихрем пронесся мимо них, у подножия холма повернул к Садам Мальборо и поехал среди домов, освещая фарами прекрасную кирпичную кладку.

— Кейн,— сказал Марк.— Куда это он?

— К Уиттону,— проворчал Матти.

— К Уиттону?

Матти кивнул.

— Сегодня заседала комиссия по планированию. Поехал доложить о результатах.

— Это насчет земли НУУПа? — спросил Марк.

— Именно. Летт, конечно, уже сообщил ему страшную новость.

— И Кейн отправился к Уиттону поплакать в жилетку.

— Наверно,— сказал Матти.

— Знаешь, а я написал письмо,— признался Марк, немного помолчав.

— Ну и что толку?

— Было бы время, я бы организовал сбор подписей.

— Ну да, ну да,— скептически произнес Матти.

— Ты правда думаешь, что уиттоновскую заявку забодают?

Слова шли одно за другим — ясные, громкие, точные. Простые, бесхитростные слова, не отягощенные осторожностью, подозрительностью, практицизмом. Они зна-

чили то, что значили, и говорились не для того, чтобы скрывать, или искажать, или маскировать мысли, а напротив — чтобы выражать их.

— Думаю, да,— сказал Матти.

— Значит, будет тот супермаркет?

— Да. С таким магазином городу будет лучше. Придется уж тебе с этим примириться, Марк.

— Городу нужна эта площадка, Матти. Черт возьми, ведь Элдридж сказал, что у меня есть шансы отстоять ее.

— Он не ожидал, что заявки так быстро попадут к Сибли.

— А не могут отвергнуть оба плана?

— Нет, Марк,— покачал головой Матти.— Там будет супермаркет «Барко».

Матти трудно было узнать. Он говорил тихо, виновато, даже униженно, словно вдруг раскрылась какая-то великая и печальная тайна. Они молча шагали по дороге вдоль оседающей каменной стены, над которой возвышались старые ивы. Это был дальний конец огромного уиттоновского сада. Внизу, на подъездной аллее, протяжно заскрипел гравий под колесами «мерседеса». Фары погасли, потом хлопнула дверца.

— Легг, Кейн, Лонгмен и Уиттон,— проговорил Марк, когда дверь дома открылась и на автомобиль упал сноп света.— Они мерзавцы, Матти. Дерьмо собачье! Только и думают, как бы набить карманы, а там гори все ярким пламенем.

Матти не ответил. Он медленно кивнул в темноте и сжал плечо Марка.

— Я пробьюсь в этот чертов совет, Матти... сдохну, а пробьюсь!

Часы на буфете виновато тикали. Красные и подернутые сероватой золой угольки потрескивали на каминной решетке в гостиной. В соседнем доме кто-то чихнул— слабо, чуть слышно, точно за тысячу миль. Наверху спали дети. Внизу Ева устало смотрела в пустой экран телевизора. Из нижнего угла по диагонали тянулась дугообразная полоска сажи. Ева устала от шитья. Устала от молчания. Радиоприемник затрещал, голос диктора произнес полфразы, и батарейки окончательно выдохлись. Ева откинулась на спинку диванчика, скрестила ноги и прислушалась к тоскливой тишине, наполнявшей комнату. Она не мигая смотрела на огонь, вглядываясь в каждый тлеющий уголек. Руки и ноги отяжелели, ь ухо кто-то нашептывал «спать, спать», но пойти спать она не могла. Ей нужно было многое сказать мужу. Время тянулось медленно, потому что она следила за часами и подогревала в себе обиду на мужа, на себя, на весь мир. Сол и Люк подрались и разбили зеркало в ванной. В телевизоре что-то щелкнуло, сверкнуло, завоняло горелой пластмассой, и он испортился как раз в середине новой серии «Улицы коронации»[1]. И письмо. Она все еще держала его в руке, а конверт валялся на ковре.

Она услышала, как открылась входная дверь, и приготовилась. Но Марк улыбнулся так широко и доверчиво, что слова застряли у нее в горле. Она сидела с непроницаемым лицом, а чувства, переполнявшие ее,— и откуда только они взялись? словно из какого-то бездонного колодца! — властно искали выхода. Стена деланного равнодушия рухнула, и вся ее нежность и любовь вылились в потоке слез, накопившихся за эти горькие недели.

— В чем дело? — испуганно вскрикнул Марк.— Что-нибудь с детьми?

Ева медленно покачала головой. Он прижал ее к себе, чувствуя, как ее нежность передается ему.

— Ева,— прошептал он,— что случилось?

— Все,— всхлипнула она.

Он усадил ее. Отмахнулся от печальных новостей как от пустяка, пообещал новое зеркало. Телевизор надо заменить. Он хорошо им послужил с тех пор, как они сюда переехали. Они имеют право на новый, и он им вполне по карману. Марк говорил и тихонько посмеивался над ее глупым припадком меланхолии. Письмо — другое дело. Письмо от Генри Лонгмена. Предупреждение — в течение полугода освободить дом. Взамен Лонгмен предлагал им жилище на Касл-стрит, рядом со Скрогг-роуд. Там в домах на одну комнату больше, но кухни практически нет, только маленький коридорчик с выходом на заднее крыльцо. Дома на Касл-стрит были очень старые, покосившиеся, вросшие в землю от дряхлости.

— Я знаю этот дом,— сказала Ева нерешительно.— Там жил старик Арчи Гибсон.

[1] Популярный многосерийный телевизионный фильм о жизни нескольких семей с одной улицы в городке на севере Англии.

— Арчи Гибсон?

— Ну да. О нем писали в «Газетт», помнишь?

Марк вдруг вспомнил. Арчи Гибсон жил одиноко. Во время войны он сидел в тюрьме в Чанги на Сингапуре и вернулся оттуда тощий как скелет, с безумными глазами. Лонгмен приезжал к нему за арендной платой по пятницам. Три недели подряд никто не открывал. Лонгмен вызвал полицию, и они взломали дверь. Арчи Гибсон висел там уже недели две, а то и больше. Шесть кошек, ошалевших от голода, обглодали ему ноги. На обшарпанном столе лежала фотография императора Хирохито, склонившегося в поклоне перед королевой. Голову императора Арчи пригвоздил к столу перочинным ножом. Все комнаты провоняли человеческими и кошачьими экскрементами. Дом был в таком состоянии уже много лет, и Лонгмен знал об этом. Старик Арчи никогда не просил ни о каком ремонте, а сам Лонгмен, естественно, ему не предлагал. Плата за такой дом была для него чистой прибылью.

— Я не буду там жить,— заявила Ева с дрожью отвращения.— Не буду, пусть его хоть год скоблят.

Марк покачал головой и невесело улыбнулся.

— Я знал, что этим кончится. Еще когда Лонгмен перестал приходить. Все было видно по глазам его кретина племянника.

Ева снова поглядела на огонь, прижав к лицу кулачки с побелевшими суставами. Глаза стали пустыми и безжизненными.

— Почему, Марк? — прошептала она.— Почему так вдруг?

Марк шумно вздохнул.

— Потому что я баллотируюсь на выборах против его дружка. Он хочет, чтобы победил советник Легг.

— И за это он нас выгонит? — тоненько и недоверчиво переспросила она.

Марк кивнул.

— Они с Леггом большие друзья.

Ева заплакала без слез.

— Ева,— тихо сказал Марк.— Ничего страшного. Элдридж обещал нам муниципальный дом. Уже давно обещал. Мы не поедем на Касл-стрит. Может быть, нам дадут один из новых домов в Уэндле.

— Почему?

— Потому что я стану одним из его советников,— засмеялся Марк.

Ева повеселела, но не сразу, точно ей не хотелось расставаться с теперешним настроением. Она на скорую руку приготовила ужин из тушенки и помидоров, и они молча поели. Марк пошарил в буфете и вытащил бутылку бренди, оставшуюся с Нового года. Там еще было на донышке.

— В лечебных целях,— усмехнулся он.

Потом он выключил свет, и они снова сели на диванчик. В комнате было тепло; темно-красные вспышки прорезали сумрак.

— Знаешь, как я по тебе стосковался,— рискнул сказать Марк.

Она медленно повернулась. Он поцеловал ее, и она ответила.

Они любили, как подростки — бурно, торопливо и исступленно, словно вся их жизнь вместилась в это мгновение. Они вглядывались в лица друг друга, искаженные сладостной мукой.

Но потом, когда в их отяжелевших, остекленевших глазах тускло отразились малиновые отблески огня, Ева посмотрела на Марка и задумалась: что заставляет ее дарить ему такое наслаждение — действительно любовь или просто привычка.

Мартин Кейн говорил шепотом, стараясь изобразить на лице крайнюю степень огорчения. Уиттон не шевельнулся. Улыбка, с которой он ждал приятных вестей, медленно превратилась в гримасу затаенной, молчаливой ярости. Ноздри его раздулись, кровь, прилившая к лицу, отхлынула, и румянец сменился болезненной желтизной. С минуту они стояли в просторном холле уиттоновского дома и минуту смотрели друг на друга, точно сцепившись в безмолвной схватке среди кадок с пальмами. Входная дверь все еще была открыта. Пиф, старый пес кремовой масти, сидел возле хозяина и тихо повизгивал, виляя хвостом и тоскливо глядя в вечерний сад. Уиттон успокоил пса, ласково потрепал его по голове, не сводя немигающих глаз со страдальческого лица Кейна, и процедил:

— Ты же сказал, что она моя!

Кейн судорожно сглотнул. Взгляд Уиттона проникал сквозь маску озабоченности и вытягивал из-под нее правду — голую и неприкрашенную.

— Легг был уверен,— пискнул он.— Он не сомневался, что ты получишь ее,— Сибли же дал рекомендацию. Но Легг боролся... и Сибли тоже. Они были убеждены, что минимум пятнадцать человек из комиссии отвергнут супермаркет из-за ущерба, который он причинит местным торговцам... Но Элдридж...

Уиттон снял руку с головы пса, медленно сжал в кулак.

— Элдридж,— в ярости простонал он.— Эта гнида Элдридж!

Он наконец повернулся, и Кейн с облегчением закрыл входную дверь.

— Господи, Артур, ты себе не представляешь, как я расстроен,— затараторил Кейн, когда они вошли в комнату справа от холла. Ему вдруг стало страшно. До сих пор он еще не представлял себе последствий сегодняшнего заседания.— Мы сделали все. Сибли, Легг... Элдридж натаскал своих ребят, Легг в этом убежден.

Уиттон опустил голову и потер лоб большим и указательным пальцами.

— Как мне нужна эта земля, Мартин! — прошептал он.

— Я знаю... знаю, что нужна...— Кейн вначале заговорил слишком громко, но осекся, сжал зубы и закончил невнятно и неуверенно. Вот пытка. Он чувствовал, что безбожно наигрывает, но ничего не мог с собой сделать.

Уиттон налил обоим виски, держа стаканы на уровне глаз.

— Склад останется среди заводских корпусов. У меня был план перевести его туда и за счет этого расширить цеха холодной штамповки.— Слова падали размеренно, но в них звучала угроза.

— Артур,— сокрушенно сказал Кейн,— я знаю, что ты сейчас переживаешь. Если есть на свете человек, которому я хотел бы помочь, так это ты.

Уиттон повернулся и протянул ему стакан.

— А знаешь, почему я хотел расширить цеха холодной штамповки?

Кейн покачал головой.

— Нефть Северного моря, Мартин.

— Нефть Северного моря?

Уиттон кивнул.

— Примерно через год начнется размещение заказов на нефтедобывающие платформы. Огромные сооружения, Мартин, которые будут держаться на плаву. А на них — сборные узлы, насосы, сепараторы, жилые отсеки. Тут пахнет миллионами, слышишь, миллионами! У меня все уже было продумано. Здесь, в Грэнтоне, выпускать детали, а окончательная сборка — на голом клочке земли на берегу Тайна. Там и для тебя были бы заказы. Трубопроводы... высокого давления... низкого давления... — Он всплеснул руками.— Это миллионы, Мартин.

У Кейна засосало под ложечкой.

— Миллионы? — прошептал он.

— Я бы купил Элдриджа, но ты сказал, что земля и так моя.

Кейн сделал глоток виски и поперхнулся.

— Боже мой! — сказал он; теперь это не было притворством.

При первой же возможности он покинул особняк Уиттона и на обратном пути, давая выход ярости, непрерывно ругался. Визит к Уиттону был тяжкой необходимостью. Надо было убедить Уиттона, что они сделали все возможное. Он же обещал, что его друг Уоллес Легг возьмет это под свой контроль, так что после рекомендации Сибли все сведется к обычной формальности. Но это было до разговора с Александром Смитсоном. Это было до того, как Смитсон прислал своего коллегу Эрика Тренчарда расписать достоинства супермаркета и вручить список, из которого явствовало, сколько цемента, песка, медных труб, электрического провода и кирпича пойдет на такое сооружение. А склад — это же просто площадка, обнесенная забором. Но теперь он готов был реветь от ярости. Уиттоновский склад мог, оказывается, принести гораздо больше прибыли трубопроводному производству Кейна.

Проехав пятнадцать миль, он оказался в прибрежной деревушке к югу от Грэнтона и, все еще изрыгая проклятия, вышел из машины перед домом Александра Смитсона — большим, просторным бунгало, облицованным камберлендским голубым камнем. Он мог бы позвонить, сообщить новость по телефону и удовлетворенно выслушать счастливые восклицания. Но теперь все изменилось. Теперь ему надо было видеть Смитсона, чувствовать его руку на своем плече, пить его виски и жадно

слушать разговор о будущих заказах. Ему надо было заглушить боль от удара, нанесенного Уиттоном. Он нажал кнопку у двери, и в доме раздался тихий перезвон колокольчиков. Холл осветился. Кейн откашлялся и постарался придать лицу веселое выражение. Александр Смитсон открыл дверь. Это был высокий рыжеватый человек с гладким выпуклым лбом, свежим румянцем, жадными блестящими глазами и неизменной улыбкой на губах.

— Мартин! — воскликнул он.— Заходи.

Кейн улыбнулся.

— Она твоя,— сказал он, сопровождая эти слова театральным жестом, чтобы успех выглядел более значительным.— Мы победили, Алекс. Можешь сообщить «Барко» хорошие новости.

— Я знаю, Мартин,— радостно отозвался Смитсон, обнимая его за плечи и увлекая за собой по коридору.

— Знаешь? Откуда?

— Один твой приятель сказал. Он здесь. Пойдем, выпьешь с нами.

Они вошли в гостиную, мягко освещенную гроздью небольших лампочек, свисавших с потолка. Из двух огромных стереодинамиков тихо лились звуки сложного современного джаза. Кто-то поднялся с длинного низкого белого дивана.

— Привет, Мартин.

В голосе слышалась нервозность, но вместе с тем и торжество. На подбородке тень суточной щетины. Кожа смуглая. Но прежде чем Кейн привык к полумраку и смог разглядеть лицо, он узнал глаза Роберта Хилсона. Они сверкали безудержной радостью — глаза бешеного животного, подумалось ему. Еще один из своры Александра Смитсона.

6

Картины далекого детства. Неотвязные мучительные воспоминания — от них комок подступает к горлу. От усталости Марку было еще тяжелее; он то и дело глубоко вздыхал. Ощущение, которое он испытывал, медленно наполняя легкие и беззвучно выпуская воздух, было прекрасным и целительным. Оно словно снимало тяжелый камень с души. Но только на миг, а потом он снова напрягался, как натянутая струна. Он вышагивал по коридору начальной школы на Ригли-роуд, стараясь взбодриться, разогнать тоску и сомнения; анализировал, разбирал события дня, иногда выдавал желаемое за действительное — и тут нахлынули воспоминания. Его ноги ступали по тому самому паркету. Он слышал пронзительный учительский свисток. Вдыхал запах раскрошенного мела и духов старой мисс Роуэлл, доставшихся ей еще от бабушки. Проходил мимо классов, отделенных от коридора арками и стеклянными дверьми. Смотрел на стенды с наглядными пособиями — старым бурым броненосцем, треснувшим страусовым яйцом и пропыленным чучелом фазана, к которому годами не прикасалась рука человека, на таких же старых пришпиленных бабочек с поломанными, насквозь просвечивающими крылышками.

Он устало заглянул в один класс, в другой; на стенах — детские рисунки: яркие цветовые пятна на грубой пожелтевшей бумаге, знакомый острый запах восковых мелков. Конторка мисс Латтеруорт на прежнем месте. Настоящая диккенсовская конторка. За нею она правила классом и читала длинные-предлинные куски из «Доктора Дулитла» и «Барона Мюнхгаузена». Удивительные, далекие дни. Дни волнующих открытий. Все было впервые и все предвещало чудеса. Любопытство подталкивало навстречу новым приключениям, а настоящее незаметно становилось будущим. Марк грустно улыбнулся. Хорошие были деньки. Время, которого не вернуть. Все в мире было просто: долгое лето, потом холода, земля, укутанная непорочно-чистым, белым снегом. Еда — на столе. Одежда — на прилавке магазина. Как и почему все это происходит, неважно. Рождение — тайна. Смерть — удел стариков, если не считать Фредди Джексона и Томми Пайпера. Молодость длится вечно.

Дойдя до конца коридора, Марк снова вздохнул. Послышались шаги, и он повернулся в ожидании. День был долгий да и неделя тоже — все время в бешеной, непрерывной работе. И вот избирательные участки закрыты. Осталось подсчитать голоса и объявить результат. Напряжение спало, но облегчения он не чувствовал. Все мысли исчезли, кроме одной: сколько еще можно было сделать! Но поздно. Результата уже не изменишь. Погода стояла отличная, и избиратели валом валили к участку — обнадеживающий признак. Но где поставили они свой решающий кре-

стик? Ответ находился в избирательных урнах, которые принесут с минуты на минуту.

Звук шагов стал громче. Вошел Кейн, за ним Легг. На губах Кейна змеилась саркастическая, но вялая улыбка, в глазах застыло отчаяние. У Легга вид был поникший и измочаленный, а лицо бледное и озабоченное. Марк направился к ним. Этикет надо соблюдать несмотря ни на что. Состязание кандидатов велось на редкость корректно. Марк делал упор на необходимость перемен, а Легг говорил о своем опыте и о чрезмерной горячности, свойственной молодежи. Но Мартин Кейн был неутомим в своем коварстве и ледяной ярости и каждый день расставлял Марку новые капканы. Следил, чтобы у него не было ни минуты сверхурочной. Придирался к малейшей ошибке в его чертежах. Почему-то всегда именно Марка назначали на самую тяжелую работу по обмеру строительных площадок. За неделю до выборов его отправили на электростанцию проверить опоры трубопровода главного пароперегревателя. Он знал, с чем связана эта работа, и знал, почему ее поручили именно ему. Он провел больше четырех часов на огромном паровом котле на высоте сорока пяти метров над землей при семидесятиградусной температуре. Трубы там накаляются докрасна, так что горит даже асбестовая изоляция. В этих металлических джунглях все покрыто толстым слоем сажи — сухого, горячего углерода. Малейшее движение, вздох — и сажа, точно от взрыва, вихрем поднималась в пышущий жаром воздух, прилипала к потной коже, проникала под одежду. Обжигая, въедалась в глаза и легкие. Но он вернулся с ответами на все вопросы. Пусть знают. Пусть Кейн знает, что он выдержит все, как бы тот ни изощрялся.

Даже накануне выборов Марк получил распоряжение сопровождать главного чертежника на сталелитейный завод в Уэльсе. Там пришлось бы заночевать. Это означало, что в день выборов его в Грэнтоне не будет. Кейн знал, что этот день Марк взял за свой счет, и ничего не возразил, когда Марк отказался поехать.

Марк протянул сопернику руку.

— В таких случаях принято говорить: «И пусть победит достойнейший».

Легг медленно покачал головой. Потом поднял большую, веснушчатую пятерню и сжал руку Марка толстыми, горячими и липкими пальцами. Рот у него был полуоткрыт, верхняя губа пожелтела от никотина.

— Желаю удачи, Белфорд,— прошептал он.

Кейн широко улыбнулся.

— Да уж, она вам не помешает.

— Удача нужна тому, кто на себя не надеется,— ответил Марк.

— Я четверть века опекал Уэндл-Уорд,— вдруг сказал Легг, словно забыв, о чем шла речь.

— И будешь опекать еще не год и не два,— подхватил Кейн.

Марк спокойно и твердо встретил взгляд Кейна.

— Бравируете, мистер Кейн. Поглядите в зеркало. Правда написана у вас на лице.

Кейн насупился. В коридоре послышался шум. Два человека в сопровождении полицейского внесли урны.

— Вот где правда,— прошептал Легг.

Марк нервно глотнул. Скоро он все узнает. Появился Матти, и Марку сразу стало легче.

— Ну? — спросил Марк.

Матти стиснул ему руку.

— Что — «ну»?

— Как в Шоттоне?

Матти улыбнулся, показав кривые зубы.

— Участвовало шестьдесят три процента. Порядок! — Он посмотрел на столы.— Но сейчас главное — ты. Кажется, уже кончают. Сколько голосовало? Да тут всего-то тысяча двести.

— Мы заставили их голосовать, Матти,— сказал Марк.

— Но скольких?

Марк пожал плечами. Он не считал. Многого он не сделал. Хорошо бы Ева была тут, рядом, а не дома. Хорошо бы вызвать в ней хоть искру интереса. Хорошо бы Элдридж дал им дом, чтобы можно было показать фигу Лонгмену. Хорошо бы... да мало ли что еще было бы хорошо. Джеральд Сибли, уполномоченный по выбо-

рам, подозвал к себе Легга и Марка. Марк подошел, не сводя глаз с двух на вид совершенно одинаковых кучек избирательных бюллетеней. Сибли посмотрел на кандидатов торжественно, точно судья, выносящий смертный приговор.

— Джентльмены,— прошептал он.— Результаты голосования таковы. Подан восемьсот девяносто один голос. Семь бюллетеней признаны недействительными. Из оставшихся восьмисот восьмидесяти четырех вы, мистер Легг, получили двести девяносто один...

Легг что-то пробормотал и стал еще бледнее.

— Мистер Белфорд,— продолжал Сибли,— вы получили пятьсот девяносто три. Если нет возражений, я объявлю результаты официально.

Сердце у Марка чуть не выпрыгнуло из груди от радости. Легг повернулся и, шаркая, направился к Кейну.

Сибли огласил результаты. Раздались аплодисменты, кое-кто зашикал. Марк повернулся и вновь пожал Леггу руку.

— Поздравляю, Белфорд,— сказал тот бесцветным голосом.

Неожиданно появившийся Элдридж быстро захромал к сцене. Лицо его горело от возбуждения, глаз дико косил.

— Ты добился своего, малыш,— сказал он, обнимая Марка.— Славный мой мальчик... Получай же награду. Мы образуем комиссию по делам спорта и досуга. Ну, что скажешь?

— Вот это да! — воскликнул Марк.

— Это еще не все,— выкрикнул Элдридж.— Ты будешь ее первым председателем.

Матти стоял молча. Ему не нужно было ничего говорить. Его сияющее лицо и могучее объятие, в котором он стиснул Марка, было красноречивее всяких слов. Вдруг позади послышался глухой звук падения. Уоллес Легг лежал ничком на деревянном полу, над ним клубилось облачко пыли. Все бросились его поднимать, отталкивая друг друга. Лицо Легга было бледно, губы из синих стали лиловыми. Кейн пошлепал его по отвислым щекам, потом приложил ухо к груди и сказал со слезами в голосе:

— Боже мой! Он умер.

Марк отвернулся. Он не верил своим глазам. Значит, Лонгмен был прав. Он не лгал! Марк посмотрел на толпу любопытных, которая все прибывала. Люди неодобрительно гудели. Они осуждают его за смерть Легга. Но при чем тут он? Нет, нет! Не его они осуждают. Это Легг вызвал их неодобрение. Ну, конечно! Проигрывать надо достойно — другого они не приемлют.

— Взвивайся выше, красный флаг...

Новоиспеченный мэр Эгберт Элдридж шевелил губами, делая вид, что поет, и стараясь, чтобы никто не заметил, что он забыл все слова, кроме первой строчки. Он стоял в парадной комнате своего дома на Линнет-кресент, сжимая левой рукой короткие толстые пальцы жены. Религиозно-отрешенное выражение его лица призвано было говорить о том, что он, как и подобает человеку, занимающему столь высокий пост, относится к этой песне с подлинным благоговением. Это, однако, не мешало ему мысленно сочинять небольшой детективный сюжет, в котором жертвой выступал Рок Олбрайт, а убийцей — он сам.

Для начала решили устроить неофициальную вечеринку и вспрыснуть победу особо отличившихся кандидатов. Тех, кто в самоотверженной борьбе отвоевал места, как Марк Белфорд, и тех, кто прошел большим числом голосов, чем на предыдущих выборах, как Матти Добсон и Ричард Эрп. Среди приглашенных были также бывший мэр советник Флинн с женой и Сэмюел Планкетт, начальник административного управления, озабоченный дальнейшим развитием своих личных контактов и связей, которые так облегчают жизнь.

Вечер удался на славу... Исчезла всякая натянутость, растворившись в бурной, пьянящей радости победы. Элдридж не помнил себя от восторга, смеялся, шутил, всем говорил комплименты. Он был даже доволен, что узкий круг гостей оказался шире, чем предполагалось. Это был отличный, достойный финал, венчавший труд многих месяцев. Запасы виски поглощались с молниеносной быстротой, а после пятиминутного траура по умершему сопернику завязалась живая и остроумная беседа.

Тут-то и явился Олбрайт. Зазвонил дверной колокольчик, и пьяный Олбрайт и его жена, тощая ведьма с прямыми черными космами, красными глазами и мокрым красным носом, ввалились в холл, невнятно бормоча поздравления. Бог не успел и рта раскрыть, как Олбрайт уже отплясывал с изумленно колышущейся Магнолией Элдридж, а его жена криво и застенчиво улыбалась ошарашенной толпе гостей. Дурной пример оказался заразителен и вызвал новую вспышку веселья. Бокалы наполнялись вновь и вновь. Смех становился все громче.

Олбрайт вдруг поднял бокал и громко запел: «Народный стяг красней крови». На миг настала торжественная тишина. Неожиданно Эрп подхватил; его впалые щеки и бледные губы двигались как кузнечные меха. Присоединился Матти Добсон, а за ним и остальные. Допели до конца, повторили припев и только тогда замолчали. Элдридж облегченно вздохнул.

Внезапно в дверь позвонили, и Элдридж пошел открывать. На пороге стоял коренастый человек с непокрытой, немного скособоченной головой и круглым пухлым лицом. Длинные светлые волосы, обычно зачесанные назад и маскирующие лысину, растрепались от ветра и в беспорядке падали на воротник габардинового плаща.

— Фред! Какая неожиданность! — расплылся Элдридж.— Ты на дежурстве?

Инспектор сыскной полиции Маллери улыбнулся и сделал шаг в сторону. За ним стоял полицейский в форме.

— Тут Джим пришел тебя арестовать.

Внутри у Элдриджа что-то оборвалось, но прежде чем он успел по-настоящему испугаться, Маллери добродушно продолжал:

— На тебя поступила жалоба, Берт. Нарушаешь общественное спокойствие.

У Элдриджа отвисла челюсть.

— Я? Да никогда! — протянул он недоверчиво.— Неужели действительно жаловались?

Маллери указал пальцем через дорогу.

— Этот старый кретин Дакуорт из дома напротив. Он каждую неделю раза по три звонит в участок и сообщает о каком-нибудь мокром деле...

— Чтоб он сгорел,— проворчал Элдридж.— Но у нас-то ничего такого, все тихо-спокойно.

Маллери понимающе кивнул.

— Это ясно, но все-таки был официальный сигнал, и когда Джим сказал, куда он идет, я подумал: черт возьми, я, пожалуй, тоже схожу и поздравлю их с победой!

Элдридж просиял.

— Господи, что же это я! Заходите, заходите...

— Спасибо за приглашение, Берт,— сказал Маллери, входя.— Заходи, Джим,— добавил он, оглянувшись.— Пропустим по одной на долгую темную ночь.

Дверь парадной комнаты распахнулась, и Олбрайт с криком «Народный стяг красней крови» вышел, пошатываясь, в холл в обнимку со своей окосевшей женой. Он увидел полицейскую форму, и слова застряли у него в горле.

— Спокойной ночи,— улыбнулся им Элдридж.

Олбрайт серьезно посмотрел на вновь прибывших.

— Храни вас бог,— пробормотал он.

— И тебя, сынок,— ядовито отозвался Маллери.

Элдридж открыл входную дверь. Олбрайт задом двинулся к выходу.

— Храни бог всех нас! — пронзительно выкрикнул он.

Часов около двух Матти Добсон простился с Марком Белфордом на углу Линнет-кресент. За прошедший день они не присели и накричались до хрипоты, потом — три часа шума и болтовни у Элдриджа, и теперь, после всего этого, тишина раннего утра, нарушаемая только чуть слышным торопливым постукиванием колес поезда где-то за фабриками, казалась таинственной и жутковатой. Сначала оба удовлетворенно молчали. Марк едва держался на ногах. Глаза будто песком засыпало, голова кружилась от усталости и от выпитого у Элдриджа виски, однако неутомимая память снова и снова прокручивала недавние события. Он вспомнил Летта — безжизненную глыбу с посиневшими, сведенными судорогой губами и невидящими глазами, широко раскрытыми от удивления. Но всепоглощающая радость Элдриджа оказалась сильнее. Еще полчаса назад они стояли в лучшей комнате его дома и пили за здо-

ровье нового члена муниципалитета — Марка Белфорда. Это был сказочный вечер — сродни самой победе, которая переполняла сердце восторгом и дарила ощущение неизмеримой силы.

Марк первым прервал молчание:

— Если бы не ты, Матти, ничего бы этого не было.

Матти тусклым взглядом уставился на спутника из-под отяжелевших век. Пожалуй, он малость перебрал.

— Меня не за что благодарить, красавчик. Сегодня... сегодня вечером я поднял свой бокал, и...— Он принялся шарить в карманах, ища сигареты.— И я был горд, сынок. Другого слова нет. Но ведь ты еще не начал. А я хочу увидеть, как ты поднимешься на вершину.

Марк улыбнулся, покачал головой:

— Мне бы твою уверенность.

— Уверенность? А ты что, не уверен? — Он покрутил пальцем около виска.— К тому времени, когда старик Матти отдаст концы, весь город будет плясать под твою дудку.

Вспыхнула спичка, осветив его грубоватые крупные черты. Матти закурил. Сейчас он выглядел старше своих лет, и в глазах под кустистыми бровями притаилась усталость.

— Ну ладно, старина,— пробормотал Марк.— Поздно уже.

Матти кивнул.

— Ага.

— Пошли-ка по домам, всхрапнем.

— Спокойной ночи, советник Белфорд.

— Пока, Матти, спасибо тебе.

Матти положил ему на плечи свои огромные тяжелые ручищи.

— Не за что... Не за что меня благодарить. Это все ты сделал, сынок... ты, а не я. Ты вышиб старого Легга, и теперь ты божий любимец... дошло?

— Легг умер, Матти,— тихо сказал Марк.

Матти приблизил свое точно из камня вырубленное лицо к самому его носу. Казалось, он с трудом припоминает.

— Ну да, умер,— сказал он. Помолчал, сделал затяжку.— Кто вытащил тебя из этой зеленой трясины, а? Кто?

— Ты, Матти.

Матти заморгал, потом улыбнулся.

— Ты мой малыш,— проурчал он, похлопывая Марка по плечам.

— Само собой, Матти.

Матти снова кивнул и нетвердым шагом побрел прочь.

— Ступай к своей красотке жене,— бормотал он на ходу.— Спокойной ночи.

Марк смотрел ему вслед. Он вдруг почувствовал необыкновенную нежность к этому человеку, и тревогу за него, и уважение, и острое, инстинктивное желание уберечь, защитить. Надо бы догнать Матти, проводить домой — так оно спокойнее. Но тот ни за что не согласится, начнет шуметь, ругаться.

Марк улыбнулся в темноту.

— Спокойной ночи, старый хрыч,— прошептал он и зашагал в другую сторону.

Он снова вспомнил Джеральда Сибли и его тихий голос, сообщивший о победе. Вспомнил Элдриджа — его радость, его тост. Он пошарил в кармане, достал ключ от входной двери. И, только поворачивая его в замке, подумал о Еве. Он не видел ее с самого завтрака. Сейчас уже занималось утро следующего дня, а он даже не заглянул домой, чтобы рассказать ей о результатах выборов. Хотя едва ли она сгорает от нетерпения. В разговорах они почти не упоминали о выборах. Она примирилась, но не более того.

Он тихо поднялся по лестнице. Придумывать оправдания не было ни времени, ни сил. Когда он открыл дверь спальни, щелкнул выключатель и зажегся светильник в изголовье кровати. Ева сидела, облокотясь на подушку. Он кротко и виновато посмотрел на жену, не зная, что сказать.

— Ты еще не спишь,— вымолвил он наконец, надеясь, что эти слова помогут ему преодолеть неловкость.

Она не ответила. Взяла подушку и спрыгнула на пол.

— Прости, Ева. День был такой сумасшедший. Присесть было некогда... Я победил, Ева.

Она быстро прошла к двери, задев его по дороге.

— Ева, ну пожалуйста.

Она обернулась.

— У тебя был сумасшедший день... и у меня был сумасшедший день. Но это было вчера. А что сегодня?

Марк смущенно пожал плечами.

— Да просто обмывали победу. Элдридж позвал к себе на...

Глаза Евы гневно сверкнули.

— На вечеринку?

— Да нет, не на вечеринку. Не совсем.

— Без женщин?

— Ну, одна-две... Жена мэра и...

— И ты.

— И Матти. Матти и еще несколько человек.

Ева громко фыркнула, не разжимая губ. Дэвид заплакал, она открыла дверь и рассеянно окинула взглядом детскую.

— Марк, я знаю, что ты победил, мне сказала миссис Флеминг, соседка. Она рассказала мне о Легге .. о его... сердечном приступе. Тут что-то не так, Марк. Я не хотела, чтобы ты был в муниципалитете — ради нас. Этим можно заниматься, когда человек уже состарился и у него нет детей... как у Легга. Но Легг умер — из-за тебя. И теперь я не хочу, чтобы ты был в муниципалитете — ради тебя самого, Марк, не только ради нас. Тут в самом деле что-то не так.

— Ох, Ева, ну хватит,— сморщился Марк.— Будь же разумной. Я победил. Эту победу мне обеспечили почти шестьсот человек. Они хотят, чтобы к руководству пришли новые, молодые силы. Люди энергичные, а не выдохшиеся старые перечницы вроде Легга. Он уже ни на что не был годен — вот почему я победил.

В глазах Евы было холодное презрение.

— Ошибаешься, Марк. Ты не победил,— процедила она.— Ты проиграл.

Дверь за ней закрылась. Марк хотел было остановить жену, но передумал. Он присел на край кровати, потер усталые глаза и снова вспомнил о Кейне, Лонгмене и о той безрадостной, полной недомолвок жизни, которую он теперь вел дома. На одной чаше весов их отчуждение, на другой — его слава. Дэвид затих, и Марк взглянул на дверь, ожидая, что она откроется. Но она не открылась.

Он еще некоторое время смотрел на дверь, потом ослабил узел галстука и пробормотал:

— Нет, это ты ошибаешься, Ева. Ох, как ошибаешься. Я победил. Победил, черт возьми!

Мартин Кейн прикурил новую сигарету от старой. Он сделал это машинально, думая совсем о другом; широко раскрытые глаза не мигая смотрели сквозь стекло куда-то вдаль. Он мало спал сегодня, но и во сне не переставал думать об Уоллесе Легге. С половины седьмого утра, когда он пришел в контору, его терзали сомнения. Но только при свете дня до него дошел подлинный смысл случившегося. Легга нет, он потерпел поражение... хуже чем потерпел поражение — он мертв.

Мозг мучительно сверлила мысль: Легг был, и Легга нет. А Легг был ему просто необходим; он так полагался на его информацию и положение. Без Легга Уиттон уже не будет к нему так благосклонен. Смитсон... ну, Смитсон будет по-прежнему похлопывать его по спине — правда, теперь просто как одного из поставщиков, которому можно сделать заказ, но без приятного сознания, что облагодетельствованный в долгу не останется. Дрянная перспектива. Жизнь была удобной. Уютной, спокойной, радостной. Теперь не то. Мир с рассветом будто переменился — стал жестоким, неумолимым. А все этот Белфорд!

Кейн грыз ногти, прислушиваясь к звону табельных часов в коридоре. Он уже взвинтил себя до состояния холодной ярости. Девять утра. Сейчас явится Белфорд — наверняка расфранченный и довольный собой. Он слышал голоса, болтовню служащих, проходивших мимо его двери. О чем они говорят? Громких разговоров не слышно. Говорят вполголоса, приглушенно. Может, они между собой смеются над ним и показывают на него пальцами через деревянную стенку? Он вскочил и распахнул

дверь. Из женской уборной напротив вышла телефонистка Лиз Брэкли. Больше никого в коридоре не оказалось. Кейн бросил быстрый взгляд налево, потом направо, буркнул «доброе утро» и отступил к своему столу. Посидев немного, протянул руку к селектору. Но прежде чем он успел нажать кнопку, зазвонил телефон.

— Мистер Кейн, вас мистер Уиттон,— сказала Лиз.

Кейн улыбнулся, как будто Уиттон мог его видеть.

— Доброе утро, Артур.

Голос на другом конце провода спросил сухо и без выражения:

— Что же в нем доброго?

Улыбка исчезла с лица Кейна.

— Ничего. Ты знаешь о Легге?

— Слышал. Один из твоих ребят отправил его на тот свет.

— Белфорд, мой чертежник.

— Так что мы потеряли своего человека в сферах.

— Да.

— Очень хорошо.

— Что?

Уиттон ответил чуть мягче:

— Мартин, вчера вечером Сибли мне все рассказал. Он был немного... как бы это сказать... не в себе. Я вкатил ему виски покрепче... потом еще. Ты знаешь, этот бедняга такое скрывал. После третьей порции все пошло наружу...

Кейн замер.

— Да,— продолжал Уиттон.— Старик Сибли помалкивал в тряпочку целых два месяца. Оказывается, Легг даже не пытался, Мартин... Легг пальцем не шевельнул, чтобы эта земля досталась мне. Я рад, что он загнулся, Мартин, а ты? — Кейн открыл было рот, но в трубке щелкнуло и послышались короткие гудки.

Кейн яростно застучал по рычагу.

— Да, мистер Кейн?— сказала Лиз.

— Соедините меня опять с Уиттоном,— приказал он.

Он прижал трубку к уху; послышалось жужжание диска.

— «Уиттон энджиниринг»,— сказал голос.

— Мистера Уиттона, пожалуйста. Говорит Мартин Кейн.

Пауза, несколько щелчков переключателя.

— К сожалению, мистер Уиттон не может подойти. У него совещание.

Кейн знал, что это бесполезно. Уиттон разговаривал только тогда, когда хотел.

— О'кей, Лиз.

Он положил трубку, откинулся и судорожно вздохнул. Уиттон знает. Уиттон узнал не только о Легге, но и о том, кто должен получить контракты по супермаркету «Барко». Кейн мысленно слышал зловещий шепот Уиттона: «Погоди же, скотина! Ты у меня попрыгаешь!»

Кейна затрясло, и он закурил новую сигарету. Опять Белфорд! Все дело в нем. Он нажал кнопку селектора.

— Лиз, скажите, чтобы Барни позвал Белфорда. Он мне срочно нужен.

Марк постучал в дверь и подождал. Послышалось рычание, похожее на «войдите». Так и должно быть. Он знал, что объяснение неизбежно, и решил держаться спокойно и вежливо — пусть Кейн беснуется. Он открыл дверь.

— Поздравляю,— сказал Кейн, вкладывая в это слово весь свой сарказм.

— Спасибо, мистер Кейн.

— Ну, теперь вы довольны?

Марк кивнул.

— Результатом — да, но не тем, что случилось с мистером Леггом.

На Кейна это не произвело впечатления.

— Ах, вот как, вы тоже в трауре? А где же ваш?..— Он потянул за конец своего черного галстука.— Где ваш знак уважения?

— К сожалению, у меня нет черного галстука.

— Легг был моим другом,— сказал Кейн, не глядя на Марка.— Умер он по вашей вине.

Марку стало не по себе. Он понимал, что это правда, но заставил себя возразить:

— Борьба велась честно, вы сами знаете. Я победил... Легг был старый человек.

Кейн сжал губы и поднял бровь.

— Вы только о своей победе и можете думать? Но если кто-то погибает в борьбе, значит, она велась по закону джунглей. А мы с вами живем в Грэнтоне, Белфорд. Что же, вы решили устроить джунгли здесь, в нашем городе?

Марк покачал головой.

— Я сожалею о случившемся. Что тут еще можно сказать? Я боролся на выборах открыто и честно. Поражение Легга было...

— Открыто и честно! Ха! Красивые слова, которые ничего не значат... Я надеюсь, вы меня поняли, Белфорд. Вас ждет работа, да и мне есть чем заняться. Это все. До свидания.

Зазвонил телефон, и Кейн одной рукой снял трубку, а другой сделал жест, означавший: «Я вас не задерживаю». Марка так и подмывало ударить его, оскорбить, уколоть, но он подавил это желание и молча вышел. Что бы ни случилось, он должен держаться за работу.

— Мистер Кейн, вас мистер Смитсон,— сказала Лиз.

На лице Кейна тут же снова появилась улыбка.

— Алекс, рад тебя слышать.

— Что там такое с Леггом? — недоверчиво спросил голос в трубке.

— Все, что ты слышал, правда, Алекс. Вчера вечером после объявления результатов выборов его хватил удар.

— Черт возьми, нам это совсем некстати. Скверная новость, Мартин. Хуже некуда. Ну и влип же ты, братец!

— Знаю. Я так привык к его лицу, как поется в песне.

— Да, большая потеря. А что дальше?

Кейн пожал плечами.

— Не знаю, Алекс. Голова кругом идет.

— Его нужно кем-то заменить. Есть идеи?

— Нет еще. Пока нет, Алекс.

— Мне сказали, что Уэндл-Уорд теперь у одного из твоих ребят.

— Это Белфорд, чертежник. Дерьмо собачье. Я только что сказал ему пару теплых слов.

Смитсон с досадой крякнул.

— Я бы на твоем месте этого не делал, Мартин.

— Не удержался. Это же он, сволочь такая, угробил Уоллеса.

— Да, кстати... — перебил Смитсон.

— Что?

— Никогда не угадаешь. Я получил от «Барко» гарантийное письмо по поводу супермаркета.

— Отлично. Они оценили твои усилия?

— Похоже, что так.

— И ты будешь таким же щедрым?

— Конечно. Я посылаю с Тренчардом заказ и список материалов с датами поставок.

— Алекс, ты просто ангел.

— Ладно, увидимся в пекле.

— Это уж как пить дать.

Трубка снова легла на рычаг. Кейн смотрел перед собой невидящим взглядом. Улыбнулся, закурил новую сигарету. Неожиданно забрезжил свет в конце туннеля. Всего два часа назад впору было повеситься. Он так привык к комфорту, а без Уиттона, Легга и Смитсона какое будущее его ждет?

На этих трех китах держалось его благополучие. Но Легга больше нет, и он не сомневался, что от Уиттона заказов ему не видать — подразнит и передаст другому. Так что два кита из трех уже уплыли. Но Смитсон по-прежнему с ним. Если удастся сохранить со Смитсоном хорошие отношения, то и его бизнес будет расти и процветать. Но в одиночку ему не справиться. Нужна помощь. Нужен кто-то вместо Уоллеса Легга. Смитсон прав. Кейн откинулся в кресле и скрестил ноги. Потом наклонился вперед и нажал кнопку селектора.

— Лиз, будьте добры, скажите Барни, пусть он снова пришлет ко мне Белфорда.

7

Это было как сон. Две недели промелькнули точно миг. Но воспоминания об этом чудесном времени все еще наполняли голову солнечным светом и пьянящим аро-

матом сочной зелени. Резкий стрекот цикад всю ночь напролет. Сангрия, крепкая и дурманящая, в больших коричневых бокалах. Стройные загорелые девушки, их игривый шепот в сумраке таверны. И сияющая белизна виллы, нависшей над бухтой немного южнее Сан-Фелиу-де-Гишольс.

Эгберт Элдридж, мэр Грэнтона, моргнул, отвел глаза от тонкой трещины на потолке спальни и вздохнул. Он проснулся рано — наверно, оттого, что еще горели обожженные солнцем плечи — и неподвижно лежал, вспоминая отпуск, которого ждал так долго и который, увы, уже пролетел. Это было словно в другом мире, хотя нынешнее лето в Грэнтоне выдалось теплым, устойчивым и насквозь пропахло смолой: на Главной улице велись дорожные работы. Нет, Испания — особая страна. Есть в ней какая-то волнующая, не сразу ощутимая раскованность. Музыка, вино, красавицы, резвящиеся на берегу,— все это бодрило и пробуждало забытые желания...

Он снова лег на спину, силясь убедить себя в том, что с удовольствием ожидает наступления нового трудового дня. Скоро надо вставать, идти к Хилсону и корпеть над бумагами в темной, захламленной комнате, куда никогда не заглядывает солнце. Мысль об этом вызывала у Элдриджа какую-то безысходность. Став мэром, он еще острее воспринимал унизительность своей службы. Опилки и глупые пересуды были ниже его достоинства. Ведь он побывал в Букингемском дворце. Двигался в море шуршащих парадных костюмов, взятых напрокат ради такого случая. Магнолия пробилась к самой королеве и потом полтора дня восторженно рассказывала о высочайшей улыбке, которой была удостоена. Но от визита во дворец, как и от поездки в Испанию, осталось одно воспоминание. И снова потекла унылая, однообразная грэнтонская жизнь без вкуса, цвета и запаха.

Только работа в муниципалитете приносила утешение. Он был мэром Грэнтона, и власть, сосредоточенная в его руках, была своеобразной отдушиной для его ущемленного самолюбия. Он снова и снова вспоминал свои последние блестящие успехи: во-первых, супермаркет и щедрая благодарность Смитсона; во-вторых, прибавка к жалованью, которой он добился у Хилсона (Хилсон все еще говорит с ним украдкой, чтобы никто не видел: должно быть, никак не может поверить, что план его удался). Затем выборы. Либералы Даусон и Ашер удержались, зато Белфорд свалил Уоллеса Легга. Он, Элдридж, поверг в трепет Кейна и Лонгмена, а там и до других очередь дойдет. Макфадди пошел ему навстречу, и теперь Белфорд живет в микрорайоне Уэндл, в своем собственном округе, в новом муниципальном доме. И Лонгмену придется это проглотить. Элдридж улыбнулся, представив себе, как вытянулось лицо у Лонгмена, когда Белфорд отказался ехать на Касл-стрит. Но это еще пустяки, посмотрим, что он запоет после очередного заседания комиссии по планированию. Элдридж снова улыбнулся, и на душе стало легче. А как его расхваливала грэнтонская «Газетт» за создание независимой комиссии по делам спорта и досуга! Он сдержал обещание, данное новому советнику, и при этом увеличил свой политический капитал. Белфорд стал председателем новой комиссии, а также членом комиссий по здравоохранению и по финансовым и общим вопросам. «Отлично,— подумал Элдридж,— отличное сочетание». Пресса его поддерживала, создавая ему реноме человека энергичного, предприимчивого и удачливого, человека, который способен опровергнуть устоявшееся и вполне справедливое мнение о них как о людях бездеятельных и равнодушных. С другой стороны, Элдридж позаботился и о том, чтобы Белфорд не слишком зарывался. Он еще тогда, воскресным утром в клубе, предупредил Матти. А теперь для верности ввел его в те же комиссии, что и его молодого друга. «Приглядывай за ним,— сказал Элдридж и многозначительно подмигнул,— а то его неизвестно куда занесет». Матти обещал.

Эгберт Элдридж размазал по лицу пену. Он был уже почти готов для Грэнтона. Бреясь, он напевал себе под нос, и предстоящий день, который вначале сулил одну тоску и уныние, теперь казался даже привлекательным. Он вспомнил, что сегодня в семь пятнадцать вечера состоится заседание комиссии по здравоохранению. На повестке дня — строительство городского мусоросжигателя. Цифры в докладе подкомиссии вполне приемлемые, а предлагаемая территория возражений не вызовет. Элдридж почему-то не сомневался, что все будет в порядке. Он уже почти обещал это Смитсону.

Перед домом он встретил почтальона. Тот приветливо поздоровался, сделал комплимент по поводу его загара и вручил ему четыре конверта — два коричневых, наверняка со счетами, один — с каракулями свояченицы, которые ни с чем не спутаешь, и один авиаконверт, сразу привлекший его внимание. Аккуратная сине-красная кайма, тонкая легкая бумага, немецкая марка. Элдридж опустил остальные три конверта в

щель почтового ящика и нетерпеливо вскрыл четвертый. Письмо было из Мистбурга, города-побратима Грэнтона, от тамошнего бургомистра герра Адольфа Брауна. Написано от руки на тисненом официальном бланке.

Ваша милость!

Мы с радостью узнали, что отныне Вы — мэр Грэнтона. В течение многих лет наши породненные города обменивались визитами молодежи и людей более зрелого возраста. Эти визиты всегда были приятны для обеих сторон и способствовали взаимному знакомству с образом жизни наших стран. Со времени последнего посещения Мистбурга мэром и несколькими членами грэнтонского муниципалитета прошло три года. Позвольте мне поздравить Вас с избранием и пригласить Вас и Ваших коллег посетить Мистбург до конца нынешнего года. В случае согласия мы были бы рады узнать, когда вы предполагаете приехать и в каком количественном составе. Надеюсь вскоре получить ответ. К тому же наш город может представить для Вас особый интерес. У нас уже работает мусоросжигатель, и инженер, строивший его, писал об этом мистеру Планкетту, начальнику административного управления руководимого Вами муниципалитета. Вероятно, Вам захочется осмотреть мусоросжигатель, а также многое другое в нашем городе.

Ваш
АДОЛЬФ БРАУН

Элдридж открыл дверцу машины, сел и перечитал письмо. Герра Брауна он не помнил. Прошлым летом в Грэнтон приезжали из Мистбурга, но он под благовидным предлогом держался подальше, уклоняясь от приемов и от участия в поездках по городу и окрестностям. Возможно, и Браун был в той группе. Он начал быстро соображать. Или это просто идиотская подозрительность? Планкетт никогда не говорил ни о какой переписке по поводу мусоросжигателя. А Бертон Пратт, начальник технического управления, знает о ней? Элдридж передернул плечами и тронул машину с места. И вдруг... Ну-ка, ну-ка... а что, если... Голову на отсечение он бы не дал, но вполне возможно... пока только возможно... что Планкетт и Пратт организуют для себя небольшую поездку за границу. Наверно, они проявили такой живой интерес к мусоросжигателю, что Мистбург теперь уже чувствует себя обязанным пригласить их. Элдридж понял, почему они туда рвутся. А бургомистр Браун проболтался и, сам того не подозревая, выдал секрет. Элдридж ехал в контору Хилсона и улыбался. Он уже чувствовал симпатию к Адольфу Брауну и предвкушал приятное путешествие. Поездка в Мистбург! Какая великолепная мысль! Для осмотра мусоросжигателя. По линии комиссии по здравоохранению. Идеальный вариант!

Мистбург всего в пятнадцати километрах от Гамбурга, а Планкетт был в той группе, три года назад. Советник Флинн подробно рассказывал Элдриджу об их поездке. Яркие огни, музыка, веселые, общительные немцы. Репербан — живое море людей и неоновых реклам, бочки пива и шнапса, красотки с льняными волосами. И Планкетт урвал свою долю всех этих удовольствий. Элдридж выпрямился, резко нажал на педаль и поехал быстрее — просто так, без всякой надобности,— громко распевая увертюру к вагнеровскому «Тангейзеру».

Тарелка была покрыта пленкой из выкипевшей подливки, а картофельное пюре запеклось коричневой корочкой. Мясо и морковь совсем засохли и выглядели так, словно простояли уже несколько дней. Марк с сомнением посмотрел на этот натюрморт, потом, не снимая перчаток, вынул тарелку из духовки, быстро перенес на стол и начал есть. Он пришел голодный, а готовить другую еду не было времени. У него оставалось всего полчаса, чтобы перекусить, привести себя в порядок и явиться в муниципалитет на заседание комиссии по здравоохранению. В пять часов, когда он уже собирался уходить, Кейн попросил его «зайти на минутку». Минутка растянулась больше чем на час. Там были главный инженер-конструктор и главный чертежник, с которыми Кейн обсуждал проект системы трубопроводов высокого давления для промышленного парового котла. Кейн очень беспокоился, как бы чего-нибудь не упустить в проекте.

— В общем, мы кровь из носу должны заполучить этот заказ, ясно? — повторял он снова и снова.— Нам он вот так нужен. Не только на изготовление, но и на доставку. Давайте покажем клиенту, что мы свое дело знаем. О'кей, джентльмены?

Коллеги Марка закивали, забормотали и даже отважились что-то спросить и высказать какие-то свои соображения. Сначала Марк смутился. Он чувствовал себя лишним среди начальства и не понимал, зачем его позвали. Наконец Кейн после долгого раздумья оторвался от чертежа и посмотрел на Эшли, главного чертежника.

— У нас ведь такое в первый раз, Барни, понимаете?

Эшли кивнул.

— А что, если мы поручим это Марку... согласны?

Секундное колебание, движение бровей — и Эшли снова кивнул. Кейн повернулся к Марку:

— Вопросы есть?

Марк откашлялся:

— Нет... пожалуй, нет.

Теперь Марка уже можно было не опасаться. На следующий день после выборов Кейн снова вызвал его и с трудом шепотом выдавил из себя несколько слов извинения, которые Марку почти так же трудно было выслушать, как Кейну — произнести. Однако атмосфера сразу разрядилась, и Марку стало легче. Да, Кейн говорил с ним резко, несправедливо, но ведь ему было из-за чего расстроиться. Поэтому Марк принял его извинения. Но этим дело не кончилось. Снова появились сверхурочные — без всякой причины и без объяснений,— а чертежи Марка как по волшебству перестали вызывать нарекания. Кейн теперь часто подходил к его доске, чтобы обсудить с ним какую-нибудь деталь в чертеже или проекте. Эшли с ехидством поглядывал на своего подчиненного. Марк делал вид, что ничего не замечает, вспоминал анонимку о своем продвижении и пытался понять злорадное удовольствие, с которым внимание шефа к нему воспринималось в чертежной. Конечно, приятно, когда начальство тебя отличает, но в то же время Марку хотелось остаться своим среди ребят. С первого дня своей трудовой жизни и до сих пор он был лишь одним из многих. И чувство товарищества, сознание того, что вместе со всеми он делает общее дело, всегда служило ему опорой. А у боссов товарищей нет, они одинокие, странные люди, мишень для насмешек. Кто-то из-за перегородки крикнул:

— Белфорд со следующей недели будет обедать в столовой для руководства. Кейн уже утвердил, а миссис Джонс положила на стол новую карточку.

Эшли, лысый, бледный человек с плохо пригнанными вставными зубами и грибком на ногтях, от неожиданности и возмущения побелел как смерть и в несколько шагов пересек комнату. Он прошел долгий путь, прежде чем стал главным чертежником. Это звание он носил в течение всего пяти из своих сорока четырех трудовых лет. Одного только он никак не мог добиться — права обедать в столовой для руководства. Тщетно ждал он приглашения пересесть за стол руководящего состава. А принадлежность к этой элите означала еще и привилегию пользоваться особой уборной. Каждый день, проходя мимо заветной двери, он смотрел на нее завистливым взглядом и сжимал зубы.

— Это верно, Белфорд? — спросил Эшли свистящим шепотом.— Вы обедаете в столовой руководства?

Марк и глазом не моргнул. Ему так хотелось сказать «да» — только чтобы увидеть, как Эшли захлебнется желчью,— что он уже не мог честно ответить «нет».

— Не знаю. Кейн ничего не говорил и миссис Джонс тоже.

— Черт возьми, Белфорд! Они не имеют права так обходиться со мной.— Эшли насупился и раздул ноздри, глаза его налились кровью.— Чем я их не устраиваю? Почему я не могу обедать в их паршивой столовой? Я не хуже их. И не хуже вас, Белфорд.

Марк ужинал и улыбался. Его всегда смешили честолюбивые мечты Эшли о более высоком общественном положении. Бедняга не знал покоя, тужился, но каждый раз оставался все на том же месте, измученный и несчастный. Жалкое зрелище! Никто не принимал его всерьез, кроме молоденьких машинисток и зеленых новичков.

Марк задумался о собственном статусе. Как член муниципалитета, облеченный доверием избирателей, он получил нечто большее чем просто звание и почетное право решать судьбы города. Его словно наделили какой-то внутренней силой, какой-то не поддающейся определению властью, которая могла влиять на человеческие убеждения и вмешиваться в ход истории. Ему виделись толпы последователей, ловящих каждое его слово, убежденных в его мудрости, жаждущих его наставлений. В каком-то смысле это уже началось. Пресса фиксировала каждое его высказывание. Его считали бле-

стящим представителем новой политики, новой метлой, которая выметет пыль самодовольства. И это было очень приятно.

Сверху донесся шум льющейся воды и скрипучий звук — кто-то провел рукой по краю ванны. Закричал Дэвид — значит, попало в глаз мыло. Ласковый, успокаивающий голос — и малыш затих. Близнецы вопили: видно, там шло морское сражение со всеми сопутствующими звуковыми эффектами. Марк посмотрел на потолок и улыбнулся. На душе стало тепло и радостно. Теперь у них новый, современный дом, и хотя Ева внешне никак не выразила своего удовольствия, это, конечно, настоящий дворец по сравнению с бульваром Бентли. И все же их отношения не улучшились. Она не оттаяла. Единственный сдвиг состоял в том, что она молча примирилась с его участием в разных заседаниях и вообще в работе совета. Это вполне устраивало Марка; он получал удовольствие от своей работы и участвовал в делах совета с таким рвением, что Матти и смеялся, и ворчал. Они расстались с Лонгменом, который в последний момент вдруг сменил гнев на милость и стал оглушительно дружелюбным.

— Кто старое помянет... верно? Нет, это я не для красного словца, и вот вам доказательство — можете оставаться здесь, на бульваре Бентли. Ну как? Довольны?

Он оглянулся, словно ожидая, что Ева кинется ему на шею в знак благодарности, а Марк упадет к его ногам. Но ничего этого не произошло. Дэвид вытащил у Лонгмена из кармана носовой платок, и Ева даже не отругала его. Лонгмен в последний раз взял с них арендную плату, и Марк проводил его до двери.

— Желаю счастья в новом доме,— отважился сказать Лонгмен.

Марк молча закрыл за ним дверь.

Он доел свой горячий, но безвкусный ужин, взглянул на часы, сверил их с теми, что стояли на буфете. Быстро поставил тарелку в раковину и взбежал по лестнице, на ходу развязывая галстук.

— Эви... это я. Можно мне в ванную? Меня Кейн задержал...

Дверь ванной распахнулась, и оттуда вырвалось облако пара.

— Ах, это вы, мистер Белфорд? Мы не слышали, как вы пришли, правда, мальчики? — произнес высокий резкий голос.

Марк остановился в изумлении. На пороге стояла полная, неопрятная пожилая женщина. По ее морщинистому лицу струился пот, седые волосы, собранные в пучок, растрепались. Из впалого беззубого рта свисала сигарета, мокрая и прозрачная, но еще не потухшая, и старушечьи глазки жмурились от дыма.

— Миссис Скелли, что вы тут делаете?

— Вы опоздали,— сказала она, не отвечая на его вопрос, и радостно добавила: — Ваш ужин, наверно, уже сгорел.

— А где же Ева? — пробормотал Марк, осторожно косясь в сторону ванны, словно боялся увидеть там что-нибудь страшное. Но увидел он только троих чистеньких улыбающихся ребятишек.

— Мама ушла,— сказал Сол.

— Да,— подтвердила миссис Скелли.— Полчаса назад. Просила передать вам, что больше ждать не может.

— Не может ждать? Куда же она ушла?

— Гулять отправились,— засмеялась старая ведьма.— Ева и наша Бетти. В Ньюкасл... на концерт.

Марк нахмурился.

— Концерт? Какой концерт?

— В ратуше. Там какой-то американский певец. Тони... позабыла фамилию. Наш Альберт, брат Бетти, не смог пойти.— Она снова закудахтала:— Его благоверная Лиззи в субботу хватила лишнего в клубе, свалилась с лестницы и ногу сломала.

Марк почувствовал прилив раздражения. Бетти Холлоуэй была их соседкой. Вполне дружелюбная особа, всегда готова помочь, но при этом дико вульгарная, чего он терпеть не мог. Ее муж Тед служил стюардом в пароходной компании и неделями не бывал дома. Миссис Скелли, ее мамаша, жила с ними; дураку ясно, что дочь в старости станет точно такой же. Марк представил себе Бетти, нарядившуюся для выхода: лицо покрыто толстым слоем косметики, губы намазаны ярко-красной помадой, волосы белые, выжженные перекисью. «Чего это Ева вдруг пошла с ней? — недоумевал Марк.— Да еще оставила детей на эту миссис Скелли».

— О'кей, миссис Скелли, теперь я пригляжу за ребятами. Спасибо, что побыли с ними.

Миссис Скелли вынула сигарету большим и указательным пальцами, и рот ее удивленно округлился.

— Да-а? Но меня попросили посидеть с детьми... верно, мальчики? Ева сказала, что вы уйдете, ну, я и говорю им: ничего, я говорю, девочки, идите развлекитесь, не пропадать же билетам. А деток можете оставить на меня.

— Нет-нет, миссис Скелли, я посижу дома.

— Вот уж незачем! Чего выдумали! Идите-ка себе на свое заседание, мы тут не пропадем. Я люблю детишек. Люблю с ними возиться.— Она погрузила руки в воду, вытащила большую желтую губку и выжала ее над головой Дэвида. Тот завизжал от удовольствия.

— Мы останемся с тетей Скелли,— сказал Сол.

— Да, мы останемся с тетей Скелли,— повторил Люк.

— Сётей Селли,— завопил Дэвид.

У Марка на миг перехватило дыхание; он смотрел то на своих детей, то на улыбающуюся старуху, которая яростно посасывала размокшую сигарету. Он должен был пойти на сегодняшнее заседание. Он собирался выступать по двум пунктам повестки дня. Его присутствие просто необходимо. Он медленно выпустил воздух сквозь стиснутые зубы. Как Ева могла уйти и оставить вместо себя эту старую ведьму? Внутри у него все клокотало, а где-то в глубине души шевельнулся страх.

— Вы хотите остаться с миссис Скелли?

— Да! — закричали дети.

Марк посмотрел на нее.

— А вы справитесь?

Она рассмеялась:

— Справлюсь? Да уж можете быть спокойны. Сейчас они поужинают и баиньки. А я задеру ноги на стол и включу ваш чудный цветной телевизор. У меня тут сигареты и бутылка «Гиннеса». «Справитесь»! — Она хмыкнула и игриво шлепнула его по плечу.— Справлюсь, будьте уверены.— И, подмигнув, добавила: — Было время, купала я мальчиков и постарше.

Марк повернулся и пошел в спальню. Что-то в нем надломилось.

— Хорошо, миссис Скелли. Я вернусь не поздно.

Зал заседаний муниципалитета походил на склеп, несмотря на то, что во всех его уголках звучал голос Фредерика Кристи. Комиссия по здравоохранению сидела как загипнотизированная; муниципальным чиновникам стоило большого труда сохранять видимость бодрствования: налитые свинцом веки так и норовили опуститься под непрерывное гудение секретаря грэнтонского городского совета.

Элдридж обернулся к Матти и Марку.

— Эй, вы, не вздумайте заснуть, слышите?

— Мы и не думаем,— шепотом заверил Матти.

— Это хорошо, потому что скоро станет гораздо интереснее. Дайте только дойти до мусоросжигателя.

— А что тогда будет? — полюбопытствовал Марк.

— Сами увидите,— весело сказал Элдридж.

Председатель комиссии Ричард Эрп оглядел присутствующих.

— Шестой пункт повестки дня. После жалоб на неприятный запах, распространяемый фабрикой Уилерфорса, мы получили докладную записку специалиста по вопросам здравоохранения...

То ли из-за плохого настроения, то ли просто от скуки Марк вдруг ощутил бессмысленность всего происходящего. Им овладело ужасное, убийственное сознание своей никчемности; ему стало ясно, что их заседания — не более чем способ впустую проводить уйму времени.

Заседание продолжалось. Говорили о сточных канавах, об общественных уборных, о нуждах грэнтонской городской больницы. Под конец Ричард Эрп предоставил слово начальнику технического управления Бертону Пратту для сообщения о нынешнем положении дел с муниципальным мусоросжигателем. Пратт говорил минут пять — приводил факты, цифры, углублялся в историю вопроса, сообщал о том, что сделано на сегодняшний день. Когда он закончил, по залу пронесся вздох облегчения, и все снова вернулись к прерванным разговорам.

— Господин председатель!

— Вы хотите что-то добавить, мистер Элдридж? — спросил Эрп.

— Господин председатель, в связи с обсуждаемым вопросом я хотел бы привлечь внимание комиссии к нашему городу-побратиму Мистбургу.

Планкетт побледнел. Пратт скривил губы и опустил глаза.

— Вероятно, не все знают,— сияя, продолжал Элдридж,— что в Мистбурге недавно начал работать муниципальный мусоросжигатель... такого типа, который, мне кажется, мы можем принять и для себя. Позвольте спросить у мистера Планкетта и мистера Пратта, знают ли они об этом?

Планкетт подпер щеку ладонью. Игра проиграна, он это понимал. Врать бесполезно.

— Э-э... да, я в курсе дела, господин председатель. Но я не обсуждал с мистбургскими властями размеры и конструкцию мусоросжигателя.

— Не хочет ли мистер Пратт что-нибудь добавить? — осведомился Элдридж.

Пратт поспешно покачал головой.

— Могу только присоединиться к тому, что сказал Сэм... э-э... мистер Планкетт.

Элдридж саркастически хмыкнул.

— Итак, господин председатель, с учетом этих замечаний я хотел бы сообщить, что только сегодня я получил поздравительное письмо от герра Адольфа Брауна, бургомистра Мистбурга. Он шлет мне добрые пожелания в связи с избранием на пост мэра и приглашает меня с несколькими коллегами посетить в ближайшее время город — побратим Грэнтона. В связи с нашим интересом к мусоросжигателю я предлагаю, господин председатель, оформить этот визит как деловую поездку комиссии по здравоохранению — ознакомительную поездку, которая облегчит нам выбор системы, подходящей для нашего города. Теперь нужно подумать о том, кто войдет в состав делегации.

Все разом возбужденно заговорили. Планкетт презрительно посмотрел на мэра. Эрп ударил молотком, призывая к порядку, и аудитория обратилась в слух.

— Мистер Элдридж, я нахожу ваше предложение превосходным. Позвольте спросить, памятуя о деньгах налогоплательщиков, сколько человек следует послать в Мистбург, чтобы эта поездка дала желаемые результаты и в то же время оказалась не слишком дорогостоящей?

Элдридж улыбнулся.

— Я уже подумал об этом, господин председатель. Поскольку я получил персональное приглашение, мне кажется, речь может идти... э-э... о делегации из девяти человек, включая, разумеется, специалистов муниципалитета, имеющих непосредственное отношение к цели визита.

— Господин председатель,— выкрикнула мисс Корби, вскакивая,— я надеюсь, политические мотивы не будут играть решающей роли при отборе кандидатов!

— Правильно, правильно! — взвизгнула миссис Пинкни.

Эрп открыл было рот для ответа, но либерал Даусон опередил его:

— Господин председатель, я согласен с мисс Корби. Члены партии меньшинства никогда не включались в состав делегаций!

— Неправда! — выкрикнул Олбрайт.— Вы ездили на клеевую фабрику Бенсона.

— Я требую, чтобы консервативная партия была представлена в этой поездке и, кроме того, чтобы не было ограничений по признаку пола,— сказала миссис Пинкни, перекрывая все усиливающийся шум.

— К порядку! — рявкнул Эрп, но никто его не услышал.

— Я хочу поехать,— отчаянно завопила мисс Корби.— Возьмите меня, я никогда никуда не езжу!

— Либералы — неотъемлемая часть комиссии по здравоохранению. Мы непременно должны поехать! — ревел Ашер.

Элдридж сел и сцепил руки на затылке. Марк смотрел вокруг, не веря своим ушам.

— Что я говорил! — сказал Элдридж, откинув голову назад.— Я обещал вам фейерверк.

— Но это же черт знает что такое! — в изумлении выговорил Марк.

— Ты погляди на них,— усмехнулся Матти.— Можно подумать, что бесплатная поездка в Германию для них вопрос жизни и смерти.

— В таком случае могу вам сказать, кто умрет, а кто нет,— пробурчал Элдридж.

— Как? — спросил Марк.

— Неважно,— подмигнул Элдридж.— Главное, вовремя принеси паспорт.

— Кто, я?

Элдридж кивнул.

— И твой наставник тоже.

Матти громко захохотал.

Эрп ударил председательским молотком, но из-за шума и споров никто этого не услышал.

— Заседание закрывается,— крикнул он, рискуя сорвать голос.— Решение о поездке в Мистбург будет принято на следующем заседании. Всего доброго.

Муниципальные чиновники гуськом потянулись к выходу, за ними Элдридж в сопровождении Марка и Матти Добсона.

Мимо прошел Сэмюел Планкетт.

— Всего доброго, джентльмены.

— А, Сэм,— окликнул его Элдридж,— можно тебя?

— Я спешу,— ответил Планкетт с каменным лицом.

Элдридж небрежно махнул рукой.

— Брось, Сэм, пошли. Всего две минуты. Знаешь что? Давай-ка выпьем по кружке в «Виктории», а? Это недолго.

— Прости, Берт...

— Да ладно, ладно. Думаешь, Фрида будет ругаться? Так уж лучше пусть отругает за опоздание, чем за то, что было в Мистбурге.

Планкетт оцепенел, потом его начала бить дрожь. Худое острое лицо пожелтело; он лихорадочно озирался: не подслушивает ли кто.

— А что было в Мистбурге? Ты о чем?

Элдридж вывел его на улицу. Смеркалось. Было холодно. Мэр глубоко вздохнул и сказал негромко:

— Три года назад, Сэм. Три года назад.— Он с притворной грустью покачал головой.— Вспомни последний вечер в Мистбурге перед возвращением в унылый Грэнтон.

— Ну и что? — спросил Планкетт.

— Помнишь, ребята — Флинн, Эрп и компания,— все мечтали встряхнуться? Ну, последний заезд в Гамбург?

Планкетт фыркнул.

— Помню. У них у всех слюнки текли в предвкушении стриптизов и всякого такого. А я сидел в отеле. Мне надо было писать отчет.

Они вошли в «Викторию», и Элдридж открыл дверь в бар.

— Никого нет... очень хорошо. Чарли, добрый вечер. Две кружки пива, пожалуйста.

Они сели в углу. Элдридж, кряхтя, вытянул под столом ногу. Планкетт нервно ссутулился.

— Да,— улыбнулся Элдридж,— ты писал отчет. По крайней мере, некоторое время.

— Как это понимать? — спросил Планкетт.

Элдридж пожал плечами.

— Ребята сидели в каком-то клубе и выпивали, и тут их пригласили... ну, скажем, на выставку. По пять марок с носа. Ну, ты же знаешь Флинна, Эрпа и всю эту публику — их хлебом не корми, только покажи что-нибудь этакое. Словом, немец ведет их через дорогу и заводит в дом. По лестнице, по темному коридору... и просит не шуметь.

Планкетт сидел с каменным лицом, уставившись в одну точку.

— Конечно, за пять марок шикарных мест ожидать не приходится, верно?

Планкетт машинально кивнул.

— В стене были отверстия для подглядывания,— продолжал Элдридж.— Они заглянули и увидели комнату... Сначала там никого не было. Потом вошла грудастая девица в кожаной юбке и черных чулках... А за ней — ты, Сэм. Ты не сидел в своем номере и не писал отчеты о поездке... тебе тоже хотелось поразвлечься, но только втихомолку.

Лицо Планкетта исказилось.

— Нет! Нет, это ложь. Это неправда... Неправда!

— Это правда, Сэм... признавайся. Они всё видели. Всё. От начала до конца.

— Всё видели? — прохрипел Планкетт.— Все?

— Все всё видели. Твои движения, улыбки, жесты. Даже все пятнышки у тебя на спине.

— Фрида... ты не скажешь Фриде, а, Берт? — робко спросил Планкетт, сдаваясь на милость победителя и чуть не плача.

— От меня Фрида не узнает, Сэм... никогда,— улыбнулся Элдридж.

— А другие, Флинн и... и... это Флинн рассказал тебе?

— Нет, не Флинн... не волнуйся, никто не проболтается.

Планкетт слабо улыбнулся. Он взял кружку и сделал глоток — нерешительно, словно школьник, которого посадили за один стол с учителями. Элдриджу захотелось потрепать его по голове.

— А ты, оказывается, молодчина, Сэм. Настоящий боец, не трали-вали. Ты, значит, из темных лошадок?

Планкетт немного успокоился.

— Она была здоровая девка, Берт. У нее...

— Что у нее, то у нее, а ты, кажется, собирался выступить на бис?

Планкетт снова съежился.

— Ладно, Сэм,— весело подмигнул Элдридж.— Вы с Праттом решили прокатиться туда еще раз, но сами по себе... А я вашу индивидуальную поездку сорвал?

— Да, похоже на то.

Элдридж сделал большой глоток, причмокнул губами, вытер их тыльной стороной ладони. Потом откинулся на стуле, сложил руки перед собой и сказал:

— Нет, Сэм, не сорвал.

— Не сорвал?

— Нет, если ты поможешь мне и будешь со мной заодно.

— Помогу тебе?

Элдридж кивнул.

— Каким образом?

— Ты слышал, что сейчас было? Видел, кому до смерти хочется поехать? Фанни Корби, Берил Пинкни... и Даусону с Ашером Представляешь себе, что будет в Мистбурге, если мы возьмем с собой эту публику! Решат, что приехало похоронное бюро для приема заказов на месте. Тут нужен тщательный отбор. Нужны надежные люди, и тогда...— Он подтолкнул локтем Планкетта, смотревшего на него во все глаза.— Тогда вполне можно будет провести скромный вечерок в славном старом Гамбурге

Планкетт поглаживал подбородок, глаза его возбужденно блестели.

— Но как? Всем хочется прокатиться бесплатно... вон какой визг подняли.

— Поступим, как подобает демократам. У нас ведь демократическая страна, если не ошибаюсь?

Планкетт нахмурился:

— Да, разумеется.

— Прекрасно. Демократический способ решения вопроса — жребий. Бумажки с именами кладут в шляпу, вы их вытаскиваете и называете счастливых победителей. Кроме меня, тебя и Пратта нам еще нужен Роджер Диксон, так что для членов комиссии останется шесть мест... Ты будешь вытаскивать бумажки по одной и передавать Пратту.

— А что, если мне попадутся эти две старые бабы? — взвыл Планкетт.

Элдридж достал из внутреннего кармана листок бумаги и ручку.

— Неважно, что́ ты вытащишь из шляпы,— вот имена, которые ты выкрикнешь. Запомни их и выкрикни в таком порядке.

— Значит... значит, если, например, я вытащу мисс Корби, то крикну...— Он посмотрел на бумажку.— «Марк Белфорд»? — Голос у него был слабый, тонкий и испуганный.

Элдридж кивнул.

— Я не могу.

— Тогда подумай, как Берил Пинкни всю дорогу будет на тебе виснуть. Подумай о Гамбурге, до которого рукой подать. А вдруг она пронюхает, что ты удрал, чтобы порезвиться с белокурой красоткой?! Да она начнет кричать об этом из самолета еще на высоте пяти миль над Северным морем

У Планкетта отвисла челюсть. Потом внезапно лицо его просветлело.

— Я все сделаю,— сказал он.

— Вот умница,— улыбнулся Элдридж.

— Никому ни слова,— предупредил Матти.— Радуйся и не задавай вопросов. Не отказывайся ни от чего, кроме тумаков.

Марк шел домой, а в ушах его все еще звучал голос Матти, негромкий и настойчивый. В вечерней тишине недавняя сцена в муниципалитете представлялась ему бредом сумасшедшего. Заметно похолодало. Он шел один в густеющих сумерках, и ему не верилось, что он наяву видел эти потные, искаженные лица. И все же он их видел. А Матти смеялся. Хлопал его по спине и смеялся.

Марку трудно было оставаться спокойным. Он ни разу не бывал дальше острова Уайт. Сколько он себя помнил, он мечтал путешествовать, увидеть мир, окунуться в жизнь других народов. Но почему-то денег на отпуск за границей никогда не удавалось скопить. Два года они отдыхали в прокатном доме-фургоне в Озерном округе. Ездили на две недели в Ливерпуль к кузине Евы. Ева... Его радостное возбуждение сменилось страхом. Он вспомнил миссис Скелли. Может, это ему привиделось? Но он знал, что это не сон. Ева придет домой, и тут же разразится скандал. Она будет кричать, что имеет право отдохнуть немного, а он станет спорить.

Марк закрыл за собой калитку. Сквозь красные занавески гостиной пробивался свет. Он подошел к двери и весь сжался, зная, что обнаружит за ней миссис Скелли с бутылкой пива и полной пепельницей окурков.

— Мистер Белфорд... добрый вечер.

Он обернулся. Худое, встревоженное лицо, опущенные плечи. Тощая шея, обмотанная белым шарфом из искусственного шелка. Это был священник церкви Пресвятой Девы.

— Отец Бьюлей,— отозвался Марк.— Как поживаете?

— Неплохо как будто,— сказал тот не слишком уверенно.— Я отниму у вас не больше минуты, Марк. Я уже заглядывал. Там женщина... она сказала, что вы в ратуше.

Марк открыл калитку.

— Заходите, пожалуйста.

— Нет-нет, я вас не задержу. Мне надо навестить больного... Я по поводу детского клуба, Марк. Вы не были там на прошлой неделе.

— Да... у меня было заседание.

— Вы не были там уже несколько недель.

— Да, но там с ними Джимми Медоуз.

Священник вздохнул.

— Джимми Медоузу всего пятнадцать лет, Марк. Он не может держать в узде толпу подростков.

— Может,— возразил Марк.— Он хороший парень. Он...

Священник медленно покачал головой.

— Марк, я знаю, что вы занятой человек. Вы искренне озабочены судьбой грэнгонской молодежи, но нельзя же возлагать на плечи пятнадцатилетнего мальчика ответственность взрослого. Вы знаете, что там творится?

Марк покачал головой.

— Пианино... Конечно, оно старое, но теперь у него не хватает половины клавиш. Пережгли светильники; их починили, но они их снова пережгли. Дважды оставили дверь открытой... а в прошлый четверг мальчики нашли в кухне старую газовую плиту. У кого-то оказались спички. Они зажгли плиту, и Томми Стивенс обжег руку. Ничего страшного, но могло быть хуже. До сих пор такого не бывало, Марк. Клубу нужно ваше присутствие. Вы будете в четверг?

Марк замялся:

— У меня заседание, но я постараюсь. Надеюсь, мне удастся выбраться.

— Вы постараетесь. Вы надеетесь. Этого недостаточно, Марк, и вы это знаете.

— Я стараюсь сделать для них больше, отец Бьюлей. Я председатель комиссии по делам спорта и досуга.

— Я знаю, но вы нужны им в церкви. Вы можете быть там, с ними?

— Боюсь, что нет, отец Бьюлей.

Священник засопел и кивнул.

— Тогда мне придется закрыть клуб, Марк... вы понимаете... ради безопасности мальчиков и чтобы избежать дальнейшего ущерба.

Их глаза встретились. Марк увидел под тяжелыми веками печаль и решимость. Священник увидел боль и раскаяние.

— Мне очень жаль, отец Бьюлей.

— Мне тоже, сын мой.

Священник повернулся и пошел прочь. Марк смотрел ему вслед. Худощавая фигура, залитая ярким светом уличного фонаря, двигалась медленно и удрученно. Вдруг священник остановился, обернулся. Марк отступил и спрятался в тень. Лицо священника осветил мимолетный луч надежды. Потом оно снова омрачилось. Отец Бьюлей опустил голову и побрел дальше.

8

«Трайдент» сбавил скорость и, слегка покачиваясь в уплотнившемся воздухе, стал медленно снижаться, идя на посадку в гамбургском аэропорту Фульсбюттель. Рок Олбрайт взглянул вниз на взлетную полосу и, зажав нос, чтобы придать голосу гнусавость, выкрикнул запомнившуюся по фильмам о войне команду:

— Открыть бомбовые люки! Цель впереди, точно по курсу!

Элдридж устало потер глаза. Поездка будет неудачной. Он понял это уже в ту минуту, когда Олбрайта по чистой случайности включили в число едущих в Мистбург.

Взвизгнули шины, соприкоснувшись с посадочной полосой, «Трайдент» мягко подпрыгнул и побежал к зданию аэропорта Фульсбюттель.

Все встали с мест. Марк дошел до двери и обвел взглядом аэропорт. Теплый воздух был наполнен запахом испарений и выхлопных газов. И все же воздух здесь какой-то другой. Марк чувствовал неуловимый аромат заграницы, приятно щекотавший ноздри. Целых четыре дня он будет жить новой, свободной жизнью в Мистбурге, делать то, что и подобает муниципальному советнику, сможет сбросить узду, в которой его держит Ева!

Матти взглянул на Марка и заметил эту перемену.

— Ну как, полегче стало?

— Еще бы!

— Молодец. Ты заслужил передышку.

— Скажи это Еве.

— Быстро ее уговорил?

Марк кивнул.

— Что-то в воскресенье она была неразговорчива.

— Она теперь вообще неразговорчивая.

Матти подумал, как бы получше ответить, и, ничего не придумав, проворчал:

— А-а, все бабы одинаковы. Плюй ты на это, Марк. На всех наших, кто женат, дома жены дуются.— Он обернулся к Ричарду Эрпу, который шел сзади: — Дик, что твоя супруга думает насчет этой поездки?

Вид у Эрпа был жалкий. Глаза — совсем крошечные за толстыми стеклами очков — слезились. Треснувшая на переносице оправа замотана синей шерстяной ниткой. Воротничок сорочки совсем обтрепался, а галстук весь засыпан пеплом.

— Она меня просто возненавидела,— сказал он.— Утром на прощанье крикнула: «Домой не возвращайся». Я остановился и говорю: «И не подумаю. А если тебе чего понадобится — теперь, когда я тебя бросил,— то уж как-нибудь перебьешься».— Он закатился долгим, громким смехом, похожим на крик осла. А успокоившись, добавил: — Да черт с ней. Я уже здесь бывал. Повидал кое-что.— Он перешел на доверительный шепот.— Три года я ждал нового случая, целых три года!

Марк вслед за Матти спустился по алюминиевому трапу и подошел к месту сбора гостей из Грэнтона. При виде кучки англичан на него снова нахлынула тоска. Фарс, который они разыграли в зале муниципалитета после сообщения Элдриджа о поездке в Мистбург, был ему отвратителен. А жеребьевка — самое обыкновенное жульничество. Его спутники, за исключением Матти, рассматривали их визит как увеселительную поездку. О деле никто и не думал. Они радостно хихикали и захлебывались от возбуждения, как последние кретины. Марк с презрением глядел на них. И все-таки... все-таки, когда на ум снова пришла Ева, ему захотелось быть с ними заодно.

Элдридж остановился у выхода и, дожидаясь своей команды, производил рекогносцировку местности. Рядом беспечно стоял Олбрайт — руки в карманах, клетчатая кепка надвинута на лоб. Тут же был и Герцог Йенсон, этакий краснорожий злодей со

слезящимися глазами и сизой щетиной на подбородке, в модном костюме, но в высоких сапогах. Подошел Эрп. За ним классической кавалерийской походкой, засунув большие пальцы за пояс, следовал Шейн-Дункан. У Элдриджа внутри все содрогнулось. Вот какой ценой покупается поддержка и сотрудничество! Но эта мысль мелькнула и исчезла. Он вспомнил Генри Лонгмена и сразу понял, что игра стоила свеч. Бедный старина Генри! Его домишки на Линг-стрит стали собственностью муниципалитета. И тут Олбрайт сыграл свою роль. Он начал, а остальные поддержали. Министерство планирования и министерство жилищного строительства предложили построить на этой территории тридцать семь муниципальных домов вместо восьми, запланированных Смитсоном. Лонгмен с пеной у рта потребовал общественного расследования. А он, Элдриж, выяснил, что брат правительственного инспектора поставляет краску для всего муниципального строительства... Так что расследование не слишком затянулось. Лонгмен сдался и согласился взять за свою землю на пятнадцать процентов меньше, чем предлагал Смитсон. Он плакал, когда получал чек. Да, в жестоком мире мы живем.

Элдридж оглядел свою паству. Он с неудовольствием вынужден был признать, что доверия заслуживает только Матти Добсон да этот новобранец Марк. Но оба они выглядят здесь как-то неуместно.

Бургомистр Адольф Браун вытянулся по стойке «смирно», щелкнул каблуками и тряхнул руку своего английского коллеги. Герр Браун был учтивый человек среднего роста, в меру полный, голубоглазый, с седеющими волосами и холеным лицом, идеально гладким, если не считать тонкого шрама, протянувшегося от правой ноздри к уголку рта.

— Герр Элдридж, я так рад увидеть вас,— сказал он с воодушевлением.— О, герр Планкетт, мы ведь встречались, верно? Разрешите представить вам герра Хольста, начальника нашего административного управления, и герра Добермана, главного инженера.— Он посмотрел по сторонам.— Где же Анна? А, вот и Анна, моя дочь. Она ведает у нас информацией и рекламой.

Подошла Анна. На вид ей было около тридцати, впрочем, может быть, и меньше. Довольно хороша собой — не толстая, но плотная; круглое загорелое лицо и коротко подстриженные прямые белокурые волосы. Походка спортивная, почти мужская. Блестящие глаза, пухлые губы, тонкий нос. Одета в синий джинсовый костюм и голубой обтягивающий свитер.

Элдридж представил своих советников, и все обменялись рукопожатиями. Хольст был маленький, серьезный и педантичный. Доберман — молодой, красивый, уверенный в себе — типичный злодей из военного фильма. Анна жала руку по-мужски, но улыбка у нее была милая, женственная.

— Мы так рады, что вы смогли приехать! — воскликнул Браун и с удивлением окинул взглядом Олбрайта и Эрпа.— В Мистбурге вам есть что посмотреть... Например... наш мусоросжигатель, который так отлично работает. И наш центр спорта и отдыха... словом, многое вам будет интересно. А теперь пойдемте. У нас тут три машины, номера в отеле уже приготовлены. Отель у нас новый, и мы уверены, что вам будет вполне удобно.

— Спасибо, герр Браун,— ответил Элдридж.— Мы многого ждем от пребывания в Мистбурге. Мистер Планкетт столько рассказывал нам, он прямо в восторге от вашего города...

Три черных «мерседеса» вынесли их из аэропорта на шоссе, ведущее в Мистбург. Между Олбрайтом, Эрпом и Дунканом произошла короткая, но яростная схватка: все они пытались сесть в одну машину с Анной. Но Элдридж был начеку и усадил Анну в переднюю машину с ее отцом, Планкеттом, Марком и Матти. Там она будет в безопасности.

Мистбург стремительно бежал им навстречу. Здесь, судя по всему, была развита тяжелая промышленность. Еще один Грэнтон, только более современный. В первом «мерседесе» впереди сидели бургомистр Браун и Элдридж. На заднем сиденье Анна расспрашивала о Грэнтоне и вообще об Англии. Марку нравился ее голос, тихий, хрипловатый и мягкий. У Евы был когда-то такой голос. Когда-то... но не теперь. Он уже не мог припомнить, когда это было.

— Вот! Вот отсюда видно. Взгляните, дым совсем белый, правда? — неожиданно сказал Браун.— В городе нет копоти. Только чистый дым от наших заводов и мусоросжигателя.

Все четверо одобрительно похмыкали. Но Элдридж решил, что этого недостаточно.

— У вас очень чистый город,— заметил он, кивая на обе стороны.— И такой современный. Смотрите, не видно ни одного старого здания.

Планкетт закашлялся и отвернулся. Браун заметил с печальной улыбкой:

— За это надо благодарить вас, англичан.— Он указал пальцем вверх.— Здесь был завод снарядов. Здесь, в Мистбурге. И каждую ночь налетали ваши самолеты и забрасывали бедный Мистбург бомбами. Однажды ночью бомба попала в завод, и — бу-ум!— весь город взлетел на воздух.— Он снова грустно улыбнулся.— Вот почему мы такие современные.

Элдридж, опустив голову, мысленно клял себя за бестактность. Но вдруг улыбнулся и похлопал по ноге.

— Я тоже,— сказал он.

Браун поперхнулся, и улыбка сбежала с его лица.

— Тоже бомба?

— Нет... нет.

Он выставил вперед указательный палец и зацокал языком, подражая автомату. Браун сочувственно вздохнул.

— Мне очень жаль,— прошептал он.

— Будем считать, что мы квиты, а?

— Ja... хорошо... назовем это так,— тихо сказал Браун.

Бургомистр Браун начал нравиться Элдриджу. Оказывается, не только англичане знают, что такое честная игра.

— Ну вот,— с гордостью объявил Браун,— вот и наш отель.

Элдридж присвистнул от изумления. Отель «Гезандтер» — высокая башня из коричневого стекла на бетонных опорах — вздымался на целых тридцать этажей. Вход находился на уровне второго этажа и к нему подъезжали по спиральному пандусу. Портал был великолепен. Две коринфские колонны поддерживали богато украшенный навес. Зеленый плюшевый ковер тянулся от фасада до самого подножия колонн.

— Вам нравится? — захлебнулся от удовольствия Браун, увидев разинутые рты своих спутников.

— Да-а,— с почтением прошептал Планкетт.

— Мы же в трубу вылетим! — прошипел Диксон.— Кто заказал здесь номера?

— Я,— шепотом ответил Планкетт.— Браун посоветовал, и мне некуда было деваться.

— Джентльмены! — попросил внимания Браун.— Еще раз добро пожаловать! Сейчас вы устали с дороги. Но мы надеемся, вы сможете пообедать вместе с нами в ресторане отеля. Завтра начнем работать. А сегодня вечером отдыхаем... так?

Элдридж совсем расчувствовался. Он сжал руку Брауна.

— Дорогой сэр... или я могу называть вас Адольф?

Бургомистр слегка поклонился в знак согласия.

— Адольф, вы бесконечно любезны. Мы будем счастливы пообедать с вами, не правда ли, джентльмены?

— А нельзя ли нам вернуться в Гамбург?

На лицо Элдриджа мгновенно набежала туча, и он с точностью радара повернул голову туда, откуда раздался голос. Олбрайт стоял с виноватым видом.

— Мы тут с Диком...— промямлил он.

— Я сказал: мы будем счастливы! — рявкнул Элдридж.

— Отлично,— звонко проговорил Браун.— А теперь пройдите в свои номера, освежитесь.., Ja?

Им отвели десять одиночных номеров. Пять на одной стороне коридора и пять — на другой. Ключи повернулись в замках. Двери отворились, раздались возгласы изумления.

— Олбрайт,— повелительно произнес Элдридж, прежде чем исчезнуть за дверью. Олбрайт замер на пороге.— Помни, кто ты и что ты. И веди себя достойно, понял? Да, вот еще что: не вздумай писать в раковину, слышишь?

Клаус Доберман улыбался, демонстрируя отличные зубы. Он стоял, уперев руки в бока, расставив ноги, гордый и счастливый.

— Ну вот, джентльмены,— сказал он с театральным жестом,— на этом позвольте мне закончить.

Десять вспотевших, перепачканных англичан испустили общий радостный вздох

облегчения. Это было pièce de résistance[1] Брауна. Доберман в порыве энтузиазма устроил им трехчасовую экскурсию по мистбургскому мусоросжигателю.

Сначала их повели туда, где из отбросов извлекали металл, бутылки и прочее, после чего весь горючий мусор отправлялся в топку. Через глазки, закрытые темно-синим стеклом, они видели, как отбросы попадали в раскаленную камеру и сгорали ярким пламенем. Затем осмотрели котельную, откуда подавался пар для отопления нескольких жилых домов по соседству, а турбины питали электрическую сеть.

— Ну как, есть вопросы? — выкрикнул Доберман.

Пратт хотел было что-то спросить, но Элдридж потянул его за рукав.

— Э-э... я полагаю, герр Доберман, что нам не о чем спрашивать. В своей прекрасной и подробной лекции вы уже ответили на все вопросы, которые мы могли бы задать.

— Ни одного вопроса? — Доберман разочарованно насупился.

Пратт снова открыл рот, но Элдридж ткнул его в бок.

— Теперь можно ехать в Гамбург?— прошептал Олбрайт.

— Да, кстати, как насчет этого, господин мэр? — спросил Эрп.— Нам необходима передышка.

Часом позже их привезли обратно в отель «Гезандтер», и Браун заботливо распорядился подать в гостиной чай с сухим печеньем.

— Ну вот,— сказал Браун, усевшись и уютно сложив на животе руки.— Теперь вы видели наш город.

— Очень, очень красивый город,— заверил Элдридж.

Браун был просто счастлив.

— А что вам понравилось больше всего? Наш мусоросжигатель?

— Да-да,— ответил Элдридж.— Правда, друзья? Именно мусоросжигатель.

Все с неохотой закивали.

— Спортивный центр,— добавил Марк из чувства противоречия.

— Спортивный центр? — заволновался Браун.

— Да. Герр Браун, я бы хотел узнать о нем побольше. По правде сказать, я бы осмотрел его еще разок.

Браун всплеснул руками.

— Ну конечно же, мы...

— Да-да,— вмешался Элдридж,— мы все находим, что спортивный центр великолепен, но, герр Браун, я хотел просить вас об одном одолжении.

— Об одолжении? Меня? — нахмурился Браун.

— Э-э... да. Я... то есть некоторые из нас интересуются вашими планами на сегодняшний вечер. Видите ли, сегодня мы последний день в вашей замечательной стране, и нам очень бы хотелось... ну, повидать большой город Гамбург.

Браун помрачнел.

— Сегодня? Нет, джентльмены, я никак не могу. Я должен...

— Что вы! У нас и в мыслях не было вас утруждать. Мы можем поехать одни. Поездом... Ведь они ходят регулярно, я полагаю.

— Каждые десять минут до двух ночи, а потом до пяти — каждый час,— сказал Олбрайт и самодовольно ухмыльнулся.

— Видите ли,— добавил Элдридж, снова поворачиваясь к бургомистру,— мы теперь знаем все о вашем прекрасном городе. Дорога займет самое большее минут пятнадцать. Мы там попасемся немного. Заглянем в музей, в магазины сувениров... Надо же привезти домой какой-нибудь пустячок для жены.

— Пожалуйста, джентльмены, поезжайте.— Браун встал.— На сегодня я никаких планов не строил, зная, что вам завтра предстоит долгий путь. Поезжайте и развлекитесь.— Он усмехнулся и подмигнул.— Только имейте в виду: Гамбург — гнездо разврата. Не поддавайтесь искушению плотского греха... Ja?[2]

Элдридж рассмеялся с таким видом, будто подобное предостережение казалось ему совершенно абсурдным. Пратт и Планкетт возмущенно зафыркали.

— Постойте-ка! — вдруг сказал Браун.— Анна... Моя Анна отлично знает Гамбург. Может быть, вы желаете, чтобы она показала вам город?

— Не надо, Адольф. Честное слово,— поспешно ответил Элдридж.— Меньше всего на свете мы хотим беспокоить Анну. Она так заботилась о нас все эти дни.

---

[1] Главное блюдо *(франц.)*.
[2] Здесь: хорошо? *(нем.)*

Браун пожал плечами.

— А как вы, герр Белфорд? Вам что-то еще нужно в спортивном центре?

— Да,— кивнул Марк.— Я хотел бы уточнить некоторые детали... поговорить о расходах, об эксплуатации и так далее.

Элдридж обнял Марка за плечи.

— Он так увлечен своим делом, наш Марк. Этот молодой человек — председатель комиссии по делам спорта и досуга. Но все же едем с нами,— уговаривал он,— не будем разделяться в последний вечер. У нас еще все завтрашнее утро впереди. Поговоришь завтра об этих спортивных делах.

— Да, Марк,— поддержал Матти.— Посмотрим Гамбург.

— Нет,— сказал Марк решительно.— Лучше я еще раз осмотрю спортивный центр.

— Ну ладно, мне пора. Желаю хорошо развлечься.— Браун положил руку Марку на плечо.— Я все устрою. За вами зайдут... ну, скажем, в семь часов... Ja? С остальными мы вновь увидимся в девять утра... Доброй ночи, джентльмены.

— Доброй ночи,— ответил хор голосов.

Бургомистр Браун неторопливо направился в вестибюль отеля «Гезандтер», но по дороге обернулся. Депутация города Грэнтона устроила небольшую свалку вокруг стола в гостиной. Там были все, кроме Марка Белфорда. Браун передернул плечами и пошел дальше, улыбаясь приклеенной специально для швейцара улыбкой.

В гостиной Эрп вытащил карту Гамбурга, нашел нужный квадрат и повел пальцем вниз, потом в сторону.

— Здесь! — прошептал он.

— Вот оно! — заорал Олбрайт.

— Ох, ребята,— выдохнул Эрп.— Дайте мне только до них добраться. Сегодня вечером я уж заполучу какую-нибудь фройляйн.— Он по-прежнему тыкал пальцем в Хурбертштрассе — улицу публичных домов поблизости от делового Репербана.

— Этот бассейн соответствует олимпийским стандартам.

Марк слушал тихий, хрипловатый голос, но слова не доходили до сознания. Он смотрел с галереи для зрителей вниз, туда, где голубая вода плескалась о края бассейна, заставляя утонувшие отражения электрических огней раскачиваться в каком-то гипнотическом танце.

— Вам нравится?

Прикосновение руки заставило его очнуться. Анна Браун подняла брови.

— Вы завидуете нашему спортивному центру?

— Да, Анна. Если б я мог, я бы тут же взвалил его на спину и поволок в Грэнтон.

— А почему у вас в Грэнтоне нет бассейна? Может быть, скоро будет?

Марк снова посмотрел вниз.

— Может быть, скоро... а может быть, и никогда.

— О, непременно будет. У вас большой город. Вам нужно место для плавания. Вы сделаете так, чтобы оно было.

Марк не отрывал глаз от воды.

— Хочу попробовать, Анна. Хочу сделать что-нибудь для города... хоть что-нибудь.

Она кивнула.

— Потому вам это и поручили.

Они спустились вниз по лестнице, прошли мимо катка, мимо зеленой площадки для игры в шары и тира для стрельбы из лука.

— Ну вот,— сказала Анна.— Теперь вы все осмотрели. Весь мистбургский центр спорта и отдыха. Удачи вам, Марк.

— Спасибо, Анна. За экскурсию и за напутствие.

Она не отрывала глаз от ветрового стекла своей машины.

— Вы чем-то опечалены, Марк?

— А что, заметно?

— Да, заметно.

— Меня мучает бессилие... Бессилие. И стыд. И отчаяние.

— Почему?

Он слегка пожал плечами.

— Потому что я хочу сделать так много. С этими... с моими коллегами.

— Ваши друзья-советники не разделяют... ваших стремлений?

Марк невесело рассмеялся:

— Вы же видели, каковы они и как ведут себя. Один Матти болеет за дело.

— Ничего, успех сделает вас счастливым. Но поработать придется.

— Счастливым? Хорошо бы.

Она испытующе посмотрела на него.

— Вы недоговариваете.

Он взглянул ей прямо в глаза.

— Анна, вы не замужем.

— Была когда-то.

— Развелись?

Она кивнула.

— Тогда вы знаете, что в семейной жизни бывают не только радости.

— Да, это я хорошо знаю,— прошептала она.

В ее словах звучало и понимание, и собственная пережитая боль, и мягкое сожаление; Марку захотелось в этот короткий миг излить ей душу. Анна выслушает его и своим удивительным сочувствием принесет ему облегчение. В нем пробудилось желание, внезапная жажда близости, и не только физической,— близости, которая нанесет сокрушительный удар Еве. Она об этом никогда не узнает, но отныне, как бы она ни ярилась, как бы ни противилась его планам, победителем будет он.

— Наверное знаете, Анна!— выдохнул он.

И не очень уверенно придвинулся к ней. Она не отвернулась. Губы ее, теплые и упругие, ответили на его первое, легкое прикосновение. Он поцеловал крепче.

— Поедешь ко мне? — прошептала она, когда они оторвались друг от друга.

— Да, Анна, поеду.

Они молча доехали до улицы, находившейся всего километрах в двух от спортивного центра. От нетерпения Марка била дрожь. Он чувствовал, что Ева где-то рядом, хоть он и не видит ее. Он глядел на Анну, всматривался в ее черты. Может, она всего лишь игра воображения?.. Нет, она живая, из плоти и крови, и она хочет принадлежать ему. В ней одной спасение от всех бед на этом свете.

Окончание очередного пятиминутного номера в клубе «Афродита» было встречено энергичными аплодисментами, пронзительным свистом и пьяными возгласами. Невидимый киномеханик, которому до смерти надоела эта бесконечная оргия, пустил фильм задом наперед, отчего по крайней мере несколько пар затуманенных глаз изумленно заморгали.

Услышав аплодисменты, Элдридж поднял отяжелевшую голову и ухитрился дважды соединить ладони. Он увидел, как Шейн-Дункан с трудом встал и, шатаясь, поплелся к танцевальному пятачку. Герцог Йенсон пристроился возле бара с какой-то старой грымзой. Диксон, специалист по вопросам здравоохранения, восседал рядом с Элдриджем, удовлетворенно похлопывая себя по животу. Пьяный Олбрайт вразвалку гулял между столиками, пожимал руки мужчинам, целовался с девушками, не обращая внимания на призывы Матти Добсона, который сидел в углу с двумя хихикающими блондинками. Элдридж уже махнул рукой на Олбрайта. Пиво и обстановка размягчили его, перенесли в другой мир. Грэнтона не существовало. Был Гамбург — тихая, легкомысленная гавань наслаждения. Элдриджа окружали милейшие люди. Он посмотрел по сторонам, ища Планкетта и Пратта, но нигде их не обнаружил. Он быстро ощупал внутренний карман и смутно вспомнил, что эти двое ушли со своими новообретенными спутницами. Перед уходом Планкетт сунул ему толстую пачку банкнотов и шепнул:

— До встречи. Заплати из этих денег по счету. О'кей?

Элдридж посмотрел на затуманенное лицо Планкетта, на потухшие глаза под тяжелыми веками и предостерег:

— Главное, чтобы никто не подглядывал.

Планкетт кивнул; голова его так и осталась висеть между плечами.

— Пошли, Сэм,— умоляюще сказал Пратт.

У Элдриджа двоилось в глазах. Он попытался сфокусировать взгляд на Диксоне Неожиданно он сообразил, что Диксон без девушки. Все уже нашли себе партнерш, кроме Диксона и его самого.

Возле бара появился Олбрайт. Он подошел сзади к Йенсону и с громким смехом обнял его. Потом ухватился за даму и приник лицом к вырезу ее блузки.

— Хорошо проводите время? Да? — Олбрайт повернулся к какому-то незнакомцу.— Мы хорошо...

Незнакомец улыбнулся. Он пил шнапс и с веселым любопытством разглядывал Олбрайта.

— Вы Engländer? [1]

— Я Engländer! Да!—закричал Олбрайт и замахал руками над головой.— Я и мои друзья — мы все Engländers.

— Вам нравится наш Гамбург?

— Город как город. Ньюкасл лучше,— пожал плечами Олбрайт.

— А-а, Ньюкасл. Я так и думать, что вы с севера.

— А как вы догадались, что мы с севера?

Немец улыбнулся.

— Много лет назад я бывал в вашей стране... во время войны.

— А-а, военнопленный.

Немец поджал губы.

— Нет... Я был капитан подводной лодки.

— Капитан подводной лодки? — переспросил Олбрайт.

— Да, я знать все побережье Северной Англии. Тис, Хартлпул, Тайн и Блит. В Блите была база подводных лодок.

Олбрайт качнулся на каблуках. Его вдруг разозлили и слова этого незнакомца, и то, как он держится.

— Эй, Герцог, Матти! Тут один тип знает север Англии.

Герцог оторвался от своей дамы и пошел к бару. Матти тоже нехотя вылез из угла.

— Вот он говорит, что плавал на подводных лодках,— насупившись, пояснил Олбрайт.— Знает все побережье.

Спутники Олбрайта посмотрели на немца без всякого интереса, и тому пришлось повторить:

— Ja, капитан подводной лодки. Я посещать Англия во время войны. Но не пленный.

Подошел Элдридж.

— Как вы могли посещать Англию во время войны, если не в качестве пленного? — подозрительно осведомился он.

Немец самодовольно усмехнулся:

— Это было просто. Я знать берег очень хорошо — Саут-Шилдс, Сандерленд... все города.

Элдридж отступил на шаг. Глаза его чуть сузились.

— Сколько кораблей ты потопил, фашистский ублюдок? — загремел Йенсон.

— Я думаю, немного. Но ведь это было во время войны, друзья.

— Мы тебе не друзья, фашистская сволочь,— рявкнул Олбрайт.

По лицу немца пробежала тень. Подняв брови, он посмотрел на Элдриджа.

— Ваш приятель довольно груб, ja?

У Элдриджа вдруг заныла нога.

— Мой приятель совершенно прав.

— Как ты мог бывать в Англии во время войны? Ты такое же дерьмо собачье, как твой Гитлер,— отрезал Олбрайт.

Немец набрал воздуха и поднялся на носках, стараясь казаться выше.

— Я рассказать вам. Попасть в Англию было просто. Мы всплывать на подводная лодка. Ни кораблей, ни мин — ничего. Мы в километр от берега. Четверо садятся в резиновая лодка и к берегу. Вы знает бар «Красный лев» на Коуст-роуд в Саут-Шилдс? Мы заходить... брать пинта английский пиво... никто ничего не подозревайт. Мы плывем обратно к подводная лодка... очень просто... много смеяться.

Некоторое время англичане потрясенно молчали.

Олбрайт первый собрался с мыслями.

— Понятно,— усмехнулся он.— Слушай, ты, джерри. Ты плавал на подводной лодке, зато я летал на бомбардировщике.

Немец недоверчиво фыркнул.

[1] Англичанин *(нем.)*.

— Летал, черт возьми! И еще знаешь что? — Он ткнул пальцем в мягкую кожаную грудь незнакомца.— В тот самый вечер, когда ты со своей немчурой сидел в нашем баре и сосал наше пиво, знаешь, где я был в моем бомбардировщике? Здесь! Над этим поганым городом... и бросал бомбу за бомбой на таких, как ты! Потому-то вы и просадили войну!

Немец неожиданно провел апперкот; раздался треск, точно выстрелили из пистолета. В ту же секунду Дункан сгреб в охапку плюгавого капитана подводной лодки, а Йенсон двинул ему в правое ухо. Элдридж мгновение стоял неподвижно, глядя, как какой-то совершенно посторонний человек набросился сзади на Диксона. Потом у него вдруг кольнуло в левой почке, и он потерял равновесие. Все стало крениться набок. Звон бьющегося стекла и женские крики заглушили грохот музыки. Он ничего уже не видел, кроме работающих кулаков. Ад и третья мировая война вырвались на свободу.

Телефонный звонок вспорол ночное безмолвие; Марк Белфорд мигом сбросил с себя дремоту и сел в постели, а следом за ним и Анна. Она включила свет и сняла трубку. Марк отвернулся, чтобы не видеть ее нагого тела, и украдкой посмотрел на часы. Почти половина третьего. Анна быстро заговорила по-немецки, потом сказала ему:

— Вставай! Нам надо ехать. Это звонил отец.

— Куда ехать?

— В отель. Отец будет там через десять минут.

— А что случилось?

Анна спрыгнула с кровати.

— У твоих друзей неприятности с полицией. Они в полицейском участке в Гамбурге. Ты должен поехать с отцом.

Марк поспешно последовал ее примеру, гадая, что же такое могло случиться. Он потянулся к вороху своей смятой одежды, но не мог удержаться, чтобы не взглянуть на одевающуюся Анну. Хотел проверить, потянет ли его к ней так же, как и раньше.

Когда через двадцать пять минут он узрел своих коллег, то почувствовал такое отчаяние и стыд, что все мысли об Анне рассеялись как дым. По дороге в Гамбург он вполуха слушал путаный рассказ Адольфа Брауна о случившемся. Браун гнал микроавтобус так, словно каждая секунда была на вес золота. Он то и дело переходил на гортанный немецкий и никак не мог поверить, что вся эта нелепая история произошла на самом деле. Что не кого-нибудь, а именно его гостей угораздило попасть в кутузку за драку в общественном месте.

В полицейском участке на углу Репербана и Давидштрассе царила непривычная тишина. Двух упившихся до бесчувствия французов вытащили из лужи и бросили в камеру протрезвиться. Напротив, в эротическом центре мальчишка стащил сумочку. Убегая, он споткнулся и в кровь разбил лицо об угол дома. Два матроса поколотили владельца ресторана. Кто-то попытался изнасиловать старуху с Хурбертштрассе. Поступило три заявления об угоне машин. Словом, ночь была тихая.

Дежурный полицейский поднял глаза на стенные часы. Лицо его выражало внутреннюю убежденность, и когда зазвонил телефон, он совершенно спокойно снял трубку. Было два часа двенадцать минут. Он не испытывал и тени сомнения, что рано или поздно здесь соберется именно то количество «клиентов», которое необходимо, чтобы статистический график во всех случаях оставался прямой линией. Самодовольно улыбаясь, слушал он голос в трубке. Потом бросил ее на рычаг и соединился с пунктом радиосвязи.

В два двадцать три Эгберт Элдридж, мэр города Грэнтона, стоял впереди своей свиты, состоявшей из пяти человек, и требовал, чтобы их освободили. Лицо у него было красное от гнева, левый рукав оторван, на плече из пиджака торчал клок ваты, а над бесформенно спадавшими штанами сиротливо нависала сорочка. Аксель Зедер разглядывал ввалившуюся в дежурную часть шестерку терпеливо и без малейшего интереса.

— Я требую, чтобы нас освободили! — кипятился Элдридж.— Я мэр Грэнтона. Мы гости вашего города Мистбурга. На нас напали и избили. Я мэр. Мэр! Бюргермайстер, ja? Бюргермайстер.

— Bürgermeister?— пожал плечами Аксель.

Элдридж улыбнулся. Дело идет на лад.

— Ja. Ja, бюргермайстер.

Но тут послышался какой-то шум, громкие злобные выкрики, дверь распахнулась, и Планкетт и Пратт присоединились к своим товарищам. У Планкетта на ухе и волосах запеклась кровь. Пратт был без пиджака. При виде друзей он расплакался. Вставную челюсть он потерял и пускал носом кровавые пузыри.

— Боже милостивый! — задохнулся Элдридж.— Что с вами случилось?

— Нас ограбили...— всхлипнул Планкетт.— Эти две шлюхи привели своих дружков. Они накинулись на нас... избили... и ограбили. Бумажники забрали... все, что было!

— О господи, я уж думал, нас там прикончат... так и сгинем в этой проклятой дыре! — Пратт обхватил руками голову.

— Телефон! Где телефон? — закричал Элдридж, прикладывая к уху воображаемую трубку.— Герр Браун, бюргермайстер Мистбурга, о'кей?

— Не говори ему! — взвыл Планкетт.— Только не Брауну!

— У нас нет выхода, черт возьми,— огрызнулся Элдридж.— Иначе нам не выпутаться. Где телефон? Прошу вас! — взмолился он.

Зедер вздохнул и внезапно с тоской понял, что относительное статистическое благополучие окончательно нарушено этим происшествием.

— Ja,— сказал он, указывая на аппарат...

Адольф Браун крепко спал. Но вот что-то зашевелилось в глубине его спящего сознания. Прошло несколько секунд, прежде чем он проснулся и понял, где он и что происходит. Это был телефон... телефонный звонок. Браун заморгал, сел и пошлепал губами. Одной рукой он снял трубку, а двумя пальцами другой протер глаза.

— Браун,— сказал он зевая. И тут же лицо его посуровело. Он окончательно проснулся. Глаза широко раскрылись.— Где, где вы? Все вместе? Но... но каким же образом? — Он стиснул зубы.— Дайте мне полицейского.— Разговор длился несколько минут. Зедер то улыбался, то хмурился между очередями долетавших из трубки фраз. Потом трубку передали Элдриджу. Голос Брауна звучал сухо: — Все в порядке. Я удостоверил ваши личности. Вас освободят. Но придется подождать. Я приеду за вами и еще раз поговорю с полицейским.

— О, Адольф, спасибо вам! — Элдридж повернулся к остальным.— Мы свободны. Браун едет за нами. Вот славный человек.

— Он всем раззвонит,— заныл Планкетт.

— Ни в коем случае. Я его предупрежу.

Снаружи опять послышался шум. Дверь распахнулась, и они увидели Ричарда Эрпа, которого с трудом удерживали двое дюжих полицейских. С плеч у него свисало серое одеяло, а вся одежда состояла из красных носков. Ни очков, ни вставных челюстей не было и в помине, а глаза заплыли и превратились в щелочки на мертвенно-желтом лице. Его арестовали, когда он шел голый и, видимо, пьяный, прямо по Репербану, среди движущихся машин.

— О господи! — взвыл Элдридж.— Дик, что с тобой стряслось?!

— Хлороформ,— прохрипел Эрп.— Они усыпили меня и бросили в канаву на улице. Они...— Голос его сорвался на крик.

Аксель Зедер нахмурился, медленно покачал головой и снова окинул взглядом кучку англичан. Странно как-то... Голос на другом конце провода — явная липа. Конечно, никакой бургомистр Мистбурга не явится за этим жалким сбродом. Он снова внимательно посмотрел на них и поморщился. «Пропади она пропадом, проклятая статистика»,— подумал он.

«Трайдент» летел на юго-запад, высоко над Северным морем. Члены грэнтонской комиссии по здравоохранению жевали ленч, состоявший из тушеного мяса с овощами, запивая его отличным красным вином. Мыслями они были уже в Грэнтоне и отгоняли воспоминания, дабы выглядеть благопристойно и радостно. Но если внутреннее очищение и совершилось, то внешний вид путешественникам изменить не удалось. Стюардессы, подавая ленч, глядели на них с изумлением. Элдридж вполне понимал их любопытство. Особенно живописно выглядели Планкетт и Пратт — сплошные кровоподтеки и ссадины. У Диксона распухла и посинела губа, у Матти Добсона — тоже. У Йенсона разнесло щеку. А Ричард Эрп весь сгорбился и съежился, глаза совсем заплыли; есть

он не стал и только крепко сжимал губы, чтобы, не дай бог, не проговориться о том, что было с ним вчера вечером.

Элдридж подозвал стюардессу.

— Попали в аварию.

У стюардессы вытянулось лицо, и она понимающе кивнула. Элдридж болезненно улыбнулся.

— Нам еще повезло. Ехали на микроавтобусе... и перевернулись прямо на шоссе. Слава богу, хоть живы остались.

Стюардесса сказала ему какие-то сочувственные слова и пошла дальше по проходу. Элдридж был доволен. История звучала вполне правдоподобно. Бургомистр Браун на прощание помахал им рукой, обещал подтвердить их версию и в сотый раз повторил Элдриджу и Планкетту, что только нелепейшее и несчастное стечение обстоятельств могло привести их на Репербан и в клуб «Афродита». Когда реактивный лайнер с ревом взлетел и начал удаляться от аэропорта Фульсбюттель, бургомистр Браун в последний раз вяло махнул рукой и неискренняя улыбка сошла с его лица. Он повернулся к Хольсту и Доберману. В глазах обоих светилось блаженное облегчение. Браун потрепал каждого по плечу, вздохнул и быстрым шагом направился к своей машине.

— А вот и Грэнтон,— сказал Матти.

Они приземлились, и самолет побежал к зданию аэропорта. Элдридж дал последние указания.

— Так помните: ни слова о Гамбурге. Мы попали в аварию, но отделались синяками. Олбрайт! Ты все понял?

Олбрайт тупо кивнул.

Они прошагали по бетонированному полю и вышли на площадь перед аэропортом.

Ригби, шофер муниципалитета, уже шел им навстречу. Планкетт собрался отбарабанить заготовленное объяснение, но не успел.

— Мистер Планкетт,— прошептал бледный и мрачный Ригби.— Хорошо, что вернулись. И вы, мистер Элдридж.

— Что стряслось, Чарли? — нахмурился Элдридж.

— Беда, сэр... Несчастный случай...

— С кем? Что... что случилось? — с тревогой спросил Марк.

— Мальчик утонул... Альфи Троттер... мальчик со Скрогг-роуд...

Марк почувствовал, что силы покидают его.

— Альфи Троттер... утонул... Где?

Он знал ответ прежде, чем Чарли Ригби открыл рот.

— Упал в Даттоновский пруд вчера вечером,— сказал Ригби мрачно.

(Окончание следует)

Из китайской классической поэзии

Перевод с китайского и комментарий Л. ЭЙДЛИНА

Печаль и успокоение поэта

Китайскую поэзию VII—IX веков принято называть танской по династии Тан, правившей огромным централизованным государством с 618-го по 907 год. Танская лирика отмечена печалью. Для печали у нее есть много слов — ку, чоу, ю, хуань, бэй, чоучан, тун, шан, тань, цзе... Сила такой поэзии в сочувствии, которое вызывает поэт. «Когда, печалью вдохновенный, Певец печаль свою поет, Скажите: отзыв умиленный В каком он сердце не найдет?» — сказал Баратынский.

Одна из тем танской лирики — печаль о неизбежном уходе человека из жизни. И поскольку возникает эта печаль задолго до настоящей старости, то сначала ложится на нее не тень телесных недугов, а отсвет душевных радостей поэта. Жизненные тревоги, постоянные расставания с друзьями — поэтами и собеседниками,— посылаемыми на государственную службу в отдаленные края, временность самого пребывания на земле, но и радующая вечность вселенной с «десятью тысячами вещей» в ней — таковы наиболее явственные общие признаки танской лирики, приобретающие индивидуальные черты в творчестве каждого поэта.

В начале танской поэзии стоят ранние поэты танского времени — «четыре выдающихся таланта» (Лу Чжаолинь, Ло Биньван, Ян Цзюн и Ван Бо) и многие другие китайские чиновники и военачальники, чья карьера полна превратностей.

Лу Чжаолинь (650?—689?) провожает друга, уезжающего на службу в Шу — нынешнюю провинцию Сычуань.

Ло Биньван (ум. в 684 г.) провожает друга на берегу знаменитой реки Ишуй. На реке Ишуй в III веке до н. э. Дань, наследник престола страны Янь, провожал героя Цзин Кэ, уезжавшего в государство Цинь для того, чтобы убить свирепого Ина, государя этой страны, будущего Цинь Ши-хуана, основателя династии Цинь. В «Исторических записках» Сыма Цяня (II—I вв. до н. э.) приведена песня, которую пел Цзин Кэ: «Сильный ветер шумит, шумит, Ах, в Ишуй холодна вода. Храбрый муж как отправится в путь, Так уже не вернется сюда!» Столь трагичен был дух проводов, что «у храброго мужа» волосы встали дыбом и подняли шапку. Цзин Кэ погиб. Попытка его не удалась.

Ян Цзюн (650—695?) пишет о тревогах войны, о пламени сигналов над западною столицей. Сигналы — костры, зажигавшиеся для извещения о набеге врага. Западная столица — Чанъань (ныне Сиань) на западе Китая, в отличие от восточной столицы — Лояна. Знак полководца — костяная пластина, половина которой оставалась в государевом дворце, вторая же половина давалась полководцу в знак его полномочий. Стены Дракона — место ежегодных всеобщих сборов племен сюнну для принесения жертвы Небу.

Ван Бо (649—676) провожает друга в Шучжоу — нынешний уезд Чунцин в провинции Сычуань. Тройной Цинь (три удела, на которые в древности была разделена земля Цинь) — окрестность Чанъани, откуда Ду отправляется на службу в Шучжоу (к Пяти Переправам на реке Янцзы). Меж Морями (Среди Четырех Морей) — весь Китай, в котором чиновник по велению государя может быть послан на службу далеко к краю неба, то есть туда, где небо смыкается с землей.

ЛУ ЧЖАОЛИНЬ

Провожаю Второго старшего брата, уезжающего в Шу

С заставами горы
ждут путника на дорогах.

В веселых забавах
цветет государев город...

На проводах этих
как только разняли руки,

Глядим расставаясь —
друг друга жалеем молча!

ЛО БИНЬВАН

Провожаю на реке Ишуй

На этом же месте
прощался он с Яньским Данем.

У храброго мужа
ударили волосы в шапку...

Времен тех прошедших
людей на земле не осталось.

Речная сегодня
вода холодна как прежде!

ЯН ЦЗЮН

В походе

Пламя сигналов
над западною столицей.
Сразу на сердце,
конечно, от них тревога.

Знак полководца
выносим из Врат Дворцовых.
Латников конных
мы ставим вкруг Стен Дракона.

В темени вьюжной
узоры знамен поблекли.
В ветре все время
нам слышен бой барабанов...

Все же в походе
командовать просто сотней
Лучше, чем дома
сидеть одному за книгой!

ВАН БО

Провожаю Ду, уезжающего в Шучжоу на должность шаофу — помощника правителя уезда

Чанъаньские башни —
Тройного Циня начало.
Сквозь ветер с туманом
те Пять Переправ я вижу.

Мой друг, нам с тобою
расстаться настало время:
Мы оба по службе
скитальцы, в странствиях
частых...

Когда Меж Морями
нам кто-то душевно близок,
У края ли неба,
и то он как будто рядом,

И значит, не будем,
прощаясь у поворота,
Как малые дети,
платки поливать слезами!

Печаль Бо Цзюйи (772—846) унаследована от предшественников, живших по крайней мере за полтора-два века до него. Они провожали друзей, скорбя об ушедших. Бо Цзюйи прощается с Вэйчжи — самым близким своим другом, поэтом Юань Чжэнем (второе имя которого Вэйчжи), а после смерти Юань Чжэня с болью вспоминает о нем. Уходят друзья, и улетает журавль, по которому поэт тоскует как по другу. Расставанье может быть недолгим, но огорчает и оно, потому что мешает разделить радость наслаждения природой с другом-поэтом Ли Цзянем (764—821), одиннадцатым в роду Ли.

白文公

БО ЦЗЮЙИ

За ужином отвечаю Вэйчжи

Обитаю в селенье
от Чжэцзяна на запад я.
Уезжаешь на службу
на восток от Чжэцзяна ты.

Ты зачем повторяешь:
«Нас разделит одна река».
Но она между нами
ляжет далью в тысячу ли!

Из богатых и знатных никто не будет
там тебя вином угощать.
На прощальном пиру за меня сегодня
выпей все, что в чарке твоей!

Слушаю певицу, запевшую стихи Вэйчжи

Он новых не пишет больше стихов,
умолкла слава о нем.

На старые свитки насела пыль,
и книжный ларец глубок...

Но стоит мне только средь песен вдруг
услышать одну строку —

Еще не успею ее узнать,
а сердце уже болит!

Потерял журавля

Так из глаз он исчез,
как сошедший у дома снег.
Улетел высоко
он подхвачен ветром морским.

В девяти небесах
не подругу ли он нашел?
Вот три ночи уже
как пустует клетка его.

Оборвался и крик
средь лазоревых облаков,
Потонула и тень
глубоко в сиянье луны...

В управленье своем,
с той поры как журавль пропал,
С кем часы коротать
седовласому старику?

Пишу в восточной беседке Ли Одиннадцатого

С мыслью о друге в вечер осенний
средь сосен я постою.

Пенье сверчка и звуки цикады
мне тут же наполнят слух.

Я огорчен: в восточной беседке
такие ветер с луной,

Сам же хозяин нынешней ночью
еще в Фучжоу гостит!

Есть еще печаль одиночества. Поэт один на дороге в праздник Холодной пищи, один в лодке, в храме, ночью в беседке. Он декларирует свое одиночество и свою печаль, которой он, кажется, больше рад, чем огорчен ею. Он знает и лекарство от печали — буддийское созерцание, «чань». Нет необходимости уходить от людей: наоборот, воспитание сердца в миру и есть самое большое подвижничество. В стихотворении «Срединное отшельничество» Бо Цзюйи говорит: «Великий отшельник живет при дворе и в городе, А малый отшельник уходит в далекие горы». Мудрецы и поэты Тао Цянь (Тао Юаньмин) и Юй Синь примером тому, что просторы сердца дороже просторов имущественных.

Праздник Холодной пищи в пути

С дороги во время Холодной пищи
последний путник исчез,

И только один в весенней печали
у края дороги я

Верхом на коне, с опущенной плетью,
печалюсь молча, без слов...

А ветер повеял — всех трав душистых
донесся запах с полей.

Ночь в лодке. Жене

Трехкратный раздался крик обезьян —
и слезы по дому лью.

В одном небольшом челноке-листке
больное тело плывет.

Не надо, припав к окну над водой,
на юг и север глядеть:

Сияет луна иль во мгле луна —
она печалит меня!

В Тушаньском храме гуляю в одиночестве

На пустынных тропинках
здесь со мною спутника нет.

В горной келье монаха
я надеюсь ночь провести...

Как сюда приезжаю,
как обратно еду домой,

Кроме храма в Тушани
знают лишь копыта коня!

Ранней весной поднимаюсь на Тяньгунгэ — Башню Небесного Дворца

И башня Тяньгун, и погожий день,
и двери отворены...

Один я поднялся почтить весну
единой чарой вина.

Гуляющий неисчислимый люд
глядит, удивляясь мне:

Чего это самый старый из всех
всех раньше сюда пришел?

Ночую в северной беседке

В немой тишине
у прохладной стены кровать.

За шелком цветным
догорающая свеча...

И ночь настает —
я один в беседке лежу,

А чудится мне,
что я в храме буддийском сплю.

В запретном государевом дворце

Вход запрещен —
недвижны все девять врат.

Окна тихи,
свободна зала одна.

Лучше всего
воспитывать сердце здесь.

Незачем жить
вдали от людей, в горах!

Мой маленький домик

Мой маленький домик
к деревне стоит вплотную,
Сквозь редкую изгородь
вижу собак и кур,

Канавы отводят
от южных улочек воду,
И окна вбирают
усадьбы северной вид...

Владеньем Юй Синя
был крошечный сад, и только,
Семья Тао Цяня
была стеснена нуждой...

Нам так ли уж нужно
доискиваться просторов,
Тогда как просторно
должно быть в самих сердцах!

Добрая поэзия Бо Цзюйи, автора поэм о женской судьбе, не могла пройти мимо печальной жизни Ван Чжаоцзюнь. Ван Чжаоцзюнь — одна из красавиц ханьского государя Юань-ди (I в. до н. э.), пожелавшая быть отданной замуж за шаньюя (вождя) сюнну и в 33 году до н. э. уехавшая с ним в страну варваров-«ху». По-иному объясняет это событие народная версия, окружившая жизнь Ван Чжаоцзюнь легендами. Государь будто бы повелел художнику нарисовать портреты всех дворцовых красавиц. Одна из всех Ван Чжаоцзюнь, уверенная в своей красоте, не пожелала от себя заплатить художнику, и он отомстил ей тем, что изобразил ее уродливой. Когда появилась необходимость породниться с сюнну, государь по портретам выбрал худшую из своих женщин — Ван Чжаоцзюнь. Призвав ее к себе, он восхитился ее красотой и ужаснулся своему выбору, но было уже поздно. Именно эта версия легла в основу множества (до шестисот) китайских стихотворений разных времен.

Ван Чжаоцзюнь

I

Хуский песок ударял в лицо,
ветер шумел в висках.

Слиняли остатки сурьмы с бровей,
румянец сошел со щек.

Злая тоска, непосильный труд
ее изнурили так,

Что стала теперь похожа она
на свой дворцовый портрет.

II

Ханьский посол уезжал домой —
велела ему узнать,

Дождется ли дня, чтоб желтый металл
бабочки-брови спас.

«Если же спросит вдруг государь,
красива ль его раба,

Не смей говорить, что уже не та,
какой во дворце была!»

В старости приходит жажда успокоения. А когда начинается старость? Задумывается о ней китайский поэт не позднее сорока, а в пятьдесят созревает желание покинуть службу. В третий год Тайхэ, то есть в 829 году, когда Бо Цзюйи «обосновался на озере», ему было пятьдесят семь лет. В сочинении «На озере», написанном в старинной манере, с предисловием, четырехсловными стихами, он рассказал больше о своем идеале (в развитие идей почитаемого им поэта Тао Юаньмина), чем о совершавшемся в действительности. В предисловии Бо Цзюйи называет себя вторым именем — Лэтянь и говорит о себе то в третьем, то в первом лице.

Спрашиваю себя

Черные точки в моих глазах,
и вся голова бела.

Из-за болезней я одряхлел,
к болезням вела печаль.

Также чиновной дороги вкус
испытан мной до конца...

Мне в пятьдесят если не отдохнуть,
когда же я отдохну?

На озере

Самые прекрасные воздух, земля, вода и деревья Лояна находятся на юго-восточной его стороне. Самое прекрасное место юго-восточной стороны — это деревня Лидаоли. Самая прекрасная часть деревни — северо-западный ее угол. Первое владенье у западных ворот перед северной стеной — это и есть жилище семьи Бо, принадлежащее ушедшему в старости на покой Лэтяню. Всего в усадьбе семнадцать му. Одна ее треть — строения, одна пятая — вода, одна девятая — бамбук, а среди них — островки, деревья, мосты, дороги...

Как хозяин, радуясь всему этому, Лэтянь сказал: «Хотя и есть здесь террасы и башенки, но без зерна не воспользоваться ими» — и построил к востоку от озера амбар. А потом сказал: «Хотя и есть здесь молодое поколение, но без книг не воспитать его» — и воздвиг к северу от озера книгохранилище. После чего сказал: «Хотя и гостят здесь друзья, но без циня и без вина не развлечь их» — и поставил к западу от озера беседку для игры на цине, расположив в ней каменные винные чаши.

Когда Лэтянь ушел с должности правителя Ханчжоу, он взял с собою один камень с вершины Тяньчжу и двух журавлей из Хуатина. Тогда же построил Западный ровный мост и провел дорогу вокруг

озера. Когда ушел с должности правителя Сучжоу, то взял с собою камень с озера Тайху, белый лотос, «гнущий спину» водяной каштан, черную дощатую лодку. Тогда же построил Срединный высокий мост, соединив им три островка. Когда ушел с должности шилана, заместителя начальника Уголовной палаты, то было у него зерна тысяча ху, книг одна повозка и слуг, владеющих искусством пения и игры на свирелях, ударном цине и струнных инструментах, всего пальцев сто, с чем и вернулся к себе. Тогда же инчуаньский Чэнь Сяошань подарил выдержанное дворцовое вино отличнейшего вкуса, болинский Цуй Хуэйшу подарил цинь чистейшей настройки, Цзян Фа, гость из Шу, научил мелодии «Осенние думы» спокойнейшего звучания, хуннунский Ян Чжэньи подарил три черных камня — прямоугольных, ровных, гладких,— на которых можно и сидеть и лежать.

Летом третьего года Тайхэ, получив приглашение быть гостем наследника престола, Лэтянь был назначен в Лоян и обосновался на озере. Все приобретенное на трех должностях, все подаренное четырьмя лицами и я сам, бесталанный человек,— все сегодня стало принадлежностью озера. И всегда — утром ли, когда на озере с ветром весна, когда на озере осень с луной и над водою распускается благоухающий лотос, вечером ли, когда роса чиста и кричит журавль,— провожу рукой по камню Яна, поднимаю чарку с вином Чэня, беру цинь Цуя, играю «Осенние думы» Цзяна, и так отдаюсь наслаждению, и забываю обо всем прочем. Охмелев от вина и отставив цинь, призываю отроков — певцов и музыкантов — взойти в беседку Срединного острова и хором исполнить «Из радуги яркий наряд». Звуки уносятся вслед за ветром, то застывают, то рассеиваются и вдали, среди деревьев бамбука, дымкой подернутых волн и луны, остаются надолго...

Песня не кончилась, а Лэтянь в веселье своем уже пьян и заснул на камне. Встав ото сна, запел вдруг родившиеся слова. Племянник Агуй взял кисть и записал их на камнях. Взглянув на неуклюжие мои строфы, даю им название — «На озере».

Всего десять му
занимают строенья,
И всего пять му
занимает сад.

Есть и воды
одно озерко.
Есть и бамбука
тысяча деревьев...

Не говори,
что земля тесна.
Не называй
ее захолустьем:

Хватит ее
колени вместить.
Хватит ее
плечам дать отдых!..

Есть там и дом,
есть и беседка,
Есть и мосты,
есть там и лодка,

Есть там и книги,
    есть и вино,
Есть там и песни,
    есть там и струны,

Есть и старик
    посреди вещей,
Чью белую бороду
    треплет ветер.

Доволен дòлей
    и помнит меру,
А сверх ничего
    ему не надо:

Словно птица,
    выбирая дерево,
Старается сделать
    гнездо укромней,

Как черепаха,
    зарываясь в ямку,
Знать не знает
    просторов моря...

Чудесный журавль,
    причудливый камень,
Лиловый каштан,
    белый лотос

И все, что меня
    привлекало в жизни,
Оно целиком
    передо мною...

Выпью подчас
    немного вина,
Вслух прочитаю
    стихотворенье.

Жена и дети
    весело дружат.
Собаки и куры
    снуют повсюду...

И как мне покойно!
    И как я счастлив!

Я старости годы — все, что остались,—
    проведу на этом приволье!..

■

Критика

Н. ПРОЗОРОВА

ТЕАТР НАДЕЖДЫ И ОТЧАЯНИЯ

Североирландская политическая драма 70-х годов

Хотя вот уже почти пятнадцать лет в Северной Ирландии громко говорят пушки, музы — вопреки пословице — не только не умолкли, но обрели такую силу голоса, какой они не знали в более спокойные времена. И в первую очередь это относится к драме — искусству, природа которого требует остроты конфликтов, напряженности противоборства. В 70-е годы сама трагическая, исполненная острейших противоречий действительность Ольстера подталкивала драматургов к освоению нового материала. А материал задевал за живое и был настолько «неотстоявшимся», что художник порой ощущал перед ним смятение и растерянность.

Симптоматично в этом отношении высказывание одного из самых значительных драматургов ирландского Севера Брайена Фрила в интервью корреспонденту «Айриш таймс»: «Не думаю, что я смогу написать об этом — о положении на Севере. Во-первых, потому, что меня это слишком волнует в плане эмоциональном; во-вторых, потому, что в настоящее время ситуация отличается незавершенностью. Пьеса о движении за гражданские права на Севере, мне кажется, будет написана не раньше, чем лет через десять или пятнадцать»[1].

Однако уже в марте 1971 года в Белфасте состоялась знаменательная премьера: на сцене Лирического театра была поставлена пьеса Джона Бойда «Квартиры» — первый отклик на трагедию белфастских будней. А еще через два года сам Б. Фрил написал «Почетных граждан», как раз ту пьесу «о движении за гражданские права», появление которой он еще недавно считал делом не такого уж близкого будущего. Эти две пьесы открывают новый этап в развитии ирландской драмы, отличительной приметой которого оказывается явно выраженная политизация театра, обращение его к жгуче-злободневной проблематике. Главной темой для североирландских драматургов стали те многообразные проявления острейшего социально-политического кризиса, начало которому положили события осени 1968 года, когда в Дерри полиция открыла огонь по безоружной демонстрации борцов за гражданские права.

Ирландский политический театр 70-х, бесспорно, вырастает из трагического опыта самой действительности этого десятилетия. Но предпосылки для его появления были заложены раньше, в период, охватывающий конец 50-х — 60-е годы. Это было время, когда в ольстерском театре — после десятилетий застоя — повеяло свежим ветром перемен: на белфастской сцене появляются пьесы с ярко выраженным — и для Северной Ирландии очень актуальным — социальным звучанием, пьесы о рабочем Белфасте с его трагическими конфликтами, ибо действительно «нигде в Европе рабочий класс так не разделен и не отчужден»[1], как здесь. Авторами их были вчерашние рабочие, знавшие то, о чем пишут, не понаслышке (Сэм Томпсон, Стюарт Лав, Хью Куинн). Самая яркая фигура среди них, безусловно, Сэм Томпсон, безвременная кончина которого в 1965 году была воспринята в Ольстере как серьезнейшая утрата для североирландской драмы. Его дебют — пьеса «За мостом» (1957) — для истории североирландского театра событие не менее важное и поворотное, нежели в истории английского появление «сердитого героя» Джона Осборна. В ней была беспощадно изображена самая опасная болезнь Северной Ирландии — сектантская нетерпимость и фанатизм, болезнь, заразившая и ее рабочий класс.

Анамнез этого недуга неразрывно связан с историей колонизации Ольстера, когда англичане последовательно проводили политику, обеспечивавшую господство протестантов (завоевателей) и позволявшую дискриминировать католиков (завоеванных). Религиозные одеяния маскировали различия социальные и политические, и лживый лозунг «религиозных традиций» всегда использовался правящей юнионистской верхушкой для того, чтобы расколоть рабочий класс Ольстера, внушить рабочему-протестанту азбуку извращенных социальных понятий: единоверец-предприниматель — его союзник, а такой же рабочий, но другой веры — враг. Уродливые проявления сектантства в рабочей среде изображены в пьесе Томпсона во всей их отталкивающей жестокости, но главное в ней — другое. Драматург чутко уловил в ольстерской действительности симптомы обнадеживающих перемен — растущую тягу рабочих к единству. Герой его пьесы, рабочий-протестант, один из руководителей проф-

[1] «The Irish Times», 1970, February, 12, p. 14.

[1] Пьесы Джона Бойда цитируются по изданию: John Boyd. Collected Plays. Belfast, Blackstaff Press, 1981.

союза рабочих белфастской судоверфи Дэви Митчел, бросает вызов разъяренной толпе фанатиков-протестантов, защищая право на труд для своего товарища по работе, католика Питера О'Бойла, и погибает во имя высокой идеи единства.

Вскоре после смерти Томпсона в передаче белфастского радио, посвященной памяти драматурга, писатель Мартин Макбёрни так определил значение его дебюта: «Оглядываясь сейчас назад, можно более ясно представить, почему эта пьеса оказала такое воздействие. Джордж Шилз, Сент-Джон Эрвин и многие менее значительные знаменитости господствовали в театре Ольстера более тридцати лет. Они хорошо знали свое ремесло, и действие их пьес разыгрывалось на кухне или в гостиной, а представления их героев выглядели — по теперешним стандартам — несколько старомодными и слегка отстраненными от действительности. Пьеса «За мостом» разрушила кухонную стену и показала со сцены улицы и верфи. Семейные ссоры между отцами и детьми, к которым так часто обращались драматурги старшего поколения, были вытеснены мучительными спорами и конфликтами героев, отравленных фанатизмом и нуждою. Были обнажены все самые уродливые стороны нашей общественной жизни, и театр Ольстера уже не мог оставаться прежним»[1].

Ольстерский театр 70-х годов наследует этот интерес к жгучей злободневности и социальной конкретности. Особенно четко линия преемственности прочерчена в творчестве Джона Бойда, который подхватил томпсоновскую тему борьбы с расколом, осмысляя ее на новом материале бурных событий настоящего. Выходец из рабочей протестантской семьи Белфаста, Бойд хорошо усвоил классовые уроки «красных» 30-х, с которыми совпала его молодость. Это было время, когда под воздействием острейшего социально-экономического кризиса, вызвавшего массовую безработицу и обнищание трудовых масс, в рабочем движении Белфаста впервые явственно начала прокладывать себе дорогу идея единства всех трудящихся, независимо от веры. И хотя к драматургии Бойд обратился только в конце 60-х, когда позади были и годы учительского труда, и два с половиной десятилетия режиссерской работы на радио и телевидении, эти давние уроки не были забыты. Они во многом определили его трактовку ольстерских событий нового периода.

«Сектантское разделение, отравляющее воздух того общества, о котором я пишу,— дымовая завеса, камуфляж, маскирующий социальные проблемы. Ведь в конечном итоге Белфаст не отличается от любого другого промышленного центра с обычными противоречиями между богатыми и бедными...» — это высказывание драматурга могло бы послужить эпиграфом к пьесе «Квартиры», с которой началась его широкая известность (пьеса с триумфом прошла в Белфасте, Дерри, Дублине, Лимерике, была переведена на немецкий и французский языки).

Эта пьеса — хроника одного дня современного Белфаста во время «беспорядков», которые начались летом 1969 года (лето 1969-го — первое «жаркое» лето Ольстера, когда мощные выступления борцов за гражданские права вызвали яростное противодействие протестантских ультра, когда на улицах Белфаста и Дерри разгорелись ожесточенные бои и когда в Северную Ирландию вступили в качестве «умиротворителей» британские войска). Место действия — многоквартирный дом, расположенный в так называемом «смешанном районе» (примерно 80% населения там составляют католики). Привычный ход повседневной жизни в квартирах этого дома нарушен: банда оранжистов готовит нападение на его обитателей.

В центре пьесы — рабочая семья католиков Донелланов, быт которой выписан тщательно и жизнеподобно. Но главное в пьесе Бойда — не точное воспроизведение «среза жизни», а напряженная дискуссия о сути происходящего, которая разгорается в семье Донелланов и в которую постепенно включаются остальные действующие лица.

Кэтлин Донеллан — жена и мать — отстаивает позицию непротивления и невмешательства и все происходящее воспринимает как вечно тяготеющее над ирландцами проклятие насилия. Спасение она видит только в терпеливой доброте и любви.

Муж Кэтлин Джо Донеллан (в недавнем прошлом механик белфастских верфей, а теперь безработный) — сторонник боевых традиций ирландских рабочих. В молодости член социалистической партии, вдохновленный примером «русских и всего великого, что они совершили», Джо и теперь убежден, что перемены неизбежны и революция «непременно произойдет... даже здесь», в Ольстере. Единомышленником Джо выступает его сын Джерард. Студент колледжа, будущий учитель, он активно участвует в движении за гражданские права. С Джерардом, полным энергии и жажды деятельности, входит в пьесу тема новой Ирландии, отрекающейся от изношенного романтизма и культа мученичества. «Я хочу жить для Ирландии, а не умереть за нее»,— говорит Джерард Шону Каллену, жениху своей сестры Бриджит. Шон и Бриджит активным действиям предпочитают уход от «проклятых вопросов» в узкий мирок сытости и благополучия. Шон приезжает к Донелланам из Лондона, где уже полгода служит мелким чиновником в министерстве обороны. Этот «англизированный» ирландец перенял не только лондонский акцент, но и тот образ мыслей в решении ольстерского вопроса, который насаждается английской пропагандой. «Англичане что-нибудь предпримут,— говорит он,— найдут какой-нибудь компромисс».

Что именно «предпринимают англичане», в пьесе Бойда показано со всей наглядностью. Чего стоит одна только сцена унизительного обыска в квартире Донелланов. Она сопровождается к тому же такой тирадой, вложенной в уста английского капитана: «Мы ваши друзья. Мы хотим мира... Мы здесь для того, чтобы восстановить закон и порядок».

[1] S. H. Bell. The Theatre in Olster. Dublin, Gill and Macmillan, 1972, p. 96.

В контексте опыта последних лет, когда английские «миротворцы» в полной мере показали зловещий лик насаждаемых ими в Ольстере «закона и порядка», убийственная ирония этих слов воспринимается еще острее.

В финале пьесы есть нота горькая и трагическая: в тот момент, когда к дому приближаются протестантские ультра, от случайной пули погибает юная протестантка Моника Мур, живущая в одном доме с Донелланами. Занавес падает под слова скорбной молитвы, которую шепчет над убитой протестанткой католичка Кэтлин Донеллан, а английский солдат Фил, еще недавно беззаботно разыгрывавший перед Моникой роль влюбленного, растерянно спрашивает: «Кто в этом виноват?»

Дает ли пьеса Бойда ответ на этот, пожалуй, один из самых насущных для сегодняшнего Ольстера вопросов: кто виноват? Безусловно. И высказан он с небывалой для прежней ольстерской драмы агитационной прямотой. Он дан в первую очередь в монологах идейного двойника автора, Джерарда, назвавшего виновником и главным врагом «правящий класс капиталистов, который пичкает рабочих мифами, их разделяющими и скрывающими от них истину», а поэтому «нужно объединиться...». Дружба католической семьи Донелланов с протестантской семьей Муров приобретает в пьесе значимость символа.

Видимо, революционная смелость такого ответа несколько смутила ирландскую прессу. Во всяком случае отклики на премьеру «Квартир» чаще всего отличались «глухотой» к прозвучавшим в ней идеям. «Мистер Бойд не предлагает никакого ответа. И не следует его искать, потому что он не касается анализа теперешнего нашего положения»[1]. Ну, что ж — тот не заметит, кто не желает заметить...

Пьеса Бойда, где частное сопрягается с общезначимым, будничное — с героическим пафосом сопротивления, натуралистический «объективизм» — со страстной тенденциозностью, напоминает о традиции, заложенной еще Шоном О'Кейси, когда он создал в 20-е годы, по горячим следам событий, знаменитую драматическую трилогию «дублинских пьес». Бурное развитие ирландской национально-освободительной борьбы начала века проецировалось в этих пьесах на прозаическую повседневность дублинских «квартир», а героика тесно соседствовала с бытом и вырастала из него. Не случайно «дублинские трагедии» Шона О'Кейси оказались созвучными Ирландии 70-х и прочно утвердились в эти годы в репертуаре ирландских театров — и на Севере, и на Юге.

В 1972 году Лирический театр Белфаста поставил новую пьесу Бойда «Ферма», тоже обращенную к современности, но написанную в несколько иной манере. Вместо репортажной погруженности в гущу событий — здесь взгляд на них «со стороны», из тишины сельского уединения. Исходная ситуация пьесы — приезд на ферму неподалеку от Белфаста главного героя — Макканны и взрослых его детей. Владелец фермы, родной брат Макканны, умер, и нужно решить вопрос о том, кто станет ее новым хозяином. Однако за психологическими коллизиями, обнажающими семейные конфликты, просматриваются более широкие горизонты политической драмы. Идиллическое спокойствие сельского уголка, куда попадают герои пьесы, оказывается весьма обманчивым и ненадежным: в любую минуту оно может обернуться кровавым кошмаром. Здесь «только 5% католиков», сообщает одному из героев местный фермер, и, если они взбунтуются, протестанты всегда готовы «перерезать им глотки».

Зловещим аккомпанементом к пьесе звучат барабаны оранжистов. И опять в центре — вопрос насущный и мучительный: что ждет Северную Ирландию? Дети отвечают на него со скепсисом разочарованных и разуверившихся: Ирландия обречена на вечные «ненависть и безумие», ее «религиозные и политические предрассудки» неискоренимы, а потому лучший выход — бегство «с этого маленького острова, где живет всего лишь около 5 миллионов, и те никак не научатся жить вместе...» В ответе старика Макканны на эту реплику, однако, звучит убежденность человека, которому открылись определенные социальные истины. «Главное — верить в себя, верить в силу своих товарищей-рабочих, то есть в ту силу, которую мы представляем когда объединимся. Вот в чем беда: рабочие разобщены. Они позволяют, чтобы их разделяла религия!» Идея, которую Макканна — рабочий-протестант — отстаивает, в этой пьесе,— та же, в которую верит и католик Джо Донеллан,— это идея единства.

Но герой «Фермы» одинок — и среди близких, и в том новом окружении, куда он попал. Дети его, люди «без корней» и без идеалов, получив образование и приобретя новый социальный статус, ориентируются на потребительские стандарты «среднего класса». Соседи-крестьяне не понимают Макканну, видя в его словах влияние «безбожной России».

А герой стремится не только рассуждать, но и действовать. И эта жажда действия реализуется в решении простом и, казалось бы, парадоксальном — поселиться на земле отцов, вернуться к «истокам», заняться пришедшей в упадок фермой. «Возделывать свой сад». Насколько применима эта знаменитая формула к тревожным временам Ольстера?

Возможно, недоговоренность «Фермы» побудила драматурга вновь обратиться к проблеме ольстерских событий. В новой пьесе «Гости» (1974) действие опять перенесено в Белфаст. И город здесь, как указывает автор,— «один из героев пьесы», не только конкретный Белфаст 1974 года со следами разрушений и пожаров, а Город, некий символ североирландской истории, ключевые слова которой: раскол, раздел, размежевание...

Присутствие Города ощущается и в том камерном пространстве гостиной, где начинается действие пьесы. Респектабельный «викторианский» дом в респектабельном районе. У хозяйки его Марии Карэй недавно умер муж, известный в городе архитектор, к которому она была привязана и с потерей которого еще не смирилась.

[1] «The Irish Times», 1971, March, 19, p. 10.

Мария приглашает гостей — в память о муже: он любил устраивать такие приемы в их уютной гостиной. В разгар вечера в дом врываются двое в масках. Приказав всем оставаться на местах, они пробегают в дальнюю комнату дома, стена которого примыкает к бару. Вскоре незнакомцы столь же внезапно исчезают, но не успевают гости оправиться от шока, как раздается взрыв. Хозяйка и ее гости остаются в живых, но погибает бармен Дэнни, давний друг семейства Карэй. Группа растерянных, потрясенных людей стоит перед развалинами. Сцена погружается в темноту, и в этой темноте слышится звук церковного колокола.

О чем же эта пьеса? Видимо, не только и не столько о жестокости терроризма, хотя это и «больная» проблема современного Ольстера. Но здесь действуют и иные законы, выходящие за рамки простого жизнеподобия. Это своеобразная притча о судьбах западной интеллигенции, о ее долге и месте. Вслушаемся в ностальгический панегирик, который произносит один из гостей — журналист Чарли, стоя перед развалинами дома Карэй:

«...Я бывал здесь на вечерах... в этом доме... встречал людей интересных, интеллигентных... учителей, архитекторов, юристов, художников... тех, что могли спорить и обмениваться мыслями... быть остроумными, щедрыми, исполненными творческой энергии... Слова и музыка, искусство и красота неотделимы от этого дома».

Что-то настораживает в этом «благословении» красоте и ее хранителям. Может быть, холод отрешенности? «Остроумные и щедрые» герои этой пьесы живут так, словно вокруг ничего не происходит. «Чем вы занимались, когда тревога воцарилась?» — наверное, эти слова Пабло Неруды могли бы их смутить, но вряд ли — изменить. И приговор им высказан яростный, но в главном — справедливый. Вложен он в уста художника Матта, «постороннего» в дружеском кружке Марии: «Ваше общество и ваша культура смердят! И все вы трупы! Только вы об этом не догадываетесь!»

Три пьесы Бойда 70-х годов составляют своего рода трилогию об ольстерских событиях. И хотя в каждой части исследуются разные социальные «срезы», объединяет их пафос поиска истины и неприятие конформистской успокоенности.

70-е годы оказались временем знаменательных перемен в творчестве другого крупнейшего драматурга Северной Ирландии — Брайена Фрила. Громкая известность пришла к нему после того, как пьеса на «больную» для Ирландии тему непрекращающейся эмиграции ирландской молодежи — «Филадельфия, я иду к тебе!» (1964) — с триумфом прошла в Ирландии и в США. Критика заговорила об авторе как о «прирожденном драматурге», и в этом не было чрезмерного преувеличения. Фрилу действительно присуще обостренное чувство сцены, а стремление к поиску новых театральных форм снискало ему славу неутомимого экспериментатора. Однако «эксперименты» Фрила никогда не носят характера формального, они подчиняются задаче наиболее полного и выразительного выявления заложенной в пьесе идеи.

Обращение Фрила в 70-е годы к жанру острой политической драмы происходит словно бы неожиданно для самого драматурга, тяготевшего к психологической «интроспекции» и не раз упоминавшего о том, что «не следует смешивать задачи художника с задачами журналиста, отдаваясь убожеству сиюминутности» [1].

И вот — пьеса «Почетные граждане», которая из этой «сиюминутности» вырастает и в ней же черпает социальную конкретность и публицистическую страстность. Здесь есть элементы репортажной точности («Время — 1970, место — город Дерри в Северной Ирландии» — такова авторская ремарка в начале пьесы). Кстати, Дерри для Фрила — то же, что Белфаст для Бойда. Это его Город, его символ ирландского Севера, увиденный глазами писателя, принадлежащего к католическому меньшинству. Но форма, которую выбирает Фрил для своего «репортажа», вызывающе эксцентрична, что, впрочем, для ирландской драмы во многом традиционно. «Трагифарс» — так можно было бы определить жанр, который привлекал ирландских драматургов от Джона Синга до Брендана Биэна. И в пьесе Фрила причудливо сталкиваются шутовство и трагедия, смех и погребальная песнь. Безусловно, Фрил не остался равнодушен и к новаторским поискам, которые принесла с собой английская драматургия «новой волны», к ее экспериментам со всевозможными средствами сценического «отчуждения». «Почетные граждане» предлагают самый разнообразный арсенал этих средств: здесь и постоянное смещение временны́х планов, и введение «ложного комментария», и прямое обращение к зрителю, и фантастически гротескные допущения. Это своего рода «шоковая терапия» для зрителя, которого нужно заставить по-новому взглянуть на то, что стало привычным.

Пьеса открывается сценой... смерти героев. Зритель видит распростертые на сцене тела, а вокруг суетятся представители власти и закона: полицейский, судья, священник. Каждый из них комментирует случившееся, а ложь этого комментария будет доказана всем дальнейшим развитием действия. Но вот герои «воскрешены», а время возвращается вспять, к исходной точке событий: полиция и английские войска разгоняют безоружную демонстрацию борцов за гражданские права (эпизод весьма типичный для современного Ольстера). Спасаясь от преследования, трое участников демонстрации прячутся в каком-то опустевшем здании, которое оказывается резиденцией мэра города. Так случай связывает трех совершенно незнакомых людей, которым уготована одна трагическая участь: погибнуть под пулями на пороге мэрии, когда, повинуясь требованию властей, они выйдут из своего убежища с поднятыми вверх руками.

А пока они знакомятся друг с другом:

[1] D. E. S. Maxwell. Brien Friel. Lewisburg, Bucknell Univ. Press, 1973, p. 29.

43-летняя Лили, мать одиннадцати детей, Майкл — 21 года и его ровесник Скиннер. Общее у них — их социальный статус: они — безработные; поденщица Лили живет в ужасающей нищете. Кстати, по статистике Дерри — город с самым высоким уровнем безработицы в Северной Ирландии. В пьесе Фрила эти «безличные» факты статистики облекаются плотью сценической конкретности. Постепенно раскрываются и характеры героев: грубоватое простодушие и «распахнутость» доброжелательной и — вопреки всем обстоятельствам — жизнерадостной Лили; настороженность и вместе с тем наивность Майкла, на все лады убеждающего собеседников в том, что мирные методы протеста не могут вызвать насильственных ответных мер; дерзкая ироничность и загадочная умудренность Скиннера... Скиннер, безусловно,— главная фигура этого трио. Он вносит в драму и столь характерный для творчества Фрила привкус горьковатой иронии, и в то же время стихию яркой театральности, игры, неожиданности превращений. И вот в здании, олицетворяющем Власть, разыгрывается «пьеса в пьесе», где «режиссер» и «актер» Скиннер, обрядившись в мантию мэра, дарует самым обездоленным звание «почетных граждан» города Дерри.

Основное действие пьесы постоянно чередуется «кадрами»-комментариями, в которых все происходящее представлено в кривом зеркале официальных версий или шаблонов массовых представлений. А когда трое гибнут, разыгрывается заключительный акт того трагического фарса, в котором им предлагали роли то «жертв», то «палачей»: теперь — посмертно — им отводят роль национальных героев, устроив пышные похороны, на которые прибывает даже кардинал из Рима.

Фантасмагория как прием художественного «сгущения» служит здесь прежде всего обнажению истинной сути буржуазной государственной машины. Но в тревожной, горькой этой пьесе звучит и нота надежды. Связана она с тем, что самые забитые начинают понимать: «этот мир несправедлив»[1] (в пьесе эти слова произносит Лили, обращаясь к Скиннеру). В том широком, довольно пестром по своему социальному и политическому составу общедемократическом потоке, каким является движение за гражданские права, Фрил выделяет главное: оно прежде всего для «бедняков, пробуждающихся ото сна» (слова Скиннера).

Через два года после «Почетных граждан», 5 марта 1975 года, в старейшем национальном театре Ирландии — дублинском Эбби тиэтр — состоялась премьера новой пьесы Фрила — «Добровольцы». В ней приметы «сиюминутности» вытеснены метафорическим обобщением, причем выразительной метафорой оказывается уже само место действия: громадный котлован напоминающий, как указано в авторской ремарке, то ли гигантскую воронку от бомбы, то ли тюремный двор, предназначен для фундамента многоэтажного отеля. При рытье котлована были обнаружены остатки поселения и захоронений викингов. Стройка на время приостановлена для проведения археологических раскопок. На них не выделено средств. Выход, однако, найден: в качестве рабочих, помогающих археологам, определены пятеро политических заключенных, добровольно изъявивших согласие на эту работу.

Замкнутое пространство, в которое драматург помещает «добровольцев», служит не только постоянным напоминанием об их несвободе, но и своеобразной точкой пересечения истории и настоящего. Не случайно найденный при раскопках скелет викинга — с отверстием в черепе и остатками истлевшего кожаного ремня вокруг шеи — становится как бы «участником» действия. Заключенные дают ему имя — Лиф — и проигрывают разные варианты его жизни, в которых неизменным остается только финал — насильственная смерть. Эти импровизации превращаются в иронический, фарсовый и в то же время трагический комментарий к событиям современной ирландской истории, предлагающей богатый материал для размышлений о жестокости, насилии и героической жертвенности.

Подсказанный «игрой» мотив трагической гибели приобретает для героев пьесы злободневное звучание. В последний день раскопок (на котором и сосредоточено действие пьесы) заключенные внезапно узнают о том, что товарищи по тюрьме приговорили их к смерти, квалифицировав их работу как «сотрудничество с властями». (Кстати, хотя такой поворот сюжета и может показаться несколько искусственным, он вполне вписывается в контекст реальной обстановки в современной Ирландии, где экстремистские, террористические действия стали чуть ли не обыденным явлением.)

Драматизм ожидания гибели составляет тот эмоциональный фон, на который драматург проецирует и шутовские выходки, и страстные исповеди своих героев. А вся пьеса вновь оказывается причудливым сочетанием фарса и трагедии, иронии и патетики.

Драматург избегает прямых указаний на политические убеждения пятерых «добровольцев». Он создает скорее обобщенный портрет тех, кто избрал путь нонконформизма. Но в этом групповом портрете нет единства и гармонии. Состав его пестр и причудливо странен.

«Корифеем» хора выступает один из пятерых — Кини. Это его дерзкие розыгрыши и ядовитые стихотворные экспромты, его иронический комментарий к тому, что происходит на сцене, придают пьесе характер трагикомедии. За шутовством Кини скрываются скепсис и цинизм человека, который «не уверен больше ни в чем».

А рядом с ним фермер Батт, у которого есть то, чего лишен Кини: способность «сохранять страсть убежденности».

Охотно подыгрывающий Кини легкомысленный Пайн, бывший матрос; неряшливый, опустившийся Нокс, отпрыск состоятельной, респектабельной семьи, и, наконец, безропотный Смайлер дополняют этот групповой портрет.

[1] Пьесы Б. Фрила цитируются по изданию: B. Friel. The Freedom of the City. London, Faber and Faber, 1974.

Смайлер — самая трагическая фигура в пьесе Фрила. «Не осталось и следа от того человека, которым Смайлер был когда-то; мы видим только слабоумного с застывшей улыбкой» — так представлен он в авторской ремарке. Рассказ Кини объясняет это трагическое превращение. Каменщик из Донегола, назначенный мастером, он выступил против несправедливости, допущенной властями по отношению к одному из его рабочих, и отправился с маршем протеста в Дублин. Но в Дублине его ожидала тюрьма, где «в течение двенадцати часов подряд его избивали до полусмерти», чтобы заставить держаться в границах «порядка». История Смайлера — напоминание о том, что острые социальные противоречия и трагические конфликты — удел не только Севера, но и Республики.

Герои Фрила далеки от того, чтобы обрести какую-то четкую программу действий. В этом смысле символичен эпизод побега и добровольного возвращения Смайлера. «...Я хотел убежать, я знал, что надо выйти отсюда, но я вернулся... чтобы мне сказали, что же я должен делать»,— пытается объяснить он Батту свое внезапное появление.

Что же я должен делать? Для каждого из героев Фрила вопрос во многом остается открытым. Как вопль отчаяния и растерянности звучит «анархистский» ответ, предложенный Кини: «Разнести все вдребезги!» Создается впечатление, что и сам драматург испытывает растерянность, пытаясь осмыслить те сложные и разнородные политические и социальные движения, которые стремительно нарастают в Ирландии последнего десятилетия. Но важно то, что вопрос поставлен.

А Фрил продолжает поиск ответов. И в пьесе-метафоре об ответственности художника перед людьми («Исцелитель верой», 1979), и в социальной — небывало для Фрила «панорамной» — драме «Аристократы» (1979), и в исторической пьесе «Переводы» (1981), эпиграфом к которой могли бы стать слова одного из героев его «Добровольцев»: «Чем больше мы узнаем о наших предках, тем больше открываем истин о самих себе...»

Современная ирландская драма часто насыщает настоящее историей — в поисках истоков многих сегодняшних конфликтов или «размыкает» историю в настоящее — в поисках уроков.

Осенью 1976 года ирландские телезрители — на Севере и на Юге — с неослабевающим интересом смотрели трилогию, где сегодняшняя североирландская действительность была запечатлена в самых драматических и жестоких моментах и где исторические «обиды» и беды были живой болью настоящего. Автором этих трех телепьес («Рак», «Наследие», «Осада» — последняя стала основой романа «Жертвы») был хорошо известный в Ирландии драматург Юджин Маккейб, живущий в том самом графстве Монахан, которое входит в состав Республики, но расположено у самой границы с Северной Ирландией [1].

Действие всех трех телепьес развертывается в соседнем с Монаханом графстве Фермана, расположенном по другую сторону границы. Главный вопрос, который поднимает здесь драматург — вопрос о разгуле насилия в Северной Ирландии, о его убийственных последствиях, его болезненном воздействии на души людей, о его жертвах. Проблема эта — увы! — не теряет остроты. Воинственный клич «Кровь за кровь!» фанатика-протестанта из «Наследия» Маккейба остается и сегодня печальной реальностью. А ответом на насильственные действия протестантских ультра и британских оккупантов часто оказываются тоже террористические акты Временной ИРА, нелегальной военной республиканской организации, запрещенной в обеих частях страны. Кровавый водоворот насилия втягивает в себя все новые жертвы. Но Маккейб далек от фаталистических концепций «тотальной вины», «вечного проклятия насилия», в последние годы получивших хождение в среде ирландской творческой интеллигенции, отчаявшейся найти какой-либо выход из конфликта на Севере. Маккейб не столько проклинает, сколько изучает, ведь, изучив болезнь, ее можно излечить...

Конечно, североирландская драма остается прежде всего драмой ирландской. В противовес изоляционистской политике официальных кругов этой части Ирландии, которые хотели бы превратить границу территориальную и в границу культурную, отделив художников Севера от республиканского Юга, сами художники этой границы не признавали и не признают. Но верно также и другое. Именно Север стал в 70-е годы очагом обновления ирландской драмы.

И сегодня для ирландского театра — «театра надежды и отчаяния», как назвал его Фрил, через причастность к сиюминутному открывается путь к универсальному, общезначимому.

[1] Историческая северная провинция Ольстер состояла из девяти графств. После раздела страны по так называемому англо-ирландскому договору 1921 г. шесть графств Ольстера вошли в состав Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, а три остались в составе Ирландского свободного государства (с 1949 г.— Ирландской Республики). Название Ольстер часто употребляется как синоним Северной Ирландии, хотя исторически это неточно.

Отклики, встречи, впечатления

НИКОЛАЙ ФЕДОРЕНКО

КАРЛО ГОЛЬДОНИ: НАСЛЕДИЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ

К итогам московского международного симпозиума

Нам трудно было бы представить себе образ человека былых времен, ушедшей старины, если бы не сохранились письменные творения художественного гения. Драматургия Карло Гольдони (1707—1793) — самоочевидное тому свидетельство. Великий знаток театра, образованнейший человек своего времени, Гольдони не отделял свое искусство от судьбы народа, родной земли. И когда мы стремимся представить себе жизнь художника его произведения помогают нам оживить картины той действительности, что окружала его. По слову поэта, чтобы придать жизни величие и полноту, надо вдохнуть в нее и прошлое и будущее.

Мы вправе сказать, что обращение к литературному наследию необходимо не только в память об ушедших, но и в заботе о тех, кому еще предстоит родиться, о веке грядущем. В этом — возможность приобщиться к тому, что было, что есть и что будет.

Многообразие национальных особенностей эстетических критериев и культурных традиций народов породило в странах Запада и Востока и разные формы театрального искусства. Но драматургия Гольдони снискала себе признание не только на родине. Ей принадлежит значительная роль и в мировом театральном искусстве.

На состоявшемся в июле этого года в Москве международном симпозиуме на тему «Гольдони и современность», который проводился по инициативе венецианской культурной организации «Фонд Чини» и Союза писателей СССР ученые литераторы театральные деятели и мастера перевода разных стран мира выступили с докладами и сообщениями об искусстве знаменитого итальянского комедиографа, галантливого живописца народного быта, создателя ярких самобытных характеров.

Напомню, что нынешний симпозиум в Москве знаменует собой новый этап в нашем давнем и плодотворном сотрудничестве с венецианским «Фондом Чини», созданным более трех десятилетий назад, еще при жизни крупного общественного деятеля Италии сенатора Чини. Ему, не однажды посетившему нашу страну с культурной миссией, не в последнюю очередь обязаны мы установлением дружественных взаимоотношений и обменом между нашими странами духовными ценностями.

Среди основных направлений деятельности «Фонда Чини» — поддержание культурных контактов со странами Запада и Востока.

Мы храним в памяти и высоко ценим международные конференции, организованные «Фондом Чини» с целью изучения классического наследия русской литературы. Шесть международных встреч проходили в Венеции: две из них были посвящены творчеству Л. Н. Толстого, две — Ф. М. Достоевскому, одна — Н. В. Гоголю. Шестая — художественному творчеству национальных меньшинств стран мира.

Встречи эти отличала атмосфера доброжелательности, искреннего стремления лучше узнать и понять друг друга, внести посильный вклад в сближение культур Советского Союза и Италии.

— Мы не могли не поставить на одно из первых мест развитие связей с такой великой культурой, с такой великой страной, какой является Россия, Советский Союз в целом,— сказал в беседе с корреспондентом «Литературной газеты»[1] вице-президент «Фонда Чини» академик Витторе Бранка, на котором лежит ныне высокая ответственность за практическое осуществление программы «Фонда». Многолетнее сотрудничество «Фонда Чини» с Союзом писателей СССР доказало, что в наше время существует реальная возможность для сближения культур разных народов на основе взаимопонимания и взаимного уважения, несмотря на различия в политических убеждениях и подходе ко многим проблемам.

Культура и литература являются тем мостом, который, как никакой другой, способен служить сближению народов и государств. И в этом смысле огромную роль может сыграть классическая литература, классический театр, искусство вообще, которые утверждают непреходящие духовные ценности. Любовь, дружба, доброжелательность, сострадание, героизм, правдивость — все эти качества человеческой души были великолепно описаны еще тысячи лет назад, но значение их сохраняется и, я бы сказал, даже возрастает в наше время.

«Мне,— продолжал В. Бранка,— вспоминается одна из бесед с Игорем Стравин-

[1] «ЛГ», 20.VII 1983.

ским, который, находясь в Венеции, говорил, что никогда не написал бы некоторых пассажей для «Петрушки», если бы не видел Арлекина и Труффальдино Гольдони. Разве это не наглядный пример непрерывающейся преемственности искусства?»

Хотелось бы напомнить, что в свое время и Гольдони писал о том, как важно, чтобы люди встречались, жили между собою в мире. Только таким образом достигается взаимопонимание, создаются предпосылки для сближения народов и государств в общественном, экономическом и политическом плане. И это сближение — одно из главных условий достижения прочного мира, жизненно необходимого для всех людей на земле.

«Симпозиум с участием «Фонда Чини» в Москве проходит впервые. Но хочу надеяться, что встречи на территории нашей страны, посвященные итальянской литературе и искусству, станут регулярными и будут способствовать обоюдным интересам советско-итальянского культурного обмена,— сказал во вступительном слове при открытии симпозиума С. Михалков и продолжал: — В истории русско-итальянских культурных взаимосвязей судьба Карло Гольдони занимает столь же видное, сколь и почетное место. Известно, что он рано был принят и признан в России. Первое знакомство русского зрителя с творчеством Гольдони произошло в 1731 году, когда в Москве, в государевом дворце, итальянская оперная труппа, возглавляемая Томмазо Ритори, показала одну из интермедий Гольдони. Итальянская труппа Локателли, также выступавшая в России, представила в XVIII веке по крайней мере пятнадцать комических драм Гольдони. Затем Гольдони появился в переводах-переделках и на сценах русских театров. Особый успех сразу же получила переделанная драматургом А. Шаховским пьеса «Трактирщица». Под названием «Мирандолина» она была весьма популярна на русской сцене».

Великие русские драматурги, как отметил далее С. Михалков, неизменно относились к творчеству Гольдони с большим уважением. Гоголь, столь строгий в оценке мировых драматургов, позволявший себе делать упреки даже в адрес Мольера, восторженно отзывался о пьесах Гольдони.

Как известно, Александр Островский, явившийся создателем русского национального театра, образно выражаясь, построивший здание, в фундамент которого были заложены принципы, найденные Фонвизиным, Грибоедовым, Гоголем, чувствовал бесспорное родство с Карло Гольдони. Островский перевел на русский язык три пьесы Гольдони, в том числе «Кофейную», которую считал одним из лучших его произведений.

Великий Октябрь необычайно углубил и расширил популярность Гольдони в нашей стране. С. Михалков напомнил, что в 1923 году первый советский нарком просвещения А. Луначарский, выступив с программной речью «Назад к Островскому», сравнивал великого русского драматурга с Мольером и Гольдони и говорил о той роли, которую они сыграли в развитии искусства своих стран. Мольер, Гольдони, Островский, отмечал Луначарский, были замечательны тем, что, выступая как представители нового класса, глубоко интересовались его бытом, старались отразить его во всей кипучей и свежей жизненности и преодолеть в темных и порочных сторонах, старались, словом, «показать времени его зеркало» и, «забавляя, поучать». Сила этих великих комедиографов в том, что их театр правдиво рисовал народную жизнь и народный быт, что это был театр литературный и этический. Луначарский указывал, что драматурги такого типа, как Гольдони, могут быть весьма уместны в современном демократическом театре. «Конечно, время наше может потребовать особых приемов бытоизображения, театральной компоновки и театральной пропаганды, но суть должна быть та же. Вот почему мы так многому можем поучиться у Мольера, Гольдони, Островского».

Как сообщил С. Михалков, на русский язык переведено свыше сорока комедий итальянского драматурга. Над переводами, досконально передающими и дух и букву произведений великого комедиографа, трудились такие выдающиеся переводчики, как А. Дживелегов, Т. Щепкина-Куперник, Мих. Лозинский и многие другие. В прошедшие пятьдесят лет собрания драматургических произведений Гольдони издавались на русском языке пять раз. Последнее издание в серии «Библиотека всемирной литературы» вышло в 1971 году тиражом в триста тысяч экземпляров.

Творчество Карло Гольдони стало предметом всестороннего изучения крупнейших советских литературоведов и театроведов — Алексея Дживелегова, Стефана Мокульского, Григория Бояджиева, Павла Маркова и других.

Советский театр беспрерывно и много ставит Гольдони. Если раньше его пьесы шли только на русском языке, то теперь они идут в переводе на украинский, белорусский, грузинский, армянский, таджикский, чувашский, аварский и другие. Их ставят на языках народов, которые до революции не знали ни письменности, ни театра. Пьесы Гольдони входят в репертуар театральных училищ, на них обучаются исполнительскому мастерству будущие артисты.

Иными словами, Гольдони — постоянный и непременный участник театральной жизни нашей страны, его наследие стало достоянием советской культуры. Итальянский народный драматург, реалист и демократ Карло Гольдони, столь популярный у нас,— вполне подходящая фигура для разговора о близости наших культур, о взаимном обмене духовными ценностями между Советским Союзом и Италией. И можно надеяться, что московский симпозиум сыграет в этом смысле положительную роль.

В заключение С. Михалков отметил, что Карло Гольдони потому именно живет и будет всегда жить, что он мастерски показывает типические характеры людей во всей их многосложности. И современный зритель, смотря комедию автора, которого отделяют от сегодняшнего дня очень многие десятилетия, зачастую узнает в иных персонажах и своих современников с некоторыми их смешными и отрицательными черта-

ми. Гольдони, сочно и рельефно обрисовывая человеческие характеры, умеет поставить своих героев в такие жизненно правдивые ситуации, в которые попадают порой люди и в наше время — в общении с друзьями, с женщинами и соседями, в семейном быту и в деловых отношениях.

Академик Витторе Бранка сказал, что большой честью и радостью представляется ему возможность выступать на нынешнем московском симпозиуме, посвященном творчеству Карло Гольдони, говорить от имени «Фонда Чини», а также от имени венецианского муниципалитета и Международной ассоциации по изучению итальянской литературы и языка. «Это седьмая итало-советская встреча. Но впервые мы встречаемся в Москве — столице Советского государства. Здесь собрались люди, которые верят в литературу, взывающую к наиболее чистым свойствам человеческой души.

Мы испытываем чувство глубокого удовлетворения оттого,—продолжал В. Бранка,— что темой сегодняшней встречи оказалось наследие величайшего гения итальянского театра Карло Гольдони. Как писал один из наиболее известных советских исследователей литературы и театра Стефан Мокульский, в Гольдони привлекает радость жить, огромная простота и ясность разработанных им сюжетов, ценное умение выражать человеческое достоинство. Нам радостно, что проблемы, которые мы обсуждаем в ходе московского симпозиума, живо интересуют советского зрителя.

Уже в XVIII веке Гольдони появляется на русской сцене как один из величайших представителей мирового реалистического театра. В нашем веке огромный интерес к его творчеству проявляли Станиславский, Монахов, Завадский и другие. Можно сказать,— отметил В. Бранка,— что Россия — страна, в которой адекватно отразилась душа Карло Гольдони. Нельзя не вспомнить сегодня, что в связи с 250-летним юбилеем Гольдони в Советском Союзе проходили официальные торжества, показавшие, сколь любим он в вашей стране».

В заключение академик В. Бранка сказал: «Позвольте еще раз выразить признательность Союзу писателей СССР за организацию этого симпозиума... Будем надеяться, что такого рода встречи, проводимые «Фондом Чини» и Союзом писателей СССР, внесут свой посильный вклад в дело дружбы между людьми доброй воли. А именно это является нашим главным желанием, исходящим из глубины сердца».

Основные исходные положения выступлений С. Михалкова и В. Бранки о характере драматургического искусства Карло Гольдони и его актуальности в наше время получили дальнейшее углубленное развитие в докладах участников симпозиума.

Напомним, что в состав итальянской делегации, возглавлявшейся академиком В. Бранкой, входили известные ученые и деятели культуры: профессора Венецианского и Падуанского университетов Марио Баратто, Анна Лаура Беллина, Джованни Календоли Чезаре Де Микелис, Франко Фидо, Джорджо Падоан, Джильберто Пиццимильо, директор дома-музея Гольдони в Венеции Никола Манджини, профессор Римской национальной академии драматического искусства режиссер Орацио Коста.

Известными именами были представлены деятели культуры социалистических стран: писательница и театровед Севелина Гьорова (Болгария), видный драматург и прозаик Петер Мюллер и историк театра Габор Сегети (Венгрия), народная артистка Монгольской Народной Республики, искусствовед и переводчица Эрдэнэбатын Оюун, историки театра, критики и литературоведы Хория Деляну и Маргарета Барбуцэ (Румыния), переводчик итальянской литературы Милан Уличны (ЧССР).

В советскую делегацию, которую возглавлял писатель Сергей Михалков, входили крупные ученые и литературоведы, а также представители молодого поколения исследователей Гольдони: Абрам Штейн — профессор кафедры литературы Московского государственного педагогического института иностранных языков им. Мориса Тореза; Злата Потапова — литературовед, переводчик, доктор филологических наук, иностранный член итальянской литературной академии «Аркадия»; Виктор Розов — видный советский драматург, режиссер; Николай Томашевский — литературовед, переводчик; Руф Хлодовский — критик, переводчик, историк литературы, кандидат филологических наук; Нина Елина — профессор итальянской литературы МГУ; Юрий Волков — заведующий кафедрой итальянского языка Московского государственного педагогического института иностранных языков; Марина Кувшинова — старший редактор издательства «Радуга»; Татьяна Клебанова — аспирантка Института истории искусств.

Сообщения и доклады обнаружили глубокие и всесторонние знания участников симпозиума в области творчества Гольдони. Представление об искусстве драматурга, его самобытности, актуальной значимости созданных им сюжетов и характеров в процессе дискуссии было существенно расширено и обогащено.

В своем выступлении А. Штейн, развивая уже затрагивавшуюся тему — «Гольдони на советской сцене», отметил, что пьесы итальянского драматурга вошли в репертуар советского театра сразу же после революции. Любопытно отметить, что, как и при жизни Гольдони, его «соперником» здесь снова оказался Гоцци, тоже чрезвычайно популярный в советском театре. Его сказка «Принцесса Турандот», блестяще поставленная Евгением Вахтанговым в третьей студии Художественного театра, оказала большое влияние на развитие сценического искусства в Советском Союзе. То ироническое отношение к тексту Гоцци, та «игра в театр», которую мастерски воплотил на подмостках Вахтангов, были кое-кем восприняты даже как универсальный способ интерпретации классиков. Были в советском театре спектакли, в которых и Гольдони трактовался иронически, его текст воспринимался «не всерьез», а пьесы брались лишь как повод для театральной игры или стилизации.

Те, кто таким образом интерпретируют пьесы Гольдони, видят в них прежде всего традиционные маски итальянской комедии

дель арте. А между тем, сохраняя внешний облик и характерные черты традиционных масок, Гольдони искусно насыщал их психологической достоверностью, создавая реалистическую комедию итальянского Просвещения.

Разумеется, продолжал А. Штейн, необходимо учитывать условность, заключенную в комедиях Гольдони, их связь с итальянским площадным театром, но, играя в его пьесах, исполнитель должен прежде всего уметь лепить характеры, показывать их со всей яркостью, присущей классической комедии, доносить до зрителя реалистически правдивую и одновременно меткую и остроумную речь его персонажей, включаться в увлекательную интригу, точно рисовать народную жизнь.

Советский театр, стремящийся постигнуть и донести до зрителя искусство Гольдони, конечно, может и должен опереться на опыт старого русского театра, в течение двух веков работавшего над освоением его пьес. Он может опереться и на опыт интерпретации драматургии Александра Николаевича Островского, писателя, родственного Гольдони.

Но между ними существует различие, порожденное историческими и национальными условиями. Итальянский драматург XVIII века понимал, что традиционного Панталоне нельзя просто отбросить. В этой маске венецианского купца обобщены реальные типические черты, и их надо только переосмыслить на новый лад.

Островский — драматург XIX века, представитель русской литературы, стремился освободиться от условных правил, выразить правду непосредственно. К тому же русская комедия всегда чуждалась сложной интриги, стремительного развития действия, свойственных комедии западной, а центр тяжести переносила на диалог.

И тем не менее, используя опыт работы над русской классической комедией, советский театр добился больших успехов в интерпретации пьес Гольдони, причем не в тех случаях, когда «превращал» Гольдони в Гоцци или делал его предметом изысканной стилизации, а тогда, когда реалистическими приемами стремился раскрыть подлинное идейное и художественное своеобразие его пьес.

В своем сообщении профессор Н. Манджини отметил, что ему, как хранителю Гольдониевского дома-музея в Венеции и директору Международного института театральных исследований, очень приятно слышать, какое большое значение имеет творчество Гольдони для театра других стран, какое глубокое оно оказывает воздействие на зарубежную драматургию. В течение двадцатилетия (1958—1977), о котором здесь идет речь, создавалась карта широкого распространения творчества Гольдони в различных странах мира. Анализ переводных изданий, которые сами по себе становятся достойным вкладом в различные национальные культуры, показал, что произведения итальянского драматурга издавались за это время во многих странах, в том числе в Советском Союзе, Чехословакии, Венгрии, Германской Демократической Республике (здесь осуществлен двадцать один перевод комедий Гольдони!). К этому нужно добавить, что при посреднической функции французского и английского языков произведения Гольдони стали известны и в ряде восточных стран, например в Китае.

Докладчик обратил внимание на то, что переводчики Гольдони испытывают определенные затруднения в выборе языка и стиля — разговорного или литературного. Важно, однако, отметить, что в целом явно обнаруживается тенденция к улучшению качества перевода — более глубоко передается содержание пьес, ближе к оригиналу их виртуозная форма.

Примечательным было выступление народной артистки Монголии Эрдэнэбатын Оюун, первой исполнительницы одной из ролей в спектакле «Слуга двух господ», поставленном в народной Монголии в 1936 году.

В наше трудное, неспокойное время значение таких встреч, как нынешний симпозиум, особенно велико, сказала Оюун. Люди разных стран получают возможность поговорить о сотрудничестве, о создании благоприятных условий для процветания народов и их культур. Ведь творчество таких писателей, как Гольдони, и многих других, своей реалистичностью и правдивостью сближает народы, зовет их к добру.

«Труффальдино, — продолжала монгольская актриса,— во многом напоминает героев наших народных преданий, сказок. Наверное, поэтому его так тепло воспринимает наш зритель. Современный монгольский театр был создан в начале 50-х годов. Подавляющее большинство населения тогда еще было безграмотно. И, конечно, в стране не было своей национальной драматургии. Мы обратились к величайшим классическим образцам. Сначала поставили «Ревизора» Гоголя, а затем «Слугу двух господ» Гольдони. И мне очень радостно, что здесь, на симпозиуме, я могу рассказать деятелям культуры разных стран и о нашем, «монгольском Гольдони», о том, что наше миролюбивое искусство, наш миролюбивый народ высоко чтят творческий гений создателя Труффальдино и Мирандолины, близких и понятных всем людям на земле».

Значительный интерес участников симпозиума вызвало сообщение Н. Томашевского «А. Н. Островский и Карло Гольдони». В самых общих чертах, сказал Н. Томашевский, тема эта может решаться трояко: либо в порядке констатации типологического сходства, либо выяснения того, чем Островский обязан Гольдони, либо, наконец, определения роли Островского в судьбе «русского Гольдони».

Сто лет тому назад, напомнил докладчик, реформатор русского театра А. Островский сказал на обеде, данном в Москве в честь великого итальянского трагика Эрнесто Росси, гастролировавшего в ту пору с шекспировским репертуаром: «Искусство единит народы и роднит». И далее, поясняя мысль, добавил, что Росси — Гамлет, Лир, Отелло, Макбет, Ромео — не иностранец, даже не гость, он свой человек между людьми, преданными искусству. Не таким ли «не иностранцем и даже не гостем» был для Островского реформатор итальянского театра Карло Гольдони? Не «своим ли человеком» на русской сцене сделал его создатель «Грозы»? Сказанное следует меньше

всего понимать в том смысле, что Островский был у нас первооткрывателем Гольдони. Знакомство с его комедиями произошло в России еще при жизни автора. К примеру, перевод комедии «Ворчун-благодетель» был сделан М Храповицким уже в 1772 году, буквально через несколько месяцев после появления ее в Париже. В 1774 году появился перевод на русский комедии «Лжец». Причем обе шли и на петербургской, и на московской сценах. Но это было как бы знакомством предварительным. Значение его не стоит преувеличивать. Успех итальянского театра в России XVIII — начала XIX века поддерживался в основном не редкими постановками драматических сочинений, а оперно-балетными гастрольными труппами. Перевод Островским комедии «Кофейная» дал возможность первого основательного знакомства с творчеством Гольдони в России. Сделан он с на редкость точным воссозданием речевых характеристик, виртуозным согласованием реплик, сохранением сочности и гибкости языка Гольдони.

По-настоящему выдающаяся переводческая работа Островского была оценена критикой уже посмертно. Уроки ее учтены всей последующей переводческой практикой. Ни переводить, ни ставить Гольдони так, как это делали до появления перевода Островского, стало уже невозможно.

Видный итальянский режиссер, профессор Римской академии драматического искусства Орацио Коста отметил в начале выступления, что он с особым удовлетворением принял приглашение участвовать в симпозиуме, посвященном Карло Гольдони. «Дело в том, что я большой поклонник русского театра,— сказал Орацио Коста,— хорошо знаю и высоко ценю советскую режиссуру, но вот в СССР раньше бывать не приходилось. И я счастлив, что возможность встретиться с Советским Союзом мне предоставил именно Карло Гольдони — один из моих самых любимых итальянских авторов, так же как Чехов — из русской классики. Мне приходилось не раз ставить Гольдони, но особый интерес у меня всегда вызывала его комедия «Одна из последних ночей карнавала», принадлежащая к числу самых сложных и глубоких, как по драматургическому, так и по нравственному содержанию, произведений»,— подчеркнул Орацио Коста.

Глубоко и масштабно Орацио Коста проанализировал наиболее важные на его взгляд, сценические и этические линии комедии, показав ее место в творчестве Гольдони. В заключение он рассказал о театральном пути пьесы особо остановившись на собственном режиссерском видении этого ярчайшего образца гольдониевского таланта.

Профессор Франко Фидо уделил большое внимание исследованию элементов комического в произведениях венецианского драматурга наглядно показав что он — великий мастер не только комедии ситуаций, но и комедии характеров, а значит, самой жизненной комедии.

Профессор Чезаре Де Микелис посвятил свое сообщение анализу некоторых этических проблем наследия Гольдони. в первую очередь оценок, которые драматург давал интеллектуальному профессионализму, его месту и роли в обществе. Блестящим материалом для анализа этой проблематики, как показал Ч. Де Микелис, является комедия «Венецианский адвокат», написанная Гольдони в самый плодотворный период его жизни. Комедия эта длительное время незаслуженно предавалась забвению, и лишь сейчас, в свете новых исследований, ей наконец-таки уделяется должное внимание.

«Венецианский адвокат», подчеркнул Ч. Де Микелис,— произведение автобиографического характера, своеобразная творческая исповедь. Устами главного героя автор защищает свое этическое кредо и свой профессиональный статус. В предисловии к пьесе Гольдони говорит о двух типах драматургических произведений: «пьес текста» и «пьес импровизации». Автор решительно отстаивает право на импровизацию и призывает тщательно изучать великий опыт прошлого, наследовать все лучшее, что сохраняет ценность вечно. Именно результатом осмысления опыта, с одной стороны, и овладения техникой труда, с другой, является профессионализм, непременное, по мысли автора, условие успеха. Только подлинный профессионализм — и Гольдони доказал это собственным примером — может породить действительно самобытные произведения, способные стать своеобразным гимном профессиональному труду.

Тема доклада Н. Елиной — «Речевые характеристики персонажей в комедии Гольдони «Трактирщица» и их передача в переводе».

Своеобразие речевой манеры персонажей, которое помогает создать образ, сказала докладчица, наметилось уже в произведениях античных авторов. Но речевая характеристика, то есть индивидуализация речи действующих лиц, становилась осознанным приемом по мере того, как реализм на определенном этапе развития начал стремиться к изображению социальных и в то же время индивидуализированных характеров. Прибегая к этому приему, писатели ориентировались в основном на разговорную речь со всеми ее особенностями. Обрисовывая социальный облик персонажа, они старались в соответствующей обработке воспроизвести речь, господствующую в его среде, в дальнейшем же они стали вносить в нее оттенки, которые должны были характеризовать его как личность (начиная от излюбленных словечек, создающих своеобразную «языковую маску», и кончая синтаксическим строем, интонацией и общей экспрессивностью фразы).

Реформировав театр, Гольдони, продолжала Н. Елина, создал реалистическую, социальную, бытовую комедию. Преобразовав типы комедии дель арте в характеры, Гольдони изменил и их речь. Стремясь придать им правдоподобие, он отказался от вычурного языка героев «высокого плана», близкого к стилю мелодрамы. Одновременно из его комедий, под влиянием просветительских тенденций, исчезли грубые вульгаризмы, которыми была уснащена речь «низких» персонажей. Вложить в уста действующих лиц обыденную разговорную речь было не так уж трудно при условии, что ее источником оказывался диалект венецианских горожан. Но этот диалект, не-

смотря на свой престиж и литературные формы, в которых он использовался, все же был местным языком, а Гольдони, под не вполне осознанным влиянием формирующегося в обществе национального самосознания, стремился выйти за пределы Венецианской республики. Он совершил своего рода подвиг: создал для сцены разговорную итальянскую речь, которая давала возможность, хоть и не так рельефно, как диалект, изображать различные характеры.

Лучшие из комедий Гольдони, итальянских и венецианских, как уже отмечалось, переведены на русский язык. Важнейшей задачей, стоявшей перед переводчиками, и была передача речевой характеристики.

В своем сообщении румынский литературовед М. Барбуцэ напомнила, что в Венеции в дни, посвященные празднованию 250-летия Карло Гольдони, спектакль «Самодуры» в постановке бухарестского театра вызвал огромный энтузиазм публики и литературной критики. Одна из газет писала, что Румыния привезла в Венецию наиболее убедительный спектакль из всех, которые были показаны на фестивале. Венецианские газеты говорили о том, что этот театр сумел сохранить дух и ритм комедии Гольдони. Критик из флорентийской газеты отмечал, что из всех спектаклей фестиваля этот был самым «венецианским», что он наиболее полно воплотил реалистическую сущность пьес Гольдони и психологическую правду его характеров.

Спектакль «Самодуры» не был первой постановкой Гольдони в румынском театре. Гольдони — один из зарубежных авторов, пьесы которых ставились в Румынии еще в первой половине XIX века.

В современном румынском театре произведения Гольдони воплощались в разных художественных манерах: как комедии характеров или нравов, в реалистическом ключе, в традиционной манере комедии дель арте. Но в любой постановке мы ощущаем очарование и вечную юность Гольдони. Сегодня, освободившись от эстетской моды на нарочитую театрализацию, румынский театр нашел удачный синтез театральной экспрессии и реализма, создав динамические, живые спектакли по пьесам великого итальянского комедиографа.

С обстоятельным докладом на тему «Гольдони сегодня и новые проблемы драматургической критики» выступил декан факультета иностранных языков и литератур Венецианского университета профессор Марио Баратто.

Докладчик отметил, что интерес к творчеству Карло Гольдони со временем не только не уменьшается, но все более расширяется, охватывая новые сферы и аспекты, и именно в этом смысле можно говорить и о новых проблемах критики. Многочисленные труды, вышедшие в последние годы и продолжающие выходить во все возрастающем объеме, позволяют выделить несколько тенденций изучения творчества Гольдони. Безусловно, первая из них заключается в стремлении к максимальному уточнению многочисленных текстов Гольдони на основе новейших методов исследования. Наряду с этим совершенно справедливо все чаще поднимается проблема теперь уже не «театра Гольдони», но «театров Гольдони», чем подчеркивается необычайное многообразие жанров, тем и характеров гольдониевского наследия.

Весьма перспективна, отметил М. Баратто, также тенденция к более точному определению самого типа театра Гольдони. Участие в дискуссии по этой тематике критиков, режиссеров, исполнителей показывает, что мы присутствуем при ломке традиционных рамок самой театральной науки. Соединение глубинного анализа текста с выдвижением глубоких и серьезных задач самой постановки, попытки социологического исследования воздействия этих спектаклей на зрителя — фактор, значение которого трудно переоценить. Мы наблюдаем сегодня попытки режиссеров выступить в роли интерпретаторов-лингвистов, лингвисты же, так сказать, «от чистой науки» все чаще обращаются к живым спектаклям, и это смещение ролей в сфере театра, подчеркнул М. Баратто, неизбежно и логично приводит к выявлению глубинной исторической функции гольдониевского театра: театра, в котором так удачно соединились и литература, и режиссура, и исполнительское мастерство.

В сообщении «Традиции театрального языка комедии дель арте в комедиях Гольдони» Т. Клебанова напомнила, что подобно тому, как одно время было принято противопоставлять комедию Гольдони театру масок, теперь стало традиционным говорить о Гольдони как о наследнике комедии дель арте. Но если сравнить поздние комедии Гольдони с текстами, оставшимися нам от импровизированного театра масок, контраст будет весьма очевиден. Правда, тексты комедий масок дают лишь весьма бледное представление о самих спектаклях: они записывались главным образом актерами, которые не были профессиональными драматургами и, стараясь «пригладить» и «сделать лучше» монологи и диалоги, лишали их тем самым непосредственности, которая была одним из главных достоинств таких спектаклей. Поэтому вряд ли правомерно сравнивать их с высокопрофессиональным творчеством позднего Гольдони, в пьесах которого традиции импровизированного театра растворились и стали малозаметны. Но если проследить эволюцию творчества Гольдони от первых малосценичных комедий, написанных на тогдашнем тяжеловесном литературном итальянском языке, до шедевров его комедийного мастерства с характерной для них полной свободой и раскованностью языка, достигнутой во многом благодаря безукоризненному знанию законов театра и прекрасному владению профессиональной «техникой» театрального искусства, влияние комедии масок на Гольдони становится неоспоримым.

Вот как поучает актеров герой комедии-манифеста Гольдони «Комический театр»: «Самое главное — избегайте заунывного чтения и декламации, играйте естественно, как говорите, ибо комедия есть подражание природе». Не говорит ли это о том, что та «революция во вкусах», которую Гольдони произвел в театральном искусстве, назревала в недрах самого этого искусства и что, очевидно, появлялся новый тип актера, внутренне готовый играть по-новому и в новых пьесах. Кстати, создать реалистическую ко-

медию в условиях отсутствия общенационального разговорного языка Гольдони удалось во многом именно благодаря тому, что от комедии масок ему достался прекрасно подготовленный в профессиональном отношении актер, не только способный воспринять требования нового театра, но и явившийся для Гольдони основным источником знаний о законах театра. Это в значительной степени компенсировало драматургу отсутствие необходимого лингвистического материала в жизни.

Большой интерес вызвал доклад профессора Джорджо Падоана «Наследие Гольдони: реализм и нравственность», в котором были проанализированы пьесы, написанные до 1775—1776 годов. Именно к этому периоду относится комедия-манифест Гольдони «Комический театр», в которой автор объявляет свою реформаторскую программу. Она ознаменовала поворот в творчестве Гольдони, его отход от романтического направления. Отказавшись от эффектных сцен убийств, ограблений, отравлений, драматург теперь сосредоточивается на внутренних качествах человека, на его гражданских добродетелях. Это было веянием времени, ответом на вопросы, стоявшие тогда на повестке дня.

В те годы интерес у публики вызывали комедии, действие которых происходило в аристократической среде, и именно в это окружение Гольдони помещает ряд героев своей новой комедии, хотя среди ее персонажей по-прежнему немало представителей народа, простолюдинов.

В этих работах с особой силой проявляется сатирическое дарование Гольдони, который твердо убежден, что комизм должен не только разить плохого человека, но и помогать всем людям очиститься от дурных черт. При этом, правда, Гольдони зачастую представляется нам слишком внимательным к повседневности, злобе дня, кажется, что он не углубляется в анализ исторических причин описываемых явлений. Но это логично и легко объяснимо, если не стремиться делать Гольдони, как это случается у некоторых исследователей, чуть ли не предшественником Французской революции.

Поэтика Гольдони этого периода может быть выражена словами одного из его персонажей, маэстро Ривелло: «...я описал людей не такими, какими они должны быть, но такими, какими они являются, может быть, порой грустными, но естественными...»

Ю. Волков в своем выступлении также говорил о сценическом реализме Гольдони, суть которого наиболее полно изложена в его знаменитой комедии-манифесте «Комический театр». Эти принципы реалистической режиссуры послужили в дальнейшем основой для постановок не только комедий самого Гольдони, но и театральных произведений, появившихся значительно позднее, вплоть до наших дней.

Выступая на тему «Актуальность Гольдони», В. Розов отметил, что в докладах уже говорилось о социальных глубинах произведений Гольдони. «Если мне не изменяет память,— заметил В. Розов,—Гольдони сказал, что идея в пьесе должна быть как соль в пище. Если соли мало, она пресна, если много — ее просто есть невозможно. Познакомившись с пьесами Гольдони в молодости, я усвоил, что это веселый, жизнелюбивый драматург. Гольдони — это радость жизни.

Мне посчастливилось,— продолжал В. Розов,— видеть в Италии труппу, которая играет, реставрируя комедию дель арте. Шел на это представление с некоторой опаской, потому что никогда не видел подобной комедии. Думал, что это будет нечто искусственное, что не воспримет ни ум, ни душа. И был поражен обстановкой веселья. Не зная итальянского языка, я почувствовал переполнявший спектакль талант, жизнерадостность, оптимизм Гольдони. Здесь высмеивались такие пороки, как жадность, косность... Но делалось это очень весело. А смех — оружие убийственное.

Любому народу нужен веселый драматург; любому народу, любому зрителю нужен здоровый смех, потому что смех, во-первых, укрепляет человека, во-вторых, отвлекает от повседневности, которая его порой принижает. Смех помогает бороться с теми недостатками, которые есть в любой действительности. В нашей действительности, в вашей действительности, в любой стране, в любом обществе есть недостатки, над которыми надо смеяться, смеяться умно, талантливо, не издевательски, но саркастически. По-моему, драматург-комедиограф, какие бы пороки он ни изобличал, должен быть добрым сатириком. Он может быть злым по отношению к отдельным персонажам, но по натуре своей он должен быть добрым. Гольдони надо играть в том ключе, в каком он писал. А писал он уникально, блистательно. И подверстывать его к современной манере игры не нужно».

Румынский литературовед Х. Деляну, посвятив свой доклад теме «Современность и Гольдони», сказал, что, приступая к чтению литературного текста, современный читатель не пассивно включается в его ткань. Он отводит себе место в развертывании этой ткани и таким образом определяет соответственно своему современному восприятию, актуально или устарело литературное произведение.

Если речь идет о драматическом произведении, его восприятие всегда подвергается углубленному переосмыслению в контексте спектакля, который мы представляем себе сообразно художественным требованиям зрителя нашего времени. И в конечном итоге на сцене, где разыгрывается спектакль, обновленный смысл становится единственным, обладающим подлинной значимостью.

В течение двух с половиной столетий комедии замечательного итальянского драматурга не сходят со сцен мира, сохраняя вечную молодость, прекрасную и неувядающую свежесть. Каковы секреты актуальности, современности творчества Гольдони?

Некоторые писатели живут под страхом столкновения со временем, с боязнью ждут встречи с устоявшимися ценностями, суждениями, сложившимися не без влияния завоевавших себе прочное место в мировом искусстве произведений. Опасаясь остаться незамеченными в искусстве, они пытаются вызвать сенсацию, привлечь во что бы то ни стало внимание и добиться известности если не в перспективе вечности, то хотя бы на время своей мимолетной жизни.

В отличие от тех, кто прибегает к таким средствам, Гольдони начал и довел до победного конца свою сценическую реформу со спокойной, подтвержденной столетиями уверенностью, что его последовательная работа не подвержена угрозе эфемерности.

Пробив сложным приступом брешь в стене условностей, Гольдони отбросил отжившие свой век структуры, стереотипные приемы, шаблоны и давно установившиеся схемы, которые явно пришли в негодность, подверглись износу после бесконечных и подчас бездарных повторений.

Театр Гольдони представляет собой авангард сценического искусства, активно выразивший свое несогласие, свою враждебность по отношению к закоснелости вкусов, к цепи предрассудков, опутывавших огни рампы.

Однако значение творчества Гольдони этим не исчерпывается. Продолжает впечатлять, невзирая на истекшие века, его литературно-драматическая техника, глубокая художественная убедительность его произведений. Гольдони-драматург обладает гением естественности. И в то же время владеет секретом индивидуальной и пленительно утонченной простоты. Так закончил свое выступление Х. Деляну.

Известно, что Гольдони был одним из немногих итальянских писателей, которого часто рисовали и писали известные художники. Этой теме, несколько выходящей за рамки симпозиума, но, безусловно, обогащающей наши знания о венецианском драматурге, посвятил свое сообщение профессор Падуанского университета Дж. Пиццимильо. Он особо остановился в этой связи на портретах Гольдони, выполненных Заккариа Сериманом.

Образы Гольдони, созданные Сериманом, подчеркнул Дж. Пиццимильо, разительно отличаются от официальных портретов. Мы видим Гольдони то слегка рассеянным и усталым, то как бы расслабившимся, сбросившим с себя груз многочисленных нападок критики, то немного охмелевшим и готовым рассказать о своих самых сокровенных помыслах.

В целом, подчеркнул Дж. Пиццимильо, эти аспекты гольдонианы еще очень мало изучены, хотя представляют значительный интерес с точки зрения более точного воссоздания жизненного пути драматурга.

Профессор А. Л. Беллина проследила в своем выступлении сценическую жизнь комедии Гольдони «Аптекарь», сделав особый акцент на тех модификациях, которые сам автор вносил в нее в зависимости от актеров и трупп, ее исполнявших, а также на многочисленных, но, к сожалению, очень редко удававшихся ее интерпретациях в последующие годы. Несмотря на то что сам Гольдони был сторонником импровизации, подчеркнула А. Л. Беллина, ее границы не беспредельны: опыт постановок «Аптекаря» показывает, что зачастую весьма произвольное обращение с оригинальным текстом приводит к почти полному исчезновению авторского своеобразия. Вот почему особое значение в рамках исследования гольдонианы имеет тщательная выверка и анализ первоначальных текстов и указаний самого Гольдони по той или иной комедии.

С докладом «Станиславский и Гольдони» выступил на симпозиуме Р. Хлодовский. Очень привычны сопоставления: Станиславский и Чехов, Станиславский и Горький, Станиславский и Метерлинк, отметил он. Менее привычно: Станиславский и Гольдони. Возможно, даже сопоставление этих имен покажется кому-нибудь искусственным, необязательным или в лучшем случае сугубо юбилейным, придуманным специально к торжественному случаю.

Между тем Станиславский и Гольдони — тема большая и для истории театра XX века немаловажная.

Разумеется, было бы нелепым преувеличением утверждать, будто Карло Гольдони сопровождал Станиславского на протяжении всей его жизни в искусстве. Однако то, что узловые, поворотные моменты творческого пути Станиславского оказались связанными с Гольдони,— реальность, и реальность эта еще нуждается в обстоятельном как историческом, так и театрально-эстетическом осмыслении.

В революции, осуществлявшейся на русской сцене, великий реформатор итальянского театра принял участие уже в ее самые первые славные дни. И это не было случайностью. И Станиславский и Немирович-Данченко размышляли и независимо друг от друга работали над «Трактирщицей» еще до своей исторической встречи в московском ресторане «Славянский базар». Поэтому, когда весной 1898 года основоположники Художественного театра намечали репертуар первого сезона, они единодушно включили в него наряду с пьесами А. К. Толстого, Чехова, Гоголя и Ибсена знаменитую комедию Гольдони.

Комедия великого итальянского драматурга позволила Станиславскому не только удачно воплотить на московской сцене тот принцип художественной целостности спектакля, который навсегда останется одним из фундаментальных принципов великого русского режиссера — «Трактирщица» хорошо соответствовала общественной программе Художественного театра, подчеркнуто именовавшего себя театром общедоступным. Гольдони всегда воспринимался Станиславским как драматург демократичный и более, нежели А. К. Толстой или Ибсен, народу нужный и понятный. Примечательно, что, когда в январе 1899 года Художественный театр устраивал утренний спектакль специально для рабочих московских фабрик, выбор Станиславского остановился не на, казалось бы, беспроигрышном «Царе Федоре», а на веселой «Трактирщице».

В следующий раз Станиславский встретился с Гольдони в 1913 году, в период предреволюционного общественного подъема. В это время великий русский режиссер начал разрабатывать свою систему и вернул руководимый им театр на путь последовательного реализма. К работе над комедией Гольдони Станиславский привлек А. Бенуа, по настоянию которого «Трактирщица» была переименована в «Хозяйку гостиницы». Премьера «Хозяйки...» состоялась в феврале 1914 года. Спектакль имел огромный успех Постановка комедии Гольдони на сцене МХТ в канун первой мировой войны стала большой победой не только реалистического искусства, но и гуманизма, почти всегда с

реализмом так или иначе связанного. Станиславский был твердо убежден в том, что подлинная красота в основе своей народна и особенно необходима народу в пору великих исторических испытаний. Во время первой мировой войны он чаще и охотнее всего играл роль кавалера ди Рипафратта. За усиленными репетициями «Хозяйки гостиницы» (они были вызваны введением М. Ждановой на роль Мирандолины) Станиславского застала Октябрьская революция.

В 1919/20 году «Хозяйка гостиницы» неоднократно показывалась Станиславским в Колонном зале Дома Союзов. Потом, в 1923 году, Станиславский взял Гольдони в гастроли по Западной Европе и Америке. «Хозяйка гостиницы» имела там грандиозный успех. Триумф мхатовского Гольдони стал триумфом молодого советского искусства.

«Хозяйка гостиницы» была первой комедией, в которой Станиславский применил свою «систему», и последним спектаклем, в котором он сыграл большую, по-настоящему удавшуюся ему роль. Возможно, это тоже было одной из причин, почему Станиславский всегда не только любил Гольдони, но и дорожил им как надежным соратником, на помощь которого можно спокойно положиться.

«Гольдони в советской итальянистике» — так назвала свой доклад З. Потапова. Она подчеркнула, что широкой популярности комедий Гольдони на советской сцене, неослабевающему у нас интересу к жизни и творчеству итальянского драматурга, о чем достаточно говорилось на симпозиуме, безусловно, в очень большой степени способствовала неустанная популяризаторская деятельность и исследовательские труды двух выдающихся ученых-филологов и театроведов, упоминавшихся уже неоднократно,— Алексея Карповича Дживелегова и Стефана Стефановича Мокульского.

Их вклад в советское гольдоноведение поистине огромен: оценки творческого метода Гольдони, идейно-художественного значения его реформы, его места в истории европейского театра, которые были сформулированы в работах этих двух ученых в период 30—50-х годов, выдержали проверку временем и остаются столь же весомыми, сколь и перспективными сегодня.

Главные завоевания Гольдони Мокульский видит в создании в Италии реалистической драмы нового типа и новой сценической техники. Он рисует в своих трудах живую картину театральной жизни Венеции накануне реформы, с ее публикой, репертуаром, нравами актерской среды. Мокульский дает свой ответ на вопрос о соотношении комедии Гольдони с комедией дель арте. «Гольдони никогда не порывал с народной комедией,— пишет он.— Задачей его было лишь дисциплинировать комедию дель арте, внести в нее строгую организацию, подчинить актеров единой воле драматурга». Мокульский напоминает, что после окончательной гибели комедии дель арте пьесы Гольдони оставались единственным театральным жанром, допускавшим импровизацию. Ученый подчеркивает, что Гольдони был прежде всего театральным практиком, умело трансформировавшим традиции народного представления и именно на этой основе все глубже проникавшим в народную жизнь. Мокульский говорит о том искусстве, с которым Гольдони постепенно сделал традицию комедии дель арте выразительницей новых буржуазных идеалов, «наделив ее новой общественной функцией, которая в XVIII веке была провозглашена основной задачей сценического искусства».

Обратившись к трудам Дживелегова, З. Потапова особо отметила, что в процессе анализа идейно-художественных особенностей комедии Гольдони и сути его реформы Дживелегов высвобождается из существовавших тогда сковывавших формулировок. Он убедительно показывает, что в середине XVIII века комедия масок одряхлела, лишилась своего оппозиционного жала, утратила остроту. Чтобы стать театром нового общества, она нуждалась в реформе содержания и сценического оформления. Таким образом, Дживелегов, как и Мокульский, отказывается видеть в Гольдони разрушителя народной комедии, с которой драматург, как это показано на анализе драматургического материала — образов, ситуаций, сюжетов,— сохраняет тесную связь, используя ее лучшие традиции. «Гольдони строит свою реформу на восстановлении социального содержания главных масок,— пишет автор.— Их характеристика непосредственно связывается с живой действительностью, маски, имевшие отвлеченный характер, приобретают индивидуальность». С большим изяществом анализирует Дживелегов трансформацию образа Панталоне, который из глупого, смешного скупца становится почтенным купцом, резонером, часто выражающим мысли самого автора. «Гольдони выпрямляет исколоченную многолетними побоями спину своего Панталоне, превращая его в глашатая дорогих для него идей»,— образно пишет Дживелегов. И далее: «Театр Гольдони показывает новому обществу нового человека».

Болгарский театровед С. Гьорова посвятила свое выступление пьесам, поставленным в Болгарии. Гольдони появился в Болгарии, напомнила она, когда болгарское театральное искусство начало смело искать новые пути развития, яркие и обостренные формы выражения, свои возможности изобразить новые процессы в общественной жизни.

Гольдони стал репертуарным автором молодежных трупп, решивших революционизировать театральное искусство, преодолев унылую бескрылость жизненного правдоподобия. Они стремились достичь синтеза слова и других средств сценической выразительности — музыки, пластики, ритмики движения... Они хотели раскрыть и воспеть богатый внутренний мир человека, безграничную веру в силу и возможности его, человеческую стойкость и самообладание даже в самых тяжелых жизненных обстоятельствах. Материал именно для такого спектакля и нашли они в пьесах Гольдони, который очаровал болгарского зрителя театральностью, искрящимся остроумием. Это было в 1939 году. С тех пор Гольдони всегда был оружием театральных деятелей Болгарии. Характерно, что его появление в репертуаре часто бывает связано с возникновением и развитием молодой режиссуры, новых театров. После победы револю-

ции в Болгарии это стало особенно очевидно. Поставленный тогда спектакль «Слуга двух господ» имел изумительный успех, и Гольдони уже не сходит со сцены, став одним из любимых авторов болгарских зрителей.

В 50-е годы началось победное шествие пьесы «Трактирщица» по болгарской сцене. Под названием «Мирандолина» она шла с большим успехом во многих театрах НРБ. Но комедией-лидером стал все же «Слуга двух господ».

Как в свой дом вошел Гольдони и в репертуар одного из самых любимых театров Болгарии — учебного театра Института театрального искусства. Пьесы Гольдони стали школой актерского мастерства, пробным камнем возможностей студентов многих театральных профессий. Если ты можешь сыграть с блеском, глубиной, артистичностью и изначальной пластичностью один из гольдониевских характеров, значит, ты мастер и тебе вручают диплом.

Музыкальность, ритм, пластичность движения, умение вести диалог на сцене, отметила С. Гьорова,— все это качества, без которых невозможно играть в пьесах Гольдони, настоящего профессионала, создавшего свои произведения в кипении жизни.

«Мемуары», написанные уже восьмидесятилетним Карло Гольдони в Париже, вдали от родной Италии, которой он посвятил все свое творчество и жизнь, безусловно, заслуживают внимания не только как исторический документ, содержащий многочисленные фактические данные и живописные иллюстративные свидетельства о Гольдони — человеке, драматурге и театральном деятеле. Они и как литературное произведение занимают важное место в творчестве Гольдони и в истории итальянской литературы. Об этом говорила М. Кувшинова.

Автобиографический жанр имеет в Италии долгую историю. Элементы автобиографии содержатся в произведениях, написанных на заре итальянской словесности: в «Новой жизни» и «Пире» Данте, в трактате «О презрении к миру» и в «Письме к потомкам» Петрарки. Итальянская литература была одной из первых, где уже в конце средних веков проявилось стремление человека к осознанию собственной индивидуальности, к самооценке и одновременно к самоутверждению. Вот почему индивидуальное отличие от других осознавалось и изображалось подчеркнуто и с оттенком некоторой гордости.

«Мемуары» Карло Гольдони построены по хронологическому принципу. Структура «Мемуаров» такова, что события в них организованы вокруг театра и встают в памяти автора в основном в связи с фактами его творческой жизни. Гольдони во многом следует сложившейся традиции жизнеописаний.

И все же при этом он теснее других мемуаристов, своих современников, сближается с реальностью, рисуя картины повседневности. В его «Мемуарах» не только творчество или отдельные приключения — тут жизнь, взятая в более широком ракурсе. И себя автор представляет как часть этой жизни, чем-то похожим на других людей, связанным с ними общими законами человеческого существования, а не как единственного в мире, божьего избранника.

Одно из самых больших достоинств «Мемуаров» — то, что здесь сделана попытка дифференцированного изображения человека: с точки зрения окружающих и с внутренней точки зрения, раскрывающей то, что обычно неведомо посторонним — сокровенные думы, желания.

«Мемуарам» Гольдони посвятил выступление и профессор Дж. Календоли. Это произведение, отметил он, действительно заслуживает самого глубокого изучения как для понимания характера самого Карло Гольдони, так и для осознания его роли в формировании нового итальянского театра, а точнее, в борьбе за этот новый театр. Из «Мемуаров» со всей ясностью видно, что сам Гольдони воспринимал театральные постановки как нечто постоянно живое, всякий раз обогащаемое опытом и индивидуальным актерским талантом. В этой связи он неустанно стремился определить контуры нового типа актерской игры, при которой исполнитель, сохраняя право на импровизацию, не выходил бы тем не менее за рамки поставленных автором задач. Проблема эта, конечно, чрезвычайно сложна, подчеркнул Дж. Календоли, и достижение такого единства между драматургом и исполнителем было и остается пока, как ему кажется, идеалом.

«Мемуары» Гольдони, продолжал Дж. Календоли, важны для нас и как основополагающий документ, без которого не понять глубинных изменений, наметившихся в тот период в венецианском, а в более широком плане и в итальянском театре. Изменения эти, свидетельствует Гольдони, коснулись отнюдь не только чисто театральной сферы. Речь идет о превращении театра и в весьма важный экономический фактор, в предмет вложения капиталов с логично вытекающей отсюда необходимостью их приумножения. Важнейшим процессом является и привлечение к театру массы простолюдинов. И мы видим, как повсюду под воздействием этого нового зрителя происходит поиск новых форм и средств воздействия. «Мемуары» показывают, отметил Дж. Календоли, насколько активно, страстно заинтересованно, творчески участвовал в этих поисках Гольдони.

Закрывая симпозиум, снова выступили Витторе Бранка и Сергей Михалков, которые отметили успех симпозиума. «У нас,— сказал В. Бранка,— были все возможности обсудить интересующие нас вопросы, поговорить о значении творчества Гольдони для национальных культур многих стран. Как мы видели, интерес к личности и произведениям Гольдони все углубляется, и расширяется его масштаб, ныне интерес этот достиг уже Монголии. И там его издают и показывают. Нам это не только приятно, но и ко многому обязывает. Думаю, что наши связи с Союзом писателей СССР и мероприятия, подобные нынешнему симпозиуму, будут способствовать более углубленному изучению творчества великого итальянского комедиографа и росту его популярности».

В. Бранка подчеркнул, что итальянские специалисты были бы рады оказать любую

помощь советским коллегам в новых исследованиях, посвященных Гольдони, и подготовке переводов его произведений на русский язык, а также в устройстве мероприятий в ознаменование памятных дат Гольдони.

Как подтвердил московский симпозиум, отметил В. Бранка, творчество Гольдони дает богатую пищу для исследований представителям всех родов искусства, всех времен и всех народов. Разумеется, у каждого времени есть свои концепции, каждое время рассматривает творчество Гольдони по-своему и находит все больше и больше черт, интересных для себя. В. Бранка выразил уверенность, что с окончанием симпозиума не прекратится изучение творчества Карло Гольдони. Будут появляться все новые и новые литературоведческие, театроведческие работы, посвященные гению итальянской драматургии.

В. Бранка подчеркнул, что, с его точки зрения, и нынешний симпозиум внес много нового в анализ творчества Гольдони, поэтому материалы его должны стать достоянием всех, кто интересуется Гольдони и его изучает.

Эту мысль В. Бранки разделил и С. Михалков, подчеркнув, что доклады и сообщения о творчестве Карло Гольдони, слушавшиеся на симпозиуме в течение трех дней, были очень интересными. Их можно разделить на три группы.

Первая — изучение собственно творчества Гольдони, его взаимоотношений с комедией дель арте, особенностей его юмора и сатиры, отдельных пьес и «Мемуаров».

Вторая группа — Карло Гольдони и театр XX века. Современное состояние гольдонианы. Мы слышали сообщения о Станиславском — интерпретаторе Гольдони, о Гольдони на сцене социалистических стран и, конечно, о проблемах постановок пьес Гольдони в Италии. У нас были сообщения советских ученых, посвятивших себя изучению Гольдони.

Наконец, третья группа — это доклады, затрагивающие круг проблем, связанных с переводами Гольдони. От имени переводчиков заочно «выступал» и великий русский драматург Островский. Много говорилось об отличных современных переводах — иностранных и советских.

Казалось бы, при таком разнообразии докладов и сообщений их трудно свести к определенному единству. Однако это единство существует. Его можно обозначить формулой: актуальность Гольдони. Ее подтверждает весь наш симпозиум. Как и В. Бранка, С. Михалков говорил о том, что Карло Гольдони живет сегодня, привлекает интерес, вызывает восхищение читателей и зрителей, его творчество продолжает оставаться предметом изучения. Можно сказать, что наша встреча — это коллективная работа по изучению творчества Гольдони.

«Здесь, чередуясь, дополняя друг друга, исследователи из разных стран вносили новые краски в общую картину широкого распространения и мощного влияния творчества Гольдони. Однако мне хочется особо подчеркнуть,— сказал в заключение С. Михалков,— что наш симпозиум будет не только важным шагом в изучении творчества Гольдони, но и событием в развитии культурных взаимоотношений на международном уровне.

Наш творческий симпозиум проходил в тревожное для всей планеты время. В то время как мы здесь, в Москве, обсуждаем вопросы, связанные с творческим наследием Гольдони, кое-где собираются другие «симпозиумы», для участников которых творчество Гольдони, как и творчество Пушкина, Толстого, а равно и вся мировая культура никакой ценности не представляют. Эти «симпозиумы» обсуждают вопросы далеко не творческого характера. Однако, несмотря на опасность, которую несут сегодня силы, жаждущие разрушения, мы будем спокойно продолжать нашу работу, наши творческие взаимосвязи, основанные на взаимном доверии, стремлении к миру и сотрудничеству между народами».

Московский симпозиум, посвященный великому итальянскому драматургу, явился свидетельством того, что искусство Гольдони продолжает жить уже третье столетие. И в нашу эпоху оно стало достоянием культур многих народов мира, служа благородному делу их сближения.

Нынешний симпозиум показал также, сколь плодотворными могут быть встречи между учеными, деятелями культуры, литературы, искусства разных стран, если, несмотря на различия в политических воззрениях и взглядах на те или иные профессиональные проблемы, участников их объединяет стремление лучше знать и понимать друг друга. Ведь миру между людьми, к которому мы так стремимся, такое взаимопонимание необходимо.

Д. ЗАТОНСКИЙ

ТОМАС БЕРНХАРД: МИР РАССКАЗЫВАЕМЫЙ, ЗАМКНУТЫЙ, СМЕЩЕННЫЙ

Каждый большой писатель создает свой художественный мир. Но не у каждого это бросается в глаза. А у Томаса Бернхарда бросается: кто прочел хоть одну его книгу, безошибочно угадает автора следующей. Ведь бернхардовский мир не только самобытен, своеобычен; он еще и приметно смещен по отношению к миру эмпирическому — тому, который все видят более или менее одинаково.

Бернхард написал не так уж много для автора, пищущего более двадцати лет, но вполне достаточно, чтобы судить о нем без опасения существенно ошибиться. Его перу принадлежат четыре романа, четыре повести, книги рассказов, пьесы, автобиографические книги, стихи, публицистика. Во всех этих вещах он работает со сходным человеческим и этнографическим материалом и по сходным архитектоническим законам, которые сам для себя установил. Поэтому, чтобы войти в бернхардовский мир, нащупать бернхардовскую манеру, постичь бернхардовские философские и эстетические принципы, достаточно повнимательнее приглядеться к роману «Мороз» (1963). Анализ того, что писатель создал после него, с одной стороны, послужит уточнению, расширению, углублению картины бернхардовского творчества, а с другой — ее определенному разрушению. Ибо бернхардовское творчество — при всей бесспорной мономатичности — не чуждо своеобразной динамике; оно пребывает в состоянии некоего внутреннего движения, малоприметного для глаза, но в целом существенного изменения.

Некий «фамулянт» (так в Австрии именуются студенты-медики, проходящие практику при больнице) получает от своего непосредственного шефа, ассистента Штрауха, задание отправиться в высокогорную альпийскую деревушку Венг, чтобы понаблюдать за братом ассистента, художником Штраухом, издавна квартирующим в этой деревушке. Брат, с которым ассистент не виделся двадцать лет, по всей вероятности, психически болен. Так что поручение «фамулянта», хотя и носит приватный характер, вполне по медицинской части. Текст книги слагается из своего рода дневника-отчета, составленного «фамулянтом» для доктора Штрауха, и семи писем, отправленных тому же адресату, но почему-то оставленных без ответа.

Мы имеем дело с повествованием от первого лица, но не о себе, вернее, по преимуществу не о себе. Бывший живописец Штраух вопреки своей застарелой некоммуникабельности на удивление легко сошелся с соглядатаем. Тот выдал себя за студента-юриста, приехавшего в Венг на отдых. Это вызвало удивление у местных жителей (ведь богом забытая, пораженная физическими недугами, слабоумием и всеми признаками социального упадка деревушка менее всего напоминает курорт), но не у Штрауха. Тот измучен долголетней пыткой одиночеством, ему необходим собеседник, точнее даже слушатель, именно «ухо»: непрерывно, неустанно, лихорадочно пульсирующий мозг художника вырабатывает постулаты, сентенции, наблюдения, идеи — все это разламывает черепную коробку, рвется наружу. Лавины слов, каскады мыслей — отрывочных, беспорядочных, скачущих или слагающихся в фантастически-осязаемые образы, крупномасштабные периоды — обрушиваются на «фамулянта», слов и мыслей устрашающе-категоричных, устрашающе-пессимистичных, воистину безумных, но по временам не лишенных какой-то мрачной, воспаленной логики.

На добрую половину роман и состоит из этих лавин и каскадов. Они улавливаются «фамулянтом» и подаются в виде добросовестных, некомментированных пересказов, а то и в форме прямых цитат.

Вообще мир Бернхарда — это мир р а с с к а з ы в а е м ы й, и от романа к роману, от повести к повести он становится все более сложным, все более многоступенчатым и безличным. В «Морозе» художника Штрауха еще по большей части непосредственно описывает общающийся с ним «фамулянт» или сам Штраух, которому «фамулянт» так или иначе передает слово. В последующих книгах нормой, именно принципом архитектоники становятся многократные опосредования. Текст повести «Преферанс» (1969) — это письмо протагониста к некоему профессору Ундту. Однако он пишет там, как правило, не прямо о себе, а о том, что говорил одному лицу о том, что ранее говорил лицу другому: «. . . в городе, сказал я сапожнику, говорю я возчику, по всей вероятности, можно найти такую застежку». И в «Известковом карьере» (1970) то же самое, хотя рассказчик здесь — не сам герой, а почти как и в «Морозе», человек посторонний да еще, в отличие от «Мороза», с героем практически не общавшийся. Тем не менее именно он пересказывает историю героя, Конрада, маньяка, застрелившего жену, пересказывает со слов самых разных, не очень хорошо этого Конрада понимавших людей, да еще в каких-то умопомрачительных поворотах: «. . . в известковом карьере живут в течение многих лет Конрад и его калека-жена, думает он, что так думал Хеллер, якобы сказал Конрад, обращаясь к Фро».

Спору нет, все это напоминает игру, притом игру формалистическую. Но для Бернхарда она важна; она для него даже не игра, а способ построения своего, специфического мира.

Это — мир з а м к н у т ы й. «В деревне есть люди, которые еще никогда не покидали долину»; и Штраух вот уже много лет живет здесь безвыездно, точно внутри невидимых стен, перемещаясь между трактиром, где спит и столуется, окрестными лесами, по которым бродит, железнодорожной станцией, где покупает свои газеты. Как Штраух, существуют и прочие бернхардовские протагонисты. Братья из повести «Амрас» (1964) живут в башне, князь Заурау из романа «Помешательство» (1967) — в замке на скале, братья и сестра из рассказа «Мидленд в Стильфсе» (1971) — в своем высокогорном имении, и т. д.

Место действия романов, повестей, рассказов Бернхарда (если тут вообще можно говорить о «месте действия» в обычном смысле слова) — Австрия. Причем за редкими исключениями — не Вена и не малые города, а забытые богом углы, вроде Венга, где быт обособлен, не меняется на протяжении столетий.

Однако замкнутость бернхардовского мира — замкнутость не только (и даже не столько) физическая, пространственная. Еще ощутимее те границы, что устанавливаются здесь зрению, воображению, духу. Все протагонисты у Бернхарда в свое время познали большой мир. Скажем, Конрад исколесил Европу, Америку, Азию, даже пересек Россию по транссибирской магистрали. В е г о опыт все вошло, но не в наш, читательский. Мы слышим перечисления городов, но не видим их, не ощущаем, потому что их, надо полагать, никогда не видел ни анонимный рассказчик, ни те, с чьих слов он реконструирует Конрадову историю.

Так складывается миф, предание. Хотя бы потому, что миф, предание — это всегда нечто рассказанное, п е р е с к а з а н н о е, а не происходящее у нас на глазах. Но и не только потому. Бернхардовской палитре присуще нечто притчевое. Порой почти кафковское. Но только «почти»: протагонисты у Бернхарда не менее эгоцентричны и еще более (ибо нередко безумны) авторитарны в суждениях и поступках, нежели герои Кафки. Они агрессивно навязывают бытию свою на него точку зрения. И когда они самовыражаются, такая их субъективность распознается без труда, без напряжения. Более того, как мы уже знаем, их бесконечные монологи — монологи людей, которые не желают и не умеют слушать другого,— обрамлены чужой речью. Правда, в большинстве случаев не истолковывающей, не оценивающей — лишь информирующей, пересказывающей, цитирующей. Но само ее присутствие делает свое дело: с одной стороны, вносит коррективы в безудержные излияния протагонистов, с другой (я уже об этом говорил) — создает замкнутость бернхардовского мира. Иначе говоря, он замкнут не за счет спонтанного оптического сдвига, как у Кафки, а благодаря сознательному самоограничению. Бернхардовская сельская, горная Австрия — это «вселенская модель», однако прежде всего модель упадка, всеобщего, непрестанного, неотвратимого Такой к ней подход — результат не только индивидуального умонастроения, а и специфически австрийских условий. Тем не менее все это по-своему сближает раннего Бернхарда с декадансом.

Близость к декадансу впечатляюще иллюстрируют речения живописца Штрауха. Он говорит о своем постоянном страхе — перед человеческой толпой, перед прогрессом, вторгающимся в долину (около Венга строится большая электростанция), перед собаками, лающими в ночи, вообще перед жизнью.

Сентенции, подобные штрауховским, даже штрауховские почти повторяющие, можно найти и у других протагонистов Бернхарда. Все они либо безумцы, либо самоубийцы (потенциальные или реализовавшиеся), а то и убийцы, как Конрад из «Известкового карьера».

Что ж, скажет читатель, так думают и действуют герои, а автор не обязательно должен с ними солидаризовываться: весь строй прозы Бернхарда нацелен на то, чтобы избавить и его и нас от подобной обязанности. Но все не так-то просто. Штраух, Заурау, Конрад, доктор из повести «Преферанс», Каррер и Элер из повести «Хождение» (1971), разумеется, не положительные герои, однако они и не те, кого можно назвать героями отрицательными. Да, в тексте романов, повестей. рассказов писатель ни звуком, ни жестом их не поддерживает, а вне этого текста о своих произведениях не высказывается, произведения эти не оцени-

вает и не комментирует. Более того, возмущается стремлением некоторых людей «смешивать написанное с личностью пишущего». И все-таки существует возможность сопоставить взгляды Бернхарда со взглядами его героев.

«Уважаемый господин министр!

Уважаемые присутствующие!

Ничего не следует восхвалять, ничего не следует проклинать, ни на что не следует жаловаться, но многое смехотворно: все смехотворно, если подумать о смерти»,— так начал Бернхард свою благодарственную речь на церемонии вручения ему Австрийской государственной премии 1967 года, поддержав таким образом своего Штрауха и своего Зауpay. Но речь его не получилась слишком благодарственной: «Мы — австрийцы,— сказал он,— мы апатичны; мы — жизнь, отражающая общее отсутствие интереса к жизни, в процессе природы мы — мания величия, проецируемая в будущее». То есть не только раскритиковал своих героев, но и отечественную государственную систему и ее габсбургские традиции.

В характере Бернхарда есть нечто анархистское, эпатажное. Поэтому не исключено, что, ополчаясь против властей и судеб своей страны, он заодно надевает маску Штрауха или нотариуса Моро из повести «Унгенах» (1968), так сказать, ради усиления эффекта. Ибо как художник он, конечно же, сложнее, глубже, противоречивее довольно плоского соображения о том, что все, дескать, «смехотворно» перед лицом неизбежной смерти.

А тем не менее фигуры вроде Штрауха Бернхарду чем-то близки или скажем так: дороги. В его глазах они — крайние, экстремальные порождения современных условий жизни, того социального и душевного неблагополучия, посреди которого он существует сам.

У Бернхарда (это особенно бросается в глаза в деревушке Венг) люди делятся по преимуществу на слабоумных и безумцев. Первые — «толпа», вторые — «герои». Причем не в общем, а в специальном значении слова: бернхардовские протагонисты.

Штрауху чудится, будто у него тоненькие, подгибающиеся ножки и огромная, тяжелая голова, которая непрестанно болит от переполняющих ее мыслей. Это — метафора страдающего, но не сдающегося интеллектуала. Перед Штраухом даже не стоит альтернатива: страдать или сдаться. Не думать, не вырабатывать чудовищную мыслительную энергию он просто не может. Здесь она изначально расходуется впустую, не вертит никаких колес. Лишь ничтожно малую ее часть улавливает на бумагу «фамулянт» — своего рода Эккерман при этом Гёте. Иные протагонисты поражены манией научного творчества. Князь Зауpay отдает все силы «в высшей степени философской теме, о которой говорит». Конрад для того и заперся в доме на известковом карьере, чтобы закончить свой труд о природе слуха. Десятки лет он на этот труд затратил, израсходовал свое громадное состояние, остался нищим. В голове все готово. Остается сесть и записать. Но Конрад не может — постоянно что-то мешает: он сам, жена, посетители и прежде всего известковый карьер, который был единственной надеждой, а стал проклятием, источником кровавой трагедии.

Характер научных интересов героев у Бернхарда никогда не уточняется. Ясно лишь, что это темы не прикладные, а именно «в высшей степени философские», продиктованные фаустовской жаждой познания и фаустовской же старомодностью. Бернхардовские герои — нечто вроде средневековых алхимиков, корпящих над своими тиглями. Но это — лишь одна причина поражения, которое они, как правило, терпят. И не только она делает их смешными в собственных глазах и в глазах Бернхарда.

Подобно бальзаковскому Валтасару Клаасу — герою «Поисков абсолюта», — они тоже ищут «абсолют», то есть то, чего найти нельзя. Впрочем, такой поиск и с точки зрения Бальзака был одновременно жалок и величествен. Остается другая причина: окружающая жизнь, исторические, общественные условия. Ибо Бернхард убежден, что человека лепят обстоятельства, что в социальном мире все взаимообусловлено. «. . .Культура,— пишет он в статье «Политическая заутреня», — зеркало политики, политика — зеркало культуры. . .» Оттого в обстановке австрийского распада Штраух, Зауpay, Конрад «смехотворны», безумны. Они и сами отравлены продуктами распада, исковерканы дурным воспитанием (это постоянный мотив у Бернхарда). Однако еще бóльшая вина лежит на обществе. Оно — первопричина всех поражений, всех трагедий, всех психических срывов.

«В сущности, все бернхардовские герои,— пишет критик Й. Тисмар,— ищут утраченную гармонию». И, как бы благословляя на поиск, Бернхард нередко наделяет их чертами своей биографии, собственными пристрастиями, симпатиями и антипатиями. Это может быть застарелая, глубоко личная и оттого немного капризная нелюбовь к врачам и медицине. А может, и нечто более весомое. Например, литературные вкусы.

Все бернхардовские протагонисты — усердные читатели. Речь об этом идет в каждом романе. каждой повести. Постепенно очерчивается круг: Монтень, Паскаль, Декарт, Фрэнсис Бэкон, Гегель, Шопенгауэр, Сервантес, Стерн, Гёте, Новалис, Ленау, Штифтер, Пушкин, Достоевский, Гамсун, Валери, Пеги. . . Таков круг чтения самого Бернхарда, в некотором роде весьма показательный: в нем много философов и больше авторов старых, чем новых Но круг этот показателен и для героев: каждый находит в нем (или даже за его пределами) что-нибудь свое, и оно служит средством характеристики, подчеркивает неодинаковость. «Фамулянт» берет в Венг роман Генри Джеймса, а Штраух давно уже заглядывает только в Паскаля; Конрад штудирует автобиографию Кропоткина, а его жена всем предпочитает Новалиса; имя Пушкина впервые всплывает в романе «Правка» (1975) и, думается, неспроста. А в целом род и интенсивность чтения высвечивает интеллектуализм бернхардовских героев.

Вот что, однако, любопытно. Эти противостоящие «толпе» интеллектуалы, отчужденные окружением особи, подобно манновскому художнику Тонио Крёгеру, испытывают симпатии к простым людям, к народу. Пона-

чалу это, правда, не очень бросается в глаза. В «Морозе» таков скорее «фамулянт», нежели Штраух. Но и Штраух однажды заметил, когда им повстречались рабочие с электростанции: «Видите ли ... эти люди на правильном пути, это правильные люди». Что не мешает ему поносить «слабоумие» Венга. И все-таки Штраух живет именно в Венге. Взятые вместе, здешние люди — «правильные», а каждый в отдельности — порождение реального «австрийского ничтожества».

Столь же противоречива позиция доктора в «Преферансе». «Я ничто не ненавижу так глубоко, как людей»,— признается он. «... Я не гожусь для массы... я гожусь только для самого себя». В то же время он — богатый человек, владелец земель и замка — тридцать лет живет среди рабочих, бедняков, и, пока власти не лишили его практики, лечил их бесплатно. Даже агрессивный ипохондрик Конрад, будущий убийца, охотнее всего разговаривал с дровосеками и рабочими. Но наиболее в этом смысле примечателен роман «Правка». Его протагонист Ройтамер, наследник огромного имения Альтензам, пожелал посещать в отличие от братьев не элитарное учебное заведение, а обычную сельскую школу, что оказало влияние на всю его последующую жизнь. Не в доме отца, а там «были его истинные родичи, в деревнях вокруг Альтензама и среди людей в этих деревнях, среди крестьянских парней и среди мужчин, работавших в прилежащих к Альтензаму шахтах». В романе фигурирует необычный для Бернхарда герой, набивщик птичьих чучел Хеллер, некогда однокашник Ройтамера. Он — воплощение уравновешенности, душевного здоровья, берущего истоки в патриархальном, незыблемом, народном.

Тем не менее даже Ройтамер — типичный бернхардовский протагонист, отчужденный, мятущийся, безмерно одинокий. И он кончает жизнь самоубийством, повесившись на лесной поляне между Альтензамом и домом сельского врача, отца своего школьного товарища и позднейшего биографа, домом, в котором всегда чувствовал себя лучше, чем в Альтензаме...

Ответ на вопрос, почему бернхардовский мир — это мир странных безумцев, невольных убийц и последовательных самоубийц, нужно искать как в личности писателя, так и в его отношениях с окружающим бытием. И не просто с кризисами европейского Запада 60—70-х годов, а с их особой формой: новейшей австрийской судьбой.

Томас Бернхард родился 10 февраля 1931 года в Голландии. Своего отца, австрийского землевладельца, он ни разу в жизни не видел и с 1932 года воспитывался в семье деда по материнской линии, писателя Иоганнеса Фроймбихлера. Перу последнего принадлежит ряд романов воспитания, воссоздающих быт и нравы Верхней Австрии. Они написаны в реалистической, лишенной сентиментальности манере и имели в свое время (30—40-е годы) известный успех. Дед оказал на формирование Бернхарда решающее влияние: он не только заменил мальчику отца, но и в годы становления личности значил много больше матери. Этот факт нашел отражение в произведениях Бернхарда: почти все его протагонисты ценят и любят деда и бабку и живут (или жили) в конфликте с родителями.

Бернхардовские взгляды на жизнь, бернхардовская культура, бернхардовские литературные вкусы, даже бернхардовский противоречивый и в то же время неутолимый интерес к текущей политике — все это в большей или меньшей мере заложено Фроймбихлером. Не случайно, надо полагать, будущий писатель до 1955 года был судебным репортером социалистической газеты «Демократишес фольксблатт», той самой, которая в 1949 году откликнулась на смерть его деда пространным и уважительным некрологом. Правда, Фроймбихлер мечтал видеть внука не писателем, а музыкантом, может быть, даже знаменитым певцом. С 1937 года тот берет уроки скрипки, вокала, теории музыки. В трудные, тощие послевоенные времена он осваивал и более прозаическую профессию: торговое дело. Но не это помешало Бернхарду стать музыкантом. Он потерял деда, а в 1950 году и мать, сам тяжело и долго болел. В больнице и начал писать, якобы «от скуки». Первая публикация в прозе — «У гроба поэта» (1950).

Но время ученичества тянулось еще довольно долго. Бернхард работал в газете, сочинял небольшие пьесы для театра в Каринтии, писал стихи, побывал в Югославии, Италии, Англии, Польше. Кроме того, продолжал занятия музыкой и в 1957 году наконец закончил Моцартовскую академию. Однако выбор уже был сделан: музыка осталась предметом любви, литература — родом занятий. После опубликования романа «Мороз» имя Бернхарда вошло в нее прочно и окончательно. За уже упомянутой последовала Бюхнеровская премия, Грильпарцеровская премия, премия Франца Теодора Чокора, Ганноверская премия для драматургов и т. д.

Первым, как повелось, если дело касается австрийской литературы, Бернхарда по-настоящему открыл немец, писатель Карл Цукмайер. В июне 1963 года он опубликовал в гамбургском еженедельнике «Ди цайт» рецензию на «Мороз». Цукмайер отнес эту книгу «к наиболее будоражащим и убедительным прозаическим произведениям, которые после Петера Вайса были созданы авторами младшего поколения». И он отметил, «с какой давящей реалистичностью» воспроизведены у Бернхарда пейзаж, атмосфера, быт альпийской долины.

Житейский материал, которым Бернхард оперирует, сам по себе традиционно тяготеет к идиллии, а осмысляется он в формах, идиллии противных. Пытаясь разрешить это противоречие, критика видела в Бернхарде «певца родины», но с отрицательным знаком, а ведущий его жанр определяла как «негативный областнический роман». «Наш народ может выбирать лишь между мясниками и подмастерьями жестянщиков, раздутыми от глупости монахами, только между мародерами и исполняющими обязанности мародеров. Демократия, «наша демократия» — это величайшее надувательство! Наша страна лежит в брюхе Европы, как «нечто косолапое, непереваримое, ею в беспамятстве проглоченное». Даже «наш танец мертв, наши пляски и песни мертвы! Все псевдо! Все шутовство! Смехотворное, разрушитель-

ное шутовство! Национальный позор!» — так выглядят в устах «фамулянта» извержения штрауховской австрофобии. Нечто подобное можно услышать от каждого из бернхардовских протагонистов — от князя Заурау, от доктора в «Преферансе», от Конрада и прежде всего от нотариуса Моро из «Унгенаха».

Моро не просто консерватор, он реакционер. И его все отрицание лишено и тени конструктивности; оно бесплодно, почти беспричинно. Но есть другие, в том числе и в этой повести. Роберт — наследник поместья Унгенах, одного из крупнейших землевладений страны, принимает решение разделить, раздарить его и тем самым уничтожить этот гигантский, давно утративший право на историческое существование анахронизм. Такая идея владеет многими бернхардовскими протагонистами. Впервые она появляется в замутненном сознании князя Заурау. В его безумных и вещих видениях наследник-сын разрушает Хохгоберниц, оставленное ему богатство. Как человек из прошлого времени князь ненавидит за это сына, как человек, вышибленный из времени, он втайне этого жаждет... Доктор в «Преферансе» уже в таком направлении действует: продал имение Эллинг и перевел полтора миллиона шиллингов на имя профессора Ундта, математика, юриста, общественного деятеля, пекущегося о судьбе бывших заключенных. Так же поступает и Ройтамер из романа «Правка»: раздает участки, нарезанные из Альтензама, представителям этой, наименее устроенной социальной группы.

Что и говорить, мы имеем дело с индивидуалистски-наивной, граничащей с анархизмом попыткой исправлять общественное зло. Однако речь все-таки идет о перераспределении собственности. И если принять во внимание, что Хохгоберниц, Унгенах, Эллинг, Альтензам — не что иное, как символы австрийского государства в целом, попытка эта не столь уж ничтожна.

Но Австрия того времени для Бернхарда — не только символ, не только вселенская модель пережиточности, отсталости, распада. Она и объект конкретной, предметной критики. В повести «Хождение» Каррер сошел с ума. Элер, который теперь гуляет с рассказчиком, излагает тому причины Каррерова помешательства. Каррера вышибло из колеи самоубийство Холленштайнера, выдающегося, а может, и гениального ученого-химика.

Холленштайнер повесился после того, как правительство отказало его институту в жизненно необходимых субсидиях. По Элеру, это — типично австрийская история. «В то время как в Германии имя Холленштайнера среди химиков было самым уважаемым и остается таковым еще и сегодня, здесь, в Австрии, Холленштайнера замолчали до смерти; все недюжинное в этой стране, говорит Элер, всегда и во все времена до смерти замалчивалось, пока оно себя не убивало. Если имеешь дело с выдающейся австрийской головой, не нужно гадать, убьет ли она себя, это только вопрос времени, и государство рассчитывает на это».

Впрочем, самое любопытное лишь начинается. Холленштайнер получал приглашения из разных стран мира, многие университеты почли бы за честь создать у себя благоприятные условия для продолжения его исследований. Но он не хотел уезжать: Австрия была его проклятием и его горькой любовью. И предпочел самоубийство, ибо не мог бы жить нигде в другом месте.

Австрия является как бы в двойном свете: «Стоит сличить красоту этой страны, говорит Элер, с подлостью этого государства — и придешь к самоубийству». В «Морозе» такая двойственность бернхардовского подхода еще не прощупывалась; точнее, она не лежала там на поверхности: «Штраух только то и делал, что ругал Австрию. Но при этом не уезжал из Венга. Ведь Венг — это его, Штрауха, мир. У него не только нет другого, он другого и не хочет. Этот Штраух и этот его мир постепенно завораживают и «фамулянта».

Таково начало. Зрелая же стадия бернхардовских отношений с родиной представлена даже не в «Хождении», а в «Правке». Ройтамер — иной вариант а в с т р и й с к о г о их решения. Если Холленштайнер предпочел самоубийство отъезду за границу, то Ройтамер был убежден, что «из этой страны и от этого государства нужно спасаться, и, чем раньше человек с духовными данными повернется спиной к этой стране и этому государству, тем лучше». И он уезжает в Англию, ведет свою научную работу там. Но это бегство весьма специфическое. «Я вынужден был,— говорит Ройтамер,— поскольку в сущности не намерен был ничем иным заниматься, кроме обдумывания и продумывания моего места действия (Альтензам, Австрия, etc), отправиться в Кембридж».

Ройтамер не менее злобно, чем нотариус Моро, поносит Австрию. Он ее терпеть не мог, и он ее любил, «потому что она была его происхождением». И он не то чтобы сюда постоянно возвращался; в помыслах он отсюда никогда не уезжал; только то, что имело место здесь, было для него, как и некогда для Штрауха, по-настоящему важным.

Мы уже знаем: Ройтамер разрушил Альтензам, разрушил как немыслимый пережиток немыслимой старой Австрии. Отец, втайне надеясь на это, сделал его наследником в обход братьев То есть повел себя почти как князь Заурау. Но чего еще не было, так это «конуса» — своеобразной замены, которую Ройтамер нашел для Альтензама. Получив в свое распоряжение миллион, он решает дать счастье любимой сестре: построить для нее посреди леса необычный дом в форме конуса, жилье, целиком отвечающее ее натуре. «Конус» — утопия крохотной, справедливой, избавившейся от всех имперских притязаний и габсбургских мифов Австрии.

Сестра умерла, увидев «конус»: о н а не смогла там жить. Но идею в целом это не перечеркнуло: «...постройка как произведение искусства лишь тогда завершена, когда наступает смерть того, для кого она сооружалась и завершалась, так говорил Ройтамер». Очевидно, идею не перечеркивает и самоубийство Ройтамера: все равно он первый из бернхардовских протагонистов, который реализовал себя в ходе поисков утраченной гармонии.

Путь Бернхарда-прозаика близок к спирали.

Роман «Мороз» наряду со штрауховскими монологами наполнен еще описаниями — точными, предметными, иногда пластичными. Последующие книги стерильнее. В них меньше реалий, недостает пространства, не хватает воздуха. Увиденное еще настойчивее замещается услышанным, фигуры заступаются «голосами». И прежде всего по причине прогрессирующей обезличенности рассказчика, его непроницаемой анонимности, даже если он, как в повести «Преферанс», рассказывает о себе самом. Центр тяжести перемещается с *что* на *как*, с содержания на форму, с рассказываемого на процесс рассказывания, с видимого на слышимое, с пластинки на язык. «Это — «язык», — пишет литературовед Г. Гампер,— который сам себя воспроизводит, не наталкиваясь на объект или собеседника...» Другой исследователь, Б. Зорг, автор монографии «Томас Бернхард» (1977), смотрит на дело несколько иначе: «Длинные периоды, формально всегда безукоризненные, имеют склонность к непрерывному повторению, к цикличному возобновлению уже известного, которое, однако, благодаря тому, что каждый раз сопрягается с новым, приобретает сомнительность, вариабельность и тем самым размыкает кольцо, превращает его в спираль».

Главным образом так и создается *смещенный* бернхардовский мир — за счет слов, сгребаемых в кучи и снова разбрасываемых, слов, точно гвозди, вколачиваемых в повествовательную ткань.

Здесь проглядывает связь с традициями искусства барокко. Барочен бернхардовский «хаос», бернхардовский культ ужасного и противоречивого, барочно бернхардовское толкование жизни как «вселенского театра». И прежде всего барочен бернхардовский стиль — как бы кичащийся своею свободой, своим беззаконием.

Однако для общей оценки эволюции Бернхарда существенны именно *пропорции*. От в чем-то реалистической манеры «Мороза», романа, в котором «партии» Штрауха выглядели «цитатами» из иного, болезненно-взвинченного мироощущения, писатель шел в «Преферансе» или «Известковом карьере» к слогу болезненному и взвинченному, к изобразительным абстракциям, к пластической слепоте *как принципу*. Но в «Правке» Бернхард, так сказать, вернулся на круги своя. Причем на более высоком витке спирали. Я уже говорил о новых, содержательных аспектах этого романа; ими обусловлена и его обновляемая форма.

Жизнеописание Ройтамера под пером его друга-биографа нередко напоминает воспитательный роман XIX века: знакомство со становлением героя, анализ его внутреннего мира, воссоздание отношений в семье и т. д. В некотором зародышевом, скомканном, раздерганном состоянии все это так или иначе присутствовало и в прежних вещах Бернхарда, но там не было главного: ясности, соразмерности, уравновешенности чувств присущих классике, света, как бы разлитого в атмосфере. А в «Правке» все это есть. Оттого мне и думается, что имя Пушкина неспроста всплывает именно в «Правке».

Тут перед нами по-прежнему вполне бернхардовский роман, вполне бернхардовский мир: рассказываемый, замкнутый, смещенный. Нередка в нем и та гротескная стилистика, которая затопляет, например, повесть «Преферанс». Однако это снова как бы «цитаты», причем не из больного — штрауховского — мироощущения, а из нормального, только временно смятенного. Потому что мироощущения Ройтамера, ройтамеровского биографа, Хеллера, мироощущения, создающие сложную полифонию романных голосов «Правки», в основе своей здоровы. Несмотря на самоубийство Ройтамера. Ведь в конечном счете он не сам себя убил: его убило нечто внешнее: фатальное противоречие между любовью к Австрии и непреодоленным «австрийским ничтожеством». И убило оно человека, но не идею, не символ, не утопию.

На романе «Правка» обрисованный мною виток бернхардовской спирали как будто завершился. И началось нечто другое, конечно же, опирающееся на предшествующий опыт писателя, но и его если не отрицающее, то в некотором роде «снимающее». Я имею в виду автобиографические книги «Причина» (1975), «Подвал» (1976) [1], «Дыхание» (1978), которые можно назвать и повестями, ибо они — произведения не публицистические, не мемуарные, а бесспорно художественные. В этом смысле они вполне сопоставимы и с «Морозом», и с «Помешательством», и с «Преферансом», и с «Правкой». Сопоставление, однако, отливается в противопоставление.

Бернхард заговорил не только от первого лица, но и по-настоящему о себе, то есть отошел от тех многоступенчатых повествовательных опосредований, которые до сих пор составляли ведущий принцип его прозы. Изредка он так поступал и прежде, причем, как правило, именно в заметках автобиографических. Можно бы предположить, что все дело в «сюжете»: пока он был вымышленным, автор пользовался «посредниками», когда стал документальным, автор вышел на сцену. В логике подобной точке зрения не откажешь, но с ее помощью всего не объяснишь. Во-первых, и прежние книги Бернхарда, в сущности, автобиографичны. Мы уже знаем, что, если не прямые факты, так общие ситуации, исходные мотивы он брал из собственной жизни и, варьируя, повторял в каждом романе, в каждой повести. Во-вторых, зачем ему как раз сейчас понадобилось обратиться к невымышленным историям своего отрочества? Думается, не из эгоцентризма. На собственном примере — на примере человека, которого он лучше других знал и понимал,— Бернхард стремился утвердить нечто важное, общезначимое и для его мировидения новое.

Пружина фабульного действия «Подвала» и одновременно несущая идея всего произведения — это принятое шестнадцатилетним подростком решение пойти в *противоположном направлении*. Не в гимназию, которая была для него воплощением всего вымученного, лживого, мертвенного, абсурдного, тупикового, а в гущу жизни, неоднозначной, антагонистичной, жестокой, но

[1] Публикуется в этом номере журнала.

настоящей, реальной, окунуться в нее и стать «полезным». Такую жизнь он нашел в подвальном магазинчике некоего Карла Подлахи, торговавшего продуктами питания в зальцбургском районе Шерцхаузерфельд — «гетто», населенном бедняками, париями, преступниками, людьми, отвергнутыми буржуазным обществом, описанными им. Там юный Бернхард таскал бочонки, мешки, ящики, стоял за прилавком и, обучаясь человеческому общению, более того, общению с народом, постигал искусство быть самим собой, управлять своей судьбой. «Я был свободен, и я чувствовал себя свободным, — пишет Бернхард. — Подвал стал моим единственным спасением»... Потому что вывел его из состояния безысходной изоляции: из «ада» семьи (худшего, чем любой Шерцхаузерфельд), из порочного круга гимназиальной бессмыслицы. Он мог выбирать лишь между самоубийством и уходом из гимназии. Он выбрал Шерцхаузерфельд, ибо выбрал жизнь...

То же и в книге «Дыхание» (1978). Бернхард рассказывает о несколько более позднем периоде своей послевоенной юности (в «Подвале» это 1946—1947 годы, здесь — 1949-й), о тяжелой болезни, о пребывании в больнице и в санатории, о смерти деда. Рассказывает опять-таки от первого лица, в сравнении с прежними его вещами, просто, почти незамысловато, избегая имен, но называя реальные даты и места действия. Герой (или, если угодно, Бернхард) с жесточайшим воспалением легких попадает в палату смертников. Между койками ходит сестра милосердия и проверяет, кто уже отмучился. «Она ходит целую ночь по комнате, все время поднимает чью-нибудь руку и проверяет пульс. Она снимает белье с кровати, на которой только что умер человек. Судя по дыханию, мужчина. Она бросает белье на пол и поднимает, будто теперь ждет моей смерти, мою руку. Затем она наклоняется, поднимает белье и выходит с этим бельем. Теперь я хочу жить. Сестра еще несколько раз входит и поднимает мою руку... Я не хочу умирать, думаю я. Теперь — нет». Не просто из духа противоречия, а сопротивляясь окружающему бездушию, бросая вызов унижающим и подавляющим человека обстоятельствам.

Итак, строй «Подвала» — не преходящая случайность. Для Бернхарда, очевидно, наступило время героев, принимающих решение, делающих выбор. Они не пассивны относительно среды, а по-своему активны, существуют, так сказать, не в страдательном залоге, но в действительном, направлены не столько на себя, сколько на мир. Вероятно, поэтому герои сами себя представляют читателю, а не пересказываются чужими, более или менее анонимными «голосами». Повествование от первого лица обычно предполагает бóльшую долю лиризма, сосредоточение на сфере частного. Бернхардовское первое лицо парадоксальным образом служит размыканию герметики, оказывается медиумом эпического.

Это отражается на разных аспектах произведения. Например, в прежних романах и повестях дед героя представал началом чуть ли не идеальным. В повести «Подвал» он выглядит куда менее однозначным, отношение к нему (при всем обожании) не чуждо критичности. «Дед,— читаем у Бернхарда,— научил меня одиночеству, умению жить наедине с собой, а Подлаха — общению с людьми, к тому же со многими и самыми разными людьми». Оттого Подлаха здесь фигура более важная, чем дед Фроймбихлер. Он ведь не просто лавочник; этот несостоявшийся музыкант — своего рода подвижник, человек, который не только волею обстоятельств «пошел в народ», да еще и к самым потерянным, безнадежным, заблудшим...

Любопытно, что в «Дыхании» дед вновь обретает былое значение. Но это потому, что в «Подвале» диалектика его образа уже определилась. Кроме того, в «Дыхании» герою опять доводится иметь дело с самим собой, со своей смертью и жизнью.

Бернхардовские герои всегда тянулись к простому люду, однако они не всегда столь ясно сознавали причины его бедственного положения. Обитатели Шерцхаузерфельда — это уже не всеобщий, исконно австрийский упадок. Он поставлен в социальный контекст, включен в систему общественных отношений. И неотвратимость упадка не выглядит как слепой фатум: она — следствие этой системы.

Спору нет, Бернхард не избавился от вселенского пессимизма, от безверия и мысли о тщетности попыток изменить жизнь человека к лучшему. Это особенно бросается в глаза, когда он подводит итог встрече с постаревшим товарищем давних шерцхаузерфельдских лет: «Люди такие, как они есть, их не изменить... Все равно, от чего приходишь в отчаяние — работая у пневматического молота или у своей пишущей машинки... С каждым так бывает — вдруг вскинешь голову, решишь — сейчас скажу всю правду или то, что мне кажется правдой, а потом опустишь голову и промолчишь. Вот и все».

Культура и современность

КИНГ-КОНГ, ВООРУЖЕННЫЙ РАКЕТАМИ

Американский журнал «Ньюсуик», распространяемый в восемнадцати странах мира, опубликовал «Специальный репортаж» по материалам проведенного им в шести из них (Франции, Японии, Великобритании, ФРГ, Бразилии и Мексике) опроса — «Как мир видит Америку?». Эта публикация — яркий образец современной американской пропаганды, осуществляемой «свободной» прессой США. В свое время видный деятель демократической партии Э. Стивенсон говорил, что американские газетчики отделяют зерно от мякины и публикуют мякину. Именно это обстоятельство подчеркнул комментарий Ю. Жукова, напечатанный «Правдой»[1] в связи с выступлением «Ньюсуик». На самом деле, конечно, одной мякиной никогда нельзя было обойтись. И сегодня, когда значение информации становится все более очевидным, представляется небезынтересным внимательней присмотреться к современной методике изготовления этой смеси. Чтобы понять суть «специального репортажа», начнем с его заключительного аккорда, статьи Энтони Сэмпсона, которого журнал характеризует как «много путешествовавшего англичанина». Настоящие спортивные парни, авторы репортажа, уважают правила честной игры: европейцев, тем более англичан, не обвинишь в любви к американцам.

Статья Энтони Сэмпсона, условно назовем ее «юмореска», озаглавлена «Не будем смотреть зверем на американцев».

«На первый взгляд может показаться,— пишет Э. Сэмпсон,— что у европейцев есть серьезные основания для неприязни и предрассудков в отношении американцев. Американцы, кажется, продолжают делать вид, что Западная Европа вовсе не является отдельным континентом, будто она — нечто вроде трансатлантического довеска с дополнительными штатами, которые ждут американизации. Похоже, что они до сих пор не заметили, что мы говорим на разных языках...

Американцы продолжают надеяться, что мы будем осуществлять свою политику в соответствии с курсом каждого нового президента... Они убеждены, будто европейцы, не говоря уже об азиатах или африканцах, в конце концов хотели бы стать американцами...

Так что же мешает европейцам восстать против всех этих американских бредней и вернуться к собственной великой культуре и цивилизации?

Есть два обстоятельства, которые этому препятствуют: многие европейцы — больше американцы, чем они сами... Французы, например, сооружают собственный супер-Манхэттен близ Парижа, чтобы придать этому футуристическому кошмару еще более антигуманный размах... А когда европейцы начинают всерьез задумываться о том, чтобы отвергнуть американский стиль, проект будущей, не затронутой американской порчей, европейской культуры представляется им уже не таким соблазнительным. Избавиться от всех этих джинсов, маек, мыльных опер, супермаркетов, «драгстеров» и «кока-колы»? Ни за что!

Вторая проблема: трудно быть антиамериканцем больше самих американцев. Каждый раз, когда европейские левые собираются всерьез объявить крестовый поход против войны во Вьетнаме, ЦРУ или интервенций в Центральной Америке, оказывается, что сами американцы опередили их, лучше вооружившись и проявив большее рвение...

Вот, если бы американцы были бы хоть чуточку менее обаятельными...» — заканчивает Энтони Сэмпсон.

Как видим, европеец элегантно обратил некое ощущение чужеродности американского «стиля» в шутку, в результате чего отталкивающие моменты этого стиля, ка-

[1] «Правда», 23.VIII 1983.

жется, оказались притягательными, а неприглядные факты счастливо искупились неотразимым обаянием американцев. Трудно сказать. Во всяком случае, последняя фраза, кажется, «за», а до нее — все, как говорится, в легкой манере.

Весь обзор журнала «Ньюсуик» построен по этому принципу: смазанное ощущение недовольства перекрывается «неоспоримой объективностью». Характерна сама постановка вопроса: какой мир видит Америку, какой образ Америки остается у телезрителя во всем мире? Речь идет о «статусе» имиджа Америки в сознании планеты на сегодняшний день. Основной вывод дается в подзаголовке:

«В то время как дипломатический (читай: политический.— Т. Р.) престиж страны падает, ее культурное влияние растет».

Как утверждают авторы обзора:

«Ключевым различием в подавляющей массе оценок является несходство отношений к американскому народу — сердечному, дружественному и искреннему, и американскому правительству...

Более того, нашлись люди, которые считают, что американское военное присутствие увеличивает опасность войны, вместо того чтобы охранять мир. Это и является существенным отличием настоящего опроса от проведенного вскоре после второй мировой войны, 30 лет назад, Американским информационным агентством аналогичного опроса, который показал высокую оценку роли американских войск. В то же время ощущение американского влияния на современный мир расценивается как нарастающее, что, очевидно, обусловлено значительным американским влиянием на кино, телевидение и музыку во всем мире...».

Таким образом, проблема уточняется — цель опроса — выяснить, как относится мир к нарастающей агрессивности политики США, стремящихся превратить Землю в свой полигон. Но в чем же смысл исследования? Массовое движение за мир и разоружение, охватившее планету, не оставляет сомнений на этот счет. Что значит — «нашлись люди, которые считают, что американское военное присутствие увеличивает опасность войны...»? И при чем здесь культура?

«Отношение к Америке,— констатируют авторы обзора,— всегда было двойственным... Эта двойственность принимает порой странные и комические формы: так, по государственному каналу никарагуанского телевидения популярные американские телефильмы демонстрируются вперемешку с учебными программами, инструктирующими зрителей, как бросать гранаты в случае вторжения янки».

Таким образом, сегодня, как выражается «Ньюсуик», «находятся» страны, можно сказать, соседи, а не заокеанская альма-матер Европа, которым удается изменить у себя строй, угодный США. Правда, порох там держат сухим, помня, очевидно, заявление американского президента о том, что военные маневры США у границ Никарагуа могут перерасти в интервенцию, но — и это ли не доказательство престижа американской культуры — и там смотрят американские телефильмы. Да, но при этом учат мирное население бросать гранаты. Что же, «культурное оружие», как называют «массовую культуру» США исследователи в разных странах, не срабатывает? А в доброе старое время, рассказывает журнал, с помощью этого оружия американские оккупационные войска «завоевывали сердца» жителей Западной Германии и Японии. А генерал Дуглас Макартур был в Японии «популярнее любого императора», некоторые японки даже хотели, чтобы он стал отцом их детей.

«Как все это отличается от настойчивой критики дипломатии, торговли, атомных ракет и размеров американских притязаний... Изменение статуса неудобно американцам»;— по-американски прямолинейно и прагматично, без английских двусмысленных острот.

«Трудность положения Америки,— объясняет специалист по иностранным делам Я. Дэвидсон,— состоит в том, что сегодня за рубежом и в самой стране люди считают, что США должны быть способными предпринять активные действия для распространения своего влияния в мире... При Рональде Рейгане активистские иллюзии вновь ожили и процветают...»

А мир не рад процветанию «активистских иллюзий».

«Но некоторые устойчивые представления об Америке остаются в силе: богатая страна, вознаграждающая инициативу и предприимчивость, независимо от классовых или образовательных показателей... В этом смысле Рональд Рейган — норма для Америки, а не исключение. Достаточно откровенная оценка,— с удовлетворением отмечают авторы обзора.— Но эти товарные качества не всегда расцениваются как достоинства...»

«Товарные качества»? Что же продают?

«Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать и н т е р е с ы тех или иных классов»,— писал В. И. Ленин.

Авторы обзора совершенно правы: Рональд Рейган, чьей активностью так обеспокоен мир, действительно «норма, а не исключение» для современной империалистической Америки Но только не потому, как хотели бы они убедить своих читателей, что он — воплощение «американской мечты», актер, ставший президентом. В нужный исторический момент он соединил в своем лице два традиционных для Америки имиджа — политика и героя шоу-бизнеса, но главное, понял, кто заказывает музыку.

«Кто может стать руководителем нашей страны?— ставил вопрос известный американский писатель Гор Видал.— С ростом цен на политику и сотворение имиджа становится очевидным, что победит тот, кто сумеет привлечь на свою сторону телезрителя. Чтобы быть справедливым, нужно,

наверное, добавить, что политик у нас в стране не может не соответствовать требованиям системы. Лицемерие и самообман всегда характеризовали средний класс. А США сегодня — образец общества среднего класса».

Да, США — буржуазная страна, но средний класс уже давно утратил власть. Еще Джек Лондон писал, что в Америке к власти идет олигархия. Это утверждает и Видал:

«Качество жизни в нашей стране для большинства людей плохое, хотя бы потому, что у народа нет денег. По официальным данным, страной владеют 4,4 процента населения... я в это слабо верю... Согласно свежей статистике — один процент. Остальные же довольствуются американским вариантом хлеба и зрелищ — коммерческим телевидением, которое с колыбели и до гробовой доски поучает их одному — что покупать, дабы быть похожим на людей преуспевающих».

И поскольку деятельность этого одного процента населения идет вразрез с интересами среднего и всех других классов, ему необходимо поддерживать у подавляющего большинства иллюзию демократии.

Рональд Рейган связал свое будущее с теми, кто без лишнего шума шел к власти, правильно определил перспективную, как теперь говорят, «группу давления». Большая часть картин, в которых он снимался, была сделана на деньги калифорнийской финансовой группы. И в своих политических речах Рональд Рейган объявил Калифорнию «самой американской Америкой», а калифорнийцев — «людьми особого склада, которые указывают путь не только всей стране, но и остальному миру». В 1966 году во время предвыборной кампании киноактера, чья кандидатура была выдвинута на пост губернатора штата, председателем финансового комитета этой кампании был Генри Сальватори, делец из главного калифорнийского «Бэнк оф Америка» и директор крупной калифорнийской военной фирмы, который поднял на собрании миллионеров тост за Рейгана как будущего президента страны.

В ответ в своем губернаторском «экономическом докладе» 1968 года Рейган подчеркивал: «В силу большого значения оборонной и космической индустрии наш штат превратился в важнейший источник нового вооружения для ведения современной войны». Все американские олигархические группы участвуют в производстве оружия массового уничтожения, извлекая из него небывалую сверхприбыль, неподвластную экономическим спадам, и все они воюют за возможность оказывать «давление» на Белый дом. Сегодня в этой войне на первое место вышла калифорнийская группа. И уже почти не скрывается, что Рональд Рейган — ее ставленник.

Лишь в самом начале 60-х годов, в момент прихода в Белый дом Дж. Ф. Кеннеди, образ Америки обещал воссиять в мире новым светом, но с тех пор его, как Шалтая-Болтая, не могут «собрать». И это обстоятельство все больше беспокоит тех, кто заинтересован в том, чтобы скрыть подлинное лицо авторов американского милитаристского сценария, который они намерены разыгрывать в глобальном масштабе.

Приглядимся к ходу рассуждения журнала «Ньюсуик», к существу используемой методики создания нужного впечатления, удобного образа.

«Прежде всего — от Америки никуда не денешься... Американские причуды, мода, манеры и стремительное распространение ее системы организации общественного питания по всему миру, развертывание ее ракет пугает даже союзников...

Если люди ищут сильные стороны Америки, они обращаются к кумирам ее культуры. В Японии американские машины могут продаваться хуже «датсонов» и «тойот», но «якуза», японские гангстеры, все еще предпочитают подержанные «кадиллаки» и «линкольны» для поддержания своего имиджа «крепких парней». В ЮАР многие белые уважают Джона Уэйна, главным образом за твердую линию его героев в вопросах закона и порядка. А в Мексике, где сопротивление власти Америки является просто символом веры, киноидол Сильвестр Сталлоне, увешанный оружием, смотрит на мексиканцев с плакатов и афиш по всей стране, в то время как его экранный двойник обеспечивает бешеные кассовые сборы фильму «Первая кровь»...

Американская культура превратила страну в империю.

Думается, американская культура достигла такой популярности, потому что она не затрагивает традиционных национальных ценностей стран, ее импортеров».

Типичен и подбор иллюстраций: «Участник антивоенного марша в Риме», «Добрая воля в токийском Диснейленде: американцы вызывают презрение или любовь, но никогда — равнодушие»; «Заметно растущее число проигрышей не было полностью уравновешено успехами Америки: взлет американского самолета в аэропорту Западного Берлина (1945), расовые волнения в Алабаме» — полицейский натравливает собаку на человека, «Триумф прогулки по Луне», «Затяжная агония войны во Вьетнаме» — на переднем плане идет, раскинув руки в отчаянии, плачущая вьетнамская голая девочка, за ней — американский солдат с автоматом; «Саудовская Аравия наводнена американскими товарами»; «Наши товары заполонили Гаити»; «Кока-кола колонизует улицы Рима: огромная империя создана на основе потребительских товаров». И последние снимки в конце репортажа: «Американские моряки в Бейруте: дружба или угроза?» — американский солдат хочет взять за руку идущего рядом с ним мальчика; «Знакомясь с нами» — жители Шанхая столпились у витрины с фотографиями Рональда Рейгана.

На кого рассчитан этот циничный, примитивный на первый взгляд коллаж, очевидный абсурд? «Пришла пора подумать о делах — о башмаках, о сургуче, капусте, королях... Сияло солнце в небесах, светило во всю мочь. Была светла морская гладь, как зеркало точь-в-точь, — что очень стран-

но — ведь была тогда глухая ночь». Эта милая бессмыслица была придумана Льюисом Кэрроллом, чтобы развлечь детей, а сегодняшняя международная политическая ситуация опасно смахивает на описанную в этих забавных стихах историю прогулки Моржа и Плотника, пригласивших с собой улиток, чтобы съесть их. Как известно, когда оставшиеся еще несъеденными улитки в ужасе вскричали: «Неужели мы для вас — не больше чем еда?», то Морж ответил: «Как блестит вечерняя звезда!» Задача «культурного оружия»— обеспечивать счастливое неведение улиток.

«Четвертым измерением международных отношений», как называют политику в области средств массовых коммуникаций, США занимаются давно, наращивая опыт и увеличивая вклады. Эта деятельность вызывает все более пристальное внимание во всем мире. Американскими исследователями и специалистами других стран выработана соответствующая терминология, выпущено множество работ. Например, автор одной из них —«Завоевание умов. Американский правительственный аппарат по экспорту культуры в страны «третьего мира»— француз Ив Эд рассматривает «культурный империализм», осуществляемый Агентством по международным связям и средствам общения, Корпусом мира, ЦРУ. Название книги подсказало заявление нового директора Агентства, назначенного Р. Рейганом, М. Уика: «Мы ведем битву за умы людей».

Ив Эд констатирует:

«В 1981 году бюджет Агентства в четыре раза превзошел соответствующие ассигнования ЮНЕСКО...

Культурное правление США распространилось на весь мир, укрепившееся и признанное, оно сравнилось сегодня с экономической и военной мощью США...

Американская «модель» навязывается тем, кто в каждой стране создает или распространяет культуру изнутри и иногда превращается в одну из составляющих этой культуры...

ЦРУ тратит огромные средства и массу талантов на возможно более прямое вмешательство в «четвертое измерение международных отношений».

Не случайно такая неподдельная ностальгия звучит в воспоминаниях о «славе» героя войны в Корее, председателя военного концерна «Сперри рэнд» генерала Дугласа Макартура, кстати, и его отец был, по Рейгану, неплохим калифорнийцем — в начале века он завоевал Америке Филиппины.

В одном из своих интервью, хранившемся до его смерти в тайне, Макартур заявил: «Я мог бы выиграть войну в Корее максимум за десять дней. Я бы сбросил 30—50 атомных бомб». Он предлагал также создать пояс из радиоактивного кобальта, который простирался бы от Японского до Желтого моря, чтобы «минимум 60 лет никто не мог вступить в Корею с севера».

Впечатляющий персонаж, куда уж там японским императорам тоже, конечно, не Красные Шапочки или, согласно современному набору имиджей,—«голуби», но поскромней.

И не зря авторы обзора ставят на одну доску войну против фашизма и агрессию США в Индокитае, Никарагуа и ЮАР, полет на Луну и выраженные в долларах успехи американских фирм потребительских товаров. Ключом к этому набору служит фраза:

«Американцы вызывают презрение или любовь, но никогда — равнодушие».

Это азы психологии: главное — подключить чувства, тогда легче менять знак ставшей таким образом эмоциональной оценки с минуса на плюс. Равнодушие, в данном случае отсутствие эмоционального фона,— главная опасность: при ясном рассудке знак так легко не сменишь. Правда, всех фактов отрицать нельзя, и когда доминирует черное, белым его не сделаешь. Но нужно постараться сделать его как можно более светло-серым. В избыточном информационном потоке, при включенных эмоциях обыденное сознание оттолкнет все неприятное, или наоборот — можно вызвать его разрядку: смехом (пример — статья Сэмпсона) или слишком ярким образом, который будет сигналом нереальности воспринимаемого. Давно известно множество приемов, и идет поиск новых, технику промывания мозгов шлифуют мастера, и не из любви к искусству. Поэтому закономерно — на одной странице помещают фотографию плачущей вьетнамской девочки, раздетой, бегущей, может быть, навстречу своей смерти от выстрела направленного ей в спину автомата, а на обороте — американский моряк протягивает руку несколько отставшему от него мальчику из Бейрута. Читателю предлагают решить вопрос: «Дружба или опасность» — плюс или минус? А в свое время, публикуя мемуары лейтенанта Колли, отдавшего приказ расстрелять во вьетнамской деревне Сонгми сотни женщин, стариков и детей, американский журнал «Эсквайр» поместил на обложке фотографию этого героя гвоздевого материала номера в окружении вьетнамских детей.

Цель — создать яркий, эмоционально окрашенный образ, потом добавить к нему другие такие же запоминающиеся символы, которые образуют устойчивую систему псевдореальности. Согласно одному из основоположников теории средств массовых коммуникаций Маршаллу Маклюэну:

«Искусство — это все то, что уводит нас от реального мира».

Образ обобщает реальность, и он же способен как выявлять, так и искажать ее суть.

Какой же образ хотят утвердить в сознании своих читателей корреспонденты «Ньюсуик»?

Вернемся к началу статьи:

«Прежде всего от Америки никуда не денешься. Она — 900-фунтовая горилла, в принципе дружественная и доброжелательная, продирающаяся сквозь низкорослый кустарник, доминирующая в ландшафте, меняющая пейзаж, ее нельзя ни отогнать, ни игнорировать».

Огромная горилла — это же знаменитый Кинг-Конг, герой одноименного американского фильма 1934 года. В 1976 году Голливуд вернулся к сценарию «Кинг-Конга» и заново снял фильм. На его рекламу потратили уйму денег. Изображения Кинг-Конга, манекены и плакаты вошли в систему привычных образов кино- и телезрителей. За прошедшие семь лет сердца зрителей пленяли сотни персонажей американских коммерческих картин — и традиционные любители закона и порядка, «люди с пистолетом», в исполнении Джона Уэйна и Сильвестра Сталлоне, и «крепкие ребята» в подержанных «кадиллаках», увековечившие американских мафиози, и милый Инопланетянин, герой одноименного научно-фантастического фильма, принесший такие прибыли. Но теплое чувство к Кинг-Конгу осталось в душах, на нем можно работать.

«...900-фунтовая горилла... продирающаяся сквозь низкорослый кустарник, доминирующая...»

Что же такое этот низкорослый кустарник, пейзаж, который меняет присутствие гориллы? Это образы, метафоры, изобразительные средства, оружие, в данном случае журналистов, в борьбе за внимание, сознание читателя, зрителя, потребителя

Потенциал этого оружия осознается сегодня все яснее. На прошлогоднем Международном коллоквиуме по культуре в Париже, например,— а такие мероприятия проводятся все чаще — говорили о «Культуре и развитии». Много внимания было уделено и проблеме «культурного империализма», что вызвало раздражение американской прессы.

«Поскольку на конференции присутствовали левые критики,— комментировали эту встречу корреспонденты американской газеты «Интернэшнл геральд трибюн»,— они утверждали, что популярность американской культуры определяется не ее качеством, а стоящими за ней деньгами. Если бы у стран «третьего мира», например, были бы такие средства — и их книги читал бы весь мир и смотрел их телефильмы».

И тут же газета сообщает, что в одной из самых популярных из-за ее краткости и конкретности речей Грэм Грин предложил собрать деньги на перевод и издание литературы «третьего мира».

Ничего удивительного, ведь именно этот англичанин почти тридцать лет назад создал ставший классическим образ «тихого американца». Видно, на него до сих пор не действует обаяние янки.

Но самые резкие возражения упреки в «культурном империализме» вызвали у американской газеты «Уолл-стрит джорнэл», которая писала, что эти упреки — лишь ширма, чтобы скрыть плачевное положение французской культуры.

«Вместо того чтобы ругать телесерию «Даллас», французский министр культуры Жак Ланг лучше задал бы себе вопрос: почему Франция — пустое место в современной мировой культуре?»

В ответ французский писатель Мишель Деги назвал автора статьи в «Уолл-стрит джорнэл» «некомпетентным шовинистом, разговаривающим как Геббельс».

Больше всего авторы обзора в «Ньюсуик» хотели бы избежать такой однозначной отрицательной реакции.

«Люди надеятся на то,— пишут они в заключение,— что Америка употребит свою жизнеспособность конструктивно — свои богатства и открытость, чтобы вернуть другие народы к процветанию, и исполинскую мощь, чтобы сохранить мир на планете. Потому что, как бы ни любили или презирали Америку, жители планеты ждут от Америки поступков. И кажется, больше всего им хочется, чтобы Америка жила в соответствии с теми высокими идеалами, которые она себе поставила».

Какие народы собираются «вернуть к процветанию»? Повторить в Никарагуа вариант Чили? О каких идеалах идет речь?

В обзоре говорится отнюдь не о высоких идеалах или подлинной культуре. В духе буржуазной идеологии культура, в ее американском варианте «массовой культуры», приравнивается к понятию цивилизации, что не раз использовалось как теоретическое обоснование для ее распространения в «третьем мире» и в самой, сравнительно отсталой, по «Ньюсуик», от США, Европе. Причем и понятие цивилизации было сведено к количеству производимых потребительских товаров, а человек рисовался их пассивным потребителем. В связи с развитием этой тенденции В. И. Ленин писал о *«цивилизованном» варварстве, «культурный», капиталистический мир идет к неслыханному краху, который способен порвать и неминуемо порвет все основы культурной жизни».*

Сегодняшние безумные «сценарии» ограниченной войны — непреложное тому свидетельство. «Массовая культура», «штурмующая» сегодня мир, которую буржуазные теоретики именуют порой «народной», не имеет ничего общего с культурой демократической. Она тиражируется средствами массовой информации с целью укоренения в сознании масс идеалов буржуазного обывателя, а не высоких гуманистических идеалов. Она проповедует вульгарный вещизм, а не принципы подлинной демократии, способствует нивелировке личности, а не ее творческому развитию. И она становится все более утонченной и гибкой. Сегодня она учитывает не только особенности обыденного потребительского сознания, но и более сложные запросы важных и очень существенных в социальном «раскладе» групп — молодежи, интеллигенции, служащих, представителей национальных меньшинств, стремясь все эти запросы свести к общему элементарному сознанию улитки.

«Ньюсуик» производит подмену «зерна» «мякиной»: реальные проблемы заслоняются разговором об «империализме» закусок фирмы Макдональд и кока-колы, об очаровании музыки диско, функциональности джинсов и микропроцессоров. Буржуазная пресса живет за счет рекламы, но, радуясь успехам американского товарного и культурного производства, «Специальный репортаж» рекламирует гораздо более существенные идеи.

Социальная функция «массовой культуры»— создание «довольного сознания», включение индивида в общественную систему. С 70-х годов механизмы «массовой культуры» рассматриваются монополистической буржуазией как важное, а в перспективе — главное орудие решения существеннейших идеологических и экономических задач. Цель «массовой культуры»— навязать стиль жизни, полезный для идеологической унификации.

Опасность «культурного империализма» поставила перед мировой общественностью проблему борьбы за культурную самобытность. Так, ЮНЕСКО объединяет проблемы деколонизации в области политики, экономики и культуры. При этом культурная самобытность рассматривается не только как фактор развития, но и как важный фактор национально-освободительного движения и борьбы за мир. В отчетном докладе Второй всемирной конференции по политике в области культуры, состоявшейся в Мехико в 1982 году, подчеркивалось:

«Одним из самых важных факторов, открывающих путь к политическому, экономическому и военному господству, является культурное господство».

Внимание мировой общественности к политическим проблемам культуры, в частности развернувшаяся в 70-е годы борьба за установление более справедливого порядка в области коммуникаций, естественно, не устраивает тех, кто борется за культурное господство. Об этом свидетельствует и «Специальный репортаж» журнала «Ньюсуик», и гораздо более откровенное заявление американской газеты «Интернэшнл геральд трибюн» в связи с обсуждением этих проблем, в частности плана ЮНЕСКО на 1984 — 1989 годы «Коммуникации на службе человека»:

«Западная пресса готовится к очередной конфронтации с развивающимися странами и советским блоком... Пресса располагает мощной поддержкой администрации Рейгана и конгресса, обеспокоенных возможными последствиями предполагаемого нового порядка в области коммуникаций».

К сожалению, битва за умы не проходит без последствий для тех, кого считают капиталом на рынке культуры. Так, по данным опроса общественного мнения конца 70-х годов в Венесуэле: 80% программ коммерческого телевидения являлись импортными, из них 54,5% — американскими, 27,5% рекламных агентств были связаны с США. Еще более разительную картину дал опрос детей: у 86,3% любимый герой — американец, 72% детей подчеркнули, что хотят быть богатыми. В самих США, по данным информационно-статистического ежегодника США «Уорлд альманак» за 1983 год, у студентов колледжей среди любимых «героев» первые три места занимают актеры кино и телевидения, исполнители поп-музыки. В списках бестселлеров художественной литературы за 1981—1982 годы из 25 пунктов лишь 16 и 20 называют имена значительных американских писателей, таких, как Дж. Апдайк, остальные места занимают создатели массового чтива. Та же картина и в публицистике — на 12-м месте — Г. Шийи, автор социальных исследований о молодежи, на 20-м — Том Вулф, его памфлет о современной архитектуре. Подавляющая масса книг и здесь — мемуары «звезд», политиков, пособия по диете, пособия по завоеванию мест «наверху».

Формирование мировоззрения — сложный и длительный процесс. «Штурм» сознания устойчивых результатов, видимо, не дает. Те, кто правит Америкой, озабочены собственными интересами, для обеспечения которых им необходим благоприятный образ Америки в глазах у остального мира и, естественно, в собственной стране.

Но, как известно, нельзя обмануть одновременно всех. Тем более если эти все — большинство населения планеты. И демократическое большинство населения самих США тоже обеспокоено, но не имиджем Америки, а ее — своим будущим. Размышляя о судьбах своей страны, сегодня люди неминуемо задумываются и об опыте, культуре других народов. И представители американской демократической культуры, чей путь к подлинному постижению реальности, к пониманию сути общественных процессов нередко превращается в процесс мучительных поисков истины, пересмотра сложившихся представлений, учатся и на опыте других народов, находят ответы на свои вопросы в культуре тех народов, которые американская пропаганда хотела бы представить отсталыми.

После Плайя-Хирон представитель либеральной интеллигенции Америки, известный романист и публицист Норман Мейлер писал Фиделю Кастро в открытом письме:

«Вы убедили нас, одиночек, разбросанных по стране... в том, что есть еще героические личности на свете... Вы помогли нам в нашей войне... В нашей стране мы очень хорошо научились убивать все духовное... Вы вселили в нас надежду на то, что не всегда победа будет на стороне этих сил».

С подкупающей искренностью рассказала о своем плодотворном опыте постижения другой культуры американская писательница и исследователь культуры Сьюзен Зонтаг в книге «Поездка в Ханой», вышедшей в 1968 году. Писательницу поразили глубина и тонкость культуры Вьетнама, ее потрясло совершенно незнакомое ей чувство неподдельного патриотизма, удивительное чувство человеческого достоинства перед лицом ежедневного горя и угрозы смерти, уважение к своим согражданам. Но еще более поразительным было для нее уважение вьетнамцев к американской культуре, традициям свободы. Сначала патриотизм вьетнамцев казался ей «невероятным, наивным, трогательным», но вскоре она начала анализировать чувства и мысли, которые она сама привыкла связывать с собственной родиной.

«Уже со времени окончания второй мировой войны,— пишет Сьюзен Зонтаг,—идеи патриотизма в Америке оказались в руках реакционеров и йеху. Монополизировав их, они свели любовь к Америке к понятию фанатизма, провинциализму, себялюбию. Но возможно, не надо было так легко сдаваться...»

Когда в Союзе писателей Вьетнама ей и ее спутникам сказали, что они представ-

ляют здесь «подлинное лицо Америки», неотступные мысли Сьюзен Зонтаг о собственном чувстве патриотизма приняли новый оборот:

«Я привыкла считать... полицию, торговцев машинами в захолустных городках, всех, кто голосует за Джорджа Уоллеса, Америкой, а не себя. Почему такие же люди, как я, не считают себя подлинной Америкой?.. Возможно, и американская интеллигенция, которая думает о 96 оставшихся процентах населения страны и о биоэкологическом будущем всей планеты, может любить Америку... Возможно... именно подобном пересмотре своего отношения к Америке я думала в мои последние дни во Вьетнаме».

Но через несколько дней, попав во Вьентьян, писательница испытала шок от столкновения со своей страной: она увидела американские самолеты перед полетами с напалмом на деревни только что покинутого ею Северного Вьетнама, американизированный город вызывал у нее отвращение, стыд. Вьентьян предстал ей «отталкивающим форпостом американской империи».

Стремясь заглушить это тяжкое ощущение, писательница и ее спутники накинулись на американские журналы, наверстывая пропущенные новости, подбадривая друг друга остротами в адрес рекламируемых «звезд» современной американской мифологии, всех этих тонто, кинг-конгов...

«Только теперь нам не было смешно... К ночи мы чувствовали себя уже совершенно больными».

Затем те же чувства они испытали в Таиланде:

«Еще одна американская колония... С Европой американцы обходятся тоньше, а в Юго-Восточную Азию мы экспортируем самые разложившиеся элементы нашей культуры... Здесь мы не пытаемся скрыть американскую силу».

И вновь вернулось чувство отчуждения от своей страны. Писательница заканчивает свою книгу размышлениями о том, что подобный опыт, как и опыт общественных движений, пережитый в 60-е годы, не проходит для человека бесследно. Он становится катализатором духовного процесса, который нельзя остановить.

«Патриотизм требует рассуждения — и потому не все люди имеют его»,— писал Карамзин. Демократическая культура Америки помогает этому рассуждению, постижению подлинного смысла настоящего и реальных перспектив будущего. И несмотря на то, что сегодня в американской жизни возобладали националистические настроения, имперская интервенционистская психология, процесс углубления самосознания идет, демократическую культуру, носительницу высоких гуманистических идеалов, нельзя нивелировать. Здравый смысл народа сильнее кинг-конгов, вооруженных ракетами.

Т. РОТЕНБЕРГ

НЕДОЧИТАННЫЙ ДОКЛАД ПРАМУДЬИ АНАНТЫ ТУРА

Студенты с факультета общественных наук Индонезийского университета решили организовать дискуссию о роли интеллигенции в «третьем мире». В самом этом мероприятии не было ничего предосудительного, однако студсовет факультета ожидали немалые неприятности — в качестве второго докладчика на дискуссии было предложено выступить не кому-нибудь, а «живому классику» индонезийской литературы, недавнему политзаключенному Прамудье Ананте Туру, арестованному еще в 1965 году во время кровопролитного государственного переворота вместе с тысячами других левых интеллигентов, состоявших в компартии или близких к ней. Отсидев без суда и следствия более четырнадцати лет и выйдя на свободу в числе последних заключенных концлагеря на острове Буру, Прамудья тут же издал две книги из тетралогии о зарождении национально-освободительного движения в Нидерландской Ост-Индии, написанные им в лагере. Книги эти снискали небывалый успех в Индонезии, были переведены на голландский и английский языки, а год спустя запрещены генеральным прокурором Индонезии «за тонкое и скрытое протаскивание учения марксизма-ленинизма с помощью исторических фактов». В итоге доклад был прерван по требованию ректора, четверых студентов, инициаторов приглашения, препроводили в камеру предварительного заключения, а шестидесятилетний писатель отделался на этот раз серией допросов в соответствующем учреждении Джакарты, продолжавшихся в течение двух недель с десяти до семнадцати ноль-ноль.

Промелькнувшие в индонезийских газетах сообщения о недочитанном докладе Прамудьи Ананты Тура и о последующих событиях, естественно, оставили открытым немаловажный вопрос: что же говорил о современной интеллигенции «третьего мира» и своей родной страны писатель, еще в конце 40-х — начале 50-х годов прославившийся своими созданными на одном дыхании гуманистическими повестями и рассказами о не успевшей еще отгреметь войне за независимость Индонезии (лучшая из его повестей — «Семья партизан» (1949), недавно опубликованная на русском языке [1], была написана в стенах джакартской тюрьмы

[1] См. «Красные листья. Восточный альманах» Выпуск восьмой. М., 1980, с. 194—402.

«Букит Дури», куда Прамудья был заключен голландцами без суда и следствия на два с половиной года), а с конца 50-х — начала 60-х годов проявлявший все больший интерес к теме зарождения индонезийской интеллигенции. Этой проблемы он касается и в книге «Хуацяо в Индонезии» (1960), где затрагивает жизнь китайской диаспоры, составлявшей в прошлом веке наиболее многочисленную часть индонезийского городского населения, и в монографии о первой индонезийской просветительнице — молодой яванской аристократке Картини («Называйте меня просто — Картини», 1962), и в опубликованной в возглавлявшейся им газете «Бинтанг тимур» серии статей о первых индонезийских журналистах и литераторах конца XIX века —«пролетариях умственного труда».

В сущности той же самой проблеме посвящена и тетралогия Прамудьи. Она была задумана им за несколько лет до ареста, а затем сочинена в уме и неоднократно рассказана товарищам по бараку, поскольку Прамудью в первые годы заключения не допускали к перу и бумаге. Главный герой тетралогии Минке, в котором критика узнала известного яванского журналиста и политического деятеля начала века Тирто Адисурьо,— один из первых яванцев, оканчивающих у себя на родине привилегированный голландский колледж, свято верящий в прогресс, гарантируемый индонезийцам колониальным правительством. Влюбившись в дочку спившегося голландского плантатора и его туземной наложницы, войдя в их неблагополучный дом, своеобразную модель индонезийского колониального общества, Минке вскоре на горьком опыте узнает цену колониальной законности и втягивается в борьбу с угнетателями своего народа, занявшись журналистской деятельностью на «низком малайском»— единственном языке, равно понятном разноплеменным интеллигентам колониальной Индонезии[1].

Через несколько месяцев после прерванной дискуссии, в течение которых в Джакарте состоялось публичное сожжение 972 экземпляров обоих романов Прамудьи, на страницах левого индонезийского журнала «Канчах», третий год издававшегося в Париже, был опубликован его доклад. Обратимся же к основным его положениям, сознавая, что перед нами предназначенный для небезопасного публичного выступления (то есть согласованный с «внутренним цензором») текст, и не поддаваясь искушению читать между строк (чем не затрудняются порой и реальные индонезийские цензоры, поскольку на вопрос о том, в каких же местах своих романов Прамудья пропагандирует идеи марксизма-ленинизма, представитель Генеральной прокуратуры ответил: «О, в каждом слове!»).

Первая часть доклада Прамудьи Ананты Тура посвящена культурной ситуации, сложившейся на сегодня в «третьем мире».

«Трагедия «третьего мира» после обретения национальной независимости,— пишет Прамудья,— состоит в том, что он не осознает или недоосознает тот факт, что его культура все еще остается культурой, несущей на себе печать духовного подчинения».

Согласно мифологеме, к которой прибегает писатель,

«третий мир — это не кто иной, как незаконнорожденный ребенок западного империализма. Эти незаконный отец и незаконнорожденный сын, неотделимые друг от друга в современном международном общежитии, занимают в то же время различные позиции, стоят перед различными испытаниями и имеют разные предназначения на тот отрезок времени, который необходим странам «третьего мира» для того, чтобы обрести свое лицо».

Одинаково бесплодными, по мысли автора, оказываются как бездумное движение в фарватере «отцовской» западной философии, западной литературы, западного искусства, так и попытка возвращения в лоно материнской традиционной культуры, порожденной отжившей социально-исторической средой и потерпевшей поражение в поединке с западной культурой. Образы, почерпнутые Прамудьей из древней яванской мифологии, воплощают здесь интересные и вполне резонные размышления о пути культурного развития для каждого из народов, каждой из освободившихся стран.

Естественно, что, набрасывая воображаемый портрет культуры молодых наций «третьего мира», Прамудья Ананта Тур обращается к наиболее близкому для него образу новой индонезийской культуры, важным вкладом в которую являются оба его последних романа. Образ индонезийской национальной культуры не без оснований представляется писателю общезначимым потому, что Индонезии принадлежит особая роль как в истории «третьего мира», так и в мучительном процессе обретения им своего лица. Это связано с тем, что именно Индонезии, стране пряностей, суждено было стать первым объектом колониальной экспансии, и она же оказалась тем «слабым звеном», которое вышло из цепи колониализма 17 августа 1945 года с провозглашением Республики Индонезия.

Говоря о нынешней индонезийской цивилизации, представляющей собой причудливую амальгаму — от анимизма и культа предков до современной культуры, всем своим существом устремленной в будущее,— Прамудья призывает взять все самое лучшее у архаических племенных культур Индонезии, обнаруживающих поразительную жизнеспособность. Однако он настойчиво напоминает о том, что индонезийская национальная культура, вступившая на путь развития в результате победы над западным империализмом, должна быть открытой для воздействия мировой культуры при том непременном условии, что это не будет бездумным усвоением чужого опыта. В целом же Индонезии, как и всему «третьему миру», предстоит еще построить свою новую в полном смысле этого слова культуру, не боящуюся переоценки ценностей,

«свободную от архаической декоративности, обращенную в будущее и не выворачивающую себе шею в постоянной от-

[1] Рецензии на две опубликованные книги тетралогии см. в «ИЛ», 1981, № 8 и в бюллетене «Современная художественная литература за рубежом», 1982, № 2.

лядке на могилы предков... Верность этой новой национальной культуре, приумножение и развитие ее будет одной из решающих задач молодого поколения индонезийцев, ибо потеря национальной культуры, утрата национального лица равносильны гибели нации...

Сегодняшняя индонезийская культура,— заключает эту часть своего выступления Прамудья Ананта Тур,— это современная культура, а «современная»— значит в то же самое время и «демократическая». Демократия, породившая сильные человеческие индивидуальности, не была преподнесена народам Запада на блюдечке, она была достигнута ценою борьбы... Индонезийская культура, родившаяся в борьбе с западным империализмом, по опыту своему знает, что за культурные достижения приходится платить дорогой ценой и они не даются даром».

Нетрудно заметить, что в этой части выступления Прамудьи Ананты Тура нельзя усмотреть скрытую марксистскую пропаганду или, наоборот апологию «западной демократии», пусть даже в пику «новому порядку» (официальное название режима, установившегося в Индонезии в 1966 году, после свержения Сукарно). Писатель четко говорит о том, что индонезийская культура должна выработать свои демократические ценности, но, видимо, уже это само звучит как идеологическая диверсия в современной Индонезии, равно как и последующие, более чем актуальные рассуждения Прамудьи о проблеме национальной культурной самобытности и роли интеллигенции.

Переходя к теме интеллигенции, Прамудья определяет интеллигентов как людей, стремящихся к установлению истины с помощью разума, но при этом он подчеркивает, что на Западе интеллектуальная деятельность сплошь да рядом не подразумевает этической ответственности и кровной, душевной заинтересованности.

«Однако,— продолжает писатель,— если говорить о «третьем мире» в целом и об Индонезии в частности, где все общественные ценности неотделимы от задач национального строительства, то интеллигенция не может быть здесь простым механизмом, обеспечивающим для общества информацию, от нее требуется умственная зоркость, способность разглядеть тенденции национального развития, то есть способность прогнозировать будущее... С другой же стороны, интеллигенция — это не только мыслящая часть нации, но и совесть нации, она не только хранительница национального опыта — ей надлежит, опираясь на этот опыт, находить те его элементы, которые достойны быть развитыми, она должна обладать твердыми принципами для того, чтобы решительно говорить «да» или «нет» по самым важным вопросам национальной жизни».

Не будем излагать здесь перечисленных далее по пунктам задач афро-азиатской интеллигенции, завершающих недочитанный доклад Прамудьи Ананты Тура. В них в основном систематизируются высказанные перед тем мысли писателя о проблемах культуры и призвании интеллигентов, которые видятся ему «современными брахманами» «третьего мира», размышляющими о будущем и стоящими перед необходимостью «познать для этого свое прошлое, свое происхождение, свою историю». Умудренность позиции писателя сказывается и в намеченных им диалектически сложных взаимоотношениях «третьего мира» с культурой Запада, и в углубленном, хотя и критическом отношении к собственной традиционной культуре, и в подчеркнутой им необходимости развития демократических начал молодой национальной культуры стран «третьего мира». В то же время писатель не изменил себе в главном, по-прежнему рассматривая культуру как сферу неустанной борьбы, в которой необходимы стойкость, общественное призвание, революционный пыл. Борцом на поприще индонезийской национальной культуры остается и сам Прамудья Ананта Тур, а люди подобного склада, «пасионарии», независимо от их политических воззрений, всегда подозрительны в глазах тех, кто находится в плену аполитичности или обыкновенного страха.

«Прамудья может писать и дальше, но только без идеологии» — так резюмировала индонезийская газета «Суара мердека» заявление для печати, сделанное адмиралом Судомо, тогдашним главой индонезийской службы безопасности, в связи с запрещением книг Прамудьи Ананты Тура в интервью с корреспондентом голландской газеты «Волкскрант» три месяца спустя после событий, происшедших в Индонезийском университете.

Б. ПАРНИКЕЛЬ

Публицистика

ОМАР КАБЕСАС

УХОДЯ В ГОРЫ...

В ряды Сандинистского фронта я вступил после того, как закончил школу, когда сдал выпускные экзамены. А произошло это вот как.

Дело было не то в марте, не то в апреле 1968 года. Помню, мы с ребятами рано утром шли на занятия, и вдруг эти сволочи гвардейцы хватают нас посреди улицы, толкают к стене — ну, тут и началось... В это самое время в Манагуа происходили крупные беспорядки. А мы-то ничего не знали, потому что и радио, и газеты молчали об этом.

В нашем квартале был ресторанчик, принадлежавший одной толстой сеньоре,— она частенько поколачивала своего мужа. Эту забегаловку так и называли — ресторанчик Димасов. Так вот, когда там случались пьяные потасовки, вламывались гвардейцы и избивали пьяных. Там-то я и увидел впервые гвардейцев во всей их красе. Они били пьяных, как звери, в кровь, прикладами в лицо... Мне, мальчишке, было страшно. Я боялся крови, как и все дети. Пьяных драк я тоже боялся, но было все-таки интересно: очень смешно смотреть, как пьяные дерутся,— правда, когда появлялись гвардейцы, это была уже не драка, а избиение.

Познакомиться с гвардейцами поближе мне пришлось в студенческие годы, уже в университете. Но прямых столкновений у меня с ними в это время не было — я их боялся до смерти. У моего отца, я знал, с гвардией были свои счеты. Отец мой был из оппозиционной семьи, состоял в консервативной партии. Я уважал его. Помню, однажды в нашем квартале был митинг, и старик Агуэро, тощий такой, кадыкастый, влез на стол и стал говорить. Тут и мой отец тоже взобрался на этот стол, держа в руках электрический провод с лампочкой,— дело-то было вечером. Зажегся свет, а кругом все погрузилось в темноту, и тогда отец громко крикнул: «Да будет свет!» И все жители нашего квартала подхватили: «Да будет свет!» В ту минуту я очень гордился отцом, ведь все повторяли его слова.

Но дело было не только в отце. Конечно, не из-за него одного я вступил в Сандинистский фронт.

Большую роль в этом сыграла и моя дружба с Хуаном Хосе Кесада. Знакомы-то мы были еще со школы, а особенно сблизились, когда учились вместе на подготовительном курсе университета: потом мы оба поступили на юридический.

Хуан Хосе меня восхищал. Во-первых, он занимался каратэ и дзюдо, приемами владел, как бог. Я завидовал его силе и выносливости. Когда Хуан Хосе отправился на захват самолета «Ла Ника», он зашел ко мне попрощаться, но куда идет, не сказал: попросил только одолжить ему фотоаппарат, с тем и ушел. Я был почти уверен, что он член Фронта и идет на операцию, потому что, уходя, он мне сказал: «Ну, дружище, свободная родина или смерть». Так и сказал... Он был не такой, как все, немного, что ли, чокнутый или чудак, и я сразу понял, что фотоаппарат нужен ему для какого-то дела, связанного с Фронтом, понимаешь? Ясное дело, ни его самого, ни фотоаппарата я больше не видел... Садясь в самолет, аппарат он повесил себе через плечо, чтобы сойти за туриста. Мне рассказал об этом Федерико, который тоже был там. Вот Хуан Хосе, который унес мой фотоаппарат, и привлек меня в ряды Фронта.

Еще совсем желторотым юнцом, учась в университете, я стал прислушиваться и приглядываться, и мотать на ус, и о многом задумываться. Меня заинтересовала политика. Начал участвовать в демонстрациях, ходить на собрания, хоть и не принадлежал еще ни к какой политической студенческой организации. Меня тянуло к этой деятельности, потому что она была направлена против диктатуры, против Сомосы, против гвардии, а с другой стороны, это был и вопрос классовой принадлежности, понимаешь? Я очень ясно сознавал, что происхождение у меня — самое пролетарское. Когда в университете говорили о несправедливости, о бедности, я вспоминал свой бедняцкий квартал — на моей улице, к примеру, было всего полдюжины домишек, какие деревянные, какие глинобитные, выбеленные известью.

Ясное дело, от своих корней не уйдешь. А у Студенческого революционного фронта (ФЕР) подход ко всему был

классовый. Это-то как раз меня и привлекало. Но самое смешное заключалось в том, что сначала Хуан Хосе привлек меня в ряды Сандинистского фронта, а уж потом Эдгар Мунгийя, не зная об этом,— в ряды ФЕР.

Приходит однажды ко мне Хуан Хосе и говорит: «Слушай, старина... Вот какое дело... Готов ли ты выполнить свой долг перед народом и организацией?» «Мать честная,— подумал я про себя.— И дураку понятно, куда он клонит». Я чувствовал, что в один прекрасный день это должно произойти, я тысячу раз слышал, что говорили социал-христиане, профессора, слышал, как родители дают наставления своим чадам, которые приезжали в Леон учиться и снимали там фешенебельные квартиры: «Не смейте соваться в политику, политика приведет вас прямехонько за решетку, а то и в могилу; политика — дело не для молокососов, у которых ничего за душой нет; а пуще всего опасайтесь ФЕР и Университетского клуба: там одни красные, коммунисты и безбожники, сторонники русских и Фиделя Кастро, а заправляют всем советские и кубинские агенты — они только тем и занимаются, что посылают таких вот дурачков в горы на верную смерть». Говорили, что, если кто свяжется с Университетским клубом, потом его переводят в ФЕР, потом во Фронт, а уже оттуда — прямиком в горы. Все это пронеслось у меня в голове, и я подумал: «Как же Хуан Хосе, такой славный парень, может этим заниматься?» Но потом я сказал себе: «Если уж Хуан Хосе этим занимается, то его единомышленники не могут быть дурными людьми!» Но дело не в том, дурные они там или хорошие. Просто я перетрусил, хоть и надеялся втайне, что его вопрос не имеет прямого отношения к тому, о чем я думаю. Тогда я ему говорю: «Ты что имеешь в виду? Клуб или ФЕР?» — «Нет,— отвечает он,— я говорю о Фронте...» И тут он добавил одно слово, которое меня совсем доконало: «Я имею в виду Общину...» А это было тайное название Фронта. И тогда я впервые в жизни принял важное решение. Я знал, что со мной может случиться, но приказал себе не думать об этом, как будто опасности и не существует вовсе, словно в сон погрузился. Нечего об этом думать. Это то же самое, что начать размышлять, как у тебя бьется сердце — ведь человек не отдает себе в этом отчета. Стоит только перестать думать об опасности, сразу успокаиваешься. А потом идея постепенно захватывает тебя и не отпускает ни на минуту, даже когда ты с девчонкой.

Я представил себе, что, если я скажу «да», меня сразу пошлют подкладывать бомбы... А ведь совсем недавно Рене Каррион подложил бомбу и его убили в тюрьме. А потом горы... Я вспомнил о недавнем расстреле в Панкасане... Множество всяких мыслей лезло в голову... И чем больше я размышлял, тем сильнее боялся, хотя перед Хуаном Хосе сохранял самый серьезный и спокойный вид — не мог же я оказаться в его глазах трусом. Конечно, я представлял себе все мыслимые опасности, но думал и о своем родном квартале. Не забывай, что у меня не было тогда никаких твердых убеждений, я не был теоретиком — да каким там теоретиком, я вообще не понимал, что такое марксизм, хорошо это или плохо. И тогда я — больше из доверия к Хуану Хосе, чем по убеждению,— сказал: «Ладно, старина, идет...» Ведь это был своего рода вопрос чести. То есть я знал, чего хочу — хочу бороться против диктатуры, но я не был слишком уверен — даже не то что уверен, я все еще сильно сомневался, что смогу выполнить свой долг до конца со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Политическая убежденность приходила постепенно. Конечно, у разных людей этот процесс происходит по-разному, но я-то тебе рассказываю про себя, а со мной все было именно так.

Так вот я и начал работать и продолжаю заниматься этим до сих пор. Знаешь, что я тогда испытывал? В тот самый день, когда ребенка первый раз ведут в школу, кончается его счастливое детство, появляются обязанности, ответственность. Когда вступаешь во Фронт, происходит нечто подобное — разумеется, на другом уровне: дело тут не в счастье, если, конечно, ты последователен, и, как говорил Че,— если организация, в которую ты вступаешь, революционная и революция готовится всерьез. И тогда уже идешь до конца — победа или смерть. По мере того, как втягиваешься в эту работу, ты как будто попадаешь в водоворот, словно входишь в спираль, с каждым витком которой движешься вперед. И эта работа приносит тебе огромное удовлетворение... Приходится разыскивать дома для подпольщиков, для собраний, для складов, пересылочные пункты для корреспонденции, добывать машины и договариваться в механических мастерских, вести наблюдения и собирать информацию, следить за домами девиц, которых посещают гвардейцы, и делать еще множество разных дел. В общем, я начал работать, делал все, что мне поручали и что я сам считал необходимым.

В то время больших подпольных организаций еще не существовало, но та работа, которую выполнял каждый из нас, имела огромное значение. Мы закладывали основы для будущего и одновременно двигались вперед. В Леоне Фронт представляли только Леонель, Хуан Хосе и Мунгийя по прозвищу Гато (Кот). Не забудь, что было это после поражения в Панкасане, времена были очень тяжелые. Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что тогда нужно было иметь немалую силу и мужество, чтобы решиться вступить в Сандинистский фронт. Нас толкало на этот шаг также и стремление быть причастным к общему делу. Было в нас тогда нечто от первых христиан.

Никто из нас толком не знал ничего обо всей организации. А Фронт гремел: на стенах домов появлялись плакаты, организовывались вылазки и военные

операции. О них сообщали все радиостанции. Страна ждала позывных последних известий, ждала подробных сообщений. Все это поддерживало в нас ощущение нашей силы, придавало уверенности. Это было здорово. Я ходил в Леонский собор только для того, чтобы послушать, что говорят прихожане после мессы, на стадионе я прислушивался к разговорам болельщиков перед началом матча, в университетских коридорах и аудиториях — к тому, что говорят студенты, и даже в парикмахерской — к болтовне клиентов. Слушаешь все эти разговоры и думаешь про себя: «Знали бы они, что я из Фронта».

И вот что интересно: вооруженная борьба революционного авангарда не только повышает политическую сознательность народа, но воздействует на массы, так сказать, изнутри, повышает их боевой дух, боевой настрой. Это замечательно, но чтоб понять, нужно испытать это на себе. Ты засекречен, ты окружен тайной, ты — в авангарде.

Официальная пропаганда, рассчитанная на население, действовала и на нас. Одно время мне казалось, что наш Фронт — мощная организация. Я чувствовал себя причастным к общему делу — помнишь, я говорил? За других ручаться, конечно, не могу... А иногда брали верх сомнения, неуверенность и «здравый смысл», и тогда казалось, что нас очень мало, что мы всего лишь жалкая кучка смутьянов, как твердила в то время гвардия. Вот в такие часы и выручало это чувство причастности к общему делу. В нем находили выражение наши мечты, наши стремления, оно помогало не терять надежду, с ним опасность казалась не такой страшной, понимаешь? Скажу смело, что это чувство было общим для всех нас и оно крепло день ото дня. Ты ведь учти, что сомосовская диктатура длилась 45 лет, и люди ухватились за эту надежду: в конечном итоге народ и Фронт мыслили одинаково. Но когда повседневная работа, реальная практика борьбы убеждают тебя в том, что ты слишком размечтался, что организация и вправду малочисленна, это, конечно, несколько охлаждает пыл. Но тут же вспоминаешь о том, что ты причастен к общему делу, а за этим делом ты видишь и людей, и планы, и возможности, и перспективы, о которых ты еще, быть может, не знаешь, и в этой мысли находишь опору; обретаешь веру — называй как хочешь. Такие состояния, движения души в те времена были нашим хлебом насущным. Мало-помалу, с течением времени дело двинется вперед. А когда втянешься в революционную борьбу, когда окрепнешь, ты горд и счастлив от того, что стал, как выражается Модесто, «мачетеро революции».

Постарайся понять, как тягостно и тоскливо становится на душе, когда войдешь в работу, в организацию и в один прекрасный момент вдруг видишь, что ни черта нет, что Фронт — вовсе не сила, что людей в нем — раз-два и обчелся, что в лучшем случае только в Леоне, в Манагуа и в Эстели есть несколько смельчаков, которые решили вступить в борьбу. Всего несколько человек, всего несколько отважных... А газеты, радио, телевидение постоянно сообщают о действиях Фронта, а это влияет на нас, да еще как, на меня, по крайней мере, это действовало. Чувства, которые я при этом испытывал, и сознание причастности к общему делу доставляли мне не меньше радости, чем самое вкусное лакомство. Но, как и всякого лакомства, этого хватает ненадолго, а потом снова проклятые будни... Ты понимаешь, что ничего у тебя нет, и страшно заглядывать вперед.

Разве мог я не догадываться, не понимать, что пока наша борьба не станет всенародной, пока мы не добьемся того, чтобы весь народ взялся за оружие,— до тех пор среди нас, среди тех, кто сейчас жив и работает, всегда кто-то будет обречен на гибель, на скорую гибель. Страх смерти очень велик, потому что на легальной работе ты хоть и рискуешь жизнью, но все же не так, как в подполье.

Короче говоря, ты вступаешь во Фронт, потому что веришь в него. Страшно тебе или нет, ты должен отдаваться работе целиком. А иначе — бросай это дело. Главное — верить в то, что Фронт обязательно свергнет Сомосу, разобьет сомосовскую гвардию. Главное — сознавать, что ты стал одним из тех, кто это сделает. В этом твоя опора. Эта вера помогает не только тогда, когда вступаешь во Фронт. Уходя в горы, я имел за плечами шесть лет легальной работы, и я верил, что горы — это сила. Товарищи, которые сражались в горах, были легендарными личностями, они были окружены ореолом тайны... Там, наверху, был Модесто... Для нас, для тех, кто работал в городе — и легально, и в подполье — горы были символом нашей силы, там было оружие, там были лучшие люди. Горы были нашей крепостью, залогом будущего, они помогали нам держаться, не сдаваться, не покориться... Горы давали уверенность в том, что не может Сомоса стоять у власти до бесконечности, что его гвардия не так уж непобедима. Но вот ты приходишь в горы и узнаешь, что там только Модесто да еще 15 человек, несколько небольших групп,— и тогда запросто можно прийти в отчаяние. Ведь в это время в горах не набралось бы и двух десятков партизан. Возникает желание вернуться. «К чертовой матери,— думаешь про себя.— Будь проклят тот день, когда я решил ввязаться в это безнадежное дело...».

Я уже говорил, что в Леоне Фронт представляли Леонель, Хуан Хосе, Эдгар Мунгийя. Камило, а потом и я. В Леоне не было даже ни одного подпольщика. А в Манагуа был Хулио Буйтраго. Потом я понял, что в Манагуа существовали одна или две городские группы — я узнавал об их существовании, когда гвардейцы их расстреливали, потому что по радио сообщали имена этих людей с кратким рассказом о революционной деятельности каждого. Сомоса называл такие биографии революционеров «историями преступлений». В это время Хулио

Буйтраго был главой всех сандинистов в Никарагуа. Я слышал о нем много хорошего, но мне его узнать не довелось. А Леонель перед ним преклонялся. Тогда все товарищи, члены Фронта, были очень по-человечески привязаны друг к другу. Например, Гато, Леонель и я были закадычными друзьями. Я помню, что на выходные, когда все иногородние студенты разъезжались по домам, мы — денег-то у нас не было ни гроша — отправлялись к морю на попутных машинах.

Работа была тяжелой, потому что все только начиналось. Нас было мало, и каждый должен был работать еще больше. А чем больше работаешь, тем больше двигаешься вперед, развиваешься, многое открываешь для себя и многое начинаешь понимать. Ты чувствуешь, что нужно развивать свой ум, нужно учиться отвечать на вопросы, нужно готовиться. В этой ситуации я вырос довольно-таки быстро, так что в скором времени стал весьма ответственным человеком в студенческом движении.

Вначале я занимался в учебном кружке, который вел Леонель. Через три месяца я начал сам под руководством Леонеля и Гато организовывать кружки в университете, чтобы набрать там лучших ребят для Фронта. Дело дошло до того, что я отвечал за семь кружков одновременно. К вечеру я совершенно обалдевал от усталости. Помню, мы столько раз разбирали книгу Марты Харнекер «Основы исторического материализма», что я знал ее наизусть.

Ночью мы работали в Университетском клубе, делали плакаты, печатали учебные пособия. Возвращаться домой на рассвете было опасно, поэтому мы засыпали прямо в помещении клуба на столах для пинг-понга. Чем больше было таких рассветов, тем сильнее и крепче становился Студенческий революционный фронт. Я чувствовал, что и мы растем как личности. Ведь вначале нас было четыре человека, не существовало ни организации, ни аппарата — была группа из четырех-пяти ребят, которые, слава богу, умели говорить с людьми и выступали на собраниях...

В 1970 году я на шесть месяцев перешел на нелегальное положение. Произошло это после того, как погиб командант Хулио Буйтраго. Его выследили на подпольной квартире в Манагуа. Служба безопасности засекла его, и к дому были стянуты огромные силы армии и полиции. Они взяли его в тройное кольцо: были оцеплены дом, квартал и весь район города. Хулио принял бой. Он погиб после долгих часов сопротивления в одиночку в осажденном доме. Он был одним из крупнейших деятелей Фронта — одним из тех, кто убедил народ в его несокрушимости. Благодаря таким, как он, народ поверил в легендарную непобедимость Фронта. Эта легенда возникала на основе конкретных исторических фактов, и первым из них было героическое сопротивление Хулио Буйтраго 15 июня 1969 года.

Власти совершили ошибку, показав этот бой по телевидению. Мы сами, сидя перед телеэкраном в Университетском клубе Леона, видели, как гвардейцы, разбившись на группы по двое и по трое, вели из-за деревьев и машин огонь по дому. Впившись в экран, мы смотрели, как автоматы выплевывают стреляные гильзы, бьют по дому, как летят куски цемента, дерева, как разлетаются стекла и отскакивает краска. Мы видели и как отстреливается Хулио из-за балконной двери, был даже виден дымок над дулом его ручного пулемета после ответной очереди. Он стрелял из окон второго этажа, появляясь то тут, то там. Потом он исчез, гвардейцы остановились, прекратили огонь, посовещались и начали приближаться к дому. В тот же миг Хулио открыл стрельбу из окна, и гвардейцы откатились. Мы ликовали, видя, какого страху нагнал на них Хулио. А когда кто-нибудь из них падал после его выстрела, мы исступленно кричали: «Сволочи! Так их!..» Но тут подошел легкий танк, и гвардейцы заметно оживились. Танк занял позицию напротив дома, метрах в пятнадцати от него. Никто не стрелял, ни гвардейцы, ни Хулио. Как сейчас помню, уже смеркалось, гвардейцы утирали пот платками... Наступила глубокая тишина... Танк выстрелил... Мы невольно зажмурились, когда снаряд разнес стену дома в куски, и только твердили: «Хоть бы промахнулись... Хоть бы промахнулись...» После этого выстрела офицеры повели гвардейцев к дому. Оттуда никто не стрелял, но когда они подошли совсем близко, Хулио снова открыл огонь, и гвардейцы опять отбежали назад. Танк выпустил второй снаряд, и все повторилось. Затем наступило длительное затишье, и появился самолет. Тут они все открыли стрельбу по дому — и гвардейцы, и танк, и самолет, который кружил над домом, едва не задевая крышу. На наших глазах дом в считанные секунды превратился в развалины. В мгновение ока в воздух взлетели куски металла, обломки дерева, разлетелись стены, брызнули во все стороны осколки стекла... Мы не могли понять, как это Хулио до сих пор еще жив — а он был жив, потому что его пули ложились совсем рядом с нападавшими, и несколько гвардейцев свалилось. И тут произошло то, что потрясло нас всех: мы увидели, как из парадного подъезда выбежал Хулио, дал очередь по гвардейцам и вдруг начал медленно сгибаться, продолжая стрелять и все больше сгибаясь пополам, и все стрелял, стрелял, пока не упал на землю. Мы чуть не плакали, но в то же время ощущали свою несокрушимую силу.

Так пал зачинатель городского сопротивления Сандинистского фронта.

Само собой, что это видели в Никарагуа все, у кого был телевизор, и даже те, у кого его не было, потому что Сомоса имел глупость показывать этот телерепортаж несколько дней подряд, и те, у кого телевизора не было, ходили к сосе-

дям. Люди видели, как тряслись от страха и нервничали гвардейцы, слышали, как они кричали в мегафон Хулио, чтобы он сдавался, видели танки, самолет и вертолеты. Видели Хулио, который сражался в одиночку.

Ну а меня направили в студенческое движение, потому что я был уже человеком опытным. Мне действительно не было смысла оставаться в подполье, и руководство решило, что я должен снова вернуться на легальную работу в Леонский университет.

Я был совсем мальчишкой, к тому же физически не очень крепким, не имел никакой военной подготовки, так что для подпольщиков я стал обузой.

Вскоре мы вместе с Гато Мунгийя начали работать в Университетском клубе. Он первым из членов Студенческого революционного фронта стал председателем клуба. А добился он этого именно благодаря тому, что публично заявил о своей принадлежности к ФЕР и о поддержке Сандинистского фронта. Студенческий революционный фронт руководил Университетским клубом с 1960-го по 1964 год, но наши кандидаты на пост председателя Клуба никогда открыто не говорили о своем членстве в ФЕР и тем более о своих марксистских взглядах. С 1963-го по 1970 год в университете заправляли социал-христиане. А Гато стал председателем Университетского клуба именно потому, что он повторял во всех аудиториях, что он коммунист, сандинист и член ФЕР. Было это в 1970 году. Кампания по выборам Гато на пост президента клуба проходила очень бурно. Численность ФЕР достигла уже почти ста человек, большинство составляли ребята с подготовительного курса. Соперник Гато был из социал-христиан. Он считал себя прямо Аполлоном, но Гато тоже был недурен собой, так что конкуренция разгорелась даже и на этой почве. Но мы победили. Помню, что подсчет голосов закончился на рассвете. Мы скакали, кричали, рыдали от радости, издевались над потерпевшими поражение противниками, срывали со стен их плакаты, качали Гато... Мы все словно с ума посходили. Объятия, поцелуи, всхлипывания — наконец-то власть в университете в наших руках. Да здравствует Студенческий революционный фронт! Да здравствует Сандинистский фронт национального освобождения! Да здравствует Карлос Фонсека! Да здравствует команданте Хулио Буйтраго!.. И мы, трое-четверо, чувствовали себя так, будто нас было человек пятьдесят. Мы были вождями множества юношей и девушек, которые, как и мы сами два года назад, вступали в студенческую политическую жизнь; многим, очень многим из них было суждено пойти вместе с нами до победы или погибнуть.

Можно сказать, что эта победа означала качественный скачок, это была кульминация одного этапа и начало другого. Победа на выборах в Университетский клуб открыла перед нами огромные перспективы. Чего стоило одно то, что мы стали хозяевами служебных помещений клуба и могли собираться там, а не у кого-нибудь дома или в арендованных комнатах. Это означало, что мы получили в свое распоряжение пишущие машинки, фотокопировальные аппараты, множительные машины и, самое главное, деньги. Иными словами, проникнув в Университетский клуб, мы получили возможность использовать легальные средства в интересах Сандинистского фронта. Кроме того, до этих пор все нужды ФЕР оплачивались из наших еженедельных взносов, а этих денег было слишком мало.

Тут у нас возникла небольшая проблема, которая теперь встает перед нами в большем масштабе. Хотя у нас в ФЕР и так не хватало людей, пришлось сразу же выделять кадры для работы в Университетском клубе. Этим должен был заняться самый опытный из нас — Гато, наш лидер. Надо было разворачивать политическую работу и одновременно решать самые насущные проблемы студентов, чтобы они остались довольны нашей деятельностью и снова проголосовали за нас на следующий год. Нам это было необходимо, потому что, работая в Университетском клубе, мы могли отбирать самых способных ребят для Студенческого революционного фронта. И к тому же, как я уже говорил, это давало нам возможность использовать легальные средства для пропаганды Сандинистского фронта.

Раньше нам приходилось все тащить из университета, у нас не было даже канцелярских принадлежностей. В сумки наших девчонок мы совали все подряд — скоросшиватели, пачки бумаги, плакатные перья... Мы воровали ластики, скрепки, мы тащили все, что можно было стащить. А как мы радовались, когда удавалось разжиться парой сотен песо на несколько баллончиков краски! Мы ее использовали для плакатов и лозунгов на стенах. Остаться у власти в Университетском клубе — значило для нас получить средства для всего этого.

В том же 1970 году Студенческий революционный фронт поставил новую задачу: надо было увеличить прием студентов на первый курс медицинского факультета. Принимали туда не больше 50 человек, а мы хотели удвоить их число. Нам, конечно, удалось мобилизовать всех студентов, главным образом с подготовительного курса, а их в Леоне около полутора тысяч и тысячи две в Манагуа. В этой борьбе от одной кампании к другой мы постепенно отбирали лучших из тех, кто поступал в университет. Для ФЕР это было серьезным стимулом. Мы все-таки добились, чтобы на медицинский факультет принимали сто человек, но борьба продолжалась. Мы решили провести университетскую реформу — изучили реформу в Кордове и решили провести преобразования в своем университете, изменить учебные программы. Кроме того, мы переводили Фронту значительные суммы денег из фондов Университетского клуба.

Мы все время старались придумать что-нибудь новое, чтобы активизировать

студентов, чтобы у них не пропал энтузиазм. При этом мы имели в виду не только чисто академические, но и политические цели. Поэтому задача заключалась в том, чтобы всякий раз изобретать какой-нибудь свежий прием, подходящий для данного случая.

В студенческой борьбе мы добивались своего, и это было, конечно, важно. Но даже и помимо этого мы сплачивали студентов в ходе самой борьбы вокруг нашей политической линии, вокруг активистов, которые все больше врастали в студенческую среду. Студенты подготовительного курса восхищались руководителями ФЕР. И вот постепенно все больше студентов шло в наши учебные кружки и группы. Впоследствии эти группы стали ячейками Сандинистского фронта. Более подробно о подпольной организации в масштабах всей страны в это время рассказать не могу — мы мало об этом знали. Но думаю, что подполье было немногочисленным и слабым.

На одной из пыльных улочек окраинного квартала Субтиава, где жили индейцы, стоял в стороне от других дом, с хозяином которого мы были уже знакомы. Перед домом было просторное патио. Я сказал хозяину, что нам нужно проводить занятия, попросил поискать в квартале людей, которые хотели бы учиться, но просил не говорить, что речь идет о Фронте — просто сказать, что мы студенты, занимаемся в квартале просвещением. Ну а дом был маленький, тесный — к тому же куча детишек, жена хозяйничает, стряпает. Заниматься там было невозможно. Поэтому хозяин поливал патио, мы налаживали проводку, расставляли пять, шесть, семь стульев, которые он сам приносил,— у него вообще была организаторская жилка.

Мы, конечно, только еще приглядывались, примеривались, действовали наугад, но впоследствии, как ты увидишь, эта работа принесла немалые плоды.

Ну, в общем, пришли с ним сначала несколько человек. Я занимался с ними. Начали мы изучать «Манифест Коммунистической партии». Я подружился с некоторыми из этих людей, все они были индейцами. Одни работали на полях, другие промышляли рыбной ловлей, третьи держали небольшие хозяйства неподалеку, были там и таксисты, и каменотесы. Субтиава — это квартал на окраине Леона, по дороге на Понелойю, как идти к морю.

Когда я говорил, они смотрели мне в рот, и у меня было такое ощущение, что мои слова доходят до них через глаза. А впрочем, кто его знает, как это происходило. Но факт тот, что они слушали, слушали, слушали, и все, что они воспринимали, отражалось у них в глазах. По их глазам я видел, что они начинают думать о мире, о самих себе, ежеминутно открывают для себя что-то новое, както сразу, стремительно — об этом говорили их глаза. Они загорались, становились все увлеченнее... И к нам шло все больше людей.

Наша деятельность в Субтиаве стала быстро расширяться — исподволь, незаметно. Мы заговорили в Субтиаве о Сандино. У индейцев был вождь по имени Адиак, самый знаменитый из их касиков. Мы рассказывали о Сандино как о преемнике Адиака, так что для них Сандино стал как будто воплощением Адиака. Но, говоря о Сандино, мы рассказывали о «Манифесте Коммунистической партии», понимаешь? И постепенно из дома в дом, от одного индейца к другому пошло «Адиак... Сандино... классовая борьба... авангард... Фронт».

Мало-помалу в Субтиаве зарождалось целое движение. И вот тут — посмотри, какое получилось переплетение. Наши идеи начали проникать и в другие кварталы Леона через родственников жителей Субтиавы, которые жили в других районах города,— понятное дело, они обзаводились семьями и осели в других кварталах. Мы просили субтиавцев поговорить со своими родичами и таким образом установили связи с уроженцами Субтиавы по всему городу. Дело дошло даже до того, что в Студенческом революционном фронте был создан специальный орган, занимавшийся работой в кварталах. Мы уже не только работали в школах, не только развернулись в университете,— мы пошли и в кварталы, ведь через нас действовал Сандинистский фронт. Когда работа в кварталах наладилась, Фронт сказал: «Достаточно, теперь ФЕР больше этим не занимается, это переходит к подпольным организациям Фронта».

Мы начали отбирать людей, которые должны были уже на уровне Фронта непосредственно заняться работой в кварталах.

Ну и, конечно, жители кварталов мало-помалу становились активнее и сознательнее, появились руководители из их числа, а студентов приходило все меньше — только для общей координации. Массы выдвигали своих лидеров, и мы работали рука об руку с ними. Так зарождалось движение в кварталах. Примкнувшие к нам жители кварталов вступали под нашим руководством в профсоюзы, и наша деятельность стала распространяться и на профсоюзы Леона. Теперь все эти профсоюзы входят в Сандинистский центр трудящихся, а некоторые из тогдашних профсоюзных деятелей и сейчас работают в леонском Центре. В общем, хорошее было время.

Знаешь, я часто повторял: если гвардейцы убьют меня, клянусь, все равно я буду улыбаться после смерти, пусть даже мне изуродуют все лицо. Потому что я знал, что теперь, даже если меня убьют, это пустяк по сравнению с тем уроном, который я нанес гвардейцам, по сравнению с тем ущербом, который я нанес врагам, империализму, понимаешь? Для меня это всегда было очень важно, помогало держаться.

Когда я уходил в горы, я не колебался, я был тверд — хоть порой и неловко об этом говорить. Уходя в горы, я знал, что за мной Фронт, целый Фронт, что я

не одинок. Уходя из Субтиавы, я знал, что оставляю там целое поколение студентов, в которых горит мой боевой дух,— вот что самое главное, хотя, может быть, это прозвучит нескромно.

Ведь студенческое движение распространилось потом по всей стране. Те студенты, которые примкнули к нам в Леоне, начали организовывать в своих родных местах работу в кварталах. Так по всей стране были установлены связи с местными подпольными организациями, которыми руководил Фронт.

Я говорил тебе, что, уходя в горы, я был полон решимости сражаться до победы, потому что помнил: позади — Субтиава. Когда я уходил в горы, квартал Субтиава представлял собой грозную силу.

В 1972 или 1973 году начались первые народные демонстрации. Раньше в них участвовали одни студенты. Однажды мы организовали демонстрацию — уж не припомню теперь, по какому поводу,— в которой слились два потока: из университета и из Субтиавы. Тогда мы почувствовали, что можем вести за собой народ. Та демонстрация, как и все массовые шествия в Субтиаве, производила большое впечатление. От Субтиавы к кафедральному собору ведет одна прямая улица. Студенты шли от университета, а другой поток — от Субтиавы, и в парке перед собором мы соединились.

Мы докопались до этнических, так сказать, корней жителей Субтиавы и старались использовать этот фактор, как бы связать воедино борьбу их предков во главе с Адиаком с сегодняшним днем, напомнить им, как их грабили и порабощали, как и либералы и консерваторы отнимали у них землю, как их сгоняли с земель... Мы говорили о том, что Сандино, так же как и Адиак, возглавил борьбу народа... Мы объясняли людям, что их эксплуатируют, порабощают.

И вот жители Субтиавы вышли на демонстрацию... Но сначала раздался гром атабаля — знаешь, что такое атабаль? Это у них такой барабан. По всему кварталу шли люди с барабанами: трам-тарам-там... Такой у этих барабанов звук, гулкий и внушительный. Они звучат не радостно и не скорбно, но очень как-то напряженно, резко: таратам-таратам-таратам, таратам-таратам... Они шли, не оборачиваясь, глядя прямо перед собой, под гром барабанов: таратам-таратам-таратам... Люди выглядывали из окон, стояли в подворотнях. А те, кто шел позади, объявляли: сбор на площади в семь часов вечера, на площади в семь часов вечера...

Все собрались на площади, и состоялся небольшой митинг, а потом все направились по Калье Реаль — так называется эта улица, которая тянется до самого центрального парка, знаменитая Калье Реаль в Леоне. Вот так они и шли, жители Субтиавы, впереди барабанщики, за ними — руководители, а дальше — все остальные.

Надо было видеть, как они шли, надо было слышать, как гремели их барабаны: таратам-таратам-таратам... Каменно-серьезные, без тени улыбки лица индейцев, черные, прямые, как палки, волосы... Нет, невозмутимостью нельзя было это назвать: едва сдерживаемая ярость, ярость, готовая вот-вот прорваться, была на их лицах. Казалось, что ритм барабанов и выражение лиц индейцев объединяет какая-то внутренняя связь — ритм и шаг, единство шага, ритма и лиц... Не знаю, как это выразить точнее, но таких лиц я ни у кого больше не видел. Индейцы шли и выкрикивали лозунги, но вовсе не теми задорными голосами, как это делают обычно студенты, для которых демонстрация — развлечение и которые всегда стараются выдумать какую-нибудь новую штуку. Индейцы держались просто и строго. Один из них выкрикивал: «Каков наш путь?» А остальные отвечали, не замедляя шага: «Тот, что указал нам Сандино!» При этом они сохраняли серьезность и значительность, и это внушало уважение. Это зрелище вызывало у буржуазии ужас, потому что индейцы пробудились, индейцы восстали, обратились к своей истории и подняли имя Сандино как символ борьбы против эксплуататоров. И вот, глядя, как шли сотни индейцев с невозмутимыми, непроницаемыми лицами, женщины, дети, старики, я представил себе, что это идут не только жители Субтиавы, а индейцы всей Латинской Америки — индейцы Боливии, индейцы Перу, индейцы Чили, с оловянных и медных рудников, с каменноугольных копей... В этот момент мне представилось, что они идут не только по Калье Реаль, а по всему латиноамериканскому континенту, по Андам. Идут по дороге истории, идут к будущему, идут твердым и уверенным шагом. Уходя в горы, я знал, что меня могут убить, но вспоминал об этой демонстрации латиноамериканских индейцев, выступивших против империализма и против колониализма, и мне становилось ясно, что эти люди способны положить конец угнетению наших народов.

А убьют... Ну и пусть убивают, черт с ними. За мной Субтиава.

Субтиава походила на пылающий костер. Кстати, как раз к этому времени мы открыли для себя огонь. Я имею в виду не огонь политической борьбы — хотя и он тоже разгорался. Я говорю об огне как таковом: мы стали устраивать демонстрации со свечами и с факелами. Мы заметили, что такие факельные шествия привлекают людей. Помнишь эти средневековые процессии, когда несколько старцев, монахи в капюшонах, идут по темным переходам замков? Так вот, темные, узкие улочки, зажатые с двух сторон стенами домов, были похожи на коридоры средневековых замков. Представляешь, какое это было зрелище, когда по узким, кривым улочкам Леона двигалось море мерцающих огней?

Потом мы стали устраивать костры на улицах. Было гораздо легче раздобыть дрова для костра, чем сосновые ветки для факелов. Принималось решение: «Так, сегодня у нас митинг с костром».

Приходили наши ребята, активисты из университета, мы разжигали костер на темной улице, собирались вокруг огня и начинали скандировать: «Народ, объединяйся! Народ, объединяйся!»

Постепенно подходили люди, становились в сторонке. Первыми прибегали уличные мальчишки и подхватывали наш призыв. Получалось громче, но ведь это были только уличные мальчишки. Хотя для начала и это было неплохо, по крайней мере ребятишки составляли нам компанию, и мы чувствовали себя не так одиноко.

А потом подходил какой-нибудь рабочий, член профсоюза,— а профсоюзы в Леоне были малочисленные, слабые. Придет торговка с рынка — тоже очень важный сектор работы,— или студент из соседнего квартала к нам присоединится. Мы начинали петь хором. Подходили новые люди, смотрели на огонь, на нас. И тут мы начинали говорить, глядя при этом людям прямо в глаза, как бы стараясь внушить им свои мысли. Это было тем более важно, что у нас не было никаких организационных средств, возможностей общаться с людьми, беседовать, убеждать, говорить о необходимости борьбы. Поэтому мы старались максимально использовать это время у костра. Людей собиралось все больше и больше, костер догорал, и кого-нибудь снова и снова посылали за дровами. Дрова сгорали, а люди все стояли и слушали.

Костры стали полыхать во всех кварталах, и постепенно они превратились в символ сопротивления. Вокруг огня собирались все, кто был настроен оппозиционно, все противники Сомосы, все сторонники Сандино. Костры стали символом борьбы, политической агитации, революционных идей, которые студенты несли в городские кварталы. Костры собирали народ, и потому гвардейцы их ненавидели. Огонь возбуждает, объединяет, он как будто защищает, придает человеку силу — такие примерно чувства мы все испытывали.

Костры стали открытым вызовом, формой открытой борьбы. По вечерам в городе загоралось десять, двадцать, тридцать, сто костров. И когда эта наша деятельность в городских кварталах приобрела достаточно широкий характер, Фронт сказал нам: «Хорошо, теперь мы займемся этим сами». Теперь костры устраивали не студенты, а сами жители кварталов. Получалось так, что днем их эксплуатировали, а ночью они восставали, днем они работали, а ночью возмущались, протестовали. И огонь словно накалял это возмущение.

Поэтому, когда я уходил в горы, со мной были не только индейцы, но и охваченные протестом и огнем городские кварталы, со мной был воспламененный народ, который потом превратился в вооруженный народ. Уходя в горы, я чувствовал, что я не один, а в самом начале нас было так мало... У нас не было тесных, органических связей с народом, прежде всего идеологических и политических. К нашим словам люди относились со смешанным чувством опасения и выжидания, наши речи были для них странными и страшными. Тогда-то я и сделал для себя одно открытие политического характера: слово объединяет.

Уходя в горы, я был полон энергии, шел, так сказать, с заряженными батареями, чувствовал огромный подъем. Ведь у меня за плечами был немалый опыт политической работы, и, кроме того, я очень гордился тем, что в огне политической борьбы, который охватывал города, была и моя маленькая искра.

Это помогало мне не дрогнуть, не сломаться в горах, не сбежать оттуда в первые же дни. Ты попадаешь в совершенно новые условия, к тому же не имея никакой физической подготовки, и, конечно,— потрясение сильнейшее. Я бы сказал, что мы не были подготовлены к этому даже и в психологическом плане. Хоть мы и читали «Дневник Че», работы о Вьетнаме, книги о партизанском движении в Латинской Америке и других странах, но понятия обо всем этом у нас были самые общие, а как это выглядит в реальности, мы и не представляли.

Когда у нас в горах, в лагере, появлялись новички, это было целое событие. Каждый из них приносил целый ворох новостей. Мы расспрашивали их о соседях, о товарищах по студенческому движению — как у них идут дела, как там в городе подпольщики. Мы вспоминали о прошлом, и воспоминания эти приносили нам огромную радость. Хотя, конечно, по прошествии шести месяцев ситуация успела несколько измениться. В разговорах с новичками мы оживали, чувствовали себя обновленными, мы переполнялись новыми идеями, взглядами, мыслями. Дни и ночи были заполнены разговорами, беседами, мы обсуждали новые для нас проблемы. Да, появление в лагере шести-семи новичков было настоящим событием. Новые лица, незнакомые имена — сначала и не различаешь их: а это кто такой? а это кто? Лавина новостей, информации, живое общение с новыми людьми — и раскалывается давящее одиночество. На какое-то время оно отступает, рассеивается, тебя переполняет чувство общности, причастности к общему делу — это очень здорово...

Я пробыл в горах уже несколько месяцев, освоился и стал настоящим партизаном, но все равно чувствовал одиночество — так уж я устроен. Ни ужас, который испытываешь в ущелье, в горах, ни голод, ни опасность нападения, ни то, что ходишь все время грязный, вонючий, в сырой одежде и обуви,— ничто не сравнится с этим мучительным чувством. Одиночество — вот что страшно, ничего нет тяжелее одиночества. Одиночество — это чудовищно, это невозможно описать. А в горах одиночество ощущается очень сильно. Недостаток человеческого общения, отсутствие мно-

гих простых вещей, к которым городской человек издавна привык и которые составляют часть его жизни. Одиночество — это когда начинаешь забывать шум машин. Одиночество — это когда по ночам тебе мерещится электрический свет. Одиночество и в том, что в горах видишь только темные тона, только зелень, зеленый — цвет природы; ни синего, ни голубого, ни фиолетового, ни лилового. Одиночество и в том, что тебе не хватает любимых песен, женщин, что ты тоскуешь по семье, по братьям и матери, скучаешь по школьным товарищам, по преподавателям, по соседям, по городским автобусам, по пыльному пеклу города, по кино. Хочется, чтобы все это вернулось, было опять с тобой, но это невозможно, потому что ты не можешь оставить герилью, потому что ты выбрал борьбу, принял главное в жизни решение. Эта оторванность от всего, одиночество и есть самое тяжкое, самое страшное. Одиночество и в том, что тебе некого поцеловать, приласкать и тебя никто не приласкает, никто тебе не улыбнется. Даже дикие звери в лесу, птицы в небе и рыбы в реке ласковы друг к другу. А мы — суровые парни, миндальничать нам не пристало... Жить в одиночестве, жить без простого человеческого тепла гораздо труднее, чем холодать и голодать, рыскать за хворостом для костра и продираться с трудом сквозь лианы... В общем, для меня не было ничего страшнее этого бездонного одиночества, и самое ужасное во всем этом было то, что мы не знали, сколько еще времени пробудем здесь. Поневоле мы приспосабливались. Надо было начисто отбросить все прошедшее — все эти улыбки, ласки, разноцветье, привычку носить шляпу, курить сигареты, класть в кофе сахар... Какой там сахар... Представляешь, целый год — ни крошки... Приходится отказываться от всего этого. Шагу нельзя ступить, чтоб не споткнуться и не упасть, даже когда ты уже совсем освоился, все равно упадешь раз тридцать, и никого это не трогает... Вся стряпня — в антисанитарных условиях, почти не моешься или в лучшем случае ополоснешься без мыла. Есть хочется постоянно, все мысли о еде, хотя заранее известно, что есть придется все то же самое дерьмо — кукурузную лепешку, кусок обезьяньего мяса без всякой приправы, ложку сухого молока. Тут начинаешь понимать, что раньше, в городе, когда хотелось есть, это был просто аппетит. А в горах испытываешь настоящий голод. Ходишь все время голодный, а надо ведь работать, надо держать себя в форме, надо проводить беседы с крестьянами... Одежда мокрая, сам ты весь грязный, трясешься от холода, живот подвело — и никаких нежностей, никаких улыбок... А ночи темные... В семь часов вечера каждый залезает в гамак, каждый думает о своем...

Но день за днем все больше приспосабливаешься к условиям, становишься крепче, учишься управляться с мачете, кожа становится задубелой, ладони грубеют, темнеют, появляются мозоли... А вокруг гвардейцы, и из города никаких известий, там репрессии...

Но именно все эти испытания и воспитали в нас силу и твердость, а без них с диктатурой не совладать. Мы стали другими — загрубевшая кожа, острое зрение, тонкое чутье, мгновенная реакция, четкая работа мысли... Мы стали тверды, как сами горы, мы стали стремительными, как змеи, опасными, как тигры, проворными, как олени. В нас росло мужество и стойкость, которые помогали нам преодолеть все трудности и испытания. Сопротивление среде воспитало в нас железную волю. Сплоченность авангарда — не пустое слово. Она ковалась и в городах, и в горных лагерях. Авангард состоял из людей, прочно спаянных между собой, сплоченных, связанных духовным единством. Это было нерушимое ядро, способное повести весь народ на борьбу с диктатурой. По христианской терминологии это называется самоотречением.

Но здесь была и другая сторона, потайная, скрытая от глаз. Хоть мы огрубели и ожесточились, но в глубине души оставались прежними — отзывчивыми, мягкими. Энри Руис, например, увидев где-нибудь в деревне спящего на земле ребенка, мог отдать ему свое одеяло, хоть и понимал, что проблему это не решит, а сам он, руководитель партизан, останется в горах без одеяла. При нашем вынужденном одиночестве в душе накапливалось нерастраченное чувство любви к людям, сердечность, чуткость. В нас не было себялюбия. Как будто в горах одиночество и дожди смыли с нас все пороки, свойственные человеку в буржуазном обществе. Мы научились сдержанности и скромности — потому что в горах ты в одиночку ни черта не значишь; мы научились простоте, научились дорожить простыми человеческими ценностями. Потому мы говорим, что новый человек родился в нашем Фронте. Муки одиночества, и истертые в кровь ноги, и тучи москитов, и зловоние, и грязь — вот как рождался новый человек. Но это внешняя сторона дела, а внутренне это люди чистые и ясные, как сами горы. В них не было эгоизма и мелочности, в них была искренность, сострадание, готовность все отдать другому, пожертвовать собой ради другого, страдать вместе с ним и вместе с ним радоваться.

Военная подготовка имеет в этом смысле большое значение. Она во многом определяет дальнейшее развитие человека, его взгляды на жизнь.

Нас обучали Рене Техада (известный под именем Тельо), Давид Бланко (Аркадио) и — немного — Карлос Агуэро (Родриго). Главным в этом деле был Тельо. Методы у него были суровые и даже жестокие. Тельо не давал нам никаких поблажек, не прощал малейшей оплошности. Он постоянно кричал на нас и подгонял, не давая передышки. При этом, надо отдать ему справедливость, он указывал нам на ошибки и объяснял, почему надо делать так, а не иначе, но все на крике. Вот, к примеру, ползешь,

а он тебе: «Эй, приятель, ты чего задницу задрал, в бою тебя уже давно бы пришлепнули — ты перемещайся вот так, вот так». Или: «Трос палатки надо закреплять вот таким узлом, иначе не отвяжешь, если придется спешно сворачиваться», «Гамак к дереву нужно привязывать вот так, чтобы не намочило во время дождя». Это и правда ужасно, когда во время ночевки в горах начинается ливень — просыпаешься совершенно мокрый. Самое скверное в горах — это промокшие одеяло и гамак. Приходится вылезать и спать сидя.

Каждого из нас Тельо обучал всем премудростям партизанской жизни — как разводить огонь, как готовить еду в разных условиях, как ходить, как ставить ногу. Но он был нетерпелив, он все время на нас кричал: «Ну, давайте же, болваны, ложись на брюхо, ползком!» И подгонял нас выстрелами — хватал карабин и давай палить поверх голов, ты ползешь, а пули свистят у самого уха так, что даже носа не поднимешь, того и гляди влепит.

Занимаясь с нами перед началом тренировки, Тельо всегда увязывал военные проблемы с политическими. Он постоянно нас натаскивал, не давая отвлечься ни на минуту. Во время этих лекций он начинал говорить о борьбе, о ее целях, и, хотя в его словах чувствовалась твердость, сила, умение убеждать, бывали случаи, когда он начинал с крика, а заканчивал как бы про себя, как будто разговаривал сам с собой и говорил все это не для нас, а просто, чтобы еще раз самому осмыслить. Удивительно в нем соединялись грубость с сердечностью.

Месяца полтора мы проходили обучение в самом сердце гор. Тренировки шли с четырех часов утра и дотемна. Ты не представляешь, что это такое, когда тебя будят ужасным криком «Подъем! Подъем, товарищи!» Заметь, не «пора вставать, просыпайтесь, ребята», а «подъем». Так было на протяжении всей нашей партизанской жизни. Дежурный по лагерю объявлял подъем в полчетвертого утра. А мы же привыкли вставать поздно, потому что и ложились поздно. Это было ужасно. Надо было привыкнуть ложиться в семь часов вечера, засыпать через силу и вставать в четыре утра. Спать мы ложились измученные и голодные. Часто снилось, что ешь мороженое или сидишь за праздничным столом, временами ни о чем, кроме еды, невозможно было думать... А в четыре утра — побудка. Дождь льет, ты лежишь в сухом гамаке, а сверху низвергаются потоки холодной воды — страшно подумать о том, что надо вылезать из гамака под холодный ливень. Опять сворачивать палатку — днем мы палатки убирали, — скатывать гамак и выходить строиться, под дождем, без завтрака, прямо так... А уже через десять минут из сухой постели — да прямо в грязь, весь ты перемазался с ног до головы, грязь набивается в рот, уши. А этот Тельо все гоняет и гоняет — ползком по грязи и по лужам, перебежками по кочкам и рытвинам. И ты уже ничего не видишь перед собой и ползешь, не разбирая дороги. А физические упражнения? Когда за нас принимался Родриго, то было совсем невмоготу: сначала бег на месте, потом бег с ускорением, приседания, упражнения для рук, для ног, для спины... Были и другие невероятно изнурительные упражнения с рюкзаками на спине... Под конец уже ноги не слушаются, и приказываешь себе: «Держаться... Держаться... Ползти...»

Так постепенно мы становились все более сильными, ловкими, быстрыми. Нас уже не пугали ни шипы, ни колючки, ни грязь. Мы стали чувствовать себя в горах как дома, в нас появилось что-то от дикарей или от диких животных. Мы учились устраивать засады, стрелять, ориентироваться на местности, мы тренировались, изучали основы тактики, не упуская при этом из виду и политические проблемы. А Тельо постоянно твердил нам о новом человеке...

Как-то раз я заболел, и мне поручили следить за сводками последних известий по радио, а вечером делать небольшой обзор и анализ наиболее важных новостей, чтобы все были в курсе событий. И вот я слышу, что на автостраде, ведущей в Манагуа, что-то происходит. Передают, что перекрыто шоссе на Масаю, что повсюду расставлены гвардейцы. Вижу, тут что-то нечисто, и побежал к Модесто. Разумеется, руководителям уже было известно, что в городе готовится акция Фронта с целью захвата заложников, а нам и невдомек. Эта заваруха произошла 27 декабря 1974 года.

Мы сидели в лагере и ждали новостей. После короткого сообщения гвардии радио вообще замолкло. Было совершенно непонятно, что там происходит. Нас охватила тревога... Только б наши выпутались... И вдруг сообщение генерального штаба национальной гвардии: захвачен дом Чама Кастильо, роль посредника взял на себя епископ; установлено, что один из тех, кто находится в доме, — Карлос Агуэро. Так... И тут я внезапно понял, что не было там никакого Карлоса Агуэро, потому что увидел, как Родриго, хитро усмехаясь, подмигивает Рене Вивасу — тут я обо всем догадался. Я уже знал со слов других, что Карлос — высокий, голубоглазый, вспомнил все, что слышал о нем... Ах ты, черт, думаю, выходит, этот поганец Родриго и есть Карлос Агуэро!.. Точно, это он и есть...

Весь день мы обсуждали только события в Манагуа, а я сидел у радиоприемника как приклеенный, хотелось скорей узнать, что же там нового... Когда же все успешно закончилось, мы буквально ошалели от радости, кажется, стреляли в воздух, не помню... В этот день, 27 декабря, мы чувствовали огромный подъем, потому что впервые мир узнал о том, что в горах идет борьба, услышал названия тех мест, где мы воевали — Синика, Васлала, — люди узнали, каким репрессиям подвергаются крестьяне в деревнях. Мир узнал о нас,

о нашей партизанской войне, и мы уже не чувствовали себя такими одинокими.

Дня через четыре мы заметили, что в палатке Родриго и Модесто что-то происходит: что-то обсуждают, спорят, готовятся к чему-то. Потом Родриго взял пятерых ребят и ушел... Дней через шесть после их ухода в лагерь пришел крестьянин: «Говорят, напали на казармы в Васлале, перестрелка была. Много гвардейцев поубивали». Оказывается, Родриго задумал атаковать казармы в Васлале, туда он и пошел. Гвардейцы и помыслить не могли, что на такие неприступные казармы в горах могут напасть. Они там внутри совсем ошалели, открыли огонь, не разбирая, где свои, где чужие, а наши ребята ушли с победой, в полном боевом порядке.

В общем, для нас наступила полоса удач, но внезапно все было омрачено смертью Тельо.

Дня через три после возвращения Родриго в лагерь было передано сообщение гвардии, в котором говорилось, что, преследуя банду, совершившую нападение на казармы в Васлале, патруль наткнулся на вооруженного человека, который оказал сопротивление и погиб в перестрелке; личность его установлена — это Рене Техада Перальта. Гвардейцы схватили одного нашего, он им и сказал, что в таком-то доме находится партизан. Было это в шесть часов вечера. Тельо по условному знаку решил, что идет свой — тот человек приносил ему еду... Началась перестрелка. Уже спускались сумерки, темнело... И вот Тельо, такой всегда недоверчивый, осторожный Тельо,— с первого же выстрела получил пулю в лоб.

Знаешь, что я почувствовал, узнав о смерти Тельо? Страх. Страх, потому что я ведь, в общем-то, подражал ему: он научил меня, как ползать, как падать, как вести себя в бою, как вести сражение и руководить людьми, как отступать... И вот он погиб... Погиб человек, который всему меня научил...

Помню, в тот вечер над лагерем пролетел вертолет. Он вез тело Тельо в Васлалу для опознания, а мы еще не знали о его смерти. Мы сразу залили костры, думая, что нас выследили. Если бы в эту минуту явились гвардейцы, мы готовы были драться. Мы удвоили караулы, собрали рюкзаки... Но все было тихо. «Пусть только сунутся, сволочи, мы их разделаем»,— говорили мы между собой. Только потом мы поняли, что Тельо погиб.

Я никогда не мог простить Тельо того, что он погиб так глупо, за здорово живешь. И в тот вечер, когда до нас дошло, что Тельо мертв, я ушел в свою палатку, забрался в гамак и стал вспоминать Леон, городские кварталы, университет. И еще я думал о том, что за дерьмо тогда эта затея. Я не мог смириться со смертью Тельо. Студенты швырялись камнями — но разве они знали, эти студенты, о том, что такое бой, что такое гвардия? Я был одним из главных студенческих вожаков; теперь уже достаточно опытным человеком, и меня мучила мысль, что первым погиб тот, кто научил меня всему, кто в военном деле разбирался лучше меня, лучше, чем весь университет, чем все товарищи из Сандинистского фронта — легалы и нелегалы.

Казалось, будто и горам тоже страшно. Ветер стих, деревья замерли, и все затаилось в испуге, наступила тишина. Не знаю, может, мне это от страха казалось, но помню, деревья перестали шептаться — ни один листочек не шелохнется, даже на самых высоких деревьях, горы затаились, как будто все попряталось, тишина вокруг, но не такая, как обычно, когда слышно, как сильно гудят деревья, как будто защищаются от ветра или ветками кого-то отгоняют, кто знает кого — то ли опасность, то ли смерть... И птицы замолкли, как будто спрятались со страху... Все стало таким мрачным, словно дожидалось, когда придут и перебьют нас всех до единого. Не знаю, не могу объяснить, что произошло тогда. Ребята переговаривались между собой... Не знаю, было ли им тоже страшно, всем тем ребятам, что обучались вместе со мной. Некоторые как будто и не приняли близко к сердцу смерть Тельо. И не то чтоб им было совсем наплевать, просто Тельо был очень суров с нами, и они в глубине души как бы упрекали его: «Почему же, черт возьми, когда тебя прижали, ты не повел себя так, как нас учил? Куда ж это все девалось?» Такие примерно мысли были у ребят. Даже ручей, день и ночь шумевший в ущелье, вдруг замолк, будто случилось с ним что-то,— пришло его время, и он замер вместе с неподвижными деревьями, со зверями, которые попрятались и не подавали голоса. И ребята в лагере притихли, не слышно было смеха на кухне, где мололи кукурузу на ужин.

Мне казалось невероятным, что Тельо мог умереть... Так вот, я хочу сказать, что все, чему он нас учил — как выбирать позицию при стрельбе, как действовать в бою,— не было, безусловно, правильным. Все это была чистая теория, а гвардия своей силой и мощью все сводила на нет. Так имели ли ценность знания, которые он нам дал? А может, нет? Гвардии на них было начхать, и хотя гвардейцы понятия не имели о том, что знал Тельо, его сразу пришлепнули. Значит, гвардия в тысячу раз сильнее, ей наплевать на эти дерьмовые знания, а тебя убьют, будь ты хоть семи пядей во лбу. Выходит, все знания ни к чему? Выходит, чтобы бороться с гвардией, не обязательно знать, как ее разгромить, раздавить, как покончить с диктатурой,— гвардию, оказывается, ничуть не волнует, что мы умеем сражаться и стрелять с колена или лежа... Я почувствовал себя бессильным — не потому, что не было сил нести поклажу, я знал, что могу идти с грузом, и преодолевать подъем, и терпеть голод и одиночество,— но исчезла уверенность в том, что мы сумеем уничтожить врага... И это было самое главное. Подумать только, а ведь я считал себя настоящим представителем народа — товарищей из кварталов, ребят

из университета,— подготовленным, тренированным бойцом...

Смерть Тельо была для меня непостижима, хотя с самого начала я крепко запомнил его слова: если он погибнет, останутся люди, подготовленные для герильи. И я думал: этот парень учил нас всему, что знал сам, значит, если мы станем такими, как он, если мы будем сражаться так же, как он, и если все наши знания для гвардии не страшней комариного писка, то есть вообще бесполезны,— нас перебьют всех до одного. Невозможно воевать с таким сильным врагом...

Что тебя может спасти в такой момент? Потом, когда поостынешь и поразмыслишь здраво и спокойно, тебя спасает мысль о том, что Сандинистский фронт воспитал в нас целеустремленность, безграничное упорство; и голова у тебя сразу начинает работать: ну что же, может, все здесь и полягут, но надо продолжать бороться, чтобы разбить врага; потому что в конечном счете быть партизаном, сражаться с гвардией — пусть даже ты погибнешь — благородное дело. И если ты умрешь, сама твоя смерть станет протестом. Значит, и смерть Тельо была протестом, и мы умрем, протестуя... Дело не в том, успел ли Тельо применить свои знания, правильно ли было то, чему он нас учил. Главное — что он погиб с мечтой, с надеждой, главное — разбить, преодолеть, вопреки всему... Прорваться! Главное — бороться и не думать о том, готовы ли мы к борьбе, перестать терзаться и сомневаться. Надо учиться — у врага, у гор... И тогда чувство бессилия уходит. Ты вновь веришь в себя, в свое дело, и ты готов погибнуть, но не отступить. А если это произойдет, сумей и смерть сделать знаменем, сумей все устремить к одной цели,— и себя самого, и свою смерть, и своих товарищей, и всех зверей и птиц. Сумей сделать так, чтобы горы стали твоим союзником, чтобы деревья зашумели по-другому. С такими мыслями я и уснул, потому что была уже ночь. А наутро я был полон решимости, я рвался в бой, мне не терпелось испытать самого себя и всех нас в схватке с врагом. Я проснулся и ощутил жажду жить — жить, чтобы умереть, умереть, чтобы жить.

Национальное руководство Фронта решило организовать большие партизанские школы, чтобы улучшить военное обучение и подготовить людей к борьбе на различных участках, в том числе и в горах. Одна из таких школ была создана в Макуэлисо, и называлась она «Хулио Буйтраго». Туда набрали 30 человек. Было это в июне 1975 года.

Мне сказали, что я остаюсь членом регионального совета, что у нас создается школа для людей, которые потом тоже пойдут в горы, и что я буду в этой школе преподавать, поскольку у меня большой опыт партизанской борьбы. Назначили меня ответственным за военное обучение. Командирами в школе были Мануэль Моралес и Байярдо Арсэ, а Аугусто Салинас Пинель был связным, потому что он в этом районе занимался организацией подполья.

Работа в школе очень много мне дала. Я увидел, что опыт мой пригодился, я передавал его другим — а ведь там было целых тридцать человек.

Уже в ходе первых занятий выяснилось, кто на что способен. И я понял: в том, что я пережил в горах, не было ничего исключительного, это происходило со всеми. Здесь, правда, условия были совсем другие — не сьерра, не сельва, а холмы, поросшие редкими сосновыми лесами, которые были основательно вырублены североамериканскими лесозаготовительными компаниями. Было такое ощущение, как будто занятия проходят в каком-то парке. Приходилось маскировать палатки и лагерное снаряжение, чтобы нас не заметили с самолетов.

Я видел, что мои ребята порой падали духом, порой отчаивались, видел их проблемы и слабости; постепенно они выправлялись, крепли, но я воочию убедился, что у каждого это проходит по-своему. Я старался вложить в них все, что знал и умел сам. Я постоянно помнил о Рене Техаде. Он погиб, но его присутствие ощущалось на наших занятиях.

Занятия в школе начались 14 июня 1975 года и примерно в середине июля закончились. Уже дней через десять после начала занятий стали поступать сообщения о том, что в нашем районе появились какие-то странные личности, похоже, что лазутчики гвардии. Сами гвардейцы не показывались, и мы хотели довести курс обучения до конца. Но однажды стало известно, что гвардейцы близко, а у нас — тридцать необстрелянных ребят, у которых даже не было опыта дальних переходов. До лагеря ходьбы всего восемь часов, вот и весь переход, а они уже стерли себе в кровь ноги. Но зато это было для них целое событие, они чувствовали себя самыми настоящими партизанами. И вот с этими ребятами, которые ни разу не участвовали в боях, не умели ходить в горах с полной выкладкой, были очень плохо вооружены—у нас было только две или три боевые винтовки и несколько охотничьих ружей,— надо было уходить. И дураку было ясно, чем кончится для нас встреча с гвардейцами, а они были уже близко. Бой мы принять не могли: сил было мало. Этих ребят можно было только вернуть в город с тем, чтобы потом опять переправить в горы. Поэтому мы решили, что Мануэль и Байярдо спустятся и постараются организовать немедленную эвакуацию людей, чтобы избежать прямого столкновения с гвардией. Надо было проверить дороги, найти дома, чтобы всех разместить, и обеспечить прикрытие для проведения операции.

...Мы шли ночью, сторонясь поселков, опасаясь патрулей, которые прочесывали местность. Еды у нас было мало, только консервы. Не исключено было,

что гвардейцы взяли всех наших людей в этом районе, всех сочувствующих нам, и тогда мы лишались связи. Наконец добрались до небольшой фермы Бонифасио Монтойя. Он был одним из первых сторонников Фронта, соратником Карлоса Фонсеки. Чудесный был старик! Высокий, сухощавый, голубоглазый — просто красавец. В свои 82 года он был прост и бесхитростен, как ребенок. Жил он на своей жалкой, крохотной ферме со старухой женой — не помню уж, как ее звали. Эти крестьяне оба были сандинистами еще со времен Сандино.

Мы наткнулись на него, когда ходили к ущелью за водой.

— Дон Бачо! Дон Бачо!

— Ребятки! Давайте сюда, заходите! Осторожно, глядите, чтобы гвардейцы не появились.

Он угостил нас кофе. «А гвардейцы к вам на ферму не приходили?»— спрашиваем. «Нет,— отвечает старуха.— А придут, уж я их встречу, даже если под рукой будет только кипяток».

Старик этот, дон Бачо, был личностью легендарной, просто живая история. Салинас Пинель рассказывал, что, когда он первый раз пришел к нему как представитель Фронта, тот сразу оживился. «Вот видишь,— сказал он старухе,— видишь, я знал, что они снова здесь появятся. А уж я для них кое-что припас, закопал то, что ваши ребята в прошлый раз оставили». «А что это?»— спросил Аугусто. «Пойдем со мной, нечего бабам про это знать»,— ответил тот и повел его во двор. Там из-под корней дерева он выкопал небольшую военную сумку, еще времен оккупации янки. Она истлела и буквально рассыпалась в руках, а там была куча патронов. Ничего себе, а? Старик их сохранил. Ты себе представляешь?.. Он их хранил и каждый день просушивал на солнце, потому что знал, что когда-нибудь сандинисты вернутся в эти края.

Мы были окружены гвардейцами, и надо было прорываться из кольца, потому что гвардия прочесывала местность, стараясь вывести нас на прямое столкновение и уничтожить. Если бы они обнаружили нас, то перебили бы всех до одного. Так что выбора не было. Но местность становилась все более открытой, мы шли по кукурузным полям, по небольшим редким лесочкам, так что было очень трудно пройти незамеченными. В конце концов, было решено двигаться к Панамериканскому шоссе, там с помощью сочувствующих нам крестьян раздобыть гражданскую одежду, а уж дальше — как придется. Нужно было спасти людей, благополучно довести их до города. Некоторые даже должны были вернуться к себе домой на легальную работу. Обсудив все с доном Бачо и его сыном — он тоже был наш,— мы решили выступать ночью.

...Шли в темноте, по скалам, бросив все лишнее, но мы уже очень ослабли, потому что последние десять—пятнадцать дней держались только на консервах — было у нас несколько банок — да на плодах манго. Измучились до крайности. Воды в этих местах не было, так что приходилось искать ее ночью. На каждого — по полчашки в день, кусок манго, еще какая-то там чепуха — вот и весь наш дневной рацион. Мы все очень ослабели — правда, я-то был уже привычный по сравнению с этими городскими ребятами. Они начали сдавать. Идти приходилось по скалам друг за другом, очень осторожно, чтобы не сорваться, не поскользнуться, а то гвардейцы услышат шум падающих камней.

Так шли мы всю ночь. Дон Бачо довел нас до определенного места, а дальше с нами отправился его сын. Я и представить себе не мог, что истощенные люди смогут так быстро идти — да еще ночью.

К пяти часам утра мы были уже в двухстах метрах от Панамериканского шоссе, неподалеку от городка Тотогальпа. Самое скверное было позади, мы вышли из окружения.

...Когда уходишь в горы, закупаешь кучу всяких лекарств, собираешь нитки, иголки, пуговицы, всякие свои мелочи, все документы, бумажки, фотографии, какие-то памятные для тебя вещицы... Берешь с собой свою обычную одежду, у тебя твое лицо, руки, глаза — все как всегда. Ты покидаешь город, покидаешь свой мир и уносишь свое настоящее с собой в горы, но уже в пути оно превращается в прошлое. Воспоминания о той жизни еще свежи в сознании — ты помнишь, как жил, как спал, ел, развлекался, строил планы, валял дурака с товарищами, гулял с девушкой... Но все это уже стало прошлым... Ты как бы отходишь от самого себя, начинается перевоплощение. Перед тобой теперь совсем иные люди, ты таких не встречал в городе, ты отвыкаешь от всего, что тебя окружало,— от домов, витрин, мостовых... Все это осталось позади — шум машин и велосипедов, телевизоров и радио, крики продавцов газет и голоса детей... И кино, и реклама... А ты поднимаешься все выше... И нет уже электрического света... Все выше... И вот уже исчезли все цвета, кроме зеленого... Ты забываешь вкус шоколада, вина и жевательной резинки... По мере того как уходишь все дальше в горы, ты все больше отрываешься от прежней жизни. Наступает момент, когда от твоего прошлого — я имею в виду обычную жизнь, чувства, ощущения, не знаю, как сказать,— уже ничего не остается, оно уже не существует. Ты должен смириться с тем, что никогда не ощутишь и не увидишь всего этого — ну, если только в один прекрасный день спустишься живым, если революция победит, тогда увидишь...

А там, наверху, в лагере, только 15—20 человек. Разве можно с такими силами разбить мощную, хорошо вооруженную гвардию Сомосы? Порой начинает казаться, что до победы еще годы и годы, и от твоего настоящего, которое превратилось в прошлое, тебя тоже отделяют годы... И остаются у тебя от прежней жизни только те мелочи, которые ты принес с собой в рюкзаке и в которых

живут твои воспоминания... И еще твоя память, твои мысли. И тут — что же происходит? Ты обнаруживаешь, что потерял платок, забыл, обронил где-то... Черт побери, ведь этот платок она мне подарила... куда же он девался... От тебя как будто оторвался кусочек твоего настоящего, кусочек тебя самого, того, что ты хотел сохранить. Постепенно ветшает и рвется одежда, надеваешь другую... Пропадают, ломаются, исчезают твои вещи, а в них воплощена для тебя твоя личная жизнь, история твоей жизни, твоя память, ты сам. Так течет время... Безжалостное время неизменно, а ты теряешь все, и даже твой прежний облик меняется. Твое собственное тело как будто уходит из той жизни, которая стала прошлым, и начинается новая, совсем иная жизнь...

Плохо то, что нельзя даже посмотреться в зеркало — я, наверно, с год не видел своего отражения. А когда увидел в зеркале свое лицо — ей-богу, не узнал. Усы — никогда в жизни не было у меня усов... Глаза другие, вид суровый, брови нахмурены... Ты никогда не обращала внимания на фотографии, сделанные сразу после победы? У нас там у всех брови сведены, губы крепко сжаты — это оттого, что в горах, когда идешь, всегда стискиваешь зубы, щуришься. И вот когда увидишь себя первый раз в зеркале, понимаешь, что ты уже не прежний, ты — другой...

Когда теряешь все, что принес с собой из прежней жизни, и когда твое собственное тело становится совершенно иным, у тебя остаются только мысли и воспоминания — ты их хранишь и лелеешь, в них источник твоей силы и стойкости. Память как пуповина связывает тебя с прошлым, с тем прошлым, что было когда-то настоящим. Вот тут-то особенно терзает одиночество, оторванность. И если ты не можешь в такой момент опереться на идею, то либо сбежишь, либо сойдешь с ума. Если бы я не был твердо убежден, что мое дело в жизни — бороться за свободу Никарагуа, я стал бы последним дерьмом.

Беседуя по вечерам с крестьянами за чашкой кофе, мы касались и их экономических проблем. В этих беседах я сблизился, подружился с ними. Я стремился заводить с ними разговоры о политике. С другой стороны, мне хотелось, чтобы обсуждение политических вопросов укрепляло возникавшую между нами дружбу. Прежде всего мы у них спрашивали: «Это ваша земля?» Ответ был всегда один: «Нет, земля принадлежит богачам». Иногда в ответ они принимались хохотать, как будто услышали что-нибудь смешное... иногда опускали голову... Ведь о земле мечтали не только эти крестьяне, но и их отцы, их деды и прадеды, а смешил их вопрос потому, что земля никогда не принадлежала ни им самим, ни их отцам, ни их дедам. Поэтому, проводя работу среди крестьян, беседуя с ними, мы старались разъяснить, почему так происходит.

Землевладельцы, а до этого их отцы и деды вытесняли крестьян с земли постепенно, так что крестьяне того поколения, которое застали мы, говорили, что у прадедов земля была — об этом слышали деды, а от дедов — отцы нынешних крестьян. Мы же имели дело с поколением безземельных крестьян. Землевладельцы силой присвоили себе их земли. Сами крестьяне называли этот процесс вытеснения по-своему: «Нас выперли» — так они говорили. Их «выперли», выгнали, выжили. Они работали на землевладельца, обеспечивали ему доход с его владений, а в оставшееся время засевали участки, которые тот сдавал им в аренду. Но урожай с этих участков им приходилось продавать тому же землевладельцу, и у него же они должны были покупать все необходимое — соль, инструменты, лекарства.

Мы жали крестьянам руки — большие, сильные, загрубевшие ладони — и спрашивали: «От чего эти мозоли?» Они отвечали, что мозоли от мачете, от плуга, от мотыги. А мы их спрашивали: «Как же так? Вы набиваете мозоли, обрабатывая землю, а земля эта принадлежит другим?» Мы старались пробудить в крестьянах извечную их мечту о земле, внушить, что они имеют право на эту землю. Но за осуществление этой мечты надо бороться. Мы стремились исподволь развивать, укреплять в сознании крестьян мечту о земле, и в результате нашей работы многие из них поняли необходимость борьбы.

Были и другие крестьяне, так называемые «ранчерос» — те, кому землевладелец выделял на своих землях небольшой участок, на котором крестьянин за два дня сооружал себе дом из жердей, крытых соломой,— «ранчо». Эти крестьяне подвергались двойной эксплуатации: мало того, что их, как и остальных, «выперли»,— так они вдобавок жили на чужой земле. И земля оставалась их извечной мечтой, и мы постоянно говорили им о том, что за нее надо бороться.

Нас поражало, до чего же кровно связан крестьянин с землей. Моряк не может жить без моря, а летчик мечтает о полете: моряк навсегда связан с морем, а летчик — с небом; для моряка море, а для пилота небо — это он сам, его суть. Так и для крестьянина земля — его суть, он глубоко и неразрывно связан с землей. У горожан такого не бывает. Крестьянин чувствует, что он и земля — единое целое, он питает к ней совершенно особые чувства, он говорит о ней, как о чем-то святом, священном. Он говорит о земле, как о матери, а иногда — как о своей женщине. «Она у меня родит»,— говорит он о земле.

Крестьянин влюблен в тот клочок земли, что выделил ему землевладелец для обработки, он просто души не чает в этой земле, возится с ней — расчищает от леса, засевает, собирает урожай. Прежде чем сеять, нужно вырубить весь лес и кустарник — хотя крестьянин вроде бы совершает над землей насилие, на самом деле он испытывает к ней чувство любви, нежности, ни на что не похожее, особенное. Земля нужна крестьянину не

только, чтобы кормиться,— это часть его собственной жизни, и он любит ее.

Мы никогда не обещали крестьянам аграрную реформу — никогда! Мы звали их бороться, сражаться за нее. Мы звали их бороться за землю — а для крестьянина это ох какой сильный соблазн! Как же можно устоять и не вступить в бой за то, что для тебя — и мать, и жена, за что полжизни отдашь, за то, в чем твоя любовь, тайная страсть, в чем твоя душа? А для крестьянина все это заключалось в слове «земля». К тому же мы растревожили в его душе мечту о своей, своей собственной земле.

Самое большое преступление диктатуры заключалось в том, что у крестьян отняли землю. А крестьянин без земли — все равно что не человек.

Для крестьянина его рабочий скот, его жена, дети и з е м л я составляют некое единство, его мир, его вселенную. Потому я и говорю, что крестьянин без земли — все равно что человек без души, получеловек. Земля — вот душа крестьянина, основа его жизни.

Разговорились мы как-то раз с одним крестьянином — доном Леандро. И он мне говорит: «Вот что я тебе скажу, с вами я теперь уж не могу пойти, погляди, совсем старый стал, какой от меня прок, я бы с радостью, да не могу уж, мне, небось, недолго осталось, такое дело мне теперь не осилить, но у меня целая орава детей и внуков, вон они,— и он указал мне на одного из сыновей,— пусть идут с вами, берите их с собой, мы тут все должны бороться, мы не дадим себя одолеть». И он говорил все это так, будто продолжает бороться вместе с Сандино, будто ничего не прерывалось...

От этих его слов у меня на душе стало и радостно и горько. Я ведь видел, что далеко не все у нас идет легко и гладко — гвардейцы убивали и расстреливали, времена-то были тяжелые... Что за черт, думал я, что они — смелые такие, или ничего не понимают, не знают, что ли, куда лезут, или это беспечность?.. Как же так — ведь здесь, у них под боком, поубивали немало партизан, все радиостанции передавали, что у гвардии — самолеты, вертолеты, тысячи солдат,— как же после всего, что было, этот старик ввязывается в такое дело? Дело-то, конечно, справедливое, но кроме риска и опасностей ничего пока не сулит. Как это так — после всех этих репрессий, расстрелов, неудач, не только наших, но и тех, что им пришлось пережить вместе с генералом Сандино,— как же теперь этот человек после смерти дона Бачо говорит мне, что будь он помоложе, пошел бы со мной... а раз сам он стар и не выдержит еще одного сражения, то посылает с нами всех своих сыновей...

А дона Бачо Монтойю убили. Убили, как рассказал мне Аугусто Салинас Пинель, по вине одного негодяя, который от нас сбежал. Гвардейцы его схватили, и он им все разболтал про дона Бачо. Солдаты ворвались в дом рано утром. Жена дона Бачо в это время как раз варила кофе, и в руках у нее был ковш с кипятком. Тут лейтенант заорал: «Эй, ты, старая карга, так тебя растак! А ну, давай выходи!» А она ему в ответ: «Убирайся, проклятый!»— схватила ковш с кипятком и выплеснула на лейтенанта, обварив его с ног до головы. Тогда стариков сразу схватили, начали истязать, разгромили весь дом, вышвырнули на улицу все вещи, всю утварь, а их самих, этих двух стариков, привязали к дереву и забили до смерти. Потом они извлекли из-под развалин дома трехмесячного младенца и принялись подбрасывать его вверх, стараясь поймать ребенка на подставленный штык, так, чтобы лезвие прошло насквозь. А когда у кого-нибудь из гвардейцев это не получалось, остальные поднимали его на смех. Это был прямо пир стервятников... Размышляя о гибели дона Бачо, я вспоминал, как он выводил нас из окружения, как душа у меня радовалась, что он с нами; я вспоминал о гневе и ярости, накопившихся в нем еще со времен Сандино...

Поэтому, услыхав такие речи дона Леандро и вспомнив о доне Бачо, я понял: дон Леандро не то чтобы беспечен или ничего не понимает — нет, он говорил совершенно искренне, это говорила сама история нашего народа. Это была история сандинистского движения, история борьбы против угнетения, против господства США. Такие, как он, воспринимали историю страны по-своему, скорее чувствами, чем разумом. Они понимали ее как борьбу, это ощущение осталось у них со времен сопротивления североамериканской оккупации. Так что никакой беспечности здесь не было, это была история, совесть народа, извечная воля народа к борьбе, к сопротивлению.

После гибели Сандино его последователи, оказавшись в изоляции, начали воспитывать в своих детях этот дух сопротивления янки — оккупантам, интервентам, которые нас унижали. Это были обездоленные, неимущие люди, но жило в них высокое сознание национального достоинства, независимости, а это—самое главное. Я понял, что Сандинистский фронт, воспитывая в своих бойцах революционную стойкость и волю к борьбе, чувство национального достоинства и стремление к независимости, не открыл ничего нового. Это сокровище досталось нам в наследство. Самая главная заслуга Карлоса Фонсеки заключалась в том, что он воспринял эту непреклонную волю к победе и передал ее новому поколению сандинистов.

И вот когда дон Леандро стал говорить о том, что отдает нам своих сыновей, о Сандино, о борьбе сандинистов, я вдруг понял, что на таких людях, как дон Леандро и дон Бачо, держится вся наша земля.

Никогда раньше с такой силой я не чувствовал себя сыном Никарагуа, сыном сандинистского движения. Я узнал о Сандино из книг, когда был совсем еще юнцом, студентом, пришел к сандинизму, изучая его, но до корней, до истинных истоков всей нашей истории так и не дошел. А послушав дона Леандро.

слушая все, что он мне говорил, я чувствовал себя его сыном, сыном сандинистского движения, сыном нашей истории, я особенно остро осознал, что это такое — мое прошлое, моя Родина, моя кровная, неразрывная связь с ней. Мне хотелось обнять дона Леандро, расцеловать его — не потому, что он приютил меня, накормил, поддержал, нет: он стал для меня воплощением нашей истории, самой сути Никарагуа, я увидел в этом человеке свои собственные истоки, непрерывающуюся связь поколений, которая и привела меня к Сандино, хотя сам я этого не осознавал и понял по-настоящему только потом. Я горячо и взволнованно обнял дона Леандро. Я ощутил почву под ногами, почувствовал, что за мной — не отвлеченная теория, что корни мои — в этой земле, в ее конкретной истории. И я почувствовал, что меня не сломить.

Мы стали прощаться с доном Леандро. Я взял его руку, крепко пожал и сказал: «Ну, увидимся еще». А он мне ответил: «Я уже стар, а ты помни, что здесь — мои сыновья».

Август—ноябрь 1981 г.

Перевод с испанского Е. МИРСКОЙ

Прикосновение к революции

Омар Кабесас Лакайо — автор книги «Уходя в горы...», с фрагментами которой знакомятся читатели,— один из замечательных представителей нового поколения никарагуанских революционеров. В нынешнем году ему исполняется 33 года — родился он в 1950 году в Леоне, в семье мелкого чиновника. Все четверо сыновей — Омар и три его брата приняли участие в национально-освободительной войне. Двое погибли в сражениях... После победы революции Омар Кабесас был удостоен почетного звания «команданте герильеро» — командир партизан. Воинское его звание — команданте де бригада, должность — начальник политического управления министерства внутренних дел.

В своей книге (в оригинале ее название — «Горы, которые чуть больше огромной зеленой степи») он, как это бывает довольно часто с начинающими литераторами, рассказал о нескольких годах жизни, о первых шагах юноши, студента университета, ставшего на путь революционной борьбы против диктатуры; о том, как этот юноша с каждым заданием Фронта, с каждой гибелью товарища по борьбе мужал, как стал лидером революционно настроенных студентов, одним из руководителей подполья; и, наконец, о том, как он, уже признанный лидер революционного движения, опять превратился в новичка, осваивающего методы партизанской борьбы в горах; как учился работать с крестьянами, познавая их трудную, полную опасностей жизнь...

Я не случайно употребил слово «рассказал». По признанию самого автора, книга его есть не что иное, как записанный на пленку двадцатичасовой рассказ, обращенный к жене — без точного плана или схемы, просто рассказ о пережитом одного из бойцов Сандинистского фронта национального освобождения, который хотел выплеснуть накопившиеся за много лет впечатления: они не давали покоя, жгли душу и память.

С никарагуанскими революционерами мне приходилось встречаться и задолго до победы над диктатурой Сомосы, когда они выезжали в соседние страны, и после победы революции — в самой Никарагуа. Хорошо помню встречу в Коста-Рике с находившимся там в изгнании Луисом Энрике Мехия Годоем, популярнейшим среди бойцов Сандинистского фронта национального освобождения композитором, поэтом и исполнителем песен, автором гимна Фронта... Он пел свои песни по радио в Коста-Рике, а в Никарагуа его слушали и в городах, и в сельских поселках, и в лагерях партизан... Приведу отрывок только из одной его песни. Называется она «Наследство».

Завтра, сын мой, все будет иначе. Уйдет горечь из дома.
С черного хода уйдет, закроют за ней дверь навсегда люди.
И высохнут слезы в семьях рабочих.
Не будет ни плети, ни тюрем, ни пуль для угнетенных.
Хотел бы я, сын мой, оставить тебе в наследство
мой голос и радость воспоминаний о счастье,
но вижу одну поэму, написанную кровью на улицах моей деревни.
И потому оставляю тебе в наследство мою гитару,
застывшую в глазах детей и в руках убитых,
руки раскрытые — народу и кулаки сжатые — режиму.
Это тебе оставлю, чтобы ты оставил в наследство
своим детям свободную родину, о которой мечтал мой дед.
Пойдем, сын, бери гитару, прицелься, стреляй и пой!
И увидишь, что все придет завтра, и имена павших
пропоют кларнеты, зацветут цветы там, где упал товарищ.
И засеем любовью поле воспоминаний, вот увидишь...[1]

[1] Перевод В. Весенского.

Эта встреча с певцом оставила у меня ощущение, будто я прикоснулся сам к тому, что происходило в то время в Никарагуа, прикоснулся к самой революции...

Несколько поколений никарагуанцев участвовали в революции: и те, кто вместе с легендарным генералом Сандино начинал борьбу против иностранных захватчиков — американских пехотинцев, против предателя никарагуанского народа Сомосы и его прихвостней, и те, кто сражался в одиночку, и те, кто только что вступил в ряды революционной организации, готовившейся в конце шестидесятых свергнуть кровавую диктатуру и освободить родину.

Империалистическая пресса пыталась представить Сандинистский фронт национального освобождения как некую небольшую группу террористов, рвущихся к власти. Как раз в самый разгар этой кампании, накануне решающего штурма диктатуры, мне довелось встретиться с товарищем Томасом Борхе Мартинесом, теперь министром внутренних дел Никарагуа, а тогда одним из руководителей Фронта. В составе делегации он специально выехал из Никарагуа для разъяснения политической платформы Фронта, для того, чтобы донести до мирового общественного мнения правду о происходящих в этой стране событиях, о всенародном характере восстания против тирании. Хорошо помню его рассказ — историю рождения в 1961 году Сандинистского фронта национального освобождения. Преследуя, истребляя физически не только революционеров, но и просто всех, кто был настроен оппозиционно, диктаторский режим начисто отрезал путь к легальным методам борьбы. Фронт поставил задачу подготовки борьбы вооруженной. В 1963 году Фронт начал военные действия и в том же году потерпел первое поражение.

— В то время,— рассказывал товарищ Борхе Мартинес,— мы еще полагали — и это была наша ошибка,— что достаточно предпосылок революции в партизанских зонах, и не особенно заботились о связи с населением. После поражения сделали выводы. Большинство сочувствующих Фронту были рабочие и беднейшие крестьяне. Из них активисты Фронта и начали создавать первичные организации на предприятиях, в городских кварталах бедноты.

Через четыре года работы, в 1967 году, в партизанскую зону вошла сомосовская армия и навязала Фронту бои, к которым он не был готов. Партизаны потерпели еще одно военное поражение, но политически это поражение ознаменовало продвижение вперед: о Фронте узнали в стране и за ее пределами.

Через семь лет партизанские отряды были организованы практически во всех районах Никарагуа. 27 декабря 1974 года была проведена первая успешная операция, в результате которой во время официального празднества были захвачены министры и приближенные диктатора Сомосы. Партизаны потребовали освободить политических заключенных, повысить заработную плату рабочим, огласить документы Фронта по радио, телевидению, напечатать в газетах... Вторая подобная операция состоялась в августе 1978 года. И меньше чем через год боевые действия партизан по всей стране закончились разгромом национальной гвардии и бегством Сомосы из Манагуа. Об этих боевых действиях много писала мировая печать: «Восстание в Матагальпе!», «Восстание в Леоне!», «Баррикады в Масае!». Тогда же мы читали и о героизме никарагуанцев на баррикадах, о сотнях маленьких Гаврошей, которые сражались рядом со взрослыми.

Довелось мне побывать в Никарагуа и через год после победы. В столице следы боев можно было видеть повсюду: сгоревшая фабрика, на территории которой шли бои между рабочими отрядами Фронта и сомосовцами, выбоины на зданиях города, оставленные пулями и осколками гранат, памятники погибшим в этой борьбе. Памятники скромные, неброские... Сначала я даже не понял, что означали эти выкрашенные в черный и красный цвет камни, небольшие плиты, встречавшиеся на перекрестке улицы, на тротуаре, у стены дома среди цветов... А это были памятники погибшим бойцам. Черный и красный цвета указывали на принадлежность погибшего к организации, к Сандинистскому фронту национального освобождения... На многих из них были написаны слова: «На этом самом месте погиб, сражаясь...» и дальше имя и фамилия или просто имя.

Там, в Манагуа, мне многое рассказали о подвигах молодежи и о «народном оружии» — самодельных бомбах, которыми жители кварталов останавливали и обращали в бегство сомосовцев, о том, как самодельную взрывчатку обкладывали гвоздями, обрезками металла, осторожно, чтобы не взорвалась в руках, засовывали в старые капроновые чулки и, раскрутив, бросали на десятки метров с крыш домов на карателей... Пришлось слышать рассказы матерей, которые не уговаривали своих детей уйти с баррикады, опасаясь за их жизнь, а сами становились рядом с ними....

С каждым рассказом, с каждым эпизодом становилось все очевиднее — эту войну сомосовцы не могли выиграть... Восстал маленький, но единый в своем стремлении к свободе, в ненависти к диктатуре народ. Восстали все от мала до велика. И испытанная техника подавления — танки, пушки, самолеты, ракеты, зверства, массовые убийства — не давала результата... На это восстание никарагуанцев поднял Фронт. Это Фронт подготовил активистов и бойцов, сбил в отряды, это его организаторы своим личным героизмом, жертвуя своей жизнью, показывали наглядно всем: диктатуру можно победить...

Среди революционеров жертвы были огромны. Из полусотни основателей Фронта в 1961 году остались в живых только трое. Героически сражался и погиб в застенках раненным взятый в плен руководитель Фронта Карлос Фонсека. Но сомосовцы не получили передышки. Фронт продолжал действовать. Помог опыт мирового

революционного движения, суровый опыт почти сорокалетней борьбы против диктатуры, накопленный никарагуанскими революционерами и освоенный сотнями молодых борцов, новым их поколением.

Первая проба сил принесла молодому литератору международное признание. «Каса де лас Американ» присудила книге Омара Кабесаса премию за 1982 год по разделу документальной прозы. Годы революционной борьбы, необходимость постоянного общения с массами, с крестьянами и рабочими, со студентами и жителями кварталов бедноты, постоянные выступления перед самой разнообразной аудиторией выработали у Омара Кабесаса привычку выражать свою мысль предельно ярко, доходчиво, приводить примеры из своей жизни и жизни товарищей, пользоваться тем, что хорошо известно слушателям, и в то же время говорить об этом известном так, чтобы за опытом повседневной жизни вставали, выявлялись общие закономерности развития событий...

Сказалось, конечно, и образование, полученное на юридическом факультете университета. «Многие студенты университета примкнули к революционному движению,— вспоминал потом один из руководителей организации сандинистской молодежи,— но далеко не все из них стали такими признанными ораторами, как Омар Кабесас. Не случайно руководство Фронта поручало ему самые трудные задания по разъяснению своей политики. Так было в первый год после победы революции, когда в Леоне индейские общины не поняли некоторых реформ, предложенных Фронтом: встретиться и растолковать крестьянам-индейцам смысл нововведений было поручено именно ему...»

В манере искренней беседы со слушателями написана и книга «Уходя в горы...», повествующая о тяжелых годах подполья и становления, а лучше сказать, возрождения в Никарагуа антиимпериалистического движения.

«Я не пытался создать литературное произведение»,— говорит о своем повествовании Омар Кабесас. Но получилось произведение подлинной литературы — художественный документ, обжигающий искренностью, верностью исторической правде, непосредственностью изложения. После десяти лет работы корреспондентом по странам Латинской Америки в моих записных книжках осталось много рассказов латиноамериканских революционеров о партизанской войне на Кубе, в Гватемале, Боливии... И все-таки книгу Омара Кабесаса я воспринял как открытие. Надеюсь, что читатели «Иностранной литературы» разделят это впечатление.

Победа Фронта национального освобождения оказалась полной неожиданностью для вашингтонских стратегов, делавших ставку на подавление национально-освободительных движений в Латинской Америке. Ничему не научил их опыт новейшей истории. До последнего дня они поддерживали кровавую диктатуру Сомосы, до сих пор пытаются потопить в крови революцию, до сих пор движение народных масс объявляют результатом заговора коммунистов, происков неких агентов Москвы и Гаваны...

Американские советники помогали планировать карательные операции, обучали набранных в сомосовскую гвардию крестьянских парней зверски пытать и убивать своих соотечественников. Это их специалисты составляли списки самых талантливых, самых влиятельных в Никарагуа поэтов и писателей, профсоюзных и политических лидеров и подсылали к ним наемных убийц. Это они на деньги американских налогоплательщиков вооружали армию мародеров и преступников. Это они убеждали общественное мнение Америки: Фронт не устоит против современной техники подавления...

А в это время борьба разгоралась, в нее включались все новые отряды... Протягивались невидимые нити связи времен: от первых антиимпериалистов-сандинистов к молодому поколению.

Помните слова поэта: «...сын мой... оставлю тебе в наследство мою гитару... руки раскрытые — народу и кулаки сжатые — режиму. Это тебе оставлю, чтобы ты оставил в наследство своим детям свободную родину, о которой мечтал мой дед». Не случайно эта песня была так популярна в народе. Идея освобождения овладевала массами. В книге Омара Кабесаса рассказано, как именно это происходило. Рассказано так, что невольно ощущаешь себя непосредственным очевидцем и участником событий, ощущаешь прикосновение революции...

ВЛАДИМИР ВЕСЕНСКИЙ

Публицистика

Н. АНАСТАСЬЕВ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Заметки на полях четырех книг

На титульной полосе экслибрис: фирменный знак новообразованной редакции художественной публицистики издательства «Прогресс». Положено начало библиотеке, какой у нас еще не было. Задуманная на долгие годы и многие тома, она с несомненностью обнаружит, насколько важную роль в жизни и литературе двадцатого столетия сыграла, продолжает играть публицистика; станет видно, насколько выросла в своем значении и творческой продуктивности сама фигура художника-публициста.

Вот первые четыре тома начавшейся серии:

Эрнест Хемингуэй. Старый газетчик пишет...

Ярослав Гашек. Примеры из жизни.

Андре Моруа. Разрозненные заметки. Афоризмы и максимы.

Альберт Рис Вильямс. Избранная публицистика.

Конечно, каждая из этих книг существенна и интересна сама по себе — одни имена чего стоят, к тому же в их состав наряду с дотоле известными включено немало сочинений, впервые публикующихся на русском (особенно это относится к сборникам Моруа и Гашека — по существу, началу знакомства с их публицистическим творчеством). То есть вполне законно было бы выстроить цепь рецензий, замыкающихся в некое подобие обзора. Но меня такая форма не привлекает. И не потому, что трудно объединить столь разных авторов — привычно сдержанного Хемингуэя и неистощимого фантазера Гашека, философствующего Моруа и журналистски точного Вильямса. С этой трудностью можно было бы, в конце концов, справиться, тем более что, не покидая собственных стилистических зон, писатели вступают в контакт по линии осмысления важнейших конфликтов времени. Так что дело не в технике. Просто, сколь бы значительна ни была любая из вышедших книг, проблемы, за ними стоящие, еще крупнее. И их не то что не решить (на это я, естественно, не претендую) — даже не поставить замыкаясь границами одного или нескольких произведений. Вот почему показался удобным испытанный жанр «заметок на полях».

Художественная публицистика — новый ли это жанр? В смысле наличия исторических образцов, разумеется, нет: достаточно вспомнить «Опыты» Монтеня, «Мемуары» герцога Сен-Симона, «Исповедь» Руссо, «Сентиментальное путешествие» Стерна, «Былое и думы» Герцена, «Дневник писателя» Достоевского, чеховский «Остров Сахалин». Но одно дело — образцы, пусть выдающиеся, пусть великие, другое — литературная система, литературное явление. Думается, можно утверждать, что с полной определенностью оно оформилось, переместившись с периферии художественного процесса в его центр, лишь в XX веке. Трудно назвать хоть одного значительного художника нынешнего столетия, который в тот или иной момент своей творческой биографии не выступал бы также как публицист.

В последнюю четверть века эта закономерность проявляет себя с особенной очевидностью. Документальная литература приобрела всемирный размах и необычайную общественную популярность.

Это, естественно, заставило задуматься о причинах явления.

Объяснения предлагались различные. Широко распространились, например, взгляды, будто во времена необыкновенной специализации знания, эпохальных научных открытий, в условиях информационного взрыва и качественного скачка электронной техники традиционная литература уже не в состоянии верно воссоздать картину мира и человеческой души и потому должна уступить место литературе факта.

Как сейчас стало ясно, роман, пусть и пережив немалые трудности, достойно встретил и вызов новой действительности, и нигилизм идейных лидеров неоавангарда и поп-культуры, и даже попытки самосожжения. Известно, скажем, сенсационное заявление Гарсиа Маркеса: пока в Чили заправляет Пиночет, художественных произведений не публикую. Известно и отречение другого писателя — Нормана Мейлера: взамен литературы вымысла «роман как история, история как роман». Легко заметить, конечно, что отказ от беллетристики порожден совершенно различными причинами. У Гарсиа Маркеса, по собственным словам,— «писательская забастовка... форма сопротивления, форма саботажа по отношению к чилийской военной хунте». То есть не эстетика, а политика. У Мейлера же как раз достаточно чисто выражено недоверие к жанру в его традици-

онном обличье. Но чем бы ни порождался в каждом случае бунт против художественной литературы, в конце концов он иссякает: колумбийский писатель обнародует повесть («Хроника объявленной смерти»), американский — роман (первую часть трилогии, охватывающей, в замысле, колоссальный массив времени — от эпохи египетских фараонов до наших дней).

Подобные колебания и превращения интересны — и в индивидуально-психологическом плане, и в смысле общественной репутации тех или иных литературных жанров.

И все-таки не о том у нас сейчас речь. Верно ли, что именно научно-техническая революция способствовала быстрому росту публицистики? Отчасти, по-видимому, верно. Дело, конечно, не просто в космических полетах, высвобождении энергии лазерного луча и т. д. — НТР необычайно подняла в цене значение *факта*, и это, конечно, не могло не воздействовать на художественное сознание.

Но частично верному объяснению нередко придавался чрезмерно широкий смысл. Произошло это, думаю, оттого, что в ослепительном свете близкой вспышки скрылись горизонты литературы. Не придано было должного значения тому обстоятельству, что при всей своей интенсивности нынешний этап развития документальных жанров есть как раз этап *развития*, продолжение процесса, начавшегося задолго до прихода научно-технической революции. Стоит вспомнить публицистику Горького и Эренбурга, Роллана и Барбюса, Томаса и Генриха Маннов, как сразу станет ясно, что моменты жанровых взлетов определяются вовсе не качественными изменениями в технике.

Высказывались и иные суждения. Объясняя, например, нынешнее обилие публичных писательских выступлений, эссе на политические, научные, литературные темы, критики говорили о потребности художника в непосредственном, поверх образа, самовыражении, прямом отклике на события действительности, непосредственном диалоге с читателем. В принципе это совершенно справедливо, но такое объяснение в свою очередь нуждается в объяснении: почему эта потребность столь остро проявилась именно сегодня? И разве вчера она не ощущалась? Конечно ощущалась: «С кем вы, мастера культуры?», «Драйзер смотрит на Россию», «Прощание с прошлым» (Роллан), «Обзор века» (Г. Манн) и так далее. К тому же надо иметь в виду, что прямое слово, при всей своей кажущейся безусловности, может не всегда с достаточной полнотой выражать писательскую позицию. Об этом писал в середине 30-х годов Томас Манн английскому литературоведу и критику Генри Слоучару: «Уже лет десять я держался в своих эссе и культурно-исторических работах подчеркнуто рационалистической и идеалистической позиции... Но характерно, что рационально-идеалистическая гуманность проявляется почти исключительно в критической эссеистике, в полемике, а не в моем творчестве, где моя изначальная природа, требующая равновесия и гуманности, находит гораздо более чистое выражение».

Наконец, часто говорят, что темп жизни ныне колоссально ускорился, событийная насыщенность резко повысилась и это требует моментального отклика, к которому прежде всего готова, конечно, публицистика. Отчасти это опять-таки верно, но как исчерпывающая формула вновь не годится. Ведь по следу событий написаны не только сегодняшние книги, но и вчерашние, например международная публицистическая литература о гражданской войне в Испании, не говоря уж о таком выдающемся явлении, как публицистика советских писателей времен Великой Отечественной войны. К тому же и сам жанр вовсе не обязательно требует оперативности: положим, «Блокадная книга» А. Адамовича и Д. Гранина появилась через тридцать лет после прорыва ленинградской блокады.

Систематизируя заблуждения или полупросчеты критической мысли недавнего прошлого, я далек от какого бы то ни было нигилизма. В определенном смысле они были неизбежны: слишком силен был жанровый взрыв, слишком срочно его следовало оправдать — времени для исторических аналогий, для неторопливого осмысления просто не было. Сейчас проще — публицистика, сохранив свой авторитет и достоинство, не претендует больше на роль «главного» жанра. Что же касается положения автора этих строк, то оно облегчается еще и тем обстоятельством, что речь здесь идет как раз о давних, то есть давно написанных книгах. Сочинения, вошедшие в том Моруа, охватывают время с 1929 по 1967-й, Хемингуэя — с 1920 по 1961-й, Гашека — с 1906 по 1923-й, Вильямса — с 1919 по 1937-й. Они не утратили живого значения и поныне и в то же время испытаны историей, что позволяет поставить их в продолжительный и продолжающийся литературный ряд и тем самым проследить некоторые закономерности жизни жанра [1].

Проблем возникает немало. Весьма поучительно было бы, например, проследить характер взаимодействий между различными формами осмысления и отражения действительности, особенно в творчестве одного и того же художника. Отчего, положим, Томасу Манну понадобилось сопровождать свои романы («Волшебную гору», «Иосифа», «Доктора Фаустуса») развернутыми автокомментариями, составившими в результате завершенный и самостоятельный цикл культурно-исторических работ, в которых отразились и внутренний мир художника, и его толкование важнейших явлений времени? Какова — сравнительно с эпохальным «Швейком» — мера художественной самостоятельности и ценности фельетонов Гашека, где сатирически ото-

[1] Следует предупредить, что речь в этих заметках идет о зарубежной публицистике; объем не позволяет даже бегло коснуться такой крупной проблемы, как роль советских писателей в становлении и развитии жанра. И еще одна оговорка: за малыми исключениями, я говорю здесь о публицистике прозаиков, так что сочинения таких «чистых» мастеров жанра, как Ю. Фучик, Л. Ренн, Э. Э. Киш и многие другие, остаются в стороне.

бразились нравы, весь стиль жизни Чехословакии времен Масарика? Как соотносятся испанские дневники и репортажи Хемингуэя с «Колоколом» — нетрудно ведь ощутить и внутренние переклички, даже ситуационные аналогии, и острые различия? И так далее.

Продуктивной кажется и постановка вопроса о внутренних возможностях того или иного жанра в плане освоения жизненных явлений, идей, социальных типов, особенно в моменты их общественной активизации. Отчасти, правда, вопрос этот скомпрометирован альтернативной постановкой (кстати, и тут есть своя традиция: еще на рубеже 20—30-х годов в Чехословакии бурно протекала дискуссия на тему: «Роман или репортаж?»). Дилеммы, конечно, нет — в этом убеждает весь ход художественной жизни XX века. Но проблема есть. Это же факт, что нынешний американский роман, к примеру в плане изображения трудовой, «низовой» Америки, не дал ничего, хоть отдаленно сопоставимого с «Работой» С. Теркела, книгой, в которой документальная достоверность доведена до предела, циклом интервью с представителями различных профессий.

Допустимо было бы далее посмотреть, как в творчестве различных современных (а может быть, и не только современных) писателей факт входит в эстетическую структуру произведения. Книги хотя бы таких романистов, как Г. Грин, К. Воннегут, А. Андерш, Р. Мерль, представляют в этом смысле богатые возможности.

Возникают и иные повороты темы. Но, оставляя их в стороне, я хочу вернуться к тому, с чего начал — к тому, что в моем представлении остается наиболее существенным, отчего все же именно в XX веке публицистика совершила столь мощный рывок, «догнав» жанры, сложившиеся в ходе долгой литературной эволюции?

Потребность в публицистике особенно насущной оказывается не в периоды великих научных открытий (вспомним, что первая промышленная революция не сформировала этого жанра даже у себя на родине — в Англии) и порождается не усталостью, действительной или мнимой, беллетристики. Она возникает тогда, когда мир предчувствует или тем более переживает крупные *социальные* потрясения.

Об этом свидетельствует немало фактов — напомню только об одном. Ранняя история американской литературы — это история ее публицистики; художественной прозы до Ирвинга (то есть до начала XIX века) за океаном в сколько-нибудь значительном смысле не было. Явление в культуре совершенно необычное, и объяснить это нарушение нормы, на мой взгляд, можно только одним: искусство как форма национального самосознания, как форма общественной деятельности складывалось в переломные годы — накануне войны за независимость. Сочинения Франклина и Джефферсона, Пейна и Аллена, сочинения, в которых открыто и явно отразилось ожидание перемен — а затем запечатлелись и самые эти перемены,— сочинения откровенно учительные, стали духовным обеспечением революции. Художественная проза, имея в виду ее тогдашний уровень в колониях, а также в молодом союзе штатов, такой функции выполнить не могла.

Но конечно, при всем своем историческом значении (на это указывал еще Маркс), американская революция не идет в сравнение с теми могучими катаклизмами в общественной жизни, которыми отмечен заканчивающийся век — он в этом смысле не имеет аналогий.

Такое время порождает уже не отдельные попытки (между творчеством Франклина и памфлетами Марка Твена пролегло почти столетие, практически ничего не давшее Америке и миру в жанре художественной публицистики, за выдающимся исключением «Уолдена» Торо), а крупное, почетное и растущее *явление*.

Как известно, в целом ряде романов (некоторые из них приобрели впоследствии классический статус) получила глубокое отображение первая мировая война. Эмоциональная сила этих произведений столь велика, что легко может вызвать сбои в восприятии целого литературного периода: кажется, будто в наследство от тех лет нам остались только «Огонь» и «Воспитание под Верденом», «Похождения бравого солдата Швейка» и «Прощай, оружие!», «На Западном фронте без перемен» и «Смерть героя».

Это, конечно, не так. Резкий перелом в ходе истории способствовал ускоренной кристаллизации идей, духовному, гражданскому, творческому самоопределению художников, и эти бурно протекавшие процессы сразу отозвались в различных формах документальной прозы, которая пережила в ту пору первый этап своего расцвета.

Не случайно именно тогда пишет Томас Манн большую работу «Гёте и Толстой» (1922): посвященная, казалось бы, сугубо культурной, философской проблематике (автор сопоставляет типы гуманизма, воплотившиеся в творчестве двух гениев литературы), она является откликом художника на проблемы, остро поставленные временем. К концу очерка, говоря о «последних судорогах, агонии» буржуазно-либеральной эпохи, Манн с достаточной отчетливостью выявляет эту связь. А чуть позднее, оглядываясь с короткой дистанции на пережитое, писатель скажет уже с полной определенностью: крупные сдвиги в миросозерцании, во взглядах на культуру произошли «в те тяжкие, суровые, значительные годы, когда каждый принужден увидеть свои корни, занять подобающее ему место и определить свой символ веры,— в годы войны». Эти слова взяты из доклада «Любек как форма духовной жизни» (1926), и в нем также за рассуждениями о традициях немецкой культуры и собственном творчестве вполне ощутимо присутствие художника, осмысливающего свое время.

Не случайно Ромен Роллан пишет «Дневник военных лет», предпринимая задолго до «Очарованной души» попытку осмыслить опыт войны, а главное — духовные ее результаты. И в те же годы Роллан, подобно Т. Манну, с особенной напряженностью размышляет о наследии Толстого, также рассматривая художественные и этические

уроки русского классика при свете военных пожаров.

Не случайно Генрих Манн, обратившийся к публицистике еще до сараевского выстрела, с особенной интенсивностью работает в этом жанре именно в послевоенные годы — появляется цикл очерков «Империя и республика», где с горечью говорится о пароксизмах милитаристского духа, о кровавой мании преследования, которую не излечило и поражение в войне. Эти очерки романиста — автора «Верноподданного» — сохраняют крупное значение как яркая картина духовной жизни Германии, как «история всех немецких заблуждений», как исповедь, даже самосуд художника перед лицом круто меняющейся жизни.

США вступили в войну много позднее европейских держав, вдобавок битвы велись за океаном, создавая иллюзию островной независимости. Быть может, поэтому многим юным интеллигентам Нового Света война представлялась в романтическом облике средневекового рыцарского турнира — в романах Фицджеральда («По эту сторону рая»), Вулфа («Взгляни на дом свой, Ангел») об этом хорошо написано. И наверное, поэтому же в публицистике американских писателей война прямо не отразилась. О ней не оставил документальных свидетельств даже Хемингуэй.

Но это вовсе не значит, что американская литература факта развивалась в 20-е годы по каким-то местным законам.

В книгах Драйзера «Бей, барабан!», Уолдо Фрэнка «Наша Америка», в первых очерках и репортажах молодого Хемингуэя (о таких публицистах по призванию, как Рид и Вильямс, пока не говорю) нет или почти нет войны, но они, используя выражение Маяковского, были написаны войной: континентальные катастрофы заставили с особой силой пережить собственные, домашние драмы, резко обострили всегдашние проблемы этики, морали, общественного поведения личности. Драйзер пишет об исчерпанности идеалов американской демократии, о разрыве, образовавшемся между задуманной и подлинной историей Америки, о параличе духа, интересы которого поглощены страстью к наживе,— и тут же добавляет: «Потребовалась мировая бойня, чтобы расколоть уютную раковину невежества и равнодушия, в которую с головой забрался американец».

Хемингуэй в лаконичной и четкой манере, которой вскоре предстоит обрести всемирную знаменитость, описывает американскую богему в Париже или прихорошившийся после недавних боев городок в Италии — но то и другое обретает завершенность очертаний лишь на фоне военного опыта. И уж конечно, неотделимы от него репортажи с международных конференций 20-х годов, рассказы о поездках по европейским столицам, где впервые автор столкнулся с врагом, борьбе с которым, писательской и солдатской, посвятил большую часть жизни — с фашизмом.

Словом, прав был второстепенный (в свою пору, впрочем, достаточно популярный) американский беллетрист Бад Шульберг, сказав, что даже та молодежь в его стране, что не участвовала в войне, была оглушена ее взрывами. Эхо этих взрывов отозвалось не только в романах Хемингуэя и Дос Пассоса — еще раньше оно прозвучало в прямом писательском слове.

Разные авторы, разные книги. А если добавить к ним другие имена, другие названия — что сделать очень легко,— то картина получится еще более пестрой, что особенно заметно в плане формы.

Если рассматривать форму как жанр, то уже здесь сразу обнаружится необыкновенно широкая амплитуда творческих решений — от статьи до эссе, от литературного портрета до панорамы жизненных событий, от хроники до лирического монолога, от оперативной корреспонденции до сборника афоризмов, от письма до фельетона.

Если рассматривать форму как стиль, то и тут возникает богатое многоголосие. Хемингуэй-публицист, как и Хемингуэй — рассказчик и романист, исповедует принцип «айсберга». Драйзер тяжеловесен, фраза у него нагружена максимально возможным количеством фактов, он идет вширь, захватывая все новые пласты действительности. Роллан заставляет пробиваться к мыслительному ядру через сложную сеть метафор. Моруа, напротив, пишет легко и ясно, в манере своих духовных наставников, французских просветителей XVIII века. Томас Манн, как и в романах, создает образ идеи. Гашек резко обостряет образы реальной действительности, доводя их до степени гротеска. И так далее.

Наконец, если рассматривать форму как творческий принцип освоения факта — а он, естественно, остается постоянным центром публицистики,— то и в данном случае проявится разительное несходство. Положим, Драйзер оценивает действительность непосредственно, в живых и бесспорных ее проявлениях. А Томас Манн решает задачу совсем по-другому: неизменно идет к жизни через культуру, художественное творчество, философию.

И все же существуют четкие векторные линии, которые собирают рассыпающиеся фрагменты в некое цельное полотно. Вот основное: крупнейшие писатели Запада осваивают опыт войны в неразделимой связи с уроками главного события XX века — с уроками социалистической революции в России. Если верно — а это верно,— что Октябрь оказал определяющее воздействие на судьбы мировой культуры XX века, то столь же верно и то, что в публицистике оно, это воздействие, проявилось раньше и острее, чем в иных формах словесного творчества.

Вполне понятно, что в своем восприятии революции писатели расходились, порой решительно, даже противоположно.

Одни не только приняли ее всем сердцем, но и сумели сразу же оценить историческое значение Октября.

Таков Ярослав Гашек, чей собственный опыт солдата Красной Армии, члена партии большевиков убедил будущего автора бессмертного «Швейка» в том, что «социализм благодаря своим практическим результатам уже не является романтическим

сном. Из гармонии личности и общества он создает зажигательную и славную музыку жизни. Лишь трудящиеся классы могут внести в сегодняшний мир великие черты — волю, энергию, направленные к окончательной победе».

Фельетоны Гашека, очерки, статьи (иные из них написаны по-русски) складываются в единый публицистический цикл, где карикатурное изображение людской нечисти, потревоженной революцией, сочетается с гимническими строками во славу нового мира.

Таков Джон Рид, чьи «Десять дней, которые потрясли мир» по праву заняли место рядом с крупнейшими произведениями литературы нынешнего столетия.

Таков Альберт Рис Вильямс, творчество которого впервые представляется советскому читателю в столь значительном объеме. Его ранние книги — «Ленин. Человек и его дело» (1919) и «Сквозь русскую революцию» (1922) — не просто хроникальная запись встреч с Лениным в одном случае, не просто, день за днем, дневник событий первых месяцев советской власти — в другом. Это своего рода эпос революции, ибо время здесь отражается в лицах и действиях людей, которые решительно направляют его ход. Исключительное место в кругу этих лиц занимает, конечно, Владимир Ильич Ленин, чей портрет, написанный Вильямсом, стал, по существу, началом мировой Ленинианы.

Не искушаясь соблазнами патетических определений, не впадая в риторику, писатель и впрямь описывает человека в действии. Отсюда необыкновенная динамика повествования: Ленин на трибуне сменяет Ленина в рабочем кабинете, Ленин, беседующий с иностранными специалистами, сменяет Ленина, дающего указания соратникам, и т. д. Из монтажа таких кадров складывается фигура личности, чьи идеи, воплощенные в практику, определили ход современной истории.

Но, конечно, такой взгляд на революцию и ее вождя был в те годы далеко не всеобщим. Уэллс, как известно, увидел в Ленине «кремлевского мечтателя». Томас Манн воспринял Октябрь как осуществление толстовских идей. Генрих Манн, приветствуя «великое событие на Востоке», испытывает одновременно немалые сомнения: его глубоко смущает сама идея диктатуры. Роллан, при всем своем сочувственном интересе к русской революции, писал об «интеллектуальном большевизме, нивелирующем выдающиеся явления в области духа». Подобные суждения опровергло время — судья, который не ошибается никогда; к тому же от многих заблуждений писатели отказались впоследствии и сами: тот же Роллан проделал немалый путь от «Дневника военных лет» к «Прощанию с прошлым» [1].

Потому нет нужды вести аптекарский счет старым ошибкам. Куда важнее и многозначительнее тот факт, что писатели, несущие в своем сознании колоссальный груз определенного исторического воспитания и исторических предрассудков, сумели при этом оценить значение Октября. Они могли не принимать — до поры, а иногда и надолго — идею и практику социализма, но уже не могли воспринимать и оценивать мир вне этих идей и этой практики.

Еще в 1922 году Томас Манн написал о «великом перевороте в стране Толстого», а четыре года спустя ощутил силу «сокрушительной волны перемен», нахлынувшей из России на Европу, на старый дух бюргерства. «Мировая революция стала непреложным фактом».

Хемингуэй, раньше других предвидевший разрушительную угрозу фашизма, прямо написал: «Фашисты — это отродья зубов дракона, посеянные в 1920 году, когда казалось, что Италия может стать большевистской».

Генрих Манн, обдумывая духовные веяния в Германии, смеется над теми, кто самоуспокоительно полагает, будто «русский большевизм — это местное, чисто русское явление».

Дос Пассос, погружаясь в стихию рабочего движения в Америке (как резко он порвал с ним впоследствии и какими необратимыми утратами обернулся для него этот разрыв!), также размышляет о мировом значении революции в России.

Легко привести и иные свидетельства общности в умонастроениях писателей-демократов, но дело все-таки не в количестве имен и цитат. Важнее, что Октябрьская революция предложила ясное решение социально-культурных проблем, которые остро волновали в ту пору западных интеллигентов. С решениями они опять-таки могли не соглашаться или не во всем и не сразу соглашаться, но сама постановка этих проблем притягивала неудержимо.

Надо понять, почему в творчестве писателей — буржуазных интеллигентов — столь тесно смыкаются два этих огромных события: война, столь непосредственно потрясшая всю их духовную сущность, и революция, столь, кажется, далекая от них — и внутренне, и географически. Причем смыкаются не просто во времени (что естественно), но в плане закономерной исторической связи.

Подлинная суть первой мировой войны классически сформулирована В. И. Лениным: «Современная война со стороны обеих групп воюющих держав есть война империалистическая, т. е. ведущаяся капиталистами из-за господства над миром, из-за дележа добычи капиталистов, из-за выгодных рынков финансового, банкового капитала, из-за удушения слабых народностей» [1].

Он же обосновал неизбежность революционного разрешения мирового кризиса капитализма: «...всемирная война есть всемирная революция» [2].

Конечно, мало кто из писателей Запада, в том числе и тех, кто искренне ненавидел войну и не был заражен националистическим духом, мыслил в столь четких категориях экономики и политики. На сознание интеллигенции Европы война произвела прежде всего неотразимый психологи-

[1] Об этом пишет Т Мотылева в книге «Достояние современного реализма» (М., 1973).

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 31, с. 260.

[2] Там же, т. 22, с. 136.

ческий эффект: она породила чувство утраты цели и смысла бытия, гамлетовское «распалась цепь времен» приобрело болезненно-буквальный характер. На месте идеалов разума образовалась черная пустота, первобытный хаос. Это ощущение запечатлелось в целом ряде первоклассных художественных произведений; ясно отразилось оно и в прямых писательских признаниях. Даже Хемингуэй, которому любой пафос казался ложным, писал о «полном разочаровании в системе, которая привела к краху», о «ломке всех существующих понятий».

Иное дело, что неисчерпанное гуманистическое чувство не мирилось с развалом мира, с гибелью человека, упорно искало путей упорядочения хаоса. Именно этот грандиозный по своему значению и результатам процесс осуществлялся в России, где шла реконструкция здания общественных отношений, где на смену обветшавшим ценностям выдвигались новые, реальные. Вот поэтому-то и обращались взгляды на Восток, поэтому-то тема войны в творчестве зарубежных писателей, прежде всего в творчестве публицистическом, разрабатывалась нераздельно с темой революции.

Альберт Рис Вильямс видел ее с близкого расстояния и немедленно уловил главное: на его глазах начиналось историческое творчество жизни, осуществляемое рабочими и крестьянами. Не анархия, которой устрашала обывателя буржуазная пропаганда, не флибустьерство — сознательная, целеустремленная, трудная работа, цель которой — осуществление «мечты поэтов, древних мечтателей и пророков».

Роллан глядел на революцию издалека и нелегко определял свое отношение к ней. Но еще в 1918 году он писал: «Большевизм не внес дезорганизации, напротив, он, пусть хаотично, попытался внести порядок: он попытался дать Европе, находящейся в состоянии материальной и моральной разрухи, новые социальные принципы».

Драйзер с первых же шагов определился в литературе как писатель яркого общественного темперамента, обостренного интереса к жизни социальных низов, так что неудивительно, что, при всех оговорках, он точно определил исторические преимущества советского опыта.

Хемингуэй был художником иного склада: оказываясь то и дело в самых горячих точках земного шара, он тем не менее всегда считал одиночество непременным условием творческого труда. «Жизнь писателя, когда он на высоте,— говорил Хемингуэй в речи при получении Нобелевской премии,— протекает в одиночестве... Избавляясь от одиночества, он вырастает как общественная фигура, и нередко это идет во вред его творчеству». Однако же и он, опять-таки изменяя привычной сдержанности, вспоминает те времена, непосредственно после войны, когда «мир был гораздо ближе к революции, чем теперь. В те дни мы, верившие, ждали ее с часу на час, призывали ее, возлагали на нее надежды...». Почему ждали? Да потому как раз, что революция обещала разрешение тех проблем, которые казались мучительно-неразрешимыми.

Борьба со всемирным хаосом главной целью своей имела закрепление центрального места личности в историческом порядке вещей. Страшным взрывом — войною — человек был выброшен из центра вселенной на ее окраину. Те, кто умер, умерли, но и те, кто пережил Марну и Верден, остались не у дел, ощущая собственную малость, ненужность, незащищенность. «Сиди и жди, пока тебя убьют» («Прощай, оружие!»).

Революция и в этом вопросе вопросов дала миру пример реального гуманизма.

Возвращаюсь к публицистике А. Р. Вильямса. Она и потому еще стала заметным явлением в литературе, что в ней за характерами и типами становящейся жизни крупно вырастает образ личности — личности самого писателя, чей духовный мир испытывает стремительные и благотворные перемены. «Три месяца в России прибавили мне зрелости, которую в других условиях я не приобрел бы и за три года». Эмоциональный опыт этих девяноста дней — живое и несомненное опровержение спекулятивного тезиса, будто социализм угнетающе воздействует на человека, растворяя его в безликой массе. Напротив, проявляет богатство души, талант, волю к жизни, высвобождает все внутренние резервы духа. «Мне была суждена долгая жизнь,— пишет А. Р. Вильямс,— и, хотя на всем протяжении этой жизни я неустанно говорил и писал о революции, объясняя ее своим соотечественникам, я так и не расплатился за то, чем она обогатила мою жизнь».

Проникающее воздействие социальных потрясений начала века, и прежде всего социалистической революции, на современников сказалось и в напряженных раздумьях о предназначении искусства, о роли художника во вздыбившемся и готовом к переменам мире.

Хемингуэй наверняка был искренен, когда писал в «Смерти после полудня», что «самое главное — жить и работать на совесть... и пусть те, кто хочет, спасают мир». Но надо помнить, что сказано это было в годы тяжелого творческого кризиса, а раньше, когда воспоминания о войне фактически и не стали еще воспоминаниями — оставались живым и неотступным переживанием — и когда к тому же казалось, что революция за порогом, будущий писатель иначе смотрел на характер собственного присутствия в мире, участия в его делах. Литература в представлении молодого Хемингуэя была способом высказывания о наиболее существенных коллизиях времени. Вот почему столь презрительно он отзывался о завсегдатаях «Ротонды», кафе на левом берегу Сены, где собирались уставшие от жизни молодые непризнанные «гении»: «Почти все они бездельники, и ту энергию, которую художник вкладывает в свой творческий труд, они тратят на разговоры о том, что они собираются делать... В разговорах об искусстве они находят такое же удовлетворение, какое подлинный художник получает в своем творчестве». Хочу тут, к слову, заметить, что у нас нередко с чрезмерной прямолинейностью толкуют ту ди-

лемму, которую Хемингуэй сам перед собою поставил, вернувшись с «малой», греко-турецкой войны: делать революцию или писать книги. Это вовсе не было отказом от участия в судьбах мира — это был поиск инструментов такого участия: журналист, стесненный необходимостью точного отчета о событии, становился писателем. Меру причастности такое превращение, конечно, нимало не уменьшало — тому свидетельством вся жизнь Хемингуэя в искусстве.

Осознание собственной социальной ответственности — этим определяются сдвиги в мироощущении многих писателей в послевоенные годы. В статье «Книги и дела», рассуждая о «Дон Кихоте», но явно адресуясь к современникам, Генрих Манн пишет: «Бывают такие войны и такая жизнь, которые становятся непрерывной войной духа, и тогда, как плод этой войны и жизни, рождается великая книга. Что в конце концов останется, так это книга». Пройдет несколько лет, и Манн, по существу, именно на литературу возложит ответственность за социальное равнодушие молодого поколения немцев: «Слабое понимание политики, присущее этому поколению, тесно связано с тем, что не создан еще ясный и искренний роман об общественной жизни». Это суждение явно преувеличено: позади уже были и «Волшебная гора» Т. Манна, и «Берлин, Александерплац» А. Дёблина, и «На Западном фронте без перемен» Ремарка, и «Верноподданный» самого Г. Манна. Но важны не крайности выражения мысли — важна сама мысль.

Разумеется, все было не так просто. Прекрасно знаем мы, что в эти же годы обнародовались в изобилии манифесты, направленные фактически на ликвидацию художественной культуры. Это об авторах таких манифестов (как и о тех, кто пытался осуществить их практически) Брехт сказал, что, рассчитывая избавиться от буржуазии, они избавились лишь от грамматики. Знаем мы и то, что с равным упорством утверждались представления самоценности искусства. Знаем, наконец, что появлялись — или обдумывались — сочинения, воспитывавшие современников в духе расизма и самой черной реакции — не их ли, кстати, имел в виду Генрих Манн, столь неосторожно распространивший свою мысль на всю литературу?

Но ведь все это тоже — идеологическая реакция, болезненная, до предела извращенная, на революционные изменения, пережитые миром.

«У Гитлера было одно особое качество: он упрощал чувства, вызывая непоколебимое «нет», ясную и смертельную ненависть. Годы борьбы против него были в нравственном отношении благотворной эпохой». Так писал в «Романе одного романа» Томас Манн, и в мысли его, столь на первый взгляд парадоксальной, верно отразилось духовное состояние мира, его прогрессивных сил, сплотившихся в общем сопротивлении фашизму. Перед лицом современного варварства, далеко превзошедшего своей изощренной жестокостью, техникой истребления, масштабами варварство средневековое, отступали в густую тень вчерашние разногласия. Враг был один, и залогом победы над ним тоже было единство [1].

В общую борьбу сразу же и активно включилась литература.

Это была борьба непосредственная, солдатская — порой с трагическим исходом. Благодарные потомки, мы сегодня низко склоняемся перед памятью Мате Залки — генерала Лукача, Нурдаля Грига, Ральфа Фокса, оставшихся в земле Испании. А в ближайшие годы — годы второй мировой войны — этот героический мартиролог пополнится новыми высокими именами.

И это была борьба писательская — слово наливалось необыкновенной силою общественного протеста.

Не будем опять-таки ретушировать историю — разные она дает примеры. В том числе примеры равнодушия, страха, даже предательства. Унизили себя идейной поддержкой фашизма Эзра Паунд и Луи Селин. Со времен гражданской войны в Испании начал стремительно скользить вправо Джон Дос Пассос: в цикле статей, написанных в конце 30-х годов, вчерашний бунтарь совершенно исказил суть борьбы испанского народа, пытаясь объяснить ее «кознями» русских коммунистов. Достойную отповедь недавнему товарищу и единомышленнику («Ох уж эти старые добрые друзья. Готовы всадить тебе нож в спину за четверть доллара») со своим обычным бесстрашием дал Хемингуэй — в личном письме Дос Пассосу.

Да, было всякое. Но, конечно, определялось духовное и творческое состояние литературы сопротивлением фашизму.

Сейчас много говорят о политизации художественного мышления, полагая почему-то, что наиболее характерен этот процесс для 70-х годов. Но тут опять сказываются провалы исторической памяти. Не сегодня, а именно в 30-е годы мировая литература круто повернула в сторону общественной жизни, непосредственно вторгаясь в ее конфликты, решая злободневные политические задачи времени. От романа-памфлета (С. Льюис, «У нас это невозможно») до романа-мифа (Т. Манн, «Иосиф и его братья») — широк жанровый диапазон антифашистской литературы, на вершинах которой такие произведения, как «По ком звонит колокол» Хемингуэя и «Успех» Л. Фейхтвангера, «Война с саламандрами» К. Чапека и историческая дилогия Г. Манна, тот же «Иосиф».

Будучи временем высокого напряжения поэтической мысли, 30-е годы стали и этапом нового взлета художественной публицистики, которая также, а может быть прежде всего, переживала в ту пору время острой политизации. От тех лет наряду с «Иосифом» остался доклад о романе, где писатель сказал со всей определенностью: «В этой книге миф был выбит из рук фашизма, здесь он весь — вплоть до мельчайшей клеточки языка — пронизан

[1] Оно красноречиво было продемонстрировано во время многочисленных в ту пору международных писательских конгрессов. Саму их атмосферу прекрасно воссоздает в своей недавней статье Е. Книпович (см. «Память», «Иностранная литература», 1982, № 6).

идеями гуманизма». Вместе с пьесой «Пятая колонна» и романом «По ком звонит колокол» к нам обращены испанские дневники Хемингуэя — хроника авангардных боев с фашизмом.

Уроки предыдущего десятилетия, уроки первой мировой войны не прошли даром. Только теперь нужно было не просто самоопределение — нужно было действие. Об этом замечательно сказал великий пролетарский писатель Горький. Его статья «С кем вы, мастера культуры?», резко поставленная альтернатива: с кем вы, «с чернорабочей силой культуры за создание новых форм жизни, или вы против этой силы, за сохранение касты безответственных хищников — касты, которая загнила с головы и продолжает уже действовать только по инерции?» — стали настоящим вызовом художественной интеллигенции Запада. И в подавляющей своей массе она достойно ответила на этот вызов. Фашизму не просто сказали ясное и недвусмысленное «нет». Отличительная черта антифашистской публицистики — императивная, на грани лозунга, интонация, которая уже сама по себе превращает писательскую речь в орудие борьбы. Отсекая все лишнее, слово обнажается, выражая суть явления.

Хемингуэй, положим, к этому всегда и стремился — а теперь его стиль нашел наиболее органичную себе идейную среду обитания. «Нам нужно ясное понимание преступности фашизма и того, как с ним бороться,— хрестоматийно говорил он в речи «Писатель и война». — Мы должны понять, что... убийства — всего лишь жесты бандита, опасного бандита фашизма. А усмирить бандита можно только одним способом — крепко побив его».

Но и слово Генриха Манна, писателя, привыкшего к обстоятельной аргументации, взвешиванию всех pro и contra, звучит сейчас призывом, приказом: «Немцы! Стоит ли лезть в западню в угоду нескольким авантюристам, которые к тому же презирают вас? Встаньте на путь чести. Подымайтесь, скажите свое властное слово. Пора!» Пройдут годы, и Г. Манн напишет — как итог прожитого — «Обзор века», где антифашистская тема займет одно из центральных мест.

И старый моралист Роллан за далью вечных истин отчетливо видит потребность сегодняшнего дня и выражается соответственно: «Ныне все наши усилия должны быть направлены против фашизма». А завершается статья, откуда взяты эти строки, словами, которые стали паролем времени: «Смерть фашизму!».

И католик и пацифист Жорж Бернанос пишет «Большие кладбища в лунном свете» — страстный протест против насилия и бесчеловечности, возведенных фашизмом в степень нормы.

И даже Томас Манн, этот утонченный интеллектуал, этот вчерашний пропагандист «оговорки» («Прекрасна решимость. Но плодородна и плодотворна лишь оговорка»), сегодня оформляет идею вполне категорично: «Отказ культуры от политики — заблуждение, самообман; уйти таким образом от политики нельзя, можно лишь оказаться не в том стане».

Представлением о проповеднической, более того — наступательной роли писателя в часы мировых бурь было порождено сильное оптимистическое чувство, которым насыщена художественная публицистика предвоенных и военных лет и которое в западной литературе — с такой силой во всяком случае — уже не повторится. Это не легкомысленная бодрость риторики, бессильной осознать масштабы бедствия, это спокойная убежденность гуманизма в неизбежном торжестве разума. А в иных случаях — неукротимый дух творчества, безраздельно посвятившего себя борьбе ради победы.

Куда девался мрачный стоицизм Хемингуэя, убежденного в том — хоть и не желающего мириться,— что в мире осталась только одна реальность — смерть? С неиссякаемой верой в победу демократии ведет он испанский дневник — отчет о боевых действиях республиканцев и самоотчет, кардиограмму собственного душевного состояния. «Всякий, думающий, что война в Испании окончена,— глупец или трус. Народ, впервые руководимый начальниками, вышедшими из народа, не так легко победить». Так Хемингуэй никогда не писал, да уж и не напишет. И даже трагический реквием памяти американцев, павших за Испанию, завершается нотой выстраданной надежды: «...земля пребудет вовеки. Она переживет всех тиранов. Те, кто достойно сошли в нее,— а кто достойней сошел в нее, чем боец, павший за Испанию? — те уже достигли бессмертия» [1].

Откуда такое превращение? Оно объясняется тем, что впервые в жизни писатель Эрнест Хемингуэй попал на свою войну, на войну, которая необходима. Поистине годы борьбы с фашизмом были благотворны в нравственном отношении.

Где вчерашний (да и завтрашний — по отношению к тем дням) Андре Мальро, где он, этот угрюмый метафизик, размышляющий о смерти? Он возглавляет эскадрилью французских летчиков, воюющих в небе Испании, и активно участвует в подготовке парижского конгресса писателей в защиту культуры [2].

А те, кто и среди общего безверия никогда не утрачивал светлой веры в торжество добра и справедливости,— те тоже начинали думать и говорить по-новому.

От тектонических сдвигов истории Андре Моруа всегда был надежно защищен философией и этикой французских просветителей — их учение, их творчество оставались для него не просто духовным наследием, но живым, неиссякаемым источником собственного мироощущения и художественных идей. Вот почему разного рода жизненные деформации были в его глазах лишь результатом ложного образа мысли: стоит вернуть ее в надлежащее русло — и в мире восстановится порядок.

[1] Я вновь вынужден напомнить, что говорю о писателях Запада, оставляя таким образом в стороне выдающуюся публицистику И. Эренбурга и М. Кольцова, в которой суть испанских событий выразилась с особенной полнотой.

[2] Сложная идейно-творческая эволюция этого писателя глубоко прослежена в книге С. Великовского «В поисках утраченного смысла» (М., 1979).

И вот почему, сравнительно с тем же Хемингуэем, вообще с писателями «потерянного поколения», Моруа легко пережил испытания первой мировой войны, хотя для него это тоже было не стороннее — личное испытание. Естественно, и в годы национального бедствия — фашистского порабощения Франции — старые принципы оставались надежной нравственной опорой писателя. И все же «Трагедия Франции», пожалуй, главное публицистическое произведение в обширном наследии Моруа, заметно отличается и от предшествующих и от последующих книг. В ней больше реальности (хотя как политический мыслитель Моруа выше традиционно либеральных представлений так и не поднялся), а поскольку реальность была жестокой, то и больше жестокости. «Сегодня можно утверждать, что в этой войне Франция была обречена на поражение с самого начала»,— такие слова неловко звучат в устах убежденного оптимиста. Но дело в том, что изменился самый характер оптимистического мироощущения писателя. Оно питается уже не просто из интеллектуальных источников истории — поддерживается мужественным опытом сегодняшней борьбы с фашизмом. И когда Моруа говорит: «Ни один истинный француз никогда не примирится с тем, что на его родине хозяйничают захватчики. В большинстве своем французы не только не потеряли надежду на освобождение, но, напротив, твердо уверены в том, что Франция выйдет из войны свободной и независимой»,— в словах его звучит не только голос гуманиста классической выучки, но и голос современника, оценившего бесстрашие и непобедимую волю людей, защищающих культуру и самое жизнь на земле.

Память об этих людях и этом времени уже не отпустит стареющего писателя. Он будет моралистически рассуждать о любви и поэзии, философии и принципах супружества и т. д., но в трудные моменты истории зазвучат слова гуманиста как практического деятеля жизни.

В 1951 году, то есть в самый разгар «холодной войны», написаны строки, весьма актуальные и для сегодняшнего дня: «Я верю, что катастрофы можно избежать... Спасение человечества в руках самого человечества... Современная военная техника слишком мощна, чтобы стоило идти на риск и нападать друг на друга... Быть или не быть земному шару — вот перед каким выбором мы стоим. Либо мы подадим друг другу руки, либо истребим друг друга в атомной войне».

Тридцать лет назад такое высказывание могло показаться эмоционально преувеличенным. Применительно к нынешней ситуации оно всего лишь реалистично. Техника стала стократ мощнее, и в этих условиях вопрос поистине стоит именно так: мир или ничто.

Ответственные политики хорошо осознают это. Страны — участницы Варшавского договора приняли в начале нынешнего года Политическую декларацию, в которой выдвинуты конструктивные и далеко идущие предложения, способные, при наличии доброй воли у другой стороны, придать народам уверенность в том, что завтрашний день человечества — не утопия. А в июне высшие руководители тех же стран, собравшись в Москве, вновь обратились к государствам НАТО с призывом трезво оценить ситуацию и «вести переговоры по-деловому, в позитивном духе, осуществлять шаги, способствующие созданию благоприятной атмосферы для их прогресса, и не предпринимать действий, которые могли бы их осложнять».

Растущую угрозу прекрасно понимают и все здравомыслящие люди планеты — движение за мир ширится, набирает силу, вовлекая все новых участников.

Главная дилемма современности глубоко осознается и литературой, которая опять — в третий раз за нынешнее столетие — ищет способов прямого высказывания о судьбах мира. То есть высказывания публицистического.

Это может быть слово звучащее, которое, и отпечатавшись потом на бумаге, сохраняет свою живую непосредственность, трибунную страстность. На наших глазах вновь набирает размах ослабевшая было традиция международных писательских встреч, инициатива возобновления которых принадлежит литераторам социалистических стран, их писательским организациям. София, Берлин, Гаага, Кёльн, снова София — собираются люди разных биографий, жизненных и творческих, разных взглядов — философских, политических, эстетических. И обсуждают разные проблемы, в том числе и узкопрофессиональные. И все-таки властно пробивается центральная тема, само значение которой отодвигает на задний план, как и полвека назад, любые различия: как сохранить мир и что может сделать для этого литература. Конечно, еще ни одна самая яркая книга, статья, выступление, направленные на защиту гуманизма и жизни на земле, не остановили ни одну из войн, больших и малых. Но даже самый закоренелый скептик не скажет, наверное, что энергия писательского слова в годы борьбы с фашизмом была потрачена впустую: она постоянно питала дух людей, укрепляя их веру в незыблемые ценности бытия. Сегодня эта работа продолжается, ведь «опасность, более страшная, чем когда-либо, продолжает угрожать человечеству. Мы определяем здесь и корни этой опасности, и ее размеры. Наш писательский долг призывает нас неустанно обличать ее, убеждать как можно большее число людей в ее существовании, мобилизовывать сознание. В этом я вижу высшее назначение литературы и творчества вообще». Так говорил на одной из софийских встреч известный французский писатель Эммануэль Роблес, и эти слова в большой мере отражают умонастроения писателей-демократов нашего времени.

Помимо выступлений на конгрессах можно, конечно, назвать и немало очерков, статей, эссе (сложившихся уже и в книги) посвященных борьбе за мир.

Но мне сейчас хотелось бы сказать о другом. Сам выбор — продолжение жизни или конец ее, выбор, который из умо-

постигаемых сфер переместился в область близкой реальности,— сам этот выбор таков, что и литературные сюжеты, пребывающие, кажется, совсем в иной плоскости, невольно воспринимаются в свете главной дилеммы.

Приведу в этой связи только один пример. У нас немало писали об одной из недавних книг Н. Мейлера — «Песнь палача» (напомню, что в ней рассказывается о последних месяцах жизни преступника-рецидивиста Гэри Гилмора, чья история была в свое время первополосным материалом американских газет). Говорили по преимуществу о том, что писатель за демонстративной объективностью репортажа скрывает — да не очень-то и скрывает — суровый анализ «американского образа жизни», заставляющего человека искать личностное самовыражение в чудовищно-извращенных, как раз бесчеловечных формах. Бесспорно, это центральная тема книги. Но мне кажется, подспудно в ней живет и другая мысль — мысль о ценности человеческой жизни, которой в условиях безудержного насилия придается все меньшее значение. В «Песни палача» и слова нет о нынешних проблемах войны и мира, но мне лично трудно воспринять преступную и трагическую судьбу героя — палача и жертвы одновременно — поверх тех наличных реальностей и перспектив общественной жизни, которые волнуют сегодня всех.

Думаю, что, прочитав в этом же жизненном контексте многие публицистические книги последнего, скажем, десятилетия (особенно те, что посвящены войне во Вьетнаме), мы точнее поймем и смысл самих этих книг, и централизующие тенденции в развитии жанра, а главное — причины, которые вызвали новую творческую активность документальной литературы. Той литературы, которая прочно и по праву вошла в круг нашего чтения — как правдивая летопись века, запечатлевающая самые драматические и ответственные его моменты.

Советская литература за рубежом

БОЛГАРИЯ

Роман ВЛАДИМИРА БОГОМОЛОВА «В августе сорок четвертого...».
Издательство «Христо Г. Данов».
Роман ВЛАДИМИРА КАРПОВА «Взять живым!» «Воениздат».
Повесть ЛЕОНИДА ЛЕОНОВА «Evgenia Ivanovna» «Партиздат».
Роман КОНСТАНТИНА СИМОНОВА «Солдатами не рождаются». Издательство «Отечествен фронт».

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Роман ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА «И дольше века длится день». Издательство «Макдональд».
Поэма ЕВГЕНИЯ ЕВТУШЕНКО «Голубь в Сантьяго». Издательство «Секер энд Уорберг».

ВЕНГРИЯ

Повесть МАКСИМА ГОРЬКОГО «Детство». Издательство «Мора».
Повесть ЛЬВА КАССИЛЯ «Швамбрания» То же издательство.
Роман АЛЕКСАНДРА СТЕПАНОВА «Порт-Артур». Издательство «Европа».
Повесть АРКАДИЯ и БОРИСА СТРУГАЦКИХ «Отель «У Погибшего Альпиниста». Издательство «Мора».
Роман МИХАИЛА ШОЛОХОВА «Тихий Дон». Издательство «Европа».

ГДР

Повесть ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА «Материнское поле». Издательство «Реклам».
Повесть ВИКТОРА АСТАФЬЕВА «Перевал». Издательство «Нойес лебен».
Поэмы и стихи АННЫ АХМАТОВОЙ. Издательство «Реклам».
Роман АНДРЕЯ БЕЛОГО «Петербург». Издательство «Ауфбау».
Роман ЮРИЯ БОНДАРЕВА «Выбор». Издательство «Фольк унд вельт».
«Маленькие романы» ЭННА БЕТЕМАА («Монумент» и другие). То же издательство.
Пьеса ВЛАДИМИРА МАЯКОВСКОГО «Баня». Издательство «Реклам».
Стихотворения ЭДУАРДАСА МЕЖЕЛАЙТИСА. Издательство «Фольк унд вельт».
Роман БУЛАТА ОКУДЖАВЫ «Путешествие дилетантов». Издательство «Ауфбау».
Повесть ВЛАДИМИРА ТЕНДРЯКОВА «Затмение» Издательство «Фольк унд вельт».
Книга ИЛЬИ ЭРЕНБУРГА «Люди, годы жизнь». То же издательство.

Антирубрика

ТОММАЗО ЛАНДОЛЬФИ

Перевод с итальянского ЕВГЕНИЯ СОЛОНОВИЧА

Смех

1

Господин Т., как, впрочем, любой из нас, никогда не видел наемных убийц вблизи. Да и этого малого, что находился сейчас перед ним (появившись с должной таинственностью и должными предосторожностями), оказалось непросто заполучить, и если бы не помощь кое-кого из влиятельных людей...

Было даже смешно, до чего он похож на человека своей профессии, на наемного убийцу, каким мы все его представляем: в новенькой шляпе, надвинутой на глаза, в начищенных до блеска сапожках со скрипом, из нагрудного кармана пиджака выглядывает платок, развалистая походка и так далее. Но от этого его наружность, первое впечатление, которое он производил, не были менее страшными, менее угрожающими: одни глаза чего стоили — с поволокой и в то же время пронзительные, да и умные, ничего не скажешь, жестоко-озорные.

Он приблизился, настороженно ступая, сел на подлокотник кресла и вопросительно вскинул подбородок: дескать, что там у вас, выкладывайте.

— Я имею удовольствие видеть?..— церемонно поинтересовался Т.

— Точно, он самый. Ну?

— Мне нужна ваша помощь.

— Нетрудно догадаться. Кого будем пускать в расход?

— О боже! Вы меня пугаете. Неужели нельзя говорить обтекаемо?

— А зачем?

— Понимаю, понимаю. Ведь иначе...

— Иначе я не был бы тем, кто есть. Значит, кого?

— Ну, если вопрос стоит так...

— Так, так!

— Меня.

Уже упомянутые глаза наемного убийцы озарились на миг веселыми искорками, а может, терпеливым пониманием, словно перед ним была капризная женщина или ребенок. Но только на миг.

© 1975 Rizzoli Editore, Milano.

— Вас, вы сказали? То есть я должен пустить в расход вас самих?

— Вы не ослышались.

— А за что? — спросил наемный убийца равнодушным голосом, без тени удивления.

— Это мое дело.

— Точно, дело ваше.

— Я не хочу больше жить. Ясно?

— Яснее некуда, — признал наемный убийца.— А какие условия?

— Гм. Сколько вы берете за свои услуги?

— Пять миллионов.

— Недешево.

— Это моя обычная такса.

Т. быстренько подсчитал в уме свои сбережения и решился:

— Ладно, пусть будет пять миллионов.

— А что от меня требуется, если поточнее?

— Как что? Убить меня.

— Да, но когда? Где? Каким способом?

— По вашему усмотрению.

— Э, нет, так я не работаю, не привык: тут пахнет подвохом. А почему вы сами себя не убьете?

— Потому что боюсь.

— Боитесь, значит. Выходит, я должен убить вас неожиданно, так сказать, сюрпризом?

— Конечно.

— Чтоб вы даже не поняли, что умираете?

— Совершенно верно.

— Тогда, к сожалению...

— Что?

— Это будет стоить шесть миллионов.

— Как так?

— Видите,— объяснил убийца, напирая на профессиональную сторону,— это делает работу особенно опасной: а вдруг ради внезапности придется действовать в невыгодной обстановке?

Синьор Т. помолчал, мысленно восхищаясь его серьезностью, еще раз прики-

нул свои финансовые возможности и наконец решился:

— Шесть так шесть. Больше от меня ничего не потребуется?

— Учтите, я ставлю для себя срок — скажем, год. Надо, чтоб вы больше не думали про это, вроде бы как забыли. А то какой же тут сюрприз?

— Но мне не терпится умереть!

Убийца зловеще хихикнул:

— Придется запастись терпением. Хорошая работа требует времени. Вы ж ничего от ожидания не теряете: раз человек знает, что умрет, не все ли ему равно, как у него жизнь складывается?

— Это чересчур долго — жить еще целый год.

— Дело хозяйское. Шесть миллионов, год сроку.

— Я готов! — закричал Т.— Когда начнем?

— Вы хотите сказать, с какого времени отсчитывать год? Ну, сперва дайте мне получить с вас шесть миллионов. Само собой, наличными. Платить мелкими купюрами — по тысяче лир.

— Ишь как все продумано!

— Такая у нас работа,— скромно улыбнулся убийца, обнажая лошадиные зубы,— мы люди честные.

— Что ж, заходите завтра утром, я приготовлю деньги. Ну а вдруг вы потом...

— Придется вам рискнуть,— на лету ухватил его мысль наемный убийца.— Или хотите, чтобы я рисковал, вернее, чтобы остался на бобах? Вряд ли вы сумеете расплатиться в конце работы: вас уже не будет в живых.

— Можно что-нибудь придумать...

— Я не такой дурак, уж извините.

— Ну тогда будь по-вашему,— сдался Т., сообразив, как смешон человек, который хочет наверняка знать, что его убьют.

— С другой стороны, разве вам не достаточно моего слова? — подбодрил клиента наемный убийца

— Вполне достаточно. Да и выбора у меня нет.

— Значит, по рукам?

— По рукам.

— Вот и отлично. Так что завтра утром здесь, в... банки работают с половины девятого... В девять?

— В девять.

Наемный убийца встал, потянулся, сказал, подводя итог:

— Положитесь на меня. Спокойной ночи.

И выскользнул, точно кот в привычную лазейку.

2

Легко себе представить, во что для Т. превратилась жизнь, начиная со следующего утра (когда наемный убийца точно в назначенный час явился за своими миллионами). Да, Т. по-прежнему хотел умереть, не видя иного избавления от своих невзгод; но то, что каждая секунда могла стать последней... в общем одно дело — мечтать о смерти и убеждать себя в невозможности жить, другое — заранее примириться со смертью и спокойно ее дожидаться. Т., нелишне повторить, хотел умереть, но вместе с тем он не забывал забаррикадироваться на ночь, вздрагивал при малейшем подозрительном звуке, бледнел при виде собственной крови, порезавшись безопасной бритвой. Так или иначе, он ждал чего-то от жизни, только чего — неизвестно. А слепые надежды не всегда остаются втуне.

Дни сменялись днями, не принося страшной, решающей перемены, и обманутый в ожиданиях Т. опять привязался к жизни; во всяком случае, он приноровился жить спиной или боком, по примеру иных охладевших супругов, когда для них невозможен побег из семейной тюрьмы. Да, это была своего рода капитуляция, и все равно в нем сидела тоска, тем более мучительная, чем менее невероятным или немыслимым представлялось ему (в любом проявлении) возобновленное сожительство с жизнью. Короче говоря, он источал тоску всеми порами; он превратился, можно сказать, в старый, дырявый абажур—из тех, которые плохо прикрывают лампу (в нашем случае — душевные треволнения) и на которые непременно должен лететь мятущийся мотылек (в нашем случае — родственная душа).

Элементарнейшая осторожность подсказывала Т., что ему нельзя ни на минуту оставаться одному вне стен квартиры, превращенной им в крепость: и вот как-то ночью, когда ему не спалось, он нашел укрытие в нижнем баре многоэтажной гостиницы. В красноватом мерцании полусвета танцевали три-четыре жалкие пары, по другую сторону внушительной арки перед маленьким телевизором рядком сидела чинная публика, а дальше, за мраморными золочеными столиками, расставленными вдоль стен, выпивали и беседовали еще какие-то люди (хорошо одетые, быть может, несколько сомнительной нравственности). За одним из столиков с угрюмо-потерянным видом, в одиночестве сидела молодая женщина; и вот она, словно бы нехотя, задержала рассеянный взгляд на человеке, которому явно было не по себе. То он, опираясь на локти, по-вертеровски сжимал ладонями голову, то подносил бокал к губам, чтобы снова поставить, не сделав ни глотка, и беспрерывно вздыхал,— в общем, налицо были все признаки страдания, страха и опять же тоски.

При обычных обстоятельствах разборчивый Т. дал бы себе труд оглядеть с головы до ног незнакомку — случайного товарища по одиночеству, толкающему людей на стезю порока, но в этих условиях он лишь отметил про себя, что она не уродина и — под стать его настроению — в меру меланхолична. Он стал посматривать на нее бесцеремоннее и увидел, что она отвечает на его взгляды вполне сочувственно, одобрительно. Вскоре, как бы с обоюдного молчаливого согласия, они оказались рядом у глянцевитой стойки — массивного резного сооружения, где, или откуда, взял начало такого рода разговор:

— Добрый вечер.

— О добрый вечер, синьорина!

— Виски решили добавить?

— Нет нет... То есть да. Хотя, гм, тут бы чего покрепче, чем виски!

— Я сразу поняла, что у вас неприятности. Да и у меня, должна сказать...

— Вы правы. Я жду смерти.

— А кто ее не ждет? — бросила женщина, задумчиво склоняя голову.

— Так, как я,— никто.

— Это почему же? Вы что, очень больны?

— Ничего подобного. Я жду убийцу — с минуты на минуту.

— Вы имеете в виду Парку или господа бога?

— Да нет же, настоящего убийцу. Наемного.

— Что вы говорите!

И он, радуясь возможности облегчить мучившие его страхи, во всех подробностях поведал отнюдь не прекрасной незнакомке свою недавнюю историю.

3

Пропустим теперь месяц-другой, и мы увидим влюбленную парочку — вроде жениха и невесты. Продолжая в первый вечер свою мысль, женщина доказала ему как дважды два четыре, что убийцы там или не убийцы, каждый из нас живет под страхом смерти, однако это еще не причина для отказа от собственной доли счастья, а скорее даже основание ни от чего не отказываться. И он, отбросив, хотя и не сразу, колебания, отдался в конце концов своим новым и, надо сказать, неопытным чувствам. Сознание хрупкости и недолговечности счастья придавало блаженству Т. особую сладость. Впрочем, он реже и реже вспоминал о своем трудном положении: женщина строила планы на будущее, и он ей в этом не мешал, хотя его по-прежнему угнетало неотвязное чувство тревоги.

В одну из тех ночей, когда они поклялись друг другу во всем, в чем принято клясться между влюбленными, и когда Т. вернулся домой, беззаботно насвистывая, забыв и думать о сделке, стоившей ему шести миллионов лир,— в одну из таких ночей дверь столовой беззвучно повернулась на петлях, и его вытаращенным от удивления глазам предстал убийца. Как удалось ему проникнуть в квартиру? И неужели он пожаловал, чтобы?.. Боже мой, теперь, когда всё...

— А, вы... ты.. пришел отрабатывать гонорар?

— Скажете тоже,— добродушно удивился убийца.— За кого вы меня принимаете? Уговор дороже денег: да если бы я пришел убивать, вы б меня и не увидели.

— В таком случае что вас привело?

— Решил на жертву свою взглянуть. И заодно показать; ваши предосторожности ничего не стоят. Главное же, хочу прикинуть, что вы потеряете, когда, так сказать, уйдете из жизни.

— А вдруг я?.. Мне все равно придется уйти, даже если?..— пролепетал бледный Т.

— Черт побери! — возмутился гость, как всегда понимая с полуслова.— Я ведь подрядился и плату вперед получил. Чего мне еще? Это вам надо, вам причитается.

— Ну а если бы я сам попросил...

— Я дал слово и сдержу его. Имею право,— серьезно заявил убийца.— Не говоря уже о том, что это для меня дело чести. И что я жажду крови, прошу не забывать.

— О небо, но мне кажется, вы в курсе моих дел, и потому теперь я вас умоляю...

— Что-что? Вы хотите, чтоб я оставил себе деньги и не выполнил вашего поручения?

— Да, так.

— Но это противоречит моей профессиональной этике!

— Умоляю вас,— в отчаянии повторил Т.

Убийца молча впился в него своими пронизывающими глазами.

— Любовь? — ухмыльнулся он.

— Да.

— Разделенная? Вы счастливы?

— Да, да!

— Ну что ж, тем хуже,— отрезал он,— раньше нужно было думать, сейчас вас уже могло не... Короче, сожалею, но меня это не касается.

— Подождите!

— Подождал бы, да время вышло,—мрачно изрек собеседник, медленно, словно в нем три метра росту, поднимаясь с кресла (Т. вспомнилась одна долговязая дамочка, которая говорила: «Другая десять раз успеет подняться, пока я встану»).

— Красивая? — поинтересовался убийца.

— Не сказал бы. Любимая — это верно. Да, любимая.

— Выходит, раскаиваетесь?

— Вы имеете в виду мое соглашение с вами? Еще как раскаиваюсь!

— Да, отчаиваться — последнее дело. Я про тот раз, что вы к моим услугам прибегнуть решили. Никогда не надо отчаиваться, вы меня поняли? Никогда.

— Значит, вы меня обнадеживаете?

— Я? Да разве я могу. Теперь уже поздно. Я хотел сказать, что вы тогда не должны были отчаиваться, только и всего. Но это пустая болтовня. До свидания... до последнего свидания.

— О, прошу вас, еще минутку, у меня к вам один вопрос.

Убийца поднял палец:

— Слышите?

С улицы доносились неуверенные пока еще звуки, которые обычно предвещают день: хлопанье дверей, насвистывание первых разносчиков хлеба, харкающий кашель чернорабочих, направляющихся на стройку.

— Бьюсь об заклад, уже светает.

— Неужели! — поразился Т., бросаясь к окну и раздвигая шторы.— Нет, еще темно: можете не торопиться.

Ответа он не получил: обернувшись, он увидел, что... вернее — ничего не увидел. Убийца исчез.

4

К вопросу, который Т. не успел задать своему удивительному палачу, убийце, нанятому им для себя самого, он вернулся в разговоре с подругой:

— Этот тип не принимает никаких доводов и не хочет отказываться от работы даже при условии, что шесть миллионов останутся у него в кармане без кровопролития (будем называть вещи своими именами); он знай твердит про свою профессиональную этику, да еще и похваляется жаждой крови.

— Ну и пусть, а ты все равно не падай духом,— ответила женщина.— Будешь осторожнее — разве это так трудно? Конечно, если ты дашь ему свободно разгуливать по квартире...

— Ничего себе, свободно! Двери и окна заперты, я тебе уже говорил, да и сигнализация включена. Поверь, это не человек, а дьявол: будто из-под земли появляется.

— Из-под земли?

— Вроде того.

— Ладно, ну и в чем же вопрос?

— А вот в чем. Предположим, чисто теоретически, что мне удается избежать встречи с моим палачом до конца, то есть до истечения условленного срока (ты знаешь, у нас с ним уговор на год); и как он тогда себя поведет?

— Может, никак.

— Ах, может? Хочешь, чтобы моя жизнь зависела от *может*?

— Тебя интересует, что будет, когда кончится год,— останется ли ваше соглашение или уговор в силе, правильно?

— Правильно.

— Гм... надо бы его спросить.

— Я думаю! Только где мне его искать? Наемного убийцу не застанешь в кафе, как знакомого писателя, который сидит там за столиком, уткнувшись в Маркузе.

— Дождись его, он вернется.

— А если это будет в последний раз? Если я его даже не увижу, в том смысле, что не успею увидеть — умру раньше?..

— Послушай,— перебила она не без обиды в голосе,— представь себе человека, который согласился бы жить лишь при условии, что ему гарантируют бессмертие, да и жил бы, будто делает кому-то одолжение!.. Тоже мне! Ты счастлив? Вот и наслаждайся счастьем, вместо того чтобы о худшем думать. Нашим общим счастьем.

Он что-то пробормотал, однако вынужден был признать, что она права.

И действительно, как они были счастливы! И как долго: аж три месяца! Иным покажется, что это немного, но за три месяца можно прожить целую жизнь, и счастье измеряется не временем. Но в дальнейшем, что верно, то верно... И вот вам обычная история, когда некий злорадный голосок спрашивает: «Ну? Кончилось ваше счастье?» О господи, как будто счастье существует само по себе и может быть вечным! Если бы так!

Да, через три месяца все повернулось к худшему. Т. не узнавал свою подругу и, по-прежнему горячо в нее влюбленный, не находил себе места. А вскоре она попросту изменила ему: нашла себе более подходящего дружка — помоложе и не такого нытика, в результате чего муки Т. вылились в отчаяние, в жажду сгинуть, в желание умереть (как было вначале).

5

Все это время убийца не появлялся. Зато он пожаловал со своей обычной таинственностью, в ту ночь, когда Т. совсем было надумал (не знаю, можно ли в данном случае так выразиться) подложить ему свинью, иными словами — покончить с собой. Уточним, что Т. сидел за письменным столом, положив перед собой пистолет, черневший на глянцевой поверхности. Убийца вынырнул из темноты.

— О, наконец-то! — увидев его, закричал Т.— Слава тебе, господи! Вы пришли действовать?

— С чего это вы взяли? — обиделся вошедший.— Разве вы еще не поняли? Я вроде грома,— с удовольствием объяснил он,— а грома глупо бояться, ведь человек его слышит, когда опасность молнии уже позади.

— Так какого рожна?..

— Сам не знаю: может, дело в моем странном характере, может, мне приятно видеть вас довольным, счастливым. Понимаете, тогда в работе больше смаку. А убивать людей, которые мечтают умереть,— все равно что благотворительностью заниматься.

— Но я вовсе не счастливый! — запротестовал Т.— Я вас дождаться не мог, звал изо всех сил, вот...

— Неужели? — притворно удивился убийца.— А каких-нибудь два-три месяца назад вы умоляли меня отказаться от уговора, от моего права убить вас, предлагали мне грязную сделку...

— Подумаешь! С тех пор столько воды утекло, все теперь против меня, сама жизнь против, необъяснимая, невообразимая, невыносимая — не жизнь, нагромождение обломков, прибитых к плотине на повороте реки. Словом, на сегодняшний день я хочу умереть, и прошу вас не откладывать. Действуйте.

— Э, спокойствие: позавчера вы хотели умереть, вчера не хотели, нынче опять хотите... Как тут разберешься?

— Но простите, вам и не надо ни в чем разбираться, ваше дело выполнить работу, за которую вам уплачено. Вот и выполняйте! О господи!

— Верно, верно. Только позвольте полюбопытствовать, а не получится, что еще через три месяца вы опять захотите жить— не меньше, чем сегодня хотите умереть?

— Наглый вопрос! Может, и так. Но желание жить предшествовало бы последующему желанию умереть... и значит... вы меня понимаете? Жизнь имела бы смысл лишь тогда, когда бы не признавала смерти, а в противном случае это несерьезно.

— Ну, если смотреть с такой точки зрения, то конечно...

— Впрочем, я думаю, это исключено.

— Исключено, что можно опять стать счастливым? Надеюсь, вы не правы. Пока до свидания.

И убийца снова исчез.

6

Как бы там ни было, дела у Т. и в самом деле вскоре пошли на лад. Правда, теперь уже не на любовном фронте, а на денежном, но ведь в известной степени деньги способны заменить любовь.

Однажды утром, бесцельно бродя по городу, он оказался перед зданием Биржи. «Интересно, почему не бывает бирж без колонн, будто это храмы (они и есть храмы). А тут не просто колонны — древняя колоннада, два тысячелетия!» Вот о чем думал он, переступая порог,— больше ни о чем; следовательно, им двигало любопыт-

ство, а не практические соображения: он даже не вспомнил, что является обладателем значительного количества акций Н. (вверенных когда-то некоему маклеру и вскоре катастрофически упавших в цене).

Внутри — толчея, исступленный гвалт, и над толпой — табло, на котором кто-то каждую минуту отмечал меняющийся курс акций со всеми повышениями и понижениями. Т. принялся разглядывать табло, решительно не разбираясь в экономических перипетиях, как вдруг почувствовал, что за ним наблюдают. Он повернулся: рядом стоял человек в черном и пытался угадать направление его взгляда.

— Занятно, а?

— Ни капельки. Я ведь так, из чистого любопытства.

— Но, если не ошибаюсь, вы смотрите на Н.?

— Н.! — повторил Т., до слуха и сознания которого лишь сейчас начало доходить, что его акции, хотя и ничтожно, все же котируются в списке.

— Они у вас есть, да? — не отставал субъект в черном, и при этом у него был вид заговорщика.

— Гм, сколько-то есть, только что от них проку!

— Ошибаетесь,— шепотом объявил черный.— За сегодняшний день Н. должны подняться на много, очень много пунктов. Я стреляный воробей и знаю, что говорю и что делается в верхах.

Т. было все равно, от верхов, он, понятно, ничего не ждал — ни хорошего, ни плохого, однако он оценил выгодную ситуацию и спросил, по-прежнему недоверчиво:

— Так вы хотели бы купить у меня акции Н.? (О, как давно он мечтал от них избавиться!)

— Не сходя с места — хоть миллион штук!

— Столько у меня нет.

— А сколько есть?

— Кажется, две тысячи.

— Беру.

— За наличные? — промямлил Т., приходя в ужас от собственной смелости.

Черный вынул из заднего кармана чековую книжку и помахал ею.

— Не торопитесь. А какая ваша цена?

Тот назвал умопомрачительную цифру... Оставалось заехать к маклеру и взять у него акции, после чего сделка была совершена.

И теперь Т., не успев толком ничего понять, не зная даже имени своего благодетеля и не разбираясь в таинственном механизме, благодаря которому жалкие акции Н. столь подскочили в цене, купался в золоте, каковое купание, не станем отрицать, неизменно приятным, утешительным и (по многочисленным свидетельствам) укрепляющим образом действует на душу, то бишь на моральное состояние человека.

Умереть, мечтать о смерти было бы в этих условиях глупостью если не безумием, а посему к чертям убийцу, следящего за ним исподтишка! С такими деньгами ничего не стоит купить его второй раз, заставить забыть про уговор... «Хотя, учитывая закваску этого малого, уломать его будет непросто»,— на секунду усомнился он.

В итоге — отличное настроение, состояние полной эйфории, а это уже опасно. Богатство досталось Т. чересчур легко; кроме того, история с акциями, и в самом деле подскочившими до головокружительной цены, соблазнила его на такие спекуляции, для каких у Т. не было ни опыта, ни таланта. Иными словами, Т., который бросился играть на повышениях, на понижениях, неизвестно на чем, обнаружил в один прекрасный день, что у него ни гроша.

Просадить столько денег! Да, бывает. И вот он опять без надежд на будущее, без утешителей, без утешительниц... «Хорошо еще, что год кончается,— подбодрил себя Т.,— убийца не должен подвести, он человек порядочный».

А до истечения годового срока оставалось еще больше месяца. Правда, рассказывать, в каком кошмаре, в каком отчаянии провел Т. этот месяц, не входит в нашу задачу.

7

Пришел последний день, а с ним — и убийца.

— Сегодня последний день,— напомнил он для начала.

— Слава богу! — закричал Т.— Как видите, я готов.

Странно, но убийца казался растерянным.

— Есть кое-какие неясности,— буркнул он.

— А именно?

— Вы... да я уже вам говорил... то вы хотите умереть, то нет, у вас семь пятниц на неделе.

— Вот оно что! Тогда я тоже повторю: а вам-то не все равно?

— В свое время я высказывал свои соображения,— возразил убийца.— К примеру, если я убираю вас, когда вы хотите умереть...

— ...то в работе недостает смаку, я помню. Что же вам помешало убить меня, пока я был счастлив?

Убийца, который и впрямь был в этот вечер не в своей тарелке, уставился на острые блестящие носы собственных башмаков. Когда он наконец ответил, его слова ошеломили Т.

— Мне не хватило смелости.

— Что?! Вам, такому, как вы, не хватило смелости...

И прочее, и прочее.

И убийца, дав время схлынуть высокой волне удивления (или волне высокого удивления), подтвердил:

— Должен признать, к своему стыду: убить вас мне не хватает смелости.

— О господи, как же так? (Все равно, что задать этот праздный вопрос другу, который признался вам, что стал импотентом.)

— В общем, не надо бы мне браться за это дело, зря согласился.

— Позвольте, но почему?

— В общем, по нашему уговору получилось, что я вашу жизнь охранять должен, все время про вас помнить, как бы в ваше положение входить.

— Ну и что?

— Ах, дорогой друг, разве не понятно? Жизнь, человеческая жизнь, какова бы она

ни была... Нет уж, спасибо, увольте, откровенно говоря, это не для моих мозгов, и я не смогу объяснить, нипочем не смогу! Слишком это сложно, слишком запутано... Вы-то улавливаете?

— Представьте, нет. Но не в этом суть.

— В этом, в этом. У любого дела, даже такого, как человека убить, свои правила есть... Ну и еще тут одна загвоздка имеется.

— Какая такая загвоздка?

— Мы с вами похожи.

— Вот оно что! Весьма польщен.

— Не надо. Просто когда-то я вроде вашего скис из-за женщин и прочих неприятностей. А потом... потом опять... и после этого снова...

— Вы хотите сказать, что вас тоже непонятным образом швыряло то вверх, то вниз: радости сменялись бедами, горе — блаженством, да?

— Да, только когда вы говорите, у вас складно получается, лучше, чем у меня... Поэтично, именно что поэтично!

Но для Т. все сводилось к одному: его человек ускользал от него, ускользала единственная надежда (в данном случае — надежда умереть). И все же он взял себя в руки.

— Ну вот, теперь еще и поэзия! Баста, пора перейти от слов к делу, выполняйте уговор.

Убийца неуверенно хмыкнул.

— Успею. Срок истекает в двенадцать ночи.

— Пусть будет так, согласен. Тогда уходите и возвращайтесь: хотите — незаметно, хотите — открыто, как вам заблагорассудится. Только, прошу вас, не подводите меня... Главное, знать, что эта полночь станет последней.

— Черта с два! — выпалил убийца, прибегая к дополнительным ресурсам родного языка (не иначе как от полноты чувств).— Да будь у меня сроку хоть до конца света, все равно теперь мне вас не убить!

— Какая муха вас укусила? Что это за шутки такие? Но позвольте вам сказать... Или сами лучше скажите, что происходит. Вы знаете, чего я от вас хочу, отлично все знаете, я хочу умереть, должен умереть, вот уже год, как вам это известно... Ну?

Убийца прятал глаза, поглаживая усы ногтем большого пальца. Наконец он сказал извиняющимся тоном, словно боясь обидеть своего клиента:

— А то происходит, что я верну вам ваши шесть миллионов, они вам не помешают, глядишь все образуется — и тогда...

— Нет! — завопил Т.— И еще громче: — Нет, нет! Вы надо мной издеваетесь, это уж слишком! Я хочу умереть, я заплатил вам, чтоб вы меня убили, и вы после этого думаете, будто я позволю вам оставить меня в живых, разрешу обязательства нарушить, да еще и вознаграждение за это возьму! Э, нет, милостивый государь, у меня ведь тоже есть... профессиональная этика: этика самоубийцы, жертвы, я бы даже сказал...

Но тут произошло такое, что мы, ради эффектной концовки, оставляем для следующей — заключительной — части.

Они посмотрели друг на друга и... рассмеялись — неудержимо, судорожно.

— Не тут-то было! — заливался наемный убийца, корчась и притопывая ногой.— Нини... даже не думайте... ха-ха-ха, ой, лопну от смеха... и не думайте уступать!..

— Кому еще, ха-ха-ха, кому?

— Себе, ему, им, жизни!

— Ах нет, ах нет? Не надо? А как же тогда?

Увы, ответить на этот вопрос — значило бы взять на себя чересчур много, потому убийца и не ответил. Неожиданно перестав смеяться, он знакомо потянулся.

— Будьте здоровы. Замнем до следующего раза. Шесть миллионов я положу завтра утром на ваш текущий счет. Всех благ!

Т., внезапно отрезвев, еще пытался что-то возразить, но точку в их разговоре все равно поставил убийца.

— А собственно, чего вы боитесь? Какая вам разница, кто вас пустит в расход — я или другой наемный убийца?

Аллегория

— Уф, будь оно неладно!

— В чем дело, люди добрые?

— Неужели не видите! Спрашивается, как можно заставить лодку двигаться по земле — даже по равнине. Замечаете? Не на паруса же рассчитывать, когда киль гормозит. А ехать как мы — веслами отталкиваться, недолго и окочуриться!

— Ага, понимаю... Хотите, помогу?

— Спасибо, не откажемся. Нет, все одно — ни с места, а если и ползем, так елеле. Сколько же у нас дорога займет?

— Вот и я смотрю, надежнее, наверно, пешком.

— Еще бы, да простит мне господь!

— Главное, не горячиться. Вы налегайте на весла, а я буду подталкивать.

— Очень любезно с вашей стороны... Только проку-то что: в лучшем случае на сантиметр-другой продвинулись, не больше.

— Терпение. Делать нечего — попробуем сначала.

— Терпение, да? При том что мне иной раз такие мысли в голову приходят... такие мысли...

— Какие?

— Дикие, не спорю.

— Говорите, говорите, я не из тех, кто с пеной у рта защищает правительство, порядки, общественное устройство. Можете говорить откровенно.

— Ну так вот, на что это похоже?

— Что именно?

— Да я все о том же: с какой стати мы должны ездить по суше на этой посудине?

— И впрямь...

— Возьмем другой пример: человеку нужно переправиться через реку, озеро, с одного берега на другой, и на чем ему, по-вашему, ехать?

— Говорите, я слушаю.

— Будто сами не знаете! На машине!

— Действительно!.. Только, пожалуйста, не надо так громко: лично у меня нет ни

малейшего желания смотреть вместе с вами на родное небо через решетку.

— Решетка не решетка, все равно буду кричать. Сплошная дикость!

— Может быть, может быть.

— Не может быть, а точно! Скажите, у машины что есть?

— Как что?.. Ну, мотор.

— Здравствуйте! Я имею в виду — снизу.

— Снизу? Колеса.

— Вот именно: колеса. Теперь пораскиньте мозгами.

— Простите, не улавливаю.

— А у лодки чего нет, если говорить про низ?

— Полагаю, вы опять намекаете на колеса.

— Угадали.

— Ну и что?

— Как это ну и что! Думаете, я боюсь? Ошибаетесь, господин хороший!

— Это вы ошибаетесь. Боитесь чего?

— Называть вещи своими именами.

— Ну нет, я вижу, у вас язык без костей. Продолжайте.

— Как могут колеса ехать по морю или вообще по воде?

— Верно.

— А как может киль двигаться по суше?

— Опять же верно.

— Так чего же вы испугались?

— Я? Нисколько. Просто хочу понять, куда вы клоните.

— Ясно, куда. Или, по-вашему, я собираюсь дать задний ход перед...

— О боже, опять двадцать пять! Перед?..

— Перед установленным порядком и целым рядом из ряда вон выходящих предписаний, исходящих от властей предержащих.

— Да нет же, успокойтесь.

— Либо готов отступить перед тем, что может не понравиться ортодоксам, перед железобетонными нормами пресловутого здравого смысла?

— Нет, что вы, продолжайте ваше рассуждение.

— Так вот, у лодок есть киль, а у машин — колеса.

— Согласен. Ну и что из этого?

— Только, чур, не подпрыгивать от удивления, не кривиться, не пожимать двусмысленно плечами, не покрываться испариной, не падать в обморок и все такое прочее!

— А я и не собираюсь.

— Вот и отлично. И поскольку я вас спрашиваю: разве не было бы естественнее, проще, более, более...

— Ну?

— Не знаю, как и сказать.

— Говорите как есть, слушатель я благодарный, мне все интересно.

— Друг!

— Можете считать меня другом.

— Друг а не проще бы, не естественнее и так далее и тому подобное...

— Вы злоупотребляете моим терпением.

— Минутку. Разве не было бы и так далее и тому подобное ездить по суше на машинах, а по морю на лодках? Тогда кили вторых легко бы скользили в воде, а колеса первых с тем же успехом крутились бы по земле!

— Но позвольте... Вы отдаете себе отчет?..

— Прицепились-таки. А ведь я чувствовал.

— И это вы называете прицепиться! Да я возмущен, во мне все кипит, я не верю своим ушам.

— Ей-богу, чувствовал. Но разве вы сами не вызывали меня?..

— На откровенность? Всему есть предел. Уж не намерены ли вы?

— Нет, не намерен, я просто отмечаю. И если вы вдумаетесь...

— Ни во что не собираюсь вдумываться и вам не позволю... Нечего сказать, дал втянуть себя в историю: этот субъект — обыкновенный... обыкновенный подстрекатель...

— Замолчите, вы меня погубите. Беру свои слова обратно.

— Слишком поздно! Мой долг заявить на вас куда следует, разоблачить вас... разоблачить...

— Сколько угодно — хоть раз облачайте, хоть десять! Ах, умри, Самсон, с филистимлянами! [1]

(Ну и ну! Никогда не знаешь, что за сумасшедший тебе попадется навстречу!)

[1] Слова Самсона из библейской легенды о Самсоне.

Г. К. ЧЕСТЕРТОН

Перевод с английского МАРИНЫ БОРОДИЦКОЙ

Песня
против Бакалейщиков

Бог дал нам Бакалейщиков
Как тайный знак и весть,
Чтоб, обходя их стороной,
В трактир мы шли поесть,
Где подадут нам окорок
И доброго винца,—
О чем веселый наш Господь
Радеет без конца!

А гадкий Бакалейщик
Поклон отвесит вам,
И даже матушке своей
Он говорит «мадам»:
«Чего изволите, мадам?» —
Поет как соловей,
Хоть «Со святыми упокой»
Мечтает спеть над ней!

Его приказчики — народ
Горластый и ехидный.
«Пожалуйте наличными!» —
Вопят они бесстыдно.
А в клетке у него сидит
Несчастная девица,
Которой он велит считать
И не дает резвиться.

Трактирщик, честная душа,
Накормит вас в кредит,
Бутылку с вами разопьет
И сам же угостит!
А Бакалейщик вам хоть раз,
Хотя б на Новый год,
Головку сыра, например,
Поставил за свой счет?

Он подсыпает к сахару
Песочек из Сахары,
А с полок пыль сметает в соль
И прочие товары;

Он кормит нас консервами
И морит нас как мух.
Британцы тысячами мрут,
А он смеется вслух!

Он продает спиртное
Совсем не для того,
Чтоб честный люд в компании
Употребил его,—
Но чтоб вино унес лакей,
Сардин в пакет набрав,
И, в кабинете запершись,
Упился мрачный граф...

Из банок и жестянок
Он выстроил свой храм
И разорить трактирщика
Мечтает, сидя там.
О гнусный Бакалейщик,
Дрожи! В свой смертный час
Ты не обвесишь Господа,
Как ты обвесил нас!

Баллада самоубийцы

Я к виселице новенькой в саду
С утра иду, не трепеща нимало;
Вывязываю петлю на ходу,
Как денди вяжет галстук свой для бала;
Соседи (на заборе) ждут сигнала,
Чтоб закричать «ура!». Но, на беду,
Меня смешная прихоть обуяла.
Сегодня не повешусь — подожду.

За жалованьем завтра же зайду,
Приятный звон у этого бокала.
Я вижу алых тучек череду,
И тетушка прийти не обещала.

А в клубе я слыхал от Томми Халла,
Что рыбу нужно подержать во льду.
Я не читал шедевров Ювенала!
Сегодня не повешусь — подожду.

Бывают недурные дни в году...
С певцов упадка спесь почти упала;
Уэллс увидел добрую звезду,
И Шоу заскучал без идеала;

«Поэтов разума» и тех не стало —
Все образумились... А там, в пруду,
Так небо голубое засияло!
Сегодня не повешусь — подожду.

ПОСЫЛКА

Принц! Что за шум у зданья Трибунала?
Ведь головы терять — у вас в роду...
Теперь уже недолго до финала.
Сегодня не повешусь — подожду!

К нашим иллюстрациям

Встречи с югославской живописью

В минувшие три года советские зрители увидели три представительные выставки современной живописи Югославии — картины мастеров разных поколений в Москву и другие города присылали Черногория, Сербия, наконец, общим смотром живописного искусства СФРЮ за последние четверть века стала выставка нынешнего года, особенно богатая по числу произведений и имен, по спектру тенденций, стилей и манер. Прихотливо и самобытно русло, которое проложила художественная культура Югославии в поисках национального своеобразия. Но как бы далеко ни расходились искания ее лучших мастеров, для многих из них девизом вновь и вновь становились слова, написанные еще в начале века Надеждой Петрович, одной из основоположниц югославской живописной школы нашего века: «Настоящее большое искусство должно быть учителем, воспитателем, борцом за прогресс человечества».

Полотна Надежды Петрович — у истоков того стиля, который в югославской критике принято называть «поэтическим реализмом». Манера французских импрессионистов обретает здесь особую напряженную экспрессию, а лирика граничит с драмой или эпосом. Лучшие черты этого направления в пейзаже развили Петар Добрович, Сава Шуманович, Отон Постружник, Франо Шимунович, Иво Дульчич

В образах Предага Педжа Милославлевича, Леонида Шейки и других ландшафт иной раз предстает в своем грозном обличье, напоминая о вехах геологической истории Балкан. Многие мастера молодого поколения — Божидар Дамьяновский, Драган Мойович, Душан Оташевич, Александр Цветкович — стремятся осмыслить взаимоотношения человека с природой на языке символов.

Главным направлением гуманистических устремлений югославской живописи стала тема войны, героического Сопротивления фашизму, тема, получившая здесь поистине эпический размах. Открывавшее последнюю из выставок полотно Исмета Муезиновича «Во славу бойцов Сутески» воспринималось как картина-монумент, где фигуры бойцов застыли во вневременном, патетическом величии.

Скорбь о жертвах войны наложила свой отпечаток на живопись Милоша Баича, Мария Прегеля, на драматические картины Кристо Хегедушича, ставшие уже подлинной классикой. Пылающая колористика Милана Коньовича, социальный пафос Джордже Андреевича-Куна, глубинный лиризм Спасе Куноского и Николы Мартиноского предопределили успехи югославского бытового жанра. Для многих художников современность стала почвой для поэтических размышлений, от гротескных фантазий до светлых элегий. Миф и быт причудливо сплелись в творчестве Ивана Табаковича. Произведения Лазара Возаревича и Лазара Вуяклии ознаменовали прямое обращение к фольклору, миру народных легенд и преданий. Особенно мощной энергией одухотворены фольклорные образы Петара Лубарды, взметнувшиеся в яростной схватке «Кони» которого стихийностью своей сродни величественному каменному морю его горных пейзажей.

Большинство современных югославских живописцев (а всего на трех выставках были представлены работы полутора сотен авторов) работают в нескольких жанрах, совмещая занятия станковой живописью и графикой, монументализмом и сценографией; возможно, это одна из причин особого многообразия художественной жизни страны. Отмечая важную тенденцию сегодняшнего дня, видный художник и искусствовед Миодраг Протич пишет в каталоге экспозиции «Югославская живопись. 1950—1965»: «Многие художники, и особенно молодые, обращаются к новым фигуративным изобразительным сюжетам. Возникает определенная реакция на эстетизм «чистого», формального искусства. Образцами вновь становятся рисунки старых мастеров, художественные системы прошлого...»

Выставки югославской живописи стали событиями и нашей культурной жизни, вехами крепнущих культурных связей Советского Союза и социалистической Югославии.

М. СОКОЛОВ

Среди книг

Издано в СССР

ПРОБУЖДЕНИЕ

Жозе Сарамаго. Поднявшиеся с земли. Перевод с португальского А. Богдановского и Н. Малыхиной. Предисловие О. Игнатьева. Москва, «Прогресс», 1982.

Чтение дельной книги неизбежно приводит к простой и старой, но полезной мысли, что мировая литература возвращает первообраз нашего единства, словно мы, разбредшиеся по миру и времени, дети одной матери. А может быть, она только предвещает это единство, но так или иначе собирает нас у общего очага, и мы видим, что нам нечего делить и что разность языка не мешает чувствовать в одно сердце. Большая литература едина, потому что в существе своем едина и человеческая жизнь, да, кажется, и сама история, как ни различны на внешний взгляд ее наряды и проявления.

Я снова убеждался в этом, читая роман португальского писателя Жозе Сарамаго «Поднявшиеся с земли» Его нельзя пересказать, как нельзя пересказать течение реки, где все так естественно и очевидно, но так неуловимо. Книга неторопliва и уважительна к человеческой жизни, потому что неторопливо само крестьянское бытие, о котором она рассказывает.

Три поколения семьи Мау-Темпо из селения Монте-Лавре португальской провинции Алентежо сменяют друг друга на наших глазах — рождаются, подрастают и заводят своих детей, работают до изнеможения и умирают в такой же нищете, в какой пришли в этот мир Их жизни почти неотличимы друг от друга, а время недвижно, не сразу разберешь, какое столетие стоит на дворе. Только изредка докатится из столицы невнятный, искаженный расстоянием слух, но он почти не меняет ритма жизни, потому что правит крестьянским бытом не столица, а местные латифундисты, чьи имена тоже кажутся при всех сменах поколений неизменны: Норберто, Алберто, Дагоберто — не различишь, как близнецов. И всегда, как бы ни менялась жизнь, будет читать воскресную проповедь падре Агамедес, только кто-нибудь заметит, что однажды он из длинного и худого станет коротким и толстым, да покрикивают на ослушников капрал Доконал и майор Хорохор, которым лица и не нужны, потому что они вполне заменяются профессией.

Печет солнце, льют дожди, дети вырастают, а кругом все то же, так что автор, постоянно вмешивающийся в повествование, вынужден иронизировать, что напрасно читатель ждал в следующей главе какой-то новизны, и если еще не понял, что ничего не произойдет, так он вообще ничего не понимает в крестьянской жизни. А мы слушаем простые беседы героев, глядим на бесспльные попытки вырваться из нищеты и диву даемся, как все это откуда-то знакомо нам и как известны нам эти заботы португальских сельскохозяйственных рабочих, словно мы уже читали о них. А потом вспоминаем недвижно-мученическую жизнь русских крестьян, мыкавших свое горе в очерках Г. Успенского или в рассказах И. Бунина, перелистываем деревенские страницы недавних «старых хроник» эстонца М. Траата или грузина О. Чиладзе, снимаем с полки стейнбековские «Гроздья гнева» и убеждаемся, что все деспотии одинаковы и жизнь подневольного человека на любой земле похожа, так что, говори герои на одном языке, они через пять минут чувствовали бы себя кровными братьями.

Какое дело крестьянам Монте-Лавре до лиссабонских забот, если у них по-прежнему перед глазами Норберто и Дагоберто, падре Агамедес и капрал Доконал? И когда в стране в 1910 году свергают монархию, это совершается так далеко, слов-

но не в их стране. «Республику прислали из Лиссабона», замечает автор, и это чистая правда: ее прислали как странный бесполезный подарок, от которого ничего не переменилось в их жизни. Они, правда, отправились просить о повышении заработка, но республика выставила навстречу им гвардию, «и всадники — сабли наголо! — ...летят вперед, и родина выходит на крылечко полюбоваться». И они опять примутся работать, пока не придет первая мировая война, которая, «прежде чем сожрать самого человека, опустошает его карманы», и у них не будет и прежней скудной оплаты.

Но при всей недвижности жизни и внешнем сне сознания никакие уроки даром не проходят. И когда крестьян везут «подписываться на Салазара» и они переспрашивают друг у друга, что там говорят на трибуне господа из Лиссабона (а говорят они: «...сплотимся вокруг... нашего гениального вождя, вся жизнь которого...—пример беззаветного служения отчизне...» и т. д.), то возвращаются они, уже не просто пожалев потерянный день, а стыдясь этой «скверной работы» и некоторые, уже бормоча про себя: «...если б не этот гад легавый, ничего, когда-нибудь с него спросится», а там, глядишь, кто-то из них встречается в овраге и расходится, «явно о чем-то договорившись».

Если кто-то из читателей сочтет это сознательной организацией, то поторопится с выводом. Какой, например, Мау-Темпо грамотный борец, когда он и свою деревню-то почти не покидал, а Лиссабон увидел, только когда его схватили как «коммуниста» (потому что видели там, в овраге) и пытали, как до него пытали тех двоих, кого автор благодарит добрым словом в посвящении, предваряющем роман, и кого он объединяет в одного героя — Жермано Сантоса Видигала, над которым глумятся безликие, как всякая злая сила, Жоан-Грязь и Жоан-Мразь, пока не умерщвляют его. Палачи плохо знают психологию и не могут понять, что они сами формируют сознательных бойцов.

Мау-Темпо выдержит пытки и пройдет в тюрьме «настоящий народный университет», и хотя, прощаясь, при выходе из тюрьмы он говорит обыкновенные слова: «Спасибо, товарищи, прощайте, желаю вам всего самого хорошего», но теперь и ему самому, и нам ясно, что с ним уже ничего не сделаешь, его уже не вернешь к молчанию, разве только убьешь.

Он не станет и после этого оратором и революционером, а будет продолжать свою обычную деревенскую работу, но теперь он будет спокоен и тверд, и те, кто встанет на поле с серпом рядом с ним, будут увереннее глядеть вперед и неуклонно готовить свое освобождение. Автор нигде не говорит о хорошо налаженной последовательной борьбе, герои до конца живут внешне как жили, и для Норберто и Дагоберто, падре Агамедеса и капрала Доконала остаются той же грубой невежественной силой, которую довольно только пугнуть как следует. Но все-таки, непонятно почему, латифундисты исподволь уступают тут в плате, а там, глядишь, в количестве рабочих часов, пока однажды не обнаруживают, что перед ними неодолимое новое единство — оно естественным образом входит в последнюю революцию 1974 года и оказывается вполне готовым взять в свои руки землю, на которой прежде они не могли собрать даже желуди, чтобы накормить голодных детей.

Это, пожалуй, наиболее ценная черта книги — она как огня боится риторики и не спрямляет путей. в крестьянстве всегда дороги сложнее и дальше.

Мы оставляем героев не в безмятежном мире. Им предстоит, может быть более сложная борьба, чем прежде, потому что латифундисты легко своего не уступят, а формы изберут более изворотливые. И богаче еще никто из крестьян не стал, но автор не зря называет книгу «Поднявшиеся с земли». Поднявшегося уже не уронишь.

Жозе Сарамаго нашел самый убедительный путь для рассказа о становлении своих героев. Он сам пришел в их число и «затерялся» среди них, часто предоставляя нам право разбираться, что в книге «размышления автора, а что Жоан Мау-Темпо думал». Он всех назвал по имени, даже если персонажу и дела было на полстраницы, а то и на строку, как жандарму Жозе Калмедо, которому надо только привести Мау-Темпо в участок, или тому доброму человеку, который встретит героя по выходе его из тюрьмы и до утреннего поезда даст ему ночлег, зная, как трудно коротать ночь в незнакомом городе («...я Рикардо Рейс, жену мою зовут Эрмелинда, кроме имен, нам ничего о них не известно, вот только еще тарелки с супом на столе, а больше ничего»).

Для деревенского человека нет безымянных людей, и автор помогает своим героям удержать мир названным, личным. Но когда отец дерется с сыном для потехи жандармов, иначе те не дадут им унести собранные для семьи желуди, автор не станет называть этих несчастных из высокого милосердия; он их «не сможет разглядеть» во тьме, и так и остается «неизвестно, кто же дрался со своим отцом, глазам больно смотреть на такие великие страдания».

Можно было бы внимательно поглядеть, как Сарамаго описывает зло, государственное лицедейство, полицейские провокации и уклончивость церкви (традиционно резко осуждаемой литературой Португалии), но тут каждому будет достаточно вспомнить то, что он читал о деспотиях в любых литературах, и этого будет достаточно.

Раздражительно-ироничный, часто несдержанный в аттестации подлецов, Сарамаго необыкновенно участлив к своим простым героям в беде и сердечен в радости. За те месяцы, что писатель прожил среди своих героев в провинции Алентежо, он научился не только тому, что добро — личностно, а зло — массово и безымянно (имя зла всегда нарицательно, как эти Жоан-Мразь и Жоан-Грязь, вполне уравненные с внеличным, «нарицательным» именем Салазара), но и тому, что настоящие движения сердца молчаливы и не требуют множества хотя бы и безупречно подобран-

ных слов. Сарамаго знает, как умеют изъясняться в своих чувствах герои его великого соотечественника Эсы ди Кейроша, но кажется, ему теперь больше по сердцу речь его немногословных товарищей, потому что, как писал и Франсуа Мориак, «...в судьбах людей, особенно много перестрадавших, слова мало что значат. Драма живого существа почти всегда протекает и развязывается в молчании».

Впрочем, в молчании встречается и радость. Когда рождается у Мау-Темпо внучка, а ее отец идет всю ночь, чтобы увидеть ее и завтра снова поспеть к утру на работу, он ничего не несет своей жене в подарок — где ему взять? «Он протягивает руки — каждая из них прекрасный цветок — и говорит: Грасинда, больше он ничего сказать не может и целует ее один только раз, но почему-то от этого единственного поцелуя у нас в горле появляется комок, и, даже если бы мы были членами этой семьи и нам следовало сказать что-нибудь в этот момент, мы все равно не смогли бы сделать этого...»

Эта, едва родившаяся, внучка Мария Аделаида встретит последнюю революцию семнадцатилетней, и если бы я не боялся быть высмеянным героями Сарамаго за чуждую им высокопарность, я написал бы, что Мария Аделаида с ее такими необычными для этих мест голубыми глазами — сама юная Португалия на пороге решимости и надежды.

Вся книга написана здоровой крепкой народной речью, и по спокойной поступи этой речи видно, что перемены, совершившиеся на наших глазах, необратимы.

Мы еще не очень хорошо знаем современную португальскую литературу. Она долго была закрыта для нас, но по книге Сарамаго видно, что она жила совестливой и честной жизнью и делала и в темные салазаровские дни свое дело, как всегда делает его лучшая мировая литература — с надеждой на светлую судьбу простого человека.

ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ

ЧАСЫ НА ПЛОЩАДИ

Роберт Пенн Уоррен. Потоп. Перевод с английского Е. Голышевой. «Новый мир», 1982, № 4—8.

Мир Уоррена не поддается освоению «с листа» в нем нужно обживаться неспешно и вдумчиво. Углубляясь в этот мир, испытываешь чувство, словно перед тобой открывается планировка готического замка с его пересекающимися и расходящимися коридорами, потайными ходами, многоярусными галереями. Линии уорреновского повествования столь же прихотливы и неожиданны, соединены столь же причудливой связью. Но вот книга дочитана, и то, что казалось лабиринтом, предстает строгой архитектурой, подчиненной строго рассчитанному принципу художественной организации. Так с особой отчетливостью воспринимаешь гармонию целого, когда, поплутав под тяжелыми сводами, выйдешь наружу, и памятник возникнет в своей завершенности, в органичной соотнесенности компонентов.

Пока мы знали Уоррена главным образом по «Всей королевской рати», это замысловатое — не без изощренности — построение рассказа не слишком обращало на себя внимание. В «Потопе» — книге совсем иного звучания и, конечно, многим уступающей знаменитому роману о Вилли Старке,— оно все время на виду. Действие петляет, раз за разом возвращаясь к уже пройденным точкам, общий и крупный план даются в необычной последовательности. Центральное событие — эвакуация небольшого южного городка, который уйдет под воду, когда построят плотину,— почти до конца остается за кадром. Пространство романа заполнено эпизодами, вроде бы и не имеющими прямого отношения к его основному мотиву.

Сам характер композиции выражает мысль, столь неотступную и даже мучительную для главного героя «Потопа» Бредуэлла Толливера: «Все, что вспоминается, похоже на длинные гирлянды елочных лампочек, которые вытаскиваешь в сочельник и никаким чертом не можешь распутать, а половина лампочек все равно уже лопнула, и когда выпрастываешь один провод, то натыкаешься на новый клубок, которого прежде не заметил».

Нам рассказывают не о потопе, а об обширной предыстории Фидлерсборо, увенчиваемой подобным финалом. А предыстория воссоздается в бесчисленных, на вид чуть ли не хаотичных и хронологически далеко друг от друга отстоящих фрагментах, где на равных правах с главными героями действуют лица, как бы на миг выхваченные из анонимной толпы местных обывателей.

Для фабулы все они не обязательны. Например, некий Котсхилл, долгие десятилетия исполняющий в Фидлерсборо должность судьи. Пока описываются метания Толливера и происходящая в его доме семейная драма, Котсхилл остается в стороне, выполняя в лучшем случае роль молчаливого свидетеля. Он и появится перед читателем считанные разы, но высветлит что-то очень существенное в изображаемой реальности, когда словно невзначай заметит в разговоре, что часы против его конторы давным-давно «стоят на восьми тридцати пяти, и никто не знает — утра или вечера». А потом Котсхилл надолго пропадает из виду.

Они намеренно не прорисованы как характеры — этот судья, или негритянский священник, проповедующий смирение, хотя оно еще никого не спасало, или черноокий арестант, который бунтует против таких наставлений и отказывается молиться, пробуждая в обывателях ненависть, заряженную насилием. Мимолетные, едва очерченные персонажи, они могли бы быть восприняты как фон, и не больше, если бы проза Уоррена не обладала своими особыми законами. Но и в этой прозе поистине «все навечно связано одно с другим». И, распутывая гирлянду, невозможно отсечь ни один из проводов.

Невозможно изъять из рассказа ни тюремного смотрителя Бадда, для которого весь задавленный одиночеством, обреченный на исчезновение Фидлерсборо выглядит тюрьмой, ни Леонтину, страшащуюся переселения в соседний город, где ей, слепой, предстоит наново, ощупью познавать незнакомую жизнь.

Невозможно выстроить повествование динамичнее и четче, убрав все это множество обрывочных коллизий, случайно промелькнувших лиц, чьих-то никак не мотивированных и подробно не выписанных драм, происшествий комичных или жестоких,— распутав, распрямив нити, которые вплелись в рассказ цепко и даже исподволь направляют его ход, хотя они как будто и существуют каждая по отдельности, не складываясь в узор. Кажется, структурное единство должно с неизбежностью исчезнуть, но оно продолжает ощущаться. На поверку проза Уоррена обладает редкостно прочными внутренними сцеплениями.

Одно из них очевидно. Уоррен — южанин: факт, многое объясняющий в его творчестве. Давно покинув родные края, он как художник сохраняет им верность во всем, что им написано. И «Потоп» — тоже произведение об американском Юге, об этой специфической социальной среде, а еще точнее — об особом нравственном и духовном космосе, особом строе жизни, исторически сложившемся и сформировавшем устойчивые человеческие типы, от века повторяющиеся конфликты.

Яша Джонс, единственный из персонажей «Потопа», кто по происхождению и биографии не принадлежит этой среде, свежим взглядом чужака повсюду подмечает в Фидлерсборо черты жизненного уклада, которому суждено исчезнуть не сегодня-завтра. Они пробиваются и сквозь сонную одурь городка, где, по слову одного из «проходных» персонажей, «мало что происходит, но все постепенно разваливается». И для Джонса — как для самого Уоррена — главным становится уловить, выразить, сохранить для потомства реальность, уходящую навсегда. В каком-то смысле сам Фидлерсборо имеет больше прав называться главным героем «Потопа», чем персонажи, выдвинутые на авансцену действия.

Можно было разными способами воплотить атмосферу южного захолустья, где всегда разворачиваются социальные и этические конфликты, исследуемые Уорреном. Это можно было сделать, передав внешнее многообразие такого мира. Ведь на поверхности жизнь подвижна, контрастна, драматична до наглядности. Уже без малого двадцать лет, совершив убийство, отбывает положенный срок шурин Толливера доктор Фидлер, и все эти годы Мэгги, его жена, навещает по воскресеньям тюрьму, отказавшись от мечты о счастье. Отец Толливера был местным олигархом, выдвинувшимся из самых низов и вдосталь покуражившимся, пока, прижатый кризисом, он не покончил все счеты, таинственно исчезнув в окрестных болотах, где не сразу нашли его лодку с едва початой бутылкой на дне. Какие сюжеты, какие крутые зигзаги судеб!

В сценарии о Фидлерсборо, над которым работают Толливер и Джонс, все эти фактические события станут канвой рассказа, но они не должны исчерпать рассказ. Джонс, во всяком случае, добивается другого: «Надо создать ощущение таинственной подспудности жизни, а не показывать наглядные сюжетные связи». Здесь устами героя говорит сам Уоррен. И для него главная задача — понять «подспудное течение жизни», или, как выразился Джонс, «полюбить падение отдельного листа».

Последнее, впрочем, сказано не совсем точно: «листья» — и тот же Джонс, и Толливер, и Мэгги — для Уоррена не более чем часть кроны, пусть даже, подобно Толливеру, они надолго отрываются от родимой ветки. Печать Фидлерсборо лежит на каждом персонаже «Потопа» — не суть важно, основном или случайном. К концу повествования даже Джонс, принадлежащий совсем иной среде, осознает свою глубокую причастность к «подспудному течению» происходящей здесь жизни.

Что же оно выносит на поверхность, подспудное течение, которое писатель стремится обнаружить за будничной хроникой Фидлерсборо со всеми ее кульминациями и долгими штилями, страницами трагическими или пустыми, бесцветными, как сожженное зноем небо над этим богом забытым городком? Ответ, кажется, указан впрямую — и неоднократно: одиночество. «Господи, да весь Юг — одиночество...— говорит Толливер.— Злое одиночество». Здание тюрьмы видно с любой точки Фидлерсборо, и это не случайность: «Все они тут так одиноки, что окружили себя тюрьмой, чтобы вместе быть одинокими».

От одиночества сходят с ума и крушат собственную жизнь, от одиночества пьют и затевают драки, ставшие чуть не единственной формой общения, от одиночества попусту растрачивают духовные силы. И нет никакого Юга, а есть лишь общий опыт одиночества, и нет никакой расовой проблемы, а есть лишь зависть к неграм за то, что их не разъединил, но сплотил жестокий жизненный жребий...

Уоррен, однако, видит намного дальше своего героя. У одиночества — такого же нестираемого южного «проклятья», как вечно здесь накаленный расовый конфликт и вечно обостренное чувство своей исторической ущемленности,— обнаруживаются истоки, уводящие достаточно далеко от специфичных для американского Юга обстоятельств. Для Уоррена одиночество — не «проклятье», а позиция, бездумно наследуемая или осознанно избираемая, но непреложно требующая ответственности, а не сетований на нерадостный удел, перед которым личность будто бы заведомо бессильна.

Потоп — емкий символ, приобретавший в мифологии различные наполнения, но всегда несший в себе мысль о возмездии — за неправедную жизнь, за почитание ложных богов, за существование без разума и без души. В новейшей вариации старого мифологического сюжета, предложенной Уорреном, сохранен этот мотив. Фидлерсборо исчезнет не по капризу планировщиков, решивших перегородить реку именно в

этом месте. Фидлерсборо заслужил такую судьбу.

И не оттого, что Фидлерсборо — город, где все одиноки. Само это одиночество замешано на страхе перед движущейся историей и безучастности к ее острейшим коллизиям, словно бы от них можно освободиться, признав сложности непреодолимыми и капитулировав перед ними. Часы на площади Фидлерсборо всегда показывают восемь тридцать пять — неизвестно, вечера или утра. Этот образ — как бы камертон романа Уоррена. Мы помним, как в бессильном исступлении ломал стрелки часов фолкнеровский Квентин Компсон, пытаясь остановить время, разворошившее мир, описанный в «Шуме и ярости». Мы помним еще одну метафору американского Юга, предложенную Карсон Маккаллерс в романе, озаглавленном «Часы без стрелок». Обе эти книги многим отличаются от «Потопа», но, как и «Потоп», обе они исходно трагичны, потому что в основе своей безнадежны, обречены усилия личности противоборствовать логике истории, игнорировать ее, замкнувшись в провинциальном быте, как будто он изолирован от бытия.

В книге Уоррена историческое время ощущается гораздо отчетливее, чем в «Шуме и ярости» или у Маккаллерс. Оно здесь представлено событиями громадной и непреходящей значимости — Испанией, второй мировой войной, Хиросимой. С этими событиями непосредственно связаны биографии Толливера и Джонса. И для них обоих этот прямой контакт с реальностью XX века, сотрясаемой противоречиями и конфликтами невиданной трагичности и масштабности, заканчивается нравственным оцепенением, шоком, верой в «черную дыру», которую оставил после себя исчезнувший бог, или неверием ни во что.

Оба — один по крови, другой по сути — принадлежат Фидлерсборо, где «тишь да гладь» воцарились чуть не на другой день после Гражданской войны, а история стала восприниматься как плаванье «ниоткуда в никуда». И обоих, как весь Фидлерсборо, поглотит потоп, ставший расплатой за то, что иллюзия конечной бессмыслицы истории сделалась убеждением, а тем самым и фундаментом этической позиции.

Тут и выявляется глубинное сходство «Потопа», вышедшего в 1963 году, с написанной семнадцатью годами раньше «Всей королевской ратью» — книгой, наиболее рельефно обозначившей круг творческих интересов и нравственных идей ее автора. Мощно вылепленная фигура Вилли Старка обычно заслоняет в читательском восприятии другого центрального персонажа той книги — Джека Бердена. Но в перспективе последующего творчества Уоррена именно несостоявшемуся историку и послушному секретарю всевластного хозяина принадлежит ключевое значение.

Берден отрекшийся от прекрасных порывов юности и уже не размышляющий об этическом долге, пришел к тому же, что и Толливер, пониманию истории как «Великого Тика» и восхваляет Ничто стихами молитвы, славящей бога. Мы словно слышим его голос, когда Толливер по возвращении из Испании декларирует: «Не я сотворил этот мир, и не я делаю историю. Я сейчас налью себе и выброшу все из головы, пока эта бойня не добралась до меня». И в преследующем Джонса чувстве катастрофы всего человечества после Хиросимы распознается — пусть не так ясно — та же апатия духа и анемия нравственного чувства, которые заставляют Бердена безразлично наблюдать жизнь, ибо в ней все равно ничего не исправишь.

Есть свое оправдание и своя необходимость в повышенном внимании Уоррена к этому типу личности — уже потому, что он необычайно распространен и в каком-то смысле выражает тенденцию эпохи. Предъявляя всем и каждому максималистские моральные требования, эпоха не могла не породить и стремления уйти от такой ответственности, заслониться от нее откровенным ли цинизмом, или безверием, или по-своему искренним убеждением в том, что часы на площади действительно остановились навсегда. Уоррена, конечно, можно упрекнуть в том, что его пророчество потопа как возмездия за подобную бездеятельность и безответственность перед лицом зла — тоже своего рода максимализм, односторонний и не замечающий иных возможностей, иных сил. Но никак нельзя отказать писателю в точности исследования хотя бы одной из причин, предопределивших печальную актуальность темы потопа для нашего времени.

Так из мозаики на вид разнородных зарисовок повседневности Фидлерсборо рождается образ действительности, запечатленной не в случайном, а в определяющем. И запутанный клубок проводов снова становится гирляндой. И крупицы духовного опыта героев сцепляются в единство их биографий, отразивших существенный и для Уоррена глубоко тревожный феномен нравственной истории XX столетия.

В мифах о потопе почти всегда присутствует ковчег — приют для тех немногих, кто заслужил спасение и должен строить жизнь на основаниях, соответствующих представлению о гармонии и норме, которое выражено мифом. Такой «ковчег» обнаружит и читатель романа Уоррена, обратившись к заключительным страницам, где описано безоблачное счастье Мэгги и Джонса. Этот финал не убеждает. Неразрешенными остаются конфликты, определившие весь ход жизни героев. Их и нельзя разрешить испытанным способом бегства на сказочные острова.

Скорее ковчегом в годину потопа явится отличающая Уоррена острота исторического и нравственного зрения и его твердая вера в возможности человека преодолеть мучительные антагонизмы времени и собственные самообманы — чтобы потоп навеки остался только сюжетом мифов о далеком прошлом.

А. ЗВЕРЕВ

ВОСПОМИНАНИЕ О РОМАНТИЗМЕ

Арабская романтическая проза XIX—XX веков. Перевод с арабского. Составление Г. Боголюбовой и А. Долининой. Предисловие А. Долининой. Ленинград, «Художественная литература», 1981.

Зародившийся на европейской почве в конце XVIII — начале XIX века как реакция на Великую

французскую революцию, романтизм вырвался за рамки европейского континента и нашел горячих последователей и сторонников в иной социально-культурной среде. В этом нас довольно красноречиво убеждают произведения, включенные в сборник «Арабская романтическая проза XIX—XX веков».

В истории арабской культуры конец XIX и начало XX века составляют целостный этап, для которого характерны оживление после длительного застоя всей культурной жизни, развитие просветительского, передового движения в новоарабской литературе. Это была эпоха формирования арабской национальной буржуазии и роста национального самосознания.

На первый план выходит задача не только осмыслить уже имеющийся многовековой художественный опыт, подаривший мировой культуре «Тысячу и одну ночь» и поэзию Абу Нуваса, но и разработать новые эстетические воззрения, утверждающие воспитательную функцию литературы.

В литературе возникают ранее неизвестные арабам направления — романтизм и сентиментализм и новые жанры. Стремление осознать значимость и сущность национальной культуры, путей ее развития охватывает довольно широкий круг людей. В дискуссии вовлекалось все «образованное общество», которое получило возможность благодаря небывалому скачку в развитии арабской прессы, публицистических жанров, активизации всей литературной деятельности глубже познакомиться не только с арабской классической традицией, но и с европейской литературой и общественной мыслью. Выдающееся место в истории арабского просветительства и романтизма занимает творчество тех восьми писателей из арабских стран, которые вошли в рецензируемый сборник. Плодотворной представляется сама идея объединить произведения крупнейших арабских прозаиков в одной книге, показать историю арабского романтизма от его предпосылок внутри литературы просветительского толка в конце XIX века до произведений 30-х годов XX века, несущих в себе уже признаки декаданса. Сборник раскрывает перед читателем и все многообразие жанров предромантической и романтической прозы: здесь представлены образцы публицистической статьи, ораторской речи, повести, новеллы, эссе, стихотворения в прозе.

Конкретно-исторические реалии и идеи эпохи представлены просветительской публицистикой (Адиб Исхак, Мустафа Камиль), впитавшей приподнятую эмоциональность ораторской речи — старинного, уходящего корнями в доисламскую эпоху, неумирающего национального арабского искусства, передавшего вдохновенность и красоту своего слога писателям-романтикам.

Понять природу арабского романтизма поможет знакомство со статьями и эссе египтянина Мустафы Лутфи аль-Манфалути (1876—1924), с творчеством которого советский читатель до сих пор знаком не был. Его произведения построены по канонам привычным для европейского сентиментализма. Как отмечает в предисловии А. Долинина, в творчестве аль-Манфалути «традиционная чувствительность наполнилась искренним чувством, гуманистическим смыслом...» Не случайно многие арабские писатели реалистического направления считают аль-Манфалути своим учителем.

Центральное место в книге по праву занимают представители «сиро-американской» школы, под которой обычно в истории арабской литературы подразумевают группу арабских литераторов, эмигрировавших в конце XIX — начале XX века в Северную Америку, куда в те годы устремились десятки тысяч ливанцев и сирийцев, спасаясь от турецкого гнета. Творчество авторов этой школы, прежде всего Амина ар-Рейхани (1876—1940) и Джебрана Халиля Джебрана (1883—1931), заметно повлияло на развитие литературы последующих десятилетий в большинстве арабских стран. Отказавшись от старых литературных форм, они впервые в арабской прозе создали жанры новеллы, стихотворений в прозе, эссе. Их романтическое видение мира в сочетании с реалистической в своей основе идейно-эстетической позицией складывалось под влиянием трех культурных традиций: арабской, европейской и американской.

Путь каждого из этих писателей сложен и извилист. Для Амина ар-Рейхани, который выступал против феодальной отсталости Востока, религиозных суеверий и славил западную культуру, рассматривая ее как силу, способную обеспечить всесторонний подъем Востока, характерно вместе с тем и глубоко отрицательное отношение к американской действительности, которую он хорошо узнал за долгие годы эмигрантской жизни. «Железное чрево твое бесплодно,— писал он о Нью-Йорке,— деревянная грудь источена червями, на твоем медном лбу зеленый налет окиси, мраморный рот застыл в холодной красоте. Горе твоим сынам, горе тебе поклоняющимся. Горе тебе. На рынках, в увеселительных домах, в банках и церковных храмах, да и в голосе твоем — звон золота... В твоих складах—все блага земли, в сейфах — драгоценности, во дворцах — чудеса цивилизации... а в хижинах — нищета и стенания».

Амин ар-Рейхани представлен в этом сборнике не как творец любимых им малых форм, а как автор повести «Вне стен гарема».

Романтическая по системе образов и стилистике, эта повесть посвящена традиционной для арабской литературы теме: положению женщины-мусульманки в обществе. Джихан, героиня повести,— истинно романтический образ. «Всем своим существом она рвется к свободе», но трагическое одиночество обрекает ее на гибель. Повесть имеет полемическую направленность. Она призвана была сыграть определенную роль в идейной борьбе своего времени, когда многие арабские мыслители, писатели, стремившиеся вырвать Восток из вековой пассивности и застоя, восхищались Ницше, видя в его философии призыв к самоутверждению, независимости, волевой деятельности. Ар-Рейхани с позиции гуманиста выступает против ницшеанской вседозволенности, олицетворением которой для

него является возлюбленный героини повести — немецкий генерал фон Валленштейн.

В 1981 году общественность всего арабского мира широко отметила 50-летие со дня смерти Джебрана Халиля Джебрана, в чьих творческих деяниях и сегодня видна мощная фигура, всколыхнувшая общественное сознание всех арабских стран. Джебран прославился прежде всего как живописец с ярко выраженной творческой индивидуальностью. Свежесть красок, зоркость взгляда, свое восприятие человека он переносил и в прозу, в которой стремился запечатлеть красоту и гармонию, таящиеся в жизни. И в литературе, и в живописи, и в графике Джебран всегда оставался лириком и романтиком, темпераментным мастером, которому под силу поэтика контраста и порыва, обличения и гнева. В сборнике помимо стихотворений в прозе и рассказов, в большинстве своем уже известных советскому читателю в опубликованных ранее переводах, впервые появляется на русском языке знаменитое джебрановское эссе «Пророк», написанное по-английски. Это произведение, являющееся по сути гимном человеку, выдержало бессчетное количество американских и арабских изданий и, породив множество различных толкований, обросло целой библиотекой исследований. Хочется отметить работу переводчика этого эссе — молодого специалиста в области арабской философии В. В. Маркова, который с должным мастерством воссоздал дух прозы Джебрана.

Дальнейшее развитие романтического направления связано с именами последователей Джебрана и ар-Рейхани — ливанки Марьям Зияде (Мейй) и туниса Абу-ль-Касима аш-Шабби, в творчестве которых настроения пессимизма, отчужденности от мира еще более углубляются и появляются мотивы, характерные для европейского символизма. Завершается сборник наряду со стихотворениями в прозе аш-Шабби статьей классика современной ливанской литературы, недавно отметившего свое девяностолетие Михаила Нуайме, приверженца реализма. Как художник Михаил Нуайме сформировался под влиянием русской классической литературы, с лучшими образцами которой он имел возможность ознакомиться во время своей учебы в дореволюционной России в стенах учительской семинарии Русского Палестинского общества.

Традиции романтизма, заложенные Джебраном и Амином ар-Рейхани, Адибом Исхаком и Мустафой Камилем, Мустафой аль-Манфалути и Михаилом Нуайме, Мейй и Абу-ль-Касимом аш-Шабби, сохраняются и живут в арабской литературе вплоть до наших дней. Стоит прислушаться — их отзвуки можно различить в творчестве современных писателей Ирака, Туниса, Палестины, Кувейта и других арабских стран.

В. ШАГАЛЬ

Издано за рубежом

«ДЕТСТВО» НАТАЛИ САРРОТ

Nathalie Sarraute. Enfance. Paris, Gallimard, 1983.
Натали Саррот. Детство. 1983.

Новая книга Натали Саррот называется «Детство». Да, «Детство» — как у Толстого или Горького. Конечно, это совсем другое детство и по-другому описанное, но все же ассоциация не случайна: читатель, во всяком случае наш читатель, знакомый с романами Натали Саррот, отметит в этих воспоминаниях явную тенденцию к сближению с традициями русской мемуаристики, где автор показывает себя, ребенка, как характер, формирующийся во взаимоотношениях с окружающими.

Объектом романов Натали Саррот было «всеобщее». Она хотела проникнуть в обезличенный механизм подспудных реакций сознания на внешние раздражители, в его «тропизмы», которые не находят адекватного выражения в стертом слове, в «общих местах» сплющенного социальным давлением диалога. Иначе говоря, она рисовала «неподлинность» существования человека, утратившего индивидуальность, живущего расхожими идеями, готовыми оценками — «общепринятым». В новой книге писательница обращается к своему детству, не к какому-то «детству вообще», не к нейтральному «детству», покорному общим возрастным законам, а к тому неповторимому, особому, единичному, чем является для каждого его детство; в данном случае, детство Натали Саррот, а точнее — Наташи Черняк, которая родилась в первый год нашего века в Иваново-Вознесенске, потом, после развода родителей, жила с матерью и отчимом в Петербурге, а впоследствии в Париже с мачехой и отцом, который эмигрировал во Францию из страха перед царской охранкой, преследовавшей его брата, эсера-боевика.

Натали Саррот не отказывается и в «Детстве» от выработанного ею и доведенного до совершенства орудия воссоздания «тропизмов» — своего как бы приглядывающегося, осторожно примеривающегося, нащупывающего, изобилующего почти синонимическими эпитетами языка, который стремится ухватить малейшее душевное движение еще на «подходе» к выражению, еще на лету, пока оно не «стало», не отвердело в слове, пока переливается всеми оттенками живой жизни. Кардинально меняется, однако, внутреннее здание этой изобразительной техники. Если в романах неустанное бурление, доходящее подчас до двенадцатибалльного шторма волнение глубин «ничейного» сознания застывало, подымаясь на поверхность, штилем банальностей, выявляло свою пустопорожнюю бесплод-

ность, никчемность, свое поистине «много шума из ничего», то в «Детстве» «тропизмы» — это сохраненные взрослой памятью детские порывы, впечатления, чувства, которые не могли оформиться в слове не потому, что ребенок—«стертая личность», но потому лишь, что он не анализирует своих переживаний, не формулирует их. «Фактура распространенных рассуждений о детстве построена... на желании описать все с позиции взрослого. Я же принципиально отказываюсь конструировать что-либо, просто хочу воспроизвести то, что ощущала ребенком в такой-то момент,— объясняла Натали Саррот в беседе с сотрудницей «Иностранной литературы» Евгенией Стояновской, работая над «Детством», и добавляла: — В конце концов, очевидно... можно будет сделать какие-то выводы и о характере среды и отдельных людей, но это не то, чего я добиваюсь прежде всего,— ведь сама-то я в детстве этого не чувствовала...»[1]

Собственно, переход писательницы от стертого и безличного к единично неповторимому наметился уже несколько лет тому назад в крохотном этюде «Ich sterbe», посвященном, как явствует из названья, предсмертным минутам Чехова. Автор задает себе вопрос, почему последние слова русского писателя были произнесены на чужом языке? И пытается дать свой ответ на пяти страничках, неопределимых по жанру. Весьма условно это может быть названо эссе, поскольку мысль, движимая потоком ощущений, эмоций, пробуждаемых у Натали Саррот лингвистической странностью, хоть и подвластна внутренней логике, но нигде не выражена логически, не превращается в рассуждение на тему. У движения мысли образная структура и свой — делающий «Ich sterbe» почти стихотворением в прозе — завораживающий ритм, сбивчивый пульс, живое дыханье. Свой ответ Натали Саррот строит, как бы вживаясь в сознанье умирающего, как бы догадываясь о том, что происходит, что может происходить в этом особом — именно чеховском, только чеховском — сознании в эту особую, последнюю, минуту. Натали Саррот нащупывает через эти последние слова индивидуальность Чехова, его отношение к жизни, обусловленное еще отчасти и тем, что он врач, его обостренное чувство слова — интимного, обкатанного жизнью, эмоционально окрашенного «я умираю» и холодного, чужого, «добротного немецкого изготовления» «Ich sterbe».

Обостренная чувствительность к звучанию слова присуща и самой Натали Саррот. Можно сказать, даже опаска, вызываемая скрытыми его возможностями, притаившимися ассоциациями, коварной способностью слова сузить, сковать, зажать, сплющить душевное движение, отнять у него непосредственность, наклеить на неповторимое ярлык «общего места». Как воскресить не исказив то, что было пережито девочкой? Вот например, восьмилетняя Наташа — Ташок, Ташочек, как называет ее отец,— сидит на скамейке в Люксембургском саду, ей только что прочли сказку Андерсена, перед ней зеленая лужайка, шпалеры роз, деревья в цвету. И она вдруг чувствует, как ею овладевает «что-то неповторимое, чувство, настолько острое, что и сейчас, после того как утекло столько времени и оно возвращается ко мне ослабевшим, отчасти стершимся, я испытываю... но что? каким словом передать это? Нет, это не расхожее «счастье», подворачивающееся первым, никак не оно... «блаженство», «восторг» — слишком уродливы, их и близко подпускать нельзя... «экстаз» — от этого слова то, что я чувствую, корчится, сжимается... «Радость»? Да, пожалуй... это совсем непритязательное скромное словечко может прикоснуться, опасность невелика... но оно не способно вобрать то, что меня пронзает, переполняет, льется через край, сейчас уйдет, растворится в розовом кирпиче, в цветущих шпалерах, лужайке, белых и душистых лепестках, в дрожащем воздухе, по которому пробегает едва ощутимый трепет, волны... волны жизни, да, просто жизни, зачем искать другое слово?..»

Скрупулезная точность по отношению к давно пережитому заставляет писательницу превратить свою книгу в череду отдельных кадров, не склеиваемых, не монтируемых в цельную ленту. Никакой соединительной ткани — только те эпизоды, которые, по своему капризу или в силу их внутренней значимости, сохранила память. Та же скрупулезность вводит в мемуары второй, дотошно проверяющий голос — свой собственный, разумеется, но допрашивающий самое себя с пристрастием: а не присочинила ли ты чего? А мог ли так подумать, так почувствовать, так к чему-то отнестись ребенок?

Из этих коротких, иногда «двуголосых» сцен постепенно встает характер (и для того, кто знаком с Натали Саррот,— характер, легко узнаваемый и сегодня, столько десятилетий спустя). Вырисовывается личность своевольной, хотя в то время и послушной девочки, прямой, трудолюбивой, замкнутой, рано начавшей смотреть на мир своими глазами, рано начавшей прислушиваться к звучанию слова и, еще до того как ей далась орфография, уже сочинявшей «романы». И проступают люди, окружающие Наташу. Особенно замечательны фигуры матери и мачехи, объемные, противоречивые, притягательные и отталкивающие, несущие в себе некие неповторимые свойства русской интеллигенции — разных слоев русской интеллигенции конца XIX — начала XX века. Хотя Натали Саррот не говорит о них обеих ничего такого, чего не могла бы почувствовать девочка, поставленная жизнью между горячо любимой, но слишком занятой собой и своей новой семьей, чтоб ответить на это чувство, буржуазной по своим замашкам красавицей матерью и не умеющей скрыть неприязни к «подкидышу», соперничающему с ее собственной дочерью, по-видимому не слишком счастливой в своей семейной жизни, страдающей от комплекса неполноценности, истеричной мачехой

Мемуаристка не дает нравственных оценок с высоты своего сегодняшнего жизненного опыта, но тем не менее читатель ощущает чистоту этической ноты, звуча-

[1] «ИЛ», 1982, № 8.

щей в воспоминаниях,— то интуитивное различение хорошего и дурного, злого и доброго, которое присуще ребенку, растущему в здоровой среде. И здесь хочется отметить еще одну сторону «Детства», роднящую его с русской литературой — благодарное уважение к тем, кто «служит народу».

В мемуарах Натали Саррот это, с одной стороны, русские революционеры, с которыми она встречается в доме отца, с другой — французские учителя начальной школы, сумевшие передать девочке не просто свои знания, но и свою убежденность в том, что знание откроет перед ней весь мир, возможность всего достичь собственными силами, что знание способно преодолеть сословное неравенство. Атмосфера подлинного демократизма, в которой росла Н. Саррот, которую она доносит до нас, рассказывая о том, что чувствовала ребенком, закрепляет «Детство» в определенной исторической эпохе с ее верой в несокрушимость идеалов свободы, равенства и братства, с самозабвенным служением лучших людей этим идеалам, с пока еще не омраченной грядущими катаклизмами убежденностью в непрерывности поступательного движения человечества и в неодолимости прогресса.

«Когда я смотрю на этих женщин и мужчин, сидящих за столом,— пишет Натали Саррот, Наташа, о друзьях отца,— уже немолодых, немного грустных и усталых, я думаю, что, глядя на них, никто б не догадался, до чего незаурядны эти люди, какие они необыкновенные — революционеры, герои, которые, не дрогнув, шли навстречу самой страшной опасности, противостояли царской полиции, бросали бомбы... Они шагали «по этапу», в кандалах, в далекую Сибирь, их запирали в казематах, приговаривали к повешенью, а они спокойно встречали смерть, готовые, когда окажутся у подножья виселицы... крикнуть в последний раз: «Да здравствует Революция! Да здравствует Свобода!» Это несколько лубочное — но может ли быть иным восприятие десятилетней девочки? — описание тех, «перед кем я преклоняюсь нераздельно», дополняется рассказом о том, кого Наташа любит «больше всех»: о господине Иванове, чье лицо «дышит добротой», деликатностью и о котором ей известно, что, приговоренный к смертной казни, замененной потом тюремным заключением, он просидел с двадцати до сорока пяти лет в Шлиссельбургской крепости.

«Детство» обрывается на лете 1914 года. Детство Наташи кончается, когда объявление войны заставляет ее мать, приехавшую во Францию, чтобы с ней повидаться, опрометью кинуться обратно домой, в Петербург. И хотя автор в разговоре со своим «вторым голосом» отказывается объяснять, почему именно на этом ставит точку, можно принять, как рабочую гипотезу, такое истолкование владеющего ею чувства, что именно с войной детство кончилось и началось нечто другое: биографическое время людей поколения Натали Саррот удивительно точно совпало с временем историческим. И если первая мировая война стала для них порой отрочества, то только вторая сделала их людьми окончательно зрелыми. При всей своей интимности, камерности, отсутствии каких бы то ни было посягательств на исторические обобщения «Детство» Натали Саррот исторично в силу своей психологической точности.

Л. ЗОНИНА

СОВРЕМЕННЫЙ КИТАЙСКИЙ РАССКАЗ

И цзю ба лин нянь цюаньго юсю дуаньпянь сяошо пинсюань хоцзян цзопиньцзи. Шанхай вэньи чуданьшэ, 1981.

Сборник лучших китайских рассказов, удостоенных премии за 1980 год. 1981.

Советский читатель уже знаком с рассказами писателей КНР. В пятидесятых — начале шестидесятых годов в Советском Союзе переводилось немало произведений, созданных авторами страны, только что вставшей на путь социалистического развития С тех пор прошло немало лет. В культурной жизни страны произошли большие перемены, но рассказ, как и прежде, остается одним из наиболее плодотворных жанров литературы. В 1980 году был проведен третий всекитайский конкурс на лучший рассказ. Двадцать пять известных китайских писателей и критиков во главе с одним из старейших мастеров пера Мао Дунем должны были отобрать наилучшие образцы из огромного числа произведений, представленных на суд жюри. Рассказы, отмеченные жюри, вышли затем в «Сборнике лучших китайских рассказов, удостоенных премии за 1980 год».

Тридцать рассказов, включенных в сборник, знакомят читателя с разными аспектами жизни Китая. Первую премию получил рассказ (а по существу, скорее повесть) Сюй Хуайчжуна «Незначительные события на западном фронте», повествующий о шести китайских девушках-связистках, направленных во Вьетнам в составе одной из воинских частей в феврале 1979 года. Автор пытается убедить читателей в том, что события, о которых идет речь, являются всего лишь незначительным инцидентом в дружественных отношениях между китайским и вьетнамским народами. Сюй Хуайчжун вынужден признать, что вьетнамские бойцы проявили в боях большую храбрость и мужество. Он с уважением рассказывает о подвиге вьетнамского радиста, вызвавшего на себя огонь своей артиллерии, чтобы уничтожить окруживших его китайских солдат. Да и сами китайские солдаты изображаются Сюй Хуайчжуном уже не как бездумные «винтики типа образцового солдата» Лэй Фэна, некоторое время назад еще столь популярного в Китае. Молодые солдаты понимают, что война — это отнюдь не увеселительная прогулка, многие из них ждут предстоящего боя с чувством безысходности и думают о возможной гибели.

О борьбе между старым и новым в сегодняшней китайской деревне, о том, как у простого крестьянина вырабатывается

жизненная позиция, говорится в рассказе Хэ Шигуана «В деревне», получившем вторую премию. Герой рассказа, крестьянин-бедняк, деревенский пьяница по имени Фэн Яоба, оказывается замешанным в конфликте между двумя женщинами: женой бухгалтера продовольственного пункта закупки и сбыта, в руках которого находится снабжение всей деревни продуктами, и женой скромного деревенского учителя. Симпатии крестьян, естественно, на стороне жены учителя, женщины тихой и безобидной, но они не осмеливаются открыто выступить против жены человека, имеющего власть над деревней. Секретарь партийной ячейки коммуны, конечно, мог бы по справедливости разобраться в споре, но он предпочитает от этого уклониться. И только Фэн Яоба, к которому крестьяне привыкли относиться пренебрежительно, после долгой и мучительной борьбы с собой находит силы и смелость вступиться за правду, рискуя навлечь на себя немилость тех, от кого зависит его кусок хлеба. Он как бы от имени своих односельчан высказывает гнев и боль, накопившиеся за долгие годы. Крестьяне, воодушевленные его порывом, поддерживают его. Мысль автора очевидна: сила народа в единстве, перед народом отступает самый могущественный и наглый враг.

Рассказ Цзян Цзылуна «Дневник секретаря директора завода» посвящен одной из наиболее острых проблем, стоящих перед страной,—проблеме отношений руководителя производства с коллективом. Герой этого рассказа Вэй Цзисян за короткое время побывал секретарем у трех директоров небольшого химического завода. Все они были вынуждены уйти из-за интриг заместителя директора завода, который сам стремился занять директорское место. Но вот на завод назначен новый директор. Он с первых дней развивает кипучую деятельность, проявляет интерес к нуждам рабочих и быстро завоевывает их симпатии. Новый директор прекрасно умеет со всеми ладить. Есть у него друзья среди руководящих работников вышестоящего управления. Однажды в приливе откровенности директор сообщает секретарю, что если в капиталистическом мире ключом ко всем дверям являются деньги, то в Китае необходимо иметь хорошие связи. Вскоре новый директор добивается выплаты работникам завода больших премий, часть которых он кладет в свой карман. Секретарь понимает, что такая деятельность наносит ущерб государству, что она незаконна Рабочие и служащие завода пока еще верят директору, но кое-кто уже начинает прозревать. И хотя на выборах в народные представители директор получает большинство голосов, Вэй Цзисян уверен, что люди разберутся в конце концов, что это за человек, и в следующий раз он наверняка потерпит поражение. Даже сам директор осознает, что идет ложным путем, и на выборах голосует против собственной кандидатуры, но измениться уже не может Слишком большое влияние оказала на него среда, в которой десятилетиями формировались руководители подобного типа. Чтобы изменить сложившееся положение, необходимо многое изменить в обществе, а хватит ли для этого у китайского руководства сил и желания, покажет время.

Многие рассказы сборника посвящены любви. Как известно, тема эта в течение длительного времени находилась в китайской литературе под запретом. В лучших из рассказов авторы стремятся показать, как стало возможным то, что в течение десяти лет происходило в Китае. Действие рассказа Хань Шаогуна «Смотрю на запад, на заросли тростника» развертывается перед началом «культурной революции». Автор повествует о жизни китайской молодежи, направленной на работу в деревню в один из отдаленных районов страны. Первое время юноши и девушки трудятся с энтузиазмом, отдавая все свои силы благородному делу — возрождению деревни и улучшению жизни крестьян. Один из героев рассказа, юноша по прозвищу Сяо Ма, знакомится с деревенской девушкой. Она помогает городским ребятам лучше узнать крестьянскую жизнь, быстрее приспособиться к ней. Вечерами девушка часто сидит у костра со своими новыми друзьями и, хотя не осмеливается еще участвовать в их беседах, берет у них иногда книги о Павле Корчагине, Александре Матросове, стихи Пушкина и Маяковского. Дружба Сяо Ма и девушки перерастает в любовь, но даже в то время любовь уже считалась едва ли не преступлением. Влюбленных критикуют на общем собрании и разлучают. А над страной между тем сгущаются тучи. Молодежи запрещают возвращаться в города, ухудшается снабжение продовольствием. В газетах больше пишут о политике, чем о положении дел на производстве и в сельском хозяйстве. Рабочие и городская молодежь, направленная в деревню, не скрывают своего разочарования и пессимизма. Обстоятельства вынуждают Сяо Ма навсегда расстаться со своей любимой. Не вынеся разлуки, девушка умирает. Юноша и его друзья потрясены ее смертью; они пытаются понять причины случившегося. Но их переводят на работу в другое место. В вагоне поезда Сяо Ма размышляет о годах жизни, проведенных в этой отдаленной деревне, но надеется, что все горести, которые он и его товарищи здесь испытали, не окажутся напрасными.

Среди рассказов, отмеченных премиями, есть и произведения молодых, но уже ставших популярными писателей. Глубоко лиричный рассказ представительницы молодого поколения китайских авторов Чжан Канкан «Лето» проникнут любовью к китайской молодежи, стремлением помочь ей найти свое место в жизни. Героиня рассказа и ее подруга приходят к выводу, что за счастье надо бороться, что нельзя слепо следовать догматическим установкам. Девушки утверждаются также в мысли, что современное общество должно создавать условия для всестороннего развития личности.

Писатели старшего поколения представлены в сборнике рассказом одной из старейших писательниц Китая Се Бинсинь, чьи произведения переводились за пределами страны, в том числе и в Советском Союзе. Рассказ Се Бинсинь «Пустое гнездо» — это грустная история человека, приехавшего на родину, которую он покинул много лет назад, и встретившего вновь

старых друзей. Он понимает, что прошлого не вернуть и что, потеряв самое дорогое, он ничего не нашел взамен в чужой стране.

В сборник включены и рассказы писателей из национальных меньшинств Китая. Заслуживает внимания рассказ монгола Малчинху «История живого Будды». Это история о том, как маленький сын простого ламы был избран согласно буддийской традиции живым Буддой. Веселый, изобретательный, неунывающий ребенок вдруг попадает в мир, где все подчинено суровым законам религии. Но герой рассказа сумел пронести через всю долгую жизнь доброту и любовь к людям, стремление быть им полезным. Многие годы он посвятил составлению трактата по народной тибетской, монгольской и китайской медицине. Хотя он и стоял на высшей ступени религиозной иерархической лестницы, однако скептически относился к слепой вере. Уже в преклонном возрасте встретившись с другом своего детства, он говорит ему, что люди сами создают духов в своем воображении, а эти духи впоследствии смеются над ними.

Темы, к которым обращаются авторы этого сборника рассказов, в большинстве своем перекликаются с наболевшими вопросами, волнующими многих людей в Китае. Что же это за вопросы? К ним можно отнести прежде всего положение в экономике страны, трудности в деревне, проблему китайской молодежи, борьбу с последствиями «культурной революции» и критику «банды четырех». В последние годы в литературе Китая произошли заметные изменения: по сути, она переживает сейчас второе рождение. Возросло количество издаваемых произведений. Успешно развиваются жанры повести и рассказа. Именно в этих жанрах работают лучшие писатели сегодняшнего Китая. Им дорого будущее страны, они не хотят повторения прошлых ошибок и потому честно говорят о том, что видели своими глазами, о том, что происходит сейчас в стране.

А. СЕЛЕЗНЕВ

Советская литература за рубежом

ПОЛЬША

Повесть ЮРИЯ БОНДАРЕВА «Родственники». Издательство «ПИВ».

Повесть КОНСТАНТИНА СИМОНОВА «Дни и ночи». Издательство «МОН».

Повесть ВЛАДИМИРА ТЕНДРЯКОВА «Затмение». Издательство «Чительник».

Роман АЛЕКСЕЯ ТОЛСТОГО «Хождение по мукам». Издательство «КиВ».

Книга ВИКТОРА ШКЛОВСКОГО «Лев Толстой». Издательство «ПИВ».

Роман ВАСИЛИЯ ШУКШИНА «Я пришел дать вам волю...». Издательство «КиВ».

ФРАНЦИЯ

Рассказы ИСААКА БАБЕЛЯ «Конармия». Издательство «Галлимар».

Повесть МАКСИМА ГОРЬКОГО «Городок Окуров». Издательство «Сток».

Роман ВЛАДИМИРА ОРЛОВА «Альтист Данилов». Издательство «Акрополь».

ФРГ

Рассказ ВИКТОРА АСТАФЬЕВА «Конь с розовой гривой». Издательство «Парабель».

Стихи ОСИПА МАНДЕЛЬШТАМА. Издательство «Фишер».

Роман БОРИСА ПИЛЬНЯКА «Голый год». Издательство «Зуркамп».

Повесть АРКАДИЯ и БОРИСА СТРУГАЦКИХ «Пикник на обочине». То же издательство.

Роман ЮРИЯ ТРИФОНОВА «Старик». Издательство «Ровольт».

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

Роман ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА «И дольше века длится день». Издательство «Лидове накладателстви».

Повесть АНАТОЛИЯ АЛЕКСИНА «Безумная Евдокия». Издательство «Альбатрос».

«Избранное» ВАЛЕРИЯ БРЮСОВА. Издательство «Одеон».

Роман НОДАРА ДУМБАДЗЕ «Закон вечности». Издательство «Лидове накладателстви».

Рассказ МИХАИЛА ШОЛОХОВА «Судьба человека». Издательство «Младе лета».

Из месяца в месяц

АВСТРАЛИЯ

АВСТРАЛИЙСКАЯ САГА

Фильм режиссёра Филлипа «Новости дня» — новое подтверждение тому, что самостоятельное австралийское кино существует, не являясь подражанием английскому и американскому. По мнению кинокритики, австралийские кинематографисты достигли подлинного профессионализма и доказали способность создавать серьезные фильмы, где наряду с индивидуальными судьбами передана особая атмосфера страны и картина целой эпохи.

Фильм «Новости дня» рассказывает о пятидесятых годах, когда австралийское кино существовало в основном как хроникально-документальное и пользовалось большой популярностью. Лен Мегуаер, герой фильма,— главный оператор кинохроники, страстно увлеченный своей профессией. В фильме прослеживается как его частная жизнь, так и профессиональная. Действие постоянно перемежается кадрами кинохроники, показывающей подлинные события австралийской жизни: участие австралийцев в войне на территории Новой Гвинеи, первые симптомы «холодной войны», оголтелая кампания против «коммунистической опасности», объявление компартии Австралии вне закона, появление телевидения, изменившего методы работы хроникеров, и прочее. Умелое использование документальных кадров, нередко обладающих большой драматической силой, как, например, кадры о наводнении, во время которого погиб один из кинорепортеров, чередование цветного изображения и черно-белой хроники усиливают впечатление, как пишет рецензент газеты «Юманите», от этой «австралийской саги», широко отразившей жизнь австралийского общества тех лет.

На снимке: кадр из фильма «Новости дня».

(Газета «Юманите»)

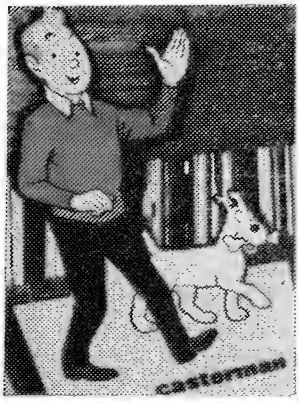
БЕЛЬГИЯ

ТЭНТЭН ПРОДОЛЖАЕТ ЖИТЬ

Когда более полувека назад на страницах молодежного приложения брюссельской газеты «XX век» появился забавный человечек со светлым чубом и в брюках для игры в гольф, его создатель Жорж Реми, придумавший Тэнтэна, вряд ли подозревал, какая слава ждет его героя.

Издававшиеся сначала скромным тиражом в пять тысяч экземпляров, книги молодого художника, взявшего себе псевдоним Эрже, быстро полюбились читателю. Выполненные на высоком профессиональном уровне, полные оптимизма и тонкого юмора, альбомы Эрже разительно отличались от захлестнувшего Европу потока дешевых комиксов из-за океана. Приключения Тэнтэна стали любимым чтением детей: вместе с неутомимым героем они пересекали Сахару, путешествовали по Амазонке, искали снежного человека в горах Тибета, узнавали много интересного о природе и обычаях жителей далеких стран, о которых с энциклопедической точностью рассказывал автор. Эрже удалось создать галерею необычайно живых и колоритных персонажей. Это незадачливый капитан Аддок, рассеянный Турнесоль, недоверчивые близнецы-детективы Дюпоны и, конечно, находчивый Тэнтэн Их имена стали нарицательными. а изречения — крылатыми.

Сегодня Тэнтэн, как пишет «Нувель обсерватёр» в статье, посвященной памяти недавно умершего Эрже, стал неотъемлемой принадлежностью франкоязычной культуры. Изображение персонажей Эрже можно увидеть на плакатах во время избирательной кампании и на почтовых марках, на ви-



На снимке: Тэнтэн, маленький человечек, созданный художником Эрже, герой многих забавных историй, также написанных художником.

(Журнал «Нувель обсерватёр»)

зитных карточках и на полках коллекционеров-«тэнтэнофилов», на телеэкране и в витринах магазинов игрушек. В 1979 году, незадолго до смерти Эрже, появился «музей Тэнтэна», где собрано все, что связано с созданием двадцати трех альбомов его приключений.

Как-то де Голль шутя заметил, что его единственный соперник по популярности — Тэнтэн. И, пожалуй, для трех поколений читателей, выросших на книгах талантливого бельгийского художника, в словах французского президента мало преувеличения.

БОЛГАРИЯ

НОВЫЙ РОМАН А. ГУЛЯШКИ

К числу лучших произведений последнего времени болгарская критика единодушно относит новый роман «Скиталец бродит по свету» известного прозаика Андрея Гуляшки, книги которого широко переводились в нашей стране.

Самым проникновенным, философским и блестящим в художественном отношении романом писателя назвал его критик Д. Танев в докладе на состоявшейся в апреле этого года дискуссии болгарских писателей, подводившей итоги литературного 1982 года. Композиционно роман объединяет история поисков и расшифровки старинной рукописи. В нем отображены несколько эпох, различных общественных движений, в которых участвуют три его героя, носящие одно имя. Один из героев — наш современник, видный нейрохирург Лука Шейтанов. Одаренная творческая личность, он смело отстаивает новое в науке. Второй герой — его отец, боровшийся против фашизма во время гражданской войны в Испании и в рядах французского Сопротивления в годы второй мировой войны. Третий герой — их далекий предок, последователь учения богомилов и участник войн альбигойцев во Франции в XIII веке.

Как отмечает болгарская критика, писатель показывает не только своеобразие характера каждого из них, но и то общее, что их роднит, показывает один человеческий тип романтика, борца, скитальца, посвятившего себя служению высокому идеалу.

Автору, подчеркивает критик Е. Каранфилов, удалось убедительно показать неразрывную связь патриотизма и интернационализма.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

КНИГА О РОБЕРТЕ ГРЕЙВЗЕ

В этой книге более шестисот страниц — Мартин Сеймур-Смит несколько лет собирал материал: документальный, иллюстративный, художественный, чтобы написать о своем друге, ведущем поэте англоязычной литературы Роберте Грейвзе. Через два года Грейвзу будет девяносто — он автор нескольких десятков поэтических сборников, многих исторических романов (дилогия «Я, Клавдий» и «Бог Клавдий» принесла Грейвзу всемирную известность, по романам был снят фильм), философских, эстетических и антропологических трактатов и эссе.

По отзывам рецензентов, достоинство книги «Жизнь и творчество Роберта Грейвза» — в живости подачи материала, в том, что широко цитируются стихотворения Грейвза. Читатель несомненно составит себе точное представление о взглядах поэта, его окружении, его жизни на небольшом испанском острове Мальорка, куда он приехал в начале 30-х годов и где провел большую часть жизни.

«С самого начала,— пишет Сеймур-Смит,— Грейвз был одержим поиском истины и желанием сохранить в своем творчестве чистоту». Тем страшнее была для юного Грейвза «открытия истины» в ее трагически будничном проявлении, в крови и ужасах сражений, которые он познал во время первой мировой войны. Тяжелое ранение усугубило ломку, произошедшую в сознании Грейвза, — воспоминания о войне преследовали его не-

---

С большим успехом прошел на XIII Московском фестивале фильм «Равновесие» режиссера Людмила Киркова по сценарию Георгия Мишева и Станислава Стратиева. Это фильм о поисках душевного равновесия, которое хочет обрести герой картины — киносценарист. Он выступает поначалу как безучастный свидетель чужих трагедий, ни во что не вмешиваясь ни в жизни, ни на съемочной площадке, результатом чего является его творческая неудача. Эта неудача заставляет художника задуматься о ее причинах, и он начинает понимать, что художник не имеет права быть равнодушным. Главные роли сыграли известные актеры Пламена Гетова и Георгий Георгиев-Гец (на фото).

(«Кинобюллетень»)

отступно — не столько ночные кошмары, как последствия контузии, сколько несоответствие двух миров — жизнелюбивого, гармоничного, «детского» мира Грейвза до 1914 года и ужасного, исковерканного мира окопов и траншей. Грейвз вошел в европейскую поэзию как поэт лирический. Многие его стихи — незаживающая рана, в них боль и смятение человека, потерявшего «точку отсчета».

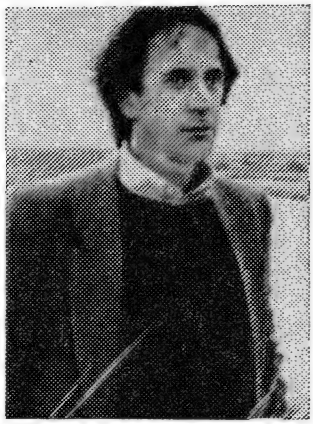
«УДАР КУЛАКА, ЗАСТАВЛЯЮЩИЙ ДУМАТЬ»

Фильм «Обед пахаря» режиссера Ричарда Эйра рецензент американского журнала «Ньюсуик» сравнил с ударом кулака. На последнем Каннском фестивале за ним закрепилось определение «слишком английский». И хотя фильм не участвовал в конкурсном показе, он привлек к себе пристальное внимание критики.

«Обед пахаря» — широко распространенное в Англии блюдо, состоящее из хлеба, сыра и солений, название фильма подчеркивает типичность событий, обрисованных в картине, повествующей о пути наверх молодого журналиста, прекрасно усвоившего правила восхождения по социальной лестнице в «Тэтчерленде», как характеризует журнал современную Англию.

Герой, вернее антигерой фильма, Джимми Пенфилд пишет исторический очерк в пользу правительства тори. Политический хамелеон, он оставляет на своем пути шлейф предательств: своих родителей-рабочих, женщины-историка, известной ученой, у которой он крадет часть работы, своих коллег,— всех, кто поддается его обаянию. Сам Пенфилд попадает в высшие сферы благодаря любовнице. Британская критика сравнивает фильм с «Путем наверх» (известная картина по одноименному роману Джона Брейна). Однако, как подчеркивает американский рецензент, подлинный герой фильма не Пенфилд, а фолклендский кризис. И героями картины невольно становятся сама Тэтчер и окружающие ее политики из кабинета тори — потому что режиссеру удалось снять целый ряд сцен непосредственно в зале Брайтонской конференции, где его киногруппа была неприметна среди множества других репортеров телевидения и кино.

«Обед пахаря» — первая художественная лента одного из самых известных театральных режиссеров Ричарда Эйра. Сценарист Макивен, как пишет «Ньюсуик», пожалуй, самый одаренный английский автор коротких рассказов. Исполнитель главной роли — Джонатан Прайс, популярный английский актер. Режиссер, сценарист и актер — три близких друга, что немало способствовало воплощению замысла фильма.



На снимке: Джонатан Прайс — исполнитель главной роли в фильме «Обед пахаря».

(Журнал «Ньюсуик»)

И хотя фильм назвали «слишком английским», пишет журнал, он пользуется широкой популярностью в США. «Забавный, ироничный, а главное — заставляющий думать, что сегодня встречается нечасто, фильм производит большое впечатление. Он затрагивает проблемы современной английской социальной системы, создания идеологических мифов, ограниченности свободы журналистов. «Видимо, мы являемся свидетелями не только возрождения английского кино, но и рождения совершенно нового для кино Великобритании явления»,— заключает рецензент журнала Э. Бер.

ВЕНГРИЯ

ПАМЯТИ МИХАЯ БАБИЧА

В ноябре Венгрия широко отмечает столетний юбилей со дня рождения «одного из корифеев венгерской литературы XX века», поэта, прозаика, эссеиста, историка литературы, переводчика, литературного критика Михая Бабича.

О мероприятиях, посвященных этому юбилею, рассказал на страницах книжного обозрения «Кёныввилаг» литературовед Лаойш Пок.

В феврале этого года в городе Капошваре состоялась теоретическая конференция. В ходе ее были заслушаны доклады, авторы которых с позиций сегодняшнего дня подошли ко многим уже известным и новым фактам жизни и творчества писателя.

Исследователь творчества Михая Бабича Янош Тегласш вместе со студентами Специальной профшколы полиграфической промышленности выпустил сборник документов «Материалы к биографии Михая Бабича».

Другой исследователь, Ласло Вайтхо, с сотрудниками издательства «Сепиродалми» подготовил для серии «Венгерские литературные раритеты» «Интервью с Михаем Бабичем», факсимиле первого издания романа «Дети смерти», книги воспоминаний «Софи Тёрёк о Бабиче» и «Бабич и Нора Тесситори».

На родине писателя в городе Сексарде воссоздан музей Бабича. Его стенды пополнились новыми интересными экспонатами и документами.

Но особо важное значение, подчеркивает Лайош Пок, приобретают изданные в этом году две новые книги о Михае Бабиче,— это монография Дьёрдя Рабы «Михай Бабич» и первый том биографии «Годы учебы Михая Бабича» недавно скончавшегося литературоведа Дьёрдя Белиа.

Дьёрдь Раба, в течение многих лет занимающийся исследованием поэзии Михая Бабича, показал в своей монографии, как указывает Пок, роль философских воззрений поэта в становлении его стихотворного метода. Что касается прозы, то Лайошу Року некоторые положения Рабы кажутся не очень доказательными, например история воплощения замысла романа «Дети смерти».

В первом томе «Биографии Михая Бабича» Дьёрдя Белиа, по мнению Пока, родилась фигура живого человека. Пок отмечает, что Белиа удалось показать взаимосвязь между отдельными фактами биографии писателя и их отражением в его творчестве.

Венгерские издательства выпустили в этом году и целый ряд произведений самого Михая Бабича.

«ИГРА И...»

Так называется новый венгерский ежеквартальный журнал, который издается на четырех языках, помимо венгерского. Главный редактор журнала — преподаватель института декоративно-прикладного искусства, изобретатель «волшебного кубика» Эрнё Рубик.

Обращаясь к читателям первого номера журнала, Эрнё Рубик писал: «Для меня игра — очень емкое понятие. Это и образ жизни, и способ мышления, и путь к познанию истины и счастью». Создание международного журнала игр, считает Э. Рубик, дает редкую возможность объединить взрослых и детей, представителей всех народов.

Журнал интересен и «теоретикам вращения кубика» — сложные, увлекательные решения складывания кубика, которые здесь рассматриваются, помогают

На снимке: Эрнё Рубик с дочерью.

(Журнал «Игра и...»)

развивать пространственное воображение, логическое мышление. Интересен он и широкому читателю. На страницах журнала печатаются различные задачи, всевозможные головоломки (страсть к разгадыванию головоломок не имеет возрастных пределов), много любопытного, познавательного материала — об истории игр разных народов, о математических олимпиадах, о том, как можно играть с вычислительной машиной, о музее игр в Кечкемете, об «играющих» поэтах (в одном из номеров журнала воспроизведены каллиграммы Аполлинера и венгерских поэтов Лайоша Кашшака и Ференца Юхаса).

«В каждом из нас живет homo ludens (играющий человек)»,— утверждают создатели журнала, знакомя своих читателей с самыми разными, подчас неожиданными аспектами взаимосвязей: игра и пространство, игра и спорт, игра и искусство, игра и наука, игра и логика.

не пробовала себя в жанре фантастики. Ее творчество посвящено большим и маленьким проблемам современной действительности, проблемам, которые ее волнуют и которыми она занимается очень серьезно»,— пишет в газете «Нойес Дойчланд» Рената Дренков.

Новый роман «Как и другие люди», выпущенный в издательстве «Миттельдойчер ферлаг», продолжает это основное направление. Эльфрида Брюнинг рассказывает о трех поколениях «женской» семьи: писательнице Элизабет, ее дочери Юлиане, по профессии переводчице, и маленькой дочери Юлианы — Карменсите. Роман охватывает сравнительно небольшой отрезок времени (одиннадцать лет), повествование заканчивается серединой семидесятых годов. Но из воспоминаний Элизабет, от имени которой ведется рассказ, перед читателем предстает сорокалетняя история страны, картина антифашистской борьбы, в которой участвовала героиня романа, ее трудный путь писательницы-коммунистки.

Личная жизнь Элизабет не сложилась, брак ее оказался неудачным. Она воспитывала дочь одна. Теперь и внучка растет без отца — чилийского коммуниста, уехавшего на родину, чтобы бороться за ее освобождение. Между Элизабет и Юлианой возникают конфликты, связанные с воспитанием Карменситы..

Как отмечают рецензенты, основные темы, которые затрагивает роман,— воспитание детей, женская независимость, взаимоотношения в семье. Но писательница касается и темы интернационализма, и борьбы за свободу.

«Роман читается с большим интересом,— пишет рецензент еженедельника «Зоннтаг».— Он написан хорошим, современным языком. Благодаря многим вводным историям, писательница создает широкую панораму современной жизни».

«Как и предыдущие книги Эльфриды Брюнинг, роман найдет широкий отклик у читателей и послужит темой обсуждений и дискуссий»,— отмечает газета «Нойес Дойчланд».

ЕГИПЕТ

«ПОЭТ ИЗМОЖДЕННЫХ ТЕМНОКОЖИХ БЕДНЯКОВ»

Скончался известный египетский писатель-новеллист Яхья ат-Тахир Абдалла.

Телевидение Германской Демократической Республики показало фильм по сценарию Ганса Вебера «Роберт в Берлине» (режиссер Бодо Фюрнайзен).

В центре фильма — судьба молодого рабочего Роберта, приехавшего в Берлин из маленькой мекленбургской деревни. Как отмечают рецензенты, это «веселый и вместе с тем серьезный фильм о современной молодежи».

На снимке: кадр из телевизионного фильма «Роберт в Берлине». В главной роли актер Петер Вельц (справа).

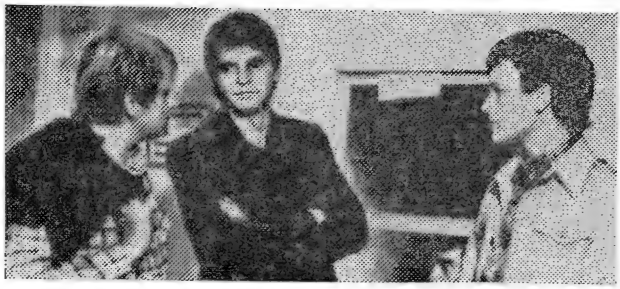
(Газета «Нойес Дойчланд»)

ГДР

РОМАН ЭЛЬФРИДЫ БРЮНИНГ

На IX съезде писателей ГДР среди немногих оставшихся в живых членов Союза пролетарских революционных писателей была награждена орденом «Знак почета» одна из старейших писательниц Эльфрида Брюнинг. Книги писательницы хорошо известны в Германской Демократической Республике.

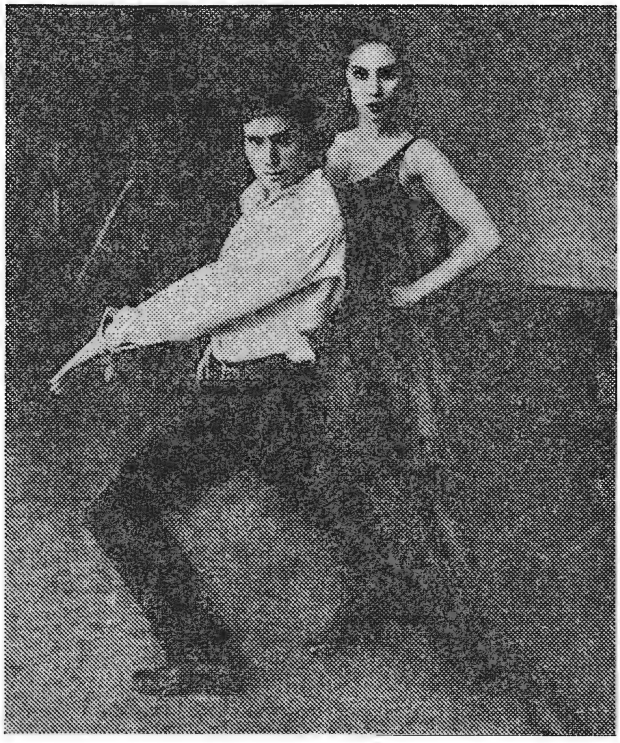
«Эльфрида Брюнинг никогда не пыталась писать исторические романы, она



В некрологе, опубликованном в издающемся в Париже прогрессивном арабском журнале «Аль-Йасар аль-араби», Яхью ат-Тахира Абдаллу называют «поэтом изможденных темнокожих бедняков», так как в своих рассказах писатель правдиво и с неподдельным сочувствием рисовал жизнь феллахов Верхнего Египта, откуда он сам был родом.

После революции 23 июля 1952 г. реалистическое творчество Абдаллы и других писателей — выходцев из демократических слоев населения стало важной составной частью египетской культуры.

Рассказы Яхьи ат-Тахира Абдаллы пользуются заслуженной популярностью на родине писателя и в других арабских странах. Некоторые из них переведены на иностранные языки, в том числе на русский.



На снимке: Антонио Гадес и Лаура дель Соль в фильме «Кармен».

(Журнал «ЛИК»)

ИНДИЯ

«ЧАРАНДАС-ВОР»

Хабиб Танвир, один из ведущих драматургов и режиссеров «нового театра», недавно поставил в своем «Нача тиэтр» спектакль по пьесе «Чарандас-вор». В нем участвовали деревенские актеры из Чаттисгарха — люди, традиционно входящие в актерскую касту.

Тема новой пьесы заимствована драматургом из раджастанского фольклора, в котором образ благородного разбойника стал традиционным.

Чарандас — обаятельный вор, который никогда не грабит бедняков и никогда не произносит ни слова лжи: он поклялся своему гуру не лгать и свято держит слово.

В рецензии на спектакль, опубликованной в журнале «Линк», театральный критик Шарбари Мукерджи пишет:

«Чарандас выведен в пьесе как положительный герой, которому всякий бы должен подражать. Социальный пафос пьесы ясен и недвусмыслен — это обличение бесчестности дельцов, интриг политиканов, тирании властей. Форма постановки легка и изящна. В начале Чарандас предстает героем довольно прямолинейным, но постепенно тональность пьесы меняется, Чарандас проходит через испытания, которые выявляют сложность его характера, он все меньше походит на Робин Гуда, в конце же Чарандас трагически погибает — в полном противоречии с канонами жанра»

Пьеса «Чарандас-вор» демонстрировалась и в Калькутте — Хабиб Танвир не побоялся показать бенгальскому зрителю пьесу на диалектном хинди и вторгнуться в прославленную традицию бенгальского театра. В Калькутте «Чарандас-вор» имел огромный успех.

Критик Джотирмой Датта пишет о «Чарандасе-воре» в Калькутте: «Зритель не просто получил большое удовольствие—он еще и соприкоснулся с новой для него действительностью».

ИСПАНИЯ

БЕССМЕРТНАЯ КАРМЕН

Существуют произведения мировой литературы, к которым мастера, работающие в разных областях искусства, возвращаются периодически. Написанная в 1845 году новелла Проспера Мериме — наглядный тому пример. В 1875 году новелла зажила новой жизнью на оперной сцене благодаря музыке Жоржа Бизе, став одной из жемчужин мировой оперной классики. Кинематограф систематически обращается к новелле Мериме. В разное время и в разных странах ее экранизировали, часто с использованием музыки Бизе, американские режиссеры Р. Уэлч, Сесиль Б. де Милль, Эрнст Любич, Отто Преминджер (у которого фильм назывался «Кармен Джонс», а исполнителями и певцами были негры — Дороти Дендридж и Гарри Белафонте), немецкий режиссер Лотта Райнигер, французские — Жак Фейдер, Кристиан-Жак. Существует также чаплиновская пародия «Чарли играет Кармен».

Недавно свою версию «Кармен» показал испанский режиссер Карлос Саура (с этим фильмом познакомились зрители XIII МКФ в Москве) — историю репетиции «Кармен» балетной труппой Антонио Гадеса. Сюжетная фабула новеллы накладывается на отношения исполнителей, среди которых сам Гадес (Хосе) и Лаура дель Соль (Кармен).

В фильме использованы мелодии Бизе, но главным образом народные танцевальные ритмы Испании.

И вот еще один вариант «Кармен» — его поставил замечательный итальянский режиссер Франческо Рози, известный нам по таким фильмам, как «Руки над городом», «Дело Маттеи», «Три брата», «Сиятельные трупы» и другие. Это — перенесение на экран оперы Бизе в той же стилистической манере, в какой сделана «Травиата» режиссером Джанфранко Дзеффирелли. В роли Кармен снялась пуэрториканская

ская певица Джулия Мигенес Джонсон, в роли Хосе — испанский тенор Пласидо Домингес (сыгравший Альфреда в «Травиате»), а итальянский баритон Руджеро Раймонди выступил в роли Эскамильо. Танцевальные сцены в новой киноопере поставлены Антонио Гадесом с участием его труппы.

В интервью газете «Фигаро» Ф. Рози сказал, что давно мечтал снять фильм по опере «Кармен» именно в Испании, где Бизе не был никогда. «Сохраняя верность опере,— сказал Рози,— то есть определенному жанру, я хотел придать ей несколько иное звучание, внести иное дыхание».

Следует ожидать в сезоне 1983/84 гг. выхода сразу двух «Кармен» — оперы, поставленной Франческо Рози, и фильма Жан-Люк Годара «Ее зовут Кармен». Поистине Мериме создал бессмертное произведение!

ИТАЛИЯ

«ВКУС МЕДА» ПЬЕТРО СИССА

Миланское издательство «Вангелиста эдиторе» недавно выпустило в свет книгу «Вкус меда» малоизвестного у нас в стране итальянского писателя Пьетро Сисса. В книге рассказывается о судьбах депортированных властями рейха из Италии в Германию 600 тысяч итальянских военнослужащих сразу же после развала империи Муссолини и перемирия Италии с союзниками 8 сентября 1943 года.

Автор сам разделил судьбу этих людей. Находясь в плену на территории Германии, итальянские военнослужащие постоянно подвергались изощренной идеологической обработке в целях склонить их к возвращению в Италию для формирования новой итальянской армии — союзницы рейха, на что итальянцы категорически не согласились. За 20 месяцев пребывания в Германии молодые солдаты во многом разобрались, обрели моральную силу, которая помогла им перенести страдания и надругательства. Многие из депортированных итальянцев пришли впоследствии в ряды бойцов итальянского движения Сопротивления, которое под руководством Итальянской коммунистической партии активизировало свои действия в борьбе против общего врага.

Книга «Вкус меда» привлекла внимание итальянской прессы и получила положительную оценку широких слоев общественности.

В послесловии к книге рецензент называет «Вкус меда» наиболее зрелым произведением автора и одной из лучших книг о войне.

МЕКСИКА

На снимке: Долорес дель Рио в молодые годы.
(«Кинобюллетень»)

ПАМЯТИ ДОЛОРЕС ДЕЛЬ РИО

В связи с кончиной знаменитой мексиканской киноактрисы Долорес дель Рио, известной советскому зрителю, печать Мексики подчеркивает, что она внесла огромный вклад в развитие национальной кинематографии страны, отстаивая самобытность мексиканского киноискусства, его независимость от шаблонов и стереотипов, насаждаемых Голливудом. Героини ее фильмов — нежные, одухотворенные, гордые и свободолюбивые — для миллионов кинозрителей воплотили в себе лучшие черты характера мексиканского народа. Зрители увидели и полюбили ее в таких картинах, как «Лесной цветок», «Мария Канделария», «Рио Эскондидо», «Маклovия», «Мексиканская девушка», и многих других. Именно Долорес дель Рио создала в мексиканском кино новый образ простой женщины из народа. Много и плодотворно работала актриса и в театре. Одной из наиболее удачных работ дель Рио на сцене считается образ Раневской в «Вишневом саде».

ПОЛЬША

ПРЕМИИ МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

«Они несомненно оставят заметный след в театральной культуре»,— так пишет «Трибуна люду» об актерах, награжденных премией министра культуры. Среди них представители разных поколений, актриса старшего поколения Ванда Лучицка и младшего — Анна Дымна, знакомая советскому зрителю по многим польским фильмам, в частности по фильму «Знахарь», недавно демонстрировавшемуся на советском экране.

Ежи Треля, ученик выдающегося режиссера Конрада Свинарского,— один из лучших исполнителей главных ролей в драмах Мицкевича и Выспяньского. Как пишет «Трибуна люду», Ежи Треля так популярен среди польских зрителей, что не нуждается ни в какой рекламе.

Мария Збышевска представляет вроцлавское театральное искусство. В ее репертуаре множество ролей, которые она сыграла с блеском, будь то классика или спектакли о современности.

На снимке: Ежи Треля в роли Конрада в драме Станислава Выспяньского «Освобождение» (постановка Конрада Свинарского в краковском Старом театре).
(Журнал «Театр»)

Станислав Микульский хорошо известен советскому зрителю. Огромную популярность ему принес фильм «Ставка большая, чем жизнь», где он сыграл польского разведчика в тылу врага — капитана Клосса.

Режиссеры Ежи Красовский, Марек Окопиньский, Хенрик Гижицкий внесли большой вклад в развитие национального театра.

Ежи Красовский начинал свою деятельность в городе Нова Гута, где он поставил спектакли «Краковяне и гурали», «Люди и мыши» и многие другие, сразу же завоевавшие популярность у зрителей. Потом работал в театрах Вроцлава, Варшавы и Кракова. Сейчас он директор Национального драматического театра, автор многих инсценировок, телевизионных постановок.

Марека Окопиньского газета «Трибуна люду» называет «пахарем театральной нивы», воспитавшим не одно поколение зрителей. Для него нет легких путей в искусстве. Одна из его последних работ — спектакль «Фантазий» по драме Юлиуша Словацкого («ИЛ», 1983, № 5) вызвала большой интерес у критики и зрителей.

Хенрик Гижицкий — главный режиссер Народного театра в Нова Гуте, как пишет «Трибуна люду», своими спектаклями способствовал популярности этого театра.

РУМЫНИЯ

НОВАЯ КНИГА Н. ЦИКА О РАБОЧЕМ КЛАССЕ

В газете «Скынтейя» помещена обширная рецензия, посвященная новому роману «Закон с приложением» писателя Николае Цика, известного румынскому читателю по многим книгам рассказов, повестей и романов о рабочем движении в Румынии и о направляющей роли в нем коммунистов. По словам автора рецензии И. Адама, «Закон с приложением» представляет собой широкую эпическую фреску, охватывающую различные стороны политической, социальной и экономической жизни Румынии первой половины 20-х годов.

События в романе разворачиваются сразу после съезда Социалистической партии в 1921 году, на котором была образована РКП, и заканчиваются 1924 годом, когда она была объявлена вне закона. Это один из важнейших периодов в жизни страны, когда под влиянием революционных событий в СССР на политическую арену выходит новая созидающая сила — партия коммунистов, олицетворяющая стремление широких трудовых масс к обновлению жизни.

Пожалуй, как ни в одном другом произведении Н. Цика, отмечает рецензент, в этом романе каждый персонаж художественно достоверен. Четко индивидуализированы, глубоко психологичны образы коммунистов. По словам И. Адама, это роман «сильных характеров», поставленных временем перед необходимостью решающего выбора.

«Закон с приложением» тяготеет к жанру романа-репортажа, романа-документа, в нем действуют реальные исторические лица, воспроизводятся газетные статьи, официальные акты и декларации. При этом автору удалось избежать фактологичности, голого историзма и описательности.

Новая книга Н. Цика, как отмечается в рецензии, является красноречивым свидетельством «эпической зрелости» писателя.

СИРИЯ

«ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ПАНОРАМА» НА АРАБСКОМ

По сообщениям арабской прессы, сирийское издательство «Дар аль-Хивар» выпустило двухтомную поэтическую эпопею Назыма Хикмета «Человеческая панорама», переведенную на арабский язык Фадылем Лукманом.

Как пишет обозреватель газеты «Аль-Иттихад», создавая свою эпопею в тюрьме Бурсы, турецкий поэт-революционер «черпал вдохновение в жизни обыкновенных людей, безвестных бедняков и борцов за свободу в разных странах».

США

КОНЧИНА ДЖОРДЖА БАЛАНЧИНА

В возрасте 79 лет скончался один из выдающихся балетмейстеров мира — Джордж Баланчин (Георгий Мелитонович Баланчивадзе). По мнению журнала «Тайм», Баланчин «являлся, возможно, самым великим хореографом XX века».

Круг интересов Дж. Баланчина был удивительно широк и разнообразен: живопись, музыка, театр. Но по его собственному признанию, великой любовью, прошедшей через всю его жизнь, было и неизменно оставалось великое искусство танца. «Всей душой, мыслями и телом я предан танцу», — говорил Баланчин. В его хореографических постановках блестяще сочетались изящество классического балета и экспрессия современного танца.

Около 50 лет Джордж Баланчин был руководителем ведущей балетной труппы Америки — «Нью-Йорк Сити Баллет». Им были поставлены десятки балетов — и классические спектакли («Лебединое озеро», «Щелкунчик»), и ультрасовременные многоактные постановки, и концертные номера. Особую известность получили такие балеты, как «Концерт барокко», «Хрустальный дворец», «Орфей», «Агон», «Ной и потоп».

На снимке: сцена из балета Баланчина «Близнец» в исполнении артистов труппы «Американ баллет тиэтр».

(*«Театральный бюллетень»*)

Будучи талантливым пианистом, Баланчин стремился слить воедино красоту музыки и танца. Даже отсутствие фабулы во многих постановках не препятствовало зрителям понять замысел хореографа и наслаждаться прекрасной гармонией его балетов. Долголетние дружба и сотрудничество связывали Баланчина и Игоря Стравинского, создавших в результате совместного творчества такие шедевры, как балеты «Аполлон», «Орфей», «Агон». Самый первый танец Баланчина был поставлен на музыку Стравинского. И именно Джордж Баланчин к восьмидесятилетию композитора создал на его музыку драму «Ной и потоп».

Уже тяжело больной, он не прекращал своей работы. «Как я могу оставить работу? — удивился он однажды.— Я хореограф. И пока могу двигаться и показывать танцорам, каким я хочу видеть их танец, я буду продолжать ставить балеты...»

ВЕЛЬМА ГЕНРИ ОСТАЛАСЬ ЖИВА

Писательница Тони Кейд Бамбара, выпустившая несколько книг («Черная женщина», «Сказки и рассказы для черных», «Горилла, моя любовь», «Морские птицы все еще живы»), романом «Они исцеляются солью» вновь сразу же обратила на себя внимание критики.

Действие происходит в Клейборне, маленьком городке на Юге Соединенных Штатов. Вельма Генри решила покончить с собой — она устала от людей, от не-

посильного бремени житейских забот, от мужа, от детей. «Она хотела, чтобы никто уже не мог настичь ее, требовать от нее чего-то...» Но Вельма остается в живых и попадает в лечебницу округа, где Мини Рэнсом берется вернуть ее людям. Мини Рэнсом знает секрет жизни — она умеет исцелять словами, музыкой, просто своей улыбкой.

Но на самом деле, как говорится в предисловии к книге, главные герои романа не Вельма и Мини, а жители Клейборна. Эта книга об их радостях и печалях, их горьких буднях и редких праздниках. «Перед нами галерея людей — спокойных и знающих цену жизни и тех, кто совершенно подавлен ею.

Рецензенты отмечают удивительный сплав фарсового, гротескного в прозе Бамбары с трагическим.

На снимке: кадр из фильма «Стена».

(*Газета «Юманите»*)

ТУРЦИЯ

ХУДОЖНИК В ИЗГНАНИИ

Йылмаз Гюней, чей фильм «Дорога» получил Золотую пальмовую ветвь на прошлом Каннском фестивале, в этом году представил там свою новую работу — «Стена».

Хотя режиссер создал этот фильм в изгнании, он показывает хорошо знакомую ему действительность турецких тюрем, где он провел двенадцать лет.

«Стена» — фильм о подлинных событиях, бунте детей, заключенных в анкарской тюрьме, не выдержавших нечеловеческих условий тюремной жизни. Единственным отступлением от правды, сказал в своем интервью корреспонденту «Юманите» Гюней, является хронологическая неточность: время действия перенесено из 1976 года в 1981 год, когда репрессии усилились во время разгула военной диктатуры.

На родине художника запрещены его фильмы и даже фотографии, которые передавались из рук в руки после того, как все его произведения были объявлены вне закона.

В заключение Гюней сказал: «Я продолжаю быть турком. Я борюсь за свободу всех народов, населяющих Турцию. Ничто не может оторвать меня, отдалить от моей родины. Тоска по ней не рождает во мне отчаяния, настанет день — и я вернусь в Турцию».

На вопрос, что он намерен делать после своего первого фильма, снятого не на турецкой земле, режиссер ответил: «Пока я жив, я буду продолжать борьбу. Этого ждет от меня турецкий народ, и в этом смысл моей жизни».

ФРАНЦИЯ

МЕСТЬ ПРАВЫХ

В результате последних муниципальных выборов, сообщает газета «Юманите», правые сумели несколько потеснить своих левых соперников в ряде городов страны. Бессильные в парламенте, где им противостоит значительное большинство депутатов левого блока, новые мэры предпринимают действия, идущие вразрез с той культурной политикой, которую проводили их предшественники. Эти действия справедливо рассматриваются как месть за поражение на выборах в 1981 году. Так, их жертвой стали дома культуры и региональные кинофестивали. Под предлогом проведения «экономии» и «борьбы за рентабельность» были урезаны на половину кредиты на содержание домов культуры в Бресте, Нанте, субсидии так называемых центров культурного действия — в Туркуэне. В Пуасси этот центр упразднен вовсе. В городе Таверни мэр ликвидировал муниципальное бюро по делам культуры, уволил всех его сотрудников. Примеры эти, как отмечает газета, можно было бы умножить.

Большое возмущение, отмечает «Юманите»,— вызвали действия нового мэра Сент-Этьенна, который уволил директора дома культуры коммуниста Макса Серво и сократил субсидии муниципалитета на проведение кинофестиваля «Кинематографические встречи», известного своими популярными просмотрами и дискуссиями. Эти действия вызвали дружный протест со стороны населения, культурных организаций страны, профсоюзов, компартии. В ответ мэр уволил руководительницу «Встреч» Неллу Банфи-Бруссу и сообщил, что мэрия решила выйти из Ассоциации встреч, объединяющей муниципалитеты ряда городов страны. Газета «Юманите» назвала эти действия охотой за ведьмами. Многие кинематографисты Франции (Б. Тавернье, К. Отан-Лара, Э. Ромер и другие) и Италии (Марчелло Мастроянни, Этторе Скола, Марио Моничелли) подписали петицию протеста, опубликованную в «Монд». Министр культуры Жак Ланг прислал Максу Серво телеграмму, в которой говорится, что действия нового муниципалитета «продиктованы стремлением подавить культурную жизнь, а вовсе не наличием четкой культурной программы... Правые показали свое истинное лицо. Они боятся свободы и решили гильотинировать культуру».

Как отмечает журнал «Ревю де синема», еще недоброй памяти Геббельс говорил, что при слове «культура» он хватается за пистолет. Правым силам тоже не по душе культура, приобщение к ней народных масс. Отсюда затеянные ими «реформы», встречающие решительное осуждение прогрессивной общественности страны.

Авторы этого номера

ИНДРЖИХ ВИХРА — JINDŘICH VICHRA (1918—1944)

Чешский поэт, герой антифашистского Сопротивления. Казнен на гильотине в тюрьме Панкрац 12 мая 1944 года.
Литературное наследие И. Вихры опубликовано в книгах: «Моя аппассионата. Стихи, письма из камеры смертников, документы 1942—1944» («Má appassionata. Básně — listy z cely z smrti — dokumenty z let 1942—1944», 1977), «Моя аппассионата. Избранные произведения 1936—1944 годов» («Má appassionata. Výbor z díla 1936—1944», 1980).

МАЛЕВИЧ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ (род. в 1928 г.)

Советский литературовед и переводчик, кандидат филологических наук. Автор книг «Карел Чапек» (1968), «Владислав Ванчура» (1973) и многих статей по литературе Чехословакии. Переводит чешскую и словацкую прозу и поэзию.

КЛАРА ФЕХЕР — FEHÉR KLÁRA (род. в 1923 г.)

Венгерская писательница, драматург. Лауреат премии имени Атиллы Йожефа. На советской сцене были поставлены ее пьесы «Мы тоже не ангелы», «Высшее существо», «Только один звонок» (радиопьеса). На русский язык переведены также роман «Море» и рассказы для детей. К. Фехер — автор нескольких книг путевых очерков, в частности широкую известность получила книга «Каникулы в Венгрии».
Повесть «Желтая лихорадка» вышла в Будапеште в 1981 г. («Sárgaláz». Budapest, Szépirodalmy könyvkiadó, 1981).

ЛЕЙБУТИН ГЕННАДИЙ САВЕЛЬЕВИЧ (род. в 1924 г.)

Советский переводчик с венгерского, критик. На русский язык им переведены многие произведения венгерских писателей, в том числе романы Л. Мештерхази «Свидетельство», К. Миксата «Черный город», «Странный брак», Л. Толнаи «Пять форинтов», пьеса К. Фехер «Мы тоже не ангелы» и др.

ГОРДОН ПАРКЕР — GORDON PARKER (род. в 1940 г.)

Английский писатель. Окончил политехнический институт по специальности судового инженера, работает на заводе. Автор романов «Темное утро» («The Darkness of the Morning», 1975), «Молния в мае» («Lightning in May», 1976), «Омут», предлагаемый вниманию читателей.
Роман «Омут» («The Pool». London, Bachman & Turner, 1978) публикуется в журнальном варианте, в полном объеме он будет напечатан издательством «Радуга».

ТОМАС БЕРНХАРД — THOMAS BERNHARD (род. в 1931 г.)

Австрийский писатель, драматург. Автор повестей «Амрас» («Amras», 1964), «Племянник Витгенштейна. Дружба» («Wittgensteins Neffe. Eine Freundschaft», 1982), романов «Помешательство» («Verstörung» 1967), «Известковый карьер» («Das Kalkwerk», 1970), «Правка» («Die Korrektur» 1975), цикла автобиографических романов и повестей: «Причина» («Die Ursache», 1975) «Подвал» («Der Keller», 1976), «Дыхание» («Der Atem», 1978), «Мороз» («Die Kälte», 1981), «Ребенок» («Das Kind», 1982). Т. Бернхарду принадлежит также несколько пьес и сборников рассказов.
Подробнее о Т. Бернхарде и его творчестве см. статью Д. Затонского в разделе «Критика» этого номера.
Мы знакомим читателей с творчеством этого известного австрийского писателя, публикуя его повесть «Подвал» («Der Keller», Salzburg, Residenz Verlag, 1976).

РАЙТ-КОВАЛЕВА РИТА ЯКОВЛЕВНА

Советская писательница, переводчик. В 1920 г. перевела на немецкий язык некоторые стихи В. Маяковского и «Мистерию-буфф» (1921). Переводила произведения М. Твена, У. Фолкнера, Дж. Голсуорси

Г. Бёля, Ф. Кафки, Дж. Сэлинджера, Гр. Грина, Дж. Пристли, К. Воннегута и др. Р. Райт принадлежат также воспоминания о Маяковском, Пастернаке, Ахматовой и книга «Роберт Бернс» в серии «Жизнь замечательных людей».

ПРОЗОРОВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА

Советский литературный критик, кандидат филологических наук. Автор статей и рецензий на произведения современной ирландской литературы и драматургии, публикующихся в периодической печати.

ТОММАЗО ЛАНДОЛЬФИ — TOMMASO LANDOLFI (1908—1979)

Итальянский писатель. Автор сборников рассказов «Лунный камень» («La pietra lunare», 1939), «Тени» («Ombre», 1954), Любовь нашего времени» («Un amore del nostro tempo», 1965) и других. Т. Ландольфи — признанный мастер художественного перевода, ему принадлежат переводы на итальянский язык произведений Пушкина, Гоголя, Достоевского.

Рассказы «Смех» («Il riso») и «Аллегория» («Allegoria») взяты из сборника «Волею судеб» («A caso». Milano, Rizzoli, 1975).

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова: Москва, 103791, Пушкинская пл., 5. Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Союзпечати».

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

О. С. ВАСИЛЬЕВ (зам. главного редактора), **Л. А. ГВИШИАНИ-КОСЫГИНА, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Е. В. СТОЯНОВСКАЯ, М. Г. ФЕДОРОВ** (отв. секретарь), **К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ, Л. З. ЭЙДЛИН.**

Художественный редактор **Е. Н. Черняев.** Технический редактор **Е. П. Поляков.**

Адрес редакции: 109017, Москва, Ж-17, Пятницкая ул., д. 41, телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 02.09.83. Подписано в печать 05.10.83. А 00479. Формат 70×108¹/₁₆.
Печать высокая, 16 п. л. (22,4) усл. п. л., уч-изд. л. 29.00.

Тираж 380 000 экз. (1-й завод: 1 — 340 000 экз.) Зак. 3118.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

И. Дульчич «Дубровник»

Цена 1 руб. 80 коп. ИНДЕКС 70394